Варлам Шаламов

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

35 2 Ио -

ии
тель

Варлам Шаламов

Левый берег

РАССКАЗЫ

Москва
«Современник»
1989

ББК84Р7
Ш18

Подготовка текста
И. П. Сиротинской



Шаламов В. Т.
Ш18 Левый берег: Рассказы.— М.: Современник, 1989.— 559 с.
ISBN 5-270-00969-2

Варлам Шаламов (1907—1982) известен читателям как поэт, автор поэтических сборников. Человек сложной, драматической судьбы, В. Шаламов много и плодотворно работал и в других жанрах. Будучи незаконно репрессирован, писатель семнадцать лет провел в лагерях. Увиденное, пережитое легло в основу его рассказов. Сборники «Артист лопаты», «Левый берег», «Очерки преступного мира», вошедшие в эту книгу, составлены самим автором. Создавались рассказы многие годы, писатель работал над ними до конца жизни.

Ш $\frac{4702010200-051}{М106(03)-89}$ КБ—50—35—88 ББК84Р7

ISBN 5—270—00969—2



енник,

р поэти-
в много
сирован,
в основу
ступного
рассказ

К84Р

198

ПРИПАДОК

Качнулась стена, и горло мое захлестнуло знакомой сладкой тошнотой. Обгорелая спичка на полу в тысячный раз проплывала перед глазами. Я протянул руку, чтоб схватить эту надоевшую спичку, и спичка исчезла — я перестал видеть. Мир еще не ушел от меня вовсе: там, на бульваре, был еще голос, отдаленный, настойчивый голос медицинской сестры. Потом замелькали халаты, угол дома, звездное небо, возникла огромная серая черепаха, глаза ее блестели равнодушно; кто-то выломал ребро черепахи, и я вполз в какую-то нору, цепляясь и подтягиваясь на руках, доверяя только рукам.

Я вспомнил чужие настойчивые пальцы, умело пригибавшие мою голову и плечи к постели. Все стихло, и я остался один на один с кем-то огромным, как Гулливер. Я лежал на доске, как насекомое, и кто-то меня пристально рассматривал в лупу. Я поворачивался, и страшная лупа следовала за моими движениями. Я изгибался под чудовищным стеклом. И только тогда, когда санитары перенесли меня на больничную койку и наступил блаженный покой одиночества, я понял, что Гулливерова лупа не была кошмаром — это были очки дежурного врача. Это обрадовало меня несказанно.

Голова болела и кружилась при малейшем движении, и нельзя было думать — можно было только вспоминать, и давние пугающие картины стали являться как кадры немого кино, двуцветные фигуры. Сладкая тошнота, похожая на эфирный наркоз, не проходила. Она была знакомой, и это первое ощущение было теперь разгадано. Я вспомнил, как много лет назад, на Севере, после шестимесячной работы без отдыха впервые был объявлен выходной день. Каждый хотел лежать, лежать, не чинить одежды, не двигаться... Но всех подняли с утра и погнали за дровами. В восьми километрах от поселка шла лесозаготовка — нужно было выбрать бревно по силе и донести домой. Я решил идти в сторону — там километрах в двух были старые штабеля, там можно

было найти подходящее бревно. Идти в гору было трудно, и когда я добрался до штабеля — легких бревен там не оказалось. Выше чернели разваленные поленницы дров, и я стал подниматься к ним. Здесь были тонкие бревна, но концы их были зажаты штабелем, и у меня не хватило сил выдернуть бревно. Я несколько раз принимался и изнемог окончательно. Но вернуться без дров было нельзя, и, собирая последние силы, я пополз еще выше к штабелю, засыпанному снегом. Я долго разгребал рыхлый скрипучий снег ногами и руками и выдернул наконец одно из бревен. Но бревно было слишком тяжелым. Я снял с шеи грязное полотенце, служившее мне шарфом, и, привязав вершину, потащил бревно вниз. Бревно прыгало и било по ногам. Или вырывалось и бежало под гору быстрее меня. Бревно застревало в кустах стланика или втыкалось в снег, и я подползал к нему и снова заставлял бревно двигаться. Я был еще высоко на горе, когда увидел, что уже стемнело. Я понял, что прошло много часов, а дорога к поселку и к зоне была еще далеко. Я дернул шарф, и бревно снова скачками кинулось вниз. Я вытащил бревно на дорогу. Лес закачался перед моими глазами, горло захлестнула сладкая тошнота, и я очнулся в будке лебедчика — тот оттирал мне руки и лицо колючим снегом.

Все это виделось мне сейчас на больничной стене.

Но вместо лебедчика руку мою держал врач. Аппарат Рива-Роччи для измерения кровяного давления стоял здесь же. И я, поняв, что я не на Севере, обрадовался.

— Где я?

— В институте неврологии.

Врач что-то спрашивал. Я отвечал с трудом. Мне хотелось быть одному. Я не боялся воспоминаний.

НАДГРОБНОЕ СЛОВО

Все умерли...

Николай Казимирович Барбэ, один из организаторов Российского комсомола, товарищ, помогавший мне вытащить большой камень из узкого шурфа, бригадир, расстрелян за невыполнение плана участком, на котором

работала бригада Барбэ — по рапорту молодого начальника участка, молодого коммуниста Арма — он получил орден за 1938 год и позже был начальником прииска, начальником управления — большую карьеру сделал Арм. У Николая Казимировича Барбэ была бережно хранимая вещь — верблюжий шарф, голубой длинный теплый шарф, настоящий шерстяной. Его украли в бане воры — просто взяли, да и все, когда Барбэ отвернулся. И на следующий день Барбэ поморозил щеки — сильно поморозил — язвы так и не успели зажить до его смерти...

Умер Иоська Рютин. Он работал в паре со мной, а со мной «работяги» не хотели работать. А Иоська работал. Он был гораздо сильнее, ловчее меня. Но он понимал хорошо, зачем нас сюда привезли. И не обижался на меня, работавшего плохо. В конце концов старший смотритель — так и назывались горные чины в 1937 году, как в царское время,— велел дать мне «одиночный замер» — что это такое, будет рассказано особо. А Иоська работал в паре с кем-то другим. Но места наши в бараке были рядом, и я сразу проснулся от неловкого движения кого-то кожаного, пахнущего бараном; этот кто-то, повернувшись ко мне спиной в узком проходе между нар, будил моего соседа:

— Рютин? Одевайся.

И Иоська стал торопливо одеваться, а пахнущий бараном человек стал обыскивать его немногие вещи. Среди немногого нашлись шахматы, и кожаный человек отложил их в сторону.

— Это — мои,— сказал торопливо Рютин.— Моя собственность. Я платил деньги.

— Ну и что ж? — сказала овчина.

— Оставьте их.

Овчина захохотала. И когда устала от хохота и утерла кожаным рукавом лицо, выговорила:

— Тебе они больше не понадобятся...

Умер Дмитрий Николаевич Орлов, бывший референт Кирова. С ним мы пилили дрова в ночной смене на прииске и, обладатели пилы, работали днем на пекарне. Я хорошо помню, сколь критическим взглядом обвел нас инструментальщик-кладовщик, выдавая пилу, обыкновенную поперечную пилу.

— Вот что, старик,— сказал инструментальщик. Нас всех в это время звали стариками — не то что двадцать лет спустя.— Можешь наточить пилу?

— Конечно,— сказал Орлов поспешно.— А разводка есть?

— Топором разведешь,— сказал кладовщик, уразумевший уже в нас людей знающих, не то что эти интеллигенты.

Орлов шел по тропке согнувшись, засунув руки в рукава. Пилу он держал под мышкой.

— Послушайте, Дмитрий Николаевич,— сказал я, догоняя Орлова вприпрыжку.— Я ведь не умею. Никогда пилы не точил.

Орлов повернулся ко мне, воткнул пилу в снег и надел рукавицы.

— Я думаю,— сказал он назидательным тоном,— что всякий человек с высшим образованием обязан уметь точить и разводить пилу.

Я согласился с ним.

Умер экономист, Семен Алексеевич Шейнин, добрый человек. Он долго не понимал, что делают с нами, но в конце концов понял и стал спокойно ждать смерти. Мужества у него хватало. Как-то я получил посылку — то, что посылка дошла — было великой редкостью, и в ней были авиационные фетровые бурки, и больше ничего. Как плохо знали наши родные условия, в которых мы жили. Я понимал отлично, что бурки украдут, отнимут у меня в первую же ночь. И я их продал, не выходя из комендатуры, за сто рублей десятнику Андрею Бойко. Бурки стоили семьсот, но это была выгодная продажа. Ведь я мог купить сто килограммов хлеба, а если не сто, то купить масла, сахару. Масло и сахар последний раз я ел в тюрьме. И я купил в магазине целый килограмм масла. Я помнил о его полезности. Сорок один рубль стоило это масло. Я купил днем (работали ночью) и побежал к Шейнину — мы жили в разных бараках,— отпраздновать посылку. Купил я и хлеба...

Семен Алексеевич взволновался и обрадовался.

— Ну, как же я? Какое я имею право? — бормотал он, взволнованный чрезвычайно.— Нет, нет, я не могу...

Но я уговорил его, и, радостный, он побежал за кипятком.

И тотчас я упал на землю от страшного удара по голове.

Когда я вскочил, сумки с маслом и хлебом не было. Метровое лиственное полено, которым меня били, валялось около койки. И все кругом смеялись. Прибежал

Шейнин с кипятком. Много лет потом я не мог вспомнить об этой краже без страшного, почти шокового волнения. А Семен Алексеевич — умер.

Умер Иван Яковлевич Федяхин. Мы с ним ехали одним поездом, одним пароходом. Попали на один прииск, в одну бригаду. Он был философ, волоколамский крестьянин, организатор первого в России колхоза. Колхозы, как известно, первые организовывались эсерами в двадцатых годах, а группа Чаянова — Кондратьева представляла их интересы «наверху»... Иван Яковлевич и был деревенским эсером — в числе того миллиона, который голосовал за эту партию в 1917 году. За организацию первого колхоза он и получил срок — пятилетний срок заключения.

Как-то в самом начале, первой колымской осенью 1937 года, мы работали с ним у грабарки — стояли на знаменитом приисковом конвейере. Тележек-грабарок было две, отцепные. Пока коногон вез одну на промывочный прибор, двое рабочих едва успевали насыпать другую. Курить не успевали, да и не разрешалось это смотрителями. Наш коногон зато курил — огромную цигарку, свернутую чуть не из полпачки махорки (махорка еще тогда была), и оставлял на борту забоя нам затянуться.

Коногоном был Мишка Вавилов, бывший заместитель председателя треста «Промимпорт», а забойщиками Федяхин и я.

Не спеша подбрасывая грунт в грабарку, мы говорили друг с другом. Я рассказал Федяхину об уроке, который давался декабристам в Нерчинске,— по «Запискам Марии Волконской» — три пуда руды на человека.

— А сколько, Василий Петрович, весит наша норма? — спросил Федяхин.

Я подсчитал — 800 пудов примерно.

— Вот, Василий Петрович, как нормы-то выросли...

Позднее, во время голода зимой, я доставал табак — выпрашивал, копил, покупал — и менял его на хлеб. Федяхин не одобрял моей «коммерции»:

— Не идет это вам, Василий Петрович, не надо вам это делать...

Последний раз я его видел зимой у столовой. Я дал ему шесть обеденных талонов, полученных мной в этот день за ночную переписку в конторе. Хороший почерк

мне иногда помогал. Талоны пропадали — на них были штампы чисел. Федяхин получил обеды. Он сидел за столом и переливал из миски в миску юшку — суп был предельно жидким, и ни одной жиринки в нем не плавало... Каша-шрапнель со всех шести талонов не наполнила одной полулитровой миски... Ложки у Федяхина не было, и он слизывал кашу языком. И плакал.

Умер Дерфель. Это был французский коммунист, бывавший и в каменоломнях Кайенны. Кроме голода и холода, он был измучен нравственно — он не хотел верить, как может он, член Коминтерна, попасть сюда, на советскую каторгу. Его ужас был бы меньше, если бы он видел, что он один такой. Такими были все, с кем он приехал, с кем он жил, с кем он умирал. Это был маленький слабый человек, побои уже входили в моду... Однажды бригадир его ударил, ударил просто кулаком, для порядка, так сказать, но Дерфель упал и не поднялся. Он умер один из первых, из самых счастливых. В Москве он работал в ТАССе одним из редакторов. Русским языком владел хорошо.

— В Кайенне было тоже плохо,— сказал он мне как-то.— Но здесь — очень плохо.

Умер Фриц Давид. Это был голландский коммунист, работник Коминтерна, обвинявшийся в шпионаже. У него были прекрасные вьющиеся волосы, синие глубокие глаза, ребяческий вырез губ. Русского языка он почти не знал. Я встретился с ним в бараке, набитом людьми так тесно, что можно было спать стоя. Мы стояли рядом, Фриц улыбнулся мне и закрыл глаза.

Пространство под нарами было набито людьми до отказа, надо было ждать, чтоб присесть, опуститься на корточки, потом привалиться куда-нибудь к нарам, к столбу, к чужому телу — и заснуть. Я ждал, закрыв глаза. Вдруг рядом со мной что-то рухнуло. Мой сосед Фриц Давид упал. Он поднялся в смущении.

— Я заснул,— сказал он испуганно.

Этот Фриц Давид был первым человеком из нашего этапа, получившим посылку. Посылку ему послала его жена из Москвы. В посылке был бархатный костюм, ночная рубашка и большая фотография красивой женщины. В этом бархатном костюме он и сидел на корточках рядом со мной.

— Я хочу есть,— сказал он, улыбаясь, краснея.— Я очень хочу есть. Принесите мне что-нибудь поесть.

Фриц Давид сошел с ума, и его куда-то увели.

Ночную рубашку и фотографию у него украли в первую же ночь. Когда я рассказывал о нем позднее, я всегда недоумевал и возмущался: зачем, кому нужна была чужая фотография?

— Всего и вы не знаете,— однажды сказал некий хитрый собеседник мой.— Догадаться нетрудно. Эта фотография украдена блатными, и, как говорят блатные, для «сеанса». Для онанизма, наивный друг мой...

Умер Сережа Кливанский, товарищ мой по первому курсу университета, с которым мы встретились через двадцать лет в этапной камере Бутырской тюрьмы. Он был исключен из комсомола в 1927 году за доклад о китайской революции на кружке текущей политики. Университет ему удалось кончить, и он работал экономистом в Госплане, пока там не изменилась обстановка, и Сереже пришлось оттуда уйти. Он поступил по конкурсу в оркестр театра имени Станиславского и был второй скрипкой — до ареста в 1937 году. Он был сангвиник, остряк, ирония его не покидала. Интерес к жизни, к событиям ее — также.

В этапной камере все ходили почти голыми, поливались водой, спали на полу. Только герой выдерживал сон на нарах. И Кливанский острил:

— Это пытка выпариванием. После нее нас подвергнут пытке вымораживанием на Севере.

Это было точное предсказание, но это не было нытьем труса. На прииске Сережа был весел, общителен. С энтузиазмом стремился овладеть блатным словарем и радовался как ребенок, выговаривая в надлежащей интонации блатные выражения.

— Вот сейчас я, кажется, припухну,— говорил Сережа, заползая на верхние нары.

Он любил стихи, в тюрьме читал их часто на память. В лагере он не читал стихов.

Он делился последним куском, вернее, еще делился... Это значит, что он так и не успел дожить до времени, когда ни у кого не было последнего куска, когда никто ничем ни с кем не делился.

Умер бригадир Дюков. Я не знаю и не знал его имени. Он был из «бытовиков», к пятьдесят восьмой статье не имел никакого отношения. В лагерях на «материке» он был так называемым «председателем коллектива», настроен был не то что романтически, но собирался «играть

роль». Он приехал зимой и выступил с удивительной речью на первом же собрании. У «бытовиков» бывали собрания — ведь и совершившие бытовые и служебные преступления, а равно и рецидивисты-воры считались «друзьями народа», подлежащими исправлению, а не карательному воздействию. В отличие от «врагов народа» — осужденных по пятьдесят восьмой статье. Позднее, когда рецидивистам стали давать четырнадцатый пункт пятьдесят восьмой статьи — «саботаж» (за отказы от работы), весь параграф четырнадцатый был изъят из пятьдесят восьмой статьи и избавлен от многолетних и многообразных карательных мер. Рецидивисты считались «друзьями народа» всегда — до знаменитой бериевской амнистии 1953 года включительно. В жертву теории и крыленковской «резинки» и пресловутой «перековки» были принесены многие сотни тысяч несчастных людей.

На том, первом собрании Дюков предложил взять под свое руководство бригаду пятьдесят восьмой статьи — обычно бригадир «политических» был из их же среды. Дюков был неплохой парень. Зная, что крестьяне работают в лагерях отлично, лучше всех, помня, что пятьдесят восьмой статьи среди крестьян было очень много. В этом следует видеть особую мудрость Ежова и Берии, понимавших, что трудовая ценность интеллигенции весьма невысока, а стало быть, производственную задачу лагеря могут не выполнить, в отличие от политической задачи. Но Дюков в такие высокие соображения не вдавался, вряд ли ему приходило в голову что-либо, кроме рабочих качеств людей. Он отобрал себе бригаду — исключительно из крестьян — и приступил к работе. Это было весной 1938 года. Дюковскими крестьяне пробыли всю голодную зиму 1937/38 года. Он не бывал со своими бригадниками в бане, а то бы давно понял, в чем дело.

Они работали плохо, их надо было только подкормить. Но в этой просьбе Дюкова начальство отказало самым резким образом. Голодная бригада героически вырабатывала норму, работала через силу. Тогда Дюкова стали обсчитывать: замерщики, учетчики, смотрители, прорабы, он стал жаловаться, протестовать все резче и резче, выработка бригады все падала и падала, питание делалось все хуже. Дюков попробовал обратиться к высокому начальству, но высокое начальство посоветовало соответствующим работникам приписать

бригаду Дюкова, вместе с самим бригадиром, к известным спискам. Это было сделано, и все были расстреляны на знаменитой Серпантинной.

Умер Павел Михайлович Хвостов. Самое страшное в голодных людях — это их поведение. Все как у здоровых, и все же это — полусумасшедшие. Голодные всегда яростно отстаивают справедливость — если они не слишком голодны, не чересчур истощены. Они — вечные спорщики, отчаянные драчуны. Обычно лишь одна тысячная часть поругавшихся между собой людей на самых предельных нотах доводит дело до драки. Голодные вечно дерутся. Споры вспыхивают по самым диким, самым неожиданным поводам: «Зачем ты взял мое кайло?.. занял мое место?» Кто покороче, пониже, норовит дать подножку и сбить с ног противника. Кто повыше — навалиться и уронить врага своей тяжестью, а потом царапать, бить, кусать... Все это бессильно, не больно, не смертельно — и слишком часто, чтобы заинтересовать окружающих. Драк не разнимают.

Вот таким был Хвостов. Он дрался с кем-нибудь каждый день — в бараке и в той глубокой отводной траншее, которую копала наша бригада. Он был моим зимним знакомым — я не видел его волос. А шапка у него была ушанка с изорванным белым мехом. И глаза — темные, блестящие голодные глаза. Я читал иногда стихи, и он смотрел на меня как на полоумного.

Он вдруг начал отчаянно бить кайлом по камню траншеи. Кайло было тяжелым, Хвостов бил наотмашь, почти без перерыва бил. Я подивился такой силе. Мы давно были вместе, давно голодали. Потом кайло упало и зазвенело. Я оглянулся. Хвостов стоял, расставив ноги, и качался. Колени его сгибались. Он качнулся и упал лицом вниз. Он вытянул далеко вперед руки в тех самых рукавицах, которые он каждый вечер сам штопал. Руки открылись — на обоих предплечьях была татуировка. Павел Михайлович был капитан дальнего плавания.

Роман Романович Романов умирал на моих глазах. Когда-то он был у нас кем-то вроде командира роты: выдавал посылки, следил за чистотой в лагерной зоне, словом, был на таком привилегированном положении, о каком и мечтать не мог никто из нас, пятьдесят восьмой статьи и «литёрок», как говорили блатные, или «литерников», как произносят это слово высшие чинов-

ники лагерей. Предел наших мечтаний — работа прачки в бане или починочным ночным портным. Все кроме камня было нам запрещено московскими «особыми указаниями». Такая бумага шла при деле каждого из нас. А вот Роман Романович был на такой недоступной должности. И даже быстро освоился с ее секретами: как открывать посылочный ящик, чтобы сахар сыпался на пол. Как разбить банку с вареньем, закатить под топчан сухари и сушеные фрукты. Всему этому Роман Романович обучился быстро и знакомств с нами не поддерживал. Он был строго официален и держался как вежливый представитель того высокого начальства, с которым мы личного общения иметь не могли. Он никогда ничего не советовал нам. Он только разъяснял: письмо можно посылать одно в месяц, посылки выдаются с 8 до 10 вечера в лагерной комендатуре и такое подобное. Мы не завидовали Роману Романовичу, мы только удивлялись. Очевидно, тут сыграло роль какое-то личное случайное знакомство Романова. Впрочем, он был недолго, всего месяца два, «командиром роты». Прошла ли очередная поверка штаба (время от времени, и обязательно к новому году, такие поверки устраиваются) или кто-либо «дунул» — пользуясь красочным лагерным выражением. Но Роман Романович исчез. Он был военный работник, полковник, кажется. И вот через четыре года я попал на «витаминную командировку», где собирали хвою стланика — единственного вечнозеленого растения здесь. Эту хвою свозили за много сотен верст на витаминный комбинат. Там ее варили, и хвоя превращалась в тягучую коричневую смесь невыносимого запаха и вкуса. Ее заливали в бочки и развозили по лагерям. Тогдашней местной медициной это считалось главным общедоступным и обязательным средством от цинги. Цинга свирепствовала, да еще в сочетании с пеллагрой и прочими авитаминозами. Но все, кому доводилось проглотить хоть каплю этого страшного снадобья, соглашались лучше умереть, чем лечиться подобной чертовщиной. Но были приказы, а приказ есть приказ, и пищу в лагерях не давали до той поры, пока порция лекарства не будет проглочена. Дежурный стоял тут же со специальным крошечным черпачком. Войти в столовую было нельзя, минуя раздатчика стланика, и так то самое, чем особенно дорожил арестант — обед, пища, было непоправимо испорчено этой предварительной обяза-

тельной зарядкой. Так длилось более десяти лет... Врачи неграмотней недоумевали — как может сохраняться в этой клейкой мази витамин С, чрезвычайно чувствительный ко всяким переменам температуры. Толку от лечения не было никакого, но экстракт продолжали раздавать. Тут же, рядом со всеми поселками, было очень много шиповника. Но шиповник никто и не решался собирать — о нем ничего не говорилось в приказе. И только много после войны, в 1952, кажется, году, было получено, опять-таки от имени местной медицины, письмо, где категорически запрещалась выдача экстракта стланика, как разрушающе действующего на почки. Витаминный комбинат был закрыт. Но в то время, когда я встретился с Романовым, стланик собирали вовсю. Собирали его «доходяги» — приисковый шлак, отбросы золотых забоев — полуинвалиды, голодающие-хроники. Золотой забой из здоровых людей делал инвалидов в три недели: голод, отсутствие сна, многочасовая тяжелая работа, побои... В бригаду включались новые люди, и Молох жевал... К концу сезона в бригаде Иванова не оставалось никого, кроме бригадира Иванова. Остальные шли в больницу «под сопку» и на «витаминные» командировки, где кормили один раз в день и хлеба больше 600 граммов ежедневно получить было нельзя. Мы с Романовым работали в ту осень не на сборе хвои. Мы работали на «строительстве». Мы строили себе дом на зиму — летом мы жили в рваных палатках.

Была отмерена шагами площадь, поставлены колышки, и мы втыкали редкую изгородь в два ряда. Промежуток заполнялся кусками заледеневшего мха и торфа. Внутри были нары из жердей, одноэтажные. Посредине стояла железная печка. На каждую ночь нам давали порцию дров, вычисленную эмпирически. Однако у нас не было ни пилы, ни топора — эти острорежущие предметы хранились у бойцов охраны, которые жили в отдельной утепленной и обитой фанерой палатке. Пилы и топоры выдавались только по утрам при разводе на работу. Дело в том, что на соседней «витаминной» командировке несколько уголовников напали на бригадира. Блатные чрезвычайно склонны к театральности, внося ее в жизнь так, что им позавидовал бы Евреинов. Бригадира решено было убить, и предложение одного из блатарей — отпилить голову бригадиру — было встречено с восторгом. Голова была отпилена обыкновенной поперечной пилой.

Вот поэтому-то был приказ, запрещающий оставлять заключенных на ночь топоры и пилы. Почему на ночь? Но в приказах никто никогда не искал логики.

Как же резать дрова, чтоб поленья влезли в печку? Более тонкие ломались ногами, а толстые целым пучком с тонкого конца вкладывались в отверстие горящей печки и постепенно сгорали. Кто-нибудь ногой подвигал их глубже — всегда было кому присмотреть. Этот свет открытой печной двери и был единственным светом в нашем доме. Пока не выпал снег, домик продувало насквозь, но кругом стен нагребли снега, залили водой — и зимовка наша была готова. Дверь завешивалась обрывком брезента.

Здесь, в этом самом сарае, я и встретился с Романом Романовичем. Он не узнал меня. Одет он был как «огонь», как говорят блатные — и всегда метко,— клочья ваты торчали из телогрейки, из брюк, из шапки. Немало раз, верно, приходилось Роману Романовичу бегать «за уголечком», чтобы разжечь папиросу какого-нибудь блатаря... Глаза его блестели голодным блеском, а щеки были такими же румяными, как и раньше, только не напоминали воздушные шары, а туго обтягивали скулы. Роман Романович лежал в углу и с шумом втягивал в себя воздух. Подбородок его поднимался и опускался.

— Кончается,— сказал Денисов, сосед его.— У него портянки хорошие.— И, ловко сдернув с ног умирающего бурки, Денисов отмотал еще крепкие зеленые одеяльные портянки.— ...Вот так,— сказал он, грозно глядя на меня. Но мне было все равно.

Труп Романова выносили, когда нас выстраивали перед разводом на работу. Шапки у него тоже не было. Полы расстегнутого бушлата волочились по земле.

Умер ли Володя Добровольцев, пойнтист? Пойнтист — работа это или национальность? Это была работа, вызывающая зависть в бараках пятьдесят восьмой статьи. Отдельные бараки для политических в общем лагере, где были бараки и «бытовиков» и уголовников-рецидивистов, за общей проволокой, были, конечно, юридическим издевательством. От нападений шпаны и кровавых блатных расчетов это никого не защищало.

Пойнт — это железная труба с горячим паром. Этот горячий пар разогревает каменную породу, смерзшийся галечник; рабочий время от времени выгребает разогретый камень металлической ложкой величиной

с человеческую ладонь, с трехметровой рукояткой.

Работа считается квалифицированной, поскольку пойнтист должен открывать и закрывать краны с горячим паром, который идет по трубам из будки, от бойлера — примитивного парового приспособления. Быть бойлеристом еще лучше, чем пойнтистом. Не всякий инженер-механик с пятьдесят восьмой статьей мог мечтать о подобной работе. И не потому, что это было квалификацией. Чистой случайностью было то, что из тысяч людей на эту работу был направлен Володя. Но это преобразило его. Ему не приходилось думать о том, как бы согреться — вечная мысль... Леденящий холод не пронизывал все его существо, не останавливал работу мозга. Горячая труба спасала его. Вот почему все и завидовали Добровольцеву.

Были разговоры о том, что неспроста он сделан пойнтистом — это верное доказательство, что он осведомитель, шпион... Конечно, блатные всегда говорили — раз санитаром работает в лагере — значит, пил трудовую кровь, и цену подобным суждениям люди знали: зависть — плохая советчица. Володя сразу как-то безмерно вырос в наших глазах, как будто среди нас обнаружился замечательный скрипач. А то, что Добровольцев — это надо было по условиям работы — уходил один и выходил из лагеря через вахту, открыв вахтенное окошечко, кричал туда свой номер «двадцать пять» таким радостным голосом, громким голосом — от этого мы уже давно отвыкли.

Иногда он работал близ нашего забоя. И мы, по праву знакомства, бегали по очереди греться к трубе. Труба была дюйма в полтора в диаметре, ее можно было охватить рукой, сжать в кулаке, и тепло ощутимо переливалось из рук в тело, и не было сил оторваться, чтобы возвращаться в забой, в мороз...

Володя не гнал нас, как другие пойнтисты. Никогда он не говорил нам ни слова, хотя я знаю, что пойнтистам было запрещено пускать греться около труб нашего брата. Он стоял, окруженный облаками густого белого пара. Одежда его заледенела. Каждая ворсинка бушлата блестела как хрустальная игла. Он никогда с нами не разговаривал — все же цена этой работы была, очевидно, слишком дорогой.

. . . .

В рождественский вечер этого года мы сидели у печки. Железные ее бока по случаю праздника были краснее, чем обыкновенно. Человек ощущает разницу температуры мгновенно. Нас, сидящих за печкой, тянуло в сон, в лирику.

— Хорошо бы, братцы, вернуться нам домой. Ведь бывает же чудо...— сказал коногон Глебов, бывший профессор философии, известный в нашем бараке тем, что месяц назад забыл имя своей жены.— Только, чур, правду.

— Домой?

— Да.

— Я скажу правду,— ответил я.— Лучше бы в тюрьму. Я не шучу. Я не хотел бы сейчас возвращаться в свою семью. Там никогда меня не поймут, не смогут понять. То, что им кажется важным — я знаю, что это пустяк. То, что важно мне — то немногое, что у меня осталось — ни понять, ни почувствовать им не дано. Я принесу им новый страх, еще один страх к тысяче страхов, переполняющих их жизнь. То, что я видел — человеку не надо видеть и даже не надо знать.

Тюрьма — это другое дело. Тюрьма — это свобода. Это единственное место, которое я знаю, где люди не боясь говорили все, что они думали. Где они отдыхали душой. Отдыхали телом, потому что не работали. Там каждый час существования был осмыслен.

— Ну, замолол,— сказал бывший профессор философии.— Это потому, что тебя на следствии не били. А кто прошел через метод номер три, те другого мнения... Ну а ты, Петр Иваныч, что скажешь?

Петр Иванович Тимофеев, бывший директор уральского треста, улыбнулся и подмигнул Глебову.

— Я вернулся бы домой, к жене, к Агнии Михайловне. Купил бы ржаного хлеба — буханку! Сварил бы каши из магара — ведро! Суп-галушки — тоже ведро! И я бы ел все это. Впервые в жизни наелся бы досыта этим добром, а остатки заставил бы есть Агнию Михайловну.

— А ты? — обратился Глебов к Звонкову, забойщику нашей бригады, а в первой своей жизни — крестьянину не то Ярославской, не то Костромской области.

— Домой,— серьезно, без улыбки, ответил Звонков.— Кажется, пришел бы сейчас и ни на шаг бы от жены не отходил. Куда она, туда и я, куда она, туда и я.



Вот только работать меня здесь отучили,— потерял я любовь к земле. Ну, устроюсь где-либо...

— А ты? — рука Глебова тронула колено нашего дневального.

— Первым делом пошел бы в райком партии. Там, я помню, окурков бывало на полу — бездна...

— Да ты не шути...

— Я и не шучу.

Вдруг я увидел, что отвечать осталось только одному человеку. И этим человеком был Володя Добровольцев. Он поднял голову, не дожидаясь вопроса. В глаза ему падал свет рдеющих углей из открытой дверцы печки — глаза были живыми, глубокими.

— А я,— и голос его был покоен и нетороплив,— хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами.

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

Как это началось? В какой из зимних дней изменился ветер и все стало слишком страшным? Осенью мы еще рабо...

Как это началось? Бригаду Клюева задержали на работе. Неслыханный случай. Забой был оцеплен конвоем. Забой — это разрез, яма огромная, по краю которой и встал конвой. А внутри копошились люди, торопясь, подгоняя друг друга. Одни — с затаенной тревогой, другие — с твердой верой, что этот день — случайность, этот вечер — случайность. Придет рассвет, утро — и все развеется, все выяснится, и жизнь пойдет хотя и по-лагерному, но по-прежнему. Задержка на работе. Зачем? Пока не выполнят дневного задания. Тонко визжала метель, мелкий сухой снег бил по щекам, как песок. В треугольных лучах «юпитеров», подсвечивающих ночные забои, снег крутился, как пылинки в солнечном луче, был похож на пылинки в солнечном луче у дверей отцовского сарая. Только в детстве все было маленькое, теплое, живое. Здесь все было огромное, холодное и злобное. Скрипели деревянные короба, в которых

вывозили грунт к отвалам. Четыре человека хватали короб, толкали, тащили, катили, пихали, волокли короб к краю отвала, разворачивали и опрокидывали, высыпая мерзлый камень на обрыв. Камни негромко катились вниз. Вон — Крупянский, вон Нейман, вон сам бригадир Клюев. Все спешат, но нет конца работе. Уже было около одиннадцати часов вечера, а гудок был в пять — приисковая сирена прогудела в пять, провизжала в пять, когда бригаду отпустили «домой». «Домой» — в барак. А завтра в пять утра — подъем и новый рабочий день и новый дневной план. Наша бригада сменяла клюевскую в этом забое. Сегодня нас поставили на работу в соседний забой, и только в двенадцать ночи мы сменили бригаду Клюева.

Как это началось? На прииск вдруг приехало много, очень много «бойцов». Два новых барака, рубленых барака, которые строили заключенные для себя — были отданы охране. Мы остались зимовать в палатках — рваных брезентовых палатках, пробитых камнями от взрывов в забое. Палатки были утеплены: в землю были врыты столбы и на рейки натянут толь. Между палаткой и толем — слой воздуха. Зимой, говорят, снегом забьете. Но все это было после. Наши бараки были отданы охране — вот суть события. Охране бараки не понравились, ведь это были бараки из сырого леса — лиственница дерево коварное, людей не любит, стены, полы и потолки за целую зиму не высохнут. Это все понимали заранее — и те, чьими боками предполагалось сушить бараки, и те, кому бараки достались случайно. Охрана приняла свое бедствие как должную северную трудность.

Зачем на прииске «Партизан» охрана? Прииск небольшой — всего две-три тысячи заключенных в 1937 году. Соседи «Партизана» — прииск «Штурмовой» и Берзино (будущий Верхний Ат-Урях) были городами с населением двенадцать — четырнадцать тысяч человек заключенных. Разумеется, смертные вихри 1938 года существенно эти цифры изменили. Но все это было после. А сейчас — зачем «Партизану» охрана? В 1937 году на прииске «Партизан» был единственный бессменный дежурный «боец», вооруженный наганом, легко наводивший порядок в смиренном царстве «троцкистов». Блатари? Дежурный смотрел сквозь пальцы на милые проделки блатарей, на их грабительские экспедиции и гастроли — и дипломатически отсутствовал в особенно

острых случаях. Все было «тихо». А теперь вдруг видимо-невидимо конвоиров. Зачем?

Вдруг увезли куда-то целую бригаду отказчиков от работы — «троцкистов», которые по тем временам, впрочем, не назывались отказчиками, а гораздо мягче — «неработающими». Они жили в отдельном бараке посреди поселка, неогороженного поселка заключенных, который тогда и не назывался так страшно, как в будущем, в очень скором будущем — «зоной». «Троцкисты» на законном основании получали шестьсот граммов хлеба в день и приварок, какой положено, и не работали вполне официально. Любой арестант мог присоединиться к ним, перейти в неработающий барак. Осенью тридцать седьмого года в этом бараке жило семьдесят пять человек. Все они внезапно исчезли, ветер ворочал незакрытой дверью, а внутри была нежилая черная пустота.

Вдруг оказалось, что казенного пайка, пайки — не хватает, что очень хочется есть, а купить ничего нельзя, а попросить у товарища — нельзя. Селедку, кусок селедки еще можно попросить у товарища, но хлеб? Внезапно стало так, что никто никого не угощал ничем, все стали есть, что-то жевать украдкой, наскоро, в темноте, нащупывая в собственном кармане хлебные крошки. Поиски этих крошек стали почти автоматическим занятием человека в любую свободную его минуту. Но свободных минут становилось все меньше и меньше. В сапожной мастерской вечно стояла огромная бочка с рыбьим жиром. Бочка была ростом с полчеловека, и все желающие совали в эту бочку грязные тряпки и мазали свои ботинки. Не сразу я догадался, что рыбий жир — это жир, масло, питание, что эту сапожную смазку можно есть,— озарение было подобно Архимедовой эврике. Я бросился, то есть поплелся в мастерскую. Увы — бочки в мастерской давно уже не было, другие люди уже шли той же дорогой, на которую я только-только вступал.

На прииск были привезены собаки, немецкие овчарки. Собаки?

Как это началось? За ноябрь забойщикам не заплатили денег. Я помню, как в первые дни работы на прииске, в августе и сентябре, около нас, работяг, останавливался горный смотритель — название это уцелело, должно быть, с некрасовских времен — и говорил: плохо, ребята, плохо. Так будете работать — и домой посылать

будет нечего. Прошел месяц, и выяснилось, что у каждого был какой-то заработок. Одни послали деньги домой почтовым переводом, успокаивая свои семьи. Другие покупали на эти деньги в лагерном магазине, в ларьке, папиросы, молочные консервы, белый хлеб... Все это внезапно, вдруг кончилось. Порывом ветра пронесся слух, «параша», что больше денег платить не будут. Эта «параша», как и все лагерные «параши», полностью подтвердилась. Расчет будет только питанием. Наблюдать за выполнением плана, кроме лагерных работников, им же имя легион, и кроме производственного начальства, умноженного в достаточное количество раз,— будет вооруженная лагерная охрана, бойцы.

Как это началось? Несколько дней дула пурга, автомобильные дороги были забиты снегом, горный перевал был закрыт. В первый же день, как прекратился снегопад — во время метели мы сидели дома — после работы нас повели не «домой». Окруженные конвоем, мы шли не спеша нестройным арестантским шагом, шли не один час, по каким-то неведомым тропам двигаясь к перевалу, все вверх, вверх — усталость, крутизна подъема, разреженность воздуха, голод, злоба — все останавливало нас. Крики конвоиров подбодряли нас как плети. Уже наступила полная темнота, беззвездная ночь, когда мы увидели огни многочисленных костров на дорогах близ перевала. Чем глубже становилась ночь, тем ярче горели костры, горели пламенем надежды, надежды на отдых и еду. Нет, эти костры были зажжены не для нас. Это были костры конвоиров. Множество костров в сорокаградусном, пятидесятиградусном морозе. На три десятка верст змеились костры. И где-то внизу в снеговых ямах стояли люди с лопатами и расчищали дорогу. Снеговые борта узкой траншеи поднимались на пять метров. Снег кидали снизу вверх по террасам, перекидывая дважды, трижды. Когда все люди были расставлены и оцеплены конвоем — змейкой костровых огней,— рабочие были предоставлены сами себе. Две тысячи людей могли не работать, могли работать плохо или работать отчаянно — никому до этого не было дела. Перевал должен быть очищен, и пока он не будет очищен — никто не тронется с места. Мы стояли в этой снеговой яме много часов, махая лопатами, чтобы не замерзнуть. В эту ночь я понял одну странную вещь, сделал наблюдение, много раз потом подтвержденное. Труден, мучительно труден и

тяжел десятый, одиннадцатый час такой «добавочной» работы, а после перестаешь замечать время — и Великое Безразличие овладевает тобой — часы идут как минуты, еще скорее минут. Мы вернулись «домой» после двадцати трех часов работы — есть вовсе не хотелось, и соединенный суточный приварок все ели необычно лениво. С трудом удалось заснуть.

Три смертных вихря скрестились и клокотали в снежных забоях золотых приисков Колымы в зиму тридцать седьмого — тридцать восьмого года. Первым вихрем было «берзинское дело». Директор Дальстроя, открыватель лагерной Колымы Эдуард Берзин был расстрелян как японский шпион в конце тридцать седьмого года. Вызван в Москву и расстрелян. С ним вместе погибли его ближайшие помощники — Филиппов, Майсурадзе, Егоров, Васьков, Цвирко — вся гвардия «вишерцев», приехавшая вместе с Берзиным для колонизации Колымского края в 1932 году. Иван Гаврилович Филиппов был начальником УСВИТЛа[1], заместителем Берзина по лагерю. Старый чекист, член коллегии ОГПУ, Филиппов был когда-то председателем «разгрузочной тройки» на Соловецких островах. Есть документальный кинофильм двадцатых годов «Соловки». Вот в этой картине и снят Иван Гаврилович в своей тогдашней главной роли. Филиппов умер в Магаданской тюрьме — сердце не выдержало.

«Дом Васькова» — так называлась и называется по сей день Магаданская тюрьма, которую строили в начале тридцатых годов,— потом из деревянной тюрьма превратилась в каменную, сохранив свое выразительное название,— начальник был по фамилии Васьков. На Вишере Васьков — человек одинокий — проводил выходные дни всегда одинаково: садился на скамейку в саду или в лесочке, заменявшем сад, и стрелял целый день по листьям из мелкокалиберной винтовки. Алексей Егоров — «рыжий Лешка», как его звали на Вишере, был на Колыме начальником производственного управления, объединяющего несколько золотых приисков, кажется, Южного управления. Цвирко был начальником Северного управления, куда входил и прииск «Партизан». В 1929 году Цвирко был начальником погранзаставы и приехал в отпуск в Москву. Здесь после ресто-

[1] Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей.

ранного кутежа Цвирко открыл стрельбу по колеснице Аполлона над входом в Большой театр — и очнулся в тюремной камере. С его одежды были спороты петлицы, пуговицы. Среди арестантского этапа Цвирко весной 1929 года прибыл на Вишеру и отбывал там положенный трехлетний срок. С приездом на Вишеру Берзина в конце 1929 года карьера Цвирко быстро пошла вверх. Цвирко, еще заключенным, стал начальником командировки «Парма». Берзин не чаял в нем души и взял его с собой на Колыму. Расстрелян Цвирко, говорят, в Магадане. Майсурадзе — начальник УРО, отбывший когда-то срок «за разжигание национальной розни», освободившийся еще на Вишере, тоже был одним из любимцев Берзина. Арестован он был в Москве, во время отпуска, и тогда же расстрелян.

Все эти мертвые — люди из ближайшего берзинского окружения. По «берзинскому делу» арестованы и расстреляны или награждены «сроками» многие тысячи людей, вольнонаемных и заключенных — начальники приисков и лагерных отделений, лагпунктов, воспитатели и секретари парткомов, десятники и прорабы, старосты и бригадиры... Сколько тысячелетий выдано «срока» лагерного и тюремного? Кто знает...

В удушливом дыму провокаций колымское издание сенсационных московских процессов, «берзинское дело», выглядело вполне респектабельно.

Вторым вихрем, потрясшим колымскую землю, были нескончаемые лагерные расстрелы, так называемая «гаранинщина». Расправа с «врагами народа», расправа с «троцкистами».

Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные-музыканты из «бытовиков» играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензинные факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова. И в то же время — будто и не о нас шла речь. Все было как бы чужое, слишком страшное, чтобы быть реальностью. Но туш существовал, гремел. Музыканты обмораживали губы, прижатые к горловинам флейт, серебряных геликонов, корнет-а-пистонов. Папиросная бумага покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стряхивал снежин-

ки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Каждый список кончался одинаково: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин».

Я видел Гаранина раз пятьдесят. Лет сорока пяти, широкоплечий, брюхатый, лысоватый, с темными бойкими глазами, он носился по северным приискам день и ночь на своей черной машине ЗИС-110. После говорили, что он лично расстреливал людей. Никого он не расстреливал лично — а только подписывал приказы. Гаранин был председателем расстрельной тройки. Приказы читались день и ночь: «Приговор приведен в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин». По сталинской традиции тех лет, Гаранин должен был скоро умереть. Действительно он был схвачен, арестован, осужден как японский шпион и расстрелян в Магадане.

Ни один из многочисленных приговоров гаранинских времен не был никогда и никем отменен. Гаранин — один из многочисленных сталинских палачей, убитый другим палачом в нужное время.

«Прикрывающая» легенда была выпущена в свет, чтобы объяснить его арест и смерть. Настоящий Гаранин якобы был убит японским шпионом на пути к месту службы, а разоблачила его сестра Гаранина, приехавшая к брату в гости.

Легенда — одна из сотен тысяч сказок, которыми сталинское время забивало уши и мозг обывателей.

За что же расстреливал полковник Гаранин? За что убивал? «За контрреволюционную агитацию» — так назывался один из разделов гаранинских приказов. Что такое «контрреволюционная агитация» на воле в 1937 году — рассказывать никому не надо. Похвалил русский заграничный роман — десять лет «аса»[1]. Сказал, что очереди за жидким мылом чересчур велики — пять лет «аса». И по русскому обычаю, по свойству русского характера, каждый, получивший пять лет — радуется, что не десять. Десять получит — радуется, что не двадцать пять, а двадцать пять получит — пляшет от радости, что не расстреляли.

В лагере этой лестницы — пять, десять, пятнадцать — нет. Сказать вслух, что работа тяжела — достаточно

[1] Антисоветская агитация.

для расстрела. За любое самое невинное замечание в адрес Сталина — расстрел. Промолчать, когда кричат «ура» Сталину — тоже достаточно для расстрела. Молчание — это агитация — это известно давно. Списки будущих, завтрашних мертвецов составлялись на каждом прииске следователями из доносов, из сообщений своих «стукачей», осведомителей, и многочисленных добровольцев, оркестрантов известного лагерного оркестра — октета — «семь дуют, один стучит»,— пословицы блатного мира афористичны. А самого «дела» не существовало вовсе. И следствия никакого не велось. К смерти приводили протоколы «тройки» — известного учреждения сталинских лет.

И хотя перфокарты еще не были тогда известны, лагерные статистики пытались облегчить себе труд, выпуская в свет «формуляры» с особыми метками. «Формуляр» с синей полосой по диагонали имели «личные дела» «троцкистов». Зеленые (или лиловые?) полосы были у «рецидивистов» — разумеется, рецидивистов политических. Учет есть учет. Собственной кровью каждого его формуляр не закрасишь.

Еще за что расстреливали? «За оскорбление лагерного конвоя». Это что такое? Тут речь шла о словесном оскорблении, о недостаточно почтительном ответе, любом «разговоре» — в ответ на побои, удары, толчки. Всякий излишне развязный жест заключенного в разговоре с конвоиром трактовался как «нападение на конвой»...

«За отказ от работы». Очень много людей погибло, так и не поняв смертельной опасности своего поступка. Бессильные старики, голодные, измученные люди не в силах были сделать шаг в сторону от ворот при утреннем разводе на работу. Отказ оформляли актами. «Обут, одет по сезону». Бланки таких актов печатались на стеклографе, на богатых приисках даже в типографии заказывали бланки, куда достаточно было вставить только фамилию и данные: год рождения, статью, срок... Три отказа — и расстрел. По закону. Много людей не могли понять главного лагерного закона — ведь для него и лагеря выдуманы,— что нельзя в лагере отказываться от работы, что отказ трактуется как самое чудовищное преступление, хуже всякого саботажа. Надо хоть из последних сил, но доползти до места работы. Десятник распишется за «единицу», за «трудовую единицу», и производство даст «акцепт». И ты спасен. На

сегодняшний день от расстрела. А на работе можешь вовсе не работать, да ты и не можешь работать. Выдержи муку этого дня до конца. На производстве ты сделаешь очень немного, но ты не «отказчик». Расстрелять тебя не могут. «Прав», говорят, у начальства в этом случае нет. Есть ли такое «право», я не знаю, но много раз много лет я боролся с собой, чтобы не отказаться от работы, стоя в воротах зоны на лагерном разводе.

«За кражу металла». Всех, у кого находили «металл», расстреливали. Позднее — щадили жизнь, давали только срок дополнительный — пять, десять лет. Множество самородков прошло через мои руки — прииск «Партизан» был очень «самородным», но никакого другого чувства, кроме глубочайшего отвращения, золото во мне не вызывало. Самородки ведь надо уметь видеть, учиться отличать от камня. Опытные рабочие обучали этому важному уменью новичков — чтоб не бросали в тачку золото, чтоб не орал смотритель бутары: «Эй, вы, раззявы! Опять самородки на промывку загнали». За самородки платили заключенным премию — по рублю с грамма, начиная с пятидесяти одного грамма. Весов в забое нет. Решить — сорок или шестьдесят граммов найденный тобой самородок,— может только смотритель. Дальше бригадира мы ни к кому не обращались. «Забракованных» самородков я находил много, а к оплате был представлен два раза. Один самородок весил шестьдесят граммов, а другой — восемьдесят. Никаких денег я, разумеется, на руки не получил. Получил только карточку «стахановскую» на декаду да по щепотке махорки от десятника и от бригадира. И на том спасибо.

Последняя, самая многочисленная «рубрика», по которой расстреляно множество людей: «За невыполнение нормы». За это лагерное преступление расстреливали целыми бригадами. Была подведена и теоретическая база. По всей стране в это время государственный план «доводили» до станка — на фабриках и заводах. На арестантской Колыме план доводили до забоя, до тачки, до кайла. Государственный план — это закон! Невыполнение государственного плана — контрреволюционное преступление. Не выполнивших норму — на луну!

Третий смертный вихрь, уносивший больше арестантских жизней, чем первые два, вместе взятые, была повальна смертность — от голода, от побоев, от болезней.

В этом третьем вихре огромную роль сыграли блатари, уголовники, «друзья народа».

За весь 1937 год на прииске «Партизан» со списочным составом две-три тысячи человек умерло два человека — один вольнонаемный, другой заключенный. Они были похоронены рядом под сопкой. На обеих могилах было нечто вроде обелисков — у вольного повыше, у заключенного пониже. В 1938 году на рытье могил стояла целая бригада. Камень и вечная мерзлота не хотят принимать мертвецов. Надо бурить, взрывать, выбрасывать породу. Рытье могил и «битье» разведочных шурфов очень похожи по приемам работы, по инструменту, материалу и «исполнителям». Целая бригада стояла только на рытье могил, только общих, только «братских», с безымянными мертвецами. Впрочем, не совсем безымянными. По инструкции, перед «захоронением» нарядчик, как представитель лагерной власти, привязывал фанерную бирку с номером «личного дела» к левой лодыжке голого мертвеца. Закапывали всех голыми — еще бы! Выломанные, опять-таки по инструкции, золотые зубы вписывались в специальный акт захоронения. Яму с трупами заваливали камнями, но земля не принимала мертвецов: им суждена была нетленность — в вечной мерзлоте Крайнего Севера.

Врачи боялись написать в диагнозах истинную причину смерти. Появились «полиавитаминозы», «пеллагра», «дизентерия», «РФИ» — почти «Загадка Н.Ф.И.», как у Андроникова. Здесь РФИ — «резкое физическое истощение», шаг к правде. Но такие диагнозы ставили только смелые врачи, не заключенные. Формула «алиментарная дистрофия» произнесена колымскими врачами много позже — уже после ленинградской блокады, во время войны, когда сочли возможным хоть и по-латыни, но назвать истинную причину смерти. «Горение истаявшей свечи, все признаки и перечни сухие того, что по-ученому врачи зовут алиментарной дистрофией. И что не латинист и не филолог определяет русским словом «голод». Эти строки Веры Инбер я повторял неоднократно. Вокруг меня давно не было тех людей, которые любили стихи. Но эти строки звучали для каждого колымчанина.

Работяг били все: дневальный, парикмахер, бригадир, воспитатель, надзиратель, конвоир, староста, завхоз, нарядчик — любой. Безнаказанность побоев — как и безнаказанность убийств — развращает, растлевает

души людей — всех, кто это делал, видел, знал... Конвой отвечал тогда, по мудрой мысли какого-то высшего начальства — за выполнение плана. Поэтому конвоиры побойчей выбивали прикладами план. Другие конвоиры поступали еще хуже — возлагали эту важную обязанность на блатарей, которых всегда вливали в бригады пятьдесят восьмой статьи. Блатари не работали. Они обеспечивали выполнение плана. Ходили с палкой по забою — эта палка называлась «термометром», и избивали безответных «фрайеров». Забивали и до смерти. Бригадиры из своих же товарищей, всеми способами стараясь доказать начальству, что они, бригадиры,— с начальством, не с арестантами, бригадиры старались забыть, что они — политические. Да они не были никогда политическими. Как, впрочем, и вся пятьдесят восьмая статья тогдашняя. Безнаказанная расправа над миллионами людей потому-то и удалась, что это были невинные люди.

Это были мученики, а не герои.

ПОЧЕРК

Поздно ночью Криста вызвали «за конбазу». Так звали в лагере домик, прижавшийся к сопке у края поселка. Там жил следователь «по особо важным делам», как острили в лагере, ибо в лагере не было «дел» не особо важных — каждый проступок, и видимость проступка, мог быть наказан смертью. Или смерть, или полное оправдание. Впрочем, кто мог рассказать о своем полном оправдании. Готовый ко всему, безразличный ко всему, Крист шел по узкой тропе. Вот в домике-кухне зажегся свет — это хлеборез, наверное, сейчас начнет нарезать пайки к завтраку. К завтрашнему завтраку. Будут ли завтрашний день и завтрашний завтрак у Криста? Он этого не знал и радовался своему незнанию. Под ноги Кристу попалось что-то, непохожее на снег или льдинку. Крист нагнулся, поднял мерзлую корочку и сразу понял, что это — шелуха репы, обледеневшая корка репы. Лед уже растаял в руках, и Крист затолкал корочку в рот. Спешить явно не стоило. Крист обошел всю тропу, начиная от края бараков, понимая,

он, Крист, проходит первым по этой длинной снежной дороге, что еще никто до него не проходил здесь, по краю поселка, к следователю сегодня. По всей дороге к снегу примерзли, как завернутые в целлофан, кусочки репы. Крист отыскал их целых десять кусочков — одни больше, другие меньше. Давно уж Крист не видел людей, которые бросали бы в снег корки от репы. Это был не заключенный, вольнонаемный, конечно. Может быть, сам следователь. Крист разжевал и съел все эти корки — во рту его запахло чем-то давно забытым — родной землей, живыми овощами, и с радостным настроением Крист постучал в дверь домика следователя.

Следователь был невысок, худощав, небрит. Здесь был только его служебный кабинет и железная койка, покрытая солдатским одеялом, и скомканная грязная подушка... Стол — самодельный письменный стол с перекошенными выдвижными ящиками, туго набитыми бумагами, какими-то папками. На подоконнике ящик с карточками. Этажерка тоже завалена туго набитыми папками. Пепельница из половины консервной банки. Часы-ходики на окне. Часы показывали половину одиннадцатого. Следователь растапливал бумагой железную печку.

Следователь был белокож, бледен, как все следователи. Ни дневального, ни револьвера.

— Садитесь, Крист,— сказал следователь, называя заключенного на «вы», и подвинул ему старую табуретку. Сам он сидел на стуле — самодельном стуле с высокой спинкой.

— Я просмотрел ваше дело,— сказал следователь,— и у меня есть к вам одно предложение. Не знаю, подойдет ли это вам.

Крист замер в ожидании. Следователь помолчал.

— Я должен знать о вас еще кое-что.

Крист поднял голову и никак не мог сдержать отрыжки. Приятной отрыжки — неудержимого вкуса свежей репы.

— Напишите заявление.

— Заявление?

— Да, заявление. Вот листок бумаги, вот перо.

— Заявление? О чем? Кому?

— Да кому угодно! Ну, не заявление, так стихотворение Блока. Ну, все равно. Поняли? Или «Птичку» пушкинскую:

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей.
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей,—

продекламировал следователь.

— Это не пушкинская «Птичка»,— напрягая все силы своего иссушенного мозга, прошептал Крист.

— А чья же?

— Туманского.

— Туманского? Первый раз слышу.

— А-а, вам нужна экспертиза какая-нибудь? Не я ли кого-нибудь убил. Или написал письмо на волю. Или изготовил магазинный чек для блатных.

— Совсем нет. Экспертизы такого рода нас не затрудняют.— Следователь улыбнулся, обнажив вспухшие десны, мелкие зубы, кровоточащие десны. Как бы ни была ничтожна эта сверкнувшая улыбка, она прибавила немножко свету в комнате. И в душе Криста тоже. Крист невольно поглядел следователю в рот.

— Да,— сказал следователь, поймав этот взгляд.— Цинга, цинга. Цинга здесь и вольных не оставляет. Свежих овощей нет.

Крист подумал о репе. Витамины — их больше в корке репы, чем в мякоти — достались Кристу, а не следователю. Крист хотел поддержать этот разговор, рассказать о том, как он обсасывал, обгладывал корки репы, брошенные следователем, но не решился, боясь, что начальство осудит за чрезмерную развязность.

— Так поняли или нет? Мне нужно посмотреть ваш почерк.

Крист все еще ничего не понимал.

— Пишите! — диктовал следователь.— «Начальнику прииска. Заключенного Криста, год рождения, статья, срок, заявление. Прошу перевести меня на более легкую работу...» Достаточно.

Следователь взял недописанное заявление Криста, разорвал его и бросил в огонь... Свет печки на мгновение стал ярче.

— Садитесь к столу. С краюшка.

У Криста был каллиграфический, писарский почерк, который ему самому очень нравился, а все его товарищи смеялись, что почерк не похож на профессорский, докторский. Это не почерк ученого, писателя, поэта. Это почерк кладовщика. Смеялись, что Крист мог бы сделать

карьеру царского писаря, о котором рассказывал Куприн.

Но Криста эти насмешки не смущали, и он продолжал сдавать на машинку четко переписанные рукописи. Машинистки одобряли, но втайне посмеивались.

Пальцы, привыкшие к кайлу, к черенку лопаты, никак не могли ухватить ручку, но в конце концов это удалось.

— У меня беспорядок, хаос,— говорил следователь.— Я сам понимаю. Но вы ведь поможете наладить.

— Конечно, конечно,— сказал Крист. Печка уже разгорелась, и в комнате было тепло.— Закурить бы...

— Я некурящий,— сказал следователь грубо.— И хлеба у меня тоже нет. На работу завтра вы не пойдете. Я скажу нарядчику.

Так несколько месяцев раз в неделю Крист приходил в нетопленное, неуютное жилище лагерного следователя, переписывал бумаги, подшивал.

Бесснежная зима тридцать седьмого — восьмого года уже вошла в бараки всеми своими смертными ветрами. Каждую ночь по бараку бегали нарядчики, отыскивая и будя людей по каким-то спискам «в этап». Из этапов и раньше-то не возвращались, а тут перестали и думать о всех этих ночных делах — этап так этап — работа была слишком тяжела, чтобы думать о чем-либо.

Увеличились часы работы, появился конвой, но неделя проходила, и Крист, еле живой, добирался до знакомого кабинета следователя и подшивал, подшивал бумаги. Крист перестал умываться, перестал бриться, но следователь словно не замечал впалых щек и воспаленного взгляда голодного Криста. А Крист все писал, все подшивал. Количество бумаг и папок все росло и росло, их никак нельзя было привести в порядок. Крист переписывал какие-то бесконечные списки, где были только фамилии, а верх списка был отогнут, и Крист никогда не пытался проникнуть в тайну этого кабинета, хотя было достаточно отогнуть листок, лежащий перед ним. Иногда следователь брал в руки пачку «дел», которые возникали неизвестно откуда, без Криста, и, торопясь, диктовал списки, а Крист писал.

В двенадцать диктовка кончалась, и Крист шел в свой барак и спал, спал — завтрашний развод на работу его не касался. Проходили неделя за неделей, а Крист все худел, все писал.

И вот однажды, взяв в руки очередную папку, чтобы прочитать очередную фамилию, следователь запнулся. И поглядел на Криста и спросил:

— Как ваше имя, отчество?

— Роберт Иванович,— ответил Крист, улыбаясь. Не будет ли следователь звать его «Роберт Иванович» вместо «Крист» или «вы» — это бы не удивило Криста. Следователь был молод, годился в сыновья Кристу. Все еще держа в руках папку и не произнося фамилии, следователь побледнел. Он бледнел, пока не стал белее снега. Быстрыми пальцами следователь перебрал тоненькие бумажки, подшитые в папку — их было не больше и не меньше, чем и в любой другой папке из груды папок, лежащих на полу. Потом следователь решительно распахнул дверку печки, и в комнате сразу стало светло, как будто озарилась душа до дна и в ней нашлось на самом дне что-то очень важное, человеческое. Следователь разорвал папку на куски и затолкал их в печку. Стало еще светлее. Крист ничего не понимал. И следователь сказал, не глядя на Криста:

— Шаблон. Не понимают, что делают, не интересуются.— И твердыми глазами посмотрел на Криста.— Продолжаем писать. Вы готовы?

— Готов,— сказал Крист и только много лет спустя понял, что это была его, Криста, папка.

Уже многие товарищи Криста были расстреляны. Был расстрелян и следователь. А Крист был все еще жив и иногда — не реже раза в несколько лет — вспоминал горящую папку, решительные пальцы следователя, рвущие кристовское «дело» — подарок обреченному от обрекающего.

Почерк Криста был спасительный, каллиграфический.

УТКА

Горный ручей был уже схвачен льдом, а на перекатах ручья уже вовсе не было. Ручей вымерзал с перекатов, и через месяц от летней, грозной, гремящей воды не оставалось ничего, даже лед был вытоптан, измельчен, раздавлен копытами, шинами, валенками. Но ручей был

еще жив, вода в нем еще дышала — белый пар поднимался над полыньями, над проталинами.

Обессилевшая утка-нырок шлепнулась в воду. Стая давно пролетела на юг, утка осталась. Было еще светло, снежно — особенно светло из-за снега, покрывшего весь голый лес, все до горизонта. Утка хотела отдохнуть, немного отдохнуть, потом подняться и лететь — туда, вслед стае.

У нее не было сил лететь. Стопудовая тяжесть крыльев гнула ее к земле, но на воде она нашла опору, спасенье — вода на полыньях показалась ей живой рекой.

Но не успела утка оглядеться, передохнуть, как тонкий ее слух уловил звук опасности. Да не звук — грохот.

Сверху, со снежной горы, обрываясь на мерзлых, еще застывающих к вечеру кочках, бегом спускался человек. Он увидел утку давно и следил за ней с тайной надеждой, и вот надежда сбылась — утка опустилась на лед.

Человек подкрадывался к ней, но оступился, утка заметила его, и тогда человек побежал не таясь, а утка не могла лететь — устала. Ей нужно было только подняться вверх, и, кроме злобных угроз, ничего бы ей не угрожало. Но чтоб подняться в небо, нужны силы в крыльях, а утка слишком устала. Она сумела только нырнуть, исчезла в воде, и человек, вооруженный тяжелым каким-то суком, остановился у полыньи, куда нырнула утка, ждал ее возвращения. Ведь надо же будет утке дышать.

В двадцати метрах тоже была такая же полынья, и человек, ругаясь, увидел, что утка проплыла подо льдом и вылезла в другую полынью. Но летать она и там не могла. И секунды тратила она на отдых.

Человек попробовал обломать, раздавить лед, но обувь его из тряпок не годилась.

Он бил палкой по синему льду — лед чуть крошился, но не ломался. Человек обессилел и, тяжело дыша, сел на лед.

Утка плавала в полынье. Человек побежал, ругаясь и бросая камнями в утку, и утка нырнула и появилась в первой полынье.

Так они бегали — человек и утка, пока не стемнело.

Была пора возвращаться в барак с неудачной охоты, случайной охоты. Человек пожалел, что потратил силы

на это безумное преследование. Голод не давал подумать как следует, составить надежный план, чтобы обмануть утку, нетерпение голода подсказало неверный путь, плохой план. Утка осталась на льду, в полынье. Пора было возвращаться в барак. Человек ловил утку не затем, чтобы сварить птичье мясо и съесть. Утка ведь птица, мясо, не правда ли? Сварить в жестяном котелке или еще лучше — закопать в золу костра. Обмазать глиной утку и зарыть ее в горящую лиловую золу или просто бросить в костер. Костер прогорит, и глиняная оболочка утки лопнет. Внутри будет горячий скользкий жир. Жир потечет на руки, будет стынуть на губах. Нет, вовсе не для этого ловил человек утку. Смутно, туманно в его мозгу вставали, строились другие зыбкие планы. Отнести эту утку в подарок десятнику, и тогда десятник вычеркнет человека из зловещего списка, который составлялся ночью. Об этом списке знал весь барак, и человек старался не думать о невозможном, о недоступном, как бы избавиться от этапа, как бы остаться здесь, на этой командировке. Здешний голод можно было еще терпеть, а человек никогда не искал лучшего от хорошего.

Но утка осталась в полынье. Человеку очень трудно было самому принимать решение, совершить поступок, действие, какому не научила его повседневная жизнь. Его не учили погоне за уткой. Оттого и движения его были беспомощны, неумелы. Его не учили думать о возможности такой охоты — мозг не умел правильно решать неожиданные вопросы, которые задавала жизнь. Его учили жить, когда собственного решения не надо, когда чужая воля, чья-то воля управляет событиями. Необычайно трудно вмешаться в собственную судьбу, «преломить» судьбу. Может быть, все к лучшему — утка умирает в полынье, человек в бараке.

Замерзшие, поцарапанные о лед пальцы с трудом согрелись за пазухой — человек каждую ладонь, обе ладони засунул за пазуху одновременно, вздрагивая от ноющей боли отмороженных навек пальцев. В голодном его теле было мало тепла, и человек вернулся в барак, протискался к печке и все же не мог согреться. Тело дрожало крупной дрожью неостановимо.

В дверь барака заглянул десятник. Он тоже видел утку, видел охоту мертвеца за умирающей уткой. Десятнику не хотелось уезжать из этого поселка — кто знает,

что его ждет на новом месте. Десятник рассчитывал щедрым подарком — живая утка да «вольные» брюки — умилостивить сердце прораба, который еще спал. Проснувшись, прораб мог вычеркнуть десятника из списка — не того работягу, который поймал утку, а его, десятника.

Прораб, лежа, привычными пальцами разминал папиросу «Ракета». В окно он тоже видел начало охоты. Если утку поймают — плотник сделает клетку, и прораб отвезет утку большому начальнику, вернее, его жене, Агнии Петровне. И будущее прораба обеспечено.

Но утка осталась умирать в полынье. И все пошло так, как будто утка и не залетала в эти края.

БИЗНЕСМЕН

Ручкиных в больнице много. Ручкин — это кличка-примета: повреждена, значит, рука, а не выбиты зубы. Какой Ручкин? Грек? Длинный из седьмой палаты? Этот Коля Ручкин, бизнесмен.

Правая кисть Колиной руки отстрелена взрывом. Коля-самострел — членовредитель. В медицинских отчетах самострелов числят по графе саморубов. В больницу их класть запрещено, если нет высокой, «септической» температуры. У Коли Ручкина была такая температура. Два месяца Коля боролся с заживлением раны, но молодые годы взяли свое — Коле уже недолго быть в больнице. Пора возвращаться на прииск. Но Коля не боится — что ему, однорукому, золотые забои? То время прошло, когда одноруких заставляли «топтать дорогу» для людей и тракторов на лесозаготовках, полный рабочий день в глубоком, рыхлом, хрустальном снегу. Начальство боролось с самострелами как умело. Тогда арестанты стали рвать ноги, вставляя капсюль прямо в валенок и поджигая бикфордов шнур у собственного колена. Еще удобней. «Топтать дорогу» одноруких не стали посылать. Заставят мыть золото лотком — одной рукой? Ну, летом можно будет сходить на денек. Если дождя не будет. И Коля улыбается во весь свой белозубый рот — его зубов цинга не успела прихватить. Вертеть цигарку одной левой рукой Коля Ручкин уже

научился. Почти сытый, отдохнувший в больнице, Коля улыбается, улыбается. Он бизнесмен — Коля Ручкин. Он вечно что-то меняет, носит запрещенную селедку к поносникам, а от них приносит хлеб. Поносникам ведь тоже надо задержаться, притормозиться в больнице. Коля меняет суп на кашу, а кашу на два супа, умеет «переполовинить» доверенную ему для обмена на табак пайку хлеба. Это ему дали лежачие больные — опухшие цинготики, получившие тяжелые переломы,— из палат травматических болезней или — как выговаривал фельдшер Павел Павлович — «драматических болезней», не подозревая горькой иронии своей обмолвки. Счастье Коли Ручкина началось с того дня, когда ему «отстрелило» руку. Почти сыт, почти в тепле. А матюги начальства, угрозы врачей — все это Коля считает пустяками. Да это и есть пустяки.

Несколько раз за эти два блаженных месяца, что Коля Ручкин в больнице, случались странные и страшные вещи. Рука, оторванная взрывом, несуществующая кисть — болела так, как раньше. Коля чувствовал ее всю: пальцы кисти согнуты, сложены в то самое положение, в котором кисть застыла на прииске — по черенку лопаты или рукоятке кайла, не больше и не меньше. Ложку такой рукой трудно было держать, но ложка и не была нужна на прииске — все съедобное можно было выпить «через борт» миски: суп и кашу, кисель и чай. В этих согнувшихся навеки пальцах пайку хлеба можно было удержать. Но Ручкин отрубил, отстрелил их к чертовой матери. Так почему же он чувствует эти согнутые по-приисковому, отстреленные пальцы? Ведь левая его кисть начала месяц назад разгибаться, отгибаться, как ржавый шарнир, получивший снова чуточку смазки, и Ручкин плакал от радости. Он и сейчас, наваливаясь животом на свою левую ладонь, разгибает ее, свободно разгибает. А правая, оторванная — не разгибается. Все это случалось чаще ночью. Ручкин холодел от страха, просыпался, плакал и не решался спросить об этом даже соседей,— а вдруг это что-нибудь значит? Может быть, он сходит с ума.

Боль в отрезанной кисти возникала все реже и реже, мир становился нормальным. Ручкин радовался своему счастью. И улыбался, улыбался, вспоминая, как ловко у него все это получилось.

Вышел из «кабинки» фельдшер Павел Павлович,

держа в руке незакуренную махорочную цигарку, и сел рядом с Ручкиным.

— Огоньку, Павел Павлович? — сгибается перед фельдшером Ручкин.— Один момент!

Ручкин бросается к печке, открывает дверку, левой рукой скидывает на пол несколько мелких горящих углей. Ловко подбросив тлеющий уголек, Ручкин ловит его в свою ладонь и перекатывает уже почерневший, но еще хранящий пламя уголек, отчаянно раздувает его, чтоб огонь не погас, подносит прямо к лицу чуть наклонившегося вперед фельдшера. Фельдшер с силой всасывает воздух, держа во рту цигарку, и наконец прикуривает. Клочья синего дыма всплывают над головой фельдшера. Ноздри Ручкина раздуваются. В палатах просыпаются от этого запаха больные и безнадежно втягивают дым — не дым, а тень, бегущую от дыма...

Всем ясно, что покурить будет оставлено Ручкину. А Ручкин соображает: он сам затянется раза два, а потом отнесет в хирургическое, фрайеру с перебитой спиной. Там Ручкина ждет обеденная паечка — не шутка. А если Павел Павлович оставит побольше, то из «бычка» возникнет новая папироса, которая будет стоить побольше паечки.

— Скоро уж тебе ехать, Ручкин,— не спеша говорит Павел Павлович.— Покантовался ты тут порядочно, припухал на совесть, дело прошлое... Расскажи, как это ты дерзнул? Может, будет что детям рассказать. Если свижусь с ними.

— Да я и не скрываю, Павел Павлович,— говорит Ручкин, а сам соображает. Папиросу, видно, Павел Павлович слабо завернул. Ишь, как вдохнет, втянет дым, так огонь движется и бумага обгорает. Не тлеет цигарка фельдшерская, а горит, как бикфордов шнур. Как бикфордов шнур. Значит, надо рассказывать покороче.

— Ну?

— Утром я встаю, пайку получаю — в курок ее, за пазуху. У нас на целый день пайки давали. Иду к Мишке-взрывнику. «Ну как?» — говорю. «Есть». Отдаю ему всю пайку-восьмисотку и получаю за нее капсюль и кусок шнура. Иду к землякам, в свой барак. Они мне не земляки, а просто так говорится. Федя и какой-то Петро. «Готово?» — спрашиваю. «Готово»,— говорят.

«Давайте сюда». Отдают они мне свои пайки. Я две пайки в курок, за пазуху, и топаем на работу.

На производстве, пока наша бригада инструмент получала, берем головешку из печки, отходим за отвал. Встали теснее, все трое за капсюль держимся — каждый своей правой рукой. Подожгли шнур, чик — и полетели пальцы в сторону. Бригадир кричит: «Что же вы делаете?» Старший конвоя. «Марш в лагерь, в санчасть!» Перевязали нас в санчасти. А потом земляков угнали куда-то, а у меня температура, и я в больницу попал.

Папиросу Павел Павлович почти докурил, но Ручкин увлекся рассказом и чуть не забыл о папиросе.

— А паечки, паечки-то, две, что у тебя остались — съел?

— А как же! Сразу после перевязки и съел. Земляки мои подходили — отломи кусочек. Пошли вы, говорю, к чертовой матери. Это моя коммерция.

КАЛИГУЛА

Записка была получена в РУРе еще до гудка в сумерки. Комендант зажег бензинку, прочел бумагу и торопливо пошел отдать распоряжение. Коменданту ничего не казалось странным.

«Он не того?» — спросил дежурный надзиратель, показывая себе на лоб.

Комендант холодно посмотрел на солдата, и дежурному стало страшно за свое легкомыслие. Он отвел глаза на дорогу.

«Ведут,— сказал он,— сам Ардатьев идет».

Сквозь туман были видны два конвоира с винтовками. За ними возчик вел в поводу серую исхудалую лошадь. Сзади лошади без дороги, прямо по снегу шагал грузный большой человек. Белый овчинный полушубок был распахнут, шапка-барнаулка сбита на затылок. В руке он держал палку и нещадно бил по костлявым, грязным, впавшим бокам лошади. Лошадь дергалась от каждого удара и продолжала плестись, не в силах ускорить шаг.

У проходной будки конвоиры остановили лошадь, и Ардатьев, пошатываясь, вышел вперед. Он сам дышал

как запаленный конь, обдавая запахом спирта вытянувшегося в струнку коменданта.

«Готово?» — прохрипел он.

«Так точно!» — ответил комендант.

«Тащи ее! — заорал Ардатьев.— Принимай на довольствие. Людей наказываю — лошадей миловать не буду. Я ее доведу до дела. Третий день не работает,— бормотал он, тыча кулаком в грудь коменданта.— Я возчика хотел посадить. План ведь срывается. Пла-ан... Возчик клянется: «Не я, лошадь не работает». Я п-понимаю,— икал Ардатьев,— я в-верю... Дай, говорю, вожжи. Взял вожжи — не идет. Бью — не идет. Сахар даю — нарочно из дому взял — не берет. Ах ты, думаю, гадина, куда же мне теперь твои трудодни списывать? Туда ее — ко всем филонам, ко всем врагам человечества — в карцер. На голую воду. Трое суток для первого раза».

Ардатьев сел на снег и снял шапку. Мокрые спутанные волосы сползали на глаза. Пытаясь встать, он качнулся и вдруг опрокинулся на спину.

Надзиратель и комендант втащили его в дежурку. Ардатьев спал.

«Домой отнесем?»

«Не надо. Жена не любит».

«А лошадь?»

«Надо вести. Проснется, узнает, что не посадили — убьет. Сажай ее в четвертую. К интеллигенции».

. . . .

Два сторожа из заключенных внесли в дежурку дрова на ночь и стали укладывать их около печки.

«Что скажете, Петр Григорьевич?» — сказал один из них, показывая глазами на дверь, за которой храпел Ардатьев.

«Скажу, что это не ново... Калигула...»

«Да, да, как у Державина»,— подхватил второй и, выпрямившись, с чувством прочел:

Калигула, твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате,
Сияют добрые дела...

Старики закурили, и голубой махорочный дым поплыл по комнате.

АРТИСТ ЛОПАТЫ

В воскресенье, после работы, Кристу сказали, что его переводят в бригаду Косточкина, на пополнение быстро тающей золотой приисковой бригады. Новость была важная. Хорошо это или плохо — думать Кристу не следовало, ибо новость неотвратима. Но о самом Косточкине Крист слышал много на этом лишенном слухов прииске, в оглохших, немых бараках. Крист, как и всякий заключенный, не знал, откуда приходят в его жизнь новые люди — одни ненадолго, другие надолго, но во всех случаях люди исчезали из жизни Криста, так ничего и не сказав о себе, уходили, как бы умирая, умирали, как бы уходя. Начальники, бригадиры, повара, каптеры, соседи по нарам, братья по тачке, товарищи по кайлу...

Этот калейдоскоп, это движение бесконечных лиц не утомляло Криста. Он просто не раздумывал об этом. Жизнь не оставляла времени на такие раздумья. «Не волнуйся, не думай о новых начальниках, Крист. Ты один, а начальников у тебя еще будет очень много» — так говорил шутник и философ — а кто говорил, Крист забыл. Крист не мог вспомнить ни фамилии, ни лица, ни голоса, г о л о с а, сказавшего Кристу эти важные шутливые фразы. Важные именно потому, что шутливые. Кто осмеливался шутить, улыбаться хотя бы глубоко скрытой, сокровеннейшей улыбкой, но все же улыбкой, несомненно улыбкой,— такие люди существовали, но сам Крист был не из их числа.

Какие были бригадиры у Криста... Или свой брат пятьдесят восьмая, взявшиеся за слишком серьезное дело и вскоре разжалованные, разжалованные раньше, чем они успели превратиться в убийц. Или свой брат пятьдесят восьмая, фрайера, но — битые фрайера, опытные, бывалые фрайера, которые могли не только приказывать на работе, но и эту работу организовать, да еще ладить с нормировщиками, конторой, начальством разнообразным, дать взятку, уговорить. Но и эти, свой брат пятьдесят восьмая, не хотели и думать о том, что приказывать на лагерной работе — худший лагерный грех, что там, где расплата кровава, где человек бесправен, взять на себя ответственность распоряжаться чужой волей на жизнь и смерть — все это слишком большой, смертный грех, грех, которого не прощают. Были бригадиры, умиравшие вместе с бригадой. Были и такие, которых эта ужасная

власть над чужой жизнью развратила немедленно, и кайловище, черенок лопаты в их руках стал им помогать в разговорах со своими товарищами. И когда они вспоминали об этом, говорили, повторяя, как молитву, мрачную лагерную поговорку: «Умри ты сегодня, а я завтра». Далеко не всегда у Криста бригадирами были заключенные по пятьдесят восьмой статье. Чаще — а в самые страшные годы всегда — бригадирами Криста были «бытовики», осужденные за убийство, за служебные преступления. Это были нормальные люди, только вина власти и тяжкое давление сверху — поток смертных инструкций — диктовали этим людям поступки, на которые они не решались, быть может, в их прежней жизни. Грань между преступлением и «ненаказуемым деянием» в «служебных» статьях — да в большинстве бытовых тоже — очень тонка, подчас неуловима. Часто сегодня судили за то, за что не судили вчера, не говоря уж о «мере пресечения» — всей этой юридической гамме оттенков от проступка до преступления.

«Бытовики»-бригадиры были зверями по приказу. Но вовсе не только по приказу были зверями бригадиры-блатари. Бригадир-блатарь — это худшее, что могло случиться с бригадой. Но Косточкин не был ни блатарем, ни «бытовиком». Косточкин был единственным сыном какого-то крупного не то партийного, не то советского работника на КВЖД, по «делу КВЖД» привлеченного и умерщвленного. Единственный сын Косточкина, учившийся в Харбине и ничего кроме Харбина не видевший, в свои двадцать пять лет был осужден как «чс», как «член семьи», как «литерник», на... пятнадцать лет. Воспитанный заграничной харбинской жизнью, где о невинно осужденных читали только в романах — переводных романах по преимуществу,— молодой Косточкин в глубине своего мозга не был уверен, что его отец осужден невинно. Отец воспитал в нем веру в непогрешимость НКВД. К иному суждению молодой Косточкин был вовсе не подготовлен. И когда был арестован отец, когда сам Косточкин был осужден и отправлен с Очень Дальнего Востока на Очень Дальний Север — Косточкин был озлоблен прежде всего на отца, испортившего ему своим таинственным преступлением жизнь. Что он, Косточкин, знает о жизни взрослых? Он, изучивший четыре языка — два европейских и два восточных, лучший танцор Харбина, учившийся всевозмож-

ным блюзам и румбам у приезжих мастеров сих дел, лучший боксер Харбина — средневес, переходящий в полутяжелый, обучавшийся апперкотам и хуккам у бывшего чемпиона Европы,— что он о всей этой большой политике знает? Если расстреляли — значит, что-то было. Может быть, в НКВД погорячились, может быть, надо было дать десять, пятнадцать лет. А ему, молодому Косточкину, нужно было дать — если уж нужно дать — пять вместо пятнадцати.

Четыре слова повторял Косточкин — переставлял их в разном порядке — и всякий раз выходило плохо, тревожно: «Значит, было что-то. Значит, что-то было».

Вызвав у Косточкина ненависть к расстрелянному отцу, страстное желание избавиться от этого клейма, от этого отцовского проклятия — работники следствия добились важных успехов. Но следователь не знал об этом. Следователь, который вел дело Косточкина и сам был давно расстрелян по очередному «делу НКВД».

Не только фокстроты и румбы изучал молодой Косточкин в Харбине. Он окончил Харбинский политехнический институт — получил диплом инженера-механика.

Когда привезли Косточкина на прииск, на место его назначения, он добился свидания с начальником прииска и просил дать работу по специальности, обещая честно работать, проклиная отца, умоляя местных начальников. «Этикетки на консервные банки будет писать»,— сухо сказал начальник прииска, но присутствовавший при разговоре местный уполномоченный уловил какие-то знакомые нотки в тоне молодого харбинского инженера. Начальники поговорили между собой, потом уполномоченный поговорил с Косточкиным, и забойные бригады вдруг обошло известие, что бригадиром одной из бригад назначен новичок, свой брат пятьдесят восьмая. Оптимисты видели в этом назначении признак скорых перемен к лучшему, пессимисты бормотали что-то насчет новой метлы. Но и те и другие были удивлены — кроме, разумеется, тех, кто давно отучился удивляться,— Крист не удивлялся.

Каждая бригада живет своей жизнью, в своей «секции» в бараке с отдельным входом и с остальными жителями барака встречается только в столовой. Крист часто встречал Косточкина — тот был такой отметный, краснорожий, широкоплечий, могучий. Краги — перчат-

ки с раструбами были меховые. У бригадиров победней краги бывают тряпочные, сшитые из ватных стеганых брюк. И шапка у Косточкина была «вольная», меховая ушанка, и валенки — настоящие, а не бурки, не чуни веревочные. Всем этим Косточкин был отметен. Работал бригадиром он один этот зимний месяц — значит, довел план, процент, а сколько — можно было узнать на доске около вахты, но таким вопросом такой старый арестант, как Крист, не интересовался.

Жизнеописание своего будущего бригадира Крист составил на нарах, мысленно. Но был уверен, что не ошибся, не может ошибиться. Никаких других путей на бригадирскую должность у харбинца не могло быть.

Бригада Косточкина таяла, как положено таять всем бригадам, работающим в золотом забое. Время от времени — это должно звучать как от недели к неделе, а не от месяца к месяцу — в бригаду Косточкина направляли пополнение. Сегодня это пополнение — Крист. «Наверное, Косточкин даже знает, кто такой Эйнштейн»,— подумал Крист, засыпая на новом месте.

Место Кристу дали, как новичку, подальше от печки. Кто раньше пришел в бригаду — занял лучшее место. Это был общий порядок, и Крист был с ним хорошо знаком.

Бригадир сидел у стола в углу, близко от лампы и читал какую-то книжку. И хотя бригадир, как хозяин жизни и смерти своих работяг, мог для своего удобства поставить единственную лампу к себе на столик, лишив света всех остальных жителей барака — не до того, чтобы читать или говорить... Говорить можно и в темноте, да и не о чем говорить и некогда. Но бригадир Косточкин сам пристроился к общей лампе и читал, читал, по временам собирая в улыбку свои пухлые детские губы сердечком, и щурил свои большие красивые серые глаза. Кристу так понравилась эта давно им не виданная мирная картина отдыха бригадира и бригады, что он решил про себя обязательно в этой бригаде остаться, отдать все силы своему новому бригадиру.

В бригаде был и заместитель бригадира, он же дневальный, низкорослый Оська, годившийся в отцы Косточкину. Оська мёл барак, кормил бригаду, помогал бригадиру — все было как у людей. И, засыпая, Крист почему-то подумал, что наверное его новый бригадир знает,

кто такой Эйнштейн. И осчастливленный этой мыслью, согретый только что выпитой кружкой кипятку на ночь, Крист заснул.

В новой бригаде и шума не было на разводе. Кристу показали инструменталку — получили инструмент, и Крист приладил себе лопату, как тысячу раз прилаживал раньше, сбил к черту короткую ручку с упором, укрепленную на американской лопате-совке, обухом топора разогнул этот совок чуть пошире на камне, выбрал длинный-длинный новый черенок из множества стоящих в углу сарая черенков, вдел черенок в кольцо лопаты, укрепил его, поставил лопату изогнутой под углом лопастью к собственным ногам, отмерил и пометил, «зазначил», черенок лопаты против собственного подбородка и по этой отметке отрубил. Острым топором Крист стер, тщательно загладил торец новой рукоятки. Встал и обернулся. Перед ним стоял Косточкин, внимательно наблюдая за действиями новичка. Впрочем — Крист ждал этого. Косточкин ничего не сказал, и Крист понял, что свои суждения бригадир откладывает до работы, до забоя.

Забой был недалеко, и работа началась. Черенок дрогнул, заныла спина, ладони обеих рук встали в привычное положение, пальцы схватили черенок. Он был чуть-чуть толще, чем надо, но Крист это выправит вечером. Да и лопату подточит напильником. Руки заносили лопату раз за разом, и в мелодичный скрежет металла о камень вошел учащенный ритм. Лопата визжала, шуршала, камень сползал с лопаты при взмахе и снова падал на дно тачки, а дно отвечало деревянным стуком, а потом камень отвечал камню — всю эту музыку забоя Крист знал хорошо. Повсюду стояли такие же тачки, визжали такие же лопаты, шуршал камень, сползал с обвалов, подрубленный кайлом, и снова визжали лопаты.

Крист положил лопату, сменил напарника у «машины ОСО — две ручки, одно колесо», как называли на Колыме тачку по-арестантски. Не по-блатному, но вроде этого. Крист поставил тачку донцем на трановую доску, ручками в противоположную от забоя сторону. И быстро насыпал тачку. Потом ухватился за ручки, выгнулся, напрягая живот, и, поймав равновесие, покатил свою тачку к бутаре, к промывочному прибору. Обратно Крист прикатил тачку по всем правилам тачечников, унасле-

дованным от каторжных столетий, ручками вверх, колесом вперед, а руки Крист, отдыхая, держал на ручках тачки, потом поставил тачку и снова взял лопату. Лопата завизжала.

Харбинский инженер, бригадир Косточкин, стоял и слушал забойную симфонию и наблюдал за движениями Криста.

— Да ты, я вижу, артист лопаты,— и Косточкин расхохотался. Смех у него был детский, неудержимый. Рукавом бригадир вытер губы.— Какую ты получал категорию там, откуда пришел?

Речь шла о «категориях» питания, о той «шкале желудка», подгоняющей арестанта. Эти «категории», Крист знал это,— были открыты на Беломорканале, на «перековке». Слюнявый романтизм «перековки» имел реалистическое основание, жестокое и зловещее, в виде этой «желудочной» шкалы.

— Третью,— ответил Крист, как можно заметнее подчеркивая голосом свое презрение к прошлому своему бригадиру, который не оценил таланта артиста лопаты. Крист, поняв выгоду, привычно, чуть-чуть лгал.

— У меня будешь получать вторую. Прямо с сегодняшнего дня.

— Спасибо,— сказал Крист.

В новой бригаде было, пожалуй, чуть тише, чем в других бригадах, где приходилось жить и работать Кристу, чуть чище в бараке, чуть меньше матерщины. Крист хотел по своей многолетней привычке поджарить на печке кусочек хлеба, оставшийся после ужина, но сосед — Крист еще не знал, да и никогда не узнал его фамилии, толкнул Криста и сказал, что бригадир не любит, когда жарят на печке хлеб.

Крист подошел к железной, весело топящейся печке, растопырил ладони над потоком тепла, сунул лицо в струю горячего воздуха. С ближайших нар встал Оська, заместитель бригадира, и сильной рукой отвел новичка от печки: «Иди на свое место. Не загораживай печки. Пусть всем будет тепло». Это в общем-то было справедливо, но очень трудно удержать собственное тело, тянущееся к огню. Арестанты из бригады Косточкина удерживаться научились. И Кристу тоже придется научиться. Крист вернулся на место, снял бушлат. Сунул ноги в рукава бушлата, поправил шапку, скорчился и заснул.

Засыпая, Крист еще видел, как кто-то вошел в барак,

что-то приказал. Косточкин выругался, не отходя от лампы и не прекращая читать книжку. Оська подскочил к пришедшему, быстрыми ловкими движениями ухватив пришедшего за локти, вытолкнул его из барака. Оська был преподавателем истории в каком-то институте в прошлой своей жизни.

Много следующих дней лопата Криста визжала, шелестел песок. Косточкин скоро понял, что за отточенной техникой движений Криста давно уж нет никакой силы, и как ни старался Крист — его тачки были всегда наполнены чуть-чуть меньше, чем надо — это ведь от собственной воли не зависит, меру диктует какое-то внутреннее чувство, что управляет мускулами — всякими — здоровыми и бессильными, молодыми и изношенными, измученными. Всякий раз оказывалось, что в замере забоя, в котором работал Крист, не так много сделано, как ожидал бригадир от профессионализма движений артиста лопаты. Но Косточкин не придирался к Кристу, ругал его не больше, чем других, не отводил душу в брани, не читал рацей. Может быть, понимал, что Крист работает на полной отдаче сил, сберегая лишь то, что нельзя растратить в угоду любому бригадиру в любом из лагерей мира. Или чувствовал, если не понимал — ведь чувства наши гораздо богаче мыслей,— обескровленный язык арестанта выдает не все, что есть в душе. Чувства тоже бледнеют, слабеют, но много позже мыслей, много позже человеческой речи, языка. А Крист действительно работал, как давно уже не работал — и хотя сделанного им не хватало на вторую категорию, он эту вторую категорию получал. За прилежание, за старание...

Ведь вторая категория — было высшее, чего мог добиться Крист. Первую получали рекордисты — выполняющие сто двадцать процентов плана и больше. В бригаде Косточкина рекордистов не было. Были в бригаде и третьи, выполняющие норму, и четвертые категории, нормы не выполняющие, а делавшие только восемьдесят — семьдесят процентов нормы. Но все же не открытые филоны, достойные штрафного пайка, пятой категории. Таких в бригаде Косточкина тоже не было.

Дни шли за днями, а Крист все слабел и слабел, и покорная тишина в бараке бригады Косточкина нравилась Кристу все меньше и меньше. Но как-то вечером

Оська, преподаватель истории, отвел Криста в сторону и сказал ему негромко: «Сегодня кассир придет. Тебе бригадир деньги выписал, знай...» Сердце Криста стучало. Значит, Косточкин оценил прилежание Криста, его мастерство. У этого харбинского бригадира, знающего имя Эйнштейна, есть все-таки совесть.

В тех бригадах, где раньше работал Крист, ему денег не выписывалось никогда. В каждой бригаде обязательно оказывались более достойные люди — или в самом деле физически покрепче и лучше работающие, или просто друзья бригадира — такими бесплодными рассуждениями Крист никогда не занимался, принимая каждую обеденную карточку — а категории менялись каждые десять дней, процент устанавливался за прошлую выработку,— за перст судьбы, за счастье или несчастье, удачу или неудачу, которые пройдут, переменятся, не будут вечными.

Известие о деньгах, которые Кристу сегодня вечером заплатят, переполнило и душу и тело Криста горячей, неудержимой радостью. Оказывается, чувств и сил хватает на радость. Сколько могут заплатить денег?.. Даже пять-шесть рублей — и то это пять-шесть килограммов хлеба. Крист готов был молиться на Косточкина и с трудом дождался конца работы.

Кассир приехал. Это был самый обыкновенный человек, но в хорошем дубленом полушубке, вольнонаемный. С ним пришел охранник, спрятавший куда-то револьвер или пистолет или оставивший оружие на вахте. Кассир сел к столу, приоткрыл портфель, набитый ношеными разноцветными ассигнациями, похожими на выстиранные тряпки. Кассир вытащил ведомость, расчерченную тесно, исписанную всевозможными подписями — обрадованных или разочарованных денежными начислениями людей. Кассир вызвал Криста и указал ему отмеченное «птичкой» место.

Крист обратил внимание, почувствовал особенное что-то в этой выплате, выдаче. Никто, кроме Криста, не подошел к кассиру. Никакой очереди не было. Может быть, бригадники так приучены заботливым бригадиром. Ну, что об этом думать! Деньги выписаны, кассир платит. Значит, Кристово счастье.

Самого бригадира в бараке не было, он еще не пришел из конторы, и удостоверением личности получателя занимался заместитель бригадира, Оська, преподаватель

истории. Указательным пальцем Оська показал Кристу место для расписки.

— А... а... сколько? — задыхаясь, прохрипел Крист.

— Пятьдесят рублей. Доволен?

Сердце Криста запело, застучало. Вот оно, счастье. Крист поспешно, разрывая бумагу острым пером и чуть не опрокинув чернильницу-непроливайку, расписался в ведомости.

— Вот и молодчик,— сказал Оська одобрительно.

Кассир захлопнул портфель.

— Больше в вашей бригаде никого нет?

— Нет.

Крист все еще не мог понять происходившего.

— А деньги? А деньги?

— Деньги я Косточкину отдал,— сказал кассир.— Еще днем.— А низкорослый Оська железной рукой, с силой, которой никогда не имел ни один забойщик этой бригады, оторвал Криста от стола и отшвырнул в темноту.

Бригада молчала. Ни один человек не поддержал Криста, не спросил ни о чем. Даже не обругал Криста дураком... Это было Кристу страшнее этого зверя Оськи, его цепкой, железной руки. Страшнее детских пухлых губ бригадира Косточкина.

Дверь барака распахнулась, и к освещенному столу быстрыми и легкими шагами прошел бригадир Косточкин. Накатник, из которого был сложен пол барака, почти не качнулся под его легкими, упругими шагами.

— Вот сам бригадир,— говори с ним,— сказал Оська, отступая. И объяснил Косточкину, показывая на Криста: — Деньги ему надо!

Но бригадир понял все еще с порога. Косточкин сразу почувствовал себя на харбинском ринге. Косточкин протянул руку к Кристу привычным красивым боксерским движением «от плеча», и Крист упал на пол оглушенный.

— Нокаут, нокаут,— хрипел Оська, приплясывая вокруг полуживого Криста и изображая рефери на ринге,— восемь... девять... Нокаут.

Крист не поднимался с пола.

— Деньги? Ему деньги?— говорил Косточкин, усаживаясь не спеша за стол и принимая ложку из рук Оськи, чтобы приняться за миску с горохом.

— Вот эти троцкисты,— говорил Косточкин медлен-

но и поучительно,— и губят меня и тебя, Ося.— Косточкин повысил голос.— Загубили страну. И нас с тобой губят. Деньги ему понадобились, артисту лопаты, деньги. Эй, вы,— кричал Косточкин бригаде.— Вы, фашисты! Слышите! Меня не зарежете. Пляши, Оська!

Крист все еще лежал на полу. Огромные фигуры бригадира и дневального загораживали Кристу свет. И вдруг Крист увидел, что Косточкин пьян, сильно пьян,— те самые пятьдесят рублей, которые были выписаны Кристу... Сколько на них можно «выкупить» спирта, спирта, который выдан, выдается бригаде...

Оська, заместитель бригадира, послушно пошел в пляс, приговаривая:

Я купила два корыта,
И жена моя Розита...

— Наша, одесская, бригадир. Называется «От моста до бойни».— И преподаватель истории в каком-то столичном институте, отец четверых детей, Оська, снова пошел в пляс.

— Стой, наливай.

Оська нащупал какую-то бутылку под нарами, налил что-то в консервную банку. Косточкин выпил и закусил, подцепив пальцами остатки гороха в миске.

— Где этот артист лопаты?

Оська поднял и вытолкнул Криста к свету.

— Что, силы нет? Разве ты пайку не получаешь? Вторую категорию кто получает? Этого тебе мало, троцкистская сволочь?

Крист молчал. Бригада молчала.

— Всех удавлю. Фашисты проклятые,— бушевал Косточкин.

— Иди, иди к себе, артист лопаты, а то бригадир еще даст,— миролюбиво посоветовал Оська, обхватывая захмелевшего Косточкина и заталкивая его в угол, опрокидывая на бригадирский пышный одинокий топчан — единственный топчан в бараке, где все нары были двойные, двухэтажные, «железнодорожного» типа. Сам Оська, заместитель бригадира и дневальный, спавший на крайней койке, вступал в третьи свои важные, вполне официальные обязанности, обязанности телохранителя, ночного сторожа бригадирского сна, покоя и жизни; Крист ощупью добрался до своей койки.

Но заснуть не удалось ни Косточкину, ни Кристу.

Дверь барака отворилась, впуская струю белого пара, и в дверь вошел какой-то человек в меховой ушанке и в темном зимнем пальто с каракулевым воротником. Пальто было изрядно измято, каракуль был вытерт, но все же это было настоящее пальто и настоящий каракуль.

Человек прошел через весь барак к столу, к свету, к топчану Косточкина. Оська почтительно его приветствовал. Оська принялся расталкивать бригадира.

— Тебя зовет Миня Грек.— Это имя было знакомо Кристу. Это был бригадир блатарей.— Тебя зовет Миня Грек.— Но Косточкин уже очухался и сел на топчане лицом к свету.

— Ты все гуляешь, Укротитель?

— Да вот... довели, гады...

Миня Грек сочувственно помычал.

— Взорвут тебя когда-нибудь, Укротитель, на воздух. А? Заложат аммонит под койку, шнур подпалят и туда...— грек показал пальцем вверх.— Или голову пилой отпилят. Шея-то у тебя толстая, долго пилить придется.

Косточкин, медленно приходя в себя, ждал, что ему скажет Грек.

— Не налить ли по маленькой? Скажи, сгоношим в два счета.

— Нет. У нас этого спирту в бригаде полно, сам знаешь. Дело мое более серьезное.

— Рад служить.

— «Рад служить»,— засмеялся Миня Грек.— Та́к, значит, тебя в Харбине учили разговаривать с людьми.

— Да я ничего,— заторопился Косточкин.— Просто еще не знаю, что тебе нужно.

— А вот что.— Грек заговорил что-то быстро, и Косточкин согласно кивал, Грек начертил что-то на столе, и Косточкин закивал понимающе. Оська с интересом следил за разговором.— Я ходил к нормировщику,— говорил Миня Грек — говорил не угрюмо и не оживленно, самым обыкновенным голосом.— Нормировщик сказал: Косточкина очередь.

— Да ведь у меня и в прошлом месяце снимали...

— А мне что делать...— И голос Грека повеселел.— Нашим-то где кубики взять? Я говорил нормировщику. Нормировщик говорит — Косточкина очередь.

— Да ведь...

— Ну, что там. Сам ведь знаешь наше положение...

— Ну, ладно,— сказал Косточкин.— Сосчитаешь там в конторе, скажешь, чтобы у нас сняли.

— Не бойся, фраер,— сказал Миня Грек и похлопал Косточкина по плечу.— Сегодня ты меня выручил, завтра — я тебя. За мной не пропадет. Сегодня ты меня, завтра я тебя выручу.

— ...Завтра оба мы поцелуемся,— заплясал Оська, обрадованный принятым наконец решением и боящийся, что медлительность бригадира только испортит дело.

— Ну, прощай, Укротитель,— сказал Миня Грек, вставая со скамейки.— Нормировщик говорит: смело иди к Косточкину, к Укротителю. В нем есть капля жульнической крови. Не бойся, не тушуйся. Твои ребята справятся. У тебя такие артисты лопаты...

РУР

Но — не роботами же мы были? Чапековскими роботами из РУРа. И не шахтерами Рурского угольного бассейна. Наш РУР — это рота усиленного режима, тюрьма в тюрьме, лагерь в лагере... Нет, не роботами мы были. В металлическом бесчувствии роботов было что-то человеческое.

Впрочем, кто из нас думал в тридцать восьмом году о Чапеке, об угольном Руре? Только двадцать — тридцать лет спустя находятся силы на сравнения, в попытках воскресить время, краски и чувство времени.

Тогда мы испытывали только смутную, ноющую радость тела, иссушенных голодом мышц, которые хоть на миг, хоть на час, хоть на день избавятся от золотого забоя, от проклятой работы, от ненавистного труда. Труд и смерть — это синонимы, и синонимы не только для заключенных, для обреченных «врагов народа». Труд и смерть — синонимы и для лагерного начальства и для Москвы — иначе не писали бы в «спецуказаниях», московских путевках на смерть: «использовать только на тяжелых физических работах».

Нас привели в РУР как лодырей, как филонов, как не выполнивших норму. Но — не отказчиков от работы. Отказ от работы в лагере — это преступление, которое карается смертью. Расстреливают за три отказа от ра-

боты, за три невыхода. Три акта. Мы выходили из лагерной зоны, доползали до места работы. На работу уже не оставалось сил. Но — мы не были отказчиками.

Нас вывели на вахту. Дежурный надзиратель протянул руку к моей груди, и я закачался и едва устоял на ногах — тычок наганом в грудь сломал ребро. Боль не давала покоя несколько лет. Впрочем, это не было переломом, как после объясняли мне специалисты. Просто разорвал надкостницу.

Нас повели к РУРу, но РУРа не оказалось на месте. Я увидел еще живую землю, каменистую черную землю, покрытую обугленными корнями деревьев, корнями кустарников, отполированными человеческими телами. Увидел черный прямоугольник обугленной земли, одинаково резкий и среди бурной зелени короткого, страстного колымского лета, и среди мертвой белой нескончаемой зимы. Черная яма от костров, след тепла, след человеческой жизни.

Яма была живая. Люди ворочали бревна, торопились, ругались, и на моих глазах вставал омоложенный РУР, стены штрафного барака. Тут же нам объяснили. Вчера в общую камеру РУРа был посажен пьяный завмаг из «бытовиков». Пьяный завмаг, разумеется, стены РУРа раскидал по бревну, всю тюрьму. Часовой не стрелял. Бушевал «бытовик» — часовые отлично разбирались в Уголовном кодексе, в лагерной политике и даже в капризах власти. Часовой не стрелял. Завмага увели и посадили в карцер при отряде охраны. Но даже завмаг-«бытовик», явный герой, не решился уйти из этой черной ямы. Он только раскидал стены. И вот сотня людей из пятьдесят восьмой, которой был набит РУР, бережно и торопливо восстанавливала свою тюрьму, возводила стены, боясь перешагнуть через край ямы, неосторожно ступить на белый, не запятнанный еще человеком снег.

Пятьдесят восьмая торопилась восстановить свою тюрьму. Понукания, угрозы не были нужны.

Сто человек ютилось на нарах, на каркасе обломанных нар. Нар не было — все накатины, все жерди, из которых были сложены нары — без одного гвоздя, гвоздь на Колыме дело дорогое. Нары были сложены блатарями, сидевшими в РУРе. Пятьдесят восьмая не решилась бы отломать и кусочка своих нар, чтобы согреть свое иззябшее тело, похожие на веревки иссохшие мускулы свои.

Недалеко от РУРа стояло такое же закопченное, как РУР, здание отряда охраны. Барак охранников внешне не отличался от арестантского жилища, да и внутри разницы было не много. Грязный дым, мешковина в окне вместо стекла. И все же — это был барак охраны.

РУР ходил на работу. Но не в золотой забой, а на заготовку дров, на копку канав, топтать дорогу. Кормили в РУРе всех одинаково, и это тоже была радость. Рабочий день РУРа кончался раньше, чем в забое. Сколько раз мы с завистью следили, поднимая глаза от тачки, от забоя, от кайла и лопаты, и видели, как двигались на ночлег нестройные колонны РУРа. Лошади наши ржали, увидев руровцев, требуя конца работы. А может быть, лошади знали время и сами — лучше людей и никакого РУРа лошадям было видеть не надо...

Теперь я сам подпрыгивал, то попадая, то не попадая в общий шаг, в общий такт, то обгоняя, то отставая... Я хотел одного — чтобы РУР никогда не кончился. Я не знал, на сколько суток — на десять, двадцать, тридцать — я «водворен» в РУР.

«Водворен» — тюремный этот термин хорошо был мне знаком. Кажется, глагол «водворить» употребляется только в местах заключения. Зато оборот «выдворить» вышел на широкую дипломатическую дорогу — «выдворить из пределов» и так далее. Этому глаголу хотели придать грозно-издевательскую окраску, но жизнь меняет масштабы, и в нашем случае «водворить» звучало почти как «спасти».

Каждый день после работы руровцев «гоняли» за дровами «для себя», как говорило начальство. Впрочем, гоняли и забойные бригады. Поездки на санях, где проволочные лямки устраивались для людей — проволочные петли, куда можно просунуть голову и плечи, поправить лямку и тащить, тащить. Сани надо было втащить на гору километра за четыре, где были штабеля заготовленного летом стланика — черного горбатого легкого стланика. Сани нагружались и пускались прямо с горы. На сани садились блатари — те, которые сохранили еще силы, и, хохоча, съезжали с горы. А мы — сползали, не имея сил сбегать. Но скользили быстро, цепляясь за замороженные, обломанные ветки тальника или ольхи, тормозясь. Это было радостно — день кончался.

Дрова, штабеля стланика, укрытые снегом, приходилось искать все дальше с каждым днем, но мы не вор-

чали — поездка за дровами была чем-то вроде удара в рельс или звуком сирены — сигналом на еду, на сон.

Мы сгрузили дрова и радостно начали строиться.

— Кру...гом!

Никто не повернулся. В глазах у всех я увидел смертную тоску, неуверенность людей, которые не верят в удачу — их всегда обсчитывают, обманывают, обмеряют. И хоть дрова — это не камень, сани — не тачки...

— Кру...гом!

Никто не повернулся. Арестант чрезвычайно чувствителен к нарушениям обещания, хотя, казалось бы, о какой справедливости могла бы идти речь.

Из двери барака охраны на крыльцо выбрались два человека — начальник лагеря, лейтенант постарше, и начальник отряда охраны — лейтенант помоложе. Нет хуже, когда два начальника примерно равного чина творят рядом, на глазах друг у друга. Все человеческое в них замирает, и каждый хочет проявить «бдительность», не «выказать слабости», выполнить приказ государства.

— Впрягайтесь в сани.

Никто не повернулся.

— Да это организованное выступление!

— Диверсия!

— Не пойдете по-хорошему?

— Не надо нам вашего хорошего.

— Кто это сказал? Выйди!

Никто не вышел.

По команде из барака охраны выбежали еще несколько конвоиров и окружили нас, увязая в снегу, щелкая затворами винтовок, задыхаясь от злобы на людей, лишивших конвоиров отдыха, смены, расписания службы.

— Ложись!

Легли в снег.

— Вставай!

Встали.

— Ложись!

Легли.

— Вставай!

Встали.

— Ложись!

Легли.

Этот несложный ритм я уловил легко. И хорошо пом-

ню: было не холодно и не жарко. Будто все это делали не со мной.

Несколько выстрелов-щелчков, предупредительных выстрелов.

— Вставай!

Встали.

— Кто пойдет — отходи налево.

Никто не двинулся.

Начальник подошел близко, вплотную к тоске в этих безумных глазах. Подошел и постучал в грудь ближайшего:

— Ты — пойдешь?

— Пойду.

— Отходи налево.

— Ты — пойдешь?

— Пойду!

— Запрягайся! Конвой, принимай, считай людей.

Заскрипели деревянные полозья саней.

— Поехали!

—Вот как это делается,— сказал тот лейтенант, что постарше.

Но уехали не все. Осталось двое: Сережа Усольцев и я. Сережа Усольцев был блатарь. Все молодые уркачи вместе с пятьдесят восьмой давно катили свои сани по дороге. Но Сережа не мог допустить, чтобы какой-то паршивый фрайер выдержал, а он, потомственный уркач — отступил.

— Сейчас нас отпустят в барак... Немного постоим,— хмуро улыбнулся Усольцев,— и в барак. Греться.

Но в барак нас не отпустили.

— Собаку!— распорядился лейтенант постарше.

— Возьми-ка,— сказал Усольцев, не поворачивая головы, и пальцы блатаря положили мне на ладонь что-то очень тонкое, невесомое.— Понял?

— Понял.

Я держал в пальцах обломок лезвия безопасной бритвы и незаметно от конвоиров показывал бритву собаке. Собака видела, понимала. Собака рычала, визжала, билась, но не пыталась рвать ни меня, ни Сережу. В руках Усольцева был другой обломок бритвы.

— Молода еще!— сказал всеведущий и многоопытный начальник лагеря, лейтенант, что постарше.

— Молода! Был бы здесь Валет — показал бы, как это делается. Голенькими стояли бы!

— В барак!

Отперли дверь, отвели тяжелую железную щеколду-запор в сторону. Сейчас будет тепло, тепло.

Но лейтенант постарше сказал что-то дежурному надзирателю, и тот выкинул тлеющие головни из железной печки в снег. Головни зашипели, покрылись синим дымом, и дежурный забросал головни снегом, подгребая ногами снег.

— Заходи в барак.

Мы сели на каркасе нар. Ничего, кроме холода, внезапного холода, мы не почувствовали. Мы вложили руки в рукава, согнулись...

— Не бойся,— сказал Усольцев.— Сейчас вернутся ребята с дровами. А пока попляшем.— И мы стали плясать.

Гул голосов — радостный гул приближающихся голосов был оборван чьей-то резкой командой. Открылась наша дверь, открылась не на свет, а в ту же барачную темень.

— Выходи!

Фонари «летучая мышь» мелькали в руках конвоиров.

— Становись в строй.

Мы не сразу увидели, что строй вернувшихся с работы — тут же рядом. Что все стоят в строю и ждут. Кого они ждут?

В белой темной мгле выли собаки, двигались факелы, освещая путь быстро приближавшихся людей. По движению света можно было понять, что идут не заключенные.

Впереди шел быстрым шагом, опережая своих телохранителей, брюхатый, но легкий на ходу полковник, которого я сразу узнал,— не раз осматривал эти золотые забои, где работала наша бригада. Это был полковник Гаранин. Тяжело дыша, расстегивая ворот кителя, Гаранин остановился перед строем и, погружая мягкий холеный палец в грязную грудь ближайшего заключенного, сказал:

— За что сидишь?

— У меня статья...

— На кой черт мне твоя статья. В РУРе за что сидишь?

— Не знаю.

— Не знаешь? Эй, начальник!

— Вот книга приказов, товарищ полковник.

— На чёрта мне твоя книга. Эх, гады.

Гаранин двинулся дальше, каждому заглядывая в лицо.

— А ты, старик, за что попал в РУР?

— Я — следственный. Мы лошадь павшую съели. Мы сторожа.

Гаранин плюнул.

— Слушать команду! Всех — по баракам! По своим бригадам! И завтра — в забой!

Строй рассыпался, все побежали по дороге, по тропке, по снегу к баракам, в бригады. Поплелись и мы с Усольцевым.

БОГДАНОВ

Богданов был щеголь. Всегда гладко выбритый, вымытый, пахнущий духами — бог знает что уж это были за духи,— в пыжиковой пышной ушанке, завязанной каким-то сложным бантом из муаровых черных широких лент, в якутской расшитой, расписной куртке, в узорчатых пимах. Отполированы были ногти, подворотничок был крахмальным, белейшим. Весь тридцать восьмой расстрельный год Богданов работал уполномоченным НКВД в одном из колымских управлений. Друзья спрятали Богданова на Черное озеро, в угольную разведку, когда наркомвнудельские престолы зашатались и полетели головы начальников, сменяя друг друга. Новый начальник с отполированными ногтями явился в глухой тайге, где и грязи с сотворения мира не было, явился с семьей, с женой и тремя ребятишками мал мала меньше. И ребятишкам и жене было запрещено выходить из дома, где жил Богданов,— так что я видел семью Богданова только два раза — в день приезда и в день отъезда.

Продукты кладовщик приносил в дом начальника ежедневно, а двухсотлитровую бочку спирта работяги перекатили по доскам, по деревянной дорожке, настланной в тайге для такого случая — в квартиру начальника. Ибо спирт — это главное, что нужно было хранить, как учили Богданова на Колыме. Собака? Нет, у Богданова не было собаки. Ни собаки, ни кошки.

В разведке был жилой барак, палатки работяг. Жили

все вместе — вольнонаемные и рабочие зэка. Разницы между ними ни в топчанах, ни в вещах домашнего обихода никакой не было, ибо вольняшки, вчерашние заключенные, еще не приобрели чемоданов, тех самых арестантских самодельных чемоданов, известных каждому зэка.

В распорядке дня, в «режиме» тоже разницы не было, ибо предыдущий начальник, открывавший много-много приисков, находившийся на Колыме чуть не с сотворения мира, почему-то терпеть не мог всевозможных «слушаюсь» и «доношу». При Парамонове, так звали первого начальника, у нас не было поверок — и без того вставали с восходом и ложились с заходом солнца. Впрочем, заполярное солнце не уходило с неба весной, в начале лета,— какие уж тут поверки. Таежная ночь короткая. И «приветствовать» начальника мы были не обучены. А кто и был обучен, тот с удовольствием и быстро забыл эту унизительную науку. Поэтому, когда Богданов вошел в барак, никто не крикнул «внимание!», а один из новых работяг, Рыбин, продолжал чинить свой рваный брезентовый плащ.

Богданов был возмущен. Кричал, что он наведет порядок среди фашистов. Что политика Советской власти — двойная — исправительная и карательная. Так вот он, Богданов, обещает испробовать на нас вторую в полной мере, что никакая бесконвойность нам не поможет. Жителей в бараке, тех заключенных, к которым обращался Богданов — было пять или шесть человек — пять, вернее, потому что на пятом месте сидели в очередь два ночных сторожа.

Уходя, Богданов ухватился за деревянную дверь палатки — ему хотелось хлопнуть дверью — но покорный брезент только бесшумно заколыхался. На следующее утро нам, пятерым заключенным плюс отсутствующий сторож, был прочитан приказ — первый приказ нового начальника.

Секретарь начальника громким и размеренным голосом прочел нам первое литературное произведение нового начальника — «Приказ № 1». У Парамонова, как выяснилось, не было даже книги приказов, и новая общая тетрадь школьницы-дочери Богданова была превращена в книгу приказов угольного района.

«Мною замечено, что заключенные района распустились, забыли о лагерной дисциплине, что выражается

в невставании на поверку, в неприветствовании начальника.

Считая это нарушением основных законов советской власти, категорически предлагаю...»

Дальше шел «распорядок дня», сохранившийся в памяти Богданова с его прошлой работы.

Тем же приказом был учрежден староста, назначен дневальный по совместительству с основной работой. Палатки перегорожены брезентовой занавеской, отделявшей чистых от нечистых. Нечистые отнеслись к этому равнодушно, но чистые — вчерашние нечистые — не простили этого поступка Богданову никогда. Приказом была посеяна вражда между вольными рабочими и начальником.

В производстве Богданов ничего не понимал, переложил все на плечи прораба, и все административное рвение сорокалетнего скучающего начальника обратилось против шести заключенных. Ежедневно замечались какие-нибудь проступки, нарушения лагерного режима, граничащие с преступлениями. В тайге был на скорую руку срублен карцер, кузнецу Моисею Моисеевичу Кузнецову был заказан железный запор для этого карцера, жена начальника пожертвовала собственный висячий замок. Замок очень пригодился. Каждый день в карцер кого-нибудь из заключенных сажали. Поползли слухи, что скоро будет вызван сюда конвой, отряд охраны.

Водку полярно-пайковую нам выдавать перестали. На сахар и махорку установили нормы.

Ежевечерне кого-нибудь из зэка вызывали в контору — и начиналась беседа с начальником района. Вызвали и меня. Листая пухлое мое «личное дело», Богданов читал выдержки из многочисленных меморандумов, неумеренно восхищаясь их слогом и стилем. А иногда казалось, что Богданов боится разучиться читать — ни одной книжки, кроме немногих помятых книжек для детей, в квартире начальника не было.

Вдруг я с удивлением увидел, что Богданов попросту сильно пьян. Запах дешевых духов мешался с запахом спиртного перегара. Глаза были мутные, тусклые, но речь была ясной. Впрочем, все, что он говорил, было так обыкновенно.

На другой день я спросил у вольняшки Карташова, секретаря начальника, может ли быть такое...

— Да ты что — сейчас только заметил? Он все время

пьяный. С каждого утра. Помногу не пьет, а как почувствует, что хмель проходит — снова полстакана. Пройдет хмель — и снова полстакана. Жену бьет, подлец,— сказал Карташов.— Она потому и не показывается. Стыдно синяки-то показывать.

Богданов бил не только свою жену. Ударил Шаталина, ударил Климовича. До меня еще очередь не дошла. Но как-то вечером я был снова приглашен в контору.

— Зачем?— спросил я Карташова.

— Не знаю.— Карташов был и за курьера, и за секретаря, и за заведующего карцером.

Я постучал и вошел в контору.

Богданов, причесываясь и охорашиваясь перед большим темным зеркалом, вытащенным в контору, сидел у стола.

— А, фашист,— сказал он, поворачиваясь ко мне. Я не успел выговорить положенного обращения.

— Ты будешь работать или нет? Такой лоб.— «Лоб»— это блатное выражение. Обычная формула и беседа...

— Я работаю, гражданин начальник.— А это — обычный ответ.

— Вот тебе письма пришли,— видишь?— Я два года не переписывался с женой, не мог связаться, не знал о ее судьбе, о судьбе моей полуторагодовалой дочери. И вдруг ее почерк, ее рука, ее письма. Не письмо, а письма. Я протянул дрожащие свои руки за письмами.

Богданов, не выпуская писем из своих рук, поднес конверты к моим сухим глазам.

— Вот твои письма, фашистская сволочь!— Богданов разорвал в клочки и бросил в горящую печь письма от моей жены, письма, которые я ждал более двух лет, ждал в крови, в расстрелах, в побоях золотых приисков Колымы.

Я повернулся, вышел без обычной формулы «разрешите идти», и пьяный хохот Богданова и сейчас, через много лет, еще слышится в моих ушах.

План не выполнялся. Богданов не был инженером. Вольнонаемные рабочие ненавидели его. Каплей, переполнившей чашу, была спиртная капля, ибо главный конфликт между начальником и работягами был в том, что бочка спирта перекочевала на квартиру начальника и быстро убывала. Все можно было простить Богданову — и издевательство над заключенными, и производственную его беспомощность, и барство. Но дело

дошло до дележа спирта, и население поселка вступило с начальником и в открытый, и в подземный бой.

Зимней лунной ночью в район явился человек в штатском — в скромной ушанке, в стареньком зимнем пальто с черным барашковым воротником. От дороги, от шоссе, от трассы район был в двадцати километрах, и человек прошагал этот путь по зимней реке. Раздевшись в конторе, приезжий попросил разбудить Богданова. От Богданова пришел ответ, что завтра, завтра. Но приезжий был настойчив, попросил Богданова встать, одеться и выйти в контору, объяснив, что пришел новый начальник угольного района, которому Богданов должен сдать дела в двадцать четыре часа. Просит прочесть приказ. Богданов оделся, вышел, пригласил приезжего в квартиру. Гость отказался, заявив, что приемку района он начнет сейчас.

Новость распространилась мгновенно. Контора стала наполняться неодетыми людьми.

— Где у вас спирт?

— У меня.

— Пусть принесут.

Секретарь Карташов вместе с дневальным вынесли бидон.

— А бочка?

Богданов залепетал что-то невнятное.

— Хорошо. Поставьте пломбы на бидон.— Приезжий запечатал бидон.— Дайте мне бумаги для акта.

Вечером следующего дня Богданов, свежевыбритый, надушенный, весело помахивая расписными меховыми рукавичками, уехал в «центр». Он был совершенно трезв.

— Это не тот Богданов, который был в речном управлении?

— Нет, наверное. Они на этой службе меняют свои фамилии, не забудьте.

ИНЖЕНЕР КИСЕЛЕВ

Я не понял души инженера Киселева. Молодой, тридцатилетний инженер, энергичный работник, только что кончивший институт и приехавший на Дальний Север отрабатывать обязательную трехлетнюю практику. Один

из немногих начальников, читавший Пушкина, Лермонтова, Некрасова — так его библиотечная карточка рассказывала. И самое главное — беспартийный, стало быть, приехавший на Дальний Север не затем, чтобы что-то проверять, в соответствии с приказами свыше. Никогда не встречавший ранее арестантов на своем жизненном пути, Киселев перещеголял всех палачей в своем палачестве.

Самолично избивая заключенных, Киселев подавал пример своим десятникам, бригадирам, конвою. После работы Киселев не мог успокоиться — ходил из барака в барак, выискивая человека, которого он мог бы безнаказанно оскорбить, ударить, избить. Таких было двести человек в распоряжении Киселева. Темная садистическая жажда убийства жила в душе Киселева и в самовластии и бесправии Дальнего Севера нашла выход, развитие, рост. Да не просто сбить с ног — таких любителей из начальников малых и больших на Колыме было много, у которых руки чесались, которые, желая душу отвести, через минуту забывали о выбитом зубе, окровавленном лице арестанта — который этот забытый начальством удар запоминал на всю жизнь. Не просто ударить, а сбить с ног и топтать, топтать полутруп своими коваными сапогами. Немало заключенных видели у своего лица железки на подошвах и каблуках киселевских сапог.

Сегодня кто лежит под сапогами Киселева, кто сидит на снегу? Зельфугаров. Это мой сосед сверху по вагонному купе поезда, идущего прямым ходом в ад — восемнадцатилетний мальчик слабого сложения с изношенными мускулами, преждевременно изношенными. Лицо Зельфугарова залито кровью, и только по черным кустистым бровям узнаю я своего соседа: Зельфугаров — турок, фальшивомонетчик. Фальшивомонетчик по 59 — 12 — живой — да этому не поверит ни один прокурор, ни один следователь, ведь за фальшивую монету у государства ответ один — смерть. Но Зельфугаров был мальчиком шестнадцати лет, когда слушалось это дело.

— Мы делали деньги хорошие — ничем не отличить от настоящих,— взволнованный воспоминаниями, шептал Зельфугаров в бараке — в утепленной палатке, где внутри брезента ставится фанерный каркас — изобретения и такие бывают. Расстреляны отец и мать, два дяди Зельфугарова, а мальчик остался жив — впрочем,

он скоро умрет, порукой тому сапоги и кулаки инженера Киселева.

Я наклоняюсь над Зельфугаровым, и тот выплевывает прямо на снег перебитые свои зубы. Лицо его опухает на глазах.

— Идите, идите, Киселев увидит, рассердится,— толкает меня в спину инженер Вронский — тульский горняк, тверяк по рождению — последняя модель шахтинских процессов. Доносчик и подлец.

По узким ступенькам, вырубленным в горе, мы взбираемся на место работы. Это — «зарезки» шахты. Штольня, которую «бьют» по уклону, и немало уже вытащено веревкой камня — рельсы уходят куда-то далеко вглубь — где бурят, откалывают, выдают на-гора породу.

И Вронский, и я, и Савченко, харбинский почтарь, и паровозный машинист Крюков — все мы слишком слабы, чтобы быть забойщиками, чтобы нам была оказана честь допустить к кайлу и лопате и к «усиленному» пайку, который отличается от пайка нашего, производственного, какой-то лишней кашей, кажется. Я знаю хорошо, что такое шкала лагерного питания, какое грозное содержание скрывают эти пищевые рационы поощрения, и не жалуюсь. Остальные — новички — горячо обсуждают главный вопрос: какую категорию питания дадут им в следующую декаду — пайки и карточки меняются подекадно. Какую? Для «усиленного» пайка мы слишком слабы, мускулы наших рук и ног давно превратились в бечевки — в веревочки. Но у нас еще есть мышцы на спине, на груди, у нас есть еще кожа и кости, и мы натираем мозоли на груди, выполняя желание инженера Киселева. У всех четверых мозоли на груди и белые заплаты на наших грязных, рваных телогрейках, посаженные на грудь, как будто у всех одна и та же арестантская форма.

В штольне проложены рельсы, по рельсам на веревке, на пеньковом канате, мы спускаем вагонетку — внизу ее нагрузят, а мы вытащим вверх. Руками мы, конечно, этой вагонетки не вытащим, если бы даже все четверо тянули враз, вместе, как рвут лошади гужевых троек в Москве. В лагере каждый тянет вполсилы или в полторы силы. Дружно в лагере тянуть не умеют. Но у нас есть механизм, это тот самый механизм, который был еще в Древнем Египте и позволил построить пирамиды. Пирамиды, а не какую-нибудь шахту, шахтенку. Это —

конный ворот. Только вместо лошадей здесь впрягают людей — нас, и каждый из нас упирается грудью в свое бревно, жмет, и вагонетка медленно выползает наружу. Тут, оставив ворот, мы катим вагонетку к отвалу, разгружаем ее, тащим назад, ставим на рельсы, толкаем в черное горло штольни.

Кровавые мозоли на груди у каждого, заплаты на груди у каждого — это след бревна от конного ворота, от египетского ворота.

Здесь нас ждет, подбоченившись, инженер Киселев. Следит, чтобы мы заняли свои места в этой упряжке. Докурив свою папиросу и тщательно растоптав, растерев окурок на камнях своими сапогами, Киселев уходит. И хоть мы знаем, что Киселев нарочно измельчил, растоптал свой окурок, чтобы нам не досталось и единой табачинки, ибо прораб видел воспаленные жадные глаза, арестантские ноздри, вдыхающие издали дым этой киселевской папиросы — все же мы не можем справиться с собой и все четверо бежим к растерзанной, уничтоженной папиросе и пытаемся собрать хоть табачинку, хоть крупиночку, но, конечно, собрать хоть крошку, хоть пылинку не удается. И у всех у нас на глазах слезы, и мы возвращаемся в свои рабочие позиции — к потертым бревнам конного ворота, к рогатке-вертушке.

Это Киселев, Павел Дмитриевич Киселев воскресил на Аркагале ледяной карцер времен 1938 года, вырубленный в скале, в вечной мерзлоте, ледяной карцер. Летом людей раздевали до белья — по летней гулаговской инструкции — и сажали их в этот карцер босыми, без шапок, без рукавиц. Зимой сажали в одежде — по зимней инструкции. Много заключенных, побывавших в этом карцере только одну ночь — навсегда простились со здоровьем.

Говорили о Киселеве много в бараках, в палатках. Методические, ежедневные смертные избиения казались многим, не прошедшим школы 1938 года — слишком ужасными, непереносимыми.

Всех поражало, или удивляло, или задевало, что ли, личное участие начальника участка в этих ежедневных экзекуциях. Арестанты легко прощали удары, тычки конвоирам, надзирателям, прощали своим собственным бригадирам, но стыдились за начальника участка, этого беспартийного инженера. Киселевская активность вызывала возмущение даже у тех, чьи чувства были притуп-

лены многими годами заключения, кто видал всякое, кто научился великому равнодушию, которое воспитывает в людях лагерь.

Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт — целиком отрицательный, до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни — еще не самое страшное. Самое страшное — это когда это самое дно человек начинает — навсегда — чувствовать в своей собственной жизни, когда его моральные мерки заимствуются из лагерного опыта, когда мораль блатарей применяется в вольной жизни. Когда ум человека не только служит для оправдания этих лагерных чувств, но служит самим этим чувствам. Я знаю много интеллигентов — да и не только интеллигентов,— которые именно блатные границы сделали тайными границами своего поведения на воле. В сражении этих людей с лагерем одержал победу лагерь. Это и усвоение морали «лучше украсть, чем попросить», это фальшивое блатное различение пайки личной и государственной. Это слишком свободное отношение ко всему казенному. Примеров растления много. Моральная граница, рубеж очень важны для заключенного. Это — главный вопрос его жизни. Остался он человеком или нет.

Различие очень тонкое, и стыдиться нужно не воспоминаний о том, как был «доходягой», «фитилем», бегал как «курва с котелком» и рылся на помойных ямах, а стыдиться усвоенной блатной морали — хотя бы это давало возможность выжить как блатные, притвориться «бытовичком» и вести себя так, чтобы ради бога не узнали ни начальник, ни товарищи, пятьдесят восьмая ли у тебя статья, или сто шестьдесят вторая, или какая-нибудь служебная — растраты, халатность. Словом, интеллигент хочет быть лагерной Зоей Космодемьянской, быть с блатарями — блатарем, с уголовниками — уголовником. Ворует и пьет и даже радуется, когда получает срок по «бытовой»— проклятое клеймо «политического» снято с него наконец. А политического-то в нем не было никогда. В лагере не было политических. Это были воображаемые, выдуманные враги, с которыми государство рассчитывалось как с врагами подлинными — расстреливало, убивало, морило голодом. Сталинская коса смерти косила всех без различия, равняясь на разверстку, на списки,

на выполнение плана. Среди погибших в лагере был такой же процент негодяев и трусов, сколько и на воле. Все были люди случайные, случайно превратившиеся в жертву из равнодушных, из трусов, из обывателей, даже из палачей.

Лагерь был великой пробой нравственных сил человека, обыкновенной человеческой морали, и девяносто девять процентов людей этой пробы не выдержали. Те, кто выдерживал — умирали вместе с теми, кто не выдерживал, стараясь быть лучше всех, тверже всех — только для самих себя...

Была глубокая осень, густая метель. Опоздавшая в перелете молодая утка не могла бороться со снегом, слабела. На площадке зажгли «юпитер», и обманутая его холодным светом утка кинулась, хлопая отяжелевшими, намокшими крыльями, к «юпитеру», как к солнцу, как к теплу. Но холодный огонь прожектора не был солнечным огнем, дающим жизнь, и утка перестала бороться со снегом. Утка опустилась на площадку перед штольней, где мы — скелеты в оборванных телогрейках — налегали грудью на палку ворота под улюлюканье конвоя. Савченко поймал утку руками. Он отогрел ее за пазухой, за своей костистой пазухой, высушил ее перья своим голодным и холодным телом.

— Съедим?— сказал я. Хотя множественное число тут было вовсе ни к чему — это была охота, добыча Савченко, а не моя.

— Нет. Лучше я отдам...

— Кому? Конвою?

— Киселеву.

Савченко отнес утку в дом, где жил начальник участка. Жена начальника участка вынесла Савченко два обломка хлеба, граммов триста, и налила полный котелок пустых щей из квашеной капусты. Киселев знал, как рассчитываться с арестантами, и научил этому свою жену. Разочарованные, проглотили мы этот хлеб — Савченко кусочек побольше, я — кусочек поменьше. Вылакали суп.

— Лучше было самим съесть утку,— грустно сказал Савченко.

— Не надо было носить Киселеву,— подтвердил я.

Случайно оставшись в живых после истребительного тридцать восьмого года, я не собирался вторично обрекать себя на знакомые мучения. Обрекать себя на ежедневные, ежечасные унижения, на побои, на издева-

тельство, на пререкания с конвоем, с поваром, с банщиком, с бригадиром, с любым начальником — бесконечная борьба за кусок чего-то, что можно съесть — и не умереть голодной смертью, дожить до завтрашнего точно такого же дня.

Последние остатки расшатанной, измученной, истерзанной воли надо было собрать, чтобы покончить с издевательствами ценой хотя бы жизни. Жизнь — не такая уж большая ставка в лагерной игре. Я знал, что и все думают так же, только не говорят. Я нашел способ избавиться от Киселева.

Полтора миллиона тонн полукоксующегося угля, не уступающего по калорийности донбассовскому — таков угольный запас Аркагалы, угольного района Колымского края — где лиственные, исковерканные холодом над головой и вечной мерзлотой под корнями деревья достигают зрелости в триста лет. Значение угольных запасов при таком лесе понятно всякому начальнику на Колыме. Поэтому на Аркагалинской шахте часто бывало самое высокое колымское начальство.

— Как только какое-нибудь большое начальство приедет на Аркагалу — дать Киселеву по морде. Публично будут ведь обходить бараки, шахту обязательно. Выйти из рядов — и пощечина.

— А если застрелят, когда выйдешь из рядов?

— Не застрелят. Не будут ждать. По части получения пощечин опыт у колымского начальства невелик. Ведь ты пойдешь не к приезжему начальнику, а к своему прорабу.

— Срок дадут.

— Дадут года два. За такую суку больше не дадут. А два года надо взять.

Никто из старых колымчан не рассчитывал вернуться с Севера живым — срок не имел для нас значения. Лишь бы не расстреляли, не убили. Да и то...

— А что Киселева после пощечины уберут от нас, переведут, снимут — это ясно. В среде высших начальников ведь пощечину считают позором. Мы, арестанты, этого не считаем, да и Киселев, наверное, тоже. Такая пощечина прозвучит на всю Колыму.

Так помечтав о самом главном в нашей жизни у печки, у холодеющего очага, я влез на верхние нары, на свое место, где было потеплее, и заснул.

Я спал без всяких сновидений. Утром нас привели на

работу. Дверь конторки раскрылась, и начальник участка шагнул через порог. Киселев не был трусом.

— Эй, ты,— закричал он,— выходи.

Я вышел.

— Значит, прогремит на всю Колыму? А? Ну, держись...

Киселев не ударил меня, даже на замахнулся для приличия, для соблюдения собственного начальнического достоинства. Он повернулся и ушел. Мне нужно было держаться очень осторожно. Ко мне Киселев больше не подходил и замечаний не делал — просто исключил меня из своей жизни, но я понимал, что он ничего не забудет, и иногда чувствовал на моей спине ненавидящий взгляд человека, который еще не придумал способа мести.

Я много размышлял о великом лагерном чуде — чуде стукачества, чуде доноса. Когда Киселеву донесли? Значит, стукач не спал ночь, чтобы добежать до вахты или до квартиры начальника. Измученный работой днем, правоверный стукач крал у себя отдых ночной, мучился, страдал и «доказывал». Кто же? Нас было четверо при этом разговоре. Сам я — не доносил, это я твердо знал. Есть такие положения в жизни, когда человек и сам не знает, донес он или нет на товарищей. Например, бесконечные покаянные заявления всяких партийных уклонистов. Доносы это или не доносы? Я уж не говорю о беспамятстве показаний с применением горящей паяльной лампы. И так бывало. По Москве до сих пор ходит один бурят-профессор, у которого рубцы на лице от паяльной лампы тридцать седьмого года. Кто еще? Савченко? Савченко спал рядом со мной. Инженер Вронский. Да, инженер Вронский. Он. Нужно было спешить, и я написал записку.

Вечером следующего дня с Аркагалы за одиннадцать километров приехал на попутной машине врач, заключенный Кунин. Я знал его немножко — по пересылке прошлых лет. После осмотра больных и здоровых Кунин подмигнул мне и направился к Киселеву.

— Ну, как осмотр? В порядке?

— Да, почти, почти. У меня к вам просьба, Павел Дмитриевич.

— Рад служить.

— Отпустите-ка Андреева на Аркагалу. Направление я дам.

Киселев вспыхнул:

— Андреева? Нет, кого хотите, Сергей Михайлович, только не Андреева.— И засмеялся.— Это, как бы вам сказать политературнее — мой личный враг.

Есть две школы начальников в лагере. Одни считают, что всех заключенных, да и не только заключенных, всех, кто досадил лично начальнику, надо скорее отправлять в другое место, переводить, выгонять с работы.

Другая школа считает, что всех оскорбителей, всех личных врагов надо держать поближе к себе, на глазах, лично проверяя действенность тех карательных мер, которые выдуманы начальником для удовлетворения собственного самолюбия, собственной жестокости. Киселев исповедовал принципы второй школы.

— Не смею настаивать,— сказад Кунин.— Я, по правде говоря, вовсе не для этого приехал. Вот тут акты, их довольно много,— Кунин расстегнул помятый брезентовый портфель.— Акты о побоях. Я еще не подписывал их. Я, знаете, держусь простого, что называется, «народного» взгляда на эти вещи. Мертвых не воскресишь, сломанных костей не склеишь. Да мертвых в этих актах и нет. Я так говорю о мертвых, для красного словца. Я не хочу вам плохого, Павел Дмитриевич, и мог бы смягчить кое-какие врачебные заключения. Не уничтожать, а именно смягчить. Изложить то, что было,— помягче. Но, видя ваше нервное состояние, я, конечно, не хочу вас тревожить личной просьбой.

— Нет, нет, Сергей Михайлович,— сказал Киселев, придерживая за плечи вставшего с табурета Кунина.— Зачем же? А нельзя ли совсем порвать эти дурацкие акты? Ведь, честное слово, сгоряча. А потом, это такие негодяи. Любого доведут.

— Насчет того, что любого доведут эти негодяи — у меня особое мнение, Павел Дмитриевич. А акты... Порвать их, конечно, нельзя, а смягчить можно.

— Так сделайте это!

— Я бы сделал охотно,— холодно сказал Кунин, глядя прямо в глаза Киселеву.— Но ведь я просил перевести одного зэкашку на Аркагалу — вот этого доходягу Андреева,— а вы и слушать не хотите. Засмеялись, и все...

Киселев помолчал.

— Сволочи вы все,— сказал он.— Пишите направление в больницу.

— Это сделает фельдшер вашего участка по вашему указанию,— сказал Кунин.

Этим же вечером с диагнозом «острый аппендицит» я был увезен на Аркагалу, в главную лагерную зону, и больше не видел Киселева. Но не прошло и полугода, как я услышал о нем.

В темных штреках шуршали газетой, смеялись. В газете было напечатано извещение о внезапной смерти Киселева. В сотый раз рассказывали подробности, захлебываясь от радости. Ночью в квартиру инженера через окно влез вор. Киселев был не трус, на кровати у него всегда висела заряженная охотничья двустволка. Услышав шорох, Киселев спрыгнул с кровати и, взведя курки, бросился в соседнюю комнату. Вор, услышав шаги хозяина, кинулся в окно и замешкался немного, вылезая из узкого окна.

Киселев ударил вора прикладом сзади, как в оборонительном рукопашном бою,— по всем правилам, как учили всех вольных во время войны — учили каким-то дедовским способам рукопашного боя. Двустволка выстрелила. Весь заряд влетел Киселеву в живот. Через два часа Киселев умер — хирурга ближе чем за сорок километров не было, а Сергею Михайловичу, как заключенному, не разрешили этой срочной операции.

День, когда на шахту пришло известие о смерти Киселева, был праздничным днем для заключенных. Даже, кажется, план был в этот день выполнен.

ЛЮБОВЬ КАПИТАНА ТОЛЛИ

Самая легкая работа в забойной бригаде на золоте — это работа траповщика, плотника, который наращивает трап — сшивает гвоздями доски, по которым катают тачки с «песками» к бутаре, к промывочному прибору. Деревянные «усики» доводятся до каждого забоя от центрального трапа. Все это сверху, с бутары похоже на гигантскую сороконожку, расплющенную, высохшую и пригвожденную навек к дну золотого разреза.

Работа траповщика — «кант» — легкая работа по сравнению с забойщиком или тачечником. В руках траповщика не бывает ни рукояток тачки, ни лопаты, ни лома, ни кайла. Топор и горсть гвоздей — вот его инструмент. Обычно на этой, необходимой, обязательной, важной, работе траповщика бригадир чередует работяг, давая

им хоть маленький отдых. Конечно, пальцы, намертво, навсегда обнявшие черенок лопаты или кайловище — не разогнутся в один день легкой работы — на это нужно год или больше безделья. Но какая-то капля справедливости в этом чередовании легкого и тяжелого труда есть. Тут нет очередности — кто послабее — тот имеет лучший шанс проработать хоть день траповщиком. Для того чтобы прибивать гвозди и подтесывать доски, ни столяром, ни плотником быть не надо. Люди с высшим образованием прекрасно с этой работой справлялись.

В нашей бригаде этот «кант» не чередовался. Место траповщика занимал в бригаде всегда один и тот же человек — Исай Рабинович, бывший управляющий Госстрахом Союза. Рабиновичу было шестьдесят восемь лет, но старик он был крепкий и надеялся выдержать десятилетний свой лагерный срок. В лагере убивает работа — поэтому всякий, кто хвалит лагерный труд — подлец или дурак. Двадцатилетние, тридцатилетние умирали один за другим — для того их и привезли в эту спецзону,— а траповщик Рабинович жил. Были у него какие-то знакомства с лагерным начальством, какие-то таинственные связи, ибо Рабинович то работал в хозчасти временно, то конторщиком,— Исай Рабинович понимал, что каждый день и каждый час, проведенный не в забое, обещает старику жизнь, спасение, тогда как забой — только гибель, смерть. В спецзону не надо бы завозить стариков пенсионного возраста. Анкетные данные Рабиновича привели его в спецзону, на смерть.

И тут Рабинович заупрямился, не захотел умирать.

И однажды нас заперли вместе, «изолировали», 1 мая, как делали каждый год.

— Я давно слежу за вами,— сказал Рабинович — и мне было неожиданно приятно знать, что кто-то за мной следит, кто-то меня изучает — не из тех, кому это делать надлежит. Я улыбнулся Рабиновичу кривой своей улыбкой, разрывающей раненые губы, раздирающей цинготные десны.— Вы, наверное, хороший человек. Вы никогда не говорите о женщинах грязно.

— Не следил, Исай Давыдович, за собой. А разве и здесь говорят о женщинах?

— Говорят, только вы не вмешиваетесь в этот разговор.

— Сказать вам правду, Исай Давыдович,— я считаю женщин лучше мужчин. Я понимаю единство двуединого

человека, муж и жена — одно и так далее. И все же материнство — труд. Женщины и работают лучше мужчин.

— Истинная правда,— сказал сосед Рабиновича — бухгалтер Безноженько.— На всех ударниках, на всех субботниках лучше не вставай рядом с бабой — замучает, загоняет. Ты — покурить, а она сердится.

— Да и это,— рассеянно сказал Рабинович.— Наверное, наверное. Вот Колыма. Очень много женщин приехали сюда за мужьями — ужасная судьба, ухаживания начальства, всех этих хамов, которые позаразились сифилисом. Вы знаете все это не хуже меня. И ни один мужчина не приехал за сосланной и осужденной женой. Управляющим Госстрахом я был очень недолго,— говорил Рабинович.— Но достаточно, чтоб «схватить десятку». Я много лет заведовал внешним активом Госстраха. Понимаете, в чем дело?

— Понимаю,— сказал я безрассудно, ибо я не понимал.

Рабинович улыбнулся очень прилично и очень вежливо.

— Кроме госстраховской работы за границей,— и вдруг, поглядев мне в глаза, Рабинович почувствовал, что мне ничего не интересно. По крайней мере, до обеда.

Разговор возобновился после ложки супа.

— Хотите, я расскажу вам о себе. Я много жил за границей, и сейчас в больницах, где я лежал, в бараках, где я жил, все просили меня рассказать об одном. Как, где и что я там ел. Гастрономические мотивы. Гастрономические кошмары, мечты, сны. Надо ли вам такой рассказ?

— Да, мне тоже,— сказал я.

— Хорошо. Я — страховой агент из Одессы. Работал в «России» — было такое страховое агентство. Был молодой, старался сделать для хозяина как можно честнее и лучше. Изучил языки. Меня послали за границу. Женился на дочери хозяина. Жил за границей до самой революции. Революция не очень испугала моего хозяина — он, как и Савва Морозов, делал ставку на большевиков.

Я был за границей в революцию с женой и дочерью. Тесть мой умер как-то случайно, не от революции. Знакомство у меня было большое, но для моих знакомств не нужна была Октябрьская революция. Вы поняли меня?

— Да.

— Советская власть только становилась на ноги. Ко мне приехали люди — Россия, РСФСР делала первые покупки за границей. Нужен кредит. А для получения кредита недостаточно обязательства Госбанка. Но достаточно моей записки и моей рекомендации. Так я связал Крейгера, спичечного короля, с РСФСР. Несколько таких операций — и мне позволили вернуться на родину, и я там занимался некоторыми деликатными делами. Вы про продажу Шпицбергена и расчет по этой продаже что-нибудь слышали?

— Немножко слышал.

— Так вот — я перегружал норвежское золото в Северном море на нашу шхуну. Вот, кроме внешних активов — ряд поручений в таком роде. Новым моим хозяином стала Советская власть. Я служил как и в страховом обществе — честно.

Смышленые спокойные глаза Рабиновича смотрели на меня.

— Я умру. Я уже старик. Я видел жизнь. Мне жаль жену. Жена в Москве. И дочь в Москве. Еще не попали в облаву для членов семьи... Увидеть их уж, видно, не придется. Они мне пишут часто. Посылки шлют. Вам шлют? Посылки шлют?

— Нет. Я написал, что не надо посылок. Если выживу, то без всякой посторонней помощи. Буду обязан только себе.

— В этом есть что-то рыцарское. Жена и дочь не поймут.

— Совсем не рыцарское, а мы с вами не то, что по ту сторону добра и зла, а вне всего человеческого. После того, что я видел — я не хочу быть обязанным в чем-то никому, даже собственной жене.

— Туманно. А я — пишу и прошу. Посылки — это должность в хозобслуге на месяц — костюм свой лучший я отдал за эту должность. Вы думаете, наверное, начальник пожалел старика...

— Я думал, у вас с лагерным начальством какие-нибудь особые отношения.

— Стукач я, что ли? Ну, кому нужен семидесятилетний стукач? Нет, я просто дал взятку, большую взятку. И живу. И ни с кем результатом этой взятки не поделился — даже с вами. Получаю, пишу и прошу.

После майского сидения мы вернулись в барак вместе, заняли места рядом — на нарах вагонной системы. Мы

не то что подружились — подружиться в лагере нельзя,— а просто с уважением относились друг к другу. У меня был большой лагерный опыт, а у старика Рабиновича было молодое любопытство к жизни. Увидев, что мою злость подавить нельзя, он стал относиться ко мне с уважением, с уважением — не больше. А может быть, стариковская тоска по вагонной привычке рассказывать о себе первому встречному. Жизнь, которую хотелось оставить на земле.

Вши не пугали нас. Как раз во время знакомства с Исаем Рабиновичем у меня и украли мой шарф — бумажный, конечно, но все же вязаный настоящий шарф.

Мы вместе выходили на развод, на развод «без последнего», как ярко и страшно называют такие разводы в лагерях. Развод «без последнего». Надзиратели хватали людей, конвоир толкал прикладом, сбивая, сгоняя толпу оборванцев с ледяной горы, спуская их вниз, а кто не успел, опоздал — это и называлось «развод без последнего»,— того хватали за руки и за ноги, раскачивали и швыряли вниз по ледяной горе. И я и Рабинович стремились скорее прыгнуть вниз, выстроиться и докатиться до площадки, где конвой уже ожидал и зуботычинами строил на работу, в ряды. В большинстве случаев нам удавалось скатиться вполне благополучно, удавалось живыми добрести до забоя — а там что бог даст.

Последнего, кто опоздал, кого сбросили с горы, привязывали к конским волокушам за ноги и волокли в забой на место работы. И Рабинович и я счастливо избегали этого смертного катанья.

Место для лагерной зоны было выбрано с таким расчетом: возвращаться с работы приходилось в гору, карабкаясь по ступенькам, цепляясь за остатки оголенных, обломанных кустиков, ползти вверх. После рабочего дня в золотом забое, казалось бы, человек не найдет сил, чтобы ползти наверх. И все же — ползли. И — пусть через полчаса, час — приползали к воротам вахты, к зоне, к баракам, к жилищу. На фронтоне ворот была обычная надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Шли в столовую, что-то пили из мисок, шли в барак, ложились спать. Утром все начиналось сначала.

Здесь голодали не все — а почему это так, я не узнал никогда. Когда стало теплей, к весне, начинались белые ночи, и в лагерной столовой начались страшные игры

«на живца». На пустой стол клали пайку хлеба, потом прятались в угол и ждали, пока голодная жертва, доходяга какой-нибудь, подойдет, завороженный хлебом, и дотронется, схватит эту пайку. Тогда все бросались из угла, из темноты, из засады, и начинались смертные побои вора, живого скелета — новое развлечение, которого я нигде, кроме «Джелгалы», не встречал. Организатором этих развлечений был доктор Кривицкий, старый революционер, бывший заместитель наркома оборонной промышленности. Вкупе с журналистом из «Известий» Заславским, Кривицкий был главным организатором этих кровавых «живцов», этих страшных приманок.

У меня был шарф, бумажный, конечно, но вязаный, настоящий шарф. Фельдшер в больнице мне подарил, когда меня выписывали. Когда этап наш сгрузили на прииске «Джелгала», передо мной возникло серое безулыбчатое лицо с глубоко засеченными, северными морщинами, с пятнами старых обморожений.

— Сменяем!

— Нет.

— Продай!

— Нет.

Все местные — а их сбежалось к нашей машине десятка два — глядели на меня с удивлением, поражаясь моей опрометчивости, глупости, гордости.

— Это — староста, лагстароста,— подсказал мне кто-то, но я покачал головой.

На безулыбчатом лице двинулись вверх брови. Староста кивнул кому-то, показывая на меня.

Но на разбой, на грабеж в этой зоне не решались. Куда было проще другое — и я знал, какое это будет другое. Я завязал шарф узлом вокруг своей шеи и не снимал более никогда — ни в бане, ни ночью, никогда.

Шарф легко было бы сохранить, но мешали вши. Вшей было в шарфе столько, что шарф шевелился, когда я, чтобы отряхнуть от вшей, снимал шарф на минуту и укладывал на стол у лампы.

Недели две боролся я с тенями воров, уверяя себя, что это — тени, а не воры. За две недели единственно я, повесив шарф на нары прямо перед собой, повернулся, чтоб налить кружку воды — и шарф сейчас же исчез, схваченный опытной воровской рукой. Я так устал бороться за этот шарф, такого напряжения сил требовала эта надвигавшаяся кража, о которой я знал,

которую я чувствовал, почти видел,— я обрадовался даже, что мне нечего хранить. И впервые после приезда на «Джелгалу» я заснул крепко и видел хороший сон. А может быть, потому, что тысячи вшей исчезли и тело сразу почувствовало облегчение.

Исай Рабинович с сочувствием следил за моей героической борьбой. Разумеется, он не помогал мне сохранить мой вшивый шарф — в лагере каждый за себя,— да я и не ждал помощи.

Но Исай Рабинович — работал несколько дней в хозчасти — сунул мне обеденный талон, утешая меня в моей потере. И я поблагодарил Рабиновича.

После работы все сразу ложатся, подстилая под себя свою грязную рабочую одежду.

Исай Рабинович сказал:

— Я хочу посоветоваться с вами по одному вопросу. Не лагерному.

— О генерале де Голле?

— Нет, да вы не смейтесь. Я получил важное письмо. То есть это для меня оно важное.

Я прогнал набегающий сон напряжением всего тела, встряхнулся и стал слушать.

— Я уже говорил вам, что моя дочь и жена в Москве. Их не трогали. Дочь моя хочет выйти замуж. Я получил от нее письмо. И от ее жениха — вот,— и Рабинович вынул из-под подушки связку писем — пачку красивых листков, написанных четким и быстрым почерком. Я вгляделся — буквы были не русские, латинские.

— Москва разрешила переслать эти письма мне. Вы знаете английский?

— Я? Английский? Нет.

— Это по-английски. Это от жениха. Он просит разрешения на брак с моей дочерью. Он пишет: мои родители уже дали согласие, осталось только согласие родителей моей будущей жены. Я прошу вас, мой дорогой отец... А вот письмо дочери. Папа, мой муж, морской атташе Соединенных Штатов Америки, капитан первого ранга Толли, просит твоего разрешения на наш брак. Папа, отвечай скорее.

— Что за бред?— сказал я.

— Никакой это не бред, а письмо капитана Толли ко мне. И письмо моей дочери. И письмо жены.

Рабинович медленно нашарил вошь за пазухой, вытащил и раздавил на нарах.

— Ваша дочь просит разрешения на брак?

— Да.

— Жених вашей дочери, морской атташе Соединенных Штатов, капитан первого ранга Толли, просит разрешения на брак с вашей дочерью?

— Да.

— Так бегите к начальнику и подавайте заявление, чтобы разрешили отправить экстренное письмо.

— Но я не хочу давать разрешение на брак. Вот об этом я и хочу посоветоваться с вами.

Я был ошеломлен просто этими письмами, этими рассказами, этим поступком.

— Если я соглашусь на брак — я ее никогда больше не увижу. Она уедет с капитаном Толли.

— Слушайте, Исай Давыдович. Вам скоро семьдесят лет. Я считаю вас разумным человеком.

— Это просто чувство, я еще не раздумывал над этим. Ответ я пошлю завтра. Пора спать.

— Давайте лучше отпразднуем это событие завтра. Съедим кашу раньше супа. А суп — после каши. Еще можно пожарить хлеба. Подсушить сухари. Сварить хлеб в воде. А, Исай Давыдович?

Даже землетрясение не удержало бы меня от сна, от сна-забытья. Я закрыл глаза и забыл про капитана Толли.

На следующий день Рабинович написал письмо и бросил в почтовый ящик около вахты.

Скоро меня увезли на суд, судили и через год привезли снова в ту же самую спецзону. Шарфа у меня не было, да и старосты того не было. Я приехал — обыкновенный лагерный доходяга, человек-фитиль без особых примет. Но Исай Рабинович узнал меня и принес кусок хлеба. Исай Давыдович укрепился в хозчасти и научился не думать о завтрашнем дне. Выучил Рабиновича забой.

— Вы, кажется, были здесь, когда дочь моя выходила замуж?

— Был, как же.

— История эта имеет продолжение.

— Говорите.

— Капитан Толли женился на моей дочери — на этом, кажется, я остановился,— начал рассказывать Рабинович. Глаза его улыбались.— Прожил месяца три. Протанцевал три месяца, и капитан первого ранга Толли получил линкор в Тихом океане и выехал к месту своей

новой службы. Дочери моей, жене капитана Толли, выезд не разрешили. Сталин смотрел на эти браки с иностранцами как на личное оскорбление, а в Наркоминделе шептали капитану Толли: поезжай один, погулял в Москве — и молодчик, что тебя связывает? Женись еще раз. Словом, вот окончательный ответ — женщина эта останется дома. Капитан Толли уехал, и год от него не было писем. А через год мою дочь послали на работу в Стокгольм, в шведское посольство.

— Разведчицей, что ли? На секретную работу?

Рабинович неодобрительно посмотрел на меня, осуждая мою болтливость.

— Не знаю, не знаю, на какую работу. В посольство. Моя дочь проработала там неделю. Прилетел самолет из Америки, и она улетела к мужу. Теперь буду ждать писем не из Москвы.

— А здешнее начальство?

— Здешние боятся, по таким вопросам не смеют иметь свое суждение. Приезжал московский следователь, меня допросил по этому делу. И уехал.

Счастье Исая Рабиновича на этом не кончилось. Превыше всяких чудес было чудо окончания срока в срок, день в день, без зачетов рабочих дней.

Организм бывшего страхового агента был настолько крепок, что Исай Рабинович проработал еще вольнонаемным на Колыме в должности фининспектора. На «материк» Рабиновича на пустили. Рабинович умер года за два до XX съезда партии.

КРЕСТ

Слепой священник шел через двор, нащупывая ногами узкую доску, вроде пароходного трапа, настланную по земле. Он шел медленно, почти не спотыкаясь, не оступаясь, задевая четырехугольными носками огромных стоптанных сыновних сапог за деревянную свою дорожку. В обеих руках священник нес ведра дымящегося пойла для своих коз, запертых в низеньком темном сарае. Коз было три: Машка, Элла и Тоня,— клички были выбраны умело, с различными согласными звуками. Обычно на его зов откликалась только та коза, которую он звал;

утром же, в час раздачи корма, козы блеяли беспорядочно, истошными голосами, просовывая по очереди мордочки в щель двери сарая. Полчаса назад слепой священник подоил их в большой подойник и отнес дымящееся молоко домой. В дойке он часто ошибался в вечной своей темноте — тонкая струйка молока падала мимо подойника, неслышно; козы тревожно оглядывались на свое собственное молоко, выдоенное прямо на землю. А быть может, и не оглядывались.

Ошибался он часто не только потому, что был слеп. Раздумья мешали не меньше, и, равномерно сжимая теплой рукой прохладное вымя козы, он часто забывал сам себя и свое дело, думая о своей семье.

Ослеп священник вскоре после смерти сына — красноармейца химической роты, убитого на Северном фронте. Глаукома, «желтая вода», резко обострилась, и священник потерял зрение. Были у священника и еще дети — еще два сына и две дочери, но этот, средний, был любимым и как бы единственным.

Козы, уход за ними, кормление, уборка, дойка — все это слепой делал сам — и эта отчаянная и ненужная работа была мерой утверждения себя в жизни — слепой привык быть кормильцем большой семьи, привык иметь дело и свое место в жизни, не зависеть ни от кого — ни от общества, ни от собственных детей. Он велел жене тщательно записывать расходы на коз и записывать приход, получаемый от продажи козьего молока летом. Молоко козье покупали в городе охотно — оно считалось особенно полезным при туберкулезе. Медицинская ценность этого мнения была невелика, не больше, чем известные рационы мяса черных щенят, рекомендованного кем-то для туберкулезных больных. Слепой и его жена пили молоко по стакану, по два в день, и стоимость этих стаканов священник тоже велел записывать. В первое же лето выяснилось, что корма стоят гораздо дороже, чем вырученное молоко, да и налоги на «мелких животных» были не так уж мелки, но жена священника скрыла правду от мужа и сказала ему, что козы приносят доход. И слепой священник благодарил бога, что нашел в себе силы хоть чем-нибудь помочь своей жене.

Жена его, которую до 1928 года все в городе звали «матушкой», а в 1929 году перестали — городские церкви были почти все взорваны, а «холодный» собор, в котором молился когда-то Иван Грозный, был сделан музе-

ем,— жена его была когда-то такая полная, толстая, что собственный ее сын, которому было лет шесть, капризничал и плакал, твердя: «Я не хочу с тобой идти, мне стыдно. Ты такая толстая». Она давно уже не была толстая, но полнота, нездоровая полнота сердечного больного сохранялась в ее огромном теле. Она едва ходила по комнате, с трудом двигаясь от печки в кухне до окна в комнате. Сначала священник просил почитать ему что-нибудь, но жене все было некогда — оставалась всегда тысяча дел по хозяйству, надо было сварить пищу — еду себе и козам. В магазины жена священника не ходила — небольшие ее закупки делали соседские дети, которым она наливала козьего молока или совала в руку леденец какой-нибудь.

На шестке русской печи стоял котел — чугун, как называют такую посуду на Севере. Чугун был с отбитым краем, и край был отбит в первый год замужества. Кипящее пойло для коз выливалось из чугуна через отбитый край и текло на шесток и капало с шестка на пол. Рядом с чугуном стоял маленький горшок с кашей — обед священника и его жены,— людям было нужно гораздо меньше, чем животным.

Но что-нибудь нужно было и людям.

Дел было мало, но женщина слишком медленно передвигалась по комнате, держась руками за мебель, и к концу дня уставала так, что не могла найти в себе сил для чтения. И она засыпала, а священник сердился. Он спал очень мало, хотя и заставлял себя спать, спать. Когда-то его второй сын, приехавший на побывку и огорченный безнадежным состоянием отца, спросил, волнуясь:

— Папа, почему ты спишь и днем и ночью? Зачем ты так много спишь?

— Дурак ты,— ответил священник,— ведь во сне-то я вижу...

И сын до самой своей смерти не мог забыть этих слов.

Радиовещание переживало тогда свое детство — у любителей скрипели детекторные приемники, и никто не осмеливался зацепить заземление за батарею отопления или телефонный аппарат. Священник только слышал о радиоприемниках, но понимал, что разлетевшиеся по свету его дети не смогут, не сумеют собрать денег даже на радионаушники для него.

Слепой плохо понимал, почему несколько лет назад

они должны были выехать из комнаты, в которой жили более тридцати лет. Жена шептала ему что-то непонятное, взволнованное и сердитое своим огромным беззубым, шамкающим ртом. Жена никогда не рассказывала ему правды: как милиционеры выносили из дверей их несчастной комнаты поломанные стулья, старый комод, ящик с фотографиями, дагерротипами, чугуны, и горшочки, и несколько книг — остатки когда-то огромной библиотеки,— и сундук, где хранилось последнее: золотой наперсный крест. Слепой ничего не понял, его увели на новую квартиру, и он молчал и молился про себя богу. Кричащих коз отвели на новую квартиру, знакомый плотник устроил коз на новом месте. Одна коза пропала в суматохе — это была четвертая коза — Ира.

Новые жильцы этой квартиры на берегу реки — молодой городской прокурор с франтоватой женой — ждали в гостинице «Центральная», пока их известят, что квартира свободна. В комнату священника вселяли слесаря с семьей из квартиры напротив, а две комнаты слесаря шли прокурору. Городской прокурор никогда не видел и не увидел ни священника, ни слесаря, на «живом месте» которых он селился жить.

Священник и его жена редко вспоминали прежнюю комнату — он — потому, что был слеп, а она — потому, что слишком много горя пришлось ей видеть на той квартире — гораздо больше, чем радости. Священник никогда не узнал, что его жена, пока могла, пекла пирожки и продавала на базаре и все время писала письма разным своим знакомым и родственникам, прося поддержать хоть чем-нибудь ее и слепого мужа. И, случалось, деньги приходили, небольшие деньги, но все же на них можно было купить сена и жмых для коз, внести налоги, заплатить пастуху.

Коз давно надо было продать — они только мешали, но она боялась об этом и подумать — ведь это было единственное дело ее слепого мужа. И она, вспоминая, каким живым, энергичным человеком был ее муж до своей страшной болезни, не находила в себе сил заговорить с ним о продаже коз. И все продолжалось по-прежнему.

Писала она и детям, которые давно уже выросли, имели собственные семьи. И дети отвечали на ее письма — у всех были свои заботы, свои дети; впрочем, отвечали не все дети.

Старший сын давно, еще в двадцатых годах, отказался

от отца. Тогда была мода отказываться от родителей — немало известных впоследствии писателей и поэтов начали свою литературную деятельность заявлениями подобного рода. Старший сын не был ни поэтом, ни негодяем, он просто боялся жизни и подал заявление в газету, когда его стали донимать на службе разговорами о «социальном происхождении». Пользы заявление не принесло, и свое Каиново клеймо он проносил до гроба.

Дочери священника вышли замуж. Старшая жила где-то на юге, деньгами в семье она не распоряжалась, боялась мужа, но писала домой часто слезные письма, полные своих горестей, и старая мать отвечала и ей, плача над письмами дочери и утешая ее. Старшая дочь ежегодно посылала матери посылку в несколько десятков килограммов винограда. Посылка с юга шла долго. И мать никогда не написала дочери, что виноград всякий год приходит испорченный — из всей посылки только несколько ягодок могла она выбрать мужу и себе. И всякий раз мать благодарила, униженно благодарила и стеснялась попросить денег.

Вторая дочь была фельдшерицей, и после замужества мизерное свое жалованье вознамерилась она откладывать и посылать слепому отцу. Муж ее, профсоюзный работник, одобрил ее намерение, и месяца три сестра приносила свою получку в родной дом. Но после родов она работать не стала и день и ночь хлопотала около своих двойняшек. Скоро выяснилось, что муж ее, профсоюзный работник — запойный пьяница. Служебная карьера его быстро шла вниз, и через два года он оказался агентом снабжения, да и на этой работе удержаться он долго не мог. Жена его с двумя малыми детьми, оставшись без всяких средств к жизни, снова поступила на работу и билась, как могла, содержа на жалованье медицинской сестры двух маленьких детей и себя. Чем она могла помочь своей старой матери и своему слепому отцу?

Младший сын был неженат. Ему бы и жить с отцом и матерью, но он решил попытать счастья в одиночку. От среднего брата осталось наследство — охотничье ружье, почти новенький бескурковый «Зауэр», и отец велел матери продать это ружье за девяносто рублей. За двадцать рублей сыну сшили две новые сатиновые рубашки-толстовки, и он уехал к тетке в Москву и поступил на завод рабочим. Младший сын посылал деньги домой,

но помалу, рублей по пяти, по десяти в месяц, а вскоре за участие в подпольном митинге он был арестован и выслан, и след его затерялся.

Слепой священник и его жена вставали всегда в шесть часов утра. Старая мать затапливала печку, слепой шел доить коз. Денег не было вовсе, но старой женщине удавалось занять в долг несколько рублей у соседей. Но эти рубли надо было отдавать, а продать было уже нечего — все носильные вещи, все скатерти, белье, стулья — все уже было давно продано, променяно на муку для коз и на крупу для супа. Оба обручальные кольца и серебряная шейная цепочка были проданы в Торгсине еще в прошлом году. Суп только по большим праздникам варился с мясом, и сахар старики покупали только к празднику. Разве зайдет кто-нибудь, сунет конфету или булку, и старая мать брала и уносила в свою комнату и совала в сухие, нервные, беспрерывно двигающиеся пальцы слепого своего мужа. И оба они смеялись и целовали друг друга, и старый священник целовал изуродованные домашней тяжелой работой, опухшие, потрескавшиеся, грязные пальцы своей жены. И старая женщина плакала и целовала старика в голову, и они благодарили друг друга за все хорошее, что они дали друг другу в жизни, и за то, что они делают друг для друга сейчас.

Каждый вечер священник вставал перед иконой и горячо молился и благодарил бога еще и еще за свою жену. Так делал он ежедневно. Бывало, что он не всегда становился лицом к иконе, и тогда жена сползала с кровати и, охватив его руками за плечи, ставила лицом к образу Иисуса Христа. И слепой священник сердился.

Старуха старалась не думать о завтрашнем дне. И вот наступило такое утро, когда козам было нечего дать, и слепой священник проснулся и стал одеваться, нашаривая сапоги под кроватью. И тогда старуха закричала и заплакала, как будто она была виновата в том, что у них нечего есть.

Слепой надел сапоги и сел в свое клеенчатое, залатанное, мягкое кресло. Вся остальная мебель была давно продана, но слепой об этом не знал — мать сказала, что подарила дочерям.

Слепой священник сидел, откинувшись на спинку кресла, и молчал. Но растерянности не было в его лице.

— Дай мне крест,— сказал он, протягивая обе руки и двигая пальцами.

Жена доковыляла до двери и заложила крючок. Вдвоем они приподняли стол и выдернули из-под стола сундук. Жена священника достала из деревянной коробки с нитками ключик и отперла сундук. Сундук был полон вещей, но что это были за вещи — детские рубашки сыновей и дочерей, связки пожелтевших писем, что сорок лет назад писали они друг другу, венчальные свечи с проволочным украшением — воск с узором давно уже осыпался, клубки разноцветной шерсти, связки лоскутков для заплат. И на самом дне два небольших ящичка, в каких бывают ордена, или часы, или драгоценные вещи.

Женщина тяжело и гордо вздохнула, выпрямилась и открыла коробку, в которой на атласной, новенькой еще подушке лежал наперсный крест с маленькой скульптурной фигуркой Иисуса Христа. Крест был красноватый, червонного золота.

Слепой священник ощупал крест.

— Принеси топор,— сказал он тихо.

— Не надо, не надо,— зашептала она и обняла слепого, пытаясь взять крест у него из рук. Но слепой священник вырвал крест из узловатых опухших пальцев своей жены и больно ушиб ей руку.

— Неси,— сказал он,— неси... Разве в этом бог?

— Я не буду — сам, если хочешь...

— Да, да, сам, сам.

И жена священника, полубезумная от голода, заковыляла в кухню, где всегда лежал топор и лежало сухое полено — для лучины, чтоб ставить самовар.

Она принесла топор в комнату, закинула крючок и заплакала без слез, криком.

— Не гляди,— сказал слепой священник, укладывая крест на полу. Но она не могла не глядеть. Крест лежал вниз фигуркой. Слепой священник нащупал крест и замахнулся топором. Он ударил, и крест отскочил и слегка зазвенел на полу — слепой священник промахнулся. Священник нашарил крест и снова положил его на то же место и снова поднял топор. На этот раз крест согнулся, и кусок его удалось отломить пальцами. Железо было тверже золота,— разрубить крест оказалось совсем не трудно.

Жена священника уже не плакала и не кричала, как будто крест, изрубленный в куски, перестал быть

чем-то святым и обратился просто в драгоценный металл, вроде золотого самородка. Она торопливо и все же очень медленно завертывала кусочки креста в тряпочки и укладывала их обратно в орденскую коробку.

Она надела очки и внимательно осмотрела лезвие топора, не осталось ли где золотых крупинок.

Когда все было спрятано и сундук поставлен на место, священник надел свой брезентовый плащ и шапку, взял подойник и пошел через двор около длинной наращенной доски — доить коз. С дойкой он запоздал, уже был белый день и давно открыты магазины. Магазины Торгсина, где торговали продуктами на золото, открывались в десять часов утра.

КУРСЫ

РАНЬШЕ ВСЕГО:

Человек не любит вспоминать плохое. Это свойство людской натуры делает жизнь легче. Проверьте себя. Ваша память стремится удержать хорошее, светлое и забыть тяжелое, черное. При тяжелых условиях жизни не завязывается никакая дружба. Память вовсе не безразлично «выдает» все прошлое подряд. Нет, она выбирает такое, с чем радостнее, легче жить. Это — как бы защитная реакция организма. Это свойство человеческой натуры, по существу, есть искажение истины. Но что есть истина?

Из многих лет моей колымской жизни лучшее время — месяцы ученья на фельдшерских курсах при лагерной больнице близ Магадана. Такого же мнения держатся все заключенные, побывавшие хоть месяц-два на двадцать третьем километре Магаданской трассы.

Курсанты съезжались со всех концов Колымы — с севера и с юга, с запада и с юго-запада. Самый южный юг был много севернее того поселка на побережье, куда они приехали.

Курсанты из дальних управлений старались занять нижние нары — не потому, что наступала весна, а из-за недержания мочи, которое было почти у каждого «горного» заключенного. Темные пятна давних отморожений на щеках были похожи на казенное тавро, на печать, ко-

торой их клеймила Колыма. На лицах провинциалов была одна и та же угрюмая улыбка недоверия, затаенной злобы. Все «горняки» чуть прихрамывали — они побывали близ полюса холода, достигали полюса голода. Командировка на фельдшерские курсы была недобрым приключением. Каждому казалось, будто он — мышь, полумертвая мышь, которую кошка-судьба выпустила из когтей и собирается поиграть немножко. Ну что ж — мыши тоже ничего не имеют против такой игры — пусть знает это кошка.

Провинциалы жадно докуривали махорочные цигарки «пижонов»— кидаться, чтоб подобрать окурок, на глазах у всех они все же не решались, хотя для золотых приисков и оловянных рудников открытая охота за «бычками» была поведением, вполне достойным истинного лагерника. И только видя, что кругом никого нет, провинциал быстро хватал окурок и совал в карман, расплющив его у себя в кулаке, чтобы потом на досуге свернуть «самостоятельную» папиросу. Многие «пижоны», прибывшие недавно из-за моря — с парохода, с «этапа», сохраняли «вольную» рубашку, галстук, кепку.

Женька Кац поминутно доставал из кармана крошечное солдатское зеркальце и осторожно причесывал свои густые кудри ломаным гребешком. Стриженным наголо провинциалам поведение Каца казалось фатовством, но замечаний ему не делали, «жить не учили»— это запрещено неписаным законом лагерей.

Курсантов разместили в чистеньком бараке «вагонного» типа — то есть с двухэтажными нарами с отдельным местом для каждого. Говорят, что такие нары гигиеничней и притом ласкают глаз начальства — как же: каждому отдельное место. Но вшивые ветераны, прибывшие из дальних мест, знали, что мяса на их костях недостаточно, чтобы согреться в одиночку, а борьба со вшами одинаково трудна и при «вагонных», и при «сплошных» нарах. Провинциалы с грустью вспоминали сплошные нары дальних таежных бараков, вонь и душный уют пересылок.

Кормили курсантов в столовой, где питалась обслуга больницы. Обеды были много гуще приисковых. «Горняки» подходили за добавкой — им давали. Подходили второй раз — опять повар спокойно наполнял протянутую в окно миску. На приисках так никогда не бывало. Мысли медленно двигались по опустевшему мозгу, и ре-

шение созревало все яснее, все категоричнее — нужно было во что бы то ни стало остаться на этих курсах, стать «студентом», сделать, чтоб и завтрашний день был похож на сегодняшний. Завтрашний день — это завтрашний день буквально. Никто не думал о фельдшерской работе, о медицинской квалификации. О таком далеком загадывать боялись. Нет, только завтрашний день с такими же щами на обед, с вареной камбалой, с пшенной кашей на ужин, с затихающей болью остеомиелитов, упрятанных в рваные портянки, сунутые в ватные самодельные бурки.

Курсанты изнемогали от слухов, один другого тревожнее, от лагерных «параш». То говорят, что к экзаменам не будут допущены заключенные старше тридцати лет, сорока лет. В бараке будущих курсантов были люди и девятнадцати, и пятидесяти лет. То говорят, что курсы не будут открывать вовсе — раздумали, средств нет, и завтра же курсантов пошлют на общие работы — и самое страшное — **возвратят** на прежнее место жительства — на золотые прииски и оловянные рудники.

И верно, на следующий день курсантов подняли в шесть часов утра, выстроили у вахты и повели километров за десять — ровнять дорогу. Лесная работа дорожника, о которой мечтал всякий приисковый заключенный, здесь показалась всем необыкновенно тяжелой, оскорбительной, несправедливой. Курсанты «наработали» так, что на следующий день их уже не посылали.

Был слух, что начальник запретил совместное обучение мужчин и женщин. Что статью пятьдесят восьмую, пункт десять (антисоветская агитация), доселе признаваемую вполне «бытовой» статьей, не будут допускать к экзаменам. К экзаменам! Вот главное слово. Ведь должны быть приемные экзамены. Последние приемные экзамены моей жизни были экзамены в университет. Это было очень, очень давно. Я ничего не мог припомнить. Клетки мозга не тренировались целый ряд лет, клетки мозга голодали и утратили навсегда способность поглощения и выдачи знаний. Экзамен! Я спал беспокойным сном. Я не мог найти никакого решения. Экзамен «в объеме семи классов». Это было невероятно. Это вовсе не вязалось и с работой на воле, и с жизнью в заключении. Экзамен!

К счастью, первый экзамен был по русскому языку.

Диктант — страницу из Тургенева — прочитал нам местный знаток русской словесности — фельдшер из заключенных Борский. Диктант был удостоен Борским высшей отметки, и я был освобожден от устного зачета по русскому языку. Ровно двадцать лет назад в актовом зале Московского университета писал я письменную работу — приемный экзамен — и был освобожден от сдачи устных испытаний. История повторяется — один раз как трагедия, другой раз как фарс. Назвать фарсом мой случай было нельзя.

Медленно, с ощущением физической боли, перебирал я клетки памяти — что-то важное, интересное должно было мне открыться. Вместе с радостью первого успеха пришла радость припоминания — я давно забыл свою жизнь, забыл университет.

Следующим экзаменом была математика — письменная работа. Я, неожиданно для себя, быстро решил задачу, предложенную на экзамене. Нервная собранность уже сказывалась, остатки сил мобилизовались и чудесным, необъяснимым путем выдали нужное решение. За час до экзамена и через час после экзамена я не решил бы такой задачи.

Во всевозможных учебных заведениях существует обязательный экзаменационный предмет «Конституция СССР». Однако, учитывая «контингенты», начальники из КВО управления лагеря вовсе сняли сей скользкий предмет, к общему удовольствию.

Третьим предметом была химия. Экзамен принимал бывший кандидат химических наук, бывший научный сотрудник Украинской академии наук А. И. Бойченко — нынешний заведующий больничной лабораторией, самолюбивый остряк и педант. Но дело было не в человеческих качествах Бойченко. Химия для меня была предметом непосильным по-особому. Химию проходят в средней школе. Моя средняя школа приходится на годы гражданской войны. Случилось так, что школьный преподаватель химии Соколов, бывший офицер, был расстрелян во время ликвидации заговора Нуланса в Вологде, и я навек остался без химии. Я не знал — из чего состоит воздух, а формулу воды помнил лишь по старинной студенческой песне:

Сапоги мои «тово» —
Пропускают H_2O.

Последующие годы показали, что жить можно и без химии — и я стал забывать о всей этой истории — как вдруг на сороковом году моей жизни оказалось, что требуется знание химии — и именно по программе средней школы.

Как я, написавший в анкете — образование законченное среднее, незаконченное высшее, объясню Бойченко, что вот только химии я не изучал?

Я ни к кому не обращался за помощью — ни к товарищам, ни к начальству — жизнь моя, тюремная и лагерная, приучила полагаться только на себя. Началась «химия». Я помню весь этот экзамен и по сей день.

— Что такое окислы и кислоты?

Я начал объяснять, что-то путаное и неверное. Я мог ему рассказать о бегстве Ломоносова в Москву, о расстреле откупщика Лавуазье, но окислы...

— Скажите мне формулу извести...

— Не знаю.

— А формулу соды?

— Не знаю.

— Зачем же вы пришли на экзамен? Я ведь записываю вопросы и ответы в протокол.

Я молчал. Но Бойченко был немолод, он понимал кое-что. Недовольно он вгляделся в список моих предыдущих отметок: две пятерки. Он пожал плечами.

— Напишите знак кислорода.

Я написал букву «Н» большое.

— Что вы знаете о периодической системе элементов Менделеева?

Я рассказал. В рассказе моем было мало «химического» и много Менделеева. О Менделееве я кое-что знал. Как же — ведь он был отцом жены Блока!

— Идите,— сказал Бойченко.

Назавтра я узнал, что получил тройку по химии и зачислен, зачислен, зачислен на фельдшерские курсы при центральной больнице Управления северо-восточных лагерей НКВД.

Я ничего не делал два следующие дня: лежал на койке, дышал барачной вонью и смотрел в прокопченный потолок. Начинался очень важный, необычайно важный период моей жизни. Я ощущал это всем своим существом. Я вступал на дорогу, которая могла спасти меня. Нужно было готовиться не к смерти, а к жизни. И я не знал, что труднее.

Нам выдали бумагу — огромные листы, обгорелые с

краев — след прошлогоднего пожара от взрыва, уничтожившего весь город Находку. Из этой бумаги мы сшили тетради. Нам выдали карандаши и перья.

Шестнадцать мужчин и восемь женщин! Женщины сидели в левой части класса, поближе к свету, мужчины — справа, где потемнее. Коридор в метр шириной разделял класс. У нас были новенькие узкие столы с нижней полочкой. Я и в средней школе учился на таких точно столах.

Позднее мне случилось попасть в рыбацкий поселок Олу — около Ольской эвенкской школы стояла парта, и я долго разглядывал загадочную конструкцию, пока наконец не сообразил, что́ это такое — парта Эрисмана.

Учебников у нас не было никаких, а из наглядных пособий — несколько плакатов по анатомии.

Научиться было геройством, а научить — подвигом.

Сначала о героях. Никто из нас — ни женщины, ни мужчины — не думал стать фельдшером для того, чтобы пожить в лагере без забот, поскорей превратиться в «лепилу».

Для некоторых — и меня в том числе — курсы были спасением жизни. И хотя мне было под сорок лет, я выкладывался полностью и занимался на пределе сил и физических, и душевных. Кроме того, я рассчитывал кое-кому помочь, а кое с кем свести счеты — десятилетней давности. Я надеялся снова стать человеком.

Для других курсы давали профессию на всю жизнь, расширяли кругозор, имели немалое общеобразовательное значение, сулили твердое общественное положение в лагере.

За первым столом на первом месте от прохода сидел Мин Гарипович Шабаев — татарский писатель, Мин Шабай, осужденный по статье «аса», жертва тридцать седьмого года.

Русским языком Шабаев владел хорошо, записывал лекции по-русски, хотя, как я выяснил через много лет, писал он прозу на татарском языке. В лагере многие скрывают свое прошлое. Это объяснимо и логично не только для бывших следователей и прокуроров. Писатель, как интеллигент, как человек умственного труда, «очкарик», в местах заключения всегда вызывает ненависть и у товарищей, и у начальства. Шабаев понял это давно,

выдавая себя за торгового работника, и в разговоры о литературе не вмешивался — так было лучше всего, спокойней всего, по его мнению. Он всем улыбался и вечно что-то жевал. Одним из первых курсантов он начал приобретать отечный вид — «опухать»,— приисковые годы не прошли даром для Мина Гариповича. От курсов он был в полном восхищении.

— Понимаешь, мне сорок лет, и я впервые узнал, что печень-то у человека одна. Я думал — две, всего ведь по два.

Наличие у человека селезенки приводило Мина Гариповича в полный восторг.

После освобождения Мин Гарипович не стал работать фельдшером, а вернулся на милую его сердцу снабженческую работу. Стать агентом снабжения — перспектива еще более ослепляющая, чем медицинская карьера.

Рядом с Шабаевым сидел Бокис — огромных размеров латыш — будущий чемпион Колымы по пинг-понгу. В больнице он «приземлился» уже не один год, сначала как больной, потом как санитар из больных. Врачи обещали и «устроили» Бокису диплом. Уже с фельдшерским дипломом Бокис выехал в тайгу, увидел золотые прииски. Тайга была для него страшным призраком, но боялся он в ней не того, чего нужно бояться,— растления собственной души. Равнодушие — это еще не подлость.

Третьим сидел Бука — одноглазый солдат второй мировой войны, осужденный за мародерство. Прииск в три месяца выбросил Буку обратно — на больничную койку. Семилетнее образование Буки, покладистый характер, украинская хитреца — все это сложилось вместе, и Бука был принят на курсы. Одним глазом Бука увидел на прииске не меньше, чем многие видят двумя; самое главное увидел — что свою судьбу нужно строить в стороне от пятьдесят восьмой статьи и множества ее разновидностей. На курсах не было человека скрытнее Буки.

Месяца через два Бука заменил черную повязку искусственным глазом. Только в больничном наборе не оказалось карих глаз, и пришлось взять голубой. Впечатление было сильное, но скоро все привыкли — раньше, чем сам Бука,— к разноцветным Букиным глазам. Я пытался утешить Буку рассказом о глазах Александра Македонского — Бука вежливо меня выслушал,— глаза

Александра Македонского были чем-то вроде «политики»— Бука промычал нечто неопределенное и отошел в сторону.

Четвертым в углу у стены сидел Лабутов, как и Бука — солдат мировой войны. Радист, человек бойкий, самолюбивый, он изготовил миниатюрный приемник, по которому слушал фашистское радио. Рассказал товарищу, был изобличен. Трибунал дал ему десять лет по «аса». Лабутов имел десятилетнее образование, любил вычерчивать всяческие схемы наподобие штабных карт огромного размера, со стрелками, знаками, с названием занятия, скажем, по анатомии — «Операция», «Сердце». Колымы он не знал. В тот весенний день, когда нас выгнали на работу, Лабутов вздумал выкупаться в ближайшей канаве, и мы с трудом удержали его. Фельдшер вышел из него хороший, особенно позднее, когда он постиг тайны физиотерапии, что для него как электрика и радиста было нетрудно, и укрепился на постоянную работу в кабинет электролечения.

Во втором ряду сидели Черников, Кац и Малинский. Черников был самодовольный, вечно улыбающийся мальчик — тоже фронтовик, осужденный по какой-то уголовной статье. Он и не нюхал Колымы, на курсы поступил из Маглага — из городского лагерного отделения. Грамотный достаточно, чтобы учиться, он справедливо полагал, что с курсов его не выгонят, если будут и нарушения, быстро сошелся с одной из курсанток.

Женька Кац, приятель Черникова, был бойкий «бытовичок», чрезвычайно дорожащий своими пышными кудрями. Как староста курсов — был незлобив и не имел никакого авторитета. Уже после окончания курсов, работая на амбулаторном приеме, услышав от врача, осматривающего больного: «Марганцу!» — Женька положил на рану не марлю, смоченную слабым раствором «калиум гипермарганикум», а засыпал рану темно-фиолетовыми кристалликами марганца. Больной, прекрасно знавший, как лечат ожоги, не отвел руки, не запротестовал, не моргнул глазом. Это был старый колымчанин. Небрежность Женьки Каца освободила его от работы чуть не на месяц. На Колыме удача бывает редко. Ее надо хватать крепко и держать, пока есть силы.

Малинский был моложе всех в классе. Ему было девятнадцать лет — призывник последнего года войны, воспитанный в военное время, с моралью нетвердой, Костя

Малинский был осужден за мародерство. Случай привел его в больницу, где одним из врачей работал его дядя — московский терапевт. Дядя помог ему устроиться на курсы. Курсы Костю интересовали мало. Порочная его природа, а может быть, просто молодость постоянно толкала его на разные лагерные авантюры: получение масла по поддельному талону, продажа обуви, поездка в Магадан. У него вечно были объяснения по этой части (только ли по этой?) у уполномоченных. Кто-то ведь должен был быть осведомителем.

Курсы дали Косте профессию. Через несколько лет я встретился с ним в поселке Ола. Костя выдавал там себя за фельдшера, окончившего двухлетние курсы военного времени, и я невольно мог быть причиной разоблачения лжи.

В 1957 году я ехал с Костей в одном автобусе в Москве — велюровая шляпа, мягкое пальто.

— Что ты делаешь?

— По медицине, по медицине пошел,— кричал мне Костя на прощанье.

Остальные курсанты были люди из горных управлений, люди другой судьбы.

Орлов был «литёрка», осужденный по «литерной» статье, то есть «тройками», или Особым совещанием.

Московский механик Орлов «доплывал» на приисках трижды. Как шлак, колымская машина выбросила его в местную больницу, и оттуда он попал на курсы. Ставкой была жизнь. Орлов ничего не знал, кроме занятий, как ни бесконечно трудно давалась ему медицина. Постепенно он втянулся в занятия, поверил в свое будущее.

Учитель средней школы, географ Суховенченко был старше Орлова — ему было за сорок лет. В заключении он был около восьми лет из десяти — оставалось уже немного. Притом Суховенченко был из тех, кто уцелел, укрепился — он уже имел спокойную работу и мог выжить. Он отбыл стаж «доходяги» и остался в живых. Он работал геологом, коллектором, помощником начальника партии. Но все это благо могло внезапно исчезнуть как дым — достаточно было сменить начальника — у Суховенченко ведь не было диплома. А память о приисковых годах была слишком свежа. Возможность получить путевку на курсы была. Курсы предполагались восьмимесячные — до окончания «срока» осталось бы совсем немного. Была бы приобретена хорошая лагерная про-

фессия. Суховенченко бросил геологическую партию и получил фельдшерское образование. Но медика из него не вышло — то ли года были не те, то ли качества души иные. Окончив курсы, Суховенченко почувствовал, что не может лечить, не имеет силы воли для решения. Перед ним были живые люди, а не камни для коллекций. Поработав немного фельдшером, Суховенченко вернулся к профессии геолога. Стало быть, он был из тех, кого зря учили. Порядочность, доброта его были вне всякого сомнения. «Политики» он боялся как огня, но доносить не пошел бы.

У Силайкина не было семи классов, человек он был уже пожилой, учиться было очень трудно. Если Кундуш, Орлов, я с каждым днем чувствовали себя все увереннее, Силайкину было все труднее. Но он продолжал учиться, рассчитывая на свою память, память у него превосходная, на свое уменье ловчить и не только ловчить, но и понимать людей. По наблюдениям Силайкина, преступников вовсе нет, кроме блатарей. Все прочие заключенные вели себя на воле так, как все другие — столько же воровали у государства, столько же ошибались, столько же нарушали закон, как и те, кто не был осужден по статьям Уголовного кодекса и продолжал заниматься каждый своей работой. Тридцать седьмой год подчеркнул это с особой силой — уничтожив всякую правовую гарантию у русских людей. Тюрьму стало никак не обойти, никому не обойти.

Преступники на воле и в лагере только одни — блатари. Силайкин был умен, он был великий сердцеведец и, осужденный за мошенничество, был по-своему порядочным человеком. Есть порядочность от чувства, от сердца. И есть порядочность от ума. Не честных убеждений, а честных привычек не хватало Силайкину. Он был правдив, потому что понимал, что сейчас это выгодно. Он не сделал ни одного поступка против правил потому, что понимал, что этого делать нельзя. В людей он не верил и личную корысть считал главным двигателем общественного прогресса. Он был остроумен. На занятии по общей хирургии, когда опытнейший преподаватель Меерзон никак не мог втолковать курсантам «супинацию» и «пронацию», Силайкин встал, попросил слова и протянул руку с ладонью лодочкой вверх: «супу дай», и повернул ладонь: «пронесли мимо». Все — в том числе и Меерзон — запомнили, вероятно, на всю жизнь мрачную мнемонику

Силайкина и оценили его колымское остроумие. Выпускные экзамены Силайкин сдал вполне благополучно и работал фельдшером — на прииске. Работал, вероятно, хорошо, потому что был умен и «понимал жизнь». «Понимать жизнь»— это, по его мнению, было главным.

Столь же грамотным был его сосед по столу — Логвинов — Илюша Логвинов. Логвинов, осужденный за разбой, не будучи блатарем, все больше и больше попадал под влияние уголовного рецидива. Он видел ясно силу блатарей в лагере — силу и нравственную и материальную. Начальство заискивало перед блатарями, боялось блатарей. Блатарям в лагере был «родной дом». Они почти не работали, пользовались всяческими привилегиями, и хоть у них за спиной тайком составлялись «этапные» списки и время от времени приезжал «черный ворон» с конвоем и забирал особо разгулявшихся блатарей, но такова была жизнь — и на новом месте блатарям не было хуже. В штрафных зонах они были тоже хозяевами.

Логвинов, сам из трудовой семьи, совершивший преступление во время войны, видел, что его ждет одна дорога. Начальник лагеря, читавший «дело» Логвинова, уговорил его поступить на курсы. Экзамен был кое-как сдан, началась учеба страстная, безнадежная. Предметы медицины были слишком сложной материей для Илюши. Но он нашел в себе душевные силы не отступиться, окончил курсы и работал ряд лет старшим фельдшером большого терапевтического отделения. Он освободился, женился, завел семью. Курсы открыли ему дорогу в жизнь.

Шла вводная лекция по общей хирургии. Преподаватель перечислил имена людей, стоявших на вершинах мировой медицины.

— ...И в наше время один ученый сделал открытие — переворот в хирургии, в медицине вообще...

Мой сосед нагнулся вперед и выговорил:

— Флеминг.

— Кто это сказал? Встаньте!

— Я.

— Фамилия?

— Кундуш.

— Садитесь.

Я ощутил чувство резкой обиды. Я-то вовсе не знал, кто такой Флеминг. Я просидел в тюрьме и лагере почти десять лет, с тридцать седьмого года, без газет и без книг и ничего не знал, кроме того, что была и кончилась

война, что есть какой-то пенициллин, что есть какой-то стрептоцид. Флеминг!

— Кто ты такой?— спросил я Кундуша впервые. Ведь мы вдвоем приехали из Западного управления по разверстке, обоих нас направил на курсы наш общий спаситель врач Андрей Максимович Пантюхов. Мы вместе голодали — он меньше, я — больше, но оба мы знали, что такое прииск. Друг о друге мы не знали ничего.

И Кундуш рассказал удивительную историю.

В 1941 году он был назначен начальником укрепленного района. Строители не спеша возводили доты и дзоты, пока июльским утром не рассеялся в бухте туман, и гарнизон увидел на рейде прямо перед собой немецкий линкор «Адмирал Шеер». Рейдер подошел поближе и в упор расстрелял все незаконченные укрепления, превратил все в пепел и груду камней. Кундуш получил десять лет. История была интересна и поучительна, в ней была только одна неясность — статья Кундуша: «аса». Такую статью не могли дать за оплошность, обнаруженную «Адмиралом Шеером». Когда мы сошлись побольше, я узнал, что Кундуш был осужден по пресловутому «делу НКВД»— одному из массовых открытых или закрытых процессов времени Лаврентия Берии: «ленинградское дело», «дело НКВД», Рыковский процесс, Бухаринский процесс, «кировское дело»— все это и были «этапы большого пути». Кундуш был горячим, порывистым человеком, не всегда умевшим сдержать вспыльчивость и в лагере. Был человеком безусловно порядочным, особенно после того, как воочию увидел «практику» мест заключения. Его собственная работа в недалеком прошлом — завотделом у Заковского в Ленинграде предстала перед ним в истинном, подлинном виде. Не потерявший интереса к книге, к знанию, к новости, умеющий ценить шутку, Кундуш был одним из самых привлекательных курсантов. Фельдшером он проработал несколько лет, но после освобождения перешел на работу снабженца, стал стивидором в Магаданском порту, пока не был реабилитирован и вернулся в Ленинград.

Любитель книг, особенно примечаний и комментариев, никогда не пропускающий напечатанного мелким шрифтом, Кундуш обладал широкими, но разбросанными знаниями, с удовольствием беседовал на всякие отвлеченные темы и по всем вопросам имел какой-то свой взгляд.

Вся его натура протестовала против лагерного режима, против насилия. Личное свое мужество он доказал позднее, в смелой поездке на свидание к заключенной девушке — испанке, дочери кого-то из членов мадридского правительства.

Кундуш был рыхлого сложения. Все мы, конечно, ели кошек, собак, белок и ворон и, конечно, конскую падаль — если могли достать. Но став фельдшерами, мы этого не делали. Кундуш, работая в нервном отделении, сварил в стерилизаторе кошку и съел ее один. Скандал едва удалось потушить. С господином Голодом Кундуш встречался на прииске и хорошо запомнил его лицо.

Все ли рассказывал Кундуш о себе? Кто знает? Да и зачем это знать? «Не веришь — прими за сказку». В лагере не спрашивают ни о прошлом, ни о будущем.

Слева от меня сидел Баратели, грузин, осужденный за какое-то служебное преступление. Русским языком он владел плохо. На курсах он нашел земляка — преподавателя фармакологии, нашел поддержку и материальную, и моральную. Прийти поздно вечером в «кабинку» при больничном отделении, где сухо и тепло, как в летнем хвойном лесу, напиться чаю с сахаром или поесть не спеша перловой каши с крупными брызгами подсолнечного масла, чувствовать ноющую, расслабляющую радость всех оживающих мускулов — разве это не предел чудес для человека с прииска? А Баратели был на прииске.

Кундуш, я и Баратели сидели за четвертым столом. Третий стол был короче других — там был выступ печки-голландки, и сидели за этим столом двое — Сергеев и Петрашкевич. Сергеев был «бытовичок», бывший в заключении агентом снабжения — фельдшерская школа ему была не очень нужна. Занимался он небрежно. На первых практических занятиях по анатомии в морге — чего-чего, а трупов в распоряжении курсантов было сколько угодно,— Сергеев упал в обморок и был отчислен.

Петрашкевич не упал бы в обморок. Он был с прииска, да притом «литерник» по «каэровской» статье. Литер этот был нередкий в тридцать седьмом году: «осужден как член семьи», и больше ничего. Так получали «срока́» дети, отцы, матери, сестры и прочие родственники осужденных. Дед Петрашкевича (не отец, а дед!) был видным украинским националистом. По этим соображениям в

1937 году был расстрелян отец Петрашкевича — украинский учитель. Сам Петрашкевич — школьник, шестнадцати лет, получил «десять рокив», «как член семьи».

Я неоднократно замечал, что заключение, особенно северное, как бы консервирует людей — их духовный рост, их способности замирают на уровне времени ареста. Этот анабиоз длится до освобождения. Человек, просидевший в тюрьме или лагере двадцать лет, не приобретает опыта обычной жизни — школьник остается школьником, мудрый — только мудрым, но не мудрейшим.

Петрашкевичу было двадцать четыре года. Он бегал по классу, кричал, привешивал за спину Шабаева или Силайкина какие-то бумажки, пускал голубей, смеялся. Отвечал преподавателям с полной школьной выкладкой. Но был он парень неплохой, фельдшером стал хорошим. «Политики» чурался как огня и боялся читать газеты.

Организм мальчика был недостаточно силен для Колымы. Петрашкевич умер от туберкулеза через несколько лет, не успев выбраться на Большую землю.

Женщин было восемь. Старостой была Муза Дмитриева — в прошлом какой-то партийный или скорее профсоюзный работник — это занятие кладет неизгладимое клеймо на все повадки, манеры и интересы. Было ей лет сорок пять, и «доверие начальства» она старалась оправдать. Ходила она в какой-то бархатной кацавейке и хорошем шерстяном платье. Во время войны американских шерстяных вещей было пожертвовано огромное количество колымчанам. Конечно, в глубину тайги, до приисков, эти подарки не доходили, да и на побережье их постаралось расхватать местное начальство — выпрашивая или просто отбирая у заключенных эти свитеры и фуфайки. Но кое у кого из магаданских жителей остались эти «тряпки». И Муза их сохранила.

В курсовые дела она не мешалась, ограничивая свою «власть» лишь женской группой. Дружбу Муза водила с самой молоденькой курсанткой — Надей Егоровой, оберегая Надю от соблазнов лагерного мира. Надя этой опекой тяготилась не очень, и Муза не могла препятствовать бурному развитию романа Нади с лагерным поваром.

— Путь к сердцу женщины лежит через желудок.— Силайкин с удовольствием повторял эти слова. Перед Надей и ее соседкой Музой появлялись диетические блюда — всякие тефтели, ромштексы, блинчики. Порция

была двойная и даже тройная. Штурм был недолгим, Надя сдалась. Благодарная Муза продолжала охранять Надю — уже не от повара, а от лагерного начальства.

Занималась Надя плохо. Зато она отводила душу в культбригаде. Культбригада, клуб, художественная самодеятельность — единственное место в лагере, где мужчинам и женщинам разрешено встречаться. И хотя недремлющее око лагерного надзора следит, чтоб отношения мужчин и женщин не перешагнули границу дозволенного — а по местному обычаю, доказать адюльтер надо столь же веско, как это делал полицейский комиссар в «Милом друге» Мопассана. Надзиратели наблюдают, ловят. Терпения не всегда хватает, ибо — по Стендалю — узник больше думает о своей решетке, чем тюремщик о своих ключах. Надзор ослабевает.

Если в культбригаде и нельзя рассчитывать на любовь в ее самом древнем и вечном варианте, то все равно: репетиции кажутся заключенному другим миром, более похожим на тот, в котором он жил когда-то. Это — немаловажное соображение, хотя и лагерный цинизм не позволяет признаться в таких чувствах. Вполне реальный выигрыш в мелких преимуществах, которые получает культработник — внезапная выписка махорки, сахара. Разрешение не стричь волос — не последнее дело в лагере. Из-за стрижки волос возникали целые побоища, скандалы, в которых участвовали вовсе не актеры и не воры...

Пятидесятилетний Яков Заводник, бывший комиссар колчаковского фронта (однокашник Зеленского, расстрелянного по Рыковскому процессу секретаря МК), отбивался кочергой от лагерных парикмахеров и попал из-за волос на штрафной прииск. Что это такое? Разве Самсонова сила — не легенда? В чем причина сего аффекта? Ясно, что психика повреждена желанием утвердить себя хоть в малом, в ничтожном — еще одно свидетельство великого смещения масштабов.

Уродливость тюремной жизни — раздельная жизнь мужчин и женщин — в культбригаде как-то сглаживается. В конечном счете это — тоже обман, но все же он дороже «низких истин». Все, кто может пищать и петь, все, кто читал дома стихи и играл в домашних спектаклях, кто бренчал на мандолине и плясал чечетку — все «имеют шанс» попасть в культбригаду.

Надя Егорова пела в хоре. Танцевать она не умела,

двигалась по сцене неуклюже, но ходила на репетиции. Бурная личная жизнь отнимала у нее много времени.

Елена Сергеевна Мелодзе, грузинка, была тоже «членом семьи» своего расстрелянного мужа. Взволнованная до глубины души его арестом — Мелодзе наивно думала, что ее муж в чем-то виноват,— она успокоилась, когда попала в тюрьму сама. Все стало ясным, логичным, простым — таких, как она, оказались десятки тысяч.

Разница между подлецом и честным человеком заключается вот в чем: когда подлец попадает невинно в тюрьму — он считает, что только он не виноват, а все остальные — враги государства и народа, преступники и негодяи. Честный человек, попав в тюрьму, считает, что раз его могли невинно упечь за решетку, то и с его соседями по нарам могло случиться то же.

Здесь —

Гегель и книжная мудрость
И смысл философии всей —

событий 1937 года.

К Мелодзе вернулось душевное спокойствие, ровное, веселое настроение. На Эльгене, женской таежной «командировке», Мелодзе на тяжелые работы не попала. И вот она — на фельдшерских курсах. Медички из нее не вышло. После освобождения — срок ее наказания кончался в начале пятидесятых годов — ее «прикрепили», как и всех, кто освобождался тогда, на колымское местожительство пожизненно. Она вышла замуж.

Рядом с Мелодзе сидела жизнерадостная, смешливая Галочка Базарова, молодая девушка, осужденная за какие-то проступки во время войны. Галочка всегда смеялась, даже хохотала, что ей вовсе не шло — у нее были редкие огромные зубы. Но это ее не смущало. Курсы дали ей профессию операционной сестры — целый ряд лет после освобождения она проработала в Магаданской больнице, где на первые заработки надела на зубы коронки из нержавеющей стали — и сразу похорошела.

За Базаровой сидела Айно — белозубая финка. «Срок» ее начался военной зимой 1939/40 года. Русскому языку она научилась в заключении, и, будучи девушкой работящей, по-фински аккуратной, она обратила на себя внимание кого-то из врачей и попала на курсы. Учиться ей было трудно, но она училась и выучилась на сестру... Жизнь на курсах ей нравилась.

Рядом с Айно сидела маленькая женщина. Ни фамилии, ни лица ее я вспомнить не могу. Или это была какая-нибудь разведчица, или действительно тень человека.

На следующей скамейке сидела Маруся Дмитриева, приятельница Черникова, со своей подругой Тамарой Никифоровой. Обе осуждены по «бытовым» статьям, обе не бывали в тайге, обе учились охотно.

Рядом с ними сидела черноглазая Валя Цуканова, кубанская казачка — больная из больницы. На первые занятия она ходила еще в больничном халате. Она бывала в тайге и училась весьма успешно. Следы голода и болезни не скоро сошли с ее лица, но когда сошли — оказалось, что Валя — красавица. Когда она окрепла — начала «крутить любовь», не дождавшись окончания курсов. Многие за ней ухаживали, но безуспешно. Сошлась она с кузнецом и на свидания бегала в кузню. После освобождения работала ряд лет фельдшером на отдельном участке.

Нам хотелось учиться, а нашим преподавателям хотелось учить. Они соскучились по живому слову, по передаче знаний, которая им была запрещена, передаче знаний, которая до ареста составляла смысл их жизни. Профессора и доценты, кандидаты медицинских наук, лекторы курсов усовершенствования врачей, они впервые за многие годы получили выход своей энергии. Преподаватели курсов были все, кроме одного — пятьдесят восьмой статьи.

Начальство внезапно сообразило, что познание тайн воротного кровообращения не обязательно связано с антисоветской пропагандой, и курсы были обеспечены высококвалифицированными преподавателями. Правда, слушателями должны были быть «бытовики». Но где найти столько «бытовиков» с семилетним образованием? «Бытовики» и так отбывали срок на привилегированных должностях и не нуждались ни в каких курсах. О том, чтобы привлечь на курсы пятьдесят восьмую, высокое начальство и слышать не хотело. В конце концов был найден компромисс — «аса» и пункт десятый пятьдесят восьмой статьи — как нечто почти бытовое — были допущены к испытаниям.

Было составлено и вывешено на стене расписание.

Расписание! Все как в настоящей жизни. Машина, похожая на тяжело груженный, кое-как собранный старенький таежный грузовик, неуверенно двинулась по ухабам и болотам Колымы.

Первой лекцией была анатомия. Читал сей предмет больничный патологоанатом Давид Уманский, семидесятилетний старик.

Эмигрант царского времени, Уманский получил диплом доктора медицины в Брюсселе. Жил и работал в Одессе, где врачебная практика была удачной — за несколько лет Уманский стал собственником многих домов. Революция показала, что дома́ — не самый надежный вид вклада. Уманский вернулся к врачебной деятельности. К половине тридцатых годов он, чувствуя тогдашние ветры, решил забраться подальше и нанялся на работу в Дальстрой. Это его не спасло. Он «прошел по разверсткам» Дальстроя, в 1938 году был арестован и осужден на 15 лет. С того времени он работал заведующим моргом больницы. Хорошо работать ему мешало презрение к людям, обида на свою жизнь. У него хватало ума не ссориться с лечащими врачами — на вскрытиях он мог бы доставить им много неприятностей,— а может быть, это был не ум, а презрение и он уступал в спорах на «секции» из простого чувства презрения.

Ум у доктора Уманского был ясный. Он был неплохим лингвистом — это было его хобби, любимое дело. Он знал много языков, изучил в лагере восточные и пытался вывести законы формирования языков, тратя на это все свободное время у себя в морге, где он жил вместе с ассистентом — фельдшером Дунаевым.

Попутно, легко и как бы шутя, прочел Уманский и курс латинского языка для будущих фельдшеров. Уж что это был за латинский язык, не знаю, но родительный падеж в рецептурных записях стал даваться мне легко.

Доктор Уманский был человеком живым, откликавшимся на любое политическое событие и имеющим свое продуманное мнение по любому вопросу международной или внутренней жизни. «Самое главное, дорогие друзья,— говорил он на своих приватных беседах,— выжить и пережить Сталина. Смерть Сталина — вот что принесет нам свободу». Увы, Уманский умер в Магадане в 1952 году, не дождавшись того, чего ждал столько лет.

Читал он неплохо, но как-то нехотя. Это был самый равнодушный из всех преподавателей. Время от

времени устраивались опросы, повторения, анатомия общая сменялась анатомией частной. Лишь один раздел своей науки Уманский категорически отказался читать: анатомию половых органов. Ничто не могло его убедить, и курсанты закончили обучение, так и не получив знаний по этому разделу из-за чрезмерной стыдливости брюссельского профессора. Какие причины были у Уманского? Ему казалось, что и нравственный, и культурный, и образовательный уровень курсантов недостаточно высок, чтоб подобные темы не вызывали нездорового интереса. Этот нездоровый интерес вызывался и в гимназиях — анатомическим атласом, например, и Уманский это помнил. Он был не прав — провинциалы, например, конечно, отнеслись бы к вопросу со всей серьезностью.

Человеком он был порядочным и раньше многих преподавателей увидел в курсантах — людей. Доктор Уманский был убежденным вейсманистом. Рассказывая нам о делении хромосом, он вскользь сообщил, что сейчас, кажется, есть другая теория деления хромосом, но он просто эту новую теорию не знает и решается нам излагать только хорошо известное. Так мы и воспитались вейсманистами. Полное торжество вейсманистов при изобретении электронного микроскопа не застало доктора Уманского в живых. Это торжество доставило бы старому доктору радость.

Названия костей, названия мышц зубрили мы наизусть, разумеется, русское, а не латинское название. Мы зубрили вдохновенно, увлеченно. В зубрежке всегда есть какое-то демократическое начало — мы были все равны перед наукой — анатомией. Никто не старался ничего понять. Старались просто запомнить. Лучше всех шло дело у Базаровой и Петрашкевича — вчерашних школьников (если исключить время заключения, которое у Петрашкевича подходило к восьми годам).

Тщательно зубря урок, я вспомнил общежитие 1-го Московского университета в 1926 году — Черкаску, где ночью по темным коридорам ходили пьяные от занятий медики и зубрили, зубрили, заткнув уши пальцами. Общежитие грохотало, смеялось, жило. Жизнерадостные фоновцы, литературоведы, историки смеялись над бедными зубрилами от медицины. Мы презирали науку, где надо не понимать, а зубрить.

Через двадцать лет я зубрил анатомию. За эти двадцать лет я хорошо понял, что такое специальность, что

такое точные науки, что такое медицина, что такое инженерное дело. И вот — привел бог случай заняться этим самому.

Мозг еще был способен и брать и отдавать знания.

Доктор Благоразумов читал «Основы санитарии и гигиены». Предмет был скучен, оживить лекции остротами Благоразумов не решался, а может быть, не умел по соображениям политического благоразумия — он помнил тридцать восьмой год, когда всех специалистов, всех врачей, инженеров, бухгалтеров заставляли работать с тачкой и кайлом, согласно «спецуказаниям», присланным из Москвы. Благоразумов два года возил тачку, трижды «доходил» от голода, холода, цинги и побоев. На третий год ему разрешили врачевать в качестве фельдшера на медпункте при враче — «бытовике». Много врачей умерло в том году. Благоразумов остался живой и твердо запомнил: никаких бесед, ни с кем. Дружба только вокруг «выпить, закусить». В больнице его любили. Докторские запои скрывались фельдшерами, а когда скрыть было нельзя — Благоразумова тащили в карцер, в кондей. Он выходил из карцера и продолжал чтение лекций. Это никому не казалось странным.

Читал он старательно, заставляя записывать важное под диктовку, проверяя систематически записи и усвоение — словом, Благоразумов был преподавателем добросовестным и благоразумным.

* * *

Фармакологию читал больничный фельдшер Гогоберидзе, бывший директор Закавказского фармакологического института. Русским языком он владел хорошо, и грузинского акцента в речи его было не больше, чем у Сталина. В прошлом Гогоберидзе был видным партийцем — его подпись есть на сапроновской «платформе 15». Время с 1928 года по 1937-й он провел в ссылке, а в 1937 году ему был объявлен новый приговор — пятнадцатилетний срок колымских лагерей. Гогоберидзе было под шестьдесят лет. Гипертония мучила его. Он знал, что скоро умрет, но не боялся смерти. Он ненавидел мерзавцев и, изобличив своего доктора по фамилии Кроль в отделении, где он работал, во взятках и поборах с заключенных, Гогоберидзе избил врача и заставил того отдать обратно чьи-то хромовые сапоги и «шкеры» в

полоску. С Колымы Гогоберидзе не уехал. Он был освобожден с пожизненной ссылкой в Нарым, но испросил разрешения заменить Нарым на Колыму. Он жил в поселке Ягодный и там умер в начале пятидесятых годов.

Единственным «бытовиком» среди наших преподавателей был доктор Кроль — харьковский специалист по кожным и венерическим болезням. Все наши учителя пытались воспитать в нас нравственную порядочность и рисовали в лирических отступлениях от лекций идеал моральной чистоты, воспитать силу ответственности за великое дело помощи больному, да еще больному-заключенному, да еще заключенному на Колыме — повторяя, кто как сумел, то самое, что было внушено в их молодости институтами, факультетами медицины, врачебной присягой. Все, кроме Кроля. Кроль чертил нам другие перспективы, подходил к нашей будущей работе с другой, лучше ему известной, стороны. Он не уставал рисовать нам картины материального благоденствия фельдшеров. «Заработаете на масло»,— хихикал Кроль и плотоядно улыбался. У Кроля были вечные темные дела с ворами — они приходили даже в перерыв между лекциями. Что-то он продавал, покупал, менял, мало стесняясь своих студентов. Лечение импотенции начальствующих лиц давало большой доход Кролю, охраняло его во время заключения. Кроль брался за какие-то таинственные знахарские операции в этом направлении — судить его было некому, связи у него были большие.

Две плюхи, которые он получил от фельдшера Гогоберидзе, не вывели Кроля из себя. «Погорячился, брат, погорячился»,— говорил он позеленевшему от злобы Гогоберидзе.

Кроль пользовался общим презрением и товарищей-преподавателей, и курсантов. К тому же преподавал он путано, не обладая талантом учить. Кожные болезни — тот раздел, который после курсов пришлось мне перечесть внимательно с карандашом и бумагой.

Ольга Степановна Семеняк, бывший доцент кафедры диагностической терапии Харьковского медицинского института, не читала лекций на наших курсах. Но мы проходили у нее практику. Она научила меня выстукивать, выслушивать больного. К концу практики она подарила мне старенький стетоскоп — это одна из немногих моих колымских реликвий. Ольге Степановне было около пятидесяти лет, ее десятилетний срок еще не

кончился. Осуждена она была за контрреволюционную агитацию. На Украине оставались ее муж и двое детей — все погибли во время войны. Война кончилась, кончался и срок заключения Ольги Степановны, но ей было некуда ехать. Она осталась в Магадане после освобождения.

На женском участке Эльген Ольга Степановна провела несколько лет. Она нашла в себе силы справиться со своим великим горем. Ольга Степановна была человеком наблюдательным и видела, что в лагере только одна группа людей сохраняет в себе человеческий образ — религиозники: церковники и сектанты. Личное несчастье заставило Семеняк сблизиться с сектантами. В своей «кабинке» она дважды в день молилась, читала Евангелие, старалась делать добрые дела. Добрые дела было делать ей нетрудно. Никто не может сделать больше добрых дел, как лагерный врач, но мешал характер — упрямый, вспыльчивый, заносчивый. На совершенствование в этом направлении Семеняк не обращала внимания.

Заведующей она была строгой, педантичной и персонал держала в ежовых рукавицах. К больным была всегда внимательна.

После рабочего дня «студентов» кормили обедом в больничной «раздатке». Семеняк обычно сидела тут же, пила чай.

— А что вы читаете?

— Ничего, кроме лекций.

— Вот прочтите,— она протянула мне маленькую книжку, похожую на молитвенник. Это был томик Блока, малой серии «Библиотека поэта».

Дня через три я вернул ей стихи.

— Понравились?

— Да.— Мне было совестно сказать, что я хорошо знаю, знал эти стихи.

— Прочтите мне «Девушка пела в церковном хоре». Я прочел.

— Теперь — «О дальней Мэри, светлой Мэри»... Хорошо. Теперь вот это...

Я прочел «В голубой далекой спаленке».

— Вы понимаете, что мальчик-то умер...

— Да, конечно.

— Умер мальчик,— повторила Ольга Степановна сухими губами и свела в морщины свой белый крутой лоб. Она помолчала.— Дать вам что-нибудь еще?

— Да, пожалуйста.

Ольга Степановна открыла ящик письменного стола и вынула книжку, похожую на томик Блока. Это было Евангелие.

— Почитайте, почитайте.' Особенно вот это — «К коринфянам» апостола Павла.

Через несколько дней я вернул ей книгу. Та безрелигиозность, в которой я прожил всю сознательную жизнь, не сделала меня христианином. Но более достойных людей, чем религиозники, в лагерях я не видел. Растление охватывало души всех, и только религиозники держались. Так было и пятнадцать, и пять лет назад.

В «кабинке» Семеняк познакомился я со строительным десятником из заключенных Васей Швецовым. Вася Швецов, красавец лет двадцати пяти, пользовался огромным успехом у всех лагерных дам. В отделении Семеняк он навещал раздатчицу Нину. Толковый, способный парень, он видел многое ясно и ясно объяснял, но запомнился он мне по особому поводу. Я поругал Васю за Нину — она была беременна.

— Сама ведь лезет,— сказал Швецов.— Что тут придумаешь? Я в лагере вырос. С мальчиков в тюрьме. Сколько я их, этих баб, имел — веришь ли, и счесть нельзя. И знаешь что? Ведь ни с одной ни часу не спал я на кровати. А все как-то — то в сенях, то в сарае, чуть ли не на ходу. Веришь?— Так рассказывал Вася Швецов, первый больничный красавец.

Николай Сергеевич Минин, хирург-гинеколог, заведовал женским отделением. Лекций он у нас не читал, мы проходили практику, практику без всякой теории.

В большие бураны больничный поселок заносило снегом до крыш, и только по дыму труб можно было ориентироваться. У каждого отделения вырублены были ступеньки вниз — к входной двери. Мы вылезли из своего общежития наверх, побежали к женскому отделению и вошли в мининский кабинет в половине девятого, надели халаты и, приоткрыв дверь, скользнули в комнату Шла обычная пятиминутка, сдача сестрой ночного дежурства. Минин, огромный седобородый старик, сидел за маленьким столом и морщился. Рапорт ночного дежурства кончился, и Минин махнул рукой. Все зашумели... Минин повернул голову направо. На небольшом стеклянном подносе старшая сестра принесла стаканчик голубова-

той жидкости. Запах был знакомым. Минин взял стаканчик, выпил и разгладил седые усы.

— Ликер «Голубая ночь»,— сказал он, подмигивая курсантам.

Я несколько раз был на его операциях. Оперировал он всегда «под мухой», но уверял, что руки дрожать не будут. Операционные сестры утверждали то же самое. Но после операции, когда он «размывался», полоща руки в большом тазу, толстые мощные пальцы его дрожали мелкой дрожью, и он грустно разглядывал свои непослушные, трясущиеся руки.

— Отработался, Николай Сергеевич, отработался,— тихонько говорил он себе. Но продолжал оперировать еще несколько лет.

До Колымы он работал в Ленинграде. Арестован был в тридцать седьмом году, года два возил тачку на Колыме. Был он соавтором большого учебника по гинекологии. Фамилия второго автора была Серебряков. После ареста Минина учебник стал выходить с одной фамилией Серебрякова. На сутяжнические хлопоты после освобождения у Минина не хватило сил. Его освободили, как всех, без права выезда с Колымы. Он стал пить еще больше, а в 1952 году повесился в своей комнате в поселке Дебин.

Во время революции старый большевик Николай Сергеевич Минин вел переговоры с АРА от имени Советского правительства, встречался с Нансеном. Позднее читал лекции по радио по антирелигиозным вопросам.

Все его очень любили — как-то выходило так, что Минин всем хотел добра, хотя ничего никому не делал, ни хорошего, ни плохого.

Доктор Сергей Иванович Куликов читал «Туберкулез». В тридцатых годах усердно внушалось гражданам Большой земли, что климат Колымы и климат Дальнего Востока — одно и то же. Колымские горы якобы благоприятствуют лечению туберкулеза и стабилизируют состояние легочных больных, во всяком случае. Ревнители сего утверждения забывали, что Колымские сопки покрыты болотами, что реки золотых районов проложили себе путь в болотах, что лесотундра Колымы — самое вредное место для легочников. Забывали про почти поголовную заболеваемость туберкулезом у эвенков, якутов, юкагиров Колымы. В больницах для заключенных туберкулезные отделения не планировались. Но бацилла

Коха — есть бацилла Коха, и туберкулезные отделения пришлось создавать — весьма вместительные.

Сергей Иванович был по видимости сед и дряхл, заметно глуховат, но бодр душой и телом. Предмет свой он считал главнейшим, сердился, когда ему противоречили. Помалкивал, но, слыша важные газетные новости, усмехался и сверкал глазами.

Доктор Куликов отбыл десять лет по какому-то пункту пятьдесят восьмой статьи. Когда освободился, получил «пожизненное прикрепление». На Колыму к нему приехала семья: старушка жена и дочь — тоже врач-туберкулезник.

Химик Бойченко вел лабораторную практику курсантов. Меня он запомнил хорошо и относился с полным презрением к человеку, не знающему химии.

Курс нервных болезней читала Анна Израилевна Понизовская. К этому времени она была на свободе и даже успела защитить кандидатскую диссертацию. Ряд лет в заключении довелось ей проработать с крупным невропатологом, профессором Скобло, который много и помог ей в оформлении темы,— так говорили в больнице. С профессором Скобло она встречалась уже после моего знакомства с ним — в 1939 году весной мы с ним вместе мыли полы на магаданской пересылке. Мир мал, Анна Израилевна была дамой чрезвычайно важной. Она любезно согласилась прочесть несколько лекций на курсах фельдшеров. Само чтение лекций обставлялось столь торжественно, что я из всех ее лекций запомнил только шелковое черное шуршащее платье Анны Израилевны и резкий запах ее духов — ни у одной нашей курсантки не было духов. Повар подарил, правда, Наде Егоровой крошечный флакончик дешевого одеколона «Сирень», но Надя так его осторожно и жадно нюхала во время занятий, что на два ряда назад не доносилось никакого запаха. А может быть, мешал вечный насморк мой, полученный на Колыме.

Помню, что приносили в класс какие-то плакаты — схемы условного рефлекса, должно быть, но был ли от этого толк — не знаю.

Психические заболевания решили нам вовсе не читать, сокращая и без того куцую программу. А преподаватели были — председатель приемной комиссии курсов, доктор Сидкин был больничным психиатром.

Болезни уха, горла, носа читал нам доктор Задер,

чистокровный венгр. Писаный красавец с бараньими глазами, доктор Задер знал по-русски очень плохо и передать что-либо курсантам почти не мог. Читать он вызвался для практики в русском языке. Занятия с ним были прямой потерей времени.

Мы донимали Меерзона, который к тому времени был назначен главным врачом больницы — как же мы будем знать то, что читает Задер?

— Ну, если вы только этого не будете знать, то ничего,— отвечал в своей обычной манере Меерзон.

На Колыму Задер попал только что — сразу после войны. В 1956 году он был реабилитирован, но дело было в конце года, он решил не возвращаться в Венгрию, а, получив кучу денег при расчете с Дальстроем, поселился где-то на юге. С доктором Задером, вскоре после того, как он принял зачеты от всех курсантов, случилась одна история.

Доктор Януш Задер, отоляринголог, был венгерским военнопленным, «салашистом», стало быть. «Термин» его был 15 лет. Он быстро выучился по-русски, он был медик, время, когда медиков держали на общих работах, прошло (и притом это указание касалось только литеры «Т» — то есть троцкистов), притом специальность его была самая дефицитная — ухо, горло и нос. Он оперировал и лечил удачно. Работал он в хирургическом отделении, как ординатор — это было нагрузкой к его основной специальности. На полостных операциях он ассистировал обычно заведующему хирургическим отделением, хирургу Меерзону. Словом, доктору Задеру везло, даже среди вольнонаемных он имел кое-какую клиентуру, он был одет в «вольное», носил длинные волосы и был сыт, и мог бы быть и пьян, но спирта он не брал в рот ни капли. Известность его все росла и росла, пока не произошла одна история, которая лишила нашу больницу отоляринголога на долгое время.

Все дело в том, что эритроцит, то есть красный кровяной шарик, живет 21 день. Живая человеческая кровь находится в беспрерывном обновлении. Но кровь, выведенная из человеческого организма, не может жить долее 21 дня. При хирургическом отделении, как и положено, была своя станция переливания крови, куда сдавали кровь доноры — и вольнонаемные, и заключенные,— вольнонаемные получали 1 рубль за кубик, а заключенные в 10 раз меньше. Для какого-либо гипертоника это

был основательный доход, брали по 300—400 граммов в месяц,— сдай, это тебе нужно для леченья, и, кроме того, ты получишь дополнительный паек и деньги. Из заключенных донорами была обслуга (санитары и т. п.), которая и держалась при больнице потому, что давала больным кровь. В переливании крови здесь нуждались больше, чем где-нибудь на земле, но, конечно, переливания крови назначались не по общим медицинским показаниям, в части истощения, например, а лишь в тех случаях, когда это нужно было вследствие или подготовки к операции, или уж особенно тяжелого состояния в терапевтических отделениях.

В станции переливания крови всегда был запас заранее взятой крови. И наличие этого запаса было гордостью нашей больницы. Во всех других больницах если и переливали кровь, то непосредственно от человека к человеку. Донор и реципиент лежали на соседних столах во время этой манипуляции.

Кровь, сроки хранения которой прошли,— выбрасывалась.

Недалеко от больницы был свиносовхоз, где время от времени при забоях свиней копили кровь и привозили ее в больницу. Здесь в кровь наливали раствор лимонно-кислого натрия для предупреждения свертываемости и давали больным пить эту жидкость, нечто вроде самодельного гематогена, очень питательную и любимую больными, питание которых состояло из всяких юшек и перловых каш. Выдачи гематогена для больных не были новостью. Случилось так, что заведующий хирургическим отделением, врач Меерзон, уехал в командировку, и заведование отделением перешло к доктору Задеру.

Во время обхода отделения он счел себя обязанным посетить и станцию переливания крови, где обнаружил, что у значительного запаса крови уже выходит срок хранения, и выслушал сообщение медсестры о ее намерении вылить эту кровь. Доктора Задера это удивило. «Разве эту кровь надо выбрасывать?» — спросил он. Сестра сказала, что так делается всегда.

— Перелейте эту кровь в чайники и выдайте ее тяжелым больным — «per os»,— распорядился Задер. Сестра раздала кровь, и больные были этим очень довольны.— В будущем,— сказал венгерец,— всю кровь, которая стареет, выдавайте таким же образом.

Так началась практика раздачи донорской крови в

палатах. Когда заведующий отделением вернулся, он закатил скандал на высоких нотах: что фашист Задер поит больных человеческой кровью — ни больше, ни меньше. Больные узнали об этом в тот же день, ибо в больницах слухи распространяются еще быстрее, чем в тюрьмах, и тех, которые получали когда-то кровь, стало рвать. Задер был устранен от работы без всяких объяснений, и детальная докладная записка, уличающая Задера во всевозможных преступлениях, полетела в санитарное управление. Растерявшийся Задер пытался объяснить, что ведь никакой принципиальной разницы нет между переливанием в вену и приемом через рот, что эта кровь — хорошее дополнительное питание, но никто его не слушал. Волосы Задеру остригли, вольнонаемный пиджачок сняли, и в арестантской робе его перевели в бригаду Лурье на лесозаготовку, и доктор Задер уже успел попасть на стахановскую доску лесного участка, когда явилась комиссия санитарного управления, обеспокоенная, впрочем, не самим фактом такого переливания крови, но тем обстоятельством, что ушная и горловая клиентура осталась без врача. По счастливой случайности комиссию эту возглавил майор медицинской службы, только что демобилизованный из армии и всю войну проработавший в хирургических отделениях медсанбата. Ознакомившись с материалами «обвинения», он никак не мог понять — в чем дело? За что преследуется Задер? И когда было выяснено, что Задер раздавал больным человеческую кровь, «давал пить кровь», майор сказал, пожимая плечами:

— На фронте я это делал четыре года. А что, здесь нельзя это делать? Я ведь не знаю, я здесь недавно.

Задер был возвращен в хирургическое отделение из леса, несмотря на письменный протест бригадира лесозаготовок, который считал, что у него по чьему-то капризу берут лучшего лесоруба.

Но интерес к работе Задер потерял и никаких рационализаторских предложений больше не вносил.

Доктор Доктор был подлец законченный. Говорили, что он взяточник и самоснабженец — но разве на Колыме были начальники иных привычек? Мстительный и склочный — и это простительно.

Доктор Доктор ненавидел заключенных. Не то что плохо или недоверчиво к ним относился. Нет, он их тиранил,

унижал повседневно и повсечасно, придирался, оскорблял и широко использовал свою безграничную власть (в пределах больницы) для наполнения карцеров, штрафных участков. Бывших заключенных он не считал за людей и неоднократно грозил — хирургу Трауту, например, что дать новый срок Трауту доктор Доктор не задумается. Каждый день свозили ему в квартиру то свежую рыбу — бригада «больных» ловила на море сетями, то парниковые овощи, то мясо со свиносовхоза — и все это в количествах, достаточных для прокормления Гулливера. Доктор Доктор имел прислугу — дневального из заключенных, и тот помогал ему в реализации всех приношений. С «материка» в адрес доктора Доктора шли посылки с махоркой — валютой Колымы. Начальником больницы он был целый ряд лет, пока наконец другой гангстер не свалил доктора Доктора. Начальнику Доктора показалось, что «отчисления» маловаты.

Но все это было после, а во времена курсов доктор Доктор был царь и бог. Ежедневно устраивались собрания, и Доктор выступал там с речами, сильно забирая в сторону культа личности.

По части всяких клеветнических «меморандумов» Доктор тоже был большой мастер и мог «оформить» кого угодно.

Был он начальником мстительным, мелко мстительным.

«Вот ты мне не поклонился при встрече, а я на тебя напишу донос, да не просто донос, а официальный «меморандум». Напишу «кадровый троцкист и враг народа» — и уж будь покоен — штрафной прииск тебе обеспечен».

Собственное детище — курсы огорчали доктора Доктора. Слишком много там оказалось курсантов пятьдесят восьмой статьи — доктор Доктор побаивался за свою карьеру. Типичный администратор тридцать седьмого года, доктор Доктор уволился было из Дальстроя к концу сороковых годов, но, увидя, что все остается по-прежнему и что на «материке» надо работать, вернулся на колымскую службу. Хотя «процентные надбавки» надо было выслуживать заново, Доктор очутился в привычной обстановке.

Посетив курсы перед выпускными экзаменами, доктор Доктор благожелательно выслушал доклад об успехах учащихся, обвел всех курсантов своими светло-голубыми стеклянными глазами и спросил:

— А банки-то все могут ставить?

Почтительный хохот преподавателей и «студентов»

был ему ответом. Увы, именно банок-то мы и не научились ставить — никто из нас не думал, что эта нехитрая процедура имеет свои секреты.

Глазные болезни преподавал доктор Лоскутов. Мне выпало счастье знать и ряд лет работать вместе с Федором Ефимовичем Лоскутовым — одной из самых примечательных фигур Колымы. Батальонный комиссар времен гражданской войны — колчаковская пуля навеки засела в левом легком — Лоскутов получил медицинское образование в начале двадцатых годов и работал как военный врач, в армии. Случайная шуточка по адресу Сталина привела его в военный трибунал. Со сроком в три года он приехал на Колыму и первый год работал слесарем на прииске «Партизан». Потом был допущен к врачебной работе. Трехлетний срок подходил к концу. Это было время, известное по Колыме и по всей России под названием «гаранинщины», хотя правильней было бы назвать это время «павловщиной» по имени тогдашнего начальника Дальстроя. Полковник Гаранин был только заместителем Павлова, начальником лагерей, но именно он был председателем расстрельной тройки и подписывал весь 1938 год бесконечные списки расстрелянных. В 1938 году было страшно освобождаться по пятьдесят восьмой статье. Всем, кто кончал срок, грозило новое «дело», созданное, навязанное, организованное. Спокойней было иметь в приговоре лет десять, пятнадцать, чем три, пять. Легче было дышать.

Лоскутов был осужден снова — «колымской тройкой» во главе с Гараниным — на десять лет. Способный врач, он специализировался на глазных болезнях, оперировал, был ценнейшим специалистом. Санитарное управление держало его близ Магадана, на двадцать третьем километре — в нужных случаях его отвозили с конвоем в город Магадан — для консультаций, операций. Один из последних земских врачей, Лоскутов был универсалом: он мог делать несложные полостные операции, знал гинекологию и был специалистом по болезням глаз.

В 1947 году, когда новый срок его подходил к концу, было снова сфабриковано дело уполномоченным Симановским. В больнице арестовали нескольких фельдшеров и сестер и осудили их на разные сроки. Сам Лоскутов вновь получил десять лет. На этот раз настаивали, чтобы

его удалили из Магадана и передали в «Берлаг» — новый, «внутренний» лагерь на Колыме для политических рецидивистов со строгим режимом. Несколько лет больничному начальству удавалось отстоять Лоскутова от «Берлага», но в конце концов, он туда попал и **по третьему сроку!** с применением зачетов освободился в 1954 году. В 1955 году был полностью реабилитирован по всем трем срокам.

Когда он освободился, у него была одна смена белья, гимнастерка и штаны.

Человек высоких нравственных качеств, доктор Лоскутов всю свою врачебную деятельность, всю свою жизнь лагерного врача подчинил одной задаче: активной постоянной помощи людям, арестантам по преимуществу. Эта помощь была отнюдь не только медицинской. Он всегда кого-то устраивал, кого-то рекомендовал на работу после выписки из больницы. Всегда кого-то кормил, кому-то носил передачи — тому щепотку махорки, тому кусок хлеба.

Попасть к нему в отделение (он работал как терапевт) считали больные за счастье.

Он беспрерывно хлопотал, ходил, писал.

И так не месяц, не год, а целых двадцать лет изо дня в день, получая от начальства только дополнительные сроки наказания.

В истории мы знаем такую фигуру. Это — тюремный врач Федор Петрович Гааз[1], о котором написал книжку А. Ф. Кони. Но время Гааза было другим временем. Это были шестидесятые годы прошлого столетия — время нравственного подъема русского общества. Тридцатые годы двадцатого столетия таким «подъемом» не отличались. В атмосфере доносов, клеветы, наказаний, бесправия, получая один за другим тюремные приговоры по провокационно созданным делам — творить добрые дела было гораздо труднее, чем во времена Гааза.

Одному Лоскутов устраивал выезд на «материк», как инвалиду, другому подыскивал легкую работу — не спрашивая у больного ничего, распоряжался его судьбой умно и полезно.

У Федора Ефимовича Лоскутова было маловато грамотности — в школьном смысле этого слова,— он

[1] Ф. П. Гааз умер в 1853 году.

пришел в медицинский институт с низким образованием. Но он много читал, хорошо наблюдал жизнь, много думал, свободно судил о самых различных предметах — он был широко образованным человеком.

В высшей степени скромный человек, неторопливый в рассуждениях — он был фигурой примечательной. Был у него недостаток — его помощь была, на мой взгляд, чересчур неразборчива, и потому его пробовали «оседлать» блатари, чувствуя пресловутую «слабину». Но впоследствии он хорошо разобрался и в этом.

Три лагерных приговора, тревожная колымская жизнь с угрозами начальства, с унижениями, с неуверенностью в завтрашнем дне — не сделали из Лоскутова ни скептика, ни циника.

И выйдя на настоящую волю, получив реабилитацию и кучу денег вместе, он так же раздавал их, кому надо, так же помогал и не имел лишней пары белья, получая несколько тысяч рублей в месяц.

Таков был преподаватель глазных болезней. После окончания курсов мне пришлось проработать несколько недель — первых моих фельдшерских недель — именно у Лоскутова. Первый вечер закончился в процедурной. Привели больного с загортанным абсцессом.

— Что это такое?— спросил меня Лоскутов.

— Загортанный абсцесс.

— А лечение?

— Выпустить гной, следя, чтобы больной не захлебнулся жидкостью.

— Положите инструменты кипятить.

Я положил в стерилизатор инструменты, вскипятил, вызвал Лоскутова:

— Готово.

— Ведите больного.

Больной сел на табуретку, с открытым ртом. Лампочка освещала ему гортань.

— Мойте руки, Федор Ефимович.

— Нет, это вы мойте,— сказал Лоскутов.— Вы и будете делать эту операцию.

Холодный пот пробежал у меня по спине. Но я знал, хорошо знал, что пока своими руками не сделаешь чего-либо, ты не можешь сказать, что умеешь это делать. Нетрудное вдруг оказывается непосильным, сложное — невероятно простым.

Я вымыл руки и решительно подошел к больному.

Широко раскрытые глаза больного укоризненно и испуганно глядели на меня.

Я примерился, проткнул созревший абсцесс тупым концом ножа.

— Голову! Голову!— закричал Федор Ефимович.

Я успел нагнуть голову больного вперед, и он выхаркнул гной прямо на полы моего халата.

— Ну, вот и все. А халат смените.

На следующий день Лоскутов откомандировал меня в «полустационар» больницы, где жили инвалиды, поручив мне перемерить у всех артериальное давление. Захватив аппарат Рива-Роччи, я перемерил у всех шестидесяти и записал на бумагу. Это были гипертоники. Я измерял давление там целую неделю, по десять раз у каждого, и только потом Лоскутов показал мне карточки этих больных.

Я радовался, что произвожу эти измерения в одиночестве. Много лет позже я сообразил, что это было рассчитанным приемом — дать мне освоиться спокойно — иначе надо было вести себя в первом случае, где требовалась срочность решения, смелая рука.

Всякий день открывалось что-то новое и в то же время явно знакомое — из лекционного материала.

Симулянтов и аггравантов Федор Ефимович не разоблачал.

— Им только кажется,— говорил грустно Лоскутов,— что они агграванты и симулянты. Они больны гораздо серьезней, чем думают сами. Симуляция и аггравация на фоне алиментарной дистрофии и духовного маразма лагерной жизни — явление неописанное, неописанное...

Александр Александрович Малинский, читавший курс внутренних болезней, был вымытый, раскормленный сангвиник, чисто выбритый, седой, начинающий полнеть весельчак. Губы у него были темно-розовые, сердечком. Да аристократические родинки на длинных ножках дрожали на его багровой спине — таким он представал иногда курсантам в больничной бане, в парильне. Спал он — единственный из колымских врачей — да, мне кажется, единственный из всех колымчан — в сшитой на заказ мужской длинной рубахе до щиколоток. Это было обнаружено во время пожара в его отделении. Пожар удалось сразу потушить, и о нем быстро забыли, но о нижней ночной

рубахе доктора Малинского больница толковала много месяцев.

Бывший лектор курсов усовершенствования врачей в Москве, он с трудом приспособлялся к уровню курсантских знаний.

Холодок отчуждения был постоянно между лектором и слушателями. Александр Александрович хотел бы порвать эту завесу, но не знал, как это сделать. Он сочинил несколько пошловатых анекдотов — это не сделало предмет его занятий более доступным.

Наглядность? Но даже в лекциях по анатомии мы обходились без скелета. Уманский рисовал нам мелом на доске нужные кости.

Малинский читал лекции, от всего сердца стараясь дать нам как можно больше сведений. Очень зная лагерь — он был арестован в тридцать седьмом году,— Малинский дал в лекциях много важных советов в части медицинской этики в ее лагерном преломлении. «Научитесь верить больному»,— горячо призывал Александр Александрович, подпрыгивая у доски и постукивая мелом. Речь шла о «прострелах», «люмбаго», но мы понимали, что этот призыв касается материй более важных — здесь речь идет о поведении **настоящей** медицины в лагере, о том, что уродливость лагерной жизни не должна уводить медика с его настоящих путей.

Мы многим обязаны доктору Малинскому — сведениями, знаниями, и, хотя всегдашнее его стремление держаться от нас на значительном расстоянии, по нашему мнению, и как бы на горе не внушало нам симпатии, мы признавали его достоинства.

Колымский климат Александр Александрович переносил хорошо. Уже после реабилитации он по собственному желанию остался доживать свою жизнь в Сеймчане, в одном из овощных хозяйств Колымы.

Александр Александрович регулярно читал газеты, но мнениями ни с кем не делился — опыт, опыт... Книги читал он только медицинские.

Заведующей курсами была вольнонаемная договорница, врач Татьяна Михайловна Ильина, сестра Сергея Ильина, известного футболиста, как рекомендовалась она сама. Татьяна Михайловна была дама, старавшаяся до мелочей попадать в тон высшему начальству. Она сделала большую карьеру на Колыме. Ее духовный подхалимаж был почти беспределен. Когда-то она просила принести

что-либо почитать «получше». Я принес драгоценность: однотомник Хемингуэя с «Пятой колонной» и «48 рассказов». Ильина повертела вишневого цвета книжку в руках, полистала.

— Нет, возьмите обратно: это — роскошь, а нам нужен черный хлеб.

Это были явно чужие, ханжеские слова, и выговорила она их с удовольствием, но не совсем кстати. После такого афронта я забыл думать о роли книжного советчика доктора Ильиной.

Татьяна Михайловна была замужем. На Колыму она приехала с двумя детьми — женой при муже. Муж ее, боевой офицер, после войны подписал договор с Дальстроем и приехал с семьей на северо-восток: там сохранялись офицерские пайки, чины и льготы, а семья была большая, двое детей. Он был назначен начальником политотдела одного из горных управлений Колымы — должность немаленькая, почти генеральская, и притом с перспективами. Но Николаев — фамилия мужа Татьяны Михайловны была Николаев — был человеком наблюдательным, совестливым и отнюдь не карьеристом. Приглядевшись к тому бесправию, спекуляции, доносам, воровству, подсиживанию, самоснабжению, взяткам и казнокрадству и всем жестокостям, которые творят колымские начальники над заключенными, Николаев начал пить. Деморализующее влияние людской жестокости он понял и осудил глубоко и бесповоротно. Жизнь открылась ему самыми страшными страницами, много страшнее, чем были фронтовые годы. Он был не взяточник, не подлец. Он начал пить.

От должности начальника политотдела он был быстро отстранен и за короткий срок — всего за два-три года — проделал карьеру сверху вниз и дошел до синекурной, малооплачиваемой и невлиятельной должности инспектора КВЧ больницы для заключенных. Рыбная ловля стала его вынужденной страстью. Глубоко в тайге, на берегу реки Николаев чувствовал себя лучше, спокойней. Когда сроки его договора кончились, он уехал на «материк».

Татьяна Михайловна не последовала за ним. Напротив, она вступила в партию, положила начало карьере. Детей они разделили — девочка досталась отцу, мальчик — матери.

Но все это случилось после, а сейчас доктор Ильина была заботливой и тактичной заведующей нашими курсами. Побаиваясь заключенных, она старалась иметь с ними

дела поменьше и даже, кажется, прислугу из заключенных себе еще не завела.

Хирургию — общую и частную — читал Меерзон. Меерзон был учеником Спасокукоцкого, хирургом с большим будущим, крупной научной судьбы. Но — он был женат на родственнице Зиновьева и в 1937 году арестован и осужден на десять лет — как глава какой-то террористической, вредительской, антисоветской организации... В 1946 году, когда открылись фельдшерские курсы, он только что освободился из заключения. (На общих работах ему довелось работать меньше года — все заключение он был хирургом.) Тогда начали входить в моду «пожизненные прикрепления» — пожизненно был прикреплен и Меерзон. Только что освобожденный — он был сугубо осторожен, сугубо официален, сугубо неприступен. Разбитая вдребезги большая судьба, озлобление искали выход и находили в остротах, в насмешливости...

Лекции читал он превосходно. Меерзон был десять лет лишен любимой преподавательской работы — беседы на ходу с операционными сестрами были, конечно, не в счет — впервые он видел перед собой аудиторию, «студентов», курсантов, жаждущих получить медицинские знания. И хоть состав курсантов был очень пестрым — это не смущало Меерзона. Сначала его лекции были увлекательными, огненными. Первый же опрос был ушатом ледяной воды, вылитой на разгорячившегося Меерзона. Аудитория была слишком простой: слова «элемент», «форма» подлежали разъяснению, и разъяснению подробному. Меерзон это понял, он был крайне огорчен, но не подал виду и постарался приспособиться к уровню. Равняться приходилось на последних — на финку Айно, на завмага Силантьева и т. д.

— Образуется свищ,— говорил профессор.— Кто знает, что такое свищ?

Молчание.

— Это — дыра, дыра такая...

Лекции потускнели, хотя и не утратили своего делового содержания.

Как и подобает хирургу, Меерзон относился с явным презрением ко всем другим медицинским специальностям. У себя в отделении заботу персонала о стерильности он довел почти до столичных высот, требуя скрупулез-

ного выполнения требований хирургических клиник. В других же отделениях он вел себя с нарочитым пренебрежением. Приходя на консультации, он никогда не снимал полушубка и шапки и в полушубке садился на кровать к больному — в любом терапевтическом отделении. Это делалось нарочно, выглядело как оскорбление. Палаты были все же чистыми, и мокрые следы от валенок Меерзона долго затирали ворчащие санитары, когда консультант уходил. Это было одним из развлечений хирурга — язык у Меерзона был подвешен хорошо, и он всегда был готов «излить» на терапевта свою желчь, свою злость, свое недовольство миром.

На лекциях он не развлекался. Излагая все ясно, точно, исчерпывающе, он умел найти понятные всем примеры, живые иллюстрации, и если видел, что усвоение идет хорошо — радовался. Он был ведущим хирургом больницы и позднее — главным врачом, и на наших курсах мнение его имело решающее значение во всех вопросах внутрикурсовой жизни. Все его действия на виду у курсантов, все его разговоры были продуманы и целесообразны.

В первый день посещения нами «настоящей» операции, когда мы толпились в углу операционной в стерильных халатах, впервые надетых, в фантастических марлевых полумасках, Меерзон оперировал. Ассистировала его постоянная операционная сестра — Нина Дмитриевна Харченко, договорница, секретарь комсомольской организации больницы. Меерзон подавал отрывистые команды:

— Кохер!.. Иглу!

И Харченко хватала со столика инструменты и бережно вкладывала их в протянутую в сторону, затянутую светло-желтой резиновой перчаткой руку хирурга.

Но вот она подала не то, что нужно, и Меерзон грубо выругался и, взмахнув рукой, бросил пинцет на пол. Пинцет зазвенел, Нина Дмитриевна покраснела и робко подала нужный инструмент.

Мы были обижены за Харченко, обозлены на Меерзона. Мы считали, что он не должен был так делать. Хотя бы ради нас, если он такой уж грубиян.

После операции мы обратились к Нине Дмитриевне со словами сочувствия.

— Ребята, хирург отвечает за операцию,— сказала она серьезно и доверительно. В голосе ее не было смущения и обиды.

Будто поняв все, что творилось в душе неофитов, следующее свое занятие Меерзон посвятил особой теме. Это была блестящая лекция об ответственности хирурга, о воле хирурга, о необходимости сломать волю больного, о психологии врача и психологии больного.

Лекция эта вызвала единодушное восхищение, и со времени этой лекции мы — в своей курсантской среде — поставили Меерзона выше всех.

Столь же блестящей, прямо-таки поэтической была его лекция «Руки хирурга» — где речь о существе медицинской профессии, о понятии стерильности шла в высоком накале. Меерзон читал ее для себя, почти не глядя на слушателей. В ней было много рассказов. И паника, охватившая клинику Спасокукоцкого при таинственном заражении больных при чистых операциях — разгаданная бородавка на пальце ассистента. Это была лекция о строении кожи, о хирургической безупречности. И почему ни один хирург, ни операционная сестра или фельдшер хирургического отделения не имеет права участвовать в лагерных «ударниках», не имеет права на физическую работу. И за этим мы видели страстную многолетнюю борьбу хирурга Меерзона с безграмотным лагерным начальством.

Иногда в день, посвященный проверке усвоенного, Меерзон успевал сделать опрос скорее, чем рассчитывал. Остаток времени был посвящен интереснейшим рассказам «по поводу»: о выдающихся русских хирургах, об Оппеле, Федорове и особенно о Спасокукоцком, которого Меерзон боготворил. Все было остроумно, умно, полезно, все было самое «настоящее». Менялся наш взгляд на мир, мы делались медиками благодаря Меерзону. Мы учились медицинскому мышлению, и учились успешно. Каждый из нас был другим после восьмимесячных этих курсов по программе двухлетних школ.

Из Магадана впоследствии Меерзон переехал в Нексикан — в Западное управление. В 1952 году был внезапно арестован и увезен в Москву — его пытались «пришить» к «делу врачей», и вместе с ними он был освобожден в 1953 году. Вернувшись на Колыму, Меерзон проработал там недолго, боясь оставаться долее в столь «зыбкой» и опасной местности. Он уехал на «материк».

При больнице был клуб, но курсанты туда не ходили — кроме девушек, Женьки Каца и Борисова.

Нам казалось кощунством потратить хоть час свободного времени на что-либо, кроме занятий. Мы занимались день и ночь. Сначала я пытался переписывать записи набело в беловую тетрадку — но на это не хватало ни времени, ни бумаги.

Лагерная больница была уже переполнена людьми с войны — русские эмигранты из Маньчжурии, пленные японцы, которым вместо хлеба выдавали рис — многие сотни людей, осужденных как шпионы — военными трибуналами,— но все это еще не приобрело того размаха, который приобрели репрессии немного позже, к концу навигации 1946 года, когда пять тысяч заключенных, привезенных на пароходе «КИМ», в декабре были залиты водой из брандспойтов во время затянувшегося рейса. Работу по перевозке, ампутациям этих отмороженных мы вели уже полноправными фельдшерами и не в Магадане.

Каждый день нас мучили сомнения — не закроют ли курсы? Слухи, один страшнее другого, мешали мне спать. Но занятия понемногу шли, шли, и наконец настал день, когда крайние нытики и маловеры должны были перевести с облегчением дух.

Прошло более трех месяцев, а курсы все работали. Начались новые сомнения — выдержим ли мы выпускной экзамен? Ведь курсы были учреждением вполне официальным, они давали право лечить. Правда, в 1953 году санитарный отдел Дальстроя разъяснял Калининскому горздраву, что окончившие эти курсы могут лечить только на Колыме, но столь странные границы медицинских знаний не были приняты во внимание на местах.

Большим огорчением было то, что программа была сокращена и давала права медсестры или медбрата. Но и это было дело второстепенное. Хуже было то, что на руки не давали никаких документов — «справки будут вложены в ваши личные дела» — объясняла Ильина. Оказалось, что в личных делах никаких следов нашего медицинского образования нет. После освобождения кое-кому из нас пришлось собирать свидетельства, заверенные преподавателями курсов.

После трех месяцев занятий время стало двигаться очень, очень быстро. Приближающийся день экзаменов не радовал — экзамен подводил итог нашей замечательной жизни на двадцать третьем километре. Мы, видавшие

Колыму, мы, ветераны тридцать седьмого года — знали, что лучшей жизни не будет. И потому тревожились и грустили, впрочем, умеренно, ибо Колыма научила нас не рассчитывать долее чем на день вперед.

День экзамена приближался. Уже открыто говорили, что больницу эту переводят за 500 километров в глубь тайги — на левый берег реки Колымы, в поселок Дебин.

За месяц до окончания курсов устроен был пробный экзамен по всем предметам. Я не придавал значения этому случаю и только после выпускного экзамена сообразил, что все билеты, которые курсанты получили на настоящем экзамене, были — по всем предметам — повторением вопросов «предварительного» экзамена. Конечно, члены комиссии — высокое начальство из санотдела Дальстроя — могли задавать и задавали дополнительные вопросы. Но основа уверенности для выпускника, основа впечатления для экзаменатора была уже заложена в удачном знакомом билете. Я помню свой билет по хирургии — «варикозное расширение вен».

Еще до экзаменов прошел успокоительный слух, что выпущены будут все, обязательно все, никто не будет лишен скромных медицинских прав. Это всех обрадовало. Слух оказался верным.

Понемногу наши знакомства укреплялись, расширялись. Мы уже не были посторонними, мы были посвященными, мы были членами великого врачебного ордена. Так смотрели на нас и врачи, и больные.

Мы перестали быть обыкновенными людьми. Мы стали специалистами.

Я чувствовал себя — впервые на Колыме — необходимым человеком: больнице, лагерю, жизни, самому себе. Я чувствовал себя полноправным человеком, на которого никто не мог кричать и издеваться над ним. И хотя многие начальники сажали меня в карцер за разные проступки против лагерного режима, выдуманные и действительные — я и в карцере оставался человеком, нужным больнице. Я выходил из карцера опять на фельдшерскую работу.

Разбитое в куски самолюбие получило тот необходимый клей, цемент, при помощи которого можно было восстановить разбитое вдребезги.

Курсы шли к концу, и молодые ребята завели себе девушек, все как полагается. Но те, кто был постарше, не позволили чувству любви вмешаться в будущее. Любовь

была слишком дешевой ставкой в лагерной игре. Нас учили воздержанию годами, и учили не зря.

Острейшее самолюбие росло во мне. Чужой отличный ответ на любом занятии я воспринимал как личное оскорбление, как обиду. Я должен был уметь ответить на все вопросы преподавателя.

Знания наши росли понемногу, а главное — расширялся интерес, и мы спрашивали, спрашивали врачей — пусть наивно, пусть глупо. Но врачи не считали наивным и глупым ни один наш вопрос. На все давался ответ всякий раз с достаточной категоричностью. Ответы вызывали новые вопросы. На медицинские споры между собой мы еще не отваживались. Это было бы слишком самонадеянно.

Но... однажды меня позвали вправить вывих плеча. Врач давал наркоз «рауш», а я вправлял — ногой — по Гиппократову способу. Под пяткой что-то мягко щелкнуло, и плечевая кость вошла на свое место. Я был счастлив. Татьяна Михайловна Ильина, присутствовавшая при вправлении вывиха, сказала:

— Вот как хорошо вас учили,— и я не мог не согласиться с ней.

Разумеется, я ни разу не был ни в кинематографе, ни на постановках культбригады, которая в Магадане, да и в больнице, была вполне грамотной и отличалась выдумкой и вкусом, какие могут пробиться сквозь цензурные заслоны КВЧ. Магаданской культбригадой руководил в то время Л. В. Варпаховский, впоследствии главный режиссер Московского театра имени Ермоловой. У меня не было времени, да и медленно раскрывающиеся тайны медицины интересовали меня гораздо больше.

Медицинская терминология перестала быть абракадаброй. Я брался за чтение медицинских статей и книг без прежнего бессилия и без страха.

Я уже не был человеком обыкновенным. Я обязан был уметь оказывать первую помощь, уметь разобраться в состоянии тяжелобольного хотя бы в общих чертах. Я обязан был видеть опасность, угрожающую жизни людей. Это было и радостно, и тревожно. Я боялся — выполню ли я свой высокий долг.

Я знал, как взяться за сифонную клизму, за аппарат Боброва, за скальпель, за шприц...

Я умел перестелить постельное белье у тяжелобольного и мог научить этому санитаров. Я мог объяснить

санитарам — для чего производится дезинфекция, уборка.

Я узнал тысячу вещей, которых я не знал раньше — нужных, необходимых, полезных людям вещей.

Курсы кончились, новых фельдшеров стали отправлять мало-помалу на места для работы. Вот и список, в руках конвоира список, в котором есть и моя фамилия. Но я сажусь в машину последний. Я везу больных на левый берег. Машина битком набита, я сажусь у самого края спиной к борту. Пока я усаживался, у меня сдвинулась рубашка, и ветер дует в щель борта машины. В руках у меня сверток с пузырьками: валерьянкой, ландышевыми каплями, с йодом, нашатырем. В ногах — туго набитый мешок с моими учебными тетрадями фельдшерских курсов.

Не один год эти тетради были для меня лучшей опорой, пока наконец, во время моего отъезда, медведь, забравшийся в таежную амбулаторию, не изорвал в клочья все мои записи, переколов все банки и пузырьки.

ПЕРВЫЙ ЧЕКИСТ

Синие глаза выцветают. В детстве — васильковые, превращаются с годами в грязно-мутные, серо-голубые обывательские глазки; либо в стекловидные щупальцы следователей и вахтеров; либо в солдатские «стальные» глаза — оттенков бывает много. И очень редко глаза сохраняют цвет детства...

Пучок красных солнечных лучей делился переплетом тюремной решетки на несколько меньших пучков; где-то посреди камеры пучки света вновь сливались в сплошной поток, красно-золотой. В этой световой струе густо золотились пылинки. Мухи, попавшие в полосу света, сами становились золотыми, как солнце. Лучи заката били прямо в дверь, окованную серым глянцевитым железом.

Звякнул замок — звук, который в тюремной камере слышит любой арестант, бодрствующий и спящий, слышит в любой час. Нет в камере разговора, который мог бы заглушить этот звук, нет в камере сна, который отвлек бы от этого звука. Нет в камере такой мысли, которая могла бы... Никто не может сосредоточиться на чем-либо, чтобы пропустить этот звук, не услышать его. У каждого зами-

рает сердце, когда он слышит звук замка, стук судьбы в двери камеры, в души, в сердца, в умы. Каждого этот звук наполняет тревогой. И спутать его ни с каким другим звуком нельзя.

Звякнул замок, дверь открылась, и поток лучей вырвался из камеры. В открытую дверь стало видно, как лучи пересекли коридор, кинулись в окно коридора, перелетели тюремный двор и разбились на оконных стеклах другого тюремного корпуса. Все это успели разглядеть все шестьдесят жителей камеры в то короткое время, пока дверь была открыта. Дверь захлопнулась с мелодичным звоном, похожим на звон старинных сундуков, когда захлопывают крышку. И сразу все арестанты, жадно следившие за броском светового потока, за движеньем луча, как будто это было живое существо, их брат и товарищ — поняли, что солнце снова заперто вместе с ними.

И только тогда все увидели, что у двери, принимая на свою широкую черную грудь поток золотых закатных лучей, стоит человек, щурясь от резкого света.

Человек был немолод, высок и широкоплеч, густая шапка светлых волос покрывала всю голову. Только приглядевшись, можно было понять, что седина давно уже высветлила эти желтые волосы. Морщинистое, похожее на рельефную карту, лицо было покрыто множеством глубоких оспин вроде лунных кратеров.

Человек был одет в черную суконную гимнастерку без пояса, расстегнутую на груди, в черных суконных брюках галифе, в сапогах. В руках он мял черную шинель, изрядно потертую. Одежда держалась на нем кое-как — пуговицы были все спороты.

— Алексеев,— сказал он негромко, повертывая большую волосатую кисть руки ладонью к своей груди.— Здравствуйте...

Но к нему уже шли, ободряя его нервным, взрывчатым арестантским смехом, хлопали его по плечам, пожимали ему руки. Уже приближался староста камеры, выборное начальство, чтобы указать место новичку. Гавриил Алексеев — повторял медведеобразный человек. И еще: Гавриил Тимофеевич Алексеев... Черный человек отодвинулся в сторону, и солнечный луч уже не мешал видеть глаза Алексеева — крупные, васильковые, детские глаза.

Камера скоро узнала подробности жизни Алексеева — начальника пожарной команды наро-фоминской фабри-

ки — оттуда и черный, казенный костюм. Да, член партии с лета 1917 года. Да, солдат-артиллерист, принимал участие в октябрьских боях в Москве. Да, исключался из партии в двадцать седьмом году. Был восстановлен. И снова исключен — неделю тому назад.

Разно себя держат арестанты при аресте. Разломить недоверие одних — очень трудное дело. Исподволь, день ото дня привыкают они к своей судьбе, начинают кое-что понимать.

Алексеев был другого склада. Как будто он молчал много лет — и вот арест, тюремная камера возвратила ему дар речи. Он нашел здесь возможность понять самое важное, угадать ход времени, угадать собственную свою судьбу и понять — почему. Найти ответ на то огромное, нависшее над всей его жизнью и судьбой, и не только над жизнью и судьбой его, но и сотен тысяч других, огромное, исполинское «почему».

Алексеев рассказывал не оправдываясь, не спрашивая, а просто стараясь понять, сравнить, угадать.

С утра и до вечера он ходил взад-вперед по камере, огромный, медведеобразный, в черной гимнастерке без пояса, обняв кого-нибудь за плечи своей огромной лапой, и спрашивал, спрашивал... Или рассказывал.

— За что ж тебя исключили, Гаврюша?

— Да понимаешь как. Было занятие политкружка. Тема — Октябрь в Москве. А я ведь — мураловский солдат, артиллерист, две раны получил. Я лично наводил орудия на юнкеров, что были у Никитских ворот. Мне говорит преподаватель на занятии: «Кто командовал войсками Советской власти в Москве в момент переворота?» Я говорю — Муралов, Николай Иванович. Я хорошо его знал, лично. Как я скажу иначе? Что я скажу?

— Это был провокационный вопрос, Гавриил Тимофеевич. Ведь ты знал, что Муралов объявлен врагом народа?

— Да ведь как иначе скажешь? Я ведь это не из политграмоты знаю. В ту же ночь меня и арестовали.

— А как ты попал в Наро-Фоминск? В пожарную охрану?

— Пил очень. Демобилизовали меня из Чека еще в восемнадцатом году. Муралов же меня туда и направил. Как особо надежного... Ну и болезнь у меня там началась.

— Какая болезнь, Гаврюша? Ты такой здоровый медведь...

— Увидите еще. Я и сам не знаю, что у меня за бо-

лезнь... Не могу ее запомнить. Что со мной бывает, не помню. А что-то бывает... Тревога начинается, злоба, и приходит Она...

— От водки?

— Нет, не от водки... От жизни. Водка само собой.

— А учиться бы... Дороги были все открыты.

— Да ведь как учиться. Одним учиться, а другим учебу эту защищать. Не красно я говорю, а, землячок? А потом года прошли — не на рабфак же идти. Остался этот вохр проклятый. Да водка. Да Она.

— А дети у тебя есть?

— Была дочь от первой жены. Ушла от меня. Сейчас живу с одной ткачихой. Ну, мой арест испугает ее до полусмерти, если не до смерти. А мне арест — сразу легко. Ни о чем думать не надо. Все будет решено без меня. Подумают без меня. Как дальше жить Гаврюше Алексееву?

Прошло немного дней, всего несколько дней. Пришла Она.

Алексеев жалобно крикнул, размахнул руки и рухнул на нары навзничь. Лицо его посерело, пузырчатая пена текла из его синего рта, ослабевших губ. Теплый пот выступал на серых щеках, на волосатой груди. Соседи ухватили за руки, навалились на ноги Алексеева. Тело его дрожало крупной дрожью.

— Голову, голову ему берегите,— и кто-то подсунул черную шинель под потную голову Алексеева с всклокоченными волосами.

Пришла Она. Припадок падучей продолжался очень долго, мощные клубки мускулов все вздувались, кулаки кого-то били, и неловкие пальцы соседей разнимали эти могучие кулаки. Ноги куда-то бежали, но навалившаяся тяжесть нескольких человек удерживала Алексеева на нарах.

Вот мускулы постепенно ослабели, пальцы разжались. Алексеев спал.

Все это время дежурные по камере стучали в дверь, яростно вызывая врача. Ведь должен же был быть какой-нибудь врач в Бутырках. Какой-нибудь Федор Петрович Гааз. Или просто дежурный военврач какого-то там ранга, лейтенант медицинской службы.

Вызвать врача оказалось непросто, но врач все-таки пришел. Врач явился в халате, надетом на офицерский мундир, в сопровождении двух дюжих помощников фельд-

шерского вида. Врач взобрался на нары и осмотрел Алексеева. Припадок за это время прошел, и Алексеев спал. Врач, не сказав ни слова и не ответив ни на один вопрос, которыми сыпали окружившие врача арестанты, ушел. Вслед за ним ушли его безмолвные помощники. Звякнул замок — и вызвал взрыв возмущения. И когда первое волнение стихло, открылась «кормушка» в тюремной двери, и дежурный надзиратель, сгибаясь, чтоб заглянуть в кормушку, сказал: «Врач сказал: ничего делать не надо. Это — эпилепсия. Следите, чтобы язык не западал... Будет следующий припадок — вызывать не надо. Лечить эту болезнь нечем».

Камера и не вызывала больше врача к Алексееву. А приступов эпилепсии у него было еще очень много.

Алексеев отлеживался после припадков, жалуясь на головную боль. Проходил день-два, и снова выползала огромная медведеобразная фигура в черной суконной гимнастерке и в черных суконных брюках галифе и шагала, шагала по цементному полу камеры. Снова сверкали синие глаза. После двух тюремных дезинфекций, «прожарок», черное сукно одежды Алексеева побурело и уже не казалось черным.

А Алексеев все шагал, шагал — простодушно рассказывая о своей прошлой жизни, о жизни до болезни, торопясь выложить очередному своему собеседнику то, что еще не было им сказано в этой камере.

—...Сейчас, говорят, специальные исполнители есть. А знаешь, как у Дзержинского было поставлено дело?

— Как?

— Если Коллегия выносит вышака, приговор должен привести в исполнение тот следователь, который вел дело... Тот, который доказывал и требовал высшей меры. Ты требуешь смертной казни для этого человека? Ты убежден в его виновности, уверен, что он враг и подлежит смерти? Убей своей рукой. Разница очень большая — подписать бумажку, утвердить приговор или убить самому...

— Большая...

— Кроме того, каждый следователь должен был сам найти и время и место для этих своих дел... Разно было. Одни в кабинете, другие в коридоре, в подвале какой-нибудь. Все это при Дзержинском следователь подготовлял сам... Тыщу раз подумаешь, пока станешь просить для человека смерти...

— Гаврюша, а расстрелы ты видал?

— Ну, видал. Кто их не видал.

— А правда, что тот, кого расстреливают, падает лицом вперед?

— Да, правда. Когда он смотрит на тебя.

— А если сзади стрелять?

— Тогда упадет спиной, навзничь.

— А тебе приходилось... Так...

— Нет, я следователем не был. Я ведь малограмотный. Просто был в отряде. Боролся с бандитизмом и так далее. Заболел вот этой штукой, и демобилизовали меня. Как припадочного. Да выпивать стал. Тоже, говорят, не способствует излечению.

Тюрьма не любит хитрецов. В камере каждый двадцать четыре часа в сутки у всех на глазах. Человеку не хватит сил скрыть свой истинный характер — притвориться не тем, чем он есть, в следственной камере тюрьмы, в минутах, часах, сутках, неделях, месяцах напряженности, нервности,— когда все лишнее, показное слетает с людей как шелуха. И остается истина — созданная не тюрьмой, но тюрьмой проверенная и испытанная. Воля, еще не сломленная, не раздавленная, как почти неизбежно бывает в лагере. Но кто думал тогда о лагере, о том, что это такое. Некоторые, может быть, знали и рады были рассказать о лагере, предупредить новичка. Но человек верит тому, чему хочет верить.

Вот сидит чернобородый Вебер, силезский коммунист, коминтерновец, которого привезли с Колымы на «доследование». Он знает, что такое лагерь. А вот Александр Григорьевич Андреев, бывший генеральный секретарь общества политкаторжан, правый эсер, знавший и царскую каторгу и советскую ссылку. Андреев, тот знает какую-то истину, незнакомую большинству. Рассказать об этой истине нельзя. Не потому, что она — секрет, а потому, что в нее нельзя поверить. Поэтому и Вебер и Андреев молчат. Тюрьма — это тюрьма. Следственная тюрьма — это следственная тюрьма. У каждого свое дело, своя борьба, свое поведение, которого не подскажешь, свой долг, свой характер, своя душа, свой запас душевных сил, свой опыт. Человеческие качества испытывают не только и не столько в тюремной камере, а за стенами камеры, в каком-нибудь кабинетике следовательском. Судьба, которая зависит от цепи случайностей, а чаще — вовсе от случайностей не зависит.

Даже следственная тюрьма — не только срочная — любит простодушных, откровенных. К Алексееву камера относилась доброжелательно. Любили ли его? Разве в следственной камере могут кого-нибудь любить? Ведь это следствие, транзитка, пересылка. К Алексееву камера относилась доброжелательно.

Шли недели, месяцы, Алексеева все не вызывали на допросы. И Алексеев все шагал, шагал.

Есть две школы следователей. Первая считает, что арестованного нужно ошарашить, оглушить немедленно. Эта школа строит свой успех на быстрой психологической атаке, напоре, подавлении воли следственного арестанта, пока тот не очухался, не огляделся, не собрался с силами нравственными. Допросы следователи этой школы начинают в ночь ареста, многочасовые, со всевозможными угрозами. Вторая школа считает, что тюремная камера только измучит, ослабит волю арестованного к сопротивлению. Чем дольше пробудет в следственной камере арестант до встречи со следователем — тем это выгоднее следователю. Арестованный готовится к допросу, первому в его жизни допросу, напрягаясь изо всех сил. А допроса нет. Нет неделю, месяц, два месяца. Всю работу по подавлению психики арестанта за следователя делает тюремная камера.

Неизвестно, как используют первая и вторая школы такое эффективное оружие, как пытки. Рассказ этот относится к началу тридцать седьмого года, а пытать стали только со второй половины года.

Следователь Гавриила Тимофеевича Алексеева принадлежал ко второй школе.

К концу третьего месяца алексеевского хождения по камере прибежала девушка в военной гимнастерке и вызвала Алексеева — «с инициалом», но без вещей,— стало быть, на допрос. Алексеев причесал свои светлые кудри собственной пятерней — и, поправив свою побуревшую гимнастерку, шагнул за порог камеры.

С допроса он пришел скоро. Допрашивали, значит, в особом корпусе, допросном, никуда не возили. Алексеев был удивлен, подавлен, поражен, потрясен и испуган.

— Что-нибудь случилось, Гавриил Тимофеевич?

— Да, случилось. Новое на допросе. Обвиняют в заговоре против правительства.

— Спокойней, Гаврюша. В этой камере всех обвиняют в заговоре против правительства.

— Убить, говорят, хотел.

— И это часто бывает. А в чем тебя раньше обвиняли?

— Да в Наро-Фоминске после ареста. Я начальником пожарной охраны на текстильной фабрике был. Невелик чин, стало быть.

— Чинов тут не разбирают, Гаврюша.

— Вот и допрашивали про занятия политкружка. Что хвалил Муралова. А я ведь у него в отряде в Москве был. Как скажу? А сейчас вдруг совсем и не о Муралове речь.

Оспины и морщины обозначились резче. Алексеев улыбался как-то нарочито спокойно и в то же время неуверенно, и синие глаза его вспыхивали все реже. Но странное дело — эпилептические припадки стали реже. Близкая опасность, необходимость бороться за жизнь отодвинули, что ли, в сторону припадки.

— Что делать?.. Они угробят меня.

— Ничего не надо делать. Говори только правду. Показывай правду, пока в силах.

— Так ты думаешь, что ничего не будет?

— Напротив, обязательно что-нибудь будет. Без этого отсюда не выпускают, Гаврюша. Но — расстрел не одно и то же, что десять лет срока. А десять лет — не пять.

— Я понял.

Гавриил Тимофеевич стал чаще петь. А пел он чудесно. Тенор был такой чистый, светлый. Пел Алексеев негромко, в дальнем углу от «волчка»:

Как хороша была та ночка голубая,
Как ласково светила бледная луна...

Но чаще, все чаще — другая:

Отворите окно, отворите,
Мне недолго осталося жить.
И меня на свободу пустите,
Не мешайте страдать и любить.

Алексеев обрывал песню, вскакивал и шагал, шагал...

Ссорился он очень часто. Тюремная жизнь, следственная жизнь располагает к ссорам. Это надо знать, понимать, все время держать себя в руках или уметь отвлекаться... Гавриил Алексеев не знал этих тюремных тонкостей и лез на ссору, на драку. Тот что-то сказал Гавриилу Алексееву поперек, тот оскорбил Муралова. Муралов был

богом Алексеева. Это был бог его юности, бог всей его жизни.

Когда Вася Жаворонков, паровозный машинист из Савеловского депо, сказал что-то о Муралове — в стиле последних партийных учебников, Алексеев бросился на Васю, схватил медный чайник, в котором раздавали в камере чай.

Этот чайник, оставшийся в Бутырской тюрьме еще с царских времен, был огромным медным цилиндром. Начищенный кирпичом, чайник сверкал как закатное солнце. Приносили этот чайник на палке, а наши дежурные, когда разливали чай, держали чайник вдвоем.

Силач, геркулес, Алексеев смело ухватился за ручку чайника, но не мог его сдернуть с места. Чайник был полон воды — еще до ужина, когда чайник уносили,— было далеко.

Так все смехом и кончилось, хотя Вася Жаворонков, побледнев, готовился встретить удар. Вася Жаворонков был почти одноделец Гавриила Тимофеевича. Его тоже арестовали после занятия политкружка. Ему задал вопрос руководитель занятий: «Что бы ты делал, Жаворонков, если бы Советской власти внезапно не стало?» Простодушный Жаворонков ответил: «Как что? Работал бы машинистом в депо, как и сейчас. У меня четверо детей». На следующий день Жаворонков был арестован, и следствие уже было закончено. Машинист ждал приговора. Дело было сходное, и Гавриил Тимофеевич консультировался у Жаворонкова, и были они друзьями. Но когда обстоятельства алексеевского дела изменились — его стали обвинять в заговоре против правительства — трусоватый Жаворонков отдалился от приятеля. И замечания насчет Муралова не преминул вставить.

. . . .

Только успокоили Алексеева в этой полукомической схватке с Жаворонковым, как вспыхнула новая ссора. Алексеев вновь обозвал кого-то хитрованом. Снова Алексеева оттаскивали от кого-то. Уже вся камера понимала и знала: скоро должна была прийти Она. Товарищи ходили рядом с Алексеевым, взяв его под руки, готовые ежесекундно ухватить его руки, ноги, поддержать голову. Но Алексеев вдруг вырвался, вспрыгнул на подоконник, вцепился обеими руками в тюремную решетку и тряс ее, тряс, ругаясь и рыча. Черное тело Алексеева висело на

решетке, как огромный черный крест. Арестанты отрывали пальцы Алексеева от решетки, разгибали его ладони, спешили, потому что часовой на вышке уже заметил возню у открытого окна.

И тогда Александр Григорьевич Андреев, генеральный секретарь общества политкаторжан, сказал, показывая на черное, сползающее с решетки тело:

— Первый чекист...

Но в голосе Андреева не было злорадства.

ВЕЙСМАНИСТ

На земле у порога амбулатории были свежие следы медвежьих когтей. Замочек, хитрый винтовой замочек, которым запиралась дверь, валялся в кустах, вырванный вместе с пробоями, прямо «с мясом»...

Внутри домика пузырьки, бутылки, банки были сметены с полок на пол и превращены в стеклянную кашу. Грубый запах валерьяновых капель еще держался в домике.

Тетрадки фельдшерских курсов, где учился Андреев, были изорваны в клочья. Несколько часов Андреев с трудом, по листочку, собирал свои драгоценные записки — ведь никаких учебников на фельдшерских курсах не было. Для борьбы с болезнями фельдшер Андреев был вооружен в глубокой тайге только этими тетрадками. Одна из тетрадок пострадала больше других. Тетрадка по анатомии. Первый лист ее, где неумелой андреевской рукой, никогда не учившейся рисованию, была изображена схема деления клетки, элементы клеточного ядра, таинственные хромосомы. Но медвежьи когти так яростно терзали этот чертеж, эту тетрадку с обложкой из целлофана, что тетрадку пришлось бросить в печку, в железную печку. Потеря была невознаградимой. Это был курс лекций профессора Уманского.

Фельдшерские курсы были при больнице для заключенных, а Уманский был патологоанатомом, прозектором, заведующим моргом. Патологоанатом — высший, как бы загробный контроль работы лечащих врачей. На «секции», на рассечении, на вскрытии трупа судят о правильности диагноза, правильности лечения.

Но морг для заключенных — это особый морг. Казалось бы, великая демократка смерть не должна была интересоваться — кто лежит на секционном столе морга, не должна была говорить с трупами на разных языках.

Лечить заключенного-больного, да еще заключенному-врачу непросто, если этот врач не подлец.

И в больнице и в морге для заключенных все делается по той же самой форме, какую надлежит соблюдать в любой больнице мира. Но — масштабы смещены — и истинное содержание «истории болезни» арестанта иное, чем «истории болезни» вольнонаемного.

Тут дело не только в том, что представитель смерти — патологоанатом — сам еще живой человек с живыми страстями, обидами, достоинствами и недостатками, разным опытом. Тут дело в чем-то большем, ибо официальной сухости протокола «секции» бывает мало и для жизни и для смерти.

Если больной умирал при диагнозе рака, а злокачественной опухоли по вскрытии не оказывалось — было только глубочайшее, запущенное физическое истощение — Уманский негодовал и не прощал врачей, не сумевших спасти от голода арестанта. Но если было видно, что врач понимает, в чем дело, и, не имея права назвать истинный диагноз «алиментарная дистрофия» — голод, лихорадочно ищет синонимов — голод в виде авитаминозов, полиавитаминозов, скорбута III, пеллагры, им же имя легион,— Уманский помогал врачу своим твердым суждением. И больше того. Если врач хотел ограничиться вполне респектабельным диагнозом гриппозной пневмонии или сердечной недостаточности, то указующий перст патологоанатома возвращал внимание врачей к лагерным особенностям любого заболевания.

Врачебная совесть Уманского тоже была связана, закована. Первый диагноз «алиментарной дистрофии» был поставлен после войны, после ленинградской блокады, когда голод и в лагерях назван был своим надлежащим словом.

Патологоанатому надо быть бы судьей, а Уманский был сообщником... Потому-то он и был судьей, что мог быть сообщником. Как бы он ни был связан инструкцией, традицией, приказом, разъяснениями, Уманский смотрел глубже, дальше, принципиальней. Свои обязанности видел он не в том, чтобы ловить врачей на мелочах, на мелких ошибках, а в том, чтобы видеть — и указать другим!—

то большое, что стояло за этими мелочами, тот «фон» голодного истощения, меняющий картину болезни, которую врач изучал по учебнику. Учебник болезней заключенных еще не был написан. Он никогда не был написан.

Отморожения в лагере — ошеломительны для приехавших с «материка» фронтовых хирургов. Лечение переломов ведется вопреки воле больных. Для того чтобы попасть в туберкулезное отделение, больные возят с собой чужие «харчки» и берут в рот явно бацилльную отраву перед анализом — при поступлении. Больные подбалтывают кровь в мочу, хотя бы оцарапав собственный палец, чтобы попасть в больницу, чтобы хоть на день, хоть на час избавиться от самого страшного, что существует в заключении — от убийственного и унизительного труда.

Уманский, как и все старые колымчане-врачи, знал все это, одобрял и прощал. Учебник болезней заключенных не был написан.

Уманский получил медицинское образование в Брюсселе, а в революцию вернулся в Россию, жил в Одессе, лечил...

В лагере он понял, что для совести спокойней резать мертвых, а не лечить живых. Уманский стал заведующим моргом, патологоанатомом.

Семидесятилетний, еще не дряхлый старик с расшатанным протезом обеих челюстей, серебряной головой, коротко стриженный, по-арестантски, остряк с вздернутым носом вошел в класс.

Для курсантов его лекция имела особое значение. Не потому, что это была первая лекция, а потому, что отныне, с первого слова, сказанного профессором Уманским, курсы начинали жить, начинали существовать въявь и всерьез, какой бы ни казалось это курсантам сказкой. Время тревог миновало. Решение об открытии курсов принято. Для многих навсегда не будет изнурительного труда в золотых забоях, повседневной борьбы за жизнь. Ученье начато курсом лекций профессора Уманского «Анатомия и физиология человека».

Серебряноголовый старик в расстегнутом полушубке, черном, поношенном полушубке — в полушубке, не в ватном бушлате, как ходили мы,— подошел к доске и взял огромный кусок мела в свой маленький кулачок. Скомканную шапку-ушанку профессор бросил на стол — был апрель, холодно было еще.

«Я начну свои лекции с рассказа о строении клетки.

Сейчас много споров в науке...» Где? Каких споров? Прошлая жизнь всех тридцати человек — от бывшего следователя до продавца из сельмага — была очень далека от жизни любой науки... Прошлая жизнь курсантов была более далека от нас, чем загробная,— в этом-то уж каждый из курсантов был уверен... Какое им было дело до каких-то споров в какой-то науке? Да и что это за наука? Анатомия? Физиология? Биология? Микробиология? Ни один курсант не сказал бы в тот день, что это такое — «биология». Те курсанты, что были пограмотней других, достаточно много голодали, чтобы не сохранить интереса к спорам в какой-то науке...

«...Много споров в науке. Сейчас принято излагать эту часть курса по-другому, но я буду рассказывать вам так, как считаю верным. Я договорился с вашей администрацией, что этот раздел буду излагать по-своему».

Андреев попробовал вообразить себе эту администрацию, с которой договорился брюссельский профессор. Начальник больницы, который острым взглядом вахтера пронизывал каждого курсанта на вступительном экзамене. Или пахнущий спиртом, икающий, красноносый исполняющий обязанности начальника санотдела. Больше никакой высшей администрации Андреев придумать, вообразить не мог.

«Этот раздел я буду излагать по-своему. И перед вами я не хочу скрывать своего мнения».

«Скрывать своего мнения»,— повторил шепотом Андреев, восхищенный этими необыкновенными словами из необыкновенной науки.

«Не хочу скрывать своего мнения. Я — вейсманист, друзья мои...»

Уманский сделал паузу, чтобы мы могли оценить его смелость и его деликатность.

Вейсманист? Это курсантам было все равно.

Никто из тридцати человек не знал и никогда не узнал, что такое митоз и что такое нуклеопротеидные нити — хромосомы, содержащие дезоксирибонуклеиновую кислоту.

Не интересовалась дезоксирибонуклеиновой кислотой и администрация больницы.

Но прошел год-два, всю общественную жизнь по разным направлениям прорезали темные лучи биологической дискуссии, и слово «вейсманист» стало достаточно понятным для следователей со средним юридическим

образованием и для обыкновенных людей, подверженных бурям политических репрессий. «Вейсманист» зазвучало грозно, зазвучало зловеще, вроде хорошо известных «троцкист» и «космополит».

Именно тогда, через год после биологической «дискуссии», Андреев вспомнил и оценил и смелость и деликатность старика Уманского.

. . . .

Тридцать карандашей рисовало в тридцати тетрадках воображаемые хромосомы. Вот эта-то тетрадка с хромосомами и вызвала особенную ярость медведя.

Не только таинственными хромосомами, не только снисходительными и умными «секциями» запомнился Андрееву Уманский.

В конце курса, когда новобранцы медицины уже чувствовали на себе белый фельдшерский халат, отделяющий медиков от обыкновенных смертных, Уманский вновь выступил со странным заявлением:

«Я не буду вам читать анатомию половых органов. Я договорился с вашей администрацией. Для прошлых выпусков эта часть читалась. Доброго не получилось ничего. Лучше отдам эти часы для терапевтической практики — банки, по крайней мере, научитесь ставить».

Так курсанты и получили дипломы, не проходя важного раздела анатомии. Но разве только этого не знали будущие фельдшера?

Через месяц-два после начала курсов, когда вечно сосущий голод удалось остановить, побороть, заглушить, и Андреев уже не бросался поднимать каждый окурок, который видел на дороге, на улице, на земле, на полу, и на лице Андреева стали проступать какие-то новые — или старые?— человеческие черты, сам взгляд, не только глаза стали более человеческими,— Андреев был приглашен пить чай к профессору Уманскому.

Чай-то был именно чай. Хлеба и сахару тут не полагалось, да Андреев и не ждал такого чаепития — с хлебом. Чай — это была вечерняя беседа с профессором Уманским, беседа в тепле, беседа один на один.

Уманский жил в морге, в канцелярии морга. Двери в прозекторскую вовсе не было, и секционный стол, застеленный, впрочем, клеенкой, был виден из комнаты Уманского из всех углов. Дверь в прозекторскую не существовала, но Уманский принюхался ко всем запахам на свете и

вел себя так, как будто дверь есть. Андреев не сразу сообразил, что именно делает комнату комнатой, а потом понял, что комнатный пол настлан на полметра выше, чем пол прозекторской. Работа кончалась, и на свой рабочий стол Уманский ставил фотографию молодой женщины, фотографию в жестяной какой-то оправе, заделанную грубо и неровно зеленоватым оконным стеклом. Личная жизнь профессора Уманского и начиналась с этого выверенного, привычного движения. Пальцы правой руки хватались за доску выдвижного ящика, вытаскивали ящик, упирая его в живот профессора. Левой рукой Уманский доставал фотографию и ставил на стол перед собой...

— Дочь?

— Да. Если сын, было бы гораздо хуже, не правда ли?

Разницу между сыном и дочерью для заключенного Андреев понимал хорошо. Из ящиков стола — ящиков оказалось очень много — профессор извлек бесчисленные листы нарезанной рулонной бумаги, измятой, изношенной, расчерченной на столбики, множество столбиков, множество строк. В каждую клеточку мелким почерком Уманского было вписано слово. Тысячи, десятки тысяч слов, выгоревших от времени химических чернил, кой-где подновленных. Уманский знал, наверное, двадцать языков...

— Я знаю двадцать языков,— сказал Уманский.— Еще до Колымы знал. Отлично знаю древнееврейский. Это — корень всего. Здесь, в этом самом морге, в соседстве трупов, я изучил арабский, тюркский, фарси... Составил таблицу — сводку единого языка. Вы понимаете, в чем дело?

— Мне кажется, да,— сказал Андреев.— Мать — «муттер», брат — «брудер».

— Вот-вот, но все гораздо сложнее, важнее. Я сделал кое-какие открытия. Этот словарь будет моим вкладом в науку, оправдает мою жизнь. Вы не лингвист?

— Нет, профессор,— сказал Андреев, и колющая боль пронзила его сердце — ему так захотелось в этот момент быть лингвистом.

— Жаль.— Чуть изменился чертеж морщин лица Уманского и снова сложился в привычное, ироническое выражение.— Жаль. Это занятие — интересней медицины. Но медицина — надежней, спасительней.

Уманский учился в Брюсселе. После революции вернулся на родину, работал врачом, лечил. Уманский разгадал суть тридцать седьмого года. Понимал, что его долгая

заграничная жизнь, его знание языков, его свободомыслие — достаточный повод для репрессий; старик попытался перехитрить судьбу. Уманский сделал смелый ход — он поступил на службу в Дальстрой, завербовался на Колыму, на Дальний Север, как врач, и приехал в Магадан вольнонаемным. Лечил и жил. Увы, Уманский не учел универсализма действующих инструкций, Колыма его не спасла, как не спас бы и Северный полюс. Уманский был арестован, судим трибуналом и получил срок в десять лет. Дочь отказалась от врага народа, исчезла из жизни Уманского, осталась только случайно сохраненная фотография на письменном столе брюссельского профессора. Десятилетний срок уже кончался, зачеты рабочих дней Уманский получал аккуратно и очень интересовался этими зачетами рабочих дней.

Настал день, когда Андреев снова был приглашен пить чай к профессору Уманскому.

Поцарапанная эмалированная кружка с горячим чаем ждала Андреева. Рядом с кружкой стоял стакан хозяина — настоящий стеклянный стакан, зеленоватый, мутный и невероятно грязный даже на опытный андреевский взгляд. Уманский никогда не мыл своего стакана. Это также было открытием Уманского, его вкладом в науку гигиену, принципом, который проводился Уманским в жизнь со всей твердостью, настойчивостью и педагогической нетерпимостью.

— Немытый стакан в наших условиях чище, стерильнее, чем мытый. Это — лучшая гигиена, единственная, может быть... Вы поняли?

Уманский пощелкал пальцами.

— В полотенце больше инфекции, чем в воздухе. Эрго: стакан не следует мыть. У меня староверский, личный стакан. И полоскать не следует — в воздухе меньше инфекции, чем в воде. Азбука санитарии и гигиены. Вы поняли? — Уманский прищурился: — Это — открытие не только для морга.

Еще в сорок шестом году, в больничном морге, после очередного чаепития с Андреевым и лингвистического заклинания, Уманский зашептал на ухо Андрееву, почти задыхаясь:

— Самое главное — пережить Сталина. Все, кто переживут Сталина — будут жить. Вы поняли? Не может быть, что проклятия миллионов людей на его голову не материализуются. Вы поняли? Он непременно умрет от этой не-

нависти всеобщей. У него будет рак или еще что-нибудь! Вы поняли? Мы еще будем жить.

Андреев молчал.

— Я понимаю и одобряю вашу осторожность,— сказал Уманский, уже не шепча.— Вы думаете, что я провокатор какой-нибудь. А мне семьдесят лет.

Андреев молчал.

— Вы правильно молчите,— сказал Уманский.— Провокаторы были и семидесятилетними стариками. Все было...

Андреев молчал, восхищаясь Уманским, не в силах преодолеть себя и заговорить. Это безотчетное, всесильное молчание было частью поведения, к которому привык Андреев за свою лагерную жизнь с множеством обвинений, следствий и допросов — внутренних правил, которые не так-то просто было нарушить, отбросить. Андреев пожал руку Уманского, сухую, горячую маленькую старческую ладонь с цепкими горячими пальцами.

Когда профессор кончил срок, он получил пожизненное прикрепление к Магадану. Уманский умер 4 марта 1953 года, до последней минуты продолжая свою никому не завещанную, никем не продолженную работу по лингвистике. Профессор так никогда и не узнал, что создан электронный микроскоп и хромосомная теория получила экспериментальное подтверждение.

В БОЛЬНИЦУ

Крист был высокого роста, а фельдшер еще выше, широкоплечий, мордастый — Кристу уже давно, много лет, все начальники казались мордастыми. Поставив Криста в угол, фельдшер разглядывал свою добычу с явным одобрением.

— Так ты сенитаром был, говоришь?

— Был.

— Это хорошо. Мне нужен сенитар. Настоящий сенитар. Чтобы был порядок.— И фельдшер обвел рукой огромную мертвую амбулаторию, похожую на конюшню.

— Я болен,— сказал Крист.— Мне в больницу надо...

— Все больны. Успеешь. Порядочек наведем. Пустим

вот этот шкаф в дело,— фельдшер постучал по дверце огромного пустого шкафа.— Ну, время позднее. Ты вымой полы — и ложись. Меня по подъему разбудишь.

Не успел Крист разогнать ледяную воду по всем уголкам холодной промороженной амбулатории, как сонный голос нового хозяина прервал работу Криста.

Крист вошел в соседнюю комнату — такую же конюшнеобразную. В углу был втиснут топчан. Укрытый грудой рваных одеял, полушубков, тряпья, засыпающий фельдшер звал Криста.

— Сними с меня валенки, сенитар.

Крист стащил с ног фельдшера вонючие валенки.

— Поставь к печке повыше. А утром подашь тепленькими. Я люблю тепленькие.

Крист отогнал тряпкой грязную ледяную воду в угол амбулатории, вода створожилась, превратилась в шугу во время ледостава, схватилась льдом. Крист вытер пол амбулатории, лег на топчан и сразу же забылся в своем всегдашнем здешнем полусне и как бы через мгновенье — проснулся. Фельдшер тряс его за плечо:

— Ты что же это? Развод давно идет.

— Я не хочу работать санитаром. Отправьте меня в больницу.

— В больницу? Больницу надо заслужить. Значит, не хочешь работать сенитаром?

— Нет,— сказал Крист, привычным движением оберегая лицо от ударов.

— Выходи на работу!— Фельдшер вытолкал Криста из амбулатории и сквозь туман прошагал вместе с Кристом к вахте.

— Вот лодырь, симулянт. Гоняйте его, гоняйте,— кричал фельдшер конвоирам, выводившим очередную партию заключенных за проволоку. Многоопытные конвоиры небольно тыкали Криста штыками и прикладами.

Носили плавник в лагерь, легкая работа. Плавник носили за два километра, добывали из весенних заломов горной, вымерзшей до дна реки. Очищенные от коры, вымытые, высушенные ветром бревна было трудно выдернуть из залома — там их держали руки водорослей, сучьев, сила камней. Плавника было много. Непосильных бревен не попадалось. Крист радовался этому. Каждый заключенный выбирал себе бревно по силе. Путешествие за два километра — чуть не целый рабочий день. Это была

«инвалидная» командировка — поселок, и спроса было немного. Витаминный ОЛП — отдельный лагерный пункт «витаминный». Да здравствует вита! Но Крист не понимал, не хотел понимать этой страшной иронии.

День проходил за днем, а Криста в больницу не отправляли. Отправляли других, но не Криста. Каждый день фельдшер приходил на вахту и, показывая на Криста рукавицей, кричал конвоирам:

— Гоняйте его, гоняйте.

И все начиналось сначала.

Больница, желанная больница была всего в четырех километрах от поселка. Но для того чтобы туда попасть, нужно направление, бумажка. Фельдшер понимал, что он — хозяин жизни и смерти Криста. Понимал это и Крист.

От барака, где спал Крист — это и называется в лагере «жил» — до вахты было всего шагов сто. Витаминный поселок был одним из самых заброшенных — тем выше, толще, грознее казался фельдшер и тем ничтожнее — Крист.

На этой стошаговой дороге Крист встретил — он не мог вспомнить: кого? А человек уже прошел мимо, скрылся в тумане. Ослабевшая, голодная память не могла подсказать Кристу ничего. И все же... Крист думал день и ночь, превозмогая мороз, голод и боль отмороженных рук и ног: кто? Кто встретился ему на тропе? Или Крист сходит с ума? Крист знал этого человека, ушедшего в туман, знал не по Москве, не по «воле». Нет, гораздо важнее, гораздо ближе. И Крист вспомнил. Два года назад этот человек был начальником лагеря, но не «витаминного», а золотого, на золотом прииске, где встретился Крист лицом к лицу с настоящей Колымой. Это был начальник, лагерный «обсос», как говорят блатные. Вольнонаемный начальник — и его судили при Кристе. После суда начальник куда-то исчез, говорили, что его расстреляли,— и вот он — встретился с Кристом на тропке «витаминной командировки». Крист нашел бывшего начальника в лагерной конторе. Тот работал на какой-то неизвестной должности, несомненно канцелярской, у бывшего начальника была, конечно, пятьдесят восьмая статья, но не «литер», и ему было разрешено работать в конторе.

Конечно, это Крист мог знать и узнать начальника. Начальник же не мог помнить Криста. И все-таки... Крист подошел к загородке, за которой сидят конторщики во всем мире...

— Что, уличаешь, что ли? — по-блатному сказал бывший начальник лагеря, поворачиваясь к Кристу лицом.

— Да. Я ведь с прииска,— сказал Крист.

— Рад видеть землячка.— И, хорошо понимая Криста, бывший начальник сказал:— Подойди ко мне вечером. Я тебе селедку вынесу.

Ни имени, ни фамилии друг друга они не знали. Но то ничтожное, кратковременное, что соединило их когда-то случайно, вдруг сделалось силой, которая может изменить человеческую жизнь. И сам начальник, отдавая свою селедку не своим «витаминным» голодным товарищам, а Кристу, который был с ним на золоте, помнил, знал, что золото и «витаминная командировка» — разные вещи. Ни тот, ни другой не говорили об этом. Оба понимали, оба чувствовали — Крист — свое подземное право, а бывший начальник — свой долг.

Каждый вечер бывший начальник приносил Кристу селедку. С каждым вечером селедка была все крупнее. Лагерный повар не удивлялся внезапному капризу конторщика, который раньше не брал своей порции селедки никогда. Крист съедал эту селедку по своей приисковой привычке — со шкурой, с головой, с костями. Иногда бывший начальник приносил и недоеденный, обкусанный хлеб. Крист подумал, что дальше эту вкусную селедку есть опасно: вдруг не примут в больницу — тело потеряет вид, необходимый для госпитализации. Кожа будет недостаточно суха, крестец недостаточно угловат. Крист рассказал бывшему начальнику, что его, Криста, отправляли в больницу, а фельдшер своей властью оставил его здесь, и вот...

— Да, фельдшер здесь — сучара хорошая. Я здесь больше года — никто еще здесь лепилу не похвалил. Но мы обманем его. В больницу здесь отправляют каждый день. А списки пишу я.— И бывший начальник улыбнулся.

Вечером Криста вызвали на вахту. Там уже стояли двое заключенных — в руках одного был маленький фанерный чемоданчик.

— Конвоя нет отправить вас,— на крыльцо вышел дежурный.— Завтра отправим.

Для Криста это было смертью — завтра все разоблачится. Фельдшер загонит Криста в какой-нибудь ад. Крист не знал, как называется этот ад, куда он может

попасть, что будет хуже того, что Крист уже видел. Но Крист не сомневался, что такие места, где еще хуже — есть. Оставалось ждать и молчать.

Снова вышел дежурный.

— Идите в барак. Не будет конвоя.

Но вышел вперед арестант с чемоданчиком:

— Давайте мне направление, гражданин дежурный. И я всех доведу. Лучше всякого бойца. Ведь вы же знаете меня? Так делали не один раз. Я — бесконвойный, а те — куда они убегут. В ночь, в мороз...

Дежурный ушел внутрь вахты, сейчас же вернулся и подал человеку с чемоданчиком конверт из газетной бумаги.

— Вещи с вами?

— Какие вещи...

— Ну, айда!

Железная щеколда открылась и выпустила трех арестантов в белую морозную мглу.

Бесконвойный шел впереди, бежал, по мнению Криста. Туман кое-где раздвигался, пропуская желтый свет уличных электрических фонарей.

Прошло бесконечно много времени. Капли горячего пота ползли по впалому животу Криста, по костлявой его спине. Сердце Криста стучало, стучало. А Крист все бежал, бежал за своими ускользающими во мглу товарищами. На углу поселка начиналось большое шоссе.

— Ждать тебя!..

Крист испугался, что его бросят, оставят.

— Слышь, ты,— сказал бесконвойный.— Знаешь, где больница?

— Знаю.

— Мы пойдем вперед. А у больницы подождем.

Арестанты исчезли в темноте, и Крист, отдышавшись, пополз вдоль кювета, поминутно останавливаясь и снова бросаясь вперед. Рукавицы Крист потерял, но не замечал, что царапает снег, лед и камень голыми своими ладонями. Крист рычал, сопел, скреб землю. Впереди ничего не было видно, кроме белой мглы. Из этой белой мглы, яростно гудя, выскакивали огромные грузовики и сейчас же скрывались в тумане. Но Крист не останавливался, чтобы пропустить мимо себя машину и снова ползти к больнице. Крист держался руками за кювет, за валик кювета — как огромный канат был протянут через ледяную бездну — к теплу и спасению. Крист полз, полз, полз.

Мгла слегка поредела, и Крист увидел поворот к больнице и крошечные домики больничного поселка. Шагов триста, не больше. И, снова зарычав, Крист пополз.

— Мы уже думали, подох ты,— равнодушно и незло сказал бесконвойный, стоявший на крыльце больничного барака.— Нас без тебя не принимают тут.

Но Крист не слушал и не отвечал. Теперь наступило самое главное, самое трудное — положат его в больницу или не положат.

Пришел врач, молодой чистый человек в неправдоподобно белом халате, записал всех в книгу.

— Раздевайтесь.

Кожа Криста шелушилась, слетала с тела легкими пластинками, как дактилоскопические оттиски в личном деле.

— Пеллагра называется,— сказал бесконвойный.

— У меня тоже такое было,— сказал третий, и это были первые слова его, которые услышал Крист.— Перчатки с обеих рук снимали. В Магадан послали, в музей.

— В музей?— презрительно сказал бесконвойный.— Мало таких перчаток в Магадане.

Но третий арестант не слушал бесконвойного.

— Ты,— дергал он за руку Криста.— Слушай сюда! С этой болезнью тебе горячие уколы назначат, обязательно. Мне назначали, я их за хлебушек променял блатарям. Так и поправился.

Вот из шкафа достали и бланки «историй болезни». Три бланка. Всех положат. Вошел санитар.

— Пока во вторую.

Обливание теплой водой, белье без вшей. Коридор, где на столике дежурного еще не погашен фитиль коптилки с рыбьим жиром, налитым на блюдце из донышка консервной банки. Дверь в пустую палату, откуда пахнуло морозом, улицей, льдом. Санитар пошел за дровами — растапливать погасшую железную печь.

— Вот что,— сказал бесконвойный,— давайте-ка ляжем вместе, а то мы тут нарежем дуба.

Все легли на одну койку, обняв друг друга. Потом бесконвойный выскользнул из-под трех одеял, собрал все матрасы, все одеяла, какие были в палате, навалил все горой на койку, где легли арестанты, и сам нырнул в костлявые объятья Криста. Больные заснули.

ИЮНЬ

Андреев вышел из штольни и пошел в ламповую сдавать свою потухшую «вольфу».

«Опять ведь привяжутся,— лениво думал он про службу безопасности.— Проволока-то сорвана...»

В шахте курили, несмотря на запрещения. Куренье грозило «сроком», но никто еще не попадался.

Недалеко от породного терриконника Андреев встретил Ступницкого, профессора артиллерийской академии. На шахте Ступницкий работал десятником поверхности, несмотря на свою пятьдесят восьмую статью. Служака он был расторопный, исполнительный, подвижный, несмотря на годы, шахтному начальству и не снились такие десятники.

— Слушайте,— сказал Ступницкий.— Немцы бомбили Севастополь, Киев, Одессу.

Андреев вежливо слушал. Сообщение звучало так, как известие о войне в Парагвае или Боливии. Какое до этого дело Андрееву? Ступницкий сыт, он десятник — вот его и интересуют такие вещи, как война.

Подошел Гриша Грек, вор.

— А что такое автоматы?

— Не знаю. Вроде пулеметов, наверное.

— Нож страшнее всякой пули,— наставительно сказал Гриша.

— Верно,— сказал Борис Иванович, хирург из заключенных.— Нож в животе — это верная инфекция, всегда опасность перитонита. Огнестрельное ранение лучше, чище...

— Лучше всего гвоздь,— сказал Гриша Грек.

— Станови-и-ись!

Построились в ряды, пошли из шахты в лагерь. Конвой в шахту никогда не заходил — подземная тьма берегла людей от побоев. Вольные десятники тоже остерегались. Не дай бог свалится на голову из «печи» угольная глыба... Как ни был дерзок на руку Николай Антонович, «старшой», и тот почти отвык от своей старинной привычки. Дрался тоько Мишка Тимошенко, молодой смотритель из заключенных, «пробивающий карьеру».

Мишка Тимошенко шел и думал: «Подам заявление на фронт. Послать меня не пошлют, а польза будет. А то дерись не дерись — кроме срока, ничего не заработаешь».

Утром он пошел к начальнику. Косаренко, начальник лагпункта, был малый неплохой. Мишка встал «по всем правилам».

— Вот заявление на фронт, гражданин начальник.

— Ишь ты... Ну, давай, давай. Первый будешь... Только тебя не возьмут...

— Из-за статьи, гражданин начальник?

— Ну да.

— Что ж мне с этой статьей делать? — сказал Мишка.

— Не пропадешь. Ты — ловкач,— прохрипел Косаренко.— Позови-ка мне Андреева.

Андреев был удивлен вызовом. Никогда его пред светлые очи самого начальника лагпункта не вызывали. Но было привычное безразличие, бесстрашие, равнодушие. Андреев постучал в фанерную дверь кабинета:

— Явился по вашему приказанию. Заключенный Андреев.

— Ты — Андреев?— сказал Косаренко, с любопытством разглядывая вошедшего.

— Андреев, гражданин начальник.

Косаренко порылся в бумажках на столе, что-то нашел, стал читать про себя. Андреев ждал.

— У меня есть для тебя работа.

— Я работаю откатчиком на третьем участке...

— У кого?

— У Корягина.

— Завтра останешься дома. В лагере будешь работать. Не умрет Корягин без откатчика.

Косаренко встал, потрясая бумажкой, и захрипел:

— Зону будешь ломать. Проволоку скатывать. Вашу зону.

Андреев понял, что речь шла о зоне пятьдесят восьмой статьи — в отличие от многих лагерей, барак, где жили «враги народа», был окружен колючей проволокой внутри самой лагерной зоны.

— Один?

— Вдвоем с Маслаковым.

«Война,— подумал Андреев,— по мобплану, наверное...»

— Можно идти, гражданин начальник?

— Да. У меня два рапорта на тебя есть.

— Работаю не хуже других, гражданин начальник...

— Ну, иди...

Разгибали ржавые гвозди и снимали колючую проволоку, наматывая ее на палку. Десять рядов, десять железных нитей, да еще поперечные косые нитки — на целый день хватило этой работы Андрееву и Маслакову. Ничем эта работа не была лучше любой другой работы. Косаренко ошибся — чувства заключенных огрубели.

В обед Андреев узнал еще новость: паек хлеба был снижен с килограмма до пятисот граммов — это была грозная новость, ибо приварок ничего не решал в лагере. Решал хлеб.

На следующий день Андреев вернулся в шахту.

В шахте было привычно холодно и привычно темно. Андреев спустился по людскому ходу на нижний штрек. Порожняк сверху еще не подавали, и Кузнецов, второй откатчик смены, сидел невдалеке от нижней плиты, на свету, и ждал вагонов.

Андреев сел рядом. Кузнецов был «бытовиком», деревенским убийцей.

— Слушай,— сказал Кузнецов.— Меня вызывали.

— Куда?

— Туда. За мост.

— Ну и что?

— Велели на тебя заявление подать.

— На меня?

— Да.

— А ты?

— Я подал. Что сделаешь?

«Действительно,— подумал Андреев,— что сделаешь?»

— Чего же ты там писал?

— Ну, написал, что сказали. Что хвалил Гитлера...

«Ведь он не подлец,— думал Андреев.— Он просто несчастный человек...»

— Что же теперь со мной сделают?— спросил Андреев.

— Не знаю. Уполномоченный сказал: это так, для порядка.

— Ну да,— сказал Андреев.— Конечно, для порядка. У меня ведь срок кончается в нынешнем году. Новый намотать успеют.

Вагончики гремели по уклону.

— Эй, вы!— закричал старший плитовой.— Сказочники! Забирай порожняк!

— Я, пожалуй, откажусь с тобой работать,— сказал

Кузнецов.— Будут ведь опять вызывать, а я скажу: не знаю, я с ним не работаю. Вот как...

— Так лучше всего,— согласился Андреев.

Со следующей смены напарником Андреева стал Чудаков, тоже «бытовик». В отличие от словоохотливого Кузнецова, этот — молчал. Либо от роду был молчаливым, либо предупредили «за мостом».

Через несколько смен Андреева и Чудакова поставили в вентиляционный штрек на верхнюю плиту — спускать в уклон на тридцать метров пустые вагонетки и вытаскивать груженые. Вагонетку разворачивали на плите, наводили колеса на рельсы, уходящие в уклон, прикрепляли к вагонетке стальный трос и, цепляя «барабанчиком» за лебедочный трос, толкали вагонетку вниз. Цепляли по очереди. Очередь была Чудакова.

Вагонетки шли и шли, одна за другой, рабочий день был в полном разгаре, как вдруг Чудаков ошибся — столкнул вагонетку вниз, не прицепив ее к тросу. «Орел!» — авария шахтная! Раздался глухой грохот, лязг железа, треск стоек; столбы белой пыли заполнили уклон.

Чудакова тут же арестовали, а Андреев вернулся в барак. Вечером его вызвали к Косаренко, к начальнику.

Косаренко метался по кабинету.

— Что наделал? Что наделал, я спрашиваю? Вредитель!

— Да вы с ума сошли, гражданин начальник,— сказал Андреев.— Ведь это Чудаков случайно...

— Ты научил, гад! Вредитель! Остановил шахту!

— При чем же тут я? И никто шахты не останавливал — шахта работает... Чего вы орете?

— Он не знает! Вот Корягин пишет... Он член партии.

Большой рапорт, написанный мелким почерком Корягина, действительно лежал на столе начальника.

— Ответишь!

— Воля ваша!

— Иди, гад!

Андреев ушел. В бараке, в «кабинке» десятников был шумный разговор, прервавшийся с приходом Андреева.

— Ты к кому?

— К вам, Николай Антонович,— обратился Андреев к старшому.— Куда работать завтра выходить?

— Доживи до завтра,— сказал Мишка Тимошенко.

— Это не твоя забота.

— Вот через таких грамотеев я и срок имею, честное слово, Антоныч,— сказал Мишка.— Через Иванов Ивановичей этих.

— Вот к Мишке пойдешь,— сказал Николай Антонович.— Так Корягин распорядился. Если тебя не арестуют. А Мишка выкрутит тебе кручину.

— Надо знать, где находишься,— строго сказал Тимошенко.— Фашист проклятый.

— Ты сам фашист, дурак,— сказал Андреев и пошел отдать кой-какие вещи товарищам — запасные портянки, старый, но еще крепкий бумажный шарф, чтоб к аресту не было ничего лишнего из вещей.

Соседом Андреева по нарам был бывший декан горного факультета Тихомиров. Он работал на шахте крепильщиком. Главный инженер пытался «выдвинуть» профессора хотя бы в десятники, но начальник угольного района Свищев отказал наотрез и недобро посмотрел на своего заместителя.

— Если поставить Тихомирова,— сказал Свищев главному инженеру,— тогда вам нечего делать на шахте. Поняли? И чтобы я больше таких разговоров не слышал.

Тихомиров ждал Андреева.

— Ну, что?

— Переспим это дело,— сказал Андреев.— Война.

Андреева не арестовали. Оказалось, что Чудаков не хочет лгать. Его продержали с месяц на карцерном пайке — кружка воды и триста граммов хлеба, но не могли склонить ни к каким заявлениям — Чудаков в заключении был не первый раз и знал всему настоящую цену.

— Что ты меня учишь?— сказал он следователю.— Андреев мне ничего плохого не сделал. Я знаю порядки Вам ведь меня судить неинтересно. Вам Андреева надо засудить. Ну, пока я жив, не засудите его, мало еще каши лагерной ели.

— Ну,— сказал Корягин Мишке Тимошенко.— На тебя одна надежда. Ты справишься.

— Есть, понятно,— сказал Тимошенко.— Сначала мы ему «по животу» — паек снизим. Ну и если проговорится...

— Дурак,— сказал Корягин.— При чем тут проговорится? Первый день на свете живешь, что ли?

Корягин снял Андреева с подземной работы. Зимой холод в шахте достигает всего двадцати градусов на

нижних горизонтах, а на улице — шестьдесят. Андреев стоял в ночной смене на высоком терриконнике, где громоздилась порода. Вагонетки с породой поднимались туда время от времени, и Андреев должен был разгружать их. Вагонеток было мало, холод страшный, и даже ничтожный ветер превращал ночь в ад. Там впервые на колымской земле Андреев заплакал — раньше никогда этого с ним не бывало, разве лишь в молодые годы, когда приходили письма матери и Андреев не в силах был их прочитать без слез и вспомнить о них без слез. Но это было давно. А здесь почему он плакал? Бессилие, одиночество, холод — Андреев привык, настроился в лагере вспоминать стихи, что-то шептать, повторять неслышно — на морозе думать было нельзя. Человеческий мозг не может работать на морозе.

Несколько ледяных смен, и Андреев снова в шахте, снова на откатке, и напарник его — Кузнецов.

— Хорошо, что ты здесь!— радовался Андреев.— И меня опять в шахту взяли. Что с Корягиным случилось?

— Да, говорят, на тебя материалы уже собрали. Достаточно,— говорил Кузнецов.— Больше не надо. Я и вернулся. Работать с тобой хорошо. И Чудаков вышел. Изолятора ему дали. Как скелет. Банщиком будет пока. Не будет больше на шахте работать.

Новости были значительные.

Десятники из заключенных ходили в лагерь без конвоя после смены, выполнив свои отчетные обязанности. Мишка Тимошенко решил сходить в баню до прихода рабочих из лагеря, как делал всегда.

Незнакомый костлявый банщик отпер крючок и открыл дверь.

— Ты — куда?

— Я — Тимошенко.

— Вижу, что Тимошенко.

— Ты меньше разговаривай,— сказал десятник.— Не пробовал еще моего термометра — попробуешь. Иди, давай пар.— И, оттолкнув банщика, Тимошенко вошел в баню. Черный влажный мрак наполнял шахтерскую баню. Черные закопченные потолки, черные шайки, черные лавки вдоль стен, черные окна. В бане было темно и сухо, как в шахте, и шахтерская лампа «вольфа» с треснутым стеклом висела, воткнутая крючком в столб посреди бани, как в шахтную стойку.

Мишка быстро разделся, выбрал неполную бочку холодной воды, завел туда паровую трубу — в помещении бани был бойлер, и воду грели горячим паром.

Костлявый банщик смотрел с порога на розовое, пышное тело Тимошенко и молчал.

— Я вот так люблю,— сказал Тимошенко,— чтобы парок был живой. Ты воду нагреешь немного, я в бочку залезу, и ты пускай пар помалу. Хорошо будет, я постучу по трубе, и ты пар выключай. Прежний-то банщик, одноглазый, все мои привычки знал. Где он?

— Не знаю,— ответил костлявый. Ключицы банщика натягивали гимнастерку.

— А ты откуда?

— Из изолятора.

— Ты Чудаков, что ли?

— Да, Чудаков.

— Не узнал тебя. Богатым будешь,— засмеялся десятник.

— Это я в изоляторе так доплыл — вот ты и не узнаешь! Слышь, Мишка,— сказал Чудаков,— а ведь я видел тебя...

— Где?

— А за мостом. Слышал, что ты там уполномоченному пел...

— Каждый сам себя спасает,— сказал Тимошенко.— Закон тайги. Время военное. А ты — дурак. Дурак ты, Чудаков. Дурак, и уши холодные. Такое принял из-за этого черта Андреева.

— Ну, это уж мое дело,— сказал банщик и вышел. Пар загремел, забурлил в бочке, вода согрелась. Мишка постучал — Чудаков выключил пар.

Мишка влез на скамейку и со скамейки перевалился в узкую высокую бочку... Были бочки пониже, пошире, но десятник любил париться именно в этой. Вода достигала Мишке до горла. Жмурясь от удовольствия, десятник постучал по трубе. Сейчас же забурлил пар. Стало тепло. Мишка просигналил банщику, но горячий пар продолжал хлестать в трубу. Пар обжигал тело, и Тимошенко испугался, застучал еще, пытаясь вырваться, выскочить из бочки, но бочка была узка, железная труба мешала лезть — в бане ничего не было видно из-за белого, клокочущего, густеющего пара, и Мишка закричал диким голосом.

Баня для рабочих в этот день не состоялась.

Когда открыли двери и окна, густой мутно-белый туман рассеялся — пришел лагерный врач. Тимошенко уже не дышал — он был сварен заживо.

Чудакова из банщиков перевели куда-то, вернулся одноглазый — его никто не снимал с работы, просто он был один день на группе «В» — временно освобожден от работы по болезни. У него была «температура».

МАЙ

Днище деревянной бочки было выбито и заделано решеткой из полосового железа. В бочке сидел пес Казбек. Сотников кормил Казбека сырым мясом и просил всех прохожих тыкать в собаку палкой. Казбек рычал и грыз палку в щепы. Прораб Сотников воспитывал злобу в будущем цепном псе.

Золото всю войну мыли лотками — старательской добычей, ранее запрещенной на приисках. Раньше лотком мог мыть только промывальщик из службы разведки. Суточный план давался до войны в кубометрах грунта, а во время войны — в граммах металла.

Однорукий лоточник ловко нагребал грунт на лоток скребком и, намыв воды, осторожно встряхивал лоток над ручьем, сбывая в ручей размытый в лотке камень. На дне лотка, когда сбегала вода, оставалась золотая крупинка, и, положив лоток на землю, рабочий ногтем поддевал крупинку и переносил ее на клочок бумаги. Бумага складывалась, как аптечный порошок. Целая бригада одноруких саморубов зимой и летом «мыла» золото. И сдавала крупинки металла, зернышки золота в приисковую кассу. За это одноруких кормили.

Следователь Иван Васильевич Ефремов поймал таинственного убийцу, которого искали больше недели. Неделю назад в избушке геологоразведчиков, километрах в восьми от поселка, были зарублены топором четыре взрывника. Украдены были хлеб и махорка, деньги не найдены. Прошла неделя, и в рабочей столовой татарин из плотничьей бригады Русланова выменял вареную рыбу на щепотку махорки. Махорки на прииске не было с начала войны — привозили «аммонал» — зеленый самосад невероятной крепости, пытались выращивать табак. Махорка

была только у вольняшек. Татарин был арестован и во всем признался и даже показал место в лесу, куда он закинул в снег окровавленный топор. Ивану Васильевичу Ефремову выходила большая награда.

Случилось так, что Андреев был соседом по нарам этого татарина — самого обыкновенного голодного парнишки, «фитиля». Арестовали и Андреева. Через две недели его выпустили — за это время было много новостей — Колька Жуков зарубил ненавистного бригадира Королева. Этот бригадир бил Андреева ежедневно на глазах у всей бригады, бил беззлобно, не спеша, и Андреев боялся его.

Андреев ощупал в кармане бушлата обломок пайки белого американского хлеба, оставшийся от обеда. Была тысяча способов продлить наслаждение пищей. Можно было лизать этот хлеб, пока он не исчезнет с ладони; можно было отщипывать от него крошки, мельчайшие крошки, и сосать каждую крошку, ворочая ее во рту языком. Можно было поджарить на печке, всегда топящейся, подсушить этот хлеб и есть темно-коричневые, обожженные кусочки хлеба — еще не сухари, но и не хлеб. Можно было резать хлеб ножом на тончайшие пластины и только тогда подсушивать их. Можно было заварить хлеб горячей водой, вскипятить его, размешать и превратить в горячий суп, в мучную болтушку. Можно было крошить кусочки в холодную воду и солить их — получалось нечто вроде тюри. Все это надо было успеть сделать за те четверть часа, что оставались у Андреева из обеденного перерыва. Андреев доедал хлеб по-своему. В маленькой консервной банке кипятилась вода, пресная снеговая вода, грязная от попавших в банку мельчайших углей или стланиковой хвои. В белый крутой кипяток Андреев совал свой хлеб и ждал. Хлеб раздувался, как губка, белая губка. Палочкой, щепкой Андреев отрывал горячие кусочки губки и вкладывал их в рот. Размокший хлеб исчезал во рту мгновенно.

Никто не обращал внимания на андреевские затеи. Он был одним из сотен тысяч колымских «фитилей», «доходяг» — чей разум давно уже пошатнулся.

Каша была тоже по лендлизу — американская овсянка с сахаром. И хлеб был по лендлизу — из канадской муки с примесью костей и риса. Хлеб выпекали необыкновенно пышный, и ни один раздатчик не рисковал готовить пайки с вечера — каждая «двухсотка» теряла за ночь

в весе десять — пятнадцать граммов, и самый честный хлеборез мог оказаться жуликом помимо воли. У белого хлеба почти не было отбросов — человеческий организм выкидывал лишнее лишь раз в несколько дней.

Суп — первое блюдо — тоже было по лендлизу — запах свиной тушенки и мясные волокна, похожие на туберкулезные палочки под микроскопом, попадались в обеденных мисках каждому.

Была, говорят, еще колбаса, консервированная колбаса, но для Андреева она оставалась легендой, как и сгущенное молоко «Альфа» — которое многие помнили еще по детству, по посылкам «Ара». Фирма «Альфа» все еще существовала.

По лендлизу были и красные кожаные ботинки на толстой клеевой подошве. Эти кожаные ботинки выдавали только начальству — даже не всякий горный мастер мог приобрести импортную обувь. Приисковому начальству шли и «гарнитуры» в коробках — костюмы, пиджаки и рубашки с галстуками.

Говорят, выдавали и шерстяные вещи, собранные среди населения Америки, но до заключенных они не доходили — жены начальства прекрасно разбирались в качестве материала.

Зато до заключенных хорошо доходил инструмент. Инструмент был тоже по лендлизу — гнутые американские лопаты с короткими крашеными ручками. Лопаты были «подбористы» — над самой формой лопаты кто-то думал. Лопатами все были довольны. Крашеные черенки от лопат поотбивали и сделали новые, прямые и длинные — каждому по мерке — конец черенка должен был доставать до подбородка.

Кузнецы чуть-чуть развернули нос лопаты, подточили их — и вышел славный инструмент.

Топоры американские были очень плохи. Это были не топоры, а топорики, вроде майнридовских индейских томогавков, и для серьезной плотничьей работы не годились. На плотников наших топоры по лендлизу произвели сильное впечатление — тысячелетний инструмент, очевидно, отмирал.

Поперечные пилы были тяжелыми, толстыми и неудобными в работе.

Зато великолепен был солидол, белый, как сливочное масло, без запаха. Блатари сделали попытку продавать

солидол вместо сливочного масла, но на прииске уже некому было сливочное масло покупать.

«Студебеккеры», полученные по лендлизу, носились взад и вперед по кручам Колымы. Это была единственная машина на Дальнем Севере, которую не затрудняли подъемы. Огромные «даймонды», полученные тоже по лендлизу, тащили девяностотонный груз.

Мы лечились по лендлизу — медикаменты были американские, и впервые появился и чудодейственный на первых порах сульфидин. Лабораторная посуда была подарком Америки. Рентгеновские аппараты, резиновые грелки и пузыри...

О том, что белому американскому хлебу скоро конец, говорили еще в прошлом году после Курской дуги, но Андреев не прислушивался к этим лагерным «парашам». Что будет, то будет. Прошла еще одна зима, а он все еще жив, он, не загадывавший никогда дальше сегодняшнего вечера.

Черняшка будет скоро, черняшка. Черный хлеб. Наши к Берлину идут.

— Черный здоровее,— врачи говорили.

— Американцы-то дураки, верно.

На будущем этом прииске не было ни одного радиоприемника.

«Инфекция убийства», как говорил Воронов,— вспомнил Андреев. Убийство заразительно. Если убивают где-либо бригадира — сразу же находятся подражатели, и бригадиры находят людей, которые дежурят, пока бригадир спит, охраняют бригадирский сон. Но все напрасно. Одного зарубили, второму разбили голову ломом, третьему перепилили шею двуручной пилой...

Всего месяц назад Андреев сидел у костра — была его очередь греться. Смена кончалась, костер затухал, и четверо очередных арестантов сидели по четырем сторонам, окружая костер, согнувшись и протянув руки к угасающему пламени, к уходящему теплу. Каждый голыми руками почти касался рдеющих углей, отмороженными, нечувствительными пальцами. Белая мгла наваливалась на плечи, плечи и спину знобило, и тем сильнее было желание прижаться к огню костра, и страшно было разогнуться, взглянуть в сторону, и не было сил встать и уйти на свое место, каждому в свой шурф, где они бурили, бурили... Не было сил встать и уйти от бригадира, который уже подходил к ним.

Андреев лениво соображал, чем будет бить бригадир если полезет драться. Головней, очевидно, или камнем.. скорей всего головней...

Бригадир был уже шагах в десяти от костра. Вдруг из шурфа близ тропы, где шел бригадир, выполз человек с ломом в руках. Человек этот догнал бригадира и замахнулся ломом. Бригадир упал лицом вперед. Человек бросил лом в снег и пошел мимо костра, где сидел Андреев с тремя другими рабочими. Он пошел к большому костру, около которого грелись конвойные.

Андреев не переменил позы во время убийства. Никто из четырех не двинулся с места, не был в силах отойти от костра, от ускользающего тепла. Каждый хотел сидеть до самого конца, до той минуты, когда прогонят. Но гнать было некому — бригадира убили — и Андреев был счастлив, как и его сегодняшние товарищи.

Последним усилием своего бедного голодного мозга, иссушенного мозга, Андреев понимал, что надо искать какой-то выход. Разделить судьбу одноруких лоточников Андреев не хотел. Он, давший когда-то себе клятву не быть бригадиром, не искал спасения в опасных лагерных должностях. Его путь иной — ни воровать, ни бить товарищей, ни доносить на них он не будет. Андреев терпеливо ждал.

Этим утром новый бригадир послал Андреева за аммонитом — желтым порошком, который взрывник рассыпал в бумажные пакеты. На большом аммонитном заводе, где шла перевалка и расфасовка взрывчатки, прибывшей с «материка», работали женщины-заключенные,— работа считалась легкой. На своих работниц аммонитный завод ставил свое клеймо — волосы их, будто после пергидроля, делались золотистыми.

Железная печурка в избушке взрывников топилась желтыми кусками аммонита.

Андреев показал записку смотрителя, расстегнул бушлат и размотал свой дырявый шарф.

— Портянки мне надо, ребята,— сказал он,— мешок.

— Да разве наши мешки,— начал молодой взрывник, но тот, что был постарше, толкнул товарища локтем, и тот замолчал.

— Дадим тебе мешок,— сказал взрывник постарше,— вот.

Андреев снял шарф и отдал его взрывнику. Потом разорвал мешок на портянки и завернул в них ноги —

по-крестьянски, ибо на свете существует три способа «увертки» портянок: «по-крестьянски», «по-армейски» и «по-городскому».

Андреев заматывал по-крестьянски, накидывая портянку на ступни сверху. Андреев с трудом втиснул ноги в бурки, встал и, взяв ящик с аммонитом, вышел. Ногам было жарко, горлу — холодно. Андреев знал, что и то, и другое — ненадолго. Он сдал аммонит смотрителю и вернулся к костру. Нужно было дождаться смотрителя.

Смотритель наконец подошел к костру.

— Покурим,— торопливо сказало несколько голосов.

— Кто-то покурит, а кто-то и нет,— и смотритель, завернув тяжелую полу полушубка, достал жестяную баночку с махоркой.

Только теперь Андреев развязал тряпочки, на которых держались бурки, и стащил бурки с ног.

— Хороши портяночки,— без зависти сказал кто-то, замотанный в тряпки, показывая на андреевские ноги, обвернутые кусками плотной блестящей мешковины.

Андреев устроился поудобней, двинул ногами и закричал. Вспыхнуло желтое пламя. Пропитанные аммонитом портянки горели ярко и медленно. Охваченные огнем брюки и телогрейка тлели. Соседи шарахнулись в стороны. Смотритель повалил Андреева навзничь и засыпал его снегом.

— Как же ты, гад!

— Посылай за лошадью. Да пиши карту о несчастном случае.

— Скоро обед, может, дождешься...

— Нет, не дождусь,— солгал Андреев и закрыл глаза.

В больнице ноги Андреева залили теплым раствором марганцовки и положили без повязки на койку. Одеяло было укреплено на каркасе — получилось нечто вроде палатки. Андреев был надолго обеспечен больницей.

К вечеру в палату вошел врач.

— Слышь, вы, господа каторжане,— сказал он,— война кончилась. Неделю назад кончилась. Второй курьер из управления пришел. А первого курьера, говорят, беглецы убили.

Но Андреев не слушал врача. У него поднималась температура.

В БАНЕ

В тех недобрых шутках, которыми только лагерь умеет шутить, баню часто называют «произволом». «Фрайера кричат: произвол! — начальник в баню гонит» — это обычная, традиционная, так сказать, ирония, идущая от блатных, чутко все замечающих. В этом шутливом замечании скрыта горькая правда.

Баня всегда отрицательное событие для заключенных, отягчающее их быт. Это наблюдение есть еще одно из свидетельств того «смещения масштабов», которое представляется самым главным, самым основным качеством, которым лагерь наделяет человека, попавшего туда и отбывающего там срок наказания, «термин», как выражался Достоевский.

Казалось бы, как это может быть? Уклонение от бани — это постоянный предмет недоумения врачей и всех начальников, которые видят в этом банном абсентеизме род протеста, нарушения дисциплины, некоего вызова лагерному режиму. Но факт есть факт. И годами проведение бани — это событие в лагере. Мобилизуется, инструктируется конвой, все начальники лично принимают участие в уловлении уклоняющихся. О врачах и говорить нечего. Провести баню и дезинфицировать белье в дезкамере — это прямая служебная обязанность санитарной части. Вся низшая лагерная администрация из заключенных (старосты, нарядчики) также оставляют все дела и занимаются только баней. Наконец, производственное начальство тоже неизбежно вовлечено в этот великий вопрос. Целый ряд производственных мер применяется в дни бани (их три в месяц).

И в эти дни все на ногах с раннего утра до поздней ночи.

В чем же дело? Неужели человек, до какой бы степени нищеты он ни был доведен, откажется вымыться в бане, смыть с себя грязь и пот, которые покрыли его изъеденное кожными болезнями тело, и хоть на час ощутить себя чище?

Есть русская поговорка: «Счастливый, как из бани», и эта поговорка верна и точно отражает то физическое блаженство, которое ощущает человек с чистым, вымытым телом.

Неужели разум потерян у людей до такой степени, что они не понимают, не хотят понимать, что без вшей

лучше, чем со вшами. А вшей много, и вывести их без дезкамеры почти нельзя, особенно в густо набитых бараках.

Конечно, вшивость — понятие, нуждающееся в уточнении. Какой-нибудь десяток вшей в белье за дело не считается. Вшивость тогда начинает беспокоить и товарищей и врачей, когда их можно смахивать с белья, когда шерстяной свитер ворочается сам по себе, сотрясаемый угнездившимися там вшами.

Так неужели человек — кто бы он ни был, не хочет избавиться от этой муки, которая мешает ему спать и борясь с которой он в кровь расчесывает свое грязное тело?

Нет, конечно. Но — первым «но» является то, что для бани выходных дней не устраивается. В баню водят или после работы, или до работы. А после многих часов работы на морозе (да и летом не легче), когда все помыслы и надежды сосредоточены на желании как-нибудь скорей добраться до нар, до пищи и заснуть — банная задержка почти невыносима. Баня всегда на значительном расстоянии от жилья. Это потому, что та же самая баня служит не только заключенным — вольнонаемные с поселка моются там же, и она обычно расположена не в лагере, а на поселке вольнонаемных.

Задержка в бане — это вовсе не какой-нибудь час, отводимый на мытье и дезинфекцию вещей. Народу моется много, партия за партией, и все опоздавшие (их везут в баню прямо с работы, не завозя в лагерь, ибо там они разбегутся и найдут какой-нибудь способ укрыться от бани) ждут на морозе очереди. В большие морозы начальство старается сократить пребывание арестантов на улице — их пускают в раздевалку, в которой места на 10—15 человек, и туда сгоняют сотню людей в верхней одежде. Раздевалка не отапливается или отапливается плохо. Все мешается вместе — голые и одетые в полушубки, все толчется, ругается, гудит. Пользуясь шумом и теснотой, и воры и не воры крадут вещи товарищей (пришли ведь другие, отдельно живущие бригады — найти краденое никогда нельзя). Сдать вещи никуда нельзя.

Вторым или, вернее — третьим «но» является то, что пока бригада моется в бане, обслуга обязана — при контроле санитарной части — сделать уборку барака — подмести, вымыть, выбросить все лишнее. Эти выбрасы-

вания лишнего производятся беспощадно. Но ведь каждая тряпка дорога в лагере, и немало энергии надо потратить, чтоб иметь запасные рукавицы, запасные портянки, не говоря уж о другом менее портативном, о продуктах и говорить нечего. Все это исчезает бесследно и на законном основании, пока идет баня. С собой же на работу и потом в баню брать запасные вещи бесполезно — их быстро усмотрит зоркий и наметанный глаз блатарей. Любому вору хоть закурить да дадут за какие-либо рукавички или портянки.

Человеку свойственно быстро обрастать мелкими вещами — будь он нищий или какой-нибудь лауреат — все равно. При каждом переезде (вовсе не тюремного характера) у всякого обнаруживается столько мелких вещей, что диву даешься — откуда могло столько собраться. И вот эти вещи дарятся, продаются, выбрасываются, достигая с великим трудом того уровня в чемодане, который позволяет захлопнуть крышку. Обрастает так и арестант. Ведь он рабочий — ему надо иметь и иголку, и материал для заплат, и лишнюю старую миску, может быть. Все это выбрасывалось, и после каждой бани все вновь заводили «хозяйство», если не успевали заранее забить все это куда-нибудь глубоко в снег, чтобы вытащить через сутки.

Во времена Достоевского в бане давали одну шайку горячей воды (остальное покупалось фрайерами). Норма эта сохранилась и по сей день. Деревянная шайка не очень горячей воды и жгучие, прилипающие к пальцам куски льда, наваленного в бочку — неограниченно. Шайка одна, никакого второго ушата для того, чтобы развести воду, не дается. Стало быть, горячая вода остужается кусками льда, и это вся порция воды, которой должен вымыть арестант голову и тело. Летом вместо льда дается холодная вода, все-таки вода, а не лед.

Положим, арестант должен уметь вымыться любым количеством воды — от ложки до цистерны. Если воды — ложка, он промоет слипшиеся гнойные глаза и будет считать туалет законченным. Если цистерна — будет брызгать на соседей, менять воду каждую минуту и как-нибудь ухитрится употребить в положенное время свою порцию. На кружку, черпак или таз тоже существует свой расчет и негласная техническая инструкция.

Все это показывает остроумие в разрешении такого бытового вопроса, как банный. Но, конечно, не решает

вопроса чистоты. Мечта о том, чтобы вымыться в бане — неосуществимая мечта.

В самой бане, отличающейся все тем же гулом, дымом, криком и теснотой (кричат, как в бане — это бытующее выражение), нет никакой лишней воды, да и покупать ее никто не может. Но там не хватает не только воды. Там не хватает тепла. Железные печи не всегда раскалены докрасна, и в бане (в огромном большинстве случаев) попросту холодно. Это ощущение усугубляется тысячей сквозняков из дверей, из щелей. Постройки положены, как и все деревянные строения, на мох, который быстро сохнет и крошится, открывая дырки наружу. Каждая баня — это риск простуды, и это все знают (в том числе, конечно, и врачи). После каждого банного дня увеличивается список освобожденных от работы по болезни, список действительных больных, и это всем врачам известно.

Запомним, что дрова для бани приносят накануне сами бригады на своих плечах, что опять-таки часа на два затягивает возвращение в барак и невольно настраивает против банных дней.

Но всего этого мало. Самым страшным является дезинфекционная камера, обязательная, по инструкции, при каждом мытье.

Нательное белье в лагере бывает «индивидуальное» и «общее». Это — казенные, официально принятые выражения наряду с такими словесными перлами, как «заклопленность», «завшивленность» и т. д. Белье «индивидуальное» — это белье поновей и получше, которое берегут для лагерной обслуги, десятников из заключенных и тому подобных привилегированных лиц. Белье не закреплено за кем-либо из этих арестантов особо, но оно стирается отдельно и более тщательно, чаще заменяется новым. Белье же «общее» есть общее белье. Его раздают тут же, в бане, после мытья, взамен грязного, собираемого и подсчитываемого, впрочем, отдельно и заранее. Ни о каких выборах по росту не может быть и речи. Чистое белье — чистая лотерея, и странно и до слез больно было мне видеть взрослых людей, плакавших от обиды при получении истлевшего чистого взамен крепкого грязного. Ничто не может человека заставить отойти от тех неприятностей, которые и составляют жизнь. Не то ясное соображение, что ведь это всего на одну баню, что, в конце концов, пропала жизнь и что тут думать о паре

нательного белья, что, наконец, крепкое белье он получил тоже случайно, а они спорят, плачут. Это, конечно, явление порядка тех же психических сдвигов в сторону от нормы, которые характерны почти для каждого поступка заключенного, та самая деменция, которую один врач-невропатолог называл универсальной болезнью.

Жизнь арестанта в своих душевных переживаниях сведена на такие позиции, что получение белья из темного окошечка, следующего в таинственную глубину банных помещений — событие, стоящее нервов. Задолго до раздачи вымывшиеся толпой собираются к этому окошечку Судят и рядят о том, какое белье выдавалось в прошлый раз, какое белье выдавали пять лет назад в Бамлаге, и как только открывается доска, закрывающая окошечко изнутри — все бросаются к нему, толкая друг друга скользкими, грязными, вонючими телами.

Это белье не всегда выдают сухим. Слишком часто его выдают мокрым — не успевают просушить — дров не хватает. А надеть мокрое или сырое белье после бани вряд ли кому-либо приятно.

Проклятия сыплются на голову ко всему привыкших банщиков. Одевшие сырое белье начинают замерзать окончательно, но надо подождать дезинфекции носильного платья.

Что такое дезинфекционная камера? Это — вырытая яма, покрытая бревенчатой крышей и промазанная глиной изнутри, отапливаемая железной печью, топка которой выходит в сени. Туда навешиваются на палках бушлаты, телогрейки и брюки, дверь наглухо закрывается, и дезинфектор начинает «давать жар». Никаких термометров, никакой серы в мешочках, чтоб определить достигнутую температуру, там нет. Успех зависит или от случайности, или от добросовестности дезинфектора.

В лучшем случае хорошо нагреты только вещи, висящие близко к печи. Остальные, закрытые от жара первыми, только сыреют, а развешанные в дальнем углу и вынимают холодными. Камера эта никаких вшей не убивает. Это одна проформа и аппарат создания дополнительных мук для арестанта.

Это отлично знают и врачи, но не оставлять же лагерь без дезкамеры. И вот, после часа ожидания в большой «одевалке», начинают вытаскивать охапками вещи, совершенно одинаковые комплекты; их бросают на пол —

отыскивать свое предлагают каждому самосильно. Парящие, намокшие от пара бушлаты, ватные телогрейки и ватные брюки арестант, ругаясь, напяливает на себя. Теперь ночью, отнимая у себя последний сон, он будет подсушивать телогрейку и брюки у печки в бараке.

Немудрено, что банный день никому не нравится.

КЛЮЧ АЛМАЗНЫЙ

Грузовик остановился у переправы, и люди стали «сгружаться», неловко и медленно перекидывая через борт «студебеккера» свои негнущиеся ноги. Левый берег реки был низменным, правый — скалистым, как и полагается им быть по теории академика Бэра. Мы сошли с дороги прямо на дно горной реки и сделали шагов двести по промытым сухим камням, гремящим под нашими ногами. Темная полоска воды, казавшаяся такой узкой с берега, оказалась широкой и быстрой мелкой горной рекой. Нас ждала лодка-плоскодонка, и перевозчик с шестом вместо весел перегонял лодку на ту сторону, нагрузив ее тремя пассажирами, и возвращался обратно один. Переправа длилась до самого вечера. На другом берегу мы долго карабкались по узкой каменистой тропке вверх, помогая друг другу, как альпинисты. Узкая тропка, едва заметная среди пожелтевшей поникшей травы, вела в ущелье, где в синеватой дали сходились вершины гор справа и слева — ручей в этом ущелье и назывался — ключ Алмазный.

Это была удивительная «командировка» — тот самый ключ Алмазный, куда мы так давно и тщетно стремились из золотых забоев и о котором все мы слышали столько невероятного. Говорили, что на этом ключе нет конвоиров, нет ни поверок, ни бесконечных перекличек, нет колючей проволоки, нет собак.

Мы привыкли к щелканью винтовочных затворов, заучили наизусть предупреждение конвоира: шаг влево, шаг вправо — считаю побегом — шагом арш!— и мы шли, и кто-нибудь из шутников, а они есть всегда в любой, самой тяжелой обстановке, ибо ирония — это оружие безоружных — кто-нибудь из шутников повторял извечную лагерную остроту — «прыжок вверх считаю агитацией». Подсказывалась эта злая острота неслышно для

конвоира. Она вносила ободрение, давала секундное, крошечное облегчение. Предупреждение мы получали четырежды в день: утром, когда шли на работу, днем, когда шли на обед и с обеда, и вечером — как напутствие перед возвращением в барак. И каждый раз после знакомой формулы кто-то подсказывал замечание насчет прыжка, и никому это не надоедало, никого не раздражало. Напротив — остроту эту мы готовы были слышать тысячу раз.

И вот теперь — сбылись мечты, мы на ключе Алмазном, и с нами нет конвоя, и только чернобородый молодой человек, отпустивший бороду явно для солидности, вооруженный ижевкой, наблюдает за нашей переправой. Нам уже объяснили, что это — начальник лесного участка, наш начальник, вольнонаемный десятник.

На ключе Алмазном велась заготовка столбов для высоковольтной линии электропередачи.

Не много на Колыме мест, где растут высокие деревья — мы будем вести выборочный лесоповал — самое выгодное дело для нашего брата.

Золотой забой — это работа, убивающая человека, и притом быстро. Там пайка больше, но ведь в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. В верности этой лагерной пословицы мы давно успели убедиться. Забойщика, ставшего «доходягой», не откормить никаким шоколадом.

Выборочный лесоповал выгодней сплошного повала, ибо лес редкий, малорослый — деревья выросли на болотах, великанов среди них нет, трелевка — доставка леса в штабеля на собственных плечах по рыхлому снегу мучительна. А ведь двенадцатиметровые столбы для электролинии и нельзя трелевать людьми. Это сделает лошадь или трактор. Стало быть, можно жить. К тому же командировка эта бесконвойная — значит, никаких карцеров, никаких побоев, начальник участка — вольнонаемный, инженер или техник — нам, несомненно, повезло.

Мы переночевали на берегу, а утром по тропе двинулись к нашему бараку. Солнце еще не зашло, когда мы пришли к низкому длинному таежному срубу с крышей, закрытой мхом и зысыпанной камнями. В бараке жило пятьдесят два человека, да нас пришло двадцать. Нары из накатника были высокими, потолок — низким — стоять во весь рост можно было только в проходе.

Начальник был парень подвижной, поворотливый. Молодыми глазами, но опытным взглядом оглядел он ряды своих новых работяг. Мой шарф заинтересовал его немедленно. Шарф был, конечно, не шерстяной, а бумажный, но все же шарф, «вольный» шарф. Шарф был мне подарен в прошлом году больничным фельдшером, и с тех пор я не снимал его с шеи ни зимой, ни летом. Я стирал его, как мог, в бане, но ни разу не сдавал в вошебойку. Вшей, которых много было в шарфе, жарилка бы не убила, а шарф бы украли немедленно. За шарфом моим велась и правильная охота моими соседями по бараку, жизни и работе. Велась и неправильная — любым случайным человеком — кто бы отказался заработать на табак, на хлеб — такой шарф купит любой вольняшка, а вшей можно легко выпарить. Это трудно сделать только арестанту. Но я героически завязывал шарф перед сном на своем горле узлами, страдая от вшей, к которым нельзя привыкнуть, так же как нельзя привыкнуть к холоду.

— Не продашь ли?— сказал чернобородый.

— Нет,— ответил я.

— Ну, как знаешь. Тебе шарф не нужен.

Этот разговор мне не понравился. Плохо было и то, что кормили здесь только один раз в сутки — после работы. А утром — только кипяток и хлеб. Но такое мне приходилось встречать и раньше. Начальники мало обращали внимания на кормежку арестантов. Каждый устраивал как попроще.

Все продукты хранились у вольнонаемного десятника — он со своей ижевкой жил в крошечном срубе в десяти шагах от барака. Такое хранение продуктов тоже было новостью — обычно продукты хранятся не у производственного начальства, а у самих заключенных, но порядок на ключе Алмазном, очевидно, был лучше — в руках голодных арестантов держать запасы пищи всегда опасно и рискованно, и об этом риске все знают.

На работу ходили далеко — километра четыре, и было ясно, что день ото дня выборочный лесоповал будет отодвигаться все дальше и дальше в глубь ущелья.

Дальняя ходьба даже с конвоем для арестанта скорее хорошо, чем плохо: чем больше времени уходит на ходьбу, тем меньше — на работу, что бы там ни подсчитывали нормировщики и десятники.

Работа была не хуже и не лучше всякой арестантской работы в лесу. Мы валили отмеченные засечками десятника деревья, кряжевали их, очищали от сучьев, собирали сучья в кучу. Наиболее тяжелым делом было повалить дерево комлем на пенек, чтобы спасти его от снега, но десятник знал, что вывозка будет срочной, что придут трактора, знал, что в начале зимы не будет глубокого снега, который мог бы покрыть эти сваленные деревья, и не всегда требовал поднять дерево на пенек.

Удивительное ждало меня вечером.

Ужин на ключе Алмазном — это был завтрак, обед и ужин; соединенные вместе, они не выглядели богаче и сытнее, чем любой обед или ужин на прииске. Желудок мой настоятельно меня уверял, что общая калорийность и питательность еще меньше, чем на прииске, где мы получали меньше половины положенного нам пайка — все остальное оседало в мисках начальников, обслуги и блатарей. Но я не верил изголодавшемуся на Колыме желудку. Его оценки были преувеличенными или преуменьшенными — он слишком многого хотел, слишком неотвязно требовал, был чересчур пристрастен.

После ужина никто почему-то не ложился спать. Все чего-то ждали. Поверки? Нет, поверок здесь не было. Наконец дверь открылась, и вошел неутомимый чернобородый десятник с бумагой в руке. Дневальный снял бензиновую коптилку с верхних нар и поставил ее на стол, что был вкопан посреди барака. Десятник сел к свету.

— Что это будет?— спросил я у соседа.

— Проценты за сегодняшний день,— сказал сосед, и в тоне его я уловил нечто такое, что меня испугало — я слышал такой тон в очень серьезных обстоятельствах, когда жертвам тридцать восьмого года замеряли каждый день работу в золотом забое «индивидуальным замером». Я не мог ошибиться. Тут было что-то такое, что даже я еще не знал, какая-то опасная новость.

Десятник, не глядя ни на кого, ровным, скучным голосом прочел фамилии и проценты выполнения нормы каждым рабочим, аккуратно свернул бумажку и вышел. Барак молчал. Слышно было только тяжелое дыхание нескольких десятков людей в темноте.

— У кого меньше ста,— объяснил повеселевший сосед,— тому завтра хлеба давать не будут.

— Совсем?
— Совсем!

Такого я действительно никогда и нигде не встречал. На приисках паек определялся по декадной выработке бригады. В худшем случае давали штрафной паек — триста граммов, а не лишали хлеба вовсе.

Я напряженно думал. Хлеб — основная наша пища здесь. Половину всех калорий мы получаем в хлебе. Приварок же — вещь неопределенная, пищевая ценность его зависит от тысяч разных причин — от честности повара, от его сытости, от трудолюбия повара, ибо повару-лодырю помогают «работяги», которых повар прикармливает; от энергичного и неусыпного контроля; от честности начальства; от честности дневального, сытости и порядочности конвоиров; от отсутствия или присутствия блатарей. Наконец, и вовсе случайное событие — черпак раздатчика, зачерпнувшего одну юшку, может свести пищевые достоинства приварка чуть не к нулю.

Проценты расторопный десятник вычислял с потолка, конечно. И я дал себе слово: если меня постигнет это лишение хлеба, как метод производственного воздействия,— не ждать.

Прошла неделя, во время которой я понял, почему продукты хранятся под койкой у десятника. О шарфе он не забыл.

— Слушай, Андреев, продай мне шарф.
— Дареный, гражданин начальник.
— Не смеши.

Но я наотрез отказался. В тот же вечер я был в списке не выработавших норму. Доказывать я ничего не собирался. Утром я отмотал свой шарф и отнес его нашему сапожнику.

— Только смотри, пропарь.
— Знаем — не маленькие,— весело ответил сапожник, радуясь своему неожиданному приобретению.

Сапожник дал мне за него пайку-пятисотку. Я отломил от нее кусок и спрятал остальное за пазуху. Я напился кипятку и вышел вместе со всеми на работу, но отставал, отставал, а потом свернул с дороги в лес и, далеко огибая наш поселочек, пошел вдоль той самой дороги, по которой пришел сюда месяц назад. Я шел в полуверсте от тропы, выпавший снег не мешал мне идти, собак-ищеек у чернобородого десятника не было, и только впоследствии я узнал, что он успел пробежать на лыжах до будки

перевозчика, ибо горная река здесь не замерзала долго — и сообщил с попутным конвоем в лагерь о моем побеге.

Я сел на снег и затянул тряпочками бурки пониже колена. Этот сорт обуви только назывался бурками. Это была местная модель — экономная продукция военного времени. Бурки сотнями тысяч кроились из старых, изношенных ватных стеганых брюк. Подошва делалась из того же материала, прошитого несколько раз и снабженного завязочками. К буркам давались фланелевые портянки — так обували рабочих, добывающих золото на пятидесяти-, шестидесятиградусном морозе. Эти бурки расползались через несколько часов при работе в лесу — они рвались о сучья, о ветки; через несколько дней — при работе в золотом забое. Дыры на бурках чинились в ночных сапожных мастерских на живую нитку. К утру починка бывала произведена. На подошву нашивали слой за слоем, обувь окончательно приобретала бесформенный вид, становилась похожей на берег горной реки, обнаженный после обвала.

В этих бурках с палкой в руках я шел к реке — несколько километров выше переправы. Я сполз с каменной крутизны, и лед захрустел под моими ногами. Длинная промоина-полынья перегораживала дорогу — и не было видно конца этой полынье. Лед подломился, и я легко шагнул в дымящуюся жемчужную воду, и ватная подошва моя ощутила выпуклые камни дна. Я поднял высоко ногу — заледеневшие бурки засверкали, и я шагнул еще глубже, выше колена, и, помогая себе палкой, перебрался на ту сторону. Там я тщательно обил бурки палкой и сцарапал лед с бурок и брюк — ноги были сухи. Я потрогал кусочек хлеба за пазухой и пошел вдоль берега. Часа через два я вышел на шоссе. Приятно было идти без вшивого шарфа — горло и шея как бы отдыхали, укрытые старым полотенцем, «сменкой», которую дал мне сапожник за мой шарф.

Я шел налегке. Очень важно для больших переходов — и зимой и летом, чтоб руки были свободны. Руки участвуют в движении и согреваются на ходу, так же, как и ноги. Только в руках ничего не надо нести — даже карандаш покажется немыслимой тяжестью через двадцать — тридцать километров. Все это я давно и хорошо знал. Знал и кое-что другое: если человек способен пронести одной рукой некую тяжесть несколько шагов — он может

нести, тащить эту тяжесть бесконечно — появится второе, третье, десятое дыхание. Я — «доходяга» — дойду куда угодно. По ровной дороге. Зимой идти даже легче, чем летом, если мороз не слишком силен. Я ни о чем не думал, да и думать на морозе нельзя — мороз отнимает мысли, превращает тебя быстро и легко в зверя. Я шел без расчета, с единственным желанием выбраться с этой проклятой бесконвойной командировки. Километрах в тридцати от лагеря на шоссе в избушке жили лесорубы, и там я рассчитывал перегреться, а при удаче и заночевать.

Было уже темно, когда я добрался до этой избушки, открыл дверь и, переступив через морозный пар, вошел в барак. Из-за русской печи навстречу мне поднялся человек — знакомый мне бригадир лесорубов Степан Жданов — из заключенных, конечно.

— Раздевайся, садись.

Я немедленно разделся, разулся, развесил одежду около печки.

Степан открыл заслонку печи и, надев рукавицу, вытащил оттуда горшок.

— Садись, ешь.— Он дал мне хлеба и супу.

Я лег спать на полу, но заснул не скоро — ныли ноги, руки.

Куда я иду и откуда — Степан не спрашивал. Я оценил его деликатность — навеки. Я никогда больше его не видел. Но и сейчас вспоминаю горячий пшенный суп, запах пригоревшей каши, напоминающий шоколад, вкус чубука трубки, которую, обтерев рукавом, протянул мне Степан, когда мы прощались, чтоб я мог курнуть на дорогу.

Мутным зимним вечером я добрался до лагеря и сел в снег недалеко от ворот.

Вот сейчас я войду — и все кончится. Кончатся эти чудесные два дня свободы после многих лет тюрьмы — и снова вши, снова ледяной камень, белый пар, голод, побои. Вон прошел в лагерь через вахту актер из культбригады — бесконвойник-одиночка. Я знал его. Вот прошли рабочие с лесозавода — топчутся, чтобы не замерзнуть, а конвоир взошел на вахту, в тепло и не спешит. Вот вошел начальник лагеря лейтенант Козычев, бросил окурок «Казбека» в снег, и тотчас туда кинулись лесорубы, стоявшие около вахты. Пора. Всю ночь сидеть не будешь. Все задуманное надо стараться доводить

до конца. Я толкнул дверь и вошел в проходную. В руке я держал заявление начальнику лагеря о всех порядках на бесконвойной командировке. Козычев прочел заявление и отправил меня в изолятор. Там я спал, пока не вызвали к следователю, но, как я и предполагал, «давать дело» мне не стали — у меня был велик срок. «Поедешь на штрафной прииск»,— сказал следователь. И меня отправили туда через несколько дней — на центральной пере сылке людей подолгу не держали.

ЗЕЛЕНЫЙ ПРОКУРОР

Масштабы смещены, и любое из человеческих понятий, сохраняя свое написание, звучание, привычный набор букв и звуков, содержит в себе нечто иное, чему на «материке» нет имени: мерки здесь другие, обычаи и привычки особенные; смысл любого слова изменился.

В тех случаях, когда выразить новое событие, чувство, понятие обычными человеческими словами нельзя — рождается новое слово, заимствованное из языка блатарей — законодателей мод и вкусов Дальнего Севера.

Смысловые метаморфозы касаются не только таких понятий, как Любовь, Семья, Честь, Работа, Добродетель, Порок, Преступление, но и слов, сугубо присущих этому миру, рожденных в нем, например, «ПОБЕГ»...

В ранней юности мне довелось читывать о побеге Кропоткина из Петропавловской крепости. Лихач, поданный к тюремным воротам, переодетая дама в пролетке с револьвером в руках, расчет шагов до караульной двери, бег арестанта под выстрелами часовых, цокот копыт рысака по булыжной мостовой — побег был классическим, вне всякого сомнения.

Позднее я прочел воспоминания ссыльных о побегах из Якутии, из Верхоянска и был горько разочарован. Никаких переодеваний, никакой погони! Езда зимой на лошадях, запряженных «гусем», как в «Капитанской дочке», прибытие на станцию железной дороги, покупка билета в кассе... Мне было непонятно, почему это называется побегом? Побегам такого характера когда-то было

дано название «самовольная отлучка с места жительства», и, на мой взгляд, такая формула больше передает существо дела, чем романтическое слово «побег».

Даже побег эсера Зензинова из бухты Провидения, когда американская яхта подошла к лодке, с которой Зензинов ловил рыбу, и взяла на борт беглеца, не выглядит настоящим побегом — таким, как кропоткинский.

Побегов на Колыме всегда было очень много и всегда неудачных.

Причиной этому — особенности сурового полярного края, где никогда царское правительство не решалось поселить заключенных, как на Сахалине, для того, чтобы этот край «обжить», «колонизовать».

Расстояния до «материка» исчислялись тысячами верст — самое «узкое» место, таежный «вакуум» — расстояние от жилых мест приисков Дальстроя до Алдана — было около тысячи километров глухой тайги.

Правда, в сторону Америки расстояния были значительно короче — Берингов пролив в своем самом узком месте всего сто с небольшим километров, но зато и охрана в эту сторону, дополненная пограничными частями, была абсолютно «непробиваема».

Первый же путь доводил до Якутска, а оттуда — либо конным, либо водным путем дальше — самолетных линий тогда еще не было, да и закрыть самолеты на глухой замок — проще простого.

Понятно, что зимой никаких побегов не бывает — пережить зиму где-нибудь под крышей, где есть железная печка — страстная мечта каждого арестанта, да и не только арестанта.

Неволя становится невыносимой весной — так бывает везде и всегда. Здесь к этому естественному «метеорологическому» фактору, действующему крайне повелительно на чувства человека, присоединяется и рассуждение, добытое холодной логикой ума. Путешествие по тайге возможно только летом, когда можно, если продукты кончатся, есть траву, грибы, ягоды, корни растений, печь лепешки из растертого в муку ягеля — оленьего мха, ловить мышей-полевок, бурундуков, белок, кедровок, зайцев...

Как ни холодны летние ночи на Севере, в стране вечной мерзлоты, все же опытный человек не простудится, если будет ночевать на каком-нибудь камне. Будет вов-

ремя перевертываться с боку на бок, не станет спать на спине, подложит траву или ветки под бок...

Бежать с Колымы нельзя. Место для лагерей было выбрано гениально. И все же — власть иллюзии, иллюзии, за которую расплачиваются тяжкими днями карцера, дополнительным сроком, побоями, голодом, а зачастую и смертью, власть иллюзии сильна и здесь, как везде и всегда.

Побегов бывает очень много. Едва лишь ногти лиственниц покроются изумрудом — беглецы «идут».

Почти всегда это — новички-первогодки, в чьем сердце еще не убита воля, самолюбие и чей рассудок еще не разобрался в условиях Крайнего Севера — вовсе непохожих на знаемый до сих пор «материковский» мир. Новички оскорблены виденным до глубины души — побоями, истязаниями, издевательством, растлением человека... Новички бегут — одни лучше, другие хуже, но у всех одинаковый конец. Одних ловят через два дня, других — через неделю, третьих — через две недели... Бóльших сроков для странствия беглецов с «направлением» (позже это выражение разъяснится) не бывает.

Огромный штат лагерного конвоя и «оперативки» с тысячами немецких овчарок вкупе с пограничными отрядами и той армией, которая размещена на Колыме, скрываясь под названием Колымполк,— достаточно для того, чтобы переловить сто из ста возможных беглецов.

Как же становится возможен побег и не проще ли силы «оперативки» направить на непосредственную охрану, охрану, а не ловлю людей?

Экономические соображения доказывают, что содержание штата «охотников за черепами» обходится стране все же дешевле, чем «глухая» охрана тюремного типа. Предотвратить же самый побег необычайно трудно. Тут не поможет и гигантская сеть осведомителей из самих заключенных, с которыми начальство расплачивается папиросками махорки и «супчиком».

Тут дело идет о человеческой психологии, о ее извивах и закоулках, и ничего предугадать тут нельзя, кто, и когда, и почему решится на побег. То, что случается — вовсе непохоже на все предположенное.

Конечно, на сей счет существуют «профилактические» меры — аресты, заключение в штрафные зоны — в эти тюрьмы в тюрьмах, переводы «подозрительных» с места

на место — очень много разработано «мероприятий», которые оказывают, вероятно, свое влияние на сокращение побегов, возможно, что побегов было бы еще больше, не будь штрафных зон с надежной и многочисленной охраной, расположенных далеко в глуши.

Но из штрафных зон тоже бегут, а на бесконвойных командировках никто не делает попытки к отлучке. В лагере бывает всякое. К тому же тонкое наблюдение Стендаля в «Пармском монастыре» о том, что «тюремщик меньше думает о своих ключах, чем арестант о своей решетке» — справедливо и верно.

Колыма ты, Колыма,
Чудная планета.
Девять месяцев — зима,
Остальное — лето.

Поэтому к весне готовятся — охрана и оперативка увеличивают штаты людей и собак, натаскивают одних, инструктируют других; готовятся и арестанты — прячут консервы, сухари, подбирают «партнеров»...

Имеется единственный случай классического побега с Колымы, тщательно продуманного и подготовленного, талантливо и неторопливо осуществленного. Это — то самое исключение, которое подтверждает правило. Но и в этом побеге осталась виться веревочка, у которой был конец, была незначительная, на первый взгляд пустяковая, оплошность, которая позволила найти беглеца — ни много ни мало как через два года. По-видимому, самолюбие Видоков и Лекоков было сильно задето, и делу было уделено гораздо больше внимания, сил и средств, чем это делалось в обычных случаях.

Любопытно, что человек, «пошедший в побег», осуществивший его со сказочной энергией и остроумием, был вовсе не политический арестант и вовсе не блатарь — специалист сих дел, а осужденный за мошенничество на 10 лет.

Это понятно. Побег «политика» всегда перекликается с настроениями «воли» и, как тюремная голодовка, силен своей связью с «волей». Надо знать, хорошо знать заранее — для чего и куда ты бежишь. Какой «политик» 1937 года мог ответить на такой вопрос? Случайные в политике люди не бегут из тюрем. Они могли бы бежать к семье, к знакомым, но в тридцать восьмом году это

значило подставить под репрессивный удар всех, на кого поглядит на улице такой беглец.

Тут не отделаешься ни пятнадцатью, ни двадцатью годами. Поставить под угрозу жизнь близких и знакомых — вот единственный возможный результат побега такого «политика». Ведь надо, чтоб кто-то беглеца укрывал, прятал, помогал ему. Среди «политиков» 1938 года таких людей не было.

У редких, возвращавшихся по окончании срока, собственные жены первыми проверяли правильность и законность документов вернувшегося из лагеря мужа и, чтобы известить начальство о прибытии, бежали в милицию наперегонки с ответственным съемщиком квартиры.

Расправа со случайными, невинными людьми была очень проста. Вместо того чтобы дать им выговор, предупредить, их пытали, а после пыток давали десять, двадцать лет «далеких таборив», или каторги, или тюрьмы. Оставалось только умирать. И они умирали, не думая ни о каких побегах, умирали, обнаруживая лишний раз национальное свойство терпения, прославленное еще Тютчевым и беззастенчиво отмечавшееся впоследствии политиками всех уровней.

Блатари не бежали потому, что не верили в успех побега, не верили, что доберутся до «материка». Притом люди сыскного и лагерного аппарата — многоопытные работники распознают блатарей каким-то шестым чувством, уверяя, что на блатарях какое-то каиново клеймо, которое нельзя скрыть. Наиболее ярким «толкованием» этого шестого чувства был случай, когда ловили более месяца вооруженного грабителя и убийцу по колымским дорогам — с приказом застрелить его при опознании.

Оперативник Севастьянов остановил незнакомого человека в бараньем тулупе близ заправочной колонки на одной из дорожных станций, и когда человек повернулся, Севастьянов выстрелил ему прямо в лоб. И хотя Севастьянов не видел грабителя в лицо никогда, хотя дело было зимой и беглец был в зимней одежде, хотя приметы, данные оперативнику, были самого общего характера (татуировку ведь не будешь рассматривать у каждого встречного, а фотография бандита была выполнена плохо, мутно), все же чутье не обмануло Севастьянова.

Из-под полы убитого выпал винтовочный обрез, в карманах был найден браунинг.

Документов было более чем достаточно.

Как расценить такой энергичный вывод из подсказанного «шестым» чувством? Еще минута — и Севастьянов был бы застрелен сам.

А если бы он застрелил невинного?

Для побегов на «материк» у блатарей не нашлось ни силы, ни желания. Взвесив все «за» и «против», преступный мир решил не рисковать, а ограничиться устройством своей судьбы на новых местах — что, конечно, было благоразумно. Побеги отсюда для уголовщины казались слишком смелой авантюрой, ненужным риском.

Кто же будет бежать? Крестьянин? Поп? Пришлось встретить только одного беглеца-попа, да и то этот побег произошел еще до знаменитого свидания патриарха Сергия с Буллитом, когда первому американскому послу были переданы из рук в руки списки всех православных священников, отбывающих заключение и ссылку на всей территории Советского Союза. Патриарх Сергий в бытность свою митрополитом и сам познакомился с камерами Бутырской тюрьмы. После рузвельтовского демарша все духовные лица из заключений и ссылок были освобождены поголовно. Намечался «конкордат» с церковью, крайне необходимый ввиду приближения войны.

Осужденный за бытовое преступление — растлитель малолетних, казнокрад, взяточник, убийца? Но всем им не было никакого смысла бежать. Их срок, «термин», по выражению Достоевского, обычно бывал невелик, в заключении они пользовались всяческими преимуществами и работали на лагерной «обслуге», в лагерной администрации и вообще на всех «привилегированных» должностях. Зачеты они получали хорошие, а самое главное — по возвращении домой — в деревню и в город, они встречали самое приветливое к себе отношение. Не потому, что эта приветливость — качество русского народа, жалеющего «несчастненьких» — жалость к «несчастненьким» давно отошла в область предания, стала милой литературной сказкой. Время изменилось. Великая дисциплинированность общества подсказывала «простым людям» узнать, как к сему предмету относится «власть». Отношение было самое благожелательное, ибо этот контин-

гент отнюдь не тревожил начальство. Ненавидеть полагалось лишь «троцкистов», «врагов народа».

Была и вторая, тоже важная причина безразличного отношения народа к вернувшимся из тюрем. В тюрьмах побывало столько людей, что вряд ли в стране была хоть одна семья, родственники или знакомые которых не подвергались преследованиям и репрессиям. После вредителей настала очередь кулаков; после кулаков — «троцкистов», после «троцкистов» — людей с немецкими фамилиями. Крестовый поход против евреев чуть-чуть не был объявлен.

Все это привело людей к величайшему равнодушию, воспитало в народе полное безразличие к людям, отмеченным Уголовным кодексом в любой его части.

Если в былые времена человек, побывавший в тюрьме и вернувшийся в родное село, вызывал к себе то настороженное отношение, то враждебность, то презрение, то сочувствие — явное или тайное, то теперь на таких людей никто не обращал внимания. Моральная изоляция «клейменых», каторжных давно отошла в небытие.

Люди из тюрьмы — при условии, если их возвращение разрешено начальством — встречались самым радушным образом. Во всяком случае, любой «чубаровец», растливший и заразивший сифилисом свою малолетнюю жертву, по отбытии срока мог рассчитывать на полную «духовную» свободу в том самом кругу, где он «вышел за рамки» Уголовного кодекса.

Беллетристическое толкование юридических категорий играло тут не последнюю роль. В качестве теоретиков права выступали почему-то писатели и драматурги. А тюремная и лагерная практика оставалась книгой за семью печатями; из докладов по служебной линии не делалось никаких серьезных, принципиальных выводов...

Зачем же было бежать «бытовикам» из лагерей? Они и не бежали, полностью доверясь заботам начальства.

Тем удивительнее побег Павла Михайловича Кривошея.

Приземистый, коротконогий, с толстой багровой шеей, слившейся с затылком, Павел Михайлович недаром носил свою фамилию.

Инженер-химик одного из харьковских заводов, он в совершенстве знал несколько иностранных языков, много читал, хорошо разбирался в живописи, в скульптуре, имел большое собрание антикварных вещей.

Видная фигура среди специалистов Украины, беспартийный инженер Кривошей до глубины души презирал всех и всяческих политиков. Умница и хитрец, он был с юношеских лет воспитан в страсти — не к стяжанию — это было бы слишком грубо, неумно для Кривошея, а в страсти к наслаждению жизнью — так, как он это понимал. А это значило — отдых, порок, искусство... Духовные удовольствия были не по его вкусу. Культура, высокий уровень знаний открывали ему наряду с материальным достатком большие возможности в удовлетворении потребностей и желаний низких, низменных.

Павел Михайлович и в живописи научился разбираться затем, чтобы набить себе цену, чтобы занять высокое место среди знатоков и ценителей, чтобы не ударить в грязь лицом перед очередным своим чисто чувственным увлечением женского и мужского пола. Сама по себе живопись его ни капли не волновала и не интересовала, но иметь суждение даже о квадратном зале Лувра он считал своей обязанностью.

Точно так же и литература, которую он почитывал, и преимущественно на французском или английском, и преимущественно — для практики в языке — литература сама по себе интересовала его мало, и один роман он мог читать бесконечно, по страничке на сон грядущий. И уж, конечно, нельзя было думать, что в свете может быть такая книга, которую Павел Михайлович будет читать до утра. Сон свой он охранял тщательно, и никакой детективный роман не мог бы нарушить мерного кривошеевского режима.

В музыке Павел Михайлович был профаном полным. Слуха у него не было, а о блоковском понимании музыки ему и слышать не приходилось. Но Кривошей давно понял, что отсутствие музыкального слуха — «не порок, а несчастье», и примирился с этим. Во всяком случае, у него хватало терпения выслушать какую-нибудь фугу или сонату и поблагодарить исполнителя или, вернее, исполнительницу.

Здоровья он был превосходного, телосложения пикнического, с некоторой наклонностью к полноте, что, впрочем, в лагере не представляло для него опасности.

Родился Кривошей в 1900 году.

Носил он всегда очки, роговые или вовсе без оправы, с круглыми стеклами. Медлительный, неповоротливый,

с высоким лысеющим круглым лбом. Павел Михайлович Кривошей был фигурой, чрезвычайно импозантной. Тут был, вероятно, и расчет — важные манеры производили впечатление на начальников и должны были облегчить Кривошею судьбу в лагере.

Чуждый искусству, чуждый художественному волнению творца или потребителя, Кривошей нашел себя в собирательской деятельности, в антиквариате. Этому делу он отдался со всей страстью — было и выгодно, и интересно, и давало Кривошею новые знакомства. Наконец, такое хобби облагораживало низменные вожделения инженера.

Инженерного жалованья — «спецставки» тогдашних времен — стало недостаточно для той широкой жизни, которую вел Павел Кривошей — антиквар-любитель.

Понадобились средства, казенные средства, а уж в решительности-то Павлу Михайловичу отказать было нельзя.

Он получил расстрел с заменой десятью годами — срок, огромный для середины тридцатых годов. Значит, там были мошенничества миллионные. Имущество его было конфисковано, продано с молотка, но, конечно, такой финал Павлом Михайловичем был предусмотрен заранее. Странно было бы, если б Кривошей не сумел скрыть несколько сот тысяч. Риск был невелик, расчет прост. Кривошей — «бытовик», просидит, как «друг народа», полсрока или еще менее и выйдет по зачетам или по амнистии и будет проживать припрятанные деньги.

Однако в «материковском» лагере Кривошея держали недолго — он был увезен, как долгосрочник, на Колыму. Это осложнило его планы. Правда, расчет на статью и на барские манеры оправдался полностью — на общих работах в горном забое Кривошей не был ни одного дня. Вскоре он был направлен по специальности инженера в химическую лабораторию Аркагалинского угольного района.

Это было время, когда знаменитое чай-урьинское золото еще не было открыто и на месте многочисленных поселков с тысячами жителей стояли еще старые лиственницы и шестисотлетние тополя. Это было время, когда никто еще не думал, что самородки Ат-Уряхской долины могут быть исчерпаны или превзойдены; и жизнь еще не передвигалась на северо-запад, по направлению к тогдаш-

нему полюсу холода — Оймякону. Вырабатывали старые прииски, и открывались новые. Приисковая жизнь — вся времянка.

Уголь Аркагалы — будущего Аркагалинского бассейна — был форпостом разведчиков золота, будущей топливной базой края. Вокруг маленькой штольни, где, встав на рельс, можно было достать рукой до «кровли», до потолка штольни, пробитой экономно, «по-таежному», как говаривало начальство — штольни ручной работы — от кайла и лопаты — как все тогдашние тысячеверстные дороги Колымы. Дороги эти и прииски первых лет — ручные, где из механизмов применялась только «машина ОСО: две ручки и колесо».

Арестантский труд — дешев.

Геологические изыскательные партии еще захлебывались в золоте Сусумана, в золоте Верхнего Ат-Уряха.

Но — и Кривошей это хорошо понимал — геологические маршруты достигнут окрестностей Аркагалы и продвинутся дальше к Якутску. За геологами придут плотники, горняки, охрана...

Надо было торопиться.

Прошло несколько месяцев, и к Павлу Михайловичу приехала из Харькова его жена. Она приехала не на свидание, нет, последовала за мужем, повторяя подвиг жен декабристов. Жена Кривошея была не первая и не последняя из «русских героинь» — имя геолога Фаины Рабинович хорошо на Колыме известно. Но Фаина Рабинович — выдающийся геолог. Судьба ее — исключение.

Приехавшие за мужьями жены обрекали себя на холод, на постоянные муки странствий за мужем, которого то и дело переводили куда-либо, и жене надо было бросать найденное с трудом место работы и ехать в края, где женщине ездить опасно, где она может подвергнуться насилию, грабежу, издевательству... Но и без путешествия каждую такую страдалицу ждали грубые ухаживания и приставания начальства, начиная от самого высокого и кончая каким-нибудь конвоиром, уже вошедшим во вкус колымской жизни. Предложение разделить пьяную холостяцкую компанию было уделом всех женщин без исключения, и если заключенной командовали просто: «Раздевайся и ложись!» — без всяких Пушкиных и Шекспиров, и заражали ее сифилисом, то с женами

з/к обращение было еще более свободное. Ибо при изнасиловании заключенной всегда можно нарваться на донос своего друга или соперника, подчиненного или начальника, а за «любовь» с женами з/к, как с лицами, юридически независимыми, никакой статьи подобрать было нельзя.

Самое же главное — вся поездка за тринадцать тысяч верст оказывалась вовсе бессмысленной — никаких свиданий с мужем бедной женщине не давали, а обещания разрешить свидания превращали в оружие собственных ухаживаний.

Некоторые жены привозили разрешения Москвы на свидания раз в месяц, при условии примерного поведения и выполнения норм выработки. Все это, конечно, без ночевки, в обязательном присутствии лагерного начальника.

Почти никогда жене не удавалось устроиться на работу в том именно поселке, где отбывал заключение ее муж.

А если ей, паче всякого чаяния, и удавалось устроиться вблизи мужа — того немедленно переводили в другое место. Это не было развлечением начальников — это было выполнение служебной инструкции, «приказ есть приказ». Такие случаи были предусмотрены Москвой.

Жене не удавалось передать никаких съестных продуктов мужу — на этот счет опять-таки существовали приказы, нормы, зависимость от результатов труда и поведения.

Передать хлеб мужу через конвоиров? — побоятся, им это запрещено. Через начальника? Начальник согласен, но требует уплаты натурой — собственным телом. Денег ему не нужно, денег у него у самого куры не клюют, недаром он давно уж «стопроцентник», то есть получает четверной оклад. Да у такой женщины вряд ли есть деньги на взятки, особенно на взятки по колымским масштабам. Вот какое безвыходное положение создавалось для жен заключенных. Да если еще жена — жена «врага народа» — тут уж с ней окончательно не церемонились — всякое надругательство над ней считалось заслугой и подвигом и, во всяком случае, оценивалось положительно в политическом смысле.

Многие из жен приехали по вербовке на три года и в этом капкане вынуждены были ждать обратного парохода. Сильные духом, а сила понадобилась бо́льшая,

чем их мужьям-арестантам — дожидались срока договора и уезжали назад, так и не повидав мужей. Слабые, вспоминая преследования на «материке» и боясь туда возвращаться, живя в обстановке разгула, угара, пьянства, больших денег, вышли замуж снова и еще снова, нарожали детей и махнули рукой на арестанта-мужа и на себя самою.

Жена Павла Михайловича Кривошея работы на Аркагале, как следовало ожидать, не нашла и уехала, пробыв там малое время, в столицу края, в город Магадан. Устроившись там на работу счетоводом — у Ангелины Григорьевны не было специальности — она была век свой домашняя хозяйка, жена Кривошея подыскала угол и стала жить в Магадане, где все же было повеселее, чем в «тайге» — в Аркагале.

А оттуда по секретному проводу в тот же Магадан, к начальнику розыскного отдела, учреждения, расположенного на той же, чуть не единственной улице города, где и поделенный на перегородки барак для семейных, где нашла себе убежище Ангелина Григорьевна, летело зашифрованное служебное сообщение: «Бежал з/к Кривошей Павел Михайлович, 1900 года рождения, статья 168, срок 10, номер личного дела...»

Думали, что его прячет жена в Магадане. Арестовали жену, но ничего от нее не добились. Да, была, видела, уехала, работаю в Магадане. Длительная слежка, наблюдение не дали никаких результатов. Контроль отходящих пароходов, отлетающих самолетов был усилен, но все было напрасно — никаких следов мужа Ангелины Григорьевны не было.

Кривошей уходил в противоположную морю сторону, держа направление на Якутск. Он шел налегке. Кроме брезентового плаща, геологического молотка да сумки с малым количеством «образцов» геологических пород, запаса спичек и запаса денег — у него ничего не было.

Он шел открыто и не спеша, по вьючным конным дорогам, оленьим тропам, придерживаясь становищ, поселков, не отклоняясь глубоко в тайгу и всякий раз ночуя под крышей — шалаша, чума, избы... В первом же крупном якутском поселке он нанял рабочих, которые по его указанию копали шурфы, закопушки-канавы, словом, проделывали ту же самую работу, которую и раньше случалось им выполнять для настоящих геоло-

гов. Технических знаний для должности коллектора у Кривошея хватало, притом Аркагала, где он жил около года, была последней базовой стоянкой многих геологических партий, и Кривошей пригляделся к манерам, к повадкам геологов. Медленность движений, роговые очки, ежедневное бритье, подпиленные ногти — все это внушало доверие безграничное.

Кривошей не торопился. Он заполнял путевую тетрадь таинственными знаками, несколько схожими с полевыми журналами геологов. Медленно поспешая, он неуклонно двигался к Якутску.

Иногда он даже возвращался, отклонялся в сторону, задерживался — все это было нужно для «обследования бассейна ключа Рябого», для правдоподобия, для заметания следов. Нервы у Кривошея были железные, приветливая улыбка сангвиника не сходила с его лица.

Через месяц он перешел Яблоновый хребет, два якута, выделенные колхозом для важной правительственной работы, несли его сумки с «образцами».

Они стали приближаться к Якутску. В Якутске Кривошей сдал свои камни в камеру хранения на пароходной пристани и отправился в местное геологическое управление — с просьбой помочь ему переслать несколько важных посылок в Москву, в Академию наук. Павел Михайлович сходил в баню, в парикмахерскую, купил дорогой костюм, несколько цветных рубашек, белье и, расчесав свои редеющие волосы, явился к высокому научному начальству, благодушно улыбаясь.

Высокое научное начальство отнеслось к Кривошею благожелательно. Знание иностранных языков, обнаруженное Кривошеем, произвело нужное впечатление.

Видя в приезжем большую культурную силу, чем не очень был богат тогдашний Якутск — научное начальство умолило Кривошея погостить там подольше. На смущенные фразы Павла Михайловича о том, что ему надо спешить в Москву, начальство обещало устроить ему проезд за казенный счет до Владивостока. Кривошей благодарил спокойно, не теряя достоинства. Но у научного начальства были свои виды на Павла Михайловича.

— Вы не откажетесь, конечно, дорогой коллега,— говорило начальство заискивающим тоном,— прочесть нашим научным работникам две-три лекции... О... на вольную тему, конечно, по вашему выбору. Что-нибудь

о залеганиях угля в Средне-Якутской возвышенности, а?

У Кривошея засосало под ложечкой.

— О, конечно, с большим удовольствием. В пределах, так сказать, допустимого... Сведения, вы сами понимаете, без апробации в Москве...

Тут Кривошей пустился в комплименты научным силам города Якутска.

Никакой следователь не поставил бы вопрос хитрее, чем это сделал якутский профессор по своей симпатии к ученому гостю, к его осанке, роговым очкам и по желанию лучшим образом послужить родному краю.

Лекция состоялась и даже собрала порядочное количество слушателей. Кривошей улыбался, цитировал по-английски Шекспира, что-то чертил, перечисляя десятки иностранных фамилий.

— Не много знают эти москвичи,— говорил в буфете якутскому профессору его сосед по креслу.— Все, что в лекции геологического, в сущности, знает каждый школьник второй ступени, а? А химические анализы угля — это уже не из геологии, а? Только очки блестят!

— Не скажите, не скажите,— нахмурился профессор.— Все это очень полезно, и дар популяризации, несомненно, есть у нашего столичного коллеги. Надо будет его попросить повторить свое сообщение для студентов.

— Ну, разве что для студентов... первого курса,— не унимался сосед профессора.

— Замолчите. В конце концов, это одолжение, любезность. Даровому коню...

Лекция для студентов была повторена Кривошеем с большой любезностью, вызвала общий интерес и вполне доброжелательную оценку слушателей.

Средствами якутских научных организаций московский гость был доставлен в Иркутск.

Коллекция его — несколько ящиков, набитых камнями,— была отправлена еще раньше. В Иркутске «руководителю геологической экспедиции» удалось отправить эти камни по почте, в Москву, в адрес Академии наук, где они и были получены и несколько лет лежали на складах, представляя собой научную тайну, о сущности которой никто так и не догадался. Предполагалось, что за этой таинственной посылкой, собранной каким-то сумасшедшим геологом, потерявшим знания и забывшим

свое имя — стоит какая-то трагедия Заполярья, еще не раскрытая.

— Самое удивительное,— говаривал Кривошей,— что за все мое чуть ли не трехмесячное путешествие у меня нигде, никто — ни в кочевых сельсоветах, ни в высоких научных учреждениях — не спрашивал документов. Документы-то у меня были, но нигде, ни разу не пришлось их предъявить.

В Харьков Кривошей, естественно, не показывал и носа. Он основался в Мариуполе, купил там дом, поступил с подложными документами на работу.

Ровно через два года, в годовщину своего «похода», Кривошей был арестован, судим, приговорен снова к 10 годам и направлен для отбывания наказания снова на Колыму.

Где была допущена оплошность, сводившая на нет этот поистине героический поступок, подвиг, требующий удивительной выдержки, гибкости ума, физической крепости — всех человеческих качеств одновременно?

Побег этот — беспримерен по тщательности подготовки, по тонкой и глубокой идее, психологическому расчету, положенному в основание всего дела.

Побег этот удивителен по крайне малому количеству лиц, принимавших участие в его организации. В этом и был залог успешности намеченного предприятия.

Побег этот замечателен еще и потому, что в нем в прямую борьбу с государством — с тысячами вооруженных винтовками людей, в краю чалдонов и якутов, приученных получать за беглецов по полпуда белой муки с головы — таков был тариф царского времени, узаконенный и позже — вступил человек-одиночка; он, справедливо вынужденный видеть в каждом встречном доносчика или труса — он поборолся, сразился и — победил!

Где же, в чем же была та оплошность, которая сгубила его блестяще задуманное и великолепно выполненное дело?

Его жену задержали на Севере. Ей не разрешили выезда на «материк» — документы на это выдавало же самое учреждение, которое занималось дел мужа.

Впрочем, это было предусмотрено, и она
Месяцы тянулись за месяцами,— ей от
всегда, без объяснения причин отказа.
попытку уехать с другого конца Колымы

над теми же таежными реками и распадками, по которым продвигался несколько месяцев назад ее муж, но и там, конечно, ее ждал отказ. Она была заперта в огромной каменной тюрьме величиной в одну восьмую часть Советского Союза — и не могла найти выхода.

Она была женщина, она устала от бесконечной борьбы с кем-то, чьего лица она не могла рассмотреть, от борьбы с кем-то, кто был гораздо сильнее ее, сильнее и хитрее.

Деньги, которые она привезла с собой, кончились — жизнь на Севере дорогая — яблоко на магаданском базаре стоило сто рублей. Ангелина Григорьевна поступила на службу, но служащим по местному найму, не завербованным с «материка», платили оклады другие, мало отличавшиеся от окладов Харьковской области.

Муж часто ей твердил: «Войну выигрывает тот, у кого крепче нервы», и Ангелина Григорьевна часто во время бессонных белых полярных ночей шептала эти слова немецкого генерала. Ангелина Григорьевна чувствовала, что нервы ее начинают сдавать. Ее измучило это белое безмолвие природы, глухая стена людского равнодушия, полная неизвестность и тревога, тревога за судьбу мужа,— ведь он мог просто умереть в пути от голода. Его могли убить другие беглецы, застрелить оперативники, и только по неотвязному вниманию к ней и к ее личной жизни со стороны Учреждения, Ангелина Григорьевна радостно заключала, что муж ее не пойман, «в розыске» и, стало быть, она страдает не напрасно.

Ей хотелось бы довериться кому-либо, кто мог бы понять ее, посоветовать что-либо — ведь она так мало знала Дальний Север. Она хотела бы облегчить ту страшную тяжесть на душе, которая, как ей казалось, росла с каждым днем, с каждым часом.

Но кому она может довериться? В каждом, в каждой Ангелина Григорьевна видела, чувствовала шпиона, доносчика, наблюдателя, и чувство не обманывало ее — все ее знакомые — во всех поселках и городах Колымы — были вызваны, предупреждены Учреждением. Все ее
…комые напряженно ждали ее откровенности.

…втором году она сделала несколько попыток свя-
…харьковскими знакомыми по почте — все ее
… скопированы, пересланы в харьковское

…орого года своего вынужденного заключе-
…ия, почти в отчаянии, зная только, что муж

ее жив, и пытаясь с ним связаться, она послала на имя Павла Михайловича Кривошея письма во все большие города — «почтамт, до востребования».

В ответ она получила денежный перевод и в дальнейшем получала деньги каждый месяц понемногу, по пятьсот — восемьсот рублей, из разных мест, от разных лиц. Кривошей был слишком умен, чтобы отправлять деньги из Мариуполя, а Учреждение слишком опытно, чтобы этого не понимать. Географическая карта, которая отводится в подобных случаях для разметки «боевых операций», подобна штабным военным картам. Флажки на ней — места отправки денежных переводов на Дальний Север адресатке — располагались на станциях железной дороги близ Мариуполя, к северу, никогда не повторяясь дважды. Розыску теперь нужно было приложить немного усилия — установить фамилии людей, приехавших в Мариуполь на постоянное жительство за последние два года, сличить фотографии...

Так был арестован Павел Кривошей. Жена была его смелой и верной помощницей. Она привезла ему на Аркагалу документы, деньги — более пятидесяти тысяч рублей.

Как только Кривошей был арестован, ей немедленно разрешили выезд. Измученная и нравственно, и физически, Ангелина Григорьевна покинула Колыму с первым же пароходом.

А сам Кривошей отбыл и второй срок — заведуя химической лабораторией в центральной больнице для заключенных, пользуясь маленькими льготами от начальства и так же презирая и боясь «политических», как раньше, крайне осторожный в разговорах, чутко трусливый при чужих словах... Эта трусость и чрезмерная осмотрительность имела другую все же почву, чем у обыкновенного труса-обывателя, Кривошею все это было чуждо, все «политическое» его вовсе не интересовало, и он, зная, что именно этого сорта «криминал» оплачивается самой дорогой ценой в лагере — не хотел жертвовать своим, слишком дорогим ему, житейским, материальным, а не духовным, покоем.

Кривошей и жил в лаборатории, а не в лагерном бараке — привилегированным арестантам это разрешалось.

За шкафами с кислотами и щелочами гнездилась его койка, казенная, чистая. Ходили слухи, что он разврат-

ничает в своей пещере каким-то особенным образом и что даже иркутская проститутка Сонечка, способная «на все подлости», поражена способностями и знаниями Павла Михайловича по этой части. Но все это могло быть и неправдой, лагерным «свистом».

Было немало вольнонаемных дам, желавших «закрутить роман» с Павлом Михайловичем, мужчиной цветущим. Но заключенный Кривошей, осторожный и волевой, пресекал все щедро расточаемые ему «авансы». Он не хотел никаких незаконных, чрезмерно рискованных, чрезмерно караемых связей. Он хотел покоя.

Павел Михайлович аккуратно получал зачеты, как бы они ни были ничтожны, и через несколько лет освободился, без права выезда с Колымы. Это, впрочем, нисколько не смущало Павла Михайловича. На другой же день после освобождения оказалось, что у него есть и превосходный костюм, и плащ какого-то заграничного покроя, и добротная велюровая шляпа.

Он устроился по специальности на один из заводов в качестве инженера-химика — он и в самом деле был специалистом «высокого давления». Поработав неделю, он взял отпуск «по семейным обстоятельствам», как было сказано в документе.

— ???

— За женщиной еду,— чуть улыбнувшись, сказал Кривошей.— За женщиной!.. На ярмарку невест в совхоз «Эльген». Жениться хочу.

Этим же вечером он возвратился с женщиной.

Около совхоза «Эльген», женского совхоза, есть заправочная станция — на окраине поселка, на «природе». Вокруг, соседствуя с бочками бензина,— кусты тальника, ольхи. Сюда собираются ежевечерне все освобожденные женщины «Эльгена». Сюда же приезжают на машинах «женихи» — бывшие заключенные, которые ищут подругу жизни. Сватовство происходит быстро — как все на колымской земле (кроме лагерного срока), и машины возвращаются с новобрачными. Подобное знакомство при надобности происходит в кустах — кусты достаточно густы, достаточно велики.

Зимой все это переносится в частные квартиры-домики. Смотрины в зимние месяцы отнимают, конечно, гораздо больше времени, чем летом.

— А как же Ангелина Григорьевна?

— Я не переписываюсь с ней теперь.

Было ли это правдой или нет, допытываться не стоило. Кривошей мог ответить великолепным лагерным присловьем: не веришь — прими за сказку!

Когда-то в двадцатые годы, на заре «туманной юности» лагерных учреждений, в немногочисленных «зонах», именовавшихся концлагерями, побеги вообще не карались никаким дополнительным сроком наказания и как бы не составляли преступления. Казалось естественным, что арестант, заключенный, должен бежать, а охрана должна его ловить и что это вполне понятные и закономерные отношения двух людских групп, стоящих по разные стороны тюремной решетки и этой решеткой соединенных друг с другом. Это были романтические времена, когда, пользуясь словом Мюссе, «будущее еще не наступило, а прошлое не существовало более». Еще вчера атаман Краснов, пойманный в плен, отпускался на честное слово. А самое главное — это было время, когда границы терпения русского человека еще не испытывались, не раздвигались до бесконечности, как это было сделано во второй половине тридцатых годов.

Был еще не написан, не составлен кодекс 1926 года с его пресловутой 16-й статьей («по соответствию») и статьей 35, обозначившей в обществе целую социальную группу «тридцатипятников».

Первые лагеря были открыты на шаткой юридической основе. В них было много импровизации, а стало быть, и того, что называется местным произволом. Известный соловецкий Курилка, ставивший заключенных голыми на пеньки в тайге — «на комарей», был, конечно, эмпириком. Эмпиризм лагерной жизни и порядков в них был кровавым — ведь опыты велись над людьми, над живым материалом. Высокое начальство могло одобрить опыт какого-нибудь Курилки, и тогда его действия вносились в лагерные скрижали, в инструкции, в приказы, в указания. Или опыт осуждался, и тогда Курилка шел под суд сам. Впрочем, больших сроков наказания тогда не было — во всем IV отделении Соловков было два заключенных с десятилетним сроком — на них показывали пальцами, как на знаменитостей. Один был бывший жандармский полковник Руденко, другой Марджанов, каппелевский офицер. Пятилетний срок считался значи-

тельным, а двух-, трехлетние приговоры составляли большинство.

Вот в эти-то самые годы, до начала тридцатых годов — за побег не давалось никакого срока. Бежал — твое счастье, поймали живого — опять твое счастье. Живыми ловили не часто — вкус человеческой крови разжигал ненависть конвоя к заключенным. Арестант боялся за свою жизнь, особенно при переходах, при «этапах», когда неосторожное слово, сказанное конвою, могло привести на тот свет, «на луну». В этапах действуют более строгие правила, и конвою сходит с рук многое. Заключенные при переходах с «командировки» на «командировку» требовали у начальства связывать им руки за спиной на дорогу, видя в этом некоторую жизненную гарантию и надеясь, что в этом случае арестанта не «сактируют» и не запишут в его «формуляр» сакраментальной фразы «убит при попытке к побегу».

Следствия по таким убийствам велись всегда спустя рукава, и, если убийца был достаточно догадлив, чтобы дать в воздух второй выстрел — дело всегда кончалось для конвоира благополучно — в инструкциях полагается предупредительный выстрел перед прицелом по беглецу.

На Вишере, в четвертом отделении СЛОНа — уральского филиала Соловецких лагерей — для встречи пойманных беглецов выходил комендант управления Нестеров — коренастый, приземистый, с длинными белокожими руками, с короткими толстыми пальцами, густо заросшими черными волосами; казалось, что и на ладонях у него растут волосы.

Беглецов, грязных, голодных, избитых, усталых, покрытых серой дорожной пылью с ног до головы, бросали к ногам Нестерова.

— Ну, подойди, подойди поближе.

Тот подходил.

— Погулять, значит, захотел! Доброе дело, доброе дело!

— Уж вы простите, Иван Спиридоныч.

— Я прощаю,— певуче, торжественно говорил Нестеров, вставая с крыльца.— Я-то прощаю. Государство не простит...

Голубые глаза его мутнели, затягивались красными ниточками жил. Но голос его по-прежнему был доброжелателен, добродушен.

— Ну, выбирай,— лениво говорил Нестеров,— плеска или в изолятор...

— Плеска, Иван Спиридонович.

Волосатый кулак Нестерова взлетал над головой беглеца, и счастливый беглец отлетал в сторону, утирая кровь, выплевывая выбитые зубы.

— Ступай в барак!

Иван Спиридонович сбивал любого с ног одним ударом, одним «плеском» — этим он и славился и гордился.

Арестант тоже был не в убытке — «плеском» Ивана Спиридоновича заканчивались расчеты за побег.

Если же беглец не хотел решить дело по-семейному и настаивал на официальном возмездии, на ответственности по закону — его ждал лагерный изолятор, тюрьма с железным полом, где месяц, два, три на карцерном пайке казались беглецу гораздо хуже нестеровского «плеска».

Итак, если беглец оставался в живых — никаких особенных неприятных последствий побега не оставалось — разве что при отборе «на освобождение», при «разгрузках» бывший беглец уж не может рассчитывать на свою удачу.

Росли лагеря, росло и число побегов, увеличение охраны не достигало цели — это было слишком дорого, да и по тем временам желающих поступить в лагерную охрану было крайне мало.

Вопрос об ответственности за побег решался неудовлетворительно, несолидно, решался как-то по-детски.

Вскоре было прочитано новое московское разъяснение: дни, которые беглец находился в побеге, и тот срок, который он отбывал в изоляторе за побег — не входят в исчисление основного его срока.

Приказ этот создал значительное недовольство в учетных учреждениях лагеря — потребовалось и увеличить штат, да и столь сложные арифметические вычисления были не всегда под силу работникам лагерного учета.

Приказ был внедрен, прочитан на поверках всему лагерному составу.

Увы, он не напугал будущих беглецов.

Каждый день в рапортичках командиров рот росла графа «в бегах», и начальник лагеря, читавший ежедневные сводки, хмурился день ото дня все больше.

Когда бежал любимец начальника, музыкант лагерного

духового оркестра Капитонов, повесив свой корнет-а-пистон на сук ближайшей сосны — Капитонов вышел из лагеря с блестящим инструментом, как с пропуском,— начальник потерял душевное равновесие.

Поздней осенью были убиты во время побега трое заключенных. После опознания начальник распорядился их трупы выставить на трое суток у лагерных ворот, откуда выходили все на работу. Но и такая неофициальная острая мера не остановила, не уменьшила побегов.

Все это было в конце двадцатых годов. Потом последовала «перековка», Беломорканал — концлагеря были переименованы в «исправительно-трудовые», количество заключенных выросло в сотни тысяч раз, побег уже трактовался, как самостоятельное преступление — в кодексе 1926 года была 82-я статья, и наказание по ней определялось в год дополнительного к основному сроку.

Все это было на «материке», а не на Колыме — лагере, который существовал с 1932 года — вопрос о беглецах был поставлен лишь в 1938 году. С этого года наказание за побег было увеличено, «термин» вырос до целых трех лет.

Почему колымские годы, с 1932 по 1937 год включительно, выпадают из летописи побегов? Это — время, когда там работал Эдуард Петрович Берзин. Первый колымский начальник с правами высшей партийной, советской и профсоюзной власти в крае, зачинатель Колымы, расстрелянный в 1938 году и в 1965 году реабилитированный, бывший секретарь Дзержинского, бывший командир дивизии латышских стрелков, разоблачивший знаменитый заговор Локкарта,— Эдуард Петрович Берзин пытался, и весьма успешно, разрешить проблему колонизации сурового края и одновременно проблемы «перековки» и изоляции. Зачеты, позволявшие вернуться через два-три года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4—6 часов, летом — 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на «материк» обеспеченными людьми. В «перековку» блатарей Эдуард Петрович не верил, он слишком хорошо знал этот зыбкий и подлый человеческий материал. На Колыму первых лет ворам было попасть трудно — те, которым удалось туда попасть — не жалели впоследствии.

Тогдашние кладбища заключенных настолько мало-

численны, что можно было думать, что колымчане — бессмертны.

Бежать никто с Колымы и не бежал — это было бы бредом, чепухой...

Эти немногие годы — то золотое время Колымы, о котором с таким возмущением говорил разоблаченный шпион и подлинный враг народа Николай Иванович Ежов на одной из сессий ЦИКа СССР — незадолго до «ежовщины».

В 1938 году Колыма была превращена в спецлагерь для рецидива и «троцкистов». Побег стал караться тремя годами.

. . . .

— Как же вы бежали? Ведь у вас не было ни карты, ни компаса.

— Так и бежали. Вот Александр обещал вывести...

Мы вместе ждали отправки на «транзитке». Неудачных беглецов было трое: Николай Карев, малый лет двадцати пяти, бывший ленинградский журналист, ровесник его Федор Васильев — ростовский бухгалтер, и камчадал Александр Котельников. Александр Котельников — колымский абориген, камчадал по народности, а по профессии каюр, погонщик оленей, осужденный здесь же за кражу казенного груза. Котельникову было лет пятьдесят, а то и много больше — возраст якута, чукчи, камчадала, эвенка определить на взгляд трудно. Котельников не только хорошо говорил по-русски, только звук «ш» никак не мог выговорить и заменял его звуком «с», равно как и на всех диалектах Чукотского полуострова. Он имел представление и о Пушкине, о Некрасове, бывал в Хабаровске, словом, был путешественник опытный, но романтик в душе — слишком уж детски молодо сверкали его глаза.

Он-то и взялся вывести молодых своих новых друзей из заключения.

— Я им говорил — ближе в Америку, пойдемте в Америку, но они хотели материк, я вел материк. Чукчей дойти надо, кочевых чукчей. Чукчи были здесь, ушли, как русский человек пришел вот к ним... Не успел.

Беглецы шли всего четыре дня. Они бежали в начале сентября, в ботинках, в летней одежде, в уверенности дойти до чукотских кочевий, где их, по уверениям Котельникова, ждет помощь и дружба.

Но выпал снег, густой снег, ранний снег. Котельников пошел в эвенкский поселок, затем, чтобы купить торбаза. Он купил торбаза, а к вечеру отряд оперативников настиг беглецов.

— Тунгус — враг, предатель,— плевался Котельников.

Вывести Карева и Васильева из тайги старый каюр брался совершенно бесплатно. О новом своем трехлетнем «довеске» Котельников не грустил.

— Вот придет весна — выпустят на прииск, на работу — и я опять уйду.

Чтобы скоротать время, он учил Карева и Васильева чукотской, камчадальской речи. Заводилой этого обреченного на неудачу побега был, конечно, Карев. От всей его фигуры, театральной даже в этой тюремно-лагерной обстановке, от модуляций его бархатного голоса веял ветер легкомысленности — даже не авантюризма. С каждым днем он понимал все лучше безвыходность таких попыток, все чаще задумывался и слабел.

Васильев был просто добрым товарищем, готовым разделить любую участь друга. Все они бежали, конечно, на первом году своего заключения, пока еще были иллюзии... и физическая сила.

. . . .

Из палатки-кухни кочевого поселка геологов летней белой ночью исчезло двенадцать банок мясных консервов. Пропажа была в высшей степени загадочной — все сорок рабочих и техников были людьми вольными, с порядочными заработками и вряд ли нуждающимися в такой вещи, как мясные консервы. Даже если бы это были консервы сказочной цены — сбыть их было некуда в глухом, бесконечном лесу. «Медвежий» вариант также был сразу отвергнут, ибо ничто на кухне не было сдвинуто с места. Можно было думать, что это сделал кто-то нарочно, «по злобе» на повара, в чьем ведении находились продукты кухни; правда, повар, человек добродушнейший, отрицал, что среди сорока его товарищей скрывается и пакостит его, повара, враг. Если же и это предположение было неверным, то оставалось еще одно. И вот для проверки этого последнего предположения прораб разведки Касаев, взяв с собой двух рабочих порасторопней, вооружив их ножами, а сам захватив единственное огнестрельное оружие, которое было на «командировке» — мелкокалиберную винтовку,— отправился осматривать

окрестности. Окрестностями были серо-коричневые ущелья, без всякого следа зелени, ведущие на большое известняковое плато. Поселок геологов расположен был как бы в яме, на зеленом берегу речки.

Разгадывать тайну пришлось недолго. Часа через два, когда они не спеша поднялись на плато — один из рабочих поглазастей протянул руку — на горизонте была движущаяся точка. Они пошли по краю зыбких молодых туфов, молодого камня, еще не успевшего окаменеть и похожего на белое масло, противно соленое на вкус. Нога в нем вязла, как в болоте, и сапоги, окунутые в этот полужидкий, маслообразный камень, покрывались как бы белой краской. По краю было идти легко, и часа через полтора они нагнали человека. Человек был одет в обрывки бушлата и в рваные ватные брюки с голыми коленями. Обе штанины были обрезаны — из них была сделана обувь, уже прорванная, истертая вконец. Для той же цели еще ранее были отрезаны и изношены рукава от бушлата. Его кожаные ботинки или резиновые чуни давно были сношены о камни и сучья и, очевидно, брошены.

Человек был бородат, волосат, бледен от невыносимого страдания. У него был понос, отчаянный понос. Одиннадцать целехоньких консервных банок лежали тут же на камнях. Одна банка была разбита о камни и дочиста съедена еще вчера.

Он шел уже месяц к Магадану, кружась в лесу, как гребец в густом тумане на озере, и плутая, потеряв всякое направление, шел наудачу, пока не наткнулся на «командировку» — только тогда, когда совсем ослабел. Он ловил полевых мышей, ел траву. Он держался до вчерашнего дня. Он заметил дымок еще вчера, дождался ночи, взял консервы, выполз на плато к утру. В кухне он взял спички, но пользоваться спичками ему не было необходимости. Он съел консервы, и страшная жажда, пересохший рот вынудили его опуститься по другому распадку до ручья. И там он пил, пил холодную вкусную воду. Через сутки лицо его отекло, начавшееся расстройство кишечника уносило последние силы.

Он был рад любому концу своего путешествия.

Другой беглец, которого выволокли на ту же «командировку» из тайги оперативники, был какой-то важной персоной. Участник группового побега с соседнего прииска, побега с грабежом и убийством самого начальника прииска — он был последний из всех десяти бежавших.

Двое было убито, семеро поймано, и вот последний был изловлен на двадцать первый день. Обуви у него не было, потрескавшиеся подошвы ног кровоточили. За неделю, по его словам, он съел только крошечную рыбку из пересохшего ручья, рыбку, которую он ловил несколько часов, обессилев от голода. Лицо его было опухшим, бескровным. Конвоиры очень заботились о нем, о его диете, о выздоровлении — мобилизовали фельдшера «командировки», строго-настрого приказав ему заботиться о беглеце. Беглец прожил в бане поселка целых три дня, и наконец, постриженный, побритый, вымытый, сытый, он был уведен «оперативкой» на следствие, исходом которого мог быть только расстрел. Сам беглец об этом, конечно, знал, но это был арестант бывалый, равнодушный, уже давно перешагнувший ту грань жизни в заключении, когда каждый человек становится фаталистом. и живет «по течению». Возле него все время были конвоиры «бойцы охраны», говорить ему ни с кем не давали. Каждый вечер он сидел на крыльце бани и разглядывал огромный вишневый закат. Огонь вечернего солнца перекатывался в его глаза, и глаза беглеца казались горящими — очень красивое зрелище.

. . . .

В одном из колымских поселков, в Оротукане, стоит памятник Татьяне Маландиной, и оротуканский клуб носит ее имя. Татьяна Маландина была договорницей, комсомолкой, попавшей в лапы уголовников-беглецов. Они ее ограбили, изнасиловали, по гнусному блатарскому выражению, «хором», и убили в нескольких сотнях метров от поселка, в тайге. Было это в 1938 году, и начальство тщетно распространяло слухи, что ее убили «троцкисты». Однако клевета подобного рода была чересчур нелепой и возмутила даже родного дядю убитой комсомолки — лейтенанта Маландина, лагерного работника, который именно после смерти племянницы резко изменил свое отношение к ворам и к другим заключенным, ненавидя первых и оказывая льготы вторым.

. . . .

Оба этих беглеца были пойманы тогда, когда силы их были на исходе. По-другому себя вел беглец, задержанный группой рабочих на тропе близ разведочных шурфов. Третий день шел обложной дождь беспрерывно, и несколь-

ко рабочих, напялив на себя брезентовую спецовку — куртки и брюки, отправились посмотреть, не пострадала ли от дождя маленькая палаточка — кухня с посудой и продуктами, полевая кузница с наковальней, походным горном и запасом бурового инструмента. Кузница и кухня стояли в русле горного ручья, в ущелье — километрах в трех от места жилья.

Горные реки разливаются в дожди очень сильно, и можно было ждать каких-нибудь каверз погоды. Однако то, что люди увидели — привело их в крайнее смущение. Ничего не существовало. Не было кузницы, где хранился инструмент для работ целого участка — буры, подбурники, кайла, лопаты, кузнечный инструмент; не было кухни с запасом продуктов на все лето; не было котлов, посуды — ничего не было. Ущелье было новым — все камни в нем были заново поставлены, принесены откуда-то обезумевшей водой. Все старое было сметено вниз по ручью, и рабочие прошли по берегам ручья до самой речки, куда ручей впадал — километров шесть-семь, и не нашли ни кусочка железа. Много позже в устье этого ручья, когда вода спала, на берегу, в тальнике, забитом песком, была найдена смятая камнями, вывороченная, исковерканная эмалированная миска из столовой поселка — и это было все, что осталось после грозы, после паводка.

Возвращаясь обратно, рабочие наткнулись на человека в кирзовых сапогах, в намокшем плаще, с большой заплечной сумкой.

— Ты беглец, что ли? — спросил человека Васька Рыбин, один из «канавщиков» разведки.

— Беглец,— полуутвердительно ответил человек.— Обсушиться бы...

— Ну, пойдем к нам — у нас печка горит.— Летом в дождь всегда топились железные печи в большой палатке — все сорок рабочих жили в ней.

Беглец снял сапоги, развесил портянки вокруг печи, достал жестяной портсигар, насыпал махорку в обрывок газеты, закурил.

— Куда идешь-то в такой дождь?

— На Магадан.

— Пожрать хочешь?

— А что у вас есть?

Суп и перловая каша не соблазнили беглеца. Он развязал свой мешок и вынул кусок колбасы.

— Ну, братец,— сказал Рыбин,— ты беглец-то не настоящий.

Рабочий постарше, заместитель бригадира Василий Кочетов встал.

— Куда ты?— спросил его Рыбин.

— До ветру.— И перешагнул через доску — порог палатки.

Рыбин усмехнулся.

— Вот что, браток,— сказал он беглецу,— ты сейчас собирайся и иди куда хотел. Тот,— сказал он про Кочетова,— к начальству побежал. Чтоб тебя задержать, значит. Ну, бойцов у нас нет, ты не бойся, а прямо иди и иди. Вон хлебушка возьми да пачку табаку. И дождик как будто поредел, на твое счастье. Держи прямо на большую сопку, не ошибешься.

Беглец молча намотал непросохшие портянки сухими концами на ступни, натянул сапоги, вскинул мешок на плечи и вышел.

Через десять минут кусок брезента, заменявший дверь, откинулся, и в палатку влезло начальство — прораб Касаев с мелкокалиберкой через плечо, два десятника и Кочетов, вошедший в палатку последним.

Касаев постоял молча, пока привык к темноте палатки, огляделся. Никто не обратил внимания на вошедших. Все занимались своим делом — кто спал, кто чинил одежду, кто вырезал ножом какие-то мудреные фигуры из коряги — очередные эротические упражнения, кто играл в «буру» самодельными картами...

Рыбин ставил в печку на горящие угли закопченный котелок из консервной банки — собственное какое-то варево.

— Где беглец?— заорал Касаев.

— Беглец ушел,— сказал Рыбин спокойно,— собрался и ушел. Что я — держать его должен?

— Да он же раздетый был,— закричал Кочетов,— спать собирался.

— Ты ведь тоже собирался до ветру, а под дождем куда бегал?— ответил Рыбин.

— Пошли домой,— сказал Касаев.— А ты, Рыбин, смотри: это добром не кончится...

— Что ж ты мне можешь сделать?— сказал Рыбин, подходя к Касаеву ближе.— На голову соли насыпать? Или сонного зарезать? Так, что ли?

Прораб и десятники вышли.

Это — маленький лирический эпизод в однообразно мрачной повести о беглецах Колымы.

Начальник «командировки», встревоженный постоянными визитами беглецов — трое в течение одного месяца — тщетно добивался в высших инстанциях организации на «командировке» «оперпоста» из вооруженных солдат охраны. На такие расходы для вольнонаемных управление не пошло, предоставив ему справляться с беглецами собственными силами. И хотя к этому времени, кроме касаевской мелкокалиберки, в поселке завелись еще две охотничьих двухстволки центрального боя и патроны к ним снаряжались как «жиганы» — кусками свинца, вроде как для медведя,— все же всем было ясно, что при нападении голодных и отчаянных беглецов «жиганы» эти — ненадежная помощь.

Начальник был парень бывалый,— внезапно на «командировке» были построены две караульные вышки, точно такие же, какие стоят по углам настоящих лагерных зон.

Это был остроумный камуфляж. Фальшивые караульные вышки должны были убедить беглецов, что на «командировке» вооруженная охрана.

Расчет начальника был, по-видимому, правильным — беглецы больше не посещали эту «командировку», находившуюся всего в двухстах километрах от Магадана.

Когда работы на «первом металле», то есть на золоте, передвинулись в Чай-Урьинскую долину — путем, который когда-то прошел Кривошей, двинулись десятки беглецов. Тут было всего ближе до «материка», но об этом ведь знало и начальство. Количество «секретов» и «оперпостов» было резко увеличено — охота за беглецами была в полном разгаре. Летучие отряды прочесывали тайгу и наглухо закрывали «освобождение через зеленого прокурора» — так назывались побеги. «Зеленый прокурор» освобождал все меньше, меньше и, наконец, перестал освобождать совсем.

Пойманных обычно убивали на месте, и немало трупов лежало в морге Аркагалы, ожидающих опознания — приезда работников учета для снятия отпечатков пальцев мертвецов.

А десяти километрах в лесу от угольной аркагалинской шахты в поселке Кадыкчан, известном выходом угольных мощных пластов почти на поверхность — пласты были в 8, 13 и 21 метров мощностью — был расположен

такой «оперпост», где солдаты спали, ели, вообще базировались.

Во главе этого летучего отряда летом сорокового года стоял молодой ефрейтор Постников, человек, в котором была разбужена жажда убийства и который свое дело выполнял с охотой, рвением и страстью. Он лично поймал целых пять беглецов, получил какую-то медаль и, как полагается в таких случаях, некоторую денежную награду. Награда выдавалась и за мертвых, и за живых — одинаково, так что доставлять «в целости» пойманного не было никакого смысла.

Постников со своими бойцами бледным августовским утром наткнулся на беглеца, вышедшего к ручью, где была засада.

Постников выстрелил из маузера и убил беглеца. Решено было его не тащить в поселок и бросить в тайге — следов и рысьих, и медвежьих встречалось здесь много.

Постников взял топор и отрубил обе руки беглеца, чтобы учетная часть могла сделать отпечатки пальцев, положил обе мертвых кисти в свою сумку и отправился домой — сочинять очередное донесение об удачной охоте.

Это донесение было отправлено в тот же день — один из бойцов понес «пакет», а остальным Постников дал выходной день в честь своего успеха...

Ночью «мертвец» встал и, прижимая к груди окровавленные культяшки рук, по следам вышел из тайги и кое-как добрался до палатки, где жили рабочие-заключенные. С белым, бескровным лицом, с необычайными синими безумными глазами, он стоял у двери, согнувшись, привалясь к дверной раме, и, глядя исподлобья, что-то мычал. Он трясся в сильнейшем ознобе. Черные пятна крови были на телогрейке, брюках, резиновых чунях беглеца. Его напоили горячим супом, закутали какими-то тряпками страшные руки его и повели в медпункт, в амбулаторию. Но уже из избушки, где жил «оперпост», бежали солдаты, бежал сам ефрейтор Постников.

Солдаты повели беглеца куда-то — только не в больницу, не в амбулаторию — и больше о беглеце с отрубленными руками никто ничего не слышал.

Постников и весь его «оперпост» работали до первого снега. При первых морозах, когда дел по таежному розыску становится меньше, опергруппу эту куда-то перевели из Аркагалы.

Побег — великое испытание характеров, выдержки,

воли, выносливости физической и духовной. Думается, ни для какой полярной зимовки, ни для какой экспедиции не так трудно подобрать товарищей, как в побег.

Притом голод, острый голод — всегдашняя угроза для беглеца. Если ж понять, что именно от голода и бежит арестант и, стало быть, голода не боится, то вырастает еще одна смутная опасность, с которой может встретиться беглец — он может быть съеден своими собственными товарищами. Конечно, случаи людоедства в побеге редки. Но все же они существуют, и, думается, нет ни одного старого колымчанина, пробывшего на Дальнем Севере с десяток лет, кто бы не сталкивался с людоедами, получившими срок именно за убийство товарища в побеге, за употребление в пищу человеческого мяса.

В центральной больнице для заключенных длительное время находился больной Соловьев с хроническим остеомиелитом бедра. Остеомиелит — воспаление костного мозга — возник после пулевого ранения кости, умело растравленного самим Соловьевым. Соловьев, осужденный за побег и людоедство, «тормозился» в больнице и рассказывал охотно, как он с товарищем, готовясь в побег, нарочно пригласили третьего — «на случай, если заголодаем».

Беглецы шли долго, около месяца. Когда третий был убит и частью съеден, а частью «зажарен в дорогу» — двое убийц разошлись в разные стороны — каждый боялся быть убитым в любую ночь.

Встречались и другие людоеды. Это самые обыкновенные люди. На людоедах нет никакого каинова клейма, и, пока не знаешь подробностей их биографии — все обстоит благополучно. Но даже если и узнаешь об этом — тебе это не претит, тебя это не возмущает. На брезгливость и возмущение такими вещами не хватает физических сил, просто места не хватает, где могли бы жить чувства подобной тонкости. К тому же история нормальных полярных путешествий нашего времени несвободна от похожих поступков — таинственная смерть шведского ученого Мальмгрена, участника экспедиции Нобиле — на нашей памяти. Что же требовать от голодного, затравленного получеловека-полузверя?

Все побеги, о которых шел рассказ — это побеги на родину, на «материк», побеги с целью вырваться из цепких лап тайги, добраться до России. Все они кончаются одинаково — никому не выбраться с Дальнего Севера. Неудача такого рода предприятий, безвыходность их и,

с другой стороны, повелительная тоска по свободе, ненависть и отвращение к принудительному труду, к физическому труду, ибо ничего другого в заключенном лагерь воспитать не может. На воротах каждой лагерной зоны насмешливо выведено: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства» и имя автора этих слов. Надпись делается по специальному циркуляру и обязательна для каждого лагерного отделения.

Вот эта тоска по свободе, жгучее желание очутиться в лесу, где нет колючей проволоки, караульных вышек с винтовочными стволами, блестящими на солнце, где нет побоев, тяжелой многочасовой работы без сна и отдыха — рождает побег особого рода.

Арестант чувствует свою обреченность: еще месяц, два — и он умрет, как умирают товарищи на его глазах.

Он все равно умрет, так пусть он умрет на свободе, а не в забое, в канаве, упав от усталости и голода.

Летом на прииске работа тяжелей, чем зимой. Пески промывают именно летом. Слабеющий мозг подсказывает заключенному некий выход, при котором можно и летом продержаться, да и начало зимы пробыть в теплом помещении.

Так рождается «уход во льды», как красочно окрещены такие побеги «вдоль трассы».

Заключенные, вдвоем, втроем, вчетвером, бегут в тайгу в горы и устраиваются где-нибудь в пещере, в медвежьей берлоге — в нескольких километрах от трассы — огромного шоссе в две тысячи километров длиной, пересекающего всю Колыму.

У беглецов — запас спичек, табаку, продуктов, одежды — всего, что можно было собрать к побегу. Впрочем, собрать что-либо почти никогда заранее не удается, да это вызвало бы подозрения, сорвало бы замысел беглецов.

Иногда грабят в ночь побега лагерный магазин, или «ларек», как говорят в лагере, и уходят с награбленными продуктами в горы. Большей же частью уходят без всего — на «подножный корм». Этим подножным кормом бывает совсем не трава, не корни растений, не мыши и не бурундуки.

По огромному шоссе день и ночь идут машины. Среди них — много машин с продуктами. Шоссе в горах — все в подъемах и спусках — машины вползают на перевалы медленно. Вскочить на машину с мукой, скинуть мешок-два — вот тебе и запас пищи на все лето. А везут ведь не

только муку. После первых же грабежей машины с продуктами стали отправлять в сопровождении конвоя, но не каждую машину отправляли таким образом.

Кроме открытого грабежа на большой дороге, беглецы грабили соседние с их «базой» поселки, маленькие дорожные «командировки», где живут, по два-три человека, путевые обходчики. Группы беглецов посмелей и побольше останавливают машины, грабят пассажиров и груз.

За лето при удаче такие беглецы поправлялись и физически, и «духовно».

Если костры раскладывались осторожно, следы награбленного были тщательно заметены, караул был бдителен и зорок — беглецы жили до поздней осени. Мороз, снег «выжимал» их из голого, неуютного леса. Облетали осины, тополя, лиственницы осыпали свою ржавую хвою на грязный холодный мох. Беглецы были не в силах более держаться — и выходили на трассу, на шоссе, «сдавались» на ближайшем «оперпосту». Их арестовывали, судили, не всегда быстро — зима успевала давно начаться, давали им «срок» за побег, и — они выходили в ряды «работяг» на прииск, где (если им случалось вернуться на тот же прииск, откуда они бежали) уже не было их прошлогодних товарищей по бригаде — те либо умерли, либо ушли в инвалидные роты полумертвецами.

В 1939 году впервые были созданы для обессилевших работяг так называемые «оздоровительные команды» и «оздоровительные пункты». Но так как «выздоравливать» надо было несколько лет, а не несколько дней, то эти учреждения не оказали желанного действия на воспроизводство рабочей силы. Зато лукавая частушка запомнилась всем колымчанам, верящим, что пока арестант сохраняет иронию, он остается человеком:

Сначала ОП, потом ОК,
На ногу бирку — и пока!..

Бирку с номером личного дела привязывают к левой ноге при погребении арестанта.

Беглец же, хоть и получил пять лет дополнительного срока, если следователю не удалось «пришить» ему грабеж машин — оставался здоровым и живым, а иметь срок в 5, 10 или 15 лет, в 20 лет — разницы, по сути дела, тут нет никакой, потому что и пять лет проработать в забое

нельзя. В приисковом забое можно проработать пять недель.

Участились такие «курортные» побеги, участились грабежи, участились убийства. Но не грабежи и не убийства раздражали высшее начальство, привыкшее иметь дело с бумагой, с цифрами, а не с живыми людьми.

А цифры говорили, что стоимость награбленного — укорочение жизни путем убийства и вовсе не входило в счет — гораздо меньше, несравнимо меньше, чем стоимость потерянных рабочих часов и дней.

«Курортные» побеги напугали начальство больше всего. 82-я статья УК была вовсе забыта, не применялась более никогда.

Побеги стали трактоваться как преступление против порядка, управления, против государства, как политический акт.

Беглецов стали «привлекать» ни много ни мало как по пятьдесят восьмой статье, наряду с изменниками Родины. И пункт пятьдесят восьмой статьи был выбран юристами знакомый, применявшийся ранее в шахтинском процессе «вредителей». Это был четырнадцатый пункт пятьдесят восьмой статьи — «контрреволюционный саботаж». Побег — есть отказ от работы, отказ от работы — есть контрреволюционный саботаж. Именно по этому пункту и по этой статье стали судить беглецов. Десять лет за побег — стало минимальным «дополнительным» сроком. Повторный побег карался двадцатью пятью годами.

Это никого не напугало и не уменьшило ни числа побегов, ни числа грабежей.

Одновременно с этим всякое уклонение от работы, отказ от работы тоже стали толковаться как саботаж, и наказание за отказ от работы — высшее лагерное преступление — стало все увеличиваться. «Двадцать пять и пять поражения» — вот формула многолетней практики приговоров отказчикам и беглецам военного и послевоенного времени.

Те специфические черты, которые отличают побеги на Колыме от обыкновенных побегов, не делают их менее трудными. Если в огромном большинстве случаев перейти ту грань, которая отделяет побег от самовольной отлучки — легко, то трудности возрастают с каждым днем, с каждым часом продвижения по негостеприимной, враждебной всему живому природе Дальнего Севера. Крайне сжатые сроки побегов, сжатые временами года, вынуж-

дают и торопливость в подготовке, и необходимость преодолеть большие и трудные расстояния в короткое время. Ни медведь, ни рысь не опасны беглецу. Он погибает от собственного бессилия в этом суровом краю, где у беглеца — крайне мало средств борьбы за жизнь.

Рельеф местности мучителен для пешехода, перевалы следуют за перевалами, ущелья за ущельями. Звериные тропы едва заметны, почва в редком, уродливом таежном лесу — зыбкий сырой мох. Спать без костра рискованно — подземный холод вечной мерзлоты не дает камням нагреться за день. Пищи в пути нет никакой — кроме сухого ягеля, оленьего мха, который можно растереть и смешать с мукой и печь лепешки. Подбить палкой куропатку, кедровку — трудная задача. Грибы и ягоды — плохая пища в дороге. Притом они бывают в конце столь кратковременного летнего сезона. Стало быть, весь запас пищи должен быть взят с собой, из лагеря.

Трудны таежные пути побега, но еще труднее подготовка к нему. Ведь всякий день, всякий час будущие беглецы могут быть разоблачены, выданы начальству своими товарищами. Главная опасность — не в конвое, не в надзирателях, а в своих товарищах-арестантах, тех, которые живут одной жизнью с беглецом и рядом с ним двадцать четыре часа в сутки.

Каждый беглец знает, что они не только не помогут ему, если заметят что-либо подозрительное, но и не пройдут равнодушно мимо увиденного. Из последних сил голодный, измученный арестант доползет, дошагает до «вахты», чтобы донести и разоблачить товарища. Это делается не даром — начальник может угостить махоркой, похвалить, сказать спасибо. Собственную трусость и подлость доносчик выдает за что-то вроде долга. Он не доносит только на блатных, потому что боится удара ножом или веревочной удавки.

Групповой побег с количеством участников более двух-трех, если он не стихиен, внезапен, как бунт, почти немыслим. Такой побег нельзя подготовить из-за растленных и продажных, голодных, ненавидящих друг друга людей, наполняющих лагеря.

Вовсе не случайно, что единственный групповой подготовленный побег, чем бы он ни кончился, удался именно потому, что в том лагерном отделении, откуда шли беглецы, вовсе не было старых колымчан, уже отравленных, разложенных колымским опытом, униженных го-

лодом, холодом и побоями, не было людей, которые выдали бы беглецов начальству.

Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке» полушутя-полусерьезно указывают на непреодолимое желание жаловаться — как на национальную черту русского человека, как на нечто присущее русскому характеру. Эта национальная черта, исказившись в кривом зеркале лагерной жизни, находит выражение в доносе на товарища.

Побег может вспыхнуть как импровизация, как стихия, как лесной пожар. Тем трагичней судьба его участников — случайных, мирных созерцателей, вовлеченных в водоворот действия почти помимо воли.

Никто из них еще не пригляделся, как коварна осень Колымы, никто и не подозревает, что багряного пожара листьев, травы и деревьев — хватает на два-три дня, а с высокого бледно-голубого неба, окраски чуть более светлой, чуть более, чем обычно, может внезапно сыпаться мелкий холодный снег. Никто из беглецов не знает, как толковать вдруг распластавшиеся по земле зеленые ветви стланика, прижавшегося к земле на глазах беглецов. Как толковать внезапное бегство рыбы вниз по течению ручьев.

Никто не знает, есть ли в тайге поселки. И какие. Дальневосточники, сибиряки напрасно надеются на свои таежные знания и охотничий талант.

В конце осени, осени послевоенной, автомашина — открытый грузовик с двадцатью пятью заключенными шел в один из «каторжных» лагерей. В нескольких десятках километров от места назначения арестанты набросились на конвой, обезоружили конвоиров и «ушли в побег» — все двадцать пять человек.

Шел снег, жесткий ледяной снег, одежды у беглецов не было. Собаки быстро нашли следы — четырех групп, на которые разделились бежавшие. Группу с оружием, взятым у конвоя, перестреляли всю. Две группы были захвачены через день, а последняя — на четвертый день. Этих доставили прямо в больницу: у всех были отморожения четвертой степени — руки и ноги — колымский мороз, колымская природа были всегда в союзе с начальством, были враждебны одиночке-беглецу.

Беглецы долго лежали в больнице в отдельной палате, у двери которой сидел конвоир — больница была хоть и арестантская, но не каторжная. У всех пятерых были

ампутированы то рука, то нога, а у двоих и обе ноги сразу.

Так расправился колымский мороз с торопливыми и наивными новичками.

Все это очень хорошо понимал подполковник Яновский. Впрочем, подполковником он был на войне, здесь он был заключенным Яновским, «культоргом» большого лагерного отделения. Это отделение было сформировано сразу после войны только из новичков — из военных преступников, из власовцев, из военнопленных, служивших в немецких частях, из полицаев и жителей оккупированных немцами сел, заподозренных в дружбе с немцами.

Здесь были люди, за плечами которых был опыт войны, опыт ежедневных встреч со смертью, опыт риска, опыт звериного уменья в борьбе за свою жизнь, опыт убийства.

Здесь были люди, которые уже бежали и из немецкого, и из русского плена, и из английского плена... Люди, которые привыкли ставить на карту свою жизнь, люди с воспитанной примером и инструкцией смелостью. Обученные убивать разведчики и солдаты, они продолжали войну в новых условиях, войну за себя — против государства.

Начальство, привыкшее общаться с послушными «троцкистами», не подозревало, что здесь находятся люди дела, действия прежде всего.

За несколько месяцев до событий, о которых будет идти речь, лагерь этот посетил какой-то большой начальник. Знакомясь с жизнью новичков и их работой на производстве, начальник посетовал, что культурная работа, художественная самодеятельность в лагере оставляет желать лучшего. И бывший подполковник Яновский, культорг лагеря, почтительно доложил: «Не беспокойтесь, мы готовим такой концерт, о котором вся Колыма заговорит».

Это была весьма рискованная фраза, но на нее в то время никто не обратил внимания, в чем, впрочем, Яновский был уверен.

Всю зиму на должности лагерной обслуги медленно, один за другим, продвигались и подбирались участники будущего, намеченного на весну побега. Нарядчик, староста, фельдшер, парикмахер и бригадир, все штатные должности обслуги из заключенных были заняты людьми, подобранными самим Яновским. Здесь были летчики, шоферы, разведчики — все те, кто мог принести успех дерзко задуманному побегу. Условия Колымы были изучены,

трудностями никто не пренебрегал и ни в чем не ошибался. Целью была свобода — или счастье умереть не от голода, не от побоев, не на лагерных нарах, а в бою, с оружием в руках.

Яновский понимал, как важно, необходимо его товарищам сохранить физическую силу, выносливость наряду с силой нравственной, духовной. На должностях обслуги можно было быть почти сытым, не ослабеть.

Пришла обычная безмолвная колымская весна — без пения птиц, без единого дождя. Лиственницы оделись ярко-зеленой молодой хвоей, редкий голый лес как бы сгустился, деревья сдвинулись друг к другу, пряча своими ветвями людей и зверей. Начались белые, точнее, бледно-сиреневые ночи...

Караульная вахта близ лагерных ворот имеет две двери — наружу и внутрь лагеря — такова архитектурная специфика зданий подобного рода. Дежурят надзиратели по двое.

Ровно в пять часов утра в окошечко вахты постучали. Дежурный надзиратель посмотрел в стекло — пришел лагерный повар Солдатов за ключом от шкафа с продуктами — ключ хранился на вахте, на гвоздике, вбитом в стену. Несколько месяцев подряд каждый день ровно в пять часов утра повар приходил сюда за ключами. Дежурный откинул крючок и впустил Солдатова. Второго надзирателя на вахте не было, он только что вышел во внешнюю дверь — квартира, где он жил с семьей, была метрах в трехстах от вахты.

Все было рассчитано, и автор спектакля смотрел через маленькое окно, как начинается первый акт давно задуманного спектакля, как все то, что было повторено тысячу раз воображением и рассудком, одевается в живую плоть и кровь.

Повар отошел к стене, где висел ключ, и в окошечко постучали снова. Надзиратель хорошо знал стучавшего — это был заключенный Шевцов, механик и оружейных дел мастер, неоднократно чинивший автоматы, винтовки и пистолеты в отряде — человек «свой».

В этот момент Солдатов бросился на надзирателя сзади и задушил его при помощи вошедшего на вахту Шевцова. Мертвеца бросили под топчан в углу вахты и завалили дровами. Солдатов и Шевцов стащили с убитого шинель, шапку и сапоги, и Солдатов, надев форму надзирателя и вооружившись наганом, сел за дежурный

стол. В это время вернулся второй надзиратель. Пока он успел что-нибудь сообразить — он был задушен, как и первый. Его одежду надел Шевцов.

Неожиданно на вахту вошла жена второго надзирателя, ходившего позавтракать домой. Ее убивать не стали, а только связали ей руки и ноги, заткнули кляпом рот и положили вместе с мертвыми.

Привел бригаду рабочих ночной смены конвоир и вошел на вахту расписаться в сдаче людей. Он был также убит. Так была приобретена винтовка и еще одна шинель.

На дворе около вахты уже ходили люди, как и полагается во время развода по работам, и подполковник Яновский принял в этот момент командование.

С ближайших угловых вышек пространство около вахты простреливалось. На обеих вышках были часовые, но в мутном утре после белой ночи часовые не замечали ничего подозрительного на площадке у вахты. Как всегда, дежурный надзиратель раскрыл ворота, сосчитал людей, как всегда, вышли два конвоира принимать бригаду. Вот конвоиры построили бригаду маленькую, всего в десять, нет, даже в девять человек, повели... То, что бригада свернула с дороги на тропку, тоже не вызвало тревоги часовых — тропкой, которая вела мимо отряда охраны, и раньше водили конвоиры «работяг», если запоздает развод по работам.

Бригада шла мимо отряда охраны, и сонный дежурный, видя ее в раскрытую дверь, только подивился, почему бригаду ведут по тропке в затылок друг другу, гуськом, а не обычным строем по дороге — как был оглушен и обезоружен, а «бригада» кинулась к пирамиде винтовок, стоящих тут же, на глазах дежурного, в первой половине казармы.

Вооруженный автоматом Яновский распахнул дверь, где спало сорок солдат охраны — молодых кадровиков конвойной службы. Автоматная очередь в потолок уложила всех на пол под койки. Передав автомат Шевцову, Яновский пошел на двор, куда его товарищи уже тащили продукты, оружие с боеприпасами из взломанных складов отряда охраны.

Часовые с вышек не решились открыть стрельбу — позже они говорили, что нельзя было увидеть и понять, что творится в отряде охраны. Их показаниям не было дано веры, и часовые были впоследствии наказаны.

Беглецы собирались неспешно. Яновский приказал

брать только оружие и патроны, как можно больше патронов, а из продуктов — только галеты и шоколад. Фельдшер Никольский набил сумку с красным крестом индивидуальными пакетами. Все переоделись в новую военную форму, подобрали каждый себе сапоги из каптерки отряда.

Еще когда выходили арестантским строем из лагеря и брали отряд, выяснилось, что в побеге участвуют не все — не хватало бригадира Петра Кузнецова, друга подполковника Яновского. Он был неожиданно переведен в ночную смену, вместо заболевшего десятника. Яновский не хотел уходить без товарища, с которым многое было вместе пережито, многое задумано.

Послали за бригадиром на производство, и Кузнецов пришел и переоделся в солдатскую одежду.

Командир атакованного отряда охраны и начальник лагеря вышли из своих квартир не прежде, чем узнали от своих дневальных, что беглецы покинули территорию лагеря.

Телефонный провод был перерезан, и в ближайшее лагерное отделение успели сообщить о побеге лишь тогда, когда беглецы уже вышли на трассу, на центральное шоссе.

Выйдя на шоссе, беглецы остановили первый порожний грузовик. Шофер вылез из кабины под угрозой револьвера, и Кобаридзе, летчик-истребитель, взял в руки баранку. Яновский сел в кабину рядом с ним и развернул на коленях карту, захваченную в отряде охраны; машина помчалась к Сеймчану — к ближайшему аэродрому. Захватить самолет и улететь!

Второй, третий, четвертый поворот налево. Пятый поворот!

Машина завернула налево с большого шоссе и помчалась над кипящей рекой, вдоль скального «прижима» по узкой, извилистой, хрустящей под колесами каменистой дороге. Кобаридзе убавил скорость — недолго было и полететь под откос в воду с десятисаженной высоты. Маленькие, словно игрушечные, домики «командировки» виднелись внизу, около речки. Дорога гнулась, огибая скалу за скалой, и уходила вниз — машина опускалась с перевала. Домики поселка вынырнули из тайги совсем близко, и Яновский сквозь ветровое стекло кабины увидел солдата, бегущего навстречу машине с винтовкой наперевес. Солдат отскочил в сторону, машина пронеслась

мимо, и сразу вслед беглецам отрывисто защелкали выстрелы — охрана была уже предупреждена.

Решение у Яновского было готово заранее, и километров через десять Кобаридзе затормозил машину. Беглецы бросили грузовик и, перешагнув через затянутый мхом кювет, вошли в тайгу и исчезли. До аэродрома было еще километров семьдесят, и Яновский решил идти напролом.

Они ночевали в пещере близ небольшого горного ручья, все вместе, греясь друг о друга и выставив сторожевое охранение.

Утром другого дня, едва беглецы тронулись в путь, они наткнулись на оперативников — местная группа прощупывала лес. Четыре оперативника были убиты первыми выстрелами беглецов. Яновский велел зажечь лес — ветер дул в сторону погони, и беглецы пошли дальше.

Но уже по всем колымским дорогам летели грузовики с солдатами — незримая армия регулярных войск поспешила на помощь лагерной охране и «оперативке». На центральном шоссе разъезжали десятки военных машин.

Дорога на Сеймчан была на много десятков километров забита военными частями. Самое высокое колымское начальство лично руководило редкой операцией.

Замысел Яновского был разгадан, и на охрану аэродрома было мобилизовано такое количество регулярных войск, что они с трудом были размещены на подступах к аэродрому.

К вечеру второго дня группа Яновского вновь была обнаружена и приняла бой. Отряд войск оставил на месте десять убитых. Яновский, пользуясь направлением ветра, снова зажег тайгу и снова ушел, перебравшись через большой горный ручей. Третья ночевка беглецов, которые все еще не потеряли ни одного человека, была выбрана Яновским на болоте, посреди которого стояли стога.

Беглецы ночевали в стогах, и, когда белая ночь кончилась, когда таежное солнце осветило верхушки деревьев, стало видно, что болото окружено солдатами. Почти не прячась, солдаты перебегали от дерева к дереву.

Командир того самого отряда, на который напали беглецы в начале своего похода, замахал тряпкой и закричал:

— Сдавайтесь, вы окружены. Вам некуда деться...

Шевцов высунулся из стога:

— Правда твоя. Иди, принимай оружие...

Командир отряда выскочил на болотную тропу, побежал к стогам, закачался, уронил фуражку и упал лицом в болотную лужу. Пуля Шевцова попала ему прямо в лоб.

Тотчас же началась беспорядочная стрельба отовсюду, послышались слова команды, солдаты кинулись на стога со всех сторон, но круговая оборона невидимых беглецов, скрытых в сене, оборвала атаку. Раненые стонали, уцелевшие залегли в болоте; время от времени щелкал выстрел, и солдат дергался и вытягивался.

Снова началась стрельба по стогам, на этот раз безответная. После часа стрельбы была предпринята новая атака, снова остановленная выстрелами беглецов. Снова лежали трупы в болоте и стонали раненые.

Длительный обстрел начался снова. Установили два пулемета, и после нескольких очередей — новая атака.

Стога молчали.

Когда солдаты разметали в разные стороны каждый стог — выяснилось, что в живых только один беглец — повар Солдатов. У него были прострелены обе голени, плечо и предплечье, но он еще дышал. Остальные все были мертвы, застрелены. Но остальных было не одиннадцать, а всего девять человек.

Не было самого Яновского, и не было Кузнецова.

В тот же вечер в двадцати километрах вверх по реке был задержан неизвестный, одетый в военную форму. Окруженный бойцами, он покончил с собой из пистолета. Мертвец был тут же опознан. Это был Кузнецов.

Недоставало только главаря — подполковника Яновского. Судьба его навсегда осталась неизвестной. Его искали долго — много месяцев. Он не мог ни уплыть по реке, ни уйти горными тропами — все было блокировано самым наилучшим образом. По всей вероятности, он покончил с собой, укрывшись предварительно в какую-нибудь глубокую пещеру или медвежью берлогу, где его труп съели таежные звери.

Из центральной больницы на это сражение был вытребован лучший хирург с двумя вольнонаемными, обязательно вольнонаемными фельдшерами. Больничная полуторка едва к вечеру пробралась к совхозу «Эльген», где был штаб действующего отряда — такое количество военных «студебеккеров» заграждало ей путь.

— Что тут — война, что ли? — спросил хирург у высокого начальника, руководителя операции.

— Война не война, а двадцать восемь убитых пока имеется. А сколько раненых — вы и сами узнаете.

Хирург перевязывал и оперировал до вечера.

— Сколько же беглецов?

— Двенадцать.

— Да вы бы вызывали самолеты и бомбили их, бомбили. Атомными бомбами.

Начальник покосился на хирурга:

— Вы — вечный балагур, я вас давно знаю, а вот увидите — снимут меня с работы, заставят в отставку раньше времени идти.— Начальник тяжело вздохнул.

Он был догадлив. С Колымы его перевели, сняли с работы именно за этот побег.

Солдатов поправился и был осужден на двадцать пять лет. Начальник лагеря получил десять лет, часовые, стоявшие на вышках — по пять лет заключения. Осуждено было очень много людей на прииске по этому делу — более шестидесяти человек — все, кто знал и молчал, кто помогал и кто думал помочь, да не успел. Командир отряда получил бы большой срок, да пуля Шевцова избавила его от неизбежного наказания.

Даже врач Потапова, начальница санчасти, в штате которой работал бежавший фельдшер Никольский, привлечена была к ответственности, но ее удалось спасти, срочно переведя в другое место.

ПЕРВЫЙ ЗУБ

Арестантский этап был тот самый, о котором я мечтал долгие свои мальчишеские годы. Почернелые лица и голубые рты, обожженные уральским апрельским солнцем. Гиганты конвоиры вскакивают на ходу в розвальни, розвальни взлетают; рубленая рана через все лицо у одноглазого конвоира — передового, яркие синие глаза у начальника конвоя — с половины первого дня этапа мы уже знали его фамилию — Щербаков. Арестанты — а нас было около двухсот человек, уже знали фамилию начальника. Почти чудесным образом, недоступным, непонятным для меня. Арестанты произносили эту фамилию обыденно, как будто путешествие наше с Щербаковым длится вечно. И он вошел в нашу жизнь навек. Да так оно и было —

для многих из нас. Гибкая огромная фигура Щербакова мелькала тут и там, то забегая вперед, он встречал и провожал глазами последнюю телегу этапа и только потом пускался вдогонку, в обгонку. Да, у нас были телеги, классические телеги, на которых сибирские чалдоны везли «вещи» — этап шел в свой пятидневный путь арестантским строем, без вещей, напоминая на остановках и поверках нестройные ряды призывников где-нибудь на вокзале. Но все вокзалы надолго остались в стороне от наших жизненных путей. Было утро, бодрящее апрельское утро, сумерки, редеющая полутемнота монастырского двора, где строился, зевая и кашляя, наш этап, для того, чтобы пуститься в дальнюю дорогу.

В подвале соликамской милиции, в бывшем монастыре, мы провели ночь после смены заботливого и немногословного московского конвоя на ораву кричащих загорелых молодцов под командой синеглазого Щербакова. Вчера вечером мы вливались в холодный настывший подвал — вокруг церкви был лед, снег. Чуть таявший днем, а вечером замерзавший — синие, серые сугробы покрывали весь двор, и чтобы добраться до сути снега, до его белизны — надо было сломать жесткую, режущую руки корку льда, разрыть ямку и только тогда вытащить из ямки крупнозернистый, рассыпающийся снег, который так радостно таял во рту и, обжигая преснотой, чуть охлаждал пересохшие рты.

Я входил в подвал одним из первых, мог выбрать место потеплее. Огромные ледяные своды пугали меня, и я — неопытный юнец — искал глазами подобие печки, хотя бы такой, как у Фигнер, у Морозова. И ничего не находил. Но мой случайный товарищ, товарищ только на эту краткую минуту входа в тюремный, церковный подвал — невысокий блатарь Гусев, толкнул меня к самой стене, к единственному окну, закрытому решетками, с двойным стеклом. Окно было полукруглым и начиналось от самого пола этого подвала, с метр высотой, и было похоже на бойницу. Я было хотел выбрать другое место потеплей, но толпа людей лилась и лилась в узкую дверь, и вернуться назад не было никакой возможности. Гусев столь же спокойно, не говоря мне ни слова, ударил носком сапога в стекло, разбив сначала первую, а потом и вторую раму. В пробитое отверстие хлынул холодный воздух, обжигая как кипяток. Охваченный струей этого воздуха, я, и без того намерзший долгим ожиданием и нескончаемым пе-

ресчетом на дворе, задрожал от холода. Не сразу я понял всю мудрость Гусева — только мы из двухсот арестантов всю эту ночь дышали свежим воздухом. Люди были набиты, вбиты в подвал так, что нельзя было ни сесть, ни лечь, только стоять.

До половины стен подвал был в белом пару дыхания, нечистом, душном. Начались обмороки. Задыхавшиеся старались пробиться к двери, в которой была щель и был «волчок», глазок, пробовали дышать через этот глазок. Но стоявший снаружи часовой-конвоир время от времени тыкал штыком своей винтовки в глазок, и попытки вдохнуть свежий воздух через тюремный глазок были прекращены. Никаких фельдшеров, врачей к упавшим в обморок, ясное дело, не вызывали. Только мы с Гусевым продержались благополучно у разбитого мудрым Гусевым стекла. Строились долго... Мы выходили последними, туман рассеялся, и открылся потолок, сводчатый потолок, тюремное и церковное небо было совсем близко — рукой подать. И на сводах подвала соликамской милиции я нашел письмена, сделанные простым углем огромными буквами по всем потолку: «Товарищи! В этой могиле мы умирали трое суток и все же не умерли. Крепитесь, товарищи!»

Под крики команды этап выполз за околицу Соликамска и двинулся в низину. Небо было синее-синее, как глаза начальника конвоя. Солнце жгло, ветер охлаждал наши лица — они стали коричневыми к первой же ночевке в пути. Ночевка этапа, подготовленная заранее, проходила всегда по установленной форме. Для арестантской ночевки у крестьян снимались две избы — одна почище, другая победнее — нечто вроде сарая, да иногда и сарай. Надо было попасть в «чистую», конечно. Но это не зависело от моей воли: каждый вечер в сумерках всех пропускали мимо начальника конвоя, который взмахом руки показывал, где очередной арестант должен провести очередную ночь. Тогда Щербаков показался мне мудрейшим из мудрых, потому что он не рылся в каких-нибудь бумагах, списках, отыскивая «постатейные данные», а в тот же момент, как этап переставал двигаться, взмахивал рукой и отсекал очередного этапника. Позже я подумал, что Щербаков человек наблюдательный — всякий раз его выбор, сделанный каким-то непостижимым уму способом — оказывался верным — вся «пятьдесят восьмая» была вместе, а «тридцать пятая» — также. Еще

позже, через один-два года, я подумал, что в тогдашней мудрости Щербакова никакого чуда нет: навык угадывать по внешнему виду — доступен всем. В нашем этапе дополнительными признаками могли бы быть вещи, чемоданы. Но вещи везли отдельно, на подводах, на розвальнях крестьян.

На первой же ночевке и случилось событие, ради которого ведется этот рассказ. Двести человек стояли, ожидая прихода начальника конвоя, а в левой стороне слышались какие-то крики, возня, пыхтенье людей, рев, ругань и наконец явственный крик: «Драконы! Драконы!» Перед арестантским строем выкинули на снег человека. Лицо его было разбито в кровь, нахлобученная на его голову чужой рукой шапка-папаха торчала и не могла прикрыть узкой, сочащейся кровью, раны. Человек был одет в коричневую тканину домашней работы — какой-нибудь украинец, хохол. Я знал его. Это был Петр Заяц, сектант. Его везли из Москвы в одном вагоне со мной. Он все молился, молился.

— Не хочет стоять на поверке! — доложил, задыхаясь, разгоряченный возней конвоир.

— Поставить его,— скомандовал начальник конвоя.

Зайца поставили, поддерживая под руки, двое огромных конвоиров. Но Заяц был выше их на голову, крупнее, тяжелей.

— Не хочешь стоять, не хочешь?

Щербаков ударил Зайца кулаком в лицо, и Заяц сплюнул на снег.

И вдруг я почувствовал, как сердцу стало обжигающе горячо. Я вдруг понял, что все, вся моя жизнь решится сейчас. И если я не сделаю чего, а чего именно, я не знаю и сам, то, значит, я зря приехал с этим этапом, зря прожил свои двадцать лет.

Обжигающий стыд за собственную трусость отхлынул с моих щек — я почувствовал, как щеки стали холодными, а тело — легким.

Я вышел из строя и срывающимся голосом сказал:

— Не смейте бить человека.

Щербаков с великим удивлением разглядывал меня.

— Иди в строй.

Я вернулся в строй. Щербаков отдал команду, и этап, делясь на две избы, повинуясь движению щербаковского пальца — стал таять в темноте. Перст Щербакова указал мне на «черную» избу.

На сырой, прошлогодней, пахнущей гнилью соломе укладывались мы спать. Солома была насыпана на голую гладкую землю. Ложились вповалку, чтоб было теплее, и только блатари, устроившись около фонаря, висевшего на балке, играли в вечную свою «буру» или «стос». Но вскоре и блатари заснули. Заснул и я, размышляя о своем поступке. У меня не было старшего товарища, не было примера. Я был один в этом «этапе», у меня не было ни друзей, ни товарищей. Сон мой был прерван. В лицо мне светил фонарь, и кто-то из моих разбуженных соседей-блатарей уверенно и подобострастно повторял:

— Он, он...

Фонарь держал в руках конвойный.

— Выходи.

— Сейчас оденусь.

— Выходи так.

Я вышел. Нервная дрожь била меня, и я не понимал, что должно сейчас произойти.

Я и два конвоира вышли на крыльцо.

— Снимай белье!

Я снял.

— Вставай в снег.

Я встал. Я поглядел на крыльцо и увидел две наведенные на меня винтовки. Сколько прошло времени этой уральской ночью, первой моей уральской ночью — я не помню.

Я услышал команду:

— Одевайся.

Я натянул на себя белье. Удар по уху сбил меня в снег. Удар тяжелого каблука пришелся прямо в зубы, и рот наполнился теплой кровью и быстро стал отекать.

— В барак!

Я вошел в барак, добрался до своего места, уже занятого другим телом места. Все спали или делали вид, что спали... Солоноватый вкус крови не проходил — во рту было что-то постороннее, что-то ненужное, и я ухватил пальцами это ненужное и с усилием вырвал из собственного рта. Это был выбитый зуб. Я бросил его там, на прелой соломе, на голом земляном полу.

Я обнял руками грязные и вонючие тела товарищей и заснул. Заснул. Я даже не простудился.

Утром этап вышел в путь, и синие невозмутимые глаза Щербакова обвели арестантские ряды привычным взглядом. Петр Заяц стоял в рядах, его не били, да и он

не кричал ничего насчет драконов. Блатари посматривали на меня недружелюбно и с опаской — в лагере каждый учится отвечать сам за себя.

Еще двое суток дороги — и мы подошли к «управлению» — новому бревенчатому домику на берегу реки.

Принимать этап вышел комендант Нестеров — начальник с волосатыми кулаками. Многие из блатарей, шагавшие рядом со мной, этого Нестерова знали, очень хвалили.

— Вот приведут беглецов. Нестеров выходит: «А-а, молодцы, явились. Ну, выбирайте: плеска или в изолятор». А изолятор там с железными полами, больше трех месяцев не выдерживают люди, да следствие, да срок дополнительный. «Плеска, Иван Васильевич». Развертывается — и с ног! Еще раз развертывается — и снова с ног. Мастер был. «Иди в барак». И все. И следствию конец. Хороший начальник.

Нестеров обошел ряды, внимательно оглядывая лица.

— Жалоб на конвой нет?

— Нет, нет,— ответил нестройный хор голосов.

— А ты,— волосатый перст дотронулся до моей груди.— Ты почему неразборчиво отвечаешь? Хрипишь что-то.

— У него зубы болят,— ответили мои соседи.

— Нет,— ответил я, стараясь заставить свой разбитый рот выговаривать слова как можно тверже.— Жалоб на конвой нет.

. . . .

— Рассказ неплохой,— сказал я Сазонову.— Литературно грамотный. Только ведь не напечатают его. И конец какой-то аморфный.

— У меня есть другой конец,— сказал Сазонов.— Через год я был большим начальником в лагере. Тогда ведь «перековка» была, и Щербакову выходило место младшего оперуполномоченного в том отделении, где я работал. Там от меня многое зависело, и Щербаков боялся, что я запомнил эту историю с зубом. Щербаков этот случай тоже не забыл. У него была большая семья, место было выгодное, заметное, и он, человек простодушный и прямой, явился ко мне, чтобы узнать, не буду ли я возражать против его назначения. Пришел с бутылкой, «мириться» по русскому обычаю, но я пить с ним не стал и уверил Щербакова, что я ничего плохого ему не сделаю.

Щербаков обрадовался, долго извинялся, топтался у

двери моей, все задевая каблуком за коврик, и не мог окончить разговор.

— Дорога ведь, этап, понимаешь. С нами беглецы были.

— Этот конец тоже не годится,— сказал я Сазонову.

— Тогда у меня есть еще один.

Перед тем как получить назначение на работу в то отделение, где мы встретились снова с Щербаковым, я встретил на улице в лагерном поселке санитара Петра Зайца. Молодой черноволосый, чернобровый гигант исчез. Вместо него был хромой, седой старик, кашляющий кровью. Меня он даже не узнал, а когда я взял его за руку и назвал по фамилии, вырвался и пошел своей дорогой. И по глазам его было видно, что Заяц думает о чем-то своем, мне недоступном, где мое появление или не нужно, или оскорбительно для хозяина, беседующего с менее земными людьми.

— И этот вариант не годится,— сказал я.

— Тогда я оставляю первый. Если и нельзя напечатать — легче, когда напишешь. Напишешь — и можно забывать...

ЭХО В ГОРАХ

В учетном отделе никак не могли подобрать старшего делопроизводителя. Впоследствии, когда дело разрослось, эта должность вместила целый самостоятельный отдел — «группу освобождения». Старший делопроизводитель выдавал документы об освобождении заключенных и был фигурой важной в мире, где вся жизнь нацелена на ту минуту, когда арестант получает документ, дающий ему право не быть арестантом. Старший делопроизводитель сам должен быть из заключенных — так предусмотрено экономной штатной ведомостью. Конечно, можно бы заполнить такую вакантную должность и по партийной путевке или по какой-либо профсоюзной организации, либо уломать армейского командира, уходящего из армии, но время было еще не такое. На службу в лагеря — с какими хочешь «полярными» окладами — желающих было найти не так-то просто. Служба по вольному найму в лагерях считалась еще делом позорным, и во всем учет-

ном отделе, ведающем всеми делами заключенных, работал только один вольнонаемный — инспектор Паскевич, тихий запойный пьяница. В отделе он бывал мало — большая часть его времени тратилась на фельдъегерские поездки, ибо лагерь был, как полагается, расположен далеко от людских глаз.

И вот старшего делопроизводителя никак не могли найти. То выяснится, что вновь назначенный работник связан с блатным миром и выполняет его таинственные поручения. То окажется, что делопроизводитель освобождает за деньги каких-то южных спекулянтов-валютчиков. То получится, что парень честен и тверд, но растяпа и путаник и освобождает не того, кого нужно.

Высокое начальство искало нужного им человека со всей энергией — ведь как-никак ошибки в деле освобождения считались самым что ни на есть криминалом и могли привести к быстрому окончанию карьеры лагерного ветерана, к «увольнению из войск ОГПУ», а то еще и довести до скамьи подсудимых.

Лагерь был тот самый, что год назад назывался 4-м отделением Соловецких лагерей, а теперь был самостоятельным, важным лагерем на Северном Урале.

Только старшего делопроизводителя этому лагерю и не хватало.

И вот с Соловков, с самого острова, прибыл спецконвой. Это большая редкость для Вишеры. Туда некого возить спецконвоем. Лошадные теплушки — вагоны красного цвета с нарами внутри — или известные пассажирские классные с затянутыми решеткой окнами — так и кажется, что вагон стыдится своих решеток. На юге жители, спасаясь от воров, ставят в окна решетки причудливой формы — как цветы, лучи — живое воображение южан подсказывает им эти неоскорбительные для глаза прохожего формы решеток, которые все же остаются решетками. Так и классный пассажирский вагон перестает быть обыкновенным вагоном из-за этих железных вуалеток, закрывающих его глаза.

По уральским, по сибирским дальним железным дорогам еще ходили в то время знаменитые «столыпинские» вагоны — кличка, которую тюремные вагоны сохранят еще много десятков лет, вовсе не будучи столыпинскими .

«Столыпинский» вагон — с двумя маленькими квадратными окнами с одной стороны вагона и нескольки-

ми большими — с другой. Эти окошечки, затянутые решетками, вовсе не позволяют видеть снаружи то, что делается внутри, даже если подойти вплотную к окошечку.

Внутри вагон поделен на две части массивными решетками с тяжелыми гремящими дверями, каждая половина вагона имеет свое маленькое окно.

С обеих сторон — отделения для конвоя. И коридор для конвоя.

Спецконвой в «столыпинских» вагонах не ездит. Конвоиры возят одиночек в обыкновенных поездах, заняв одно из крайних купе — все еще было по-семейному, просто — как до революции. Опыт еще не был накоплен.

Прибыл спецконвой с «Острова» — так называли Соловки тогда — просто «Остров» — как остров Сахалин, и сдал невысокого пожилого человека на костылях в обязательном соловецком бушлате шинельного сукна, в такой же шапочке-ушанке — «соловчанке».

Человек был спокоен и сед, порывист в движениях, и было видно, что он еще только учится искусству ходить на костылях, что он еще недавно стал инвалидом.

В общем бараке с двойными нарами было тесно и душно, несмотря на раскрытые настежь двери с обоих концов дома. Деревянный пол был посыпан опилками, и дежурный, сидевший при входе, разглядывал в свете семилинейной керосиновой лампы прыгающих в опилках блох. Время от времени, послюнив палец, дежурный пускался на поиски стремительных насекомых.

В этом бараке и было отведено место приезжему. Ночной барачный дежурный сделал неопределенный жест рукой, показывая в темный и вонючий угол, где вповалку спали одетые люди и где не было места не только для человека, но и для кошки.

Но приезжий спокойно натянул шапку на уши и, положив свои костыли на длинный обеденный стол, взобрался на спящих людей сверху, лег и закрыл глаза, не делая ни одного движения. Силой собственной тяжести он продавил себе место в других телах, и если его сонные соседи делали движение — тело приезжего немедленно вмещалось в это ничтожное свободное пространство. Нащупав локтем и бедром доски нар, приезжий расслабил мускулы тела и заснул.

На другое утро выяснилось, что приехавший инвалид — тот самый долгожданный старший делопроизводитель, которого так ждет управление лагеря.

В обед его вызвали к начальству, а к вечеру перевели в другой барак — административной обслуги, где проживали все чиновники лагеря из заключенных. Это был барак удивительной, редчайшей конструкции.

Его строили, когда начальником лагеря был бывший моряк, топивший в восемнадцатом году Черноморский флот, когда туда приезжал знаменитый мичман Раскольников.

Моряк сделал сухопутную лагерную карьеру, а постройка барака для обслуги была его выдумкой, его данью своему морскому прошлому. В этом бараке двухэтажные нары были подвесные — на стальных тросах. Висели кучками, по четыре человека, как моряки в кубрике. Для прочности конструкция была связана с одной стороны длинной железной толстой проволокой.

Поэтому все нары качались одновременно при малейшем движении хотя бы одного из жителей этого барака.

А так как двигались одновременно несколько человек, то подвесные койки были в беспрерывном движении и негромко, но явственно скрипели, скрипели. Качанье и скрип не прекращались ни на минуту в течение суток. Только во время вечерних поверок движущиеся нары останавливались, как уставший маятник, и замолкали.

В этом бараке я и познакомился со Степановым, с Михаилом Степановичем Степановым. Так звали нового старшего делопроизводителя, без всяких «он же», столь распространенных здесь.

Впрочем, на сутки раньше я видел его «пакет», привезенный спецконвоем, его «личное дело». Это было тоненькое «дело» в зеленой обложке, начинавшееся обычной анкетой, снабженной двумя занумерованными фотографиями — анфас и в профиль — и с квадратиком дактилоскопического оттиска, похожего на срез миниатюрного деревца.

В анкете был указан год его рождения — 1888-й — я хорошо запомнил эти три восьмерки, место последней работы — Москва, НК РКИ... Был членом ВКП(б) с 1917 года.

На один из последних вопросов было отвечено: подвергался, был членом партии эсеров с 1905 года... Запись велась, как обычно, казенной рукой, покороче.

Срок — 10 лет — вернее, высшая мера с заменой десятью годами.

Лагерная работа — был в Соловках старшим делопроизводителем более полугода.

Не очень была интересная анкета у нашего Михаила Степановича. В лагере было много колчаковских и анненковских командиров, был командир пресловутой Дикой дивизии, была авантюристка, выдававшая себя за дочь Николая Романова, был знаменитый карманник Карлов, по кличке Подрядчик, и впрямь похожий на подрядчика, лысый, с огромным брюхом и опухшими пальцами — один из ловчайших карманников, артист, которого показывали начальству.

Был Майеровский, взломщик и художник, беспрерывно рисующий на чем-либо — на доске, листке бумаги — одно и то же — голых женщин и мужчин, переплетенных между собой всевозможными противоестественными способами общения. Ничего другого Майеровский рисовать не мог. Он был проклятым сыном весьма обеспеченных родителей из научной среды. Для блатных он был чужаком.

Было несколько графов, несколько грузинских князей из свиты Николая II.

Личное дело Степанова было заложено в новую лагерную обложку и поставлено на полки буквы «С».

И я не узнал бы этой удивительной истории, если б не случайный воскресный разговор в служебном кабинете.

Впервые я увидел Степанова без костылей. Удобная палка, давно, очевидно, им заказанная в лагерной столярке, была в его руках. Ручка у палки была больничного типа — она была вогнута, а не горбатилась, как ручка обыкновенной трости.

Я сказал «ого» и поздравил его.

— Поправляюсь,— сказал Степанов.— У меня ведь все цело. Это — цинга.

Он засучил штанину, и я увидел уходящую вверх лилово-черную полосу кожи. Мы помолчали.

— Михаил Степанович, а за что ты сидишь?

— Да как же? — и он улыбнулся.— Я ведь Антонова-то отпустил...

Семнадцатилетний питерский гимназист Миша Степанов, сын учителя гимназии, перед пятым годом вступил в партию, в которую ему сам бог велел вступить по тогдашней моде среди молодых русских интеллигентов. Освещенная легендарным светом «Народной воли», толь-

кто что созданная партия эсеров делилась на многочисленные течения и теченьица. Среди этих течений видное место занимали эсеры-максималисты — группа известного террориста Михаила Соколова. Родственные связи привели Мишу Степанова в эту группу, и вскоре он с увлечением вошел в быт подпольной России: в явки, конспиративные квартиры, обучение стрельбе, динамит...

В лабораториях, по обычаю, стояла бутылка с нитроглицерином — на случай ареста, обыска.

На конспиративной квартире семеро боевиков были окружены полицией. Эсеры отстреливались, пока хватило патронов. Отстреливался и Миша Степанов. Их арестовали, судили, повесили всех, кроме несовершеннолетнего Миши. А Михаил получил вместо веревки вечную каторгу и попал неподалеку от родного Питера — в Шлиссельбург.

Каторга — это режим, он меняется в зависимости от обстановки и характера самодержца. «Вечной» каторгой в царское время считалась двадцатилетняя каторга с двумя годами ручных и четырьмя годами ножных кандалов.

В Шлиссельбурге в степановское время применяли и эффективную «новинку» — сковывали каторжников попарно — самый надежный способ поссорить их между собой.

В каком-то рассказе Барбюс показал нам трагедию влюбленных, скованных вместе, они стали люто ненавидеть друг друга...

С каторжниками это делалось давно. Подбор напарников в цепях — это была великолепная выдумка мастеров сих дел; тут тюремное начальство могло острить как умело — сковывать высокого с низкорослым, сектанта с атеистом, а самое главное, могло сортировать политические «букеты» — сковывать вместе анархиста и эсера, эсдека и чернопередельца.

Чтобы не поссориться с прикованным к тебе человеком, нужна была величайшая выдержка обоих либо слепое преклонение молодого перед старшим и страстное желание старшего передать все лучшее, что есть в его душе — товарищу.

Подчас человеческая воля, перед которой ставилось новое, сильнейшее испытание, еще более крепла. Закалялся характер, дух.

Так прошли кандальные сроки Михаила Степанова, сроки ношения ручных и ножных кандалов.

Шли обыкновенные каторжные годы — номер, бубновый туз на халате были уже привычными, незаметными.

В это время Михаил Степанович, молодой человек — двадцати двух лет — встретился в Шлиссельбурге с Серго Орджоникидзе. Серго был выдающимся пропагандистом, и много дней проговорили они со Степановым в Шлиссельбургской тюрьме. Встреча и дружба с Орджоникидзе сделали Михаила Степанова из эсера-максималиста — большевиком-эсдеком.

Он поверил верой Серго в будущее России, в свое будущее. Михаил еще молод, если даже «вечная» будет отбыта день в день, все же он выйдет на волю моложе сорока лет и еще сумеет послужить новому знамени. Он будет ждать эти двадцать лет.

Но ждать пришлось гораздо меньше. Февраль семнадцатого года открыл двери царских тюрем, и Степанов очутился на воле гораздо раньше, чем ждал и готовился. Он нашел Орджоникидзе, вступил в партию большевиков, принимал участие в штурме Зимнего, а после Октябрьской революции, кончив военные курсы, ушел на фронт красным командиром и подвигался по военной лестнице от фронта к фронту, все выше и выше.

На Тамбовском, антоновском фронте комбриг Степанов командовал сводным отрядом бронепоездов, и командовал небезуспешно.

«Антоновщина» шла на убыль. Против Красной Армии на Тамбовщине стояли весьма своеобразные части. Жители местных деревень, превращавшиеся внезапно в регулярное войско со своими командирами.

В отличие от многих других банд времен гражданской войны, Антонов следил за «моральным состоянием частей» и вдохновлял своих солдат через своих политических комиссаров, созданных им по образцу комиссаров Красной Армии.

Сам Антонов давно был осужден революционным трибуналом, приговорен заочно к смерти, объявлен вне закона. По всем частям Красной Армии был разослан приказ Верховного командования, требующий немедленного расстрела Антонова при поимке и опознании, как врага народа.

«Антоновщина» шла на убыль. И вот однажды комбригу Степанову доложили, что операция полка ВЧК увенчалась полным успехом и что Антонов, сам Антонов захвачен.

Степанов велел привести пленника. Антонов вошел и остановился у порога. Свет «летучей мыши», повешенной у двери, падал на угловатое, жесткое и вдохновенное лицо.

Степанов велел конвоиру выйти и ждать за дверью. Потом он подошел к Антонову вплотную — он был чуть не на голову ниже Антонова — и сказал:

— Сашка, это ты?

Они были скованы одной цепью в Шлиссельбурге целый год и ни разу не поссорились.

Степанов обнял связанного пленника, и они поцеловались.

Степанов долго думал, долго ходил по вагону молча, а Антонов печально улыбался, глядя на старого товарища. Степанов рассказал Антонову о приказе — впрочем, это не было новостью для пленника.

— Я не могу тебя расстрелять и не расстреляю,— сказал Степанов, когда решение как будто было найдено.— Я найду способ дать тебе свободу. Но ты дай, в свою очередь, слово — исчезнуть, прекратить борьбу против Советской власти — все равно это движение обречено на гибель. Дай мне слово, твое честное слово.

И Антонов, которому было легче — нравственные муки товарища по каторге он хорошо понимал — дал это честное слово. И Антонова увели.

Трибунал был назначен на завтра, а ночью Антонов бежал. Трибунал, который должен был лишний раз судить Антонова, судил вместо него начальника караула, который плохо расставил посты и этим дал возможность бежать столь важному преступнику. Членами трибунала были и сам Степанов, и его родной брат. Начальник караула был обвинен и приговорен к году тюрьмы условно — за неправильную расстановку постов.

Как случилось, что Степанов не знал, что Антонов — бывший политкаторжанин? В то недолгое время, что Михаил Степанов пробыл на Тамбовском фронте, он не успел ознакомиться с одной самой важной листовкой Антонова. В этой листовке Антонов писал: «Я — старый народоволец, был на царской каторге много лет. Не чета

вашим вождям Ленину и Троцкому, которые кроме ссылки ничего и не видали. Я был закован в кандалы...» — и так далее. С этой листовкой Степанову пришлось познакомиться много позднее.

И тогда казалось, что все кончено и совесть чиста — и перед Антоновым, чью жизнь спас Степанов, и перед Советской властью, ибо Антонов исчезает и «антоновщине» — конец.

Но случилось не так. Антонов и не думал держать своего слова. Он явился, вдохновляя свои «зеленые» войска, и бои вспыхнули с новой силой.

— Вот тогда я и поседел,— говорит Степанов.— Не позже.

Вскоре общее командование принял Тухачевский, его энергичные действия по ликвидации «антоновщины» увенчались полным успехом — орудийным огнем были сметены наиболее зловредные села. «Антоновщина» шла к концу. Сам Антонов лежал в лазарете в сыпном тифу, и когда лазарет был окружен красноармейскими конниками, брат Антонова застрелил его на больничной койке и застрелился сам. Так умер Александр Антонов.

Кончилась гражданская, Степанов демобилизовался и поступил под начало Орджоникидзе, который был тогда народным комиссаром рабоче-крестьянской инспекции. Член партии с 1917 года, Степанов и поступил туда управделами НК РКИ.

Было это в 1924 году. Так он служил там год, два и три года, а к концу третьего года стал замечать что-то вроде слежки за собой — кто-то просматривал его бумаги, переписку.

Много ночей провел Степанов без сна. Вспоминал каждый шаг своей жизни, каждый день своей жизни — все было в ней яснее ясного — кроме той, антоновской истории. Но ведь Антонов-то мертв. С братом своим Степанов не делился ничем, никогда.

Вскоре его вызвали на Лубянку, и следователь крупного чекистского чина спросил неторопливо: не было ли случая, чтобы Степанов, будучи командиром Красной Армии, в военной обстановке отпустил на свободу захваченного в плен Александра Антонова?

И Степанов рассказал правду. Тогда раскрылись все тайны.

Оказывается, той тамбовской летней ночью Антонов бежал не один. Он и захвачен был вместе с одним из своих

офицеров. Тот, после смерти Антонова, бежал на Дальний Восток, перешел границу к атаману Семенову и несколько раз приходил оттуда как диверсант, и был захвачен, и сидел на Лубянке, и «пошел в дознание». И, строча в одиночной камере свою подробную исповедь, он упомянул, что в таком-то году он был захвачен в плен красными вместе с Антоновым и в ту же ночь бежал. Антонов ему ничего не говорил, но он, как военный специалист, как царский офицер, думает, что здесь имело место предательство со стороны красного командования. Эти несколько строк из летописи сумбурной и беспорядочной жизни были взяты на проверку. Найден был протокол трибунала, где начальник караула Грешнев получил свой год условно за неправильную расстановку постов.

Где теперь Грешнев? Взялись за архивы армейские — давно демобилизован, живет на родине, крестьянствует. У него — жена, трое маленьких детей в деревушке под Кременчугом. Грешнева внезапно арестовывают и везут в Москву.

Если бы Грешнева арестовали во время гражданской войны, он, может быть, и на смерть пошел бы, но не выдал своего командира. Но время идет, что ему война и его командир — Степанов? У него трое детей мал мала меньше, молодая жена, жизнь впереди. Грешнев рассказал, что он выполнил просьбу Степанова, да не просьбу, а личный приказ — что, дескать, побег нужен для пользы дела и что командир обещает, что Грешнева не засудят.

Оставляют Грешнева и берутся за Степанова. Его судят, приговаривают к расстрелу, заменяют десятью годами лагеря, везут на Соловки...

В 1933 году летом я шел по Страстной площади. Пушкин еще не перешагнул площадь и стоял в конце или, вернее, в начале Тверского бульвара — там, где его поставил Опекушин, понимавший, что за штука архитектурное согласие камня, металла и неба. Кто-то сзади ткнул меня палкой. Я оглянулся — Степанов! Он уже давно освободился, работал начальником аэропорта. Трость была все та же.

— Ты все еще хромаешь?

— Да. Последствия цинги. По-медицинскому это называется контрактурой.

БЕРДЫ ОНЖЕ

Анекдот, превратившийся в мистический символ... Живая реальность, ибо с подпоручиком Киже общались люди как с живым человеком — все, что так хорошо рассказал нам Юрий Тынянов, долгое время не принималось мной как запись были. Поразительная история павловского времени была для меня лишь гениальной остротой, злой шуткой какого-либо досужего вельможи-современника, превратившейся, помимо воли автора, в ярчайшее свидетельство черт примечательного царствования. Лесковский часовой — история того же плана, утверждающая преемственность нравов самодержавия. Но самый факт царевой «описки» внушал мне сомнения — до 1942 года.

Побег был обнаружен лейтенантом Куршаковым на станции Новосибирск. Всех арестантов вывели из теплушек и под мелким холодным дождем считали, «перекликали» по списку на статью и срок — все было напрасно. В строю по пять было тридцать восемь полных рядов, а в тридцать девятом ряду стоял один человек, а не два, как было при отправке. Куршаков проклинал минуту, когда он согласился принять этап без «личных дел», прямо по списку, где под номером «шестьдесят» значился бежавший арестант. Список был затерт; притом бумагу никак нельзя было уберечь от дождя. От волнения Куршаков едва разбирал фамилии, да и буквы в самом деле расплылись. Номера «60» не было. Половина пути уже была пройдена. За такие потери взыскивали строго, и Куршаков уже прощался с погонами и офицерским пайком. Боялся он и отправки на фронт. Шел второй год войны, а Куршаков счастливо служил в конвойной охране. Он зарекомендовал себя исполнительным и аккуратным офицером. Десятки раз возил он этапы, большие и маленькие, водил «эшелоны», бывал и в спецконвое, и никогда не было у него побега. Его даже наградили медалью «За боевые заслуги» — такие медали выдавали и в глубоком тылу.

Куршаков сидел в теплушке, где помещалась охрана, и дрожащими, скользкими от дождя пальцами перебирал содержимое своего злополучного «пакета» — продовольственный аттестат, письмо из тюрьмы в адрес лагерей, куда он вез этап, и список, список, список. И из всех бумаг, из всех строк он видел только цифру «192». А 191 арестант были заперты в закрытых наглухо вагонах. Про-

мокшие люди ругались и, стащив с себя пиджаки и пальто, старались подсушить одежду на ветру у щели дверей вагона.

Куршаков был растерян, подавлен побегом. Конвойные, свободные от наряда, пугливо молчали в углу вагона, а на лице помощника Куршакова, старшины Лазарева, отражалось попеременно все то, что было на лице его начальника — беспомощность, страх...

— Что делать? — сказал Куршаков.— Что делать?

— Дай-ка список.

Куршаков протянул Лазареву несколько измятых, сколотых булавкой бумажных листков.

— Номер «шестьдесят»,— прочел Лазарев.— Онже Берды, статья сто шестьдесят вторая, срок десять лет.

— Вор,— сказал Лазарев, вздыхая.— Вор. Зверь какой-то.

Частое общение с воровским миром приучило конвойных пользоваться «блатной феней», воровским словарем, где зверями называются жители Средней Азии, Кавказа и Закавказья.

— Зверь,— подтвердил Куршаков.— И говорить-то, наверное, по-русски не умеет. Мычал, наверное, на поверках. Шкуру с нас, брат, снимут за этого...— и Куршаков приблизил листок к глазам и с ненавистью прочел: — Берды...

— А может, и не снимут,— внезапно окрепшим голосом выговорил Лазарев. Блестящие бегающие глаза его поднялись вверх.— Есть одна думка.— Он быстро зашептал в ухо Куршакову.

Лейтенант недоверчиво покачал головой:

— Не выйдет ведь ничего...

— Попытать можно,— сказал Лазарев.— Фронт-то небось... Война небось.

— Действуй,— сказал Куршаков.— Здесь простоим еще суток двое — я на станции узнавал.

— Денег дай,— сказал Лазарев.

К вечеру он вернулся.

— Туркмен,— сказал он Куршакову.

Куршаков пошел к вагонам, открыл дверь первой теплушки и спросил у заключенных — нет ли среди них человека, знающего хоть несколько слов по-туркменски. В теплушке ответили, что нет, и Куршаков дальше не ходил. Он перевел «с вещами» одного из заключенных в ту теплушку, откуда бежал арестант, а в первый вагон

конвойные втолкнули какого-то оборванного человека, охрипшего, кричащего что-то важное, страшное на непонятном языке.

— Поймали, проклятые,— сказал высокий арестант, освобождая беглецу место. Тот обнял ноги высокого и заплакал.

— Брось, слышь ты, брось,— хрипел высокий.

Беглец что-то быстро говорил.

— Не понимаю, брат,— сказал высокий.— Ешь вот суп, у меня в котелке остался.

Беглец похлебал супу и заснул. Утром он снова кричал и плакал, выскочил из вагона и кинулся в ноги Куршакову. Конвоиры загнали его обратно в вагон, и до самого конца пути беглец лежал под нарами, вылезая только тогда, когда раздавали пищу. Он молчал и плакал.

Сдача этапа прошла вполне благополучно для Куршакова. Отпустив несколько ругательств по адресу тюрьмы, пославшей этап без «личных дел», дежурный комендант вышел принимать этап и начал перекличку по списку. Пятьдесят девять человек отошли в сторону, а шестидесятый не выходил.

— Это беглец,— сказал Куршаков.— Он у меня в Новосибирске сорвался, да мы его нашли. На базаре. Вот горюшка-то хватили. Я вам покажу его. Зверь — по-русски ни слова.

Куршаков вывел за плечо Берды. Затворы винтовок щелкнули, и Берды вошел в лагерь.

— Как его фамилия?

— А вот,— Куршаков указал.

— Онже Берды,— прочел комендант.— Статья сто шестьдесят вторая, срок десять лет. Зверь, а боевой...

Комендант твердой рукой написал против фамилии Берды: «Склонен к побегу, пытался бежать во время следования».

Через час Берды вызвали. Он обрадованно вскочил, ему казалось, что все разъяснится, сейчас он будет свободен. Он весело бежал впереди конвоира.

Его отвели в конец двора, к бараку, отгороженному тройным рядом колючей проволоки, толкнули в ближайшую дверь, в вонючую темноту, откуда гудели голоса.

— Зверюга, братцы...

Я встретился с Берды Онже в больнице. Он уже немного говорил по-русски и рассказал, как три года назад на базаре в Новосибирске с ним долго пытался разговориться

русский солдат, патрульный, как думает Берды. Солдат повел туркмена для выяснения личности на вокзал. Солдат разорвал документы Берды и втолкнул его в арестантский вагон. Настоящая фамилия Берды — Тошаев, он крестьянин глухого аула близ Чарджоу. В поисках хлеба и работы вместе с земляком, знавшим по-русски, доплелись они до Новосибирска, товарищ ушел куда-то на базаре.

Что он, Тошаев, подавал уже несколько заявлений, ответа еще нет. «Личного дела» на него так и не пришло, он числится в группе «безучетников» — лиц, содержащихся в заключении без документов. Что он привык уже откликаться на фамилию Онже, что ему хочется домой, что здесь холодно, что он часто болеет, что на родину он писал, но сам писем не получал, возможно, потому, что его часто переводят с места на место.

Берды Онже хорошо выучился говорить по-русски, но за три года не научился есть ложкой. Он брал обеими руками миску — суп всегда бывал чуть теплым — миска не могла обжечь ни пальцев, ни губ... Берды пил суп, а то, что оставалось на дне, вытаскивал пальцами... Кашу он ел также пальцами, отложив в сторону ложку. Это было потехой всей палаты. Разжевав кусочек хлеба, Берды превращал его в тесто и раскатывал вместе с золой, выгребая ее из печи. Туго замесив тесто, он скатывал шарик и сосал его. Это был «гашиш», «анаша», «опиум». Над этим эрзацем не смеялись — каждому приходилось не раз крошить сухие березовые листья или смородинный корень и курить вместо махорки.

Берды удивился, что я сразу понял суть дела. Ошибка машинистки, занумеровавшей продолжение кличек того человека, который шел под номером «59», беспорядок и путаница в торопливых отправках тюремных этапов военного времени, рабский страх Куршаковых и Лазаревых перед своим начальством...

Но ведь был живой человек — номер пятьдесят девятый. Он-то мог сказать, что кличка «Берды» принадлежит ему? Мог, конечно. Но каждый развлекается как может. Каждый рад смущению и панике в рядах начальства. Навести начальство на истинный путь может только фрайер, а не вор. А пятьдесят девятый номер был вор.

ПРОТЕЗЫ

Лагерный изолятор был старый-старый. Казалось, толкни деревянную стенку карцера — и стена упадет, рассыплется изолятор, раскатятся бревна. Но изолятор не падал, и семь одиночных карцеров верно служили. Конечно, любое слово, сказанное громко, слышали бы соседи. Но те, кто сидели в карцере, боялись наказания. Дежурный надзиратель ставил на камере мелом крест — и камера лишалась горячей пищи. Ставил два креста — лишалась и хлеба. Это был карцер по лагерным преступлениям; всех подозреваемых в чем-то более опасном — увозили в управление.

Сейчас впервые внезапно были арестованы все начальники лагерных учреждений из заключенных — все заведующие. Клеилось какое-то крупное дело, готовился какой-то лагерный процесс. По чьей-то команде.

И вот все мы, шестеро, стояли в тесном коридоре изолятора, окруженные конвоирами, чувствуя и понимая только одно: что нас опять зацепили зубья той же машины, что и несколько лет назад, что причину мы узнаем лишь завтра, не раньше...

Всех раздевали до белья и заводили каждого в отдельный карцер. Кладовщик записывал принятые на хранение вещи, заталкивал в мешки, привязывал бирки, писал. Следователь, я знал его фамилию — Песнякевич — управлял «операцией».

Первый был на костылях. Он сел на скамейку возле фонаря, положил костыли на пол и стал раздеваться. Стальной корсет обнажился.

— Снимать?

— Конечно.

Человек стал развязывать веревки корсета, и следователь Песнякевич нагнулся помочь.

— Уличаешь, старый приятель? — по-блатному сказал человек, вкладывая в слово «уличаешь» блатной, неоскорбительный смысл.

— Узнаю, Плеве.

Человек в корсете был Плеве, заведующий портновской мастерской лагеря. Это было важное место с двадцатью мастерами, работавшими на заказ и на вольный заказ по разрешению начальства.

Голый человек свернулся на скамейке. Стальной корсет лежал на полу — шла запись в протоколе отобранных вещей.

— Как записывать эту штуку? — спросил кладовщик изолятора у Плеве, толкая носком сапога корсет.

— Стальной протез — корсет,— ответил голый человек.

Следователь Песнякевич отошел куда-то в сторону, и я спросил у Плеве:

— Ты правда знал этого легаша по воле?

— А как же! — сказал Плеве жестко.— Его мать в Минске бордель держала, а я туда ходил. Еще при Николае Кровавом.

Из глубины коридора вышел Песнякевич и четыре конвоира. Конвоиры взяли Плеве за ноги и под руки и внесли в карцер. Замок щелкнул.

Следующим был заведующий конбазой Караваев. Бывший буденновец, в гражданскую он потерял руку. Караваев постучал железом протеза о стол дежурного:

— Вы, суки.

— Снимай свое железо. Сдавай руку.

Караваев взмахнул отвязанным протезом, но на конноармейца навалились конвоиры и втолкнули его в карцер. Витиеватый мат донесся к нам.

— Слушай, ты, Ручкин,— заговорил заведующий изолятором,— за шум — лишаем горячей пищи.

-- Иди ты со своей горячей пищей.

Заведующий изолятором вынул из кармана кусок мела и поставил на карцере Караваева крест.

· Ну, кто же распишется, что сдал руку?

— Да никто не распишется. Поставь какую-нибудь птичку,— скомандовал Песнякевич.

Была очередь врача, доктора нашего Житкова. Глухой старик, он сдал ушной слуховой рожок. Следующим был полковник Панин, заведующий столярной мастерской. У полковника оторвало ногу снарядом где-то в Восточной Пруссии на германской. Столяр он был превосходный и рассказывал мне, что у дворян детей всегда обучали какому-нибудь ремеслу, ручному ремеслу. Старик Панин отстегнул протез и ускакал на одной ноге в свой карцер

Нас осталось двое — Шор, Гриша Шор, старший бригадир, и я.

— Смотри, как ловко идет,— сказал Гриша, им овла-

девала нервная веселость ареста,— тот ногу, этот руку. А я вот сдам — глаз.— И Гриша ловко вынул свой правый фарфоровый глаз и показал мне его на ладони.

— Да разве у тебя искусственный глаз? — удивленно сказал я.— Никогда не замечал.

— Плохо замечаешь. Да и глаз хорошо подобрался, удачно.

Пока записывали Гришин глаз, заведующий изолятором развеселился и хихикал неудержимо.

— Тот, значит, руку, тот ногу, тот ухо, тот спину, а этот — глаз. Все части тела соберем. А ты чего? — Он внимательно оглядел меня голого.

— Ты что сдашь? Душу сдашь?

— Нет,— сказал я.— Душу я не сдам.

ПОГОНЯ ЗА ПАРОВОЗНЫМ ДЫМОМ

Да, это было моей мечтой: услышать гудок паровоза, увидеть белый паровозный дым, стелющийся по откосу железнодорожной насыпи.

Я ждал белого дыма, ждал живого паровоза.

Мы ползли изнемогая и не решаясь бросить бушлаты, полушубки, пятнадцать всего километров нам осталось до дома, до бараков. Но мы боялись бросить бушлаты и полушубки прямо на дороге, бросить в кювет и бежать, идти, ползти, избавиться от страшной тяжести одежды. Мы боялись бросить бушлаты — одежда через несколько минут превратится зимней ночью в мерзлый куст стланика, в камень обледеневший. Ночью мы никогда не найдем одежды, она потеряется в зимней тайге, как терялась телогрейка летом среди кустов стланика, если не привязать к самой вершине кустов, как веху, веху жизни. Мы знали, что без бушлатов и полушубков мы не спасемся. И мы ползли, теряя силы, согреваясь в поту и — лишь остановишь движение — чувствуя, как мертвящий холод проползает по бессильному телу, потерявшему свою главную способность — быть источником тепла, простого тепла, рождающего если не надежды, то злобу.

Мы ползли все вместе, вольные и заключенные. Шофер, у которого кончился бензин, остался ждать помощь,

которую вызовем мы. Остался, собрав костер из единственного сухого дерева, которое оказалось под рукой — из дорожных вешек. Спасение шофера грозило, может быть, смертью другим машинам — ведь все дорожные вешки были собраны, сломаны и положены в костер, горящий небольшим, но спасительным огнем, и шофер согнулся над костром, над пламенем, время от времени подкладывая очередную палочку, щепочку — шофер даже не думал согреться, погреться. Он только берег жизнь... Если бы шофер бросил машину, уполз вместе с нами по холодным острым камням горного шоссе, бросил груз — шофер получил бы срок. Шофер ждал, а мы ползли — за помощью.

Я полз, стараясь не сделать ни одной лишней мысли — мысли были как движения — энергия не должна быть потрачена ни на что другое, как только на царапанье, переваливание, перетаскивание своего собственного тела вперед по зимней ночной дороге.

И все же паровозным дымом казалось наше собственное дыхание на пятидесятиградусном морозе. Серебряные лиственницы в тайге казались взрывом паровозного дыма. Белая мгла, которой было закрыто небо и наполнена наша ночь, тоже была паровозным дымом, дымом моей многолетней мечты. В этом безмолвии белом я услышал не шум ветра, услышал музыкальную фразу с неба и ясный, мелодичный, звонкий человеческий голос, звучащий прямо в морозном воздухе над нами. Музыкальная фраза была галлюцинацией, звуковым миражем, в нем было что-то от паровозного дыма, заполнившего мое ущелье. Человеческий голос был только продолжением, логическим продолжением этого зимнего музыкального миража.

Но я увидел, что этот голос слышу не я один. Все ползущие слышали этот голос. Холодея, но не в силах двинуться. В голосе с неба было что-то большее, чем надежда, большее, чем наше черепашье движение к жизни. Голос с неба повторял: передаю сообщение ТАСС. Пятнадцать врачей... Их незаконно обвинили, они ни в чем не повинны, их признания получены путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия.

Врачей отпустили. Вот это номер! А как же почта Лидии Тимашук и орден. Как журналистка Елена Кононенко, прославлявшая бдительность и героиню этой са-

мой бдительности, бдительность олицетворенную, персонифицированную бдительность, бдительность, показанную на обозрение всему миру.

Ибо смерть Сталина не произвела на нас, многоопытных, надлежащего впечатления.

Уже давно играла какая-то небесная музыка, когда мы поползли вперед. Никто не сказал ни слова — каждый справлялся с новостью сам.

Уже замерцали огни поселка. Навстречу к ползущим выходили их жены, подчиненные и начальники. Навстречу мне не вышел никто — я сам должен был доползти до барака, до комнаты, до койки, зажечь и растопить железную печку. И когда я согрелся, напился горячей воды, согретой в кружке прямо в печке, на горящих дровах, выпрямился перед огнем, чувствуя, как теплый свет пробегает по моему лицу — не вся же кожа лица была отморожена раньше — были ведь и сохранившиеся пятна, дольки, части. Я принял решение.

На следующий день я подал заявление об увольнении.

— Увольнение — в руце божией,— насмешливо сказал начальник района, но заявление принял, и с очередной фельдъегерской почтой это заявление увезли.

«На Колыме я семнадцать лет. Прошу меня уволить. Я не пользуюсь, как бывший заключенный, никакими правами на выслугу лет, на начисления. Расходов по моему увольнению государство почти не несет. Прошу». Через две недели я получил ответ-отказ без всяких мотивировок. Тут же я написал протест прокурору, требуя вмешательства и так далее.

Суть была в том, что если возникает какая-нибудь надежда — должны быть сняты или разбиты всякие юридические оковы — чтобы формальности, бумажки не задержали. Скорее всего — переписка моя бесполезна. А вдруг...

В клубе сорвали портреты Берии, а я все писал, писал... Арест Берии не укрепил меня в моих надеждах. Те события совершались как бы сами по себе, и тайная их связь с моей судьбой не ощущалась явно. Не о Берии мне надо было думать.

Прокурор ответил через две недели. Это был прокурор, занимавший высокие должности в соседнем управлении. Прокурор был снят с работы и переведен в захолустье. Жена прокурора торговала швейными машинами по

удесятеренным ценам — об этом даже был написан фельетон. Прокурор пробовал обороняться наиболее привычным оружием — доносил, что дневальный начальника управления Азбукин торгует среди заключенных махоркой по десять рублей за цигарку. А махорку получает в посылках с «материка» самолетами, чуть ли не дипломатической почтой — по особым весовым багажным нормам для высшего начальства, а то и вовсе без всяких норм. За столом начальника управления садилось по двадцать человек ежедневно, и никакие полярные ставки, никакие выслуги лет не могли покрыть расходов на вино, на фрукты. Начальник управления был нежный семьянин, отец двух детей. Все расходы покрывала продажа махорки — десять рублей самодельная папироса — восемь спичечных коробков, шестьдесят папирос в пачке-осьмушке. Шестьсот рублей восьмушка, пятьдесят граммов — игра стоила свеч.

Прокурор, посягнувший на способ обогащения, был немедленно снят и переведен к нам, в захолустье. Прокурор следил за выполнением закона, быстро отвечал на письма, вдохновленный ненавистью к начальству, разгоряченный борьбой с начальством.

Я написал второе заявление: «Мне было отказано в увольнении. Теперь, посылая вам справку прокурора...»

Через две недели я получил отказ. Без всякой мотивировки — как будто мне нужен был заграничный паспорт, когда не объясняют причин отказа.

Я написал областному прокурору, прокурору Магаданской области, и получил ответ, что я имею право на увольнение и выезд. Борьба «высших сил» перешла в какую-то новую стадию. Каждый «поворот руля» оставлял следы в виде многочисленных приказов, разъяснений, разрешений. Нащупывалось какое-то соответствие, мои заявления попадали, как говорят блатные, «в цвет». В цвет времени?

Через две недели я получил отказ. Без всякой мотивировки. И хоть я писал многократно слезные письма моему начальнику — начальнику санотдела управления фельдшеру Цапко — никаких ответов от Цапко я не получал.

Триста километров было от моего участка до управления, до ближайшего врачебного участка.

Я понял, что нужна личная встреча. И Цапко приехал

вместе с новым начальником лагерей, обещал мне многое, все обещал — даже увольнение.

— Подберу, как приедем назад. Да оставайся еще на зиму. Весной уедешь.

— Нет. Если даже меня не уволят совсем, из вашего управления я обязательно уйду.

Мы расстались. Август переходил в сентябрь. Кончился обратный ход рыбы из ручьев. Но я не интересовался ни вершами, ни взрывами, после которых всплывала рыба и белые брюха горбуши и кеты качались на горных волнах, заносились в речные затоны и гнили, тухли.

Должен был прийти случай. И случай пришел. Наш район посетил сам начальник дорожного управления инженер-полковник Кондаков. Ночевал он в избе начальника района. Торопясь, боясь, что Кондаков заснет, я постучал в дверь.

— Войдите.

Кондаков сидел за столом, расстегнув китель и растирая натертый воротником красный след, опоясывающий круглую белую шею.

— Фельдшер района. Разрешите обратиться по личному делу.

— В дороге я ни с кем не разговариваю.

— Я это предвидел,— холодно и спокойно сказал я.— Я написал вам письмо-заявление. Вот конверт — там все сказано. Не откажите прочесть в то время, когда найдете нужным.

Кондакову стало неловко, и он перестал возиться с воротом гимнастерки. Как-никак Кондаков был инженером, человеком с высшим, пусть техническим образованием

— Садитесь. Расскажите, в чем дело.

Я сел и рассказал.

— Если все так, как вы говорите, я обещаю вам уволить вас, как только вернусь в управление. Дней через десять.

И Кондаков записал в крошечную книжечку мою фамилию.

Через десять дней мне позвонили из управления — друзья позвонили, если у меня были там друзья. Или просто любопытные, зрители, а не актеры, которые спокойно много часов подряд, много лет следят, как рыба вырывается из дырявой верши, как лиса отгрызает лапу,

чтобы уйти из капкана. Следят, не делая попытки ослабить капкан и выпустить лису. Просто — следят за борьбой зверя и человека.

Телефонограмма — из района в управление за мой собственный счет. Разрешение на такую телеграмму я вымолил у начальника района... Никакого ответа.

Колымская зима наступила. Лед затянул ручьи, и только кое-где на быстринах текла, бежала, жила вода, дымящаяся, как паровозный пар.

Нужно было спешить, спешить.

— Я отправляю тяжелобольного в управление,— доложил я начальнику. У больного был разыгравшийся язвенный стоматит на почве недоедания, авитаминоза, язвенный стоматит, который так легко смешать с дифтерией. На такие отправки мы имели право; более того — обязаны были отправлять. По приказу, по закону, по совести.

— А кто будет сопровождать?

— Я.

— Сам?

— Да. На неделю закроем медпункт.

Такие случаи бывали и раньше, и начальник об этом знал.

— Я опись составлю. Во избежание кражи. И шкаф под пломбу уполномоченного.

— Вот это правильно.— Начальник успокоился.

Мы выехали на попутных, замерзали, отогреваясь через каждые тридцать километров — и на третьи сутки, еще засветло, добрались до управления в желто-белой дневной колымской мгле.

Первый человек, которого я увидел — был фельдшер Цапко, начальник санотдела.

— Привез тяжелобольного,— доложил я, но Цапко смотрел не на больного, а на чемоданы — у меня были даже чемоданы — фанерные, самодельные,— где были книги, дешевый мой костюм бумажный, белье — подушка, одеяло... Цапко все понял.

— Без начальника разрешения на отъезд не даю.

Пошли к начальнику. Это был маленький начальник, по сравнению с инженер-полковником Кондаковым. По нетвердости его тона, неуверенности ответов я понял, что пришли какие-то новые приказы, новые «разъяснения»...

— Не хочешь остаться еще на зиму? — Был конец октября. Зима была уже в разгаре.

— Нет.

— Ну что ж. Раз не хочет, не держите...

— Слушаюсь, товарищ начальник! — Цапко вытянулся перед начальником лагеря, щелкнул каблуками, и мы вышли в грязный коридор.

— Ну так вот,— с удовольствием сказал Цапко.— Ты добился всего, чего хотел. Мы тебя увольняем на все четыре стороны. На материк поедешь. На твое место назначен фельдшер Новиков. Он, как и я — с фронта, с войны. Поедете с ним назад к тебе — там все сдашь по всей форме, и тогда приезжай за расчетом.

— За триста километров? Да снова сюда — да ведь на эту поездку месяц уйдет. Не меньше.

— Больше я сделать ничего не могу. Все сделал.

Я понял, что и беседа с начальником лагеря была обманом, приготовлена была заранее.

На Колыме нельзя советоваться ни с кем. У заключенного и бывшего заключенного нет друзей. Первый же советчик побежит к начальнику, чтобы рассказать, выдать товарища, проявить бдительность.

Цапко давно ушел, а я все сидел на полу в коридоре и курил, курил.

— А что это за Новиков? Фельдшер с фронта?

Я нашел Новикова. Это был оглушенный Колымой человек. Его одиночество, трезвость, неуверенный взгляд говорили, что Колыма для Новикова оказалась совсем не такой, совсем не такой, какую он ждал, начиная охоту за длинными рублями. Новиков был слишком новичком, слишком фронтовиком.

— Слушай,— сказал я.— Ты с фронта. Я здесь семнадцать лет. Отбыл два срока. Сейчас меня увольняют. Я увижу семью. На фельдшерском пункте моем все в порядке. Вот опись. Все под пломбой. Подпиши приемный акт заглазно...

Новиков подписал, не советуясь ни с кем.

Я не пошел к Цапко докладывать о том, что акт подписан. Я пошел прямо в бухгалтерию. Бухгалтер посмотрел мои документы — все справки, все бумажки.

— Ну что ж,— сказал.— Можешь получить расчет. Только есть одна закавыка. Вчера получена телефонограмма из Магадана — все увольнения прекратить до весны, до будущей навигации.

— Да что мне навигация. Ведь я самолетом.

— Так приказ общий, сам ведь знаешь. Не вчера родился.

Я снова сидел на полу в конторе и курил, курил. Прошел Цапко.

— Не уехал еще?

— Нет, не уехал.

— Ну, бывай...

Разочарование было почему-то неглубоким. К таким ударам в спину я привык. Но сейчас не должно было ничего случиться плохого. Я всем телом, всей волей своей еще был в движении, в стремлении, в борьбе. Просто что-то было не додумано. Какая-то ошибка есть у судьбы в холодном ее расчете, в игре со мной. Вот ее ошибка. Я пошел к секретарю начальника, того самого инженер-полковника Кондакова — он снова был в отъезде.

— Была вчера телефонограмма о прекращении увольнений?

— Была.

— Но ведь я,— я чувствовал, как пересохло горло, и едва выговаривал слова,— ведь я уволен еще месяц назад. По приказу 65. Ко мне не должна относиться вчерашняя телефонограмма. Я уже уволен. Месяц назад. Я — в пути, в дороге...

— Да, вроде так,— согласился лейтенант.— Пойдем к бухгалтеру!

Бухгалтер согласился с нами, но сказал:

— Подождем возвращения Кондакова. Пусть он решает.

— Ну,— сказал лейтенант.— Не советую. Приказ сам Кондаков подписывал. По собственному. Никто ему не подкладывал на подпись. Он с тебя шкуру сдерет за невыполнение.

— Хорошо,— сказал бухгалтер, косо взглянув на меня.— Только,— бухгалтер пощелкал пальцами,— дорога за свой собственный счет.

Билет до Москвы самолетом и поездом стоил три с половиной тысячи рублей, и я имел право на оплату дороги Дальстроем, моим хозяином в течение четырнадцати заключенных и трех вольных — не вольных, а вольнонаемных лет.

Но по тону главного бухгалтера я понял, что здесь он не сделает мне ни малейшей уступки.

На книжке моей — бывшего зэка — без начислений

за выслугу лет — за три года скопилось шесть тысяч рублей.

Зайцы, которых я ловил, варил, жарил и ел, рыба, которую я ловил, варил, жарил и ел — помогли скопить мне эту удивительную сумму.

Я заплатил в кассу деньги, получил аккредитив на три тысячи, документы, пропуск до аэропорта Оймякона, и стали искать машину попутную. Машина скоро нашлась. Двести рублей — двести километров. Я продал одеяло, подушку — к чему это все в самолете, продал книги медицинские тому же Цапко по казенной цене — уж Цапко продаст учебники и справочники по цене удесятеренной. Но мне некогда было об этом думать.

Хуже было другое. Я потерял талисман — самодельный нож, который возил с собой много лет. Я спал на мешках с мукой и выронил, очевидно, из кармана. Чтобы найти нож, надо было разгружать машину.

Рано утром мы приехали в Оймякон, где я работал год назад, в Томтор, в милое мое почтовое отделение, где столько писем я отправил и столько писем получил. Слез около гостиницы аэропорта.

— Слышь, ты,— сказал шофер грузовика,— ты ничего не потерял?

— Я нож потерял на муке.

— Вот он. Я доску кузовую открыл, нож выпал на дорогу. Доброе перышко.

— Возьми это перышко себе. На память. Мне не нужен больше талисман.

Но радость моя была преждевременной. В Оймяконском порту нет рейсовых самолетов, и пассажиров скопилось еще с осени на десятки машин. Списки по четырнадцать человек, ежедневная перекличка. Транзитная жизнь.

— Когда был последний самолет?

— Был неделю назад.

Значит, придется тут просидеть до весны. Зря я отдал свой талисман шоферу.

Я пошел в лагерь, к прорабу, где год назад работал фельдшером.

— На материк собрался?

— Да. Помоги уехать.

— Завтра к Вельтману вместе пойдем.

— А капитан Вельтман все еще начальником аэропорта?

— Да. Только он не капитан, а майор. Нашивки новые недавно получил.

Утром прораб и я вошли в кабинет Вельтмана, поздоровались.

— Вот — наш малый уезжает.

— А что же он сам не пришел? Он меня знает не хуже, чем тебя, прораб.

— Да просто для крепости, товарищ майор.

— Хорошо. У тебя вещи где?

— Все со мной,— я показал маленький фанерный чемоданчик.

— Вот и отлично. Иди в гостиницу и жди.

— Да я...

— Молчать! Делай как приказано. А ты, прораб, трактор завтра дашь, ровнять аэродром, а... Без трактора...

— Дам, дам,— сказал, улыбаясь, Супрун.

Я распрощался и с Вельтманом и с прорабом и вошел в коридор гостиницы и, ступая через ноги и тела, добрался до свободного места у окна. Здесь было, правда, похолодней, но потом, через несколько самолетов, через несколько очередей, я передвинусь к печке, к самой печке.

Прошел какой-нибудь час, и лежавшие вскочили на ноги, прислушиваясь жадно к небу, к гуду.

— Самолет!

— Грузовой «дуглас»!

— Не грузовой, а пассажирский.

По коридору метался дежурный аэропорта в шапке-ушанке с кокардой, держа в руках список — тот самый список на четырнадцать человек, который уже не первый месяц учили здесь наизусть.

— Все, кого вызвал, быстрее покупайте билеты. Летчик пообедает и в путь.

— Семенов!

— Есть!

— Галицкий!

— Есть!

— А почему моя фамилия вычеркнута? — бесновался четырнадцатый.— Я же в очереди тут третий месяц.

— Что вы мне говорите? Это начальник порта вычеркнул. Вельтман — своей рукой. Только что. Вас отправят со следующим самолетом. Достаточно? А если хотите спо-

рить — вот кабинет Вельтмана. Он — там... Он вам и объяснит.

Но на объяснения четырнадцатый не решился. Мало ли что может случиться. Физиономия четырнадцатого Вельтману не понравится. И тогда не только не увезут на следующем самолете, а вычеркнут вовсе из списков. Бывало и такое.

— А кого вписали?

— Да вот неразборчиво,— дежурный с кокардой вглядывался в новую фамилию и вдруг выкрикнул мою фамилию.

— Вот я.

— К кассиру — быстро.

Я думал: не буду играть в благородство, я не откажусь, я уеду, улечу. За мной семнадцать лет Колымы.

Я бросился к кассиру, последний, вытаскивая неприготовленные документы, комкая деньги, роняя на пол вещи.

— Беги быстро,— сказал кассир.— Ваш летчик уже пообедал, а сводки плохие — надо погоду проскочить, добраться до Якутска.

Этот неземной разговор я слушал чуть дыша.

Летчик во время посадки подрулил самолет поближе к двери столовой. Посадка давно была кончена. Я бежал со своим фанерным чемоданчиком к самолету. Не надевая рукавиц, зажав в стынущих пальцах покрытый инеем самолетный билет, я задыхался от бега.

Дежурный по аэродрому проверил мой билет, подсадил в люк. Летчик задвинул люк, прошел в кабину.

— Воздух!

Я добрался до места, до кресла, не в силах думать ни о чем, не в силах ничего понимать.

Сердце стучало, стучало целых семь часов, пока самолет не оказался внезапно на земле. Якутск.

В Якутском аэропорту мы спали в обнимку с новым моим товарищем — соседом по самолету. Нужно было высчитать самый дешевый путь до Москвы — хоть у меня путевые документы были до Джамбула, я понимал, что колымские законы вряд ли действуют на Большой земле. Вероятно, можно будет устроиться на работу и на жизнь и не в Джамбуле. У меня еще будет время об этом размыслить.

А пока — дешевле всего до Иркутска самолетом, а

там поездом до Москвы. Пять суток там. Или можно еще до Новосибирска, а там — тоже в Москву по железной дороге. Какой самолет раньше отправляется... Я купил билет на Иркутск.

До самолета оставалось несколько часов, и за эти несколько часов я прошел Якутск, вглядываясь в замороженную Лену, в молчащий одноэтажный, похожий на большую деревню город. Нет, Якутск еще не был городом, не был Большой землей. В нем не было паровозного дыма.

ПОЕЗД

На Иркутском вокзале я лег под свет электрической лампочки, ясный и резкий — как-никак в поясе у меня были зашиты все мои деньги. В полотняном поясе, который мне шили в мастерской два года назад, и ему наконец предстояло сослужить свою службу. Осторожно ступая через ноги, выбирая дорожки между телами грязными, вонючими, рваными, ходил по вокзалу милиционер и — что было еще лучше — военный патруль с красными повязками на рукавах, с автоматами. Конечно, милиционеру было бы не справиться со шпаной — и это, вероятно, было установлено гораздо ранее моего появления на вокзале. Не то что я боялся, что у меня украдут деньги. Я давно уже ничего не боялся, а просто с деньгами было лучше, чем без денег. Свет падал мне в глаза, но тысячи раз ранее падал мне свет в глаза, и я выучился превосходно спать при свете. Я поднял воротник бушлата, именуемого в официальных документах полупальто, всунул руки в рукава покрепче, чуть-чуть опустил валенки с ног; пальцам стало свободно, и я заснул. Сквозняков я не боялся. Все было привычно: паровозные гудки, двигавшиеся вагоны, вокзал, милиционер, базар около вокзала — как будто я видел только многолетний сон и сейчас проснулся. И я испугался, и холодный пот выступил на коже. Я испугался страшной силе человека — желанию и умению забывать. Я увидел, что готов забыть все, вычеркнуть двадцать лет из своей жизни. И каких лет! И когда я это понял, я победил сам себя. Я знал, что я не позволю моей памяти забыть все, что я видел. И я успокоился и заснул.

Я проснулся, перевернул портянки сухой стороной, умылся снегом — черные брызги летели во все стороны, и отправился в город. Это был первый настоящий город за восемнадцать лет. Якутск был большой деревней. Лена отошла от города далеко, но жители боялись ее возвращения, ее размывов, и песчаное русло-поле было пустым,— там была только вьюга. Здесь, в Иркутске, были большие дома, беготня жителей, магазины.

Я купил там пару трикотажного белья — такого белья я не носил восемнадцать лет. Мне доставляло несказанное удовольствие стоять в очередях, платить, протягивать чек. «Номер?» Я забыл номер. «Самый большой». Продавщица неодобрительно покачала головой. «Пятьдесят пятый?» — «Вот-вот». И она завернула мне белье, которого и носить не пришлось, ибо мой номер был «51» — это я выяснил уже в Москве. Продавщицы были одеты все в синие одинаковые платьица. Я купил еще помазок и перочинный нож. Эти чудесные вещи стоили баснословно дешево. На Севере все такое было самодельным — и помазки и перочинные ножи.

Я зашел в книжный магазин. В букинистическом отделе продавали «Русскую историю» Соловьева — за 850 рублей все тома. Нет, книг я покупать до Москвы не буду. Но подержать книги в руках, постоять около прилавка книжного магазина — это было как хороший мясной борщ... Как стакан живой воды.

В Иркутске наши дороги разделились. Еще в Якутске, вчера, мы ходили по городу все вместе и билеты на самолет брали все вместе. В очередях стояли все вместе, вчетвером — доверять кому-либо деньги никому не приходило в голову. Это было не принято в нашем мире. Я дошел до моста и посмотрел вниз: на кипящую, зеленую, прозрачную до дна Ангару — могучую, чистую. И, трогая замерзшей рукой холодные бурые перила, вдыхая запах бензина и зимней городской пыли, я глядел на торопливых пешеходов и понял, насколько я горожанин. Я понял, что самое дорогое, самое важное для человека — время, когда рождается родина, пока семья и любовь еще не родились. Это время детства и ранней юности. И сердце мое сжалось. Я слал привет Иркутску от всей души. Иркутск был моей Вологдой, моей Москвой.

Когда я подходил к вокзалу, кто-то ударил меня по плечу.

— С тобой будут говорить,— сказал беленький маль-

чик в телогрейке и отвел меня в темноту. Немедленно из мрака вынырнул невысокий человек, внимательно на меня глядя.

Я увидел по взгляду, с кем я имею дело. Трусливый и наглый, льстивый и ненавидящий был этот так хорошо знакомый мне взгляд. Из темноты виднелись еще какие-то рожи, мне их знать было не надо — они появятся в свое время — с ножами, с гвоздями, с пиками в руках. Сейчас передо мной было только одно лицо с бледной, землистой кожей, с опухшими веками, с крошечными губами, как бы приклеенными к скошенному выбритому подбородку.

— Ты кто? — Он выставил грязную руку с длинными ногтями. Отвечать было необходимо. Никакой защиты ни патруль, ни милиционер тут оказать не могли.— Ты — с Колымы!

— Да, с Колымы.

— Ты где работал там?

— Фельдшером на партиях.

— Фельдшером? Лепилой? Кровь, значит, пил нашего брата. Есть с тобой разговор.

Я сжимал в кармане купленный новенький перочинный ножик и молчал. Надеяться можно было только на случай, на какой-нибудь случай. Терпение и случай — вот что спасало и спасает нас. И случай пришел. Два кита, на которых стоит арестантский мир.

Тьма расступилась.

— Я знаю его.— На свет появилась новая фигура, вовсе мне незнакомая. У меня была великая память на лица. Но этого человека я не видел никогда.

— Ты? — палец с длинным ногтем описал полукруг.

— Да, он работал на Кудыме,— сказал неизвестный.— Говорят, человек. Помогал нашим. Хвалили.

Палец с ногтем исчез.

— Ну, иди,— злобно сказал вор.— Мы подумаем.

Счастье было в том, что ночевать мне в вокзале было больше не надо. Поезд на Москву отходил сегодняшним вечером.

Утром был тяжелый свет электрических ламп — мутных, никак не хотевших погаснуть. В хлопающие двери виднелся иркутский день, холодный, светлый. Тучи людей, загромождавшие проходы, заполнявшие всякий квадратный сантиметр цементного пола, засаленной скамейки,—

если кто-нибудь встанет, двинется, уйдет. Нескончаемое стояние в очереди перед кассой — билет на Москву, на Москву, а там видно будет... Не в Джамбул, как указано в документах. Но кому нужны эти колымские документы в этой свалке людей, в этом бесконечном движении. Наступившая наконец моя очередь у окошка, судорожные движения, чтобы достать деньги, просунуть пачку блестящих кредиток в кассу, где они исчезнут — неминуемо исчезнут, как исчезла вся жизнь до этой минуты. Но чудо продолжало совершаться, и окошечко выбросило какой-то твердый предмет, шероховатый, твердый, тоненький, как ломтик счастья,— билет на Москву. Кассирша что-то кричала вроде того, что это — поезд смешанный, что плацкартное место — в смешанном вагоне, что настоящее можно взять только на завтра или на послезавтра. Но я не понял ничего, кроме слов «завтра» и «сегодня». Сегодня, сегодня. И, сжимая крепко билет, пытаясь ощущать все его грани своей бесчувственной, отмороженной кожей, я выдрался, выбрался на свободное место. Я был человек с самолета — у меня не было лишних вещей — только небольшой фанерный баульчик. Я был человек с Дальнего Севера — у меня не было лишних вещей — только маленький фанерный чемодан, тот самый, который я безуспешно пытался продать в Адыгалахе, собирая деньги на поездку в Москву. Дорогу мне не оплатили, но это все было пустяками. Главное — это твердая картонная дощечка железнодорожного билета.

Отдышавшись где-то в вокзальном углу — место мое под яркой лампой было, конечно, занято, я пошел через город и вернулся к вокзалу.

Посадка уже началась. На горке стоял игрушечный поезд, неправдоподобно маленький, просто несколько грязных картонных коробок поставлены были рядом — среди сотен других, где жили дорожники или эксплуатационники, где было развешено замороженное белье, хлопающее под ударами ветра.

Мой поезд ничем не отличался от этих вагонных составов превращенных в общежития.

Состав не был похож на поезд, следующий во столько-то часов в Москву, а был похож на общежитие. И там и тут спускались со ступенек вагонов люди, и там и тут по воздуху двигались какие-то вещи над головами движущихся людей. Я понял, что у поезда нет самого главного, нет жизни, нет обещания движения — нет паро-

воза. Действительно, ни у одного из общежитий не было паровоза. Мой состав был похож на общежитие. И я не поверил бы, что эти вагоны могут увезти меня в Москву, но посадка уже шла.

Бой, страшный бой у входа в вагон. Кажется, что работа вдруг кончилась на два часа раньше, чем надо, и все прибежали домой, в барак, к теплой печке и рвутся в двери.

Какие там проводники... Каждый искал свое место сам, сам закреплялся и укреплялся. Моя плацкартная средняя полка была, конечно, занята каким-то пьяным лейтенантом, беспрерывно рыгающим. Я стащил лейтенанта на пол и показал ему свой билет.

— У меня тоже билет на это место есть,— миролюбиво объяснил лейтенант, икнул, соскользнул на пол и тут же заснул.

Вагон все набивался и набивался людьми. Вверх поднимались и исчезали где-то вверху огромные какие-то тюки, чемоданы. Запахло резкой вонью овчинных тулупов, людского пота, грязи, карболки.

— Пересылка, пересылка,— повторял я, лежа на спине, вдвинутый в узкое пространство между средней и верхней полкой. Снизу вверх прополз мимо меня лейтенант с расстегнутым воротом, с красным помятым лицом. Лейтенант уцепился за что-то вверху, подтянулся на руках и исчез...

В суматохе, в крике вагонной этой транзитки я так и не услышал самого главного, что мне хотелось и надо было услышать, о чем я мечтал семнадцать лет, что стало для меня неким символом «материка», символом жизни, символом Большой земли. Я не услышал гудка паровоза. Я и не подумал о нем во время сражения за место в вагоне. Гудка я не услышал. Но дрогнули и качнулись вагоны, и вагон наш, наша пересылка, начал куда-то перемещаться, как будто я начинаю засыпать и барак плывет перед моими глазами.

Я заставил себя понять, что я еду — в Москву.

На стрелочном каком-то перегоне, тут же, у Иркутска, вагон тряхнуло, и сверху вывалилась и повисла фигура лейтенанта, крепко, впрочем, вцепившегося в верхнюю полку, на которой он спал. Лейтенант рыгнул, и прямо на мое место, а также и на полку моего соседа — обрушилась блевотина. Блевотина была неудержимой. Сосед снял свою шубу — не телогрейку, не бушлат, а пальто-

москвичку с меховым воротником и, матерясь неудержимо, стал счищать блевотину.

У соседа моего было бесконечное количество каких-то плетеных корзин, зашитых в рогожу и не зашитых. Время от времени из глубины вагона появлялись какие-то женщины, укутанные в деревенские платки, в полушубках, с точно такими же плетеными корзинами на плечах. Женщины что-то кричали моему соседу, тот махал им приветственно рукой.

— Свояченя! В Ташкент к родным поехала,— объяснял он мне, хотя я и не требовал никаких объяснений.

Ближайшую свою плетенку сосед охотно раскрывал и показывал. Кроме пиджачной потрепанной пары да еще кое-каких вещичек, в плетенке ничего не было. Зато было много фотографий — семейных и групповых — на огромных паспарту, фотографий, часть которых была еще дагерротипами. Фотография покрупнее извлекалась из плетенки, и сосед мой охотно и подробно объяснял, кто где тут стоит, кто убит на войне, а кто получил орден, кто учится на инженера. «А вот — я»,— непременно тыкал он в фотографию — куда-то посредине, и все, кому он показывал эти фотографии, покорно, вежливо и сочувственно кивали головой.

На третий день совместной жизни в этом трясущемся вагоне сосед мой, составив обо мне представление полное, ясное и безусловно правильное, хотя я ничего о себе не рассказывал, сказал мне быстро, пока внимание других соседей было чем-то отвлечено:

— У меня в Москве пересадка. Ты поможешь мне одну плетенку вытащить через проходную. Сквозь весы?

— Меня же встречают в Москве.

— Ах да. Я и забыл, что у вас — встреча.

— А что ты везешь?

— Что? Семечки. А из Москвы галоши повезем...

Ни на одной из станций я не выходил. Еда у меня была. Я боялся, что поезд обязательно уйдет без меня, что случится что-нибудь плохое — не может же счастье быть бесконечным.

Напротив на средней полке лежал какой-то человек в шубе, бесконечно пьяный, без шапки и рукавиц. Пьяные друзья посадили его в вагон, вручили билет проводнице. Сутки он ехал, потом где-то слез, вернулся с бутылкой

какого-то темного вина, выпил ее прямо из горлышка, бросил бутылку — на пол вагона. Бутылку ловко подхватила проводница и унесла ее в свое проводничье логово, заваленное одеялами, которых никто не брал в смешанном вагоне, простынями, которые никому не понадобились. За барьером из одеял в том же купе проводников на верхней, третьей полке обосновалась проститутка, едущая с Колымы, а может быть, и не проститутка, а превращенная Колымой в проститутку... Дама эта сидела недалеко от меня на нижнем месте, а качающийся свет тусклой вагонной свечи по временам падал на бесконечно утомленное лицо, на закрашенные чем-то, только не губной помадой, губы. Потом к ней кто-то подходил, что-то говорил, и она исчезала в купе проводников. «Пятьдесят рублей»,— сказал лейтенант, уже протрезвившийся и оказавшийся весьма милым молодым человеком.

Мы играли с ним в очень интересную игру. Когда в вагон садился новый пассажир, каждый из нас старался угадать профессию этого пассажира, возраст, занятие. Мы обменивались наблюдениями, потом он садился к пассажиру, заговаривал с ним и приходил ко мне с ответом.

Так дама с накрашенными губами, но с ногтями без следа лака была нами определена как медицинский работник, а леопардовая шубка, в которую дама была одета, явно искусственная, поддельная шубка, говорила, что ее обладатель скорее медицинская сестра или фельдшер, но не врач. Врач не носил бы искусственную шубку. О нейлоне, синтетике тогда еще не слыхивали. Заключение наше оказалось верным.

Время от времени мимо нашего купе пробегал откуда-то изнутри вагона двухлетний ребенок на кривых ножках, грязный, оборванный, голубоглазый. Бледные щечки его были покрыты какими-то лишаями. Через минуту-две вслед за ним шагал уверенно и твердо молодой отец — в телогрейке, с тяжелыми, крепкими, рабочими темными пальцами. Он ловил мальчика. Малыш смеялся, улыбался отцу, и отец улыбался мальчику и в радостном восторге возвращал малыша на место — в одно из купе нашего вагона. Я узнал их историю. Обычную колымскую историю. Отец — «бытовик» какой-то, только что освободился, уезжал на «материк». Мать ребенка не захотела возвращаться, и отец ехал с сыном, твердо решив вырвать ребенка, а может быть, и себя, из цепких объятий Колымы.

Почему не поехала мать? Может быть, это была обычная история. Нашла другого, полюбила колымскую вольную жизнь — она уже была вольняшкой и не хотела попадать на «материк» в положение человека второго сорта... А может быть, молодость отцветала. Или любовь, колымская любовь, кончилась, мало ли что? А может быть, и еще страшнее. Мать отбывала по пятьдесят восьмой статье — самой бытовой из всех бытовых — и знала, чем ей грозит возвращение на Большую землю. Новым сроком, новыми мученьями. На Колыме тоже нет гарантий от «срока», но — ее не будут ловить, как ловили всех на «материке».

Я ничего не узнал и ничего не хотел узнавать. Благородство, порядочность, любовь к своему ребенку, которого отец и видел-то, наверно, немного, ведь ребенок был в яслях, в детском саду.

Неумелые руки отца, расстегивающие детские штанишки, огромные разноцветные пуговицы, пришитые грубыми, неумелыми, но добрыми руками. Счастье отца и счастье мальчика. Этот двухлетний малыш не знал слова «мама». Он кричал: «Папа, папа!» И он, и темнокожий слесарь играли друг с другом, с трудом находя место среди пьяных, среди картежников, среди спекулянтских корзин и тюков. Эти-то два человека в нашем вагоне были, конечно, счастливы.

Пассажиру, который спал вторые сутки от Иркутска, который проснулся лишь затем, чтобы выпить, проглотить новую бутылку водки, или коньяка, или настойки, дальше спать не пришлось. Поезд тряхнуло. Спящий пьяный пассажир рухнул на пол и застонал, застонал. Вызванная проводниками медицинская помощь определила, что у пассажира перелом плеча. Его уволокли на носилках, и он исчез из моей жизни.

Внезапно в вагоне возникла фигура моего спасителя, или сказать — спаситель будет слишком громко, дело ведь тогда не дошло до чего-нибудь важного, кровавого. Знакомый мой сидел, меня не узнавая и как бы не желая узнавать. Все же мы переглянулись с ним, и я подошел к нему. «Хочу хоть до дому доехать, посмотреть родных» — вот последние слова этого блатаря, которые я слышал.

Вот это все: и резкий свет лампы на Иркутском вокзале, и спекулянт, везущий с собой чужие фотографии для камуфляжа, и блевотина, которую извергала на мою полку

глотка молодого лейтенанта, и грустная проститутка на третьей полке купе проводников, и двухлетний грязный ребенок, счастливо кричащий «папа! папа!» — вот это все и запомнилось мне как первое счастье, непрерывное счастье «воли».

Ярославский вокзал. Шум, городской прибой Москвы — города, который был мне роднее всех городов мира. Остановившийся вагон. Родное лицо жены, встречающей меня — так же, как и раньше, когда я возвращался из многочисленных своих поездок. На этот раз командировка была длительной — почти семнадцать лет. А самое главное — я возвращался не из командировки. Я возвращался из ада.



И. П. Сиротинской
Ире — мое бесконечное воспоминание, заторможенное в книжке «Левый берег».

В. ШАЛАМОВ

ПРОКУРАТОР ИУДЕИ

Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход «КИМ» с человеческим грузом. Рейс был последний, навигация кончилась. Сорокаградусными морозами встречал гостей Магадан. Впрочем, на пароходе были привезены не гости, а истинные хозяева этой земли — заключенные.

Все начальство города, военное и штатское, было в порту. Все бывшие в городе грузовики встречали в Нагаевском порту пришедший пароход «КИМ». Солдаты, кадровые войска окружили мол, и выгрузка началась.

За пятьсот километров от бухты все свободные приисковые машины двинулись к Магадану порожняком, подчиняясь зову селектора.

Мертвых бросали на берегу и возили на кладбище, складывали в братские могилы, не привязывая бирок, а составив только акт о необходимости эксгумации в будущем.

Наиболее тяжелых, но еще живых — развозили по больницам для заключенных в Магадане, Оле, Армани, Дукче.

Больных в состоянии средней тяжести везли в центральную больницу для заключенных — на левый берег Колымы. Больница туда только что переехала с двадцать третьего километра. Приди бы пароход «КИМ» год раньше — ехать за пятьсот километров не пришлось бы.

Заведующий хирургическим отделением Кубанцев, только что из армии, с фронта, был потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран, которые Кубанцеву в жизни не были ведомы и не снились никогда. В каждой приехавшей из Магадана машине были трупы умерших в пути. Хирург понимал, что это «легкие», транспортабельные, те, что полегче, а самых «тяжелых» оставляют на месте.

Хирург повторял слова генерала Риджуэя, которые где-то сразу после войны удалось ему прочитать: «Фронтовой опыт солдата не может подготовить человека к зрелищу смерти в лагерях».

Кубанцев терял хладнокровие. Не знал, что приказать, с чего начать. Колыма обрушила на фронтового хирурга слишком большой груз. Но надо было что-то делать. Санитары снимали больных с машин, несли на носилках в хирургическое отделение. В хирургическом отделении носилки стояли по всем коридорам тесно. Запахи мы запоминаем, как стихи, как человеческие лица. Запах этого первого лагерного гноя навсегда остался во вкусовой памяти Кубанцева. Всю жизнь он вспоминал потом этот запах. Казалось бы, гной пахнет везде одинаково и смерть везде одинакова. Так нет. Всю жизнь Кубанцеву казалось, что это пахнут раны тех первых его больных на Колыме.

Кубанцев курил, курил и чувствовал, что теряет выдержку, не знает, что приказать санитарам, фельдшерам, врачам.

— Алексей Алексеевич,— услышал Кубанцев голос рядом. Это был Браудэ, хирург из заключенных, бывший заведующий этим же самым отделением, только что смещенный с должности приказом высшего начальства только потому, что Браудэ был бывшим заключенным, да еще с немецкой фамилией.— Разрешите мне командовать. Я все это знаю. Я здесь десять лет.

Взволнованный Кубанцев уступил место командира, и работа завертелась. Три хирурга начали операции одновременно — фельдшера вымыли руки, как ассистенты. Другие фельдшера делали уколы, наливали сердечные лекарства.

— Ампутации, только ампутации,— бормотал Браудэ. Он любил хирургию, страдал, по его собственным словам, если в его жизни выдавался день без единой операции, без единого разреза.— Сейчас скучать не придется,— радовался Браудэ.— А Кубанцев хоть и парень неплохой, а растерялся. Фронтовой хирург! У них там все инструкции, схемы, приказы, а вот вам живая жизнь, Колыма!

Но Браудэ был незлой человек. Снятый без всякого повода со своей должности, он не возненавидел своего преемника, не делал ему гадости. Напротив, Браудэ видел растерянность Кубанцева, чувствовал его глубокую благодарность. Как-никак у человека семья, жена, сын-школьник. Офицерский полярный паек, высокая ставка, длинный рубль. А что у Браудэ? Десять лет срока за плечами, очень сомнительное будущее. Браудэ был из Саратова, ученик знаменитого Краузе и сам обещал очень много.

Но тридцать седьмой год вдребезги разбил всю судьбу Браудэ. Так Кубанцеву ли он будет мстить за свои неудачи...

И Браудэ командовал, резал, ругался. Браудэ жил, забывая себя, и хоть в минуты раздумья часто ругал себя за эту презренную забывчивость — переделать себя он не мог.

А про себя решил: «Уйду из больницы. Уеду на материк».

...Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход «КИМ» с человеческим грузом — тремя тысячами заключенных. В пути заключенные подняли бунт, и начальство приняло решение залить все трюмы водой. Все это было сделано при сорокаградусном морозе. Что такое отморожение третьей — четвертой степени, как говорил Браудэ,— или обморожение, как выражался Кубанцев,— Кубанцеву дано было знать в первый день его колымской службы ради выслуги лет.

Все это надо было забыть, и Кубанцев, дисциплинированный и волевой человек, так и сделал. Заставил себя забыть.

Через семнадцать лет Кубанцев вспоминал имя, отчество каждого фельдшера из заключенных, каждую медсестру, вспоминал, кто с кем из заключенных «жил», имея в виду лагерные романы. Вспомнил подробный чин каждого начальника из тех, что поподлее. Одного только не вспомнил Кубанцев — парохода «КИМ» с тремя тысячами обмороженных заключенных.

У Анатоля Франса есть рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат не может через семнадцать лет вспомнить Христа.

ПРОКАЖЕННЫЕ

Сразу после войны на моих глазах в больнице была сыграна еще одна драма — вернее, развязка драмы.

Война подняла со дна жизни и вынесла на свет такие пласты, такие куски жизни, которые всегда и везде скрывались от яркого солнечного света. Это — не уголовщина и не подпольные кружки. Это — совсем другое.

Во время военных действий были сломаны лепрозории,

и прокаженные смешались с населением. Тайная ли это или явная война? Химическая или бактериологическая?

Пораженные проказой легко выдавали себя за раненых, за увечных во время войны. Прокаженные смешались с бегущими на восток, вернулись в настоящую, хоть и страшную жизнь, где их принимали за жертв войны, за героев, быть может.

Прокаженные жили, работали. Надо было кончиться войне, чтобы о прокаженных вспомнили врачи, и страшные картотеки лепрозориев стали пополняться снова.

Прокаженные жили среди людей, разделяя отступление, наступление, радость или горечь победы. Прокаженные работали на фабриках, на земле. Становились начальниками и подчиненными. Солдатами они только не становились никогда — мешали культи пальцев, похожие, неотличимые от военных травм. Прокаженные и выдавали себя за увечных войны — единицы среди миллионов.

Сергей Федоренко был заведующим складом. Инвалид войны, он ловко справлялся со своими непослушными обрубками пальцев и хорошо выполнял свое дело. Его ждали карьера, партбилет, но, добравшись до денег, Федоренко начал пить, гулять, был арестован, судим и приплыл с одним из рейсов колымских кораблей в Магадан, как осужденный на десять лет по бытовой статье.

Здесь Федоренко переменил свой диагноз. Хотя и здесь хватало увечных, саморубов, например. Но было выгоднее, моднее, незаметнее раствориться в море отморожений.

Вот так я его и встретил в больнице — последствия отморожения третьей — четвертой степени, незаживающая рана, культя стопы, культи пальцев обеих кистей.

Федоренко лечился. Лечение не давало результатов. Но ведь всякий больной боролся с лечением, как мог и умел. Федоренко после многих месяцев трофических язв выписался, и, желая задержаться в больнице, Федоренко стал санитаром, попал старшим санитаром в хирургическое отделение мест на триста. Больница эта была больница центральная, на тысячу коек только заключенных. В пристройке на одном из этажей была больница для вольнонаемных.

Случилось так, что врач, который вел историю болезни Федоренко, заболел и вместо него «записывать» стал доктор Красинский, старый военный врач, любитель Жюля Верна (почему?), человек, в ком колымская жизнь не отбила желания поболтать, побеседовать, обсудить.

Осматривая Федоренко, Красинский был поражен чем-то — он и сам не знал чем. Со студенческих лет поднималась эта тревога. Нет, это не трофическая язва, не обрубок от взрыва, от топора. Это медленно разрушающаяся ткань. Сердце Красинского застучало. Он вызвал Федоренко еще раз и потащил его к окну, к свету, жадно вглядываясь в лицо, сам себе не веря. Это — лепра! Это — львиная маска. Человеческое лицо, похожее на морду льва. Красинский лихорадочно листал учебники. Взял большую иглу и несколько раз уколол белое пятнышко, которых было немало на коже Федоренко. Никакой боли! Обливаясь потом, Красинский написал рапорт по начальству. Больной Федоренко был изолирован в отдельную палату, кусочки кожи для биопсии были отправлены в центр, в Магадан, а оттуда — в Москву. Ответ пришел недели через две. Лепра! Красинский ходил именинником. Начальство переписывалось с начальством о выписке наряда в Колымский лепрозорий. Там лепрозорий на острове расположен, а на обоих берегах стоят наведенные на переправу пулеметы. Наряд, нужен был наряд.

Федоренко не отрицал, что он был в лепрозории и что прокаженные, предоставленные сами себе, бежали на волю. Одни — догонять отступавших, другие — встречать гитлеровцев. Так, как и в жизни, Федоренко ждал отправки спокойно, но бушевала больница. Вся больница. И те, которых избивали на допросах и чья душа была превращена в прах тысячами допросов, а тело изломано, измучено непосильной работой — со сроками двадцать пять и пять — сроками, которые нельзя было прожить, выжить, остаться в живых... Все трепетали, кричали, проклинали Федоренко, боялись проказы.

Это тот же самый психический феномен, который заставляет беглеца отложить хорошо подготовленный побег потому, что в лагере в этот день дают табак — или «ларек». Сколько есть лагерей — столько есть таких странных примеров, далеких от логики.

Человеческий стыд, например. Где его границы и мера? Люди, у которых погибла жизнь, растоптаны будущее и прошлое, вдруг оказывались во власти какого-то пустячного предрассудка, какой-то чепухи, которую люди не могут почему-то переступить, не могут почему-то отвергнуть. И это внезапное проявление стыда возникает как тончайшее человеческое чувство и вспоминается потом всю жизнь как что-то настоящее, как что-то

бесконечно дорогое. В больнице был случай, когда фельдшеру, который не был еще фельдшером, а просто «помогал» — поручили брить женщин, брить женский этап. Развлекающееся начальство приказало женщинам брить мужчин, а мужчинам — женщин. Каждый развлекается как умеет. Но парикмахер-мужчина умолял свою знакомую сделать этот обряд «санобработки» самой и никак не хотел подумать, что ведь загублена жизнь; что все эти развлечения лагерного начальства — это все лишь грязная накипь на этом страшном котле, где намертво варится его собственная жизнь.

Это человеческое, смешное, нежное обнаруживается в людях внезапно.

В больнице была паника. Ведь Федоренко работал несколько месяцев там. Увы, «продромальный период» заболевания, до появления внешних признаков болезни, у проказы продолжается несколько лет. Мнительные были обречены сохранить страх в своей душе навеки, вольные и заключенные — все равно.

Паника была в больнице. Врачи лихорадочно искали у больных и у персонала эти белые нечувствительные пятнышки. Иголка стала вместе с фонендоскопом и молоточком неотделимой принадлежностью врача для первичного осмотра.

Больного Федоренко приводили и раздевали перед фельдшерами, врачами. Надзиратель с пистолетом стоял поодаль больного. Доктор Красинский, вооруженный огромной указкой, рассказывал о лепре, протягивая палку то к львиному лицу бывшего санитара, то к его отваливающимся пальцам, то к блестящим белым пятнам на его спине.

Пересмотрены были буквально все жители больницы, вольные и заключенные, и вдруг белое пятнышко, нечувствительное белое пятнышко, оказалось на спине Шуры Лещинской, фронтовой сестры — ныне дежурной женского отделения. Лещинская в больнице была недавно, несколько месяцев. Никакой львиной маски. Вела Лещинская себя не строже и не снисходительней, не громче и не развязней, чем любая больничная сестра из заключенных.

Лещинская была заперта в одной из палат женского отделения, а кусочек ее кожи увезен в Магадан, в Москву на анализ. И ответ пришел: лепра!

Дезинфекция после проказы — трудное дело. Пола-

гается сжигать домик, в котором жил прокаженный. Так велят учебники. Но сжечь, выжечь одну из палат огромного двухэтажного дома, дома-гиганта! На это никто не решался. Подобно тому, как при дезинфекции дорогих меховых вещей идут на риск, оставляя заразу, но сохраняя пушное богатство — лишь символически побрызгав на драгоценные меха — ибо от «жарилки», от высокой температуры, погибнут не только микробы, погибнут и сами вещи. Начальство молчало бы даже в случае чумы или холеры.

Кто-то взял на себя ответственность не сжигать. Палату, в которой был заперт Федоренко, ожидавший отправки в лепрозорий, тоже не сжигали. А просто залили все фенолом, карболкой, опрыскивали многократно.

Сейчас же появилась новая важная тревога. И Федоренко и Лещинская каждый занимали по большой палате на несколько коек.

Ответ и наряд — наряд на двух человек, конвой на двух человек все еще не приходил, не приезжал, как ни напоминало начальство в своих ежедневных, вернее, еженощных телефонограммах в Магадан.

Внизу, в подвале, было выгорожено помещение и построены две маленькие камеры для арестантов-прокаженных. Туда перевели Федоренко и Лещинскую. Запертые на тяжелый замок, с конвоем, прокаженные были оставлены ждать приказа, наряда в лепрозорий, конвоя.

Сутки прожили в своих камерах Федоренко и Лещинская, а через сутки смена часовых нашла камеры пустыми.

В больнице началась паника. Все в камерах было на месте, окна и двери.

Красинский догадался первый. Они ушли через пол.

Силач Федоренко разобрал бревна, вышел в коридор, ограбил хлеборезку, операционную хирургического отделения и, собрав весь спирт, все настойки из шкафчика, все «кодеинчики», уволок добычу в подземную нору.

Прокаженные выбрали место, выгородили ложе, набросали на него одеял, матрасов, загородились бревнами от мира, конвоя, больницы, лепрозория и прожили вместе, как муж и жена, несколько дней, три дня, кажется.

На третий день и сыскные люди и сыскные собаки охраны нашли прокаженных. Я тоже шел в этой группе, чуть [согнувшись], по высокому подвалу больницы. Фун-

дамент там был очень высокий. Разобрали бревна. В глубине, не вставая, лежали обнаженные оба прокаженных. Изуродованные темные руки Федоренко обнимали белое блестящее тело Лещинской. Оба были пьяны.

Их закрыли одеялами и унесли в одну из камер, не разлучая больше.

Кто же закрывал их одеялом, кто прикасался к этим страшным телам? Особый санитар, которого нашли в больнице для «обслуги», давая (с разъяснения высшего начальства) по семь дней зачета за один рабочий день. Выше, стало быть, чем на вольфраме, на олове, на уране. Семь дней за день. Статья тут не имела на этот раз значения. Найден был фронтовик, сидевший за измену родине, имевший двадцать пять и пять и наивно полагавший, что своим геройством уменьшит срок, приблизит день возвращения на свободу.

Заключенный Корольков — лейтенант с войны — дежурил у камеры круглосуточно. У дверей камеры и спал. А когда приехал конвой с «острова», заключенного Королькова взяли вместе с прокаженными, как «обслугу». Больше я ничего никогда не слыхал ни о Королькове, ни о Федоренко, ни о Лещинской.

В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ

— Этап с Золотистого!

— Чей прииск?

— Сучий.

— Вызывай бойцов на обыск. Не справишься ведь сам.

— А бойцы прохлопают. Кадры.

— Не прохлопают. Я постою в дверях.

— Ну, разве так.

Этап, грязный, пыльный, сгружался. Это был этап «со значением» — слишком много широкоплечих, слишком много повязок, процент хирургических больных чересчур велик для этапа с прииска.

Вошел дежурный врач, Клавдия Ивановна, вольнонаемная женщина.

— Начнем?

— Подождем, пока придут бойцы для обыска.

— Новый порядок?

— Да. Новый порядок. Сейчас вы увидите, в чем дело, Клавдия Ивановна.

— Проходи на середину — вот ты, с костылями. Документы!

Нарядчик подал документы — направление в больницу. Личные дела нарядчик оставил себе, отложил.

— Снимай повязку. Дай бинты, Гриша. Наши бинты. Клавдия Ивановна, прошу вас осмотреть перелом.

Белая змейка бинта скользнула на пол. Ногой фельдшер отбросил бинт в сторону. К транспортной шине был прибинтован не нож, а копье, большой гвоздь — самое портативное оружие «сучьей» войны. Падая на пол, копье зазвенело, и Клавдия Ивановна побледнела.

Бойцы подхватили копье.

— Снимайте все повязки.

— А гипс?

— Ломайте весь гипс. Наложат завтра новый.

Фельдшер, не глядя, прислушивался к привычным звукам кусков железа, падающих на каменный пол. Под каждой гипсовой повязкой было оружие. Заложено и загипсовано.

— Вы понимаете, что это значит, Клавдия Ивановна?

— Понимаю.

— И я понимаю. Рапорта мы по начальству писать не будем, а на словах начальнику санчасти прииска скажем, да, Клавдия Ивановна?

— Двадцать ножей — сообщите врачу, надзиратель — на пятнадцать человек этапа.

— Это вы называете ножами? Скорее это копья.

— Теперь, Клавдия Ивановна, всех здоровых — назад. И идите досматривать фильм. Вы понимаете, Клавдия Ивановна, на этом прииске безграмотный врач однажды написал диагноз о травме, когда больной упал с машины и разбился, «проляпсус из машины» — на манер «проляпсус ректи» — выпадение прямой кишки. Но загипсовывать оружие он научился.

Безнадежный злобный глаз смотрел на фельдшера.

— Ну, кто болен — будет положен в больницу,— сказала Клавдия Ивановна.— Подходите по одному.

Хирургические больные, ожидая обратной отправки, матерились, ничего не стесняясь. Утраченные надежды

развязали им языки. Блатари материли дежурного врача, фельдшера, охрану, санитаров.

— Тебе еще глаза прорежем,— задавался пациент.

— Что ты можешь мне сделать, дерьмо. Сонного зарезать только. Вы в тридцать седьмом пятьдесят восьмую статью и забивали палкой в забое немало. Стариков и всяких Иван Ивановичей забыли?

Но не только за «хирургическими» блатарями надо было следить. Гораздо больнее было разоблачать попытки попасть в туберкулезное отделение, где больной в тряпочке привозил бациллльный «харчок» — явно туберкулезного больного готовили к осмотру врача. Врач говорил: «Харкай в баночку» — делался экстренный анализ на присутствие бацилл Коха. Перед осмотром врача больной брал в рот отравленный бациллами «харчок» — и заражался туберкулезом, конечно. Зато попадал в больницу, спасался от самого страшного — приисковой работы в золотом забое. Хоть на час, хоть на день, хоть на месяц.

Больнее было разоблачать тех, которые привозили в бутылочке кровь или царапали себе палец, чтобы прибавить капли крови в собственную мочу и с гематурией войти в больницу, полежать хоть до завтра, хоть неделю. А там — что бог даст.

Таких было немало. Эти были пограмотней. Туберкулезный «харчок» в рот бы не взяли для госпитализации. Слыхали эти люди и о том, что такое белок, для чего берут анализ мочи. Какая в нем польза больному. Месяцы, проведенные на больничных койках, многому их научили. Были больные с контрактурами — ложными — под наркозом, под раушен, им разгибали коленный и локтевой суставы. А раза два контрактура, сращение было настоящим, и разоблачающий врач силой разорвал живые ткани, разгибая колено. Переусердствовал, не рассчитал своей собственной силы.

Большинство было с «мастырками» — трофическими язвами — иголкой, сильно смазанной керосином, вызывалось подкожное воспаление. Этих больных можно принять, а можно и не принять. Жизненных показаний тут нет.

Особенно много «мастырщиков»-женщин с совхоза «Эльген», а потом, когда был открыт особый женский золотой прииск Дебна — с тачкой, лопатой и кайлом для женщин, количество «мастырщиков» с этого прииска резко увеличилось. Это был тот самый прииск, где санитарки зарубили топором врача, прекрасного врача по фами-

лии Шицель, седую крымчанку. Раньше Шицель работала при больнице, но «анкета» увела ее на прииск и на смерть.

Клавдия Ивановна идет досматривать постановку лагерной культбригады, а фельдшер ложится спать. Но через час его будят: «Этап. Женский этап с «Эльгена».

Это этап — где будет очень много вещей. Это дело надзирателей. Этап небольшой, и Клавдия Ивановна вызывается принять весь этап сама. Фельдшер благодарит и засыпает и тут же просыпается от толчка, от слез, горьких слез Клавдии Ивановны. Что такое там случилось?

— Я не могу больше жить здесь. Не могу больше. Я брошу дежурство.

Фельдшер плещет в лицо пригоршню холодной воды из крана и, утираясь рукавом, выходит в приемную комнату.

Хохочут все! Больные, приезжая охрана, надзиратели. Отдельно на кушетке мечется из стороны в сторону красивая, очень красивая девушка. Девушка не первый раз в больнице.

— Здравствуйте, Валя Громова.

— Ну вот, хоть теперь человека увидела.

— Что тут за шум?

— Меня в больницу не кладут.

— А почему ее в самом деле не кладут? У ней с туберкулезом неблагополучно.

— Да ведь это кобёл,— грубо вмешивается нарядчик.— О ней постановление было. Запрещено принимать. Да ведь спала же без меня. Или без мужа...

— Врут они все,— кричит Валя Громова бесстыдно.— Видите, какие у меня пальцы. Какие пятки...

Фельдшер плюет на пол и уходит в другую комнату. У Клавдии Ивановны истерический приступ.

ГЕОЛОГИ

Ночью Криста разбудили, и дежурный надзиратель провел его по бесконечным темным коридорам в кабинет начальника больницы. Подполковник медицинской службы еще не спал. Львов, уполномоченный МВД, сидел

у стола начальника и рисовал на листке бумаги каких-то равнодушных птичек.

— Фельдшер приемного покоя Крист явился по вашему вызову, гражданин начальник.

Подполковник махнул рукой, и пришедший с Кристом дежурный надзиратель исчез.

— Слушай, Крист,— сказал начальник,— к тебе привезут гостей.

— Этап придет,— сказал уполномоченный.

Крист выжидательно молчал.

— Вымоешь их. Дезинфекция и прочее.

— Слушаюсь.

— Ни один человек знать об этих людях не должен. Никакого общения.

— Доверяем тебе,— разъяснил уполномоченный и закашлялся.

— С дезкамерой я один не управлюсь, гражданин начальник,— сказал Крист.— Там управление камерой далеко от смесителя с горячей и холодной водой. Пар и вода разобщены.

— Значит...

— Нужен еще санитар, гражданин начальник.

Начальники переглянулись.

— Пусть будет санитар,— сказал уполномоченный.

— Так ты понял? Никому ни слова.

— Понял, гражданин начальник.

Крист и уполномоченный вышли. Начальник встал, загасил верхний свет и стал надевать шинель.

— Откуда такой этап? — негромко спросил Крист у уполномоченного, проходя сквозь глубокий тамбур кабинета — московская мода, которой подражали везде, где были кабинеты начальников — штатских или военных — все равно.

— Откуда?

Уполномоченный расхохотался.

— Ах, Крист, Крист, никак не думал, что ты мне можешь задать такой вопрос...— И выговорил холодно: — Из Москвы самолетом.

— Значит, лагеря не знают. Тюрьма, следствие и все прочее. Первая щелочка на вольный воздух, как кажется им — всем, кто не знает лагеря. Из Москвы самолетом...

Следующей ночью гулкий, просторный, большой вестибюль наполнился чужим народом — офицерами, офицерами, офицерами. Майоры, подполковники, полковники.

Даже один генерал был — низенький, молодой, черноглазый. Ни одного солдата в конвое не было.

Худощавый и рослый старик, начальник больницы, с трудом сгибался, рапортуя маленькому генералу:

— Все готово к приему.

— Отлично, отлично.

— Баня!

Начальник махнул Кристу рукой, и двери приемного покоя растворились.

Толпа офицерских шинелей расступилась. Золотой звездный свет погон померк — все внимание приезжих и встречающих было отдано маленькой группе грязных людей в истрепанных каких-то лохмотьях — но не казенных, нет — еще своих, гражданских, следственных, выношенных на подстилках на полах тюремной камеры.

Двенадцать мужчин и одна женщина.

— Анна Петровна, пожалуйста,— проговорил арестант, пропуская женщину вперед.

— Что вы,— идите и мойтесь. Я посижу пока, отдохну.

Дверь приемного покоя закрылась.

Все девять человек стояли вокруг меня и жадно глядели мне в глаза, пытаясь разгадать что-то, еще не спрашивая.

— Вы давно на Колыме? — спросил самый храбрый, разглядев во мне «Ивана Ивановича».

— С тридцать седьмого.

— В тридцать седьмом мы все были еще...

— Замолчи,— вмешался другой, постарше.

Вошел наш надзиратель, секретарь парторганизации больницы Хабибулин, особо доверенное лицо начальника. Хабибулин наблюдал и за приезжими и за мной.

— А бритье?

— Парикмахер вызван,— сказал Хабибулин.— Это — перс из блатных, Юрка.

Перс из блатных, Юрка, скоро явился со своим инструментом. Он получил инструкцию на вахте и только мычал.

Внимание приезжих вновь обратилось к Кристу.

— А мы вас не подведем?

— Как вы можете меня подвести, господа инженеры,— так, должно быть?

— Геологи.

— Господа геологи.

— А где мы?

— На Колыме. В пятистах километрах от Магадана.

— Ну, прощайте. Хорошая это штука — баня.

Геологи были — все! — с заграничной, зарубежной работы. Получили срок — от 15 до 25. И распоряжалось их судьбой особое управление, где было так мало солдат и так много офицеров и генералов.

Колыме и Дальстрою «хозяйство» этих генералов не подчинялось. Колыма давала только горный воздух из зарешеченных окон, большой паек, баню три раза в месяц, постель и белье без вшей, крышу. О прогулках и кино речи не было еще. Москва выбрала геологам их заполярную дачу.

Какую-то большую работу по специальности предложили сделать начальству эти геологи — очередная вариация прямоточного котла Рамзина.

Искру творческого огня можно выбивать обыкновенной палкой — это хорошо известно после «перековки» и многочисленных Беломорканалов. Подвижная шкала пищевых «поощрений и взысканий», зачеты рабочих дней и надежда — и вот рабский труд превращается в труд благословенный.

Через месяц приехал маленький генерал. Геологи пожелали ходить в кино, кино для заключенных и вольных. Маленький генерал «согласовал» вопрос с Москвой и разрешил геологам кино. Балкон — ложу, где сидело раньше начальство, разгородили, укрепили тюремными решетками. В соседстве с начальством на киносеансы поместили геологов.

Книг из лагерной библиотеки геологам не давали. Только техническую литературу.

Секретарь парторганизации, больной старый дальстроевец, Хабибулин, впервые за свою надзирательскую жизнь собственными руками таскал узлы с бельем геологов в прачечную. Это угнетало надзирателя больше всего на свете.

Еще через месяц приехал маленький генерал, и геологи попросили занавески на окна.

— Занавески,— грустно говорил Хабибулин,— занавески им понадобились.

Маленький генерал был доволен. Работа геологов двигалась вперед. Раз в десять дней ночью отпирался приемный покой, и геологи мылись в бане.

Крист мало вел разговоров с ними. Да и что могли ему

рассказать следственные геологи такого, чего Крист бы не знал за свою лагерную жизнь.

Тогда внимание геологов обратилось на парикмахера — перса.

— Ты не говори много с ними, Юрка,— сказал как-то Крист.

— Всякий фраер еще будет меня учить.— И перс выругался матерно.

Прошла еще одна баня; перс пришел явно выпивши, и может быть, «начифирился» или «хватил кодеинчику». Только держался он слишком бойко, заторопился домой, выскочил с вахты на улицу, не дожидаясь попутного провожатого в лагерь, и в открытое окно Крист услыхал сухой щелчок револьверного выстрела. Перс был убит надзирателем, тем самым, которого он только что брил. Скрюченное тело лежало у крыльца. Дежурный врач пощупал пульс, подписал акт. Пришел другой парикмахер, Ашот — армянский террорист из той самой боевой группы армянских эсеров, которая убила в 1926 году трех турецких министров — во главе с Талаатбеем — виновником армянской резни 1915 года, когда было уничтожено миллион армян... Следственная часть проверила «личное дело» Ашота, и брить геологов ему больше не пришлось. Нашли кого-то из блатарей, да и самый принцип был изменен — каждый раз брил новый парикмахер. Так считалось безопаснее — не наладят связи. В Бутырской тюрьме так меняют часовых — скользящей системой постов.

Геологи ни о персе, ни об Ашоте ничего не узнали. Работа их двигалась успешно, и приехавший маленький генерал разрешил геологам получасовую прогулку. Это тоже было сущим унижением для старого надзирателя Хабибулина. Надзиратель в лагере покорных, трусливых, бесправных людей — начальник большой. А здесь надзирательская служба в ее чистом виде не понравилась Хабибулину.

Все грустнее становились его глаза, все краснее нос — Хабибулин запил решительно. И однажды упал с моста вниз головой в Колыму, но был спасен и не прервал своей важной надзирательской службы. Покорно таскал узлы белья в прачечную, покорно мел комнату, меняя занавески на окнах.

— Ну, как жизнь? — спрашивал Хабибулина Крист — как-никак они дежурили тут вместе больше года.

— Плохая жизнь,— выдохнул Хабибулин.

Приехал маленький генерал. Работа геологов шла отлично. Радуясь, улыбаясь, генерал обходил тюрьму геологов. Генералу выходила награда за их работу.

Вытянувшись в струнку у порога, Хабибулин провожал генерала.

— Ну, хорошо, хорошо. Вижу, что не подвели,— весело говорил маленький генерал.— А вы,— генерал перевел глаза на стоявших у порога надзирателей,— вы обращайтесь с ними повежливей. А то я вас, суки, в гроб вколочу!

И генерал удалился.

Хабибулин, шатаясь, дошел до приемного покоя, выпил у Криста двойную порцию валерьянки и написал рапорт о немедленном переводе с работы на любую другую. Показал рапорт Кристу, ища сочувствия. Крист пытался объяснить надзирателю, что для генерала важнее эти геологи, чем сотня Хабибулиных, но оскорбленный в своих чувствах старший надзиратель не захотел понять этой простой истины.

Геологи исчезли в одну из ночей.

МЕДВЕДИ

Котенок вылез из-под топчана и едва успел прыгнуть обратно — геолог Филатов швырнул в него сапогом.

— Чего ты бесишься? — сказал я, откладывая в сторону засаленный том «Монте-Кристо».

— Не люблю кошек. Вот это — дело другое,— Филатов притянул к себе серого густошерстого щенка и потрепал его по шее.— Чистый овчар. Куси его, Казбек, куси,— геолог науськивал щенка на котенка. Но на носу щенка были две свежих царапины от кошачьих когтей, и Казбек только глухо рычал, но не двигался.

Житья котенку у нас не было. Пятеро мужчин вымещали на нем скуку безделья,— разлив реки задержал наш отъезд. Южиков и Кочубей, плотники, вторую неделю играли в «шестьдесят шесть» на будущую получку. Счастье было переменным. Повар открыл дверь и крикнул:

— Медведи! — Все опрометью бросились к двери.

Итак, нас было пятеро, винтовка была у нас одна —

у геолога. Топоров всем не хватало, и повар захватил с собой кухонный нож, острый, как бритва.

Медведи шли по горе за ручьем — самец и самка. Они трясли, ломали, выдергивали с корнями молодые лиственницы, швыряли их в ручей. Они были одни на свете в этом таежном мае, и люди подошли к ним с подветренной стороны очень близко — шагов на двести. Медведь был бурый, с рыжеватым отливом, вдвое крупнее медведицы, старик — желтые крупные клыки были хорошо видны.

Филатов — он был лучшим стрелком, сел и положил винтовку на ствол упавшей лиственницы, чтоб бить с упора, наверняка. Он водил стволом, ища дорогу пуле между листьями кустов, начинающих желтеть.

— Бей,— рычал повар с побелевшим от азарта лицом,— бей!

Медведи услышали шорох. Реакция их была мгновенной, как у футболиста во время матча. Медведица помчалась вверх по склону горы — за перевал. Старый медведь не побежал. Повернув морду в сторону опасности и оскалив клыки, он медленно пошел по горе — к заросли стланиковых кустов. Он явно принимал опасность на себя, он, самец, жертвовал жизнью, чтоб спасти свою подругу, он отвлекал от нее смерть, он прикрывал ее бегство.

Филатов выстрелил. Он, как я уже говорил, был хорошим стрелком — медведь упал и покатился по склону в ущелье — пока лиственница, которую он сломал, играя, полчаса назад, не задержала тяжелого тела. Медведица давно исчезла.

Все было таким огромным — небо, скалы, что медведь казался игрушечным. Убит он был наповал. Мы связали ему лапы, продели шест и, качаясь от тяжести огромной туши, спустились на дно ущелья, на скользкий двухметровый лед, который еще не успел растаять. Волоком мы подтащили медведя к порогу нашей избушки.

Двухмесячный щенок, который за свою короткую жизнь не видел медведей, забился под койку, обезумев от страха. Котенок повел себя не так. Он в бешенстве бросился на медвежью тушу, с которой мы впятером снимали шкуру. Котенок рвал куски теплого мяса, хватал крошки свернувшейся крови, плясал на узловатых красных мускулах зверя...

Шкура вышла в четыре квадратных метра.

— Пудов на двенадцать мяска-то,— повторял повар каждому.

Добыча была богатая, но так как вывезти ее и продать было нельзя, то она была разделена тут же поровну. Котелки и сковороды геолога Филатова кипели день и ночь, пока он не заболел желудком. Южиков и Кочубей, убедившись, что для расчетов по карточной игре медвежье мясо — материал неподходящий — засолили каждый свою долю в выложенных из камня ямах и каждый день ходили проверять сохранность. Повар упрятал мясо неизвестно куда — он знал какой-то секрет засолки, но никому его не открыл. А я кормил котенка и щенка, и мы трое расправились с медвежьим мясом благополучней всех. Воспоминаний об удачной охоте хватило на два дня. Ссориться стали лишь на третий день, к вечеру.

ОЖЕРЕЛЬЕ КНЯГИНИ ГАГАРИНОЙ

Тюремное следственное время скользит по памяти и не оставляет заметных и резких следов. Для каждого следственного — тюрьма, ее встречи, ее люди — не главное. Главное же, на что тратятся все душевные, все духовные и нервные силы в тюрьме — борьба со следователем. То, что происходит в кабинетах допросного корпуса, лучше запоминается, чем тюремная жизнь. Ни одна книга, прочитанная в тюрьме, не остается в памяти — только «срочные» тюрьмы были университетом, из которого выходят звездочеты, романисты, мемуаристы. Книги, прочитанные в следственной тюрьме — не запоминаются. Для Криста не поединок со следователем играл главную роль. Крист понимал, что он обречен, что арест — это осуждение, заклание. И Крист был спокоен. Он сохранил способность наблюдать, сохранил способность действовать вопреки убаюкивающему ритму тюремного режима. Крист не раз встречался с пагубной человеческой привычкой — рассказывать самое главное о себе, высказать всего себя соседу — соседу по камере, по больничной койке, по вагонному купе. Эти тайны, хранимые на дне людской души, были иной раз ошеломительны, невероятны.

Сосед Криста справа, механик волоколамской фабрики, в ответ на просьбу вспомнить самое яркое событие жизни, самое хорошее, что в жизни случилось, сообщил, весь сияя от переживаемого воспоминания, что по карточ-

кам в 1933 году получил двадцать банок овощных консервов и, когда вскрыл дома — все банки оказались мясными консервами. Каждую банку механик рубил топором пополам, запершись на ключ от соседей — все банки были с мясом, ни одна не оказалась овощной. В тюрьме не смеются над такими воспоминаниями. Сосед Криста слева, генеральный секретарь общества политкаторжан, Александр Георгиевич Андреев, сдвинул свои серебряные брови к переносице. Черные глаза его заблестели.

— Да, такой день в моей жизни есть — 12 марта 1917 года. Я — вечник царской каторги. Волею судеб двадцатилетнюю годовщину этого события я встретил в тюрьме здесь, с вами.

С противоположных нар слез стройный и пухлый человек.

— Разрешите мне принять участие в вашей игре. Я — доктор Миролюбов, Валерий Андреевич.— Доктор слабо и жалобно улыбнулся.

— Садитесь,— сказал Крист, освобождая место. Сделать это было очень просто — только подогнуть ноги. Никаким другим способом освободить место было нельзя. Миролюбов тут же влез на нары. Ноги доктора были в домашних тапочках. Крист удивленно поднял брови.

— Нет, не из дома, но в Таганке, где я сидел два месяца, порядки попроще.

— Таганка ведь уголовная тюрьма?

— Да, уголовная, конечно,— рассеянно подтвердил доктор Миролюбов.— С вашим приходом в камеру,— сказал Миролюбов, поднимая глаза на Криста,— жизнь изменилась. Игры стали более осмысленными. Не то что этот ужасный «жучок», которым все увлекались. Ждали даже оправки, чтобы вволю поиграть в «жучка» в уборной. Наверное, опыт есть...

— Есть,— сказал Крист печально и твердо.

Миролюбов заглянул в глаза Кристу своими выпуклыми, добрыми, близорукими глазами.

— Очки у меня блатари забрали. В Таганке.

В мозгу Криста бегло, привычно пробегали вопросы, предположения, догадки... Ищет совета. Не знает, за что арестован. Впрочем...

— А почему вас перевели из Таганки сюда?

— Не знаю. Ни одного допроса два месяца. А в Таганке... Меня ведь вызвали как свидетеля по делу о квартирной краже. У нас в квартире пальто украли у соседа.

Допросили меня и предъявили постановление об аресте... Абракадабра. Ни слова — вот уже третий месяц. И перевели в Бутырки.

— Ну что ж,— сказал Крист.— Набирайтесь терпения. Готовьтесь к сюрпризам. Не такая уж тут абракадабра. Организованная путаница, как выражался критик Иуда Гроссман-Рощин! Помните такого? Соратника Махно?

— Нет, не помню,— сказал доктор. Надежда на всеведение Криста угасла, и блеск в миролюбовских глазах исчез.

Художественные узоры сценарной ткани следствия были очень, очень разнообразны. Это было известно Кристу. Привлечение по делу о квартирной краже — пусть в качестве свидетеля — наводило на мысль о знаменитых «амальгамах». Во всяком случае, таганские приключения доктора Миролюбова были следственным камуфляжем, бог знает зачем нужным поэтам из НКВД.

— Поговорим, Валерий Андреевич, о другом. О лучшем дне жизни. О самом, самом ярком событии вашей жизни.

— Да, я слышал, слышал ваш разговор. У меня есть такое событие, перевернувшее всю мою жизнь. Только все, что случилось со мной, не похоже ни на рассказ Александра Георгиевича,— Миролюбов склонился влево к генеральному секретарю общества политкаторжан,— ни на рассказ этого товарища,— Миролюбов склонился вправо, к волоколамскому механику...— В 1901 году я был первокурсником-медиком, студентом Московского университета. Молодой был. Возвышенных мыслей. Глупый. Недогадливый.

— «Лох» — по-блатному,— подсказал Крист.

— Нет, не «лох». Я немножко после Таганки понимаю по-блатному. А вы откуда?

— Изучал по самоучителю,— сказал Крист.

— Нет, не «лох», а такой... «гаудеамус». Ясно? Вот так.

— К делу, ближе к делу, Валерий Андреевич,— сказал волоколамский механик.

— Сейчас буду ближе. У нас здесь так мало свободного времени... Читаю газеты. Огромное объявление. Княгиня Гагарина потеряла свое брильянтовое ожерелье. Фамильная драгоценность. Нашедшему — пять тысяч рублей. Читаю газету, комкаю, бросаю в мусорный ящик.

Иду и думаю: вот бы мне найти это ожерелье. Половину матери послал бы. На половину съездил бы за границу. Пальто хорошее купил бы. Абонемент в Малый театр. Тогда еще не было Художественного. Иду по Никитскому бульвару. Да не по бульвару, а по доскам деревянного тротуара — еще там гвоздь один вылезал постоянно, как наступишь. Сошел на землю, чтобы обойти этот гвоздь, и смотрю — в канаве... Словом, нашел ожерелье. Посидел на бульваре, помечтал. Подумал о своем будущем счастье. В университет не пошел, а пошел к мусорному ящику, достал свою газету, развернул, прочитал адрес.

Звоню... Звоню. Лакей. «Насчет ожерелья». Выходит сам князь. Выбегает жена. Двадцать лет мне тогда было. Двадцать лет. Испытание было большим. Проба всего, с чем я вырос, чему научился... Надо было решать сразу — человек я или не человек. «Я сейчас принесу деньги,— это князь.— Или, может быть, вам чек? Садитесь». А княгиня здесь же, в двух шагах от меня. Я не сел. Говорю — я студент. Я принес ожерелье не затем, чтобы получить какую-то награду. «Ах, вот что,— сказал князь.— Простите нас. Прошу к столу, позавтракаем с нами». И жена его, Ирина Сергеевна, поцеловала меня.

— Пять тысяч,— зачарованно выговорил волоколамский механик.

— Большая проба,— сказал генеральный секретарь общества политкаторжан.— Так я первую свою бомбу бросал в Крыму.

— Потом я стал бывать у князя, чуть не каждый день. Влюбился в его жену. Три лета подряд за границу с ними ездил. Врачом уже. Так я и не женился. Прожил жизнь холостяком из-за этого ожерелья... И потом — революция. Гражданская война. В гражданскую войну я хорошо познакомился с Путной, с Витовтом Путной. Был у него домашним врачом. Путна был хороший мужик, но, конечно, не князь Гагарин. Не было в нем чего-то... этакого. Да и жены такой не было.

— Просто вы стали старше на двадцать лет, на двадцать лет старше «гаудеамуса».

— Может быть...

— А где сейчас Путна?

— Военный атташе в Англии.

Александр Георгиевич, сосед слева, улыбнулся.

— Я думаю, разгадку ваших бедствий, как любил

выражаться Мюссе, следует искать именно в Путне, во всем этом «комплексе». А?

— Но каким образом?

— Это уж следователи знают. Готовьтесь к бою под Путной — вот вам совет старика.

— Да вы моложе меня.

— Моложе не моложе, просто во мне «гаудеамуса» было меньше, а бомб — больше,— улыбнулся Андреев.— Не будем ссориться.

— А ваше мнение?

— Я согласен с Александром Георгиевичем,— сказал Крист.

Миролюбов покраснел, но сдержался. Тюремная ссора вспыхивает, как пожар в сухом лесу. И Крист и Андреев об этом знали. Миролюбову это еще предстояло узнать.

Пришел такой день, такой допрос, после которого Миролюбов двое суток лежал вниз лицом и не ходил на прогулку.

На третьи сутки Валерий Андреевич встал и подошел к Кристу, трогая пальцами покрасневшие веки голубых своих, бессонных глаз. Подошел и сказал:

— Вы были правы.

Прав был Андреев, а не Крист, но тут была тонкость в признании своих ошибок, тонкость, которую и Крист и Андреев хорошо почувствовали.

— Путна?

— Путна. Все это слишком ужасно, слишком.— И Валерий Андреевич заплакал. Двое суток он крепился и все же не выдержал. И Андреев и Крист не любили плачущих мужчин.

— Успокойтесь.

Ночью Криста разбудил горячий шепот Миролюбова:

— Я вам все скажу. Я гибну непоправимо. Не знаю, что делать. Я домашний врач Путны. И сейчас меня допрашивают не о квартирной краже, а — страшно подумать — о подготовке покушения на правительство.

— Валерий Андреевич,— сказал Крист, отгоняя от себя сон и зевая.— В нашей камере ведь не только вы в этом обвиняетесь. Вон лежит неграмотный Ленька из Тумского района Московской области. Ленька развинчивал гайки на полотне железной дороги. На грузила, как чеховский злоумышленник. Вы ведь сильны в литературе, во всех этих «гаудеамусах». Леньку обвиняют во вредительстве и терроре. И никакой истерики. А рядом

с Ленькой лежит брюхач — Воронков, шеф-повар кафе «Москва» — бывшее кафе «Пушкин» на Страстной — бывали? В коричневых тонах пущено было это кафе. Воронкова переманивали в «Прагу» на Арбатскую площадь — директором там был Филиппов. Так вот в воронковском деле следовательской рукой записано — и каждый лист подписан Воронковым! — что Филиппов предлагал Воронкову квартиру из трех комнат, поездки за границу для повышения квалификации. Поварское дело ведь умирает... «Директор ресторана «Прага» Филиппов предлагал мне все это в случае моего согласия на переход, а когда я отказался — предложил мне отравить правительство. И я согласился». Ваше дело, Валерий Андреевич, тоже из отдела «техники на грани фантастики».

— Что вы меня успокаиваете? Что вы знаете? Я с Путной вместе чуть не с революции. С гражданской войны. Я — свой человек в его доме. Я был с ним вместе и в Приморье и на юге. Только в Англию меня не пустили. Визы не дали.

— А Путна — в Англии?

— Я уже вам говорил — был в Англии. Был в Англии. Но сейчас он не в Англии, а здесь, с нами.

— Вот как.

— Третьего дня,— шепнул Миролюбов,— было два допроса. На первом допросе мне было предложено написать все, что я знаю о террористической работе Путны, о его суждениях на этот счет. Кто у него бывал. Какие велись разговоры. Я все написал. Подробно. Никаких террористических разговоров я не слышал, никто из гостей... Потом был перерыв. Обед. И меня кормили обедом тоже. Из двух блюд. Горох на второе. У нас в Бутырках все дают чечевицу из бобовых, а там — горох. А после обеда, когда мне дали покурить, вообще-то я не курю, но в тюрьме стал привыкать. Сели снова записывать. Следователь говорит: «Вот вы, доктор Миролюбов, так преданно защищаете, выгораживаете Путну, вашего многолетнего хозяина и друга. Это делает вам честь, доктор Миролюбов. Путна к вам относится не так, как вы к нему...» — «Что это значит?» — «А вот что. Вот пишет сам Путна. Почитайте». И следователь дал мне многостраничные показания, написанные рукой самого Путны.

— Вот как...

— Да. Я почувствовал, что седею. В заявлении этом Путна пишет: «Да, в моей квартире готовилось террористи-

ческое покушение, плелся заговор против членов правительства, Сталина, Молотова. Во всех этих разговорах принимал самое ближайшее участие, самое активное участие Климент Ефремович Ворошилов». И последняя фраза, выжженная в моем мозгу: «Все это может подтвердить мой домашний врач, доктор Миролюбов».

Крист свистнул. Смерть придвинулась слишком близко к Миролюбову.

— Что делать? Что делать? Как говорить? Почерк Путны не подделан. Я знаю его почерк слишком хорошо. И руки не дрожали, как у царевича Алексея после кнута — помните эти исторические сыскные дела, этот протокол допроса петровского времени.

— Искренне завидую вам,— сказал Крист,— что любовь к литературе все превозмогает. Впрочем, это любовь к истории. Но если уж хватает душевных сил на аналогии, на сравнения, хватит и для того, чтобы разумно разобраться в вашем деле. Ясно одно: Путна арестован.

— Да, он здесь.

— Или на Лубянке. Или в Лефортове. Но не в Англии. Скажите мне, Валерий Андреевич, по чистой совести — были ли хоть какие-нибудь неодобрительные суждения,— Крист закрутил свои воображаемые усы,— хотя бы в самой общей форме.

— Никогда.

— Или: «в моем присутствии никогда». Эти следственные тонкости вам должны быть известны.

— Нет, никогда. Путна — вполне правоверный товарищ. Военный. Грубоватый.

— Теперь еще один вопрос. Психологически — самый важный. Только по совести.

— Я везде отвечаю одинаково.

— Ну, не сердись, маркиз Поза.

— Мне кажется, вы смеетесь надо мной...

— Нет, не смеюсь. Скажите мне откровенно, как Путна относился к Ворошилову?

— Путна его ненавидел,— горячо выдохнул Миролюбов.

— Вот мы и нашли решение, Валерий Андреевич. Здесь — не гипноз, не работа господина Орнальдо, не уколы, не медикаменты. Даже не угрозы, не выстойки на «конвейере». Это — холодный расчет обреченного. Последнее сражение Путны. Вы — пешка в такой игре, Валерий Андреевич. Помните, в «Полтаве»... «Утратить

жизнь — и с нею честь. Врагов с собой на плаху весть».

— «Друзей с собой на плаху весть»,— поправил Миролюбов.

— Нет. «Друзей» — это читалось для вас и для таких, как вы, Валерий Андреевич, милый мой «гаудеамус». Тут расчет больше на врагов, чем на друзей. Побольше прихватить врагов. Друзей возьмут и так.

— Но что же делать мне, мне?

— Хотите добрый совет, Валерий Андреевич?

— Добрый или злой, мне все равно. Я не хочу умирать.

— Нет, только добрый. Показывайте только правду. Если Путна захотел солгать перед смертью — это его дело. Ваше спасение — только правда, одна правда, ничего кроме правды.

— Я всегда говорил только правду.

— И показывал правду? Тут есть много оттенков. Ложь во спасение, например. Или: интересы общества и государства. Классовые интересы отдельного человека и личная мораль. Формальная логика и логика неформальная.

— Только правду!

— Тем лучше. Значит, есть опыт показывать правду. На этом стойте.

— Не много вы мне посоветовали,— разочарованно сказал Миролюбов.

— Случай нелегкий,— сказал Крист.— Будем верить, что «там» отлично знают, что к чему. Понадобится ваша смерть — умрете. Не понадобится — спасетесь.

— Печальные советы.

— Других нет.

. . . .

Крист встретил Миролюбова на пароходе «Кулу» — пятый рейс навигации 1937 года. Рейс «Владивосток — Магадан».

Личный врач князя Гагарина и Витовта Путны поздоровался с Кристом холодно — ведь Крист был свидетелем душевной слабости, опасного какого-то часа его жизни, и — так чувствовал Миролюбов — ничем не помог Валерию Андреевичу в трудный, смертный момент.

Крист и Миролюбов пожали друг другу руки.

— Рад видеть вас живым,— сказал Крист.— Сколько?

— Пять лет. Вы издеваетесь надо мной. Ведь я не виноват ни в чем. А тут пять лет лагерей. Колыма.

— Положение у вас было очень опасное. Смертельно опасное. Счастье не изменило вам,— сказал Крист.

— Подите вы к черту с таким счастьем.

И Крист подумал: Миролюбов прав. Это слишком русское счастье — радоваться, что невинному дали пять лет. Ведь могли бы дать десять, даже вышака.

На Колыме Крист и Миролюбов не встречались. Колыма велика. Но из рассказов, из расспросов Крист узнал, что счастья доктора Миролюбова хватило на все пять лет его лагерного срока. Миролюбов был освобожден в войну, работал врачом на прииске, состарился и умер в 1965 году.

ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Иван Федорович встречал Уоллеса в штатском костюме. Караульные вышки в ближайшем лагере были спилены, а арестанты получили благословенный выходной день. На полки поселкового магазина были выворочены все «заначки», и торговля велась так, как будто не было войны.

Уоллес принял участие в воскреснике по уборке картошки. На огороде Уоллесу дали американскую горбатую лопату, недавно полученную по лендлизу, и это было Уоллесу приятно. Сам Иван Федорович был вооружен такой же лопатой, только рукоятка была русской — длинной. Уоллес спросил что-то, показывая на лопату, стоявший рядом с Иваном Федоровичем человек в штатском что-то сказал, потом что-то сказал Иван Федорович, и переводчик любезно перевел его слова Уоллесу. Что в Америке — передовой технической стране — подумали даже о форме лопаты — и дотронулся до лопаты, которую держал в руках Уоллес. Лопата всем хороша, только ручка не для русских — очень коротка, не подбориста. Переводчик с трудом перевел слово «подбориста». Но что русские, которые подковали блоху (об этом и Уоллес кое-что читал, готовясь к поездке в Россию), внесли улучшение в американский инструмент: пересадили лопату на другую, длинную ручку. Наиболее удобная длина черенка и лопаты — от земли до переносицы работающего. Стоявший рядом с Иваном Федоровичем человек в штатском показал,

как это делается. Пора было приступать к «ударнику» — к уборке картофеля, который не худо рос на Крайнем Севере.

Уоллесу все было интересно. Как здесь растут капуста, картошка? Как ее сажают? Рассадой? Как капусту? Удивительно. Какой урожай с гектара?

Уоллес по временам оглядывался на своих соседей. Вокруг начальников копали молодые люди — краснощекие, довольные. Копали весело, бойко. Уоллес, улучив минуту, пригляделся к их рукам, белым, не знавшим лопаты пальцам и усмехнулся, поняв, что это переодетая охрана. Уоллес видел все: и спиленные вышки, и вышки не спиленные, и гроздья арестантских бараков, окруженных проволокой. Он знал об этой стране не меньше Ивана Федоровича.

Копали весело. Иван Федорович скоро утомился — он был человек сырой, грузный, но не хотел отстать от вице-президента Америки. Уоллес был легкий, как мальчик, подвижной, хотя по годам и постарше Ивана Федоровича.

— Я привык у себя на ферме к такой работе,— весело говорил Уоллес.

Иван Федорович улыбался, все чаще отдыхал.

«Вот вернусь в лагерь,— думал Иван Федорович,— обязательно сделаю укол глюкозы». Иван Федорович очень любил глюкозу. Сердце глюкоза поддерживала отлично. Придется рискнуть — домашнего врача своего Иван Федорович не взял с собой в эту поездку.

«Ударник» кончился, и Иван Федорович приказал позвать начальника санчасти. Тот явился бледный, ожидая самого худшего. Доносы об этой проклятой рыбалке, где больные ловили рыбку для начальника санчасти? Но ведь это — освященная временем традиция.

Иван Федорович, увидя врача, постарался улыбнуться как можно милостивее

— Мне нужно сделать укол глюкозы. Ампулы с глюкозой у меня есть. Свои.

— Вы? Глюкозу?

— А что это тебя так удивляет? — подозрительно посмотрев на развеселившегося начальника санчасти, сказал Никишев.— Вот, сделай мне укол!

— Я? Вам?

— Ты. Мне.

— Глюкозу?

— Глюкозу.

— Я прикажу Петру Петровичу, хирургу нашему. Он лучше меня сделает.

— А ты что — не умеешь, что ли? — сказал Иван Федорович.

— Умею, товарищ начальник. Но Петр Петрович умеет еще лучше. А шприц я дам свой, личный.

— У меня есть и шприц свой.

Послали за хирургом.

— Слушаю, товарищ начальник. Хирург больницы Красницкий.

— Ты — хирург?

— Да, товарищ начальник

— Бывший зэка?

— Да, товарищ начальник.

— Можешь сделать мне укол?

— Нет, товарищ начальник. Я не умею.

— Уколов не умеешь делать?

— Мы, гражданин начальник,— вмешался начальник санчасти,— фельдшера вам сейчас пришлем. Из зэка. Тот делает — не услышите. Давайте ваш шприц сюда. Я его в вашем присутствии вскипячу. Мы с Петром Петровичем последим, чтобы не оказал вредительства какого-нибудь, терроризма. Мы жгут подержим. Рукав вам засучим.

Пришел фельдшер из зэка, вымыл руки, обтер их спиртом, сделал укол.

— Можно идти, гражданин начальник?

— Иди,— сказал Иван Федорович.— Дайте ему пачку папирос из портфеля.

— Не стоит, гражданин начальник.

Вот как сложно оказалось с глюкозой в пути. Ивану Федоровичу долго казалось, что у него жар, голова кружится, что он отравлен этим фельдшером из зэка, но в конце концов Иван Федорович успокоился.

На следующий день Иван Федорович проводил Уоллеса в Иркутск и от радости перекрестился и приказал поставить караульные вышки обратно, а товары из магазина — убрать.

С недавнего времени Иван Федорович чувствовал себя особенным другом Америки, разумеется, в дипломатических границах дружбы. Всего несколько месяцев назад на опытном заводе в сорока семи километрах от Магадана было налажено производство электролампочек. Только колымчанин может оценить такое. За пропажу лам-

почек судили; на приисках потеря лампочки приводила к тысячам потерянных рабочих часов. Привозных лампочек не напасешься. А тут вдруг такое счастье. Создали свое! Освободились от «иностранной зависимости»!

Москва оценила достижения Ивана Федоровича — он был награжден орденом. Орденами поменьше награждены директор завода, начальник цеха, где производились эти лампочки, лаборанты. Все, кроме того человека, который это производство создал. Это был харьковский физик-атомщик, инженер Георгий Георгиевич Демидов — литерник с пятилетним сроком — не то «аса», не то что-то в этом роде. Демидов думал, что его хоть на досрочное представят, да и директор завода на это намекал, но Иван Федорович счел такое ходатайство политической ошибкой. Фашист, и вдруг — досрочное освобождение! Что скажет Москва. Нет, пусть радуется, что работает не на «общих», в тепле — это лучше всякого досрочного. И орден он, Демидов, получить, конечно, не может. Орденами награждаются верные слуги государства, а не фашисты.

— Вот премию рублей двадцать пять подбросить — это можно. Махорочки там, сахару...

— Демидов не курит,— почтительно сказал директор завода.

— Не курит, не курит... На хлеб променяет или еще на что... а не надо махорки, так надо ему новую одежу — не лагерную, а, понимаешь... Те гарнитуры американские в коробках, что мы вам начали давать в премию. Я и забыл. Костюм там, рубашка, галстук. В коробке такой белой. Вот так и премируйте.

На торжественном заседании в присутствии самого Ивана Федоровича каждому герою вручалась коробка с американским подарком. Все кланялись и благодарили. Но когда дошла очередь до Демидова, он вышел к столу президиума, положил коробку на стол и сказал:

— Я американских обносков носить не буду,— повернулся и ушел.

Иван Федорович оценил это прежде всего с политической точки зрения, как выпад фашиста против советско-американского блока свободолюбивых стран, и позвонил тем же вечером в райотдел. Демидова судили, дали «довеска» восемь лет, сняли с работы, послали на штрафной прииск, на «общие».

Сейчас, после визита Уоллеса, Иван Федорович вспомнил случай с Демидовым с явным удовольствием.

Политическая прозорливость всегда была достоинством Ивана Федоровича.

Иван Федорович особенно заботился о своем сердце после недавней женитьбы на двадцатилетней комсомолке Рыдасовой. Иван Федорович сделал ее своей женой, начальницей большого лагерного отделения — хозяйкой жизни и смерти многих тысяч людей. Романтическая комсомолка быстро превратилась в зверя. Она ссылала, давала дела, сроки, «довески» и стала в центре всяческих интриг, по-лагерному подлых.

Театр доставлял мадам Рыдасовой очень много забот.

— Вот поступил донос от одного певца, что режиссер Варпаховский разрабатывал планы первомайской демонстрации в Магадане — оформить праздничные колонны как крестный ход, с хоругвями, с иконами. И что, конечно, тут затаенная контрреволюционная работа.

Мадам Рыдасовой на заседании эти планы не показались чем-то криминальным. Демонстрация и демонстрация. Ничего особенного. И вдруг — хоругви! Надо было что-то делать; она посоветовалась с мужем. Муж, Иван Федорович,— человек опытный — сразу отнесся к сообщению певца в высшей степени серьезно.

— Он, наверное, прав,— сказал Иван Федорович.— Он пишет и не только насчет хоругвей. Оказывается, Варпаховский сошелся с одной еврейкой — из актрис — дает ей главные роли — певица она...

— А что это за Варпаховский?

— Это — фашист, из спецзоны его привезли. Режиссер, у Мейерхольда ставил, я сейчас вспомнила, вот у меня записано.— Рыдасова порылась в своей «картотеке». Этой «картотеке» обучил ее Иван Федорович.— Какую-то «Даму с камелиями». И в театре сатиры «Историю города Глупова». С 1937 года — на Колыме. Ну, вот видишь. А певец — человек надежный. Педераст, а не фашист.

— А в театре Варпаховский что ставил?

— «Похищение Елены». Мы смотрели. Помнишь, ты еще смеялся. Еще художнику на досрочное освобождение подписывали.

— Да-да, припоминаю. Это «Похищение Елены» не нашего автора.

— Французский какой-то автор. Вот у меня записано.

— Да не надо, не надо, все ясно. Ты пошли этого Варпаховского с разъездной бригадой, а жену — как ее фамилия? — Зыскинд. Еврейку — оставь дома. У них ведь

любовь коротка, не то что у нас,— милостиво пошутил Иван Федорович.

Иван Федорович готовил большой сюрприз своей молодой жене. Рыдасова была любительницей безделушек, всяких редкостных сувениров. Уже два года под Магаданом работал один заключенный — знаменитый косторез — точил из бивня мамонта замысловатый ларец для молодой жены Ивана Федоровича. Сначала этого костореза числили как больного, а потом ввели в штат какой-то мастерской, чтоб мастер мог заработать себе зачеты. И он получал зачеты — по три дня за день — как перевыполняющий план работы урановых рудников Колымы, где за вредность зачет выше «золотого», выше «первого металла».

Сооружение ларца близилось к концу. Завтра кончится эта морока с Уоллесом, и можно будет возвращаться в Магадан.

Рыдасова отдала распоряжение насчет зачисления Варпаховского в выездную бригаду, переслала донос певца в райотдел МВД и задумалась. Было о чем подумать — Иван Федорович старел, начал пить. Приехало много начальников новых, молодых. Иван Федорович их ненавидел и боялся. В заместители приехал Луценко и, объезжая Колыму, записывал во всех больницах — кто получил травмы из-за побоев. Таких оказалось немало. Стукачи Ивана Федоровича сообщили ему, конечно, о записях Луценко.

Луценко сделал доклад на хозактиве.

— Если начальник управления ругается матом, то что должен делать начальник прииска? Прораб? Десятник? Что должно делаться в забоях? Я прочту вам цифры, полученные в больницах при опросах — явно преуменьшенные — о переломах, о побоях.

По докладу Луценко Иван Федорович выступил с большой речью.

— К нам,— рассказывал Иван Федорович,— много приезжало новичков, но все постепенно убеждались, что здесь условия особые, колымские, и знать это надо.— Иван Федорович надеется, что молодые товарищи это поймут и будут работать вместе с нами.

Последняя фраза заключительного слова Луценко была:

— Мы приехали сюда работать, и мы будем работать, но мы будем работать не так, как говорит Иван Федорович, а как говорит партия.

Все, весь хозактив, вся Колыма поняла, что дни Ивана Федоровича сочтены. Думала так и Рыдасова. Но старик знал жизнь лучше, чем какой-то Луценко, комиссара ему, Ивану Федоровичу, не хватало. Иван Федорович написал письмо. И Луценко, его заместитель, начальник политотдела Дальстроя, герой Отечественной войны — исчез,— «как корова языком слизала». Перевели его куда-то срочно. Иван Федорович напился в честь победы и, напившись, буянил в Магаданском театре.

— Гоните этого певца в шею, не хочу слушать гадину,— бушевал Иван Федорович в собственной ложе.

И певец исчез из Магадана навсегда.

Но это была последняя победа. Луценко где-то что-то писал,— это Иван Федорович понимал, но сил предупредить удара не было.

«На пенсию пора,— думал Иван Федорович,— вот только бы ларец...»

— Пенсию тебе дадут большую,— утешала его жена.— Вот мы и уедем. Все забудем. Всех Луценок, всех Варпаховских. Купим домик под Москвой с садом. Будешь председателем Осоавиахима, активистом райсовета, а? Пора, пора.

— Экая мерзость,— сказал Иван Федорович,— председатель Осоавиахима? Бр-р. А ты? — внезапно спросил он.

— И я с тобой.

Иван Федорович понимал, что жена подождет года два-три, пока он умрет.

«Луценко! На мое место, что ли, захотел? — думал Иван Федорович.— Ишь ты! И работаем не так — «хищническая», дескать, добыча, старательская. Старательская добыча, дорогой товарищ Луценко, с войны, по приказу правительства, чтобы увеличить золотишко, а переломы, побои, смерти — так было и будет. Здесь Крайний Север — не Москва. Закон тайги, как говорят блатные. На побережье тридцать смыло в море, три тысячи человек умерло. Заместитель по лагерю Вышневецкий был отдан Никишевым под суд. И срок получил. А как еще надо действовать? Луценко, что ли, научит?»

— Машину мне!

Черный ЗИМ Ивана Федоровича летел прочь от Магадана, где плелись какие-то интриги, сети — у Ивана Федоровича не было сил бороться.

Ночевать Иван Федорович остановился в Доме дирек-

ции. «Дом» был творением Ивана Федоровича. Ни при Берзине, ни при Павлове Домов дирекции не было на Колыме. Но,— рассуждал Иван Федорович,— раз мне положено, пусть будет. Через каждые пять километров на огромной трассе было построено здание с картинами, коврами, зеркалами, бронзой, превосходным буфетом, поваром, завхозом и охраной, где мог бы достойно переночевать Иван Федорович, директор Дальстроя. Раз в год он действительно ночевал в своих домах.

Сейчас черный ЗИМ мчал Ивана Федоровича на Дебин, в центральную больницу, где был ближайший Дом дирекции. Туда уже позвонили, разбудили начальника больницы, всю больницу подняли «по боевой тревоге». Везде чистили, мыли, скребли.

Вдруг Иван Федорович посетит центральную больницу для заключенных, и если найдет грязь, пыль — тогда несдобровать начальнику. А начальник обвинял нерадивых фельдшеров и врачей в скрытом вредительстве — дескать, они плохо смотрят за чистотой, чтобы Иван Федорович увидел и снял начальника с работы. Такая, дескать, затаенная мысль у заключенного-врача или фельдшера, не усмотревших пылинки на письменном столе.

Все в больнице трепетало, пока черный ЗИМ Ивана Федоровича летел по трассе Колымы.

Дом дирекции не имел никакого отношения к больнице, просто расположен был рядом, метрах в пятистах, но это соседство было достаточным для всякого рода забот.

Иван Федорович за девять лет своей колымской жизни ни разу не посетил центральной больницы для заключенных, больницы на тысячу коек — ни разу. Но все были начеку, пока он завтракал, обедал, ужинал в Доме дирекции. Лишь когда черный ЗИМ выезжал на трассу, давался «отбой».

На сей раз «отбой» не последовал вовремя. Живет! Пьет! Гости приехали — вот какие сведения из Дома дирекции. На третий день ЗИМ Ивана Федоровича приблизился к поселку вольнонаемных, где жили врачи, фельдшера, обслуга больницы из вольнонаемных.

Все замерло. И начальник больницы, задыхаясь, лез через ручей, отделявший поселок от больницы.

Иван Федорович вылез из ЗИМа. Лицо его опухшее, несвежее. Он только закричал:

— Эй, как тебя,— перст Ивана Федоровича уперся в халат начальника больницы.

— Слушаю, товарищ начальник.

— У тебя тут есть дети?

— Мои дети? Они в Москве учатся, товарищ на чальник.

— Да не твои. Дети, ну, маленькие дети. Детсад у вас есть? Где детсад? — рявкнул Иван Федорович

— Вот в этом доме, товарищ начальник.

ЗИМ двинулся за Иваном Федоровичем к дому-детсаду. Все молчали.

— Зовите детей,— распорядился Иван Федорович.

Выскочила дежурная няня.

— Они спят...

— Тссссс,— отвел няню в сторону начальник больницы.— Всех звать, всех будить. Смотри, чтобы ручки были вымыты.

Няня умчалась внутрь детсада.

— Я хочу покатать детей в ЗИМе,— сказал Иван Федорович, закуривая.

— Ах, покатать, товарищ начальник. Как это чудесно!

Дети уже сбежали по лестнице, окружили Ивана Федоровича.

— Залезайте в машину,— кричал начальник больницы.— Иван Федорович вас будет катать. По очереди.

Дети влезли в ЗИМ, Иван Федорович сел рядом с шофером. Так ЗИМ покатал всех детишек в три очереди.

— А завтра-то, завтра? Приедете за нами?

— Приеду, приеду,— уверял Иван Федорович.

«Пожалуй, это неплохо,— думал он, укладываясь на белоснежной простыне Дома,— дети, добрый дядя. Как Иосиф Виссарионович с ребенком на руках».

На следующий день его вызвали в Магадан. Иван Федорович получил повышение — министром цветной промышленности, но дело было, конечно, в другом.

Выездная магаданская культбригада путешествовала по трассе, по приискам Колымы. В ней был и Леонид Варпаховский. Дуся Зыскинд, его лагерная жена, осталась в Магадане по приказу начальницы Рыдасовой. Лагерная жена. Это была настоящая любовь, настоящее чувство. Уж он-то знал, актер, профессиональный мастер поддельных чувств. Что делать дальше, кого просить? Варпаховский чувствовал страшную усталость.

В Ягодном его окружили местные врачи — вольные и заключенные.

В Ягодном. Два года назад он проезжал из Ягодного в спецзону, ему удалось «притормозиться» в Ягодном, не попасть на страшную Джелгалу. Какого это стоило труда! Надо было показать бездну выдумки, мастерства, уменья обойтись тем маленьким, что было в его руках на Севере. И он мобилизовал себя — он поставит музыкальный спектакль. Нет, не «Бал-маскарад» Верди, что он поставил для Кремлевского театра через пятнадцать лет, не «Мораль пани Дульской», не Лермонтова в Малом театре, не главная режиссура в театре Ермоловой. Он поставит оперетту «Черный тюльпан»! Нет рояля? Аккомпанировать будет гармонист. Варпаховский сам аранжирует оперную музыку для гармони, сам играет на баяне. И ставит. И побеждает. И ускользает от Джелгалы.

Удается добиться перевода в Магаданский театр, где он пользуется покровительством Рыдасовой. Он на лучшем счету у начальства. Варпаховский готовит смотры самодеятельности, готовит спектакль за спектаклем в Магаданском театре — один интересней другого. И вот — встреча с Дусей Зыскинд, с певицей, любовь, донос певца, дальняя дорога.

Многих из тех, кто стоял сейчас около грузовика, на котором путешествовала культбригада, Варпаховский знал. Вот Андреев, с которым когда-то они вместе ехали из Нексикана в колымскую спецзону. Они встретились в бане, в зимней бане — темнота, грязь, потные, скользкие тела, татуировка, матерщина, толкотня, окрики конвоя, теснота. Коптилка на стене, около коптилки парикмахер на табуретке с машинкой в руках — всех подряд, мокрое белье, ледяной пар в ногах, черпак на все умыванье. Связки вещей взлетают на воздух в полной темноте. «Чье? Чье?»

И вот этот гул, шум почему-то вдруг прекращается. И сосед Андреева, стоящий в очереди для того, чтобы снять пышную шевелюру, говорит звонким, спокойным, очень актерским голосом:

То ли дело — рюмка рома,
Ночью — сон, поутру — чай,
То ли дело, братцы, дома.

Они познакомились, разговорились — москвичи. В Ягодном, в Управлении Севера, от «этапа» удалось отбиться только Варпаховскому. Андреев не был ни режиссером,

ни актером. На Джелгале он получил срок, потом долго лежал в больнице, да и сейчас в областной больнице на Беличьем, километрах в шести от Ягодного — в обслуге. На спектакле культбригады не был, но Варпаховского рад повидать.

Варпаховский отстал от бригады — был положен в больницу экстренно — пока бригада поедет на Эльген в женский совхоз и вернется, он, Варпаховский, успеет подумать, сообразить.

Беседовали Андреев и Варпаховский много и решили так: Варпаховский обратится к Рыдасовой с письмом, где объяснит всю серьезность своего чувства, обратится к лучшим чувствам самой Рыдасовой. Письмо писали несколько дней, шлифуя каждую фразу. Гонец из верных врачей увез письмо в Магадан, оставалось только ждать. Ответ пришел, когда Андреев и Варпаховский уже расстались, когда культбригада уже возвращалась в Магадан; Варпаховского снять с работы в культбригаде и послать на общие работы на штрафной прииск. Зыскинд, его жену — послать на общие работы на Эльген — в женский сельскохозяйственный лагерь.

«Таков ответ был неба» — как говорится в одном из стихотворений Ясенского.

Андреев с Варпаховским встретился в Москве на улице. Варпаховский работал главным режиссером театра имени Ермоловой. Андреев — в одном из московских журналов.

. . . .

Письмо Варпаховского Рыдасова получила прямо из почтового ящика своей магаданской квартиры.

Это не понравилось ей и очень не понравилось Ивану Федоровичу.

— Обнаглели до крайности. Любой террорист...

Дежурный коридорный был немедленно снят с работы, посажен на гауптвахту. Следователю Иван Федорович решил дела не передавать — власть его как-никак ослабела — он это чувствовал.

— Ослабела моя власть,— сказал Иван Федорович жене,— вот и лезут прямо в квартиру.

Судьба Варпаховского и Зыскинд была решена еще до чтения письма. Выбирали только наказание — Иван Федорович — построже, Рыдасова — помягче. Остановились на варианте Рыдасовой.

АКАДЕМИК

Оказалось, что беседу с академиком очень трудно напечатать. Не потому, что академик наговорил чепухи, нет. Это был академик с большим именем, многоопытный любитель всевозможных интервью, а беседовал он на хорошо ему знакомую тему. Журналист, посланный для беседы, обладал достаточной квалификацией. Это был хороший журналист, а тридцать лет назад — очень хороший. Причина была в стремительности научного прогресса. Журнальные сроки — гранки, верстки, издательские графики безнадежно отставали от движения науки. Осенью пятьдесят седьмого года, четвертого октября, был запущен спутник. О подготовке к его запуску академик знал кое-что, а журналист ничего не знал. Но и академику, и журналисту, и редактору журнала было ясно, что не только границы информации после запуска спутника должны быть раздвинуты, но и сам тон статьи изменен. Статья в ее первом варианте должна была дышать ожиданием больших, исключительных событий. Сейчас эти события наступили. Поэтому через месяц после беседы академик слал в редакцию длиннейшие телеграммы из ялтинского санатория, телеграммы за собственный счет, с оплаченным ответом. Умело приоткрывая занавес кибернетических тайн, академик стремился во что бы то ни стало быть «на уровне» и в то же время не сказать лишнего. Редакция, которую занимали те же заботы о современности и о своевременности, вносила исправления в статью академика до последней минуты.

Гранки статьи были посланы в Ялту специальным самолетным курьером и, испещренные помарками академика, вернулись в редакцию.

«Бальзаковская правка»,— сокрушенно сказал заведующий редакцией. Все было улажено, увязано, вычитано. Громоздкая колымага издательской техники выехала на просторные колеи. Но ко времени верстки в космос полетела Лайка, и академик из Румынии, где он находился на конгрессе мира, слал новые телеграммы, умоляя, требуя. Редакция заказывала срочные международные телефонные переговоры с Бухарестом.

Наконец журнал вышел в свет, и редакция немедленно утратила интерес к статье академика.

Но все это было после, а сейчас журналист Голубев

поднимался по узкой мраморной лестнице огромного дома на главной улице города, где жил академик. Дом был одних лет с журналистом. Он был построен во время домостроительного бума в начале столетия. Коммерческие квартиры: ванна, газ, телефон, канализация, электричество.

В подъезде стоял стол дежурного дворника. Электрическая лампочка была приспособлена так, чтобы свет падал на лицо входящих. Это чем-то напоминало следственную тюрьму.

Голубев назвал фамилию академика, дежурный дворник позвонил по телефону, получил ответ, сказал журналисту «пожалуйста» и распахнул перед Голубевым украшенные бронзовым литьем двери лифта.

«Бюро пропусков»,— лениво подумал Голубев. Уж чего-чего, а бюро пропусков он за свою жизнь повидал немало.

— Академик живет на шестом этаже,— почтительно сообщил дежурный дворник. Лицо его не выразило удивления, когда Голубев прошел мимо открытой двери лифта и шагнул на чистую узкую мраморную лестницу. Лифта Голубев после болезни не переносил — ни подъема, ни спуска, особенно спуска с его коварной невесомостью.

Отдыхая на каждой площадке, Голубев добрался до шестого этажа. Шум в ушах немножко утих, стук сердца стал равномернее, дыхание ровнее. Голубев постоял перед дверью академика, вытянул руки и осторожно проделал несколько гимнастических движений головой — так рекомендовали врачи, лечившие журналиста.

Голубев перестал вертеть головой, нащупал в кармане платок, авторучку, блокнот и твердой рукой позвонил.

Популярный академик открыл дверь сам. Он был молод, вертляв, с быстрыми черными глазами и выглядел гораздо моложе, свежее Голубева. Перед беседой журналист просмотрел в библиотеке энциклопедические словари, а также несколько биографий академика — депутатских и научных — и знал, что он, Голубев, и академик — сверстники. Листая статьи по вопросам будущей беседы, Голубев обратил внимание, что академик метал громы и молнии со своего научного Олимпа в кибернетику, объявленную им «вреднейшей идеалистической квазинаукой». «Воинствующая лженаука» — так выражался академик

два десятка лет тому назад. Беседа, для которой приехал Голубев к академику, и должна была касаться современного значения кибернетики.

Академик зажег свет, чтобы Голубев мог раздеться.

В огромном зеркале с бронзовой рамой, стоящем в передней, отражались они оба — академик в черном костюме с черным галстуком, черноволосый, черноглазый, гладколицый, подвижной, и прямая фигура Голубева и его утомленное лицо со множеством морщин, похожих на глубокие шрамы. Но голубые глаза Голубева сверкали, пожалуй, помоложе, чем блестящие живые глаза академика.

Голубев повесил на вешалку свое негибкое, новенькое, недавно купленное пальто из искусственной кожи. Рядом с потертым коричневым кожаным, подбитым енотом пальто хозяина — оно выглядело вполне прилично.

— Прошу,— сказал академик, отворяя дверь налево.— И прошу извинить меня. Я сейчас вернусь.

Журналист осмотрелся. Анфилада комнат уходила вглубь в двух направлениях — прямо и направо. Двери были стеклянные, с низом из красного дерева, и где-то в глубине возникали тени людей при полном безмолвии. Голубеву не приходилось жить в квартирах, где комнаты были бы расположены анфиладой, но он помнил кинофильм «Маскарад», квартиру Арбенина. Академик появился где-то далеко и снова исчез, и снова появился, и снова исчез, как Арбенин в фильме.

Направо в первой большой комнате — дальше опять начиналась анфилада — светлой, со стеклянными дверями, с венецианскими окнами — стоял огромный белый рояль. Рояль был закрыт, и на крышке толпились, мешая друг другу, какие-то фарфоровые фигурки. На великолепных подставках стояли вазы, вазочки, статуи, статуэтки. На стенах висели тарелочки, коврики. Два просторных кресла были обиты белым, в тон роялю. Где-то в глубине за стеклом двигались человеческие тени.

Голубев вошел в кабинет академика. Крошечный кабинетик был темен, узок и казался чуланом. Книжные полки по всем четырем стенам сжимали комнату. Маленький, вроде игрушечного, резной письменный столик красного дерева, казалось, прогибался под тяжестью огромной мраморной чернильницы с крышкой из вызолоченной бронзы. Три стены книжных полок библиотеки были отведены справочникам, а одна — собственным сочинениям

академика. Биографии и автобиографии, уже знакомые Голубеву, стояли тут же. Втиснутый в эту же комнату, задыхался черный маленький рояль. К роялю был прижат круглый стол для корреспонденции, заваленный свежими техническими журналами. Голубев перенес груду журналов на рояль, подвинул стул и положил авторучку и два карандаша на край стола. Дверь в прихожую академик оставил открытой.

«Как в «тех» кабинетах»,— лениво подумал Голубев.

Везде: на черном рояле, на книжных полках стояли кувшинчики, фарфоровые и глиняные фигурки. Голубев взял в руки пепельницу в виде головы Мефистофеля. Давно когда-то любил он фарфор, стекло, поражался чуду человеческих рук в Эрмитаже — белой фарфоровой фигурке «Сон», где лицо спящего в кресле человека было покрыто тончайшим платком, и казалось, что сотрудники музея накинули на статую кусочек марли, чтоб фигурка не запылилась,— а это была не марля, а тончайший фарфоровый платок. И много еще других чудес человеческого уменья помнил Голубев. Но голова Мефистофеля — грузная, провинциальная — была непонятна. С полок трубили глиняные бараны, прижавшись к корешкам книг, как к деревьям, сидели зайцы с львиными мордами. Личная память?

Два добротных кожаных чемодана с наклейками иностранных гостиниц стояли около двери. Наклеек было много, чемоданы — новы.

Академик возник на пороге, перехватывая взгляд Голубева и сразу все объясняя:

— Прошу прощения. Завтра уезжаю в Грецию самолетом. Прошу.

Академик протискался к письменному столу, занял удобную позицию.

— Я думал о предложении вашей редакции,— сказал он, глядя на форточку; ветер вносил в комнату желтый пятипалый кленовый лист, похожий на отрубленную кисть человеческой руки. Лист повертелся в воздухе и упал на пол. Академик нагнулся, изломал сухой лист в пальцах и бросил его в плетеную корзиночку, которая прижалась к ножке письменного столика.

— И согласился на него,— продолжал академик.— Я наметил три главных пункта моего ответа, моего выступления, мнения,— называйте это как хотите.

Академик ловко извлек из-под огромной чернильницы крошечный листок бумаги, где каракулями было записано несколько слов.

— Вопрос первый формулируется мной так...

— Я прошу вас,— сказал Голубев, бледнея,— говорить чуть-чуть громче. Дело в том, что я плохо слышу. Прошу прощения.

— Ну что вы, что вы,— вежливо сказал академик.— Вопрос первый формулируется... Так достаточно?

— Да, благодарю вас.

— Итак, первый вопрос...

Черные бегающие глаза академика смотрели на руки Голубева. Голубев понимал, вернее, не понимал, а чувствовал всем телом, о чем академик думает. Он думает о том, что присланный к нему журналист не владеет стенографией. Это слегка обидело академика. Конечно, есть журналисты, не знающие стенографии, особенно из пожилых. Академик посмотрел на темное морщинистое лицо журналиста. Есть, конечно. Но ведь в таких случаях редакция посылает второго человека — стенографистку. Могла бы прислать одну стенографистку — без журналиста — это было бы еще лучше. «Природа и Вселенная», например, всегда присылает ему только стенографистку. Ведь не думает же редакция, пославшая этого немолодого журналиста, что журналист может задавать острые вопросы ему, академику. Ни о каких острых вопросах не идет речи. И никогда не шло. Журналист — это дипломатический курьер,— думал академик,— если не просто курьер. Он, академик, теряет время из-за того, что нет стенографистки. Стенографистка — это элементарно, это, если угодно, вежливость редакции. Редакция поступила с ним невежливо.

Вот на Западе — там всякий журналист владеет стенографией, умеет писать на пишущей машинке. А сейчас — будто сто лет назад, где-нибудь в кабинете Некрасова. Какие журналы были сто лет назад? Кроме «Современника» он никаких не помнит, а ведь, наверное, были.

Академик был самолюбивым человеком, весьма чувствительным человеком. В поступке редакции ему чудилось неуважение. Притом — он знал это по опыту — живая запись неизбежно изменит беседу. Придется много тратить труда на правку. Да и теперь: на беседу был отведен час — больше часа академик не может, не имеет

права: его время дороже, чем время журналиста, редакции.

Так думал академик, диктуя привычные фразы интервью. Впрочем, он не подал и виду, что он рассержен или удивлен. «Вино, разлитое в стаканы, надо пить»,— припомнил он французскую поговорку. Академик думал по-французски — из всех языков, которые он знал, он больше всего любил французский — лучшие научные журналы по его специальности, лучшие детективные романы... Академик произнес французскую фразу вслух, но журналист, не владевший стенографией, не откликнулся на нее — этого академик и ждал.

Да, вино разлито,— думал академик, диктуя,— решение принято, дело уже начато, и не в привычках академика останавливаться на полдороге. Он успокоился и продолжал говорить.

В конце концов, это своеобразная техническая задача: уложиться ровно в час, диктуя не быстро, чтоб журналист успел записать, и достаточно громко — тише, чем с кафедры в институте, и тише, чем на конгрессах мира, но значительно громче, чем в своем кабинете — примерно так, как на лабораторных занятиях. Увидев, что все эти задачи разрешены удачно и досадные неожиданные трудности побеждены, академик развеселился.

— Простите,— сказал академик,— вы не тот Голубев, что много печатался во времена моей молодости, моей научной молодости, в начале тридцатых годов? За его статьями все молодые ученые следили тогда. Я как сейчас помню название одной его статьи «Единство науки и художественной литературы». В те годы,— академик улыбнулся, показывая свои хорошо отремонтированные зубы,— были в моде такие темы. Статья бы и сейчас пригодилась для разговора о физиках и лириках с кибернетиком Полетаевым. Давно все это было,— вздохнул академик.

— Нет,— сказал журналист.— Я не тот Голубев. Я знаю, о ком вы говорите. Тот Голубев умер в тридцать восьмом году.

И Голубев твердым взглядом посмотрел в быстрые черные глаза академика.

Академик издал неясный звук, который следовало оценить как сочувствие, понимание, сожаление.

Голубев писал не отдыхая. Французскую пословицу насчет вина он понял не сразу. Он знал язык и забыл,

давно забыл, а сейчас незнакомые слова ползли по его утомленному, иссохшему мозгу. Тарабарская фраза медленно двигалась, будто на четвереньках, по темным закоулкам мозга, останавливалась, набирала силы и доползала до какого-то освещенного угла, и Голубев с болью и страхом понял ее значение на русском языке. Суть была не в ее содержании, а в том, что он понял ее — она как бы открыла, указала ему на новую область забытого, где тоже надо все восстанавливать, укреплять, поднимать. А сил уже не было — ни нравственных, ни физических, и казалось, что гораздо легче ничего нового не вспоминать. Холодный пот выступил на спине журналиста. Очень хотелось курить, но врачи запретили табак — ему, курившему сорок лет. Запретили — и он бросил — струсил, захотел жить. Воля была нужна не для того, чтобы бросить курить, а для того, чтобы не слушать советов врачей.

В дверь просунулась женская голова в парикмахерском шлеме. «Услуги на дому»,— отметил журналист.

— Простите,— и академик вылез из-за рояля и выскользнул из комнаты, плотно притворив дверь.

Голубев помахал затекшей рукой и очинил карандаш.

Из передней слышался голос академика — энергичный, в меру резкий, никем не перебиваемый, безответный.

— Шофер,— пояснил академик, возникая в комнате,— не может никак сообразить, к какому часу подать машину... Продолжим,— сказал академик, заходя за рояль и перегибаясь через него, чтобы Голубеву было слышнее.— Второй раздел — это успехи теории информации, электроники, математической логики — словом, всего того, что принято называть кибернетикой.

Пытливые черные глаза встретились с глазами Голубева, но журналист был невозмутим. Академик бодро продолжал:

— В этой модной науке сперва мы немножко отстали от Запада, но быстро выправились и теперь идем впереди. Подумываем об открытии кафедр математической логики и теории игр.

— Теории игр?

— Именно: она еще называется теория Монте-Карло,— грассируя, протянул академик.— Поспеваем за веком. Впрочем, вам...

— Журналисты никогда не поспевали за веком,— сказал Голубев.— Не то что ученые...

Голубев передвинул пепельницу с головой Мефистофеля.

— Вот залюбовался пепельницей,— сказал он.

— Ну что вы,— сказал академик.— Случайная покупка. Я ведь не коллекционер, не «аматер», как говорят французы, а просто на глине отдыхает глаз.

— Конечно, конечно, прекрасное занятие,— Голубев хотел сказать — увлечение, но побоялся звука «у», чтобы не вылетел зубной протез, вставленный совсем недавно. Протез не переносил звука «у».— Ну, благодарю вас,— сказал Голубев, вставая и складывая листочки.— Желаю вам всего хорошего. Гранки пришлем.

— Там, в случае чего,— сказал академик, поморщившись,— пусть в редакции сами прибавят то, что нужно. Я ведь человек науки, могу не знать.

— Не беспокойтесь. Все вы увидите в гранках.

— Желаю удачи.

Академик вышел проводить журналиста в переднюю, зажег свет и с сочувствием смотрел, как Голубев напяливает на себя свое чересчур новое, негнущееся пальто. Левая рука с трудом попала в левый рукав пальто, и Голубев покраснел от натуги.

— Война? — с вежливым вниманием спросил академик.

— Почти,— сказал Голубев.— Почти.— И вышел на мраморную лестницу.

Плечевые суставы Голубева были разорваны на допросах в тридцать восьмом году.

АЛМАЗНАЯ КАРТА

В тридцать первом году на Вишере были часты грозы.

Прямые короткие молнии рубили небо, как мечи. Кольчуга дождя сверкала и звенела; скалы были похожи на руины замка.

— Средние века,— сказал Вилемсон, спрыгивая с лошади.— Челноки, кони, камни... Отдохнем у Робин Гуда.

Могучее двуногое дерево стояло на пригорке. Ветер и старость сорвали кору со стволов двух сросшихся тополей — босой гигант в коротких штанах был и впрямь похож на шотландского героя. Робин Гуд шумел и размахивал руками.

— Ровно десять верст до дому,— сказал Вилемсон, привязывая лошадей к правой ноге Робин Гуда. Мы спрятались от дождя в маленькой пещере под стволом и закурили.

Начальник геологической партии Вилемсон не был геологом. Он был военный моряк, командир подводной лодки. Лодка сбилась с курса, всплыла у берегов Финляндии. Экипаж был отпущен, но командира Маннергейм продержал целых полгода в зеркальной камере. Вилемсон был в конце концов выпущен, приехал в Москву. Невропатологи и психиатры настояли на демобилизации, с тем чтобы Вилемсону работать где-нибудь на чистом воздухе, в лесу, в горах. Так он стал начальником геологической разведочной группы.

С последней пристани мы поднимались десять суток вверх по горной реке — на шестах проталкивая челнок-осиновку вдоль берегов. Пятые сутки мы ехали верхом, потому что реки уже не было — осталось только каменистое русло. Еще день лошади шли тайгой по вьючной тропе, и путь казался бесконечным.

В тайге все неожиданно, все — явление: луна, звезды, зверь, птица, человек, рыба. Незаметно поредел лес, разошлись кусты, тропа превратилась в дорогу, и перед нами возникло огромное кирпичное замшелое здание без окон. Круглые пустые окна казались бойницами.

— Откуда кирпич? — спросил я, пораженный необыкновенностью старого строения в таежной глуши.

— Молодец,— крикнул Вилемсон, осаживая коня.— Увидел! Завтра все поймешь!

Но и на другой день я ничего не понял. Мы снова были в пути, мы скакали по лесной дороге странной прямизны. Молодой березняк кое-где перебегал дорогу, ели с обеих сторон протягивали друг другу косматые старые лапы, порыжелые от старости, но синее небо не закрывалось ветвями ни на минуту. Красный от ржавчины вагонный скат рос из земли, как дерево без сучьев и листьев. Мы остановили лошадей.

— Это узкоколейка,— сказал Вилемсон.— Шла от завода до склада — того, кирпичного. Вот, слушай. Здесь

когда-то, еще при царе, была бельгийская железорудная концессия. Завод, две домны, узкоколейка, поселок, школа, певицы из Вены. Концессия давала большие барыши. Железо плавили в баржах по паводкам — весной и осенью. Срок концессии кончался в 1912 году. Русские промышленники, во главе с князем Львовым, которым не давали спокойно спать сказочные барыши бельгийцев, просили у царя передать дело им. Они добились успеха — концессия бельгийцам не была продлена. От оплаты затрат бельгийцы отказались. Они ушли. Но, уходя, взорвали все — завод и домны, в поселке камня на камне не оставили. Даже узкоколейку разобрали до последнего стыка рельс. Все надо было начинать сначала. Не на это рассчитывал князь Львов. Не успели начать заново — война. Затем — революция, гражданская война. И вот сейчас, в 1930 году — мы здесь. Вот домны,— Вилемсон показал куда-то вправо, но кроме бурной зелени я не увидел ничего.— А вот и завод,— сказал Вилемсон.

Перед нами было большое неглубокое ущелье, падь, сплошь заросшая молодым лесом. Посредине ущелье горбилось, и горб смутно напоминал остов какого-то разрушенного здания. Тайга затянула остатки завода, и на обломанной трубе, как на вершине скалы, сидел бурый ястреб.

— Надо знать, чтобы видеть, что здесь был завод,— сказал Вилемсон.— Завод без человека. Знатная работа. Всего двадцать лет. Двадцать травяных поколений: порея, осоки, кипрея... И нет цивилизации. И ястреб сидит на заводской трубе.

— У человека такой путь гораздо длиннее,— сказал я.

— Гораздо короче,— сказал Вилемсон.— Людских поколений надо меньше.— И, не постучав, он открыл дверь ближайшей избы.

Серебряноголовый огромный старик в касторовом черном сюртуке старинного покроя, в золотых очках, сидел за грубым столом, оструганным, отмытым добела. Подагрические синеватые пальцы обнимали темный переплет толстой кожаной книги с серебряными застежками. Голубые глаза с красными старческими прожилками спокойно смотрели на нас.

— Здравствуйте, Иван Степанович,— сказал Вилемсон, подходя.— Вот, гостя к вам привел.— Я поклонился.

— Все роете? — захрипел старик в золотых очках.— Пустое дело, пустое. Угостили бы вас чаем, ребята, да все в разгоне. Бабы с малышами по ягоды ушли, сыны на охоте. Засим — простите. У меня это время особое,— и Иван Степанович постучал пальцем по толстой книге.— Впрочем, вы мне не помешаете.

Застежка щелкнула, и книжка открылась.

— Что за книга? — спросил я невольно.

— Библия, сынок. Других книг не держу в доме уже двадцать лет... Мне слушать лучше, чем читать,— глаза ослабли.

Я взял в руки Библию. Иван Степанович улыбнулся. Книга была на французском языке.

— Я не умею по-французски.

— То-то,— сказал Иван Степанович и затрещал страницами. Мы вышли.

— Кто это такой? — спросил я Вилемсона.

— Бухгалтер, бросивший вызов миру. Иван Степанович Бугреев, вступивший в борьбу с цивилизацией. Он — единственный, кто остался в этой глуши с двенадцатого года. Был у бельгийцев главным бухгалтером. Уничтожением заводов был так ошеломлен, что сделался последователем Руссо. Видите, какой патриарх. Ему лет семьдесят, я думаю. Восемь сыновей. Дочерей у него нет. Старуха-жена. Внуки. Дети грамотны. Они успели выучиться в школе. Внучат старик учить грамоте не дает. Рыбная ловля, охота, огород какой-то, пчелы и французская Библия в дедовском пересказе — вот их жизнь. Верст за сорок здесь есть поселок, школа, магазин. Я ухаживаю за ним — есть слухи, что он хранит подземную карту здешних краев,— осталась от бельгийских разведок. Возможно, что это и правда. Разведки-то были — я сам встречал в тайге чьи-то старые шурфы. Не дает старик карту. Не хочет сократить нам работу. Придется обойтись без нее.

Мы ночевали в избе у старшего сына Ивана Степановича — Андрея. Андрею Бугрееву было лет сорок.

— Что же не пошел шурфовщиком ко мне? — сказал Вилемсон.

— Отец не одобряет,— сказал Андрей Бугреев.

— Заработал бы денег!

— Да денег-то у нас хватает. Здесь ведь зверя богато. Лесозаготовки тоже. Да и по хозяйству работы много —

дед ведь на каждого план составляет. Трехлетний,— улыбнулся Андрей.

— Вот, возьми газету.

— Не надо. Отец узнает. Да и читать я почти разучился.

— А сын? Ему ведь пятнадцатый год.

— А Ванюшка и вовсе неграмотен. Отцу скажите, а со мной что говорить.— И Андрей Иванович стал яростно стаскивать сапоги.— А что, верно, здесь школу строить будут?

— Верно. Через год откроют. А ты вот на разведку и работать не хочешь. Мне каждый человек дорог.

— Где все твои-то? — сказал Андрей Иванович, деликатно меняя тему разговора.

— На Красном ключе. По старым шурфам ковыряемся. У Ивана Степановича ведь есть карта, а, Андрей?

— Нет у него никакой карты. Враки это все. Брехня.

На свет вдруг выскочило встревоженное и озлобленное лицо Марьи, Андреевой жены:

— Нет, есть! Есть! Есть!

— Марья!

— Есть! Есть! Я десять лет назад сама видела.

— Марья!

— На черта хранить эту проклятую карту? Зачем Ванюшка неграмотный? Живем как звери. Травой скоро зарастем!

— Не зарастете,— сказал Вилемсон.— Будет поселок. Город будет. Завод будет. Жизнь будет. И хоть певичек венских не будет, зато школы, театры. Ванюшка твой еще станет инженером.

— Не станет, не станет,— заплакала Марья.— Ему уж жениться пора. А кто за него пойдет, за неграмотного?

— Что за шум? — Иван Степанович стоял на пороге.— Ты, Марья, иди к себе — спать пора. Андрей, за женой плохо смотришь. А вы, граждане хорошие, в семью мою ссор не вносите. Карта у меня есть, и я ее не дам,— не нужно все это для жизни.

— Нам не очень нужна ваша карта,— сказал Вилемсон.— Мы за год работы свою вычертим. Богатства открыты. Завтра Васильчиков привезет чертежи,— будем лес валить для поселка.

Иван Степанович вышел, хлопнув дверью. Все заторопились спать.

Я проснулся от присутствия многих людей. Рассвет

осторожно входил в комнату. Вилемсон сидел у стены прямо на полу, вытянув грязные босые ноги, и вокруг него громко дышало все семейство Бугреевых, все его восемь сыновей, восемь снох, двадцать внучат и пятнадцать внучек. Впрочем, внучата и внучки дышали где-то на крыльце. Не было только самого Ивана Степановича да его старушки-жены — востроносенькой Серафимы Ивановны.

— Так будет? — спрашивал задыхающийся голос Андрея.

— Будет.

— А как же он? — И все Бугреевы глубоко вздохнули и замерли.

— А что он? — спросил Вилемсон твердо.

— Дед умрет,— жалобно выговорил Андрей, и все Бугреевы вздохнули снова.

— Может быть, и не умрет,— неуверенно сказал Вилемсон.

— И бабка умрет.— И снохи заплакали.

— Мать ни в коем случае не умрет,— заверил Вилемсон и добавил: — Впрочем, она женщина пожилая.

Вдруг все зашумели, зашевелились. Внучата помоложе юркнули в кусты, снохи бросились к своим избам. От дедовской избы к нам медленно шел Иван Степанович, держа в обеих руках огромную грязную, пахнущую землей связку бумаг.

— Вот она, карта.— Иван Степанович держал в руках пергаментные слежавшиеся листы, и пальцы его дрожали. Из-за его могучей спины выглядывала Серафима Ивановна.— Вот — отдаю. Двадцать лет. Сима, прости, Андрей, Петр, Николай, все сродники — простите.— Бугреев заплакал.

— Ну, полно, полно, Иван Степанович,— сказал Вилемсон.— Не волнуйся. Радуйся, а не огорчайся.— И велел мне держаться поближе к Бугрееву. Старик вовсе не думал умирать. Он скоро успокоился, помолодел и болтал с утра до вечера, хватая за плечи меня, Вилемсона, Васильчикова,— все рассказывал о бельгийцах, как что было, где стояло, какие были прибыли у хозяев. Память у старика была хорошая.

В пергаментной, пахнущей землей связке бумаг была подземная карта этого края, составленная бельгийцами. Руды: золото, железо... Драгоценные камни: топаз, бирюза, берилл... Самоцветы: агат, яшма, горный хрусталь,

малахит... Не было только тех камней, ради которых и приехал сюда Вилемсон.

Иван Степанович не отдал алмазной карты. Алмазы на Вишере нашли только через тридцать лет.

НЕОБРАЩЕННЫЙ

Я бережно храню свой старый складной стетоскоп. Это — подарок в день окончания фельдшерских лагерных курсов от Нины Семеновны — руководителя практики по внутренним болезням.

Стетоскоп этот — символ и знак возвращения моего к жизни, обещание свободы, обещание воли, сбывшееся обещание. Впрочем, свобода и воля — разные вещи. Я никогда не был вольным, я был только свободным во все взрослые мои годы. Но все это было позже, много позже того самого дня, когда я принял этот подарок с чуть затаенной болью, с чуть затаенной грустью — как будто не мне, а кому-то другому следовало подарить этот стетоскоп — символ и знак главной моей победы, главной моей удачи на Дальнем Севере, на рубеже смерти и жизни. Я отчетливо чувствовал все это — не знаю, понимал ли, но чувствовал безусловно, укладывая стетоскоп рядом с собой под вытертое лагерное одеяло, бывшее солдатское, одеяло второго, а то и третьего срока, которые давались курсантам. Я гладил стетоскоп отмороженными пальцами, и пальцы не понимали — дерево это или железо. Однажды из мешка, собственного мешка,— я на ощупь вынул стетоскоп вместо ложки. И в этой ошибке был глубокий смысл.

Бывшие заключенные, которым лагерь достался легко — если кому-нибудь лагерь может быть легок — считают самым трудным временем своей жизни — послелагерное бесправие, послелагерные скитания, когда никак не удавалось обрести бытовую устойчивость — ту самую устойчивость, которая помогла им выжить в лагере. Эти люди как-то приспособились к лагерю, и лагерь приспособился к ним, давая им еду, крышу и работу. Привычки нужно было резко менять. Люди увидели крушение своих надежд, столь скромных. Доктор Калембет, отбывший пять лет своего лагерного срока, не справился

с послелагерной волей и через год покончил с собой, оставив записку: «Дураки жить не дают». Но дело было не в дураках. Другой врач, доктор Миллер, с необычайной энергией всю войну доказывал, что он не немец, а еврей — кричал об этом на каждом углу, в каждой анкете. Еще был третий, доктор Браудэ — пересидел три года из-за своей фамилии, и доктор Миллер знал, что судьба шутить не любит. Доктору Миллеру удалось доказать, что он не немец. Доктор Миллер был освобожден в срок. Но уже через год вольной жизни доктора Миллера он был обвинен в космополитизме. Впрочем, доктора Миллера еще не обвиняли. Грамотный начальник, читавший газеты и следивший за художественной литературой, пригласил доктора Миллера для предварительной беседы. Ибо приказ есть приказ, а угадать «линию» раньше приказа — большое удовольствие грамотных начальников. То, что началось в центре, обязательно дойдет в свое время до Чукотки, до Индигирки и Яны, до Колымы. Доктор Миллер все это хорошо понимал. В поселке Аркагала, где Миллер работал врачом, в яме для нечистот утонул поросенок. Поросенок задохся в дерьме, но был вытащен, и началась одна из самых острых тяжб; в разрешении вопроса участвовали все общественные организации. Вольный поселок — человек сто начальников и инженеров с семьями требовали, чтобы поросенок был отдан в вольную столовую — это была бы редкость — свиная отбивная, сотни свиных отбивных. У начальства текли слюнки. Но начальник лагеря Кучеренко настаивал, чтобы поросенок был продан в лагерь — и весь лагерь, вся зона обсуждали судьбу поросенка несколько дней. Все остальное было забыто. В поселке шли собрания — партийной организации, профсоюзной организации, бойцов отряда охраны.

Доктор Миллер, бывший зэка, начальник санитарной части поселка и лагеря, должен был решить этот острый вопрос. И доктор Миллер решил — в пользу лагеря. Был написан акт, в котором говорилось, что поросенок утонул в дерьме, но может быть использован для лагерного котла. Таких актов на Колыме было немало. Компот, который провонял керосином. «К продаже в магазине поселка вольнонаемных не годится, но может быть промыт и продан в лагерный котел».

Вот этот акт о поросенке Миллер подписал за день до беседы о космополитизме. Это — простая хронология,

то, что остается в памяти, как жизненно важное, отметное.

После беседы со следователем Миллер не пошел домой, а вошел в зону, надел халат, открыл свой кабинет, шкаф, достал шприц и ввел себе в вену раствор морфия.

Зачем весь этот рассказ — о врачах-самоубийцах, о поросенке, утонувшем в нечистотах, о радости заключенных, которой не было границ? А вот зачем.

Для нас — для меня и для сотен тысяч других, которые работали в лагере не врачами, послелагерное время было сплошным счастьем, ежедневным, ежечасным. Слишком грозен был ад за нашими плечами, и никакие мытарства по спецотделам и отделам кадров, никакие скитания, никакое бесправие тридцать девятой статьи паспортной системы не лишали нас этого ощущения счастья, радости — по сравнению с тем, что мы видели в нашем вчерашнем и позавчерашнем дне.

Для курсанта фельдшерских курсов попасть на практику в третье терапевтическое отделение было большой честью. Третьим отделением руководила Нина Семеновна — бывший доцент кафедры диагностической терапии Харьковского медицинского института.

Только два человека, два курсанта из тридцати могли проходить месячную практику в третьем терапевтическом отделении.

Практика, живое наблюдение за больными — ах, как это бесконечно далеко от книги, от «курса». Медиком нельзя стать по книгам — ни фельдшером, ни врачом.

В третье отделение пойдут только двое мужчин — я и Бокис.

— Двое мужчин? Почему?

Нина Семеновна была сгорбленная зеленоглазая старая женщина, седая, морщинистая, недобрая.

— Двое мужчин? Почему?

— Нина Семеновна ненавидит женщин.

— Ненавидит?

— Ну, не любит. Словом, двое мужчин. Счастливцы.

Староста курсов, Муза Дмитриевна, привела меня и Бокиса перед зеленые очи Нины Семеновны.

— Вы давно здесь?

— С тридцать седьмого.

— А я — с тридцать восьмого. На Эльгене была сначала. Триста родов там приняла, а до Эльгена роды не

принимала. Потом война — муж у меня погиб в Киеве. И двое детей. Мальчики. Бомба.

Вокруг меня умерло больше людей, чем в любом сраженье войны. Умерло без всякой войны, до всякой войны. И все же. Горе бывает разное, как и счастье.

Нина Семеновна села на койку больного, отвела одеяло.

— Ну, начнем. Берите в руки стетоскоп, приставьте к груди больного и слушайте... Французы слушают через полотенце. Но стетоскоп — вернее, надежней всего. Я не поклонница фонендоскопов — врач-барин пользуется фонендоскопом — ему лень нагнуться к больному. Стетоскоп... То, что я показываю вам — вы не найдете ни в одном учебнике. Слушайте.

Скелет, обтянутый кожей, покорно выполнял команду Нины Семеновны. Выполнял и мои команды.

— Слушайте этот коробчатый звук, этот глухой оттенок. Запомните его на всю жизнь, как и эти кости, эту сухую кожу, этот блеск в глазах. Запомните?

— Запомню. На всю жизнь.

— Помните, какой звук был вчера? Слушайте больного снова. Звук изменился. Описывайте все это — записывайте в историю болезни. Смело. Твердой рукой.

В палате было двадцать больных.

— Интересных больных сейчас нет. А то, что вы видели — это голод, голод и голод. Садитесь слева. Вот сюда, на мое место. Берите больного левой рукой за плечи. Тверже, тверже. Что слышится?

Я рассказывал.

— Ну, пора обедать. Идите, вас покормят в раздатке.

Раздобревшая раздатчица Шура щедрой рукой налила нам «докторский» обед. Темные глаза сестры-хозяйки улыбались мне, но больше улыбались самой себе, внутрь себя самой...

— Почему это, Ольга Томасовна?

— А-а, вы заметили. Я всегда думаю о другом. О прошлом. О вчерашнем. Стараюсь не видеть сегодняшнего.

— Сегодняшнее — не очень плохое, но очень страшное.

— Налить вам еще супу?

— Налейте.

Мне было не до темных глаз. Урок у Нины Семеновны, овладение лечебным искусством важнее было мне всего на свете.

Нина Семеновна жила в отделении в комнате, называемой на Колыме «кабинкой». Никто никогда кроме хозяйки не входил туда. Убирала и подметала пол хозяйка сама. Мыла ли она сама пол — не знаю. В открытую дверь была видна жесткая, плохо застеленная койка, больничная тумбочка, табуретка, беленые стены. Был еще кабинетик рядом с кабинкой, только дверь открывалась в палату, а не в сени. В кабинете — стол вроде письменного, две табуретки, кушетка.

Все было так, как и в других отделениях, и чем-то непохоже — цветов, что ли, здесь не было — ни в кабинке, ни в кабинетике, ни в палате. А может быть, строгость Нины Семеновны, ее безулыбчатость виновата? Темнозеленым, изумрудным огнем ее глаза вспыхивали как-то невпопад, не к месту. Глаза вспыхивали без связи с разговором, с делом. Но глаза жили не сами по себе — а жили вместе с чувствами и мыслями Нины Семеновны.

В отделении не было дружбы, даже самой поверхностной дружбы — санитарок, медсестер. Все приходили на работу, на службу, на дежурство, и было видно, что истинная жизнь сотрудников третьего терапевтического отделения — в женском бараке, после службы, после работы. Обычно в больницах лагерных истинная жизнь приклеивается, прилипает к месту и времени работы — в отделение идут радостно, чтоб скорее расстаться с проклятым бараком.

В третьем терапевтическом отделении не было дружбы. Санитарки и сестры не любили Нину Семеновну. Только уважали. Боялись. Боялись страшного Эльгена, совхоза колымского, где и в лесу и на земле работают женщины-заключенные.

Боялись все, кроме Шуры-раздатчицы.

— Мужиков водить сюда — трудное дело,— говорила Шура, с грохотом зашвыривая вымытые миски в шкаф.— Но я уж, слава богу, на пятом месяце. Скоро отправят в «Эльген» — освободят! Мамок освобождают каждый год: один у нашего брата шанс.

— Пятьдесят восьмую не освобождают.

— У меня десятый пункт. Десятый пункт освобождают. Не троцкисты. Катюшка тут в прошлом году на моем месте работала. Ее мужик, Федя, сейчас со мной живет — Катюшку освободили с ребенком, приходила прощаться. Федя говорит: «Помни, я тебя освободил». Это уж не по сроку, не по амнистии, не по зеленому прокурору,

а собственным способом, самым надежным... И верно — освободил. Кажется, и меня освободил...

Шура доверительно показала на свой живот.

— Наверное, освободил.

— Вот то-то и оно. Из отделения этого проклятого я уйду.

— А что тут за тайна, Шура?

— Увидишь сам. Давайте-ка лучше — завтра воскресенье — варить медицинский суп. Хоть Нина Семеновна и не очень любит эти праздники... Разрешит все же...

Медицинский суп — это был суп из медикаментов — всевозможных кореньев, мясных кубиков, растворенных в физиологическом растворе — и соли не надо,— как восхищенно сообщила мне Шура... Кисели черничные и малиновые, шиповник, блинчики.

Медицинский обед был одобрен всеми. Нина Семеновна доела свою порцию и встала.

— Зайдите ко мне в кабинет.

Я вошел.

— У меня есть книжка для вас.

Нина Семеновна порылась в ящике стола и достала книжку, похожую на молитвенник.

— Евангелие?

— Нет, не Евангелие,— медленно сказала Нина Семеновна, и зеленые глаза ее заблестели.— Нет, не Евангелие. Это — Блок. Берите.— Я взял в руки благоговейно и робко грязно-серый томик малой серии «Библиотеки поэта». Грубой, еще приисковой кожей отмороженных пальцев моих провел по корешку, не чувствуя ни формы, ни величины книги. Две бумажных закладки были в томике.

— Прочтите мне вслух эти два стихотворения. Где закладки.

— «Девушка пела в церковном хоре». «В голубой далекой спаленке». Я когда-то знал наизусть эти стихи.

— Вот как? Прочтите.

Я начал читать, но сразу забыл строчки. Память отказывалась «выдавать» стихи. Мир, из которого я пришел в больницу, обходился без стихов. В моей жизни были дни, и немало, когда я не мог вспомнить и не хотел вспоминать никаких стихов. Я радовался этому, как освобождению от лишней обузы — не нужной в моей борьбе, в нижних этажах жизни, в подвалах жизни, в выгребных ямах жизни. Стихи там только мешали мне.

— Читайте по книжке.

Я прочел оба стихотворения, и Нина Семеновна заплакала.

— Вы понимаете, что мальчик-то умер, умер. Идите, читайте Блока.

Я с жадностью читал и перечитывал Блока всю ночь, все дежурство. Кроме «Девушки» и «Голубой спаленки» там были «Заклятье огнем и мраком», там были огненные стихи, посвященные Волоховой. Эти стихи разбудили совсем другие силы. Через три дня я вернул Нине Семеновне книжку.

— Вы думали, что я вам даю Евангелие. Евангелие у меня тоже есть. Вот...— Похожий на Блока, но не грязно-голубой, а темно-коричневый томик был извлечен из стола.

— Читайте апостола Павла. К коринфянам... Вот это.

— У меня нет религиозного чувства, Нина Семеновна. Но я, конечно, с великим уважением отношусь...

— Как? Вы, проживший тысячу жизней? Вы — воскресший?.. У вас нет религиозного чувства? Разве вы мало видели здесь трагедий?

Лицо Нины Семеновны сморщилось, потемнело, седые волосы рассыпались, выбились из-под белой врачебной шапочки.

— Вы будете читать книги... журналы.

— Журнал Московской патриархии?

— Нет, не Московской патриархии, а оттуда...

Нина Семеновна взмахнула белым рукавом, похожим на ангельское крыло, показывая вверх... Куда? За проволоку «зоны»? За больницу? За ограду вольного поселка? За море? За горы? За границу? За рубеж земли и неба?..

— Нет,— сказал я неслышным голосом, холодея от внутреннего своего опустошения.

— Разве из человеческих трагедий выход только религиозный? — Фразы ворочались в мозгу, причиняя боль клеткам мозга. Я думал, что я давно забыл такие слова. И вот вновь явились слова — и главное, повинуясь моей собственной воле. Это было похоже на чудо. Я повторил еще раз, как бы читая написанное или напечатанное в книжке:— Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?

— Только, только. Идите.

Я вышел, положив Евангелие в карман, думая почему-

то не о коринфянах, и не об апостоле Павле, и не о чуде человеческой памяти, необъяснимом чуде, только что случившемся, а совсем о другом. И представив себе это «другое», я понял, что я вновь вернулся в лагерный мир, в привычный лагерный мир, возможность «религиозного выхода» была слишком случайной и слишком неземной. Положив Евангелие в карман, я думал только об одном: дадут ли мне сегодня ужин.

Теплые пальцы Ольги Томасовны взяли меня за локоть. Темные глаза ее смеялись.

— Идите, идите,— сказала Ольга Томасовна, подвигая меня к выходной двери.— Вы еще не обращенный. Таким ужин у нас не дают.

На следующий день я вернул Евангелие Нине Семеновне, и она резким движением запрятала книжку в стол.

— Ваша практика кончается завтра. Давайте, я подпишу вашу карточку, вашу зачетку. И вот вам подарок — стетоскоп.

ЛУЧШАЯ ПОХВАЛА

Жила-была красавица. Марья Михайловна Добролюбова. Блок о ней писал в дневнике: главари революции слушали ее беспрекословно, будь она иначе и не погибни,— ход русской революции мог бы быть иной. Будь она иначе!

Каждое русское поколение — да и не только русское, выводит в жизнь одинаковое число гигантов и ничтожеств. Гениев, талантов. Времени надлежит — дать герою, таланту дорогу — или убить случайностью, или удушить похвалой и тюрьмой.

Разве Маша Добролюбова меньше, чем Софья Перовская? Но имя Софьи Перовской на фонарных дощечках улиц, а Мария Добролюбова забыта.

Даже брат ее меньше забыт — поэт и сектант Александр Добролюбов.

Красавица, воспитанница Смольного института, Маша Добролюбова хорошо понимала свое место в жизни. Жертвенность, воля к жизни и смерти была у нее очень велика.

Девушкой работает она «на голоде». Сестрой милосердия на русско-японской войне.

Все эти пробы нравственно и физически только увеличивают требовательность к самой себе.

Между двумя революциями Маша Добролюбова сближается с эсерами. Она не пойдет «в пропаганду». Малые дела не по характеру молодой женщины, испытанной уже в жизненных бурях.

Террор — «акт» — вот о чем мечтает, чего требует Маша. Маша добивается согласия руководителей. «Жизнь террориста — полгода», как говорил Савинков. Получает револьвер и выходит «на акт».

И не находит в себе силы убить. Вся ее прошлая жизнь восстает против последнего решения.

Борьба за жизнь умирающих от голода, борьба за жизнь раненых.

Теперь же надо смерть превратить в жизнь.

Живая работа с людьми, героическое прошлое Маши оказали ей плохую услугу в подготовке себя к покушению.

Нужно быть слишком теоретиком, слишком догматиком, чтобы отвлечься от живой жизни. Маша видит, что ею управляет чужая воля, и поражается этому, стыдится сама себя.

Маша не находит в себе силы выстрелить. И жить страшно в позоре, душевном кризисе острейшем. Маша Добролюбова стреляет себе в рот.

Было Маше 29 лет.

Это светлое, страстное русское имя я услышал впервые в Бутырской тюрьме.

Александр Георгиевич Андреев, генеральный секретарь общества политкаторжан, рассказывал мне о Маше.

— В терроре есть правило. Если покушение почему-либо не удается — метальщик растерялся, или запал не сработал, или еще что — второй раз исполнителя не поставят. Если террористы те же самые, что и в первый неудачный раз — жди провала.

— А Каляев?

— Каляев исключение.

Опыт, статистика, подпольный опыт говорят, что внутренне собраться на поступок такой жертвенности и силы можно только один раз. Судьба Марьи Михайлов-

ны Добролюбовой — самый известный пример из нашей подпольной, изустной хрестоматии.

— Вот таких мы брали в боевики,— и серебряноголовый, темнокожий Андреев резким движением показал на Степанова, сидевшего на нарах, обхватив колени руками. Степанов — молодой монтер электросетей МОГЭСа, молчаливый, незаметный, с неожиданным пламенем темно-голубых глаз. Молча получал миску, молча ел, молча принимал добавку, часами сидел на краю нар, обхватив колени руками, думая о чем-то своем. Никто в камере не знал, за что привлечен Степанов. Не знал даже общительный Александр Филиппович Рындич, историк.

В камере восемьдесят человек, а мест в ней двадцать пять. Железные койки, приращенные к стенам, покрыты деревянными щитами, крашенными серой краской, под цвет стен. Около «параши», у двери — гора запасных щитов — на ночь будет застелен проход чуть не сплошь — оставляют только два отверстия, чтобы нырнуть вниз, под нары,— там тоже лежат щиты, и на них спят люди. Пространство под нарами называется «метро».

Напротив двери с глазком и «кормушкой» — огромное зарешеченное окно с железным «намордником». Дежурный комендант, принимая суточную смену, проверяет акустическим способом целость решетки — проводит по ней сверху вниз ключом — тем же, которым запираются камеры. Этот особенный звон, да еще грохот дверного замка, запираемого на два оборота на ночь и днем — на один оборот, да щелканье ключом по медной поясной пряжке — вот, значит, для чего нужны пряжки — предупредительный сигнал конвойного своим товарищам во время путешествий по бесконечным коридорам Бутырок,— вот три элемента симфонии «конкретной» тюремной музыки, которую запоминают на всю жизнь.

Жители «метро» сидят днем на краю нар, на чужих местах, ждут своего места. Днем на щитах лежит человек пятьдесят. Это те, кто дождался очереди спать и жить на настоящем месте. Кто пришел в камеру раньше других — занимает лучшее место. Лучшими считаются места у окна, самые дальние от двери. Иногда следствие шло быстро и арестант не успевал добраться до окна, до струйки свежего воздуха. Зимой эта видимая полоска живого воздуха робко сползала по стеклам быстро куда-то вниз, а летом была тоже видимой — на границе с душным, потным зноем переполненной камеры. До этих блаженных мест доби-

рались полгода: из «метро» к вонючей «параше». От «параши» — «к звездам»!

В холодные зимы старожилы держались середины камеры, предпочитая тепло свету. Каждый день кого-то приводили, кого-то уводили. «Очередь» мест была не только развлечением. Нет, справедливость — самое главное на свете.

Человек тюрьмы впечатлителен. Колоссальная нервная энергия тратится в пустяки, в какой-нибудь спор о месте — до истерики, до драки. А мало ли тратится духовных и физических сил, изобретательности, догадки, риска, чтобы приобрести и сохранить какую-нибудь железку, огрызок карандаша, грифелек — вещи, запрещенные тюремными правилами — и тем более желаемые. Здесь проба личности, в этом пустяке.

Никто здесь мест не покупает, не нанимает за себя дежурить по уборке камеры. Это запрещено строжайше. Здесь нет богатых и бедных, нет генералов и солдат.

Никто не может самовольно занять место, которое освободилось. Этим распоряжается выборный староста. Его право — дать лучшее место новичку, если тот старик.

С каждым новичком староста говорит сам. Очень важно успокоить новичка, вселить в него душевную бодрость. Всегда можно отличить тех, кто переступает порог тюремной камеры не впервые. Такие — спокойней, взгляд их живее, тверже. Такие разглядывают своих новых соседей с явным интересом, зная, что общая камера ничем особенным не грозит. Такие сразу, с первых часов различают лица и людей. Тем же, кто пришел впервые — нужно несколько дней, пока камера тюрьмы перестанет быть общеликой, враждебной, непонятной...

В начале февраля — а может быть, в конце января 1937 года дверь шестьдесят седьмой камеры отворилась, и на пороге встал человек, серебряноголовый, чернобровый и темноглазый, в расстегнутом зимнем пальто со старым каракулевым воротником. В руках человек держал холщовый мешочек, «торбочку», как говорят на Украине. Старик, шестидесяти лет. Староста указал новичку место — не в «метро», не к «параше», а рядом со мной, в середине камеры.

Серебряноголовый человек поблагодарил старосту, оценив. Черные глаза молодо блестели. Человек разглядывал лица с жадностью, как будто долго сидел в одиночке

и вдыхает полной грудью чистый воздух, наконец-то, общей камеры тюрьмы.

Ни страха, ни испуга, ни боли душевной. Истертый воротник пальто, помятый пиджачок доказывали, что хозяин знает, знал и раньше, что такое тюрьма, и арестован, конечно, дома.

— Вы — когда арестованы?

— Два часа назад. У себя дома.

— Вы — эсер?

Человек расхохотался. Зубы у него были белые, блестящие, но не протез ли это?

— Все стали физиономистами.

— Матушка-тюрьма!

— Да, эсер, и притом правый. Чудесно, что вы знаете эту разницу. Ваши однолетки не всегда подкованы в столь важном вопросе.

И добавил серьезно, глядя мне прямо в глаза немигающими, горящими своими черными глазами:

— Правый, правый. Настоящий. Я левых эсеров не понимаю. Отношусь с уважением к Спиридоновой, к Прошьяну, но все их действия... Моя фамилия — Андреев, Александр Георгиевич.

Александр Георгиевич приглядывался к соседям, давал им оценки, короткие, резкие, точные.

Суть репрессий не ускользнула от Андреева.

Мы всегда стирали вместе в бане, в знаменитой Бутырской бане, выстланной желтым кафелем, на котором ничего нельзя написать и ничего нельзя нацарапать. Но почтовым ящиком была дверь, обитая железом изнутри и деревянная снаружи. Дверь была изрезана всяческими сообщениями. Время от времени эти сообщения срубали, соскабливали, как стирают грифель на грифельной доске, набивали новые доски, и «почтовый ящик» снова работал на полный ход.

Баня была большим праздником. В Бутырской тюрьме все следственные стирают себе белье сами — это давняя традиция. «Услуг» на сей счет казенных не существует, и от домашних не принимают. «Обезличенного» лагерного белья тоже тут, конечно, не было. Сушили белье в камере. На мытье, на стирку нам отводили много времени. Никто не торопился.

В бане я рассмотрел фигуру Андреева — гибкую, темнокожую, совсем не старческую — а ведь Александру Георгиевичу было много за шестьдесят.

Мы не пропускали ни одной прогулки — можно было оставаться в камере, полежать, сказаться больным. Но и мой личный опыт и опыт Александра Георгиевича говорили, что прогулки нельзя пропускать.

Каждый день Андреев ходил до обеда по камере взад-вперед — от окна до дверей. Чаще всего перед обедом.

— Это — старая привычка. Тысяча шагов в день — вот моя ежедневная норма. Тюремная порция. Два закона тюрьмы — поменьше лежать и поменьше есть. Арестант должен быть полуголодным, чтоб никакой тяжести на желудке не чувствовать.

— Александр Георгиевич, вы знали Савинкова?

— Да, знал. Я познакомился с ним за границей — на похоронах Гершуни.

Андрееву не надо было объяснять мне, кто такой Гершуни — всех, кого он упоминал когда-либо, я знал по именам, представлял себе хорошо. И Андрееву это очень нравилось. Черные глаза его блестели, он оживлялся.

Эсеровская партия — партия трагической судьбы. Люди, которые за нее погибли — и террористы, и пропагандисты — это были лучшие люди России, цвет русской интеллигенции, по своим нравственным качествам все эти люди, жертвовавшие и пожертвовавшие своими жизнями, были достойными преемниками героической «Народной воли», преемниками Желябова, Перовской, Михайлова, Кибальчича.

Эти люди перенесли огонь самых тяжелых репрессий — ведь жизнь террориста — полгода, по статистике Савинкова. Героически жили и героически умирали. Гершуни, Сазонов, Каляев, Спиридонова, Зильберберг — все эти личности не меньше, чем Фигнер или Морозов, Желябов или Перовская.

И в свержении самодержавия эсеровская партия сыграла великую роль. Но история не пошла по ее пути. И в этом была глубочайшая трагедия партии, ее людей.

Такие мысли приходили в голову часто.

Встреча с Андреевым укрепила меня в этих мыслях.

— Какой день вы считаете в своей жизни самым ярким?

— Мне даже и думать об ответе не надо — ответ

давно готов. Этот день — 12 марта 1917 года. Перед войной меня судили в Ташкенте. По 102-й статье. Шесть лет каторги. Каторжная тюрьма — Псков, Владимир. 12 марта 1917 года я вышел на свободу. Сегодня 12 марта 1937 года, и я — в тюрьме!

Перед нами двигались люди Бутырской тюрьмы, близкие и чем-то чуждые Андрееву, вызывающие в нем жалость, вражду, сострадание.

Аркадий Дзидзиевский, знаменитый Аркаша гражданской войны, гроза всяческих батек Украины.

Фамилия эта названа Вышинским в допросах пятаковского процесса. Значит, умер позднее, назван по имени будущий мертвец Аркадий Дзидзиевский. Полусумасшедший после Лубянки и Лефортова. Пухлыми стариковскими руками разглаживал носовые цветные платки на колене. Платочков было три. Это — мои дочери — Нина, Лида, Ната.

Вот Свешников — инженер из Химстроя, которому следователь сказал — вот твое фашистское место, сволочь. Железнодорожный чин — Гудков: у меня были пластинки с речами Троцкого, а жена — сообщила... Вася Жаворонков: меня преподаватель на политкружке спрашивает — а если бы Советской власти не было,— где бы ты, Жаворонков, работал?

— Да так же и работал бы, в депе, как и сейчас...

Еще один машинист — представитель московского центра «анекдотистов» (ей-богу — не вру!). Друзья собирались по субботам семьями и рассказывали друг другу анекдоты. Пять лет, Колыма, смерть.

Миша Выгон — студент Института связи: обо всем, что я увидел в тюрьме, я написал товарищу Сталину. Три года. Миша Выгон выжил, безумно открещиваясь, отрекаясь от всех своих бывших товарищей, пережил расстрелы,— сам стал начальником смены на том же прииске «Партизан», где погибли, где уничтожены все Мишины товарищи.

Синюков, завотделом кадров Московского комитета партии: сегодня написал заявление: «Льщу себя надеждой, что у Советской власти есть законы». Льщу!

Костя и Ника, пятнадцатилетние московские школьники, игравшие в камере в футбол мячом, сшитым из тряпок — террористы, убившие Ханджяна. Много после узнал я, что Ханджяна застрелил Берия в собственном кабинете. А дети, которые обвинялись в этом убийстве —

Костя и Ника — погибли на Колыме в 1938 году, погибли, хотя и работать-то их не заставляли — погибли просто от холода.

Капитан Шнайдер из Коминтерна. Присяжный оратор, веселый человек, показывает фокусы на камерных концертах.

Леня-злоумышленник, отвинтивший гайки на железнодорожном полотне, житель Тумского района Московской области.

Фальковский, чье преступление квалифицировано как 58—10, агитация; материал — письма Фальковского к невесте и письма ее — жениху. Переписка предполагает двух и более человек. Значит, 58, пункт 11 — организация — много отяжеляющий дело.

Александр Георгиевич сказал тихо: «Здесь есть только мученики. Здесь нет героев».

— На одном моем «деле» есть резолюция Николая Второго. Военный министр докладывал царю об ограблении миноносца в Севастополе. Нам нужно было оружие, и мы взяли его с военного корабля. Царь написал на полях доклада: «Скверное дело».

Я начал гимназистом, в Одессе. Первое задание — бросил бомбу в театре. Это была вонючая бомба, безопасная. Экзамен, так сказать, сдавал. А потом пошло всерьез, больше. Я не пошел в пропаганду. Все эти кружки, беседы — очень трудно увидеть, ощутить конечный результат. Я пошел в террор. По крайней мере, раз — и квас!

Я был генеральным секретарем общества политкаторжан, пока это общество не распустили.

Огромная черная фигура метнулась к окну и, ухватив тюремную решетку, завыла. Эпилептик Алексеев, медведеобразный, голубоглазый, бывший чекист, тряс решетку и дико кричал — на волю! На волю — и сполз с решетки в припадке. Над эпилептиком наклонились люди. Кто хватал руки, голову, ноги Алексеева.

И Александр Георгиевич сказал, показывая на эпилептика: «Первый чекист».

— Следователь у меня мальчик, вот несчастье. Ничего не знает о революционерах, и эсеры для него — вроде мастодонтов. Кричит только: сознавайтесь! Подумайте!

Я говорю ему: «Вы знаете, что такое эсеры?» — «Ну?» — «Если я вам говорю, что не делал,— значит, я не делал. А если я хочу вам солгать — никакие угрозы не

изменят моего решения. Хотя бы немножко вам бы надо знать историю...»

Разговор был после допроса, но не было заметно по рассказу, что Андреев волнуется.

— Нет, он на меня не кричит. Я слишком стар. Он говорит только «подумайте». И мы сидим. Часами. Потом я подписываю протокол, и расстаемся до завтра.

Я придумал способ не скучать во время допросов. Я считаю узоры на стене. Стена оклеена обоями. Тысяча четыреста шестьдесят два одинаковых рисунка. Вот обследование сегодняшней стены. Выключаю внимание.

Репрессии были и будут. Пока существует государство.

Опыт, героический опыт политкаторжанина не нужен был, казалось, для новой жизни, которая шла новой дорогой. И вдруг оказалось, что дорога вовсе не новая, что все нужно: и воспоминания о Гершуни, и поведение на допросах, и уменье считать узоры обоев на стене во время допроса. И героические тени своих товарищей, давно умерших на царской каторге, на виселице.

Андреев был оживлен, приподнят не тем нервным возбуждением, которое бывает почти у всех, попавших в тюрьму. Следственные ведь и смеются чаще, чем надо, по всяким пустяковым поводам. Смех этот, молодцеватость — защитная реакция арестанта, особенно на людях.

Оживление Андреева было другого рода. Это было как бы внутреннее удовлетворение тем, что он снова встал в ту же позицию, которую занимал всю свою жизнь и которая была ему дорога — и, казалось,— уходила в историю. Оказывается, нет, он еще нужен был времени.

Андреева не занимает истинность или ложность обвинений. Он знал, что такое массовые репрессии, и ничему не удивлялся.

В камере жил Ленька, семнадцатилетний юноша из глухой деревушки Тумского района Московской области. Неграмотный, он считал, что Бутырская тюрьма для него — величайшее счастье — кормят «от пуза», а люди какие хорошие! Ленька узнал за полгода следствия больше сведений, чем за всю свою прошлую жизнь. Ведь в камере каждый день читались лекции, и хоть тюремная память плохо усваивает слышанное, читанное,— все же в Лень-

кин мозг врезалось много нового, важного. Собственное «дело» Леньку не заботило. Он был обвинен в том же самом, что и чеховский «злоумышленник» — в 1937 году он отвинчивал гайки на грузила с рельсов железной дороги. Это была явная пятьдесят восемь — семь — вредительство. Но у Леньки была еще и пятьдесят восемь — восемь — террор!

— А это что такое? — спросили во время одной из бесед с Ленькой.

— Судья за мной с револьвером гнался.

Над этим ответом много смеялись. Но Андреев сказал мне негромко и серьезно:

— Политика не знает понятия «вины». Конечно, Ленька — Ленькой, но ведь Михаил Гоц был паралитик.

Это была блаженная весна тридцать седьмого года, когда еще на следствии не били, когда «пять лет» было штампованным оттиском приговоров Особых совещаний. «Пять рокив далеких таборів», как выражались украинские энкавэдэшники. Чекистами работников этих учреждений в то время уже не называли.

Радовались «пятеркам» — ведь русский человек радуется, что не десять, не двадцать пять, не расстрел. Радость была основательной — все было еще впереди. Все рвались на волю, на «чистый воздух», к зачетам рабочих дней.

— А вы?

— Нас — бывших политкаторжан — собирают на Дудинку, в ссылку. Навечно. Мне ведь много лет.

Впрочем, уже были в ходу «выстойки», когда по нескольку суток не давали спать, «конвейер», когда следователи, отработав свою смену, менялись, а допрашиваемый сидел на стуле, пока не терял сознания.

Но «метод № 3» был еще впереди.

Я понимал, что моя тюремная деятельность нравится старому каторжанину. Я был не новичок, знал, чем и как надо утешать павших духом людей... Я был выборным старостой камеры. Андреев видел во мне — самого себя в свои молодые годы. И мой всегдашний интерес и уважение к его прошлому, мое понимание его судьбы было ему приятно.

Тюремный день проходил отнюдь не напрасно. Внутреннее самоуправление Бутырской следственной тюрьмы имело свои законы, и выполнение этих законов воспи-

тывало характер, успокаивало новичков, приносило пользу.

Ежедневно читались лекции. Каждый, кто приходил в тюрьму,— мог рассказать что-то интересное о своей работе, жизни. Живой рассказ о Днепрострое простого слесаря-монтажника я помню и сейчас.

Доцент Военно-воздушной академии Коган прочел несколько лекций — «Как люди измерили Землю», «Звездный мир».

Жоржик Коспаров — сын первой секретарши Сталина, которую «шеф-пилот» довел до смерти в ссылках и лагерях,— рассказывал историю Наполеона.

Экскурсовод из Третьяковки рассказывал о Барбизонской школе живописи.

Плану лекций не было конца. Хранился план в уме — у старосты, у «культорга» камеры...

Каждого входящего, каждого новичка обычно удавалось уговорить рассказать в тот же вечер газетные новости, слухи, разговоры в Москве. Когда арестант привыкал, он находил в себе силы и для лекции.

Кроме того, в камере было всегда много книг — из знаменитой библиотеки Бутырской тюрьмы, не знающей изъятий. Здесь было много книг, каких не найдешь в «вольных библиотеках». «История интернационала» Илеса, «Записки» Массона, книги Кропоткина. Книжный фонд составлялся из пожертвований арестантов. Это была вековая традиция. Уже после меня, в конце тридцатых годов, и в этой библиотеке провели «чистку».

Следственные изучали иностранные языки, читали вслух — О'Генри, Лондона,— со вступительным словом о творчестве, о жизни этих писателей выступали «лекторы».

Время от времени — раз в неделю — устраивались концерты, где капитан дальнего плавания Шнейдер показывал фокусы, а Герман Хохлов — литературный критик «Известий», читал стихи Цветаевой и Ходасевича.

Хохлов был эмигрант, окончивший русский университет в Праге, просившийся на родину. Родина встретила его арестом, следствием, лагерным приговором. Никогда больше о Хохлове я не слышал. Роговые очки, близорукие голубые глаза, белокурые грязные волосы...

Кроме общеобразовательных занятий, в камере воз-

никали, и часто — споры, дискуссии на очень серьезные темы.

Помню, Арон Коган, молодой, экспансивный, уверял, что интеллигенция дает образцы революционного поведения, революционной доблести, способна на высший героизм — выше рабочих и выше капиталистов, хотя интеллигенция и межклассовая «колеблющаяся» прослойка.

Я, со своим небольшим тогда лагерным опытом, имел другое представление о поведении интеллигента в трудное время. Религиозники, сектанты — вот кто, по моим наблюдениям, имели огонь душевной твердости.

Тридцать восьмой год полностью подтвердил мою правоту — но Арона Когана уже не было в живых.

— Лжесвидетель! Мой товарищ! До чего мы дошли.

— Мы еще ни до чего не дошли. Уверяю тебя, если ты встретишься с подлецом — ты будешь с ним говорить, как будто и не было ничего.

И так случилось. В одной из «сухих бань» — так в Бутырской тюрьме называется обыск — в камеру втолкнули несколько человек — среди них был и знакомый Когана, лжесвидетель. Коган не ударил его, говорил с ним. После «сухой бани» Арон рассказал мне все это.

Александр Георгиевич лекций не читал и в спорах участия не принимал, но прислушивался к этим спорам очень внимательно.

Как-то, когда я, отговорив свое, лег на нары — наши места были рядом,— Андреев сел около меня.

— Наверное, вы правы — но позвольте рассказать вам одну старую историю.

Я арестован не первый раз. В 1921 году меня выслали на три года в Нарым. Я расскажу вам хорошую историю о нарымской ссылке.

Вся ссылка устроена по одному образцу, по московскому приказу. Ссыльные не имеют права общения с населением, ссыльные вынуждены вариться в собственном соку.

Это — слабых растлевает, у сильных укрепляет характер, а иногда встречаются вещи и вовсе особенные.

Место жительства мне назначено очень дальнее, дальше всех и глуше всех. В долгом санном пути попадаю я на ночевку в деревушке, где ссыльных целая колония — семь человек. Жить можно. Но я — слишком крупная

дичь, мне нельзя — моя деревня еще за двести верст Зима дрогнула, взрыв весны, мокрая пурга, дороги нет, и, к радости и моей, и моих конвойных, я остаюсь на целую неделю в колонии. Ссыльных там семь человек. Два комсомольца-анархиста, муж и жена — последователи Петра Кропоткина, два сиониста — муж и жена, два правых эсера — муж и жена. Седьмой — православный богослов, епископ, профессор Духовной академии, читавший в Оксфорде лекции когда-то. Словом — пестрая компания. Все друг с другом во вражде. Бесконечные дискуссии, кружковщина самого дурного тона. Страшная жизнь. Мелкие ссоры, разрастающиеся в болезненные скандалы, взаимная недоброжелательность, вражда, злоба взаимная. Много свободного времени.

И все — каждый по-своему — думающие, читающие, честные, хорошие люди.

За неделю я о каждом подумал, каждого попытался понять.

Пурга легла наконец. Я уехал на целых два года в таежную глушь. Через два года мне разрешили — досрочно! — вернуться в Москву. И я возвращаюсь той же дорогой. На всем этом длинном пути у меня есть только в одном месте знакомые — там, где меня задержала пурга.

Я ночую в этой же деревне. Все ссыльные здесь — все семь человек, никого не освободили. Но — я увидел там больше, чем освобождение.

Там ведь были три семейных пары: сионисты, комсомольцы, эсеры. И профессор богословия. Так вот — все шесть человек приняли православие. Епископ всех их сагитировал, этот ученый-профессор. Молятся теперь богу вместе, живут евангельской коммуной.

— Действительно, странная история.

— Я много думал об этом. Случай красноречивый. У всех этих людей — у эсеров, у сионистов, у комсомольцев, у всех шестерых была одна общая черта. Все они безгранично верили в силу интеллекта, в разум, в логос.

— Человек должен принимать решения чувством и не слишком верить разуму.

— Для решений не нужна логика. Логика — это оправдание, оформление, объяснение...

Прощаться нам было трудно. Александра Георгиевича вызвали «с вещами» раньше меня. Мы остановились

на минуту у открытой двери камеры, и солнечный луч заставил нас обоих щурить глаза. Конвоир, негромко пощелкивая ключом о медную пряжку пояса, ждал. Мы обнялись.

— Желаю вам,— сказал Александр Георгиевич глухо и весело.— Желаю вам счастья, удачи. Берегите здоровье. Ну,— Андреев улыбнулся как-то особенно, подоброму.— Ну,— сказал он, тихонько дергая меня за ворот рубахи.— Вы — можете сидеть в тюрьме, можете. Говорю вам это от всего сердца.

Похвала Андреева была самой лучшей, самой значительной, самой ответственной похвалой в моей жизни. Пророческой похвалой.

Справка журнала «Каторга и ссылка»: Андреев Александр Георгиевич, родился в 1882 г. В революционном движении с 1905 года в Одесской студенческой организации партии с.-р. и в общей; в Минске — в городской. В 1905—06 гг. в Черниговском и Одесском комитетах партии с.-р.; в Севастопольском комитете партии с.-р.; в 1907 г. в Южном областном комитете партии с.-р.; в 1908 г. в Ташкенте в боевом отряде при ЦК партии с.-р. Судился в Одессе в 1910 г. военным окр. судом, приговорен к 1 году крепости, и в 1913 г. в Ташкенте Туркестанским военным окружным судом по 102-ой статье, приговорен к 6 годам каторги. Каторгу отбывал в Псковской и Владимирской временных каторжных тюрьмах. Отсидел 10 лет 3 месяца (Крымское отделение).

У Андреева была дочь — Нина.

ПОТОМОК ДЕКАБРИСТА

О первом гусаре, знаменитом декабристе, написано много книг. Пушкин в уничтоженной главе «Евгения Онегина» так написал: «Друг Марса, Вакха и Венеры...»

Рыцарь, умница, необъятных познаний человек, слово которого не расходилось с делом. И какое большое это было дело!

О втором гусаре, гусаре-потомке, расскажу все, что знаю.

На Кадыкчане, где мы — голодные и бессильные — ходили, натирая в кровавые мозоли грудь, вращая египетский круговой ворот и вытаскивая из уклона вагонетки

с породой — шла «зарезка» штольни — той самой штольни, которая сейчас известна на всю Колыму. Египетский труд — мне довелось его видеть, испытать самому.

Подходила зима 1940/41 года, бесснежная, злая, колымская. Холод сжимал мускулы, обручем давил на виски. В дырявых брезентовых палатках, где мы жили летом, поставили железные печки. Но этими печами отапливался «вольный воздух».

Изобретательное начальство готовило людей к зиме. Внутри палатки был построен второй, меньший каркас — с прослойкой воздуха сантиметров десять. Этот каркас (кроме потолка) был обшит толем и рубероидом, и получилась как бы двойная палатка — немногим теплей, чем брезентовая.

Первые же ночевки в этой палатке показали, что это — гибель, и гибель скорая. Надо было выбираться отсюда. Но как? Кто поможет? За одиннадцать километров был большой лагерь — Аркагала, где работали шахтеры. Наша «командировка» была участком этого лагеря. Туда, туда — в Аркагалу!

Но как?

Традиция арестантская требует, чтобы в таких случаях раньше всего, прежде всего обратились к врачу. На Кадыкчане был фельдшерский пункт, а на нем работал «лепилой» какой-то недоучка-врач из бывших студентов Московского медицинского института — так говорили в нашей палатке.

Нужно большое усилие воли, чтобы после рабочего дня найти в себе силы подняться и пойти в амбулаторию, на прием. Одеваться и обуваться, конечно, не надо — все на тебе от бани до бани,— а сил нет. Жаль тратить отдых на тот «прием», который, возможно, кончится издевательством, может быть, побоями (и такое бывало). А самое главное — безнадежность, сомнительность удачи. Но в поисках случая нельзя пренебрегать ни малейшим шансом — это мне говорило тело, измученные мускулы, а не опыт, не разум.

Воля слушалась только инстинкта — как это бывает у зверей.

Через дорогу от палатки стояла избушка — убежище разведочных партий, поисковых групп, а то и «секретов» оперативки, бесконечных таежных патрулей.

Геологи давно ушли, и избушку сделали амбулаторией — «кабинкой», в которой стоял топчан, шкаф с лекар-

ством и висела занавеска из старого одеяла. Одеяло отгораживало койку-топчан, где жил «доктор».

Очередь на прием выстраивалась прямо на улице, на морозе.

Я протискался в избушку. Тяжелая дверь вдавила меня внутрь. Голубые глаза, большой лоб с залысиной и прическа — непременная прическа: волосы — утверждение себя. Волосы в лагере — свидетельство положения. Стригут ведь всех наголо. А тем, кого не стригут — им все завидуют. Волосы — своеобразный протест против лагерного режима.

— Москвич? — это доктор спрашивал у меня.

— Москвич.

— Познакомимся.

Я назвал свою фамилию и пожал протянутую руку. Рука была холодная, чуть влажная.

— Лунин.

— Громкая фамилия,— сказал я, улыбаясь.

— Родной правнук. В нашем роде старшего сына называют либо Михаил, либо Сергей. Поочередно. Тот, пушкинский, был Михаил Сергеевич.

— Это нам известно.— Чем-то очень не лагерным дышала эта первая беседа. Я забыл свою просьбу, не решился внести в этот разговор неподобающую ноту. А я — голодал. Мне хотелось хлеба и тепла. Но доктор об этом еще не подумал.

— Закуривай!

Отмороженными розовыми пальцами я стал скручивать папиросу.

— Да больше бери, не стесняйся. У меня дома о прадеде — целая библиотека. Я ведь студент медфака. Не доучился. Арестовали. У нас все в роду военные, а я вот — врач. И не жалею.

— Марса, стало быть, побоку. Друг Эскулапа, Вакха и Венеры.

— Насчет Венеры тут слабо. Зато насчет Эскулапа вольготно. Только диплома нет. Если мне бы да диплом, я бы им показал.

— А насчет Вакха?

— Есть спиртишко, сам понимаешь. Но я ведь рюмку выпью — и порядок. Пьянею быстро. Я ведь и вольный поселок обслуживаю, так что сам понимаешь. Приходи.

Я плечом приоткрыл дверь и вывалился из амбулатории.

— Ты знаешь, москвичи — это такой народ, больше всех других — киевлян там, ленинградцев — любят вспоминать свой город, улицы, катки, дома, Москва-реку...

— Я не природный москвич.

— А такие-то еще больше вспоминают, еще лучше запоминают.

Я приходил несколько вечеров в конце приема — выкуривал папиросу, махорочную, боялся попросить хлеба.

Сергей Михайлович, как всякий, кому лагерь достался легко — из-за удачи, из-за работы — мало думал за других и плохо мог понять голодных: его участок — Аркагала еще не голодала в то время. Приисковые беды обошли Аркагалу стороной.

— Хочешь, я тебе сделаю операцию — кисту твою на пальце срежу.

— Ну что ж.

— Только, чур, освобождать от работы не буду. Это мне, понимаешь, неудобно.

— А как же работать с оперированным пальцем?

— Ну, как-нибудь.

Я согласился, и Лунин вырезал довольно искусно кисту «на память». Когда через много лет я встретился с женой, в первую минуту встречи она с крайним удивлением, сжимая мои пальцы, искала эту самую «лунинскую» кисту.

Я увидел, что Сергей Михайлович просто очень молод, что ему нужен собеседник пограмотнее, что все его взгляды на лагерь, на «судьбу» не отличаются от взглядов любого [illegible]ьного начальника, что даже блатными он склонен восхищаться, что суть бури тридцать восьмого года прошла мимо него.

А мне был дорог любой час отдыха, день отдыха — мускулы, уставшие на всю жизнь на золотом прииске — ныли, просили покоя. Мне дорог был каждый кусок хлеба, каждая миска су[illegible]ику — желудок требовал пищи, и глаза, помимо моей воли, искали на полках хлеб. Но я заставлял себя вспоминать Китай-город, Никитские ворота, где застрелился писатель Андрей Соболь, где Штерн стрелял в машину немецкого посла,— историю улиц Москвы, которую никто никогда не напишет.

— Да, Москва, Москва. А скажи — сколько у тебя было женщин?

Полуголодному человеку было немыслимо поддерживать такой разговор, но молодой хирург слушал только себя и не обижался на молчание.

— Послушай, Сергей Михайлович,— ведь наши судьбы — это преступление, самое большое преступление века.

— Ну, я этого не знаю,— недовольно сказал Сергей Михайлович.— Это все жиды мутят.

Я пожал плечами.

Вскоре Сергей Михайлович добился своего перевода на участок, на Аркагалу, и я думал, без грусти и обиды, что еще один человек ушел из моей жизни навсегда, и какая это, в сущности, легкая штука — расставанье, разлука. Но все оказалось не так.

Начальником участка Кадыкчан, где я работал на египетском вороте, как раб, был Павел Иванович Киселев. Немолодой беспартийный инженер. Киселев избивал заключенных каждодневно. Выход начальника на участок сопровождался побоями, ударами, криком.

Безнаказанность? Дремлющая где-то на дне души жажда крови? Желание отличиться на глазах высшего начальства? Власть — страшная штука.

Зельфугаров, мальчик-фальшивомонетчик из моей бригады, лежал на снегу и выплевывал разбитые зубы.

— Всех родных моих, слышь, расстреляли за фальшивую монету, а я был несовершеннолетний — меня на пятнадцать лет в лагеря. Отец следователю говорил — возьми пятьсот тысяч, наличными, настоящими, прекрати дело... Следователь не согласился.

Мы, четверо сменщиков на круговом вороте, остановились около Зельфугарова. Корнеев — крестьянин сибирский, блатарь Леня Семенов, инженер Вронский и я. Блатарь Леня Семенов говорил:

— Только в лагере и учиться работать на механизмах — берись за всякую работу — отвечать ты не будешь, если сломаешь лебедку или подъемный кран. Понемногу научишься.— Рассуждение, которое в ходу у молодых колымских хирургов.

А Вронский и Корнеев были моими знакомыми, не друзьями, а просто знакомыми — еще с Черного озера, с той «командировки», где я возвращался к жизни.

Зельфугаров, не вставая, повернул к нам окровавленное лицо с распухшими грязными губами.

— Не могу встать, ребята. Под ребро бил. Эх, начальник, начальник.

— Иди к фельдшеру.

— Боюсь, хуже будет. Начальнику скажет.

— Вот что,— сказал я,— конца этому не будет. Есть выход. Приедет начальник Дальстройугля или еще какое большое начальство, выйти вперед и в присутствии начальства дать по морде Киселеву. Прозвенит на всю Колыму, и Киселева снимут, безусловно переведут. А тот, кто ударит, примет срок. Сколько лет дадут за Киселева?

Мы шли на работу, вертели ворот, ушли в барак, поужинали, хотели ложиться спать. Меня вызвали в «контору».

В «конторе» сидел, глядя в землю, Киселев. Он был не трус и угроз не любил.

— Ну, что,— сказал он весело.— На всю Колыму прогремит, а? Я вот под суд тебя отдам — за покушение. Иди отсюда, сволочь!..

Донести мог только Вронский, но как? Мы все время были вместе.

С тех пор жить на участке мне стало легче. Киселев даже не подходил к вороту и на работе бывал с мелкокалиберкой, а в шахту-штольню, уже углубленную, не спускался.

Кто-то вошел в барак.

— К доктору иди.

«Доктором», сменившим Лунина, был некто Колесников — тоже недоучившийся медик, молодой высокий парень из заключенных.

В амбулатории за столом сидел Лунин в полушубке.

— Собирай вещи, поедем сейчас на Аркагалу. Колесников, пиши направление.

Колесников сложил лист бумаги в несколько раз, оторвал крошечный кусочек, чуть больше почтовой марки, и тончайшим почерком вывел: «В санчасть лагеря Аркагала».

Лунин взял бумажку и побежал:

— Пойду визу у Киселева возьму.

Вернулся он огорченный.

— Не пускает, понимаешь. Говорит — ты ему по морде дать обещал. Ни в какую не соглашается.

Я рассказал всю историю.

Лунин разорвал «направление».

— Сам виноват,— сказал он мне.— Какое твое дело до Зельфугарова, до всех этих... Тебя-то не били.

— Меня били раньше.

— Ну, до свиданья. Машина ждет. Что-нибудь придумаем.— И Лунин сел в кабинку грузовика.

Прошло еще несколько дней, и Лунин приехал снова.

— Сейчас иду к Киселеву. Насчет тебя.

Через полчаса он вернулся.

— Все в порядке. Согласился.

— А как?

— Есть у меня один способ укрощать сердца строптивых.

И Сергей Михайлович изобразил разговор с Киселевым:

— Какими судьбами, Сергей Михайлович? Садитесь. Закуривайте.

— Да нет, некогда. Я вам тут, Павел Иванович, акты о побоях привез,— мне оперативка переслала для подписи. Ну, прежде чем подписывать, я решил спросить у вас, правда ли все это?

— Неправда, Сергей Михайлович. Враги мои готовы...

— Вот и я так думал. Я не подпишу этих актов. Все равно уж, Павел Иванович, ничего не исправишь, выбитых зубов не вставишь обратно.

— Так, Сергей Михайлович. Прошу ко мне домой, там жена наливочку изготовила. Берег к Новому году, да ради такого случая...

— Нет, нет, Павел Иванович. Только услуга за услугу. Отпустите на Аркагалу Андреева.

— Вот этого уж никак не могу. Андреев — это, что называется...

— Ваш личный враг?

— Да-да.

— Ну, а это мой личный друг. Я думал, вы повнимательней отнесетесь к моей просьбе. Возьмите, посмотрите акты о побоях.

Киселев помолчал.

— Пусть едет.

— Напишите аттестат.

— Пусть приходит сам.

. . . .

Я шагнул за порог «конторы». Киселев глядел в землю.

— Поедете на Аркагалу. Возьмите аттестат.

Я молчал. Конторщик выписал «аттестат», и я вернулся в амбулаторию.

Лунин уже уехал, но меня ждал Колесников.

— Поедешь вечером, часов в девять. Острый аппендицит! — и протянул мне бумажку.

Больше ни Киселева, ни Колесникова я никогда не видел. Киселева вскоре перевели в другое место, на «Эльген», и там он был убит через несколько месяцев, случайно. В квартиру, в домик, где он жил, забрался ночью вор. Киселев, услышав шаги, схватил со стены двустволку заряженную, взвел курок и бросился на вора. Вор кинулся в окно, и Киселев ударил его в спину прикладом и выпустил заряд из обоих стволов в свой собственный живот.

Все заключенные во всех угольных районах Колымы радовались этой смерти. Газета с объявлением о похоронах Киселева переходила из рук в руки. В шахте во время работы измятый клочок газеты освещали рудничной лампочкой аккумулятора. Читали, радовались и кричали «ура». Киселев умер! Бог все-таки есть!

Вот от Киселева-то и выручил меня Сергей Михайлович.

Аркагалинский лагерь обслуживал шахту. На сто подземных рабочих, сто шахтеров — тысяча обслуги всяческой.

Голод подступал к Аркагале. И, конечно, раньше всего голод вошел в бараки пятьдесят восьмой статьи.

Сергей Михайлович сердился:

— Я не солнышко, всех не обогрею. Тебя устроили дневальным в химлабораторию, надо было жить, надо было уметь жить. По-лагерному, понял? — хлопал меня Сергей Михайлович по плечу.— До тебя тут работал Димка. Так тот продал весь глицерин — две бочки стояло — по двадцать рублей пол-литровая банка — медок, говорил, ха-ха-ха! Для заключенного все хорошо.

— Для меня это не годится.

— А что же для тебя годится?

Служба дневального была ненадежной. Меня быстро — насчет этого были строгие указания — перевели на шахту. Есть хотелось все больше.

Сергей Михайлович носился по лагерю. Была у него страсть: начальство в любом его виде прямо завоpажива-

ло нашего доктора. Лунин невероятно гордился своей дружбой или хоть тенью дружбы с любым лагерным начальством, стремился показать свою близость к начальству, хвалился ею и мог об этой призрачной близости говорить целыми часами.

Я сидел у него на приеме голодный, боясь попросить кусок хлеба, и слушал бесконечную похвальбу.

— А что начальство? Начальство — это, брат, власть. Несть власти, аще не от бога — ха-ха-ха! Надо уметь угодить ему — и все будет хорошо.

— Я могу с удовольствием угодить ему прямо в рожу.

— Ну, вот видишь. Слушай, давай так договоримся: ты можешь ко мне ходить — ведь скучно, наверно, в общем бараке?

— Скучно?!

— Ну да. Ты приходи. Посидишь, покуришь. В бараке ведь и покурить не дадут. Ведь я знаю — в сто глаз глядят на папиросу. Только не проси меня освобождать от работы. Этого я не могу, то есть могу, но мне неудобно. Дело твое. Пожрать, сам понимаешь, где я могу взять — это дело моего санитара. Я сам за хлебом не хожу. Так что если в случае тебе нужно будет хлеба — скажешь санитару Николаю. Неужели ты, старый лагерник, хлеба не можешь достать? Послушай вот, что жена начальника Ольга Петровна сегодня говорила. Меня ведь приглашают и выпить.

— Я пойду, Сергей Михайлович.

Настали дни голодные и страшные. И как-то раз, не в силах справиться с голодом, вошел я в амбулаторию.

Сергей Михайлович сидел на табуретке и листоновскими щипцами срывал помертвевшие ногти с отмороженных пальцев скорченного грязного человека. Ногти один за другим падали со стуком в пустой таз. Сергей Михайлович заметил меня.

— Вчера вот полтаза таких ногтей набросал.

Из-за занавески выглянуло женское лицо. Мы редко видели женщин, да еще близко, да еще в комнате, лицом к лицу. Она показалась мне прекрасной. Я поклонился, поздоровался.

— Здравствуйте,— низким чудесным голосом сказала она.— Сережа, это твой товарищ? Что ты рассказывал?

— Нет,— сказал Сергей Михайлович, бросая листоновские щипцы в таз и отходя к рукомойнику мыть руки.

— Николай,— сказал он вошедшему санитару,— убери таз и вынеси ему,— он кивнул на меня,— хлеба.

Я дождался хлеба и ушел в барак. Лагерь есть лагерь. А женщина эта, нежное и прелестное лицо которой помню я и сейчас, хоть никогда ее больше не видел, была Эдит Абрамовна, вольнонаемная, партийная, договорница, медицинская сестра с прииска «Ольчан». Она влюбилась в Сергея Михайловича, сошлась с ним, добилась его перевода на «Ольчан», добилась его досрочного освобождения уже во время войны. Ездила в Магадан к Никишову, начальнику Дальстроя, хлопотать за Сергея Михайловича — и когда ее исключили из партии за связь с заключенным — обычная «мера пресечения» в таких случаях,— передала вопрос в Москву и добилась снятия судимости с Лунина, добилась, чтобы ему разрешили экзамен в Московском университете, получить диплом врача, восстановиться во всех правах, и вышла за него замуж формально.

А когда потомок декабриста получил диплом, он бросил Эдит Абрамовну и потребовал развода.

— Родственников у нее, как у всех жидов. Мне это не годится.

Эдит Абрамовну он бросил, но Дальстрой ему бросить не удалось. Пришлось вернуться на Дальний Север — хоть на три года. Уменье ладить с начальством принесло Лунину — дипломированному врачу — неожиданно крупное назначение — заведующим хирургическим отделением центральной больницы для заключенных на левом берегу в поселке Дебин. А я к этому времени — к 1948 году — был старшим фельдшером хирургического отделения.

Назначение Лунина было как внезапный удар грома.

Дело в том, что хирург Рубанцев, заведующий отделением, был фронтовой хирург — майор медицинской службы — дельный, опытный работник, приехавший сюда после войны отнюдь не на три дня. Одним Рубанцев был плох — он не ладил с высоким начальством, ненавидел подхалимов, лжецов и вообще был не ко двору Щербакова — начальника санотдела Колымы. Договорник, приехавший настороженным врагом заключенных, Рубанцев, умный человек самостоятельных суждений, скоро

увидел, что его обманывали в «политической» подготовке. Подлецы, самоснабженцы, клеветники, бездельники — таковы были товарищи Рубанцева по службе. А заключенные — всех специальностей, в том числе и врачебной — были теми людьми, которые вели больницу, лечение, дело. Рубанцев понял правду и не стал ее скрывать. Он подал заявление о переводе в Магадан, где была средняя школа — у него был сын школьного возраста. В переводе ему было отказано устно. После больших хлопот через несколько месяцев ему удалось устроить сына в интернат, километрах в девяноста от Дебина. Работу Рубанцев уже вел уверенно, разгонял бездельников и рвачей. Об этих угрожающих спокойствию действиях было незамедлительно сообщено в Магадан, в штаб Щербакова.

Щербаков не любил тонкостей в обращении. Матерщина, угрозы, дача «дел» — все это годилось для заключенных, для бывших заключенных, но не для договорника, фронтового хирурга, награжденного орденами.

Щербаков разыскал старое заявление Рубанцева и перевел его в Магадан. И хоть учебный год был в полном разгаре, хоть дело в хирургическом отделении было налажено — пришлось все бросить и уехать...

С Луниным мы встретились на лестнице. У него было свойство краснеть при смущении. Он налился кровью. Впрочем, «угостил меня закурить», порадовался моим успехам, моей «карьере» и рассказал об Эдит Абрамовне.

Александр Александрович Рубанцев уехал. На третий же день в процедурной была устроена пьянка — хирургический спирт пробовал и главный врач Ковалев, и начальник больницы Винокуров, которые побаивались Рубанцева и не посещали хирургическое отделение. Во врачебных кабинетах начались пьянки с приглашением заключенных — медсестер, санитарок, словом, стоял дым коромыслом. Операции чистого отделения стали проходить с вторичным заживлением — на обработку операционного поля не стали тратить драгоценного спирта. Полупьяные начальники шагали по отделению взад и вперед.

Больница эта была моей больницей. После окончания курсов в конце 1946 года я приехал сюда с больными. На моих глазах больница выросла — это было бывшее здание Колымполка, и когда после войны какой-

то специалист по военной маскировке забраковал здание — видное среди гор за десятки верст, его передали больнице для заключенных. Хозяева, Колымполк, уезжая, выдернули все водопроводные и канализационные трубы, какие можно было выдернуть из огромного трехэтажного каменного здания, а из зрительного зала клуба вынесли всю мебель и сожгли ее в котельной. Стены были побиты, двери сломаны. Колымполк уезжал по-русски. Все это восстановили мы по винтику, по кирпичику.

Собрались врачи, фельдшера, которые пытались сделать все как можно лучше. Для очень многих это был священный долг — отплата за медицинское образование,— помощь людям.

. . . .

Все бездельники подняли головы с уходом Рубанцева.

— Зачем ты берешь спирт из шкафа?

— Пошел ты знаешь куда,— объявила мне сестра.— Теперь, слава богу, Рубанцева нету, Сергей Михайлович распорядился...

Я был поражен, подавлен поведением Лунина. Кутеж продолжался.

На очередной пятиминутке Лунин смеялся над Рубанцевым:

— Не сделал ни одной операции язвы желудка, хирург называется!

Это был вопрос не новый. Действительно, Рубанцев не делал операций язвы желудка. Больные терапевтических отделений с этим диагнозом были заключенными — истощенными, дистрофиками, и не было надежд, что они перенесут операцию. «Фон нехорош»,— говаривал Александр Александрович.

— Трус,— кричал Лунин и взял к себе из терапевтического отделения двенадцать таких больных. И все двенадцать были оперированы — и все двенадцать умерли. Опыт и милосердие Рубанцева вспомнились больничным врачам.

— Сергей Михайлович, так работать нельзя.

— Ты мне указывать не будешь!

Я написал заявление о вызове комиссии из Магадана. Меня перевели в лес, на лесную «командировку». Хотели на штрафной прииск, да уполномоченный райотдела отсоветовал — теперь не тридцать восьмой год. Не стоит.

Приехала комиссия, и Лунин был «уволен из Дальстроя». Вместо трех лет ему пришлось «отработать» всего полтора года.

А я через год, когда сменилось больничное начальство, вернулся из фельдшерского пункта лесного участка заведовать приемным покоем больницы.

Потомка декабриста я встретил как-то в Москве на улице. Мы не поздоровались.

. . . .

Только через шестнадцать лет я узнал, что Эдит Абрамовна еще раз добилась возвращения Лунина на работу в Дальстрой. Вместе с Сергеем Михайловичем приехала она на Чукотку, в поселок Певек. Здесь был последний разговор, последнее объяснение, и Эдит Абрамовна бросилась в воду, в реку Певек, утонула, умерла.

Иногда снотворные не действуют, и я просыпаюсь ночью. Я вспоминаю прошлое и вижу женское прелестное лицо, слышу низкий голос: «Сережа, это — твой товарищ?..»

КОМБЕДЫ

В трагических страницах России тридцать седьмого и тридцать восьмого года есть и лирические строки, написанные своеобразным почерком. В камерах Бутырской тюрьмы — огромного тюремного организма, со сложной жизнью множества корпусов, подвалов и башен — переполненных до предела, до обмороков следственных заключенных, во всей свистопляске арестов, этапов без приговора и срока, в камерах, набитых живыми людьми, сложился любопытный обычай, традиция, державшаяся не один десяток лет.

Неустанно насаждаемая бдительность, переросшая в шпиономанию, была болезнью, охватившей всю страну. Каждой мелочи, пустяку, обмолвке придавался зловещий тайный смысл, подлежащий истолкованию в следственных кабинетах.

Вкладом тюремного ведомства было запрещение

вещевых и продовольственных передач следственным арестантам. Мудрецы юридического мира уверяли, что, оперируя двумя французскими булками, пятью яблоками и парой старых штанов, можно сообщить в тюрьму любой текст, даже кусок из «Анны Карениной».

Эти «сигналы воли» — продукт воспаленного мозга ретивых служак Учреждения — пресекались надежно. Передачи отныне могли быть только денежными, а именно — не более пятидесяти рублей в месяц каждому арестанту. Перевод мог быть только в круглых цифрах — 10, 20, 30, 40, 50 рублей; так уберегались от возможности разработки новой «азбуки» сигналов цифрового порядка.

Проще всего, надежней всего было вовсе запретить передачи — но эта мера была оставлена для следователя, ведущего «дело». «В интересах следствия» он имел право запретить переводы вообще. Был тут и некоторый коммерческий интерес — магазин-«лавочка» Бутырской тюрьмы многократно увеличила свои обороты со времени, когда были запрещены вещевые и продовольственные передачи.

Отвергнуть всякую помощь родных и знакомых администрация почему-то не решалась, хотя была уверена, что и в этом случае никакого протеста ни внутри тюрьмы, ни вне ее, на воле,— подобное действие не вызовет.

Ущемление, ограничение и без того призрачных прав следственных заключенных...

Русский человек не любит быть свидетелем на суде. По традиции, в русском процессе свидетель мало отличается от обвиняемого, и его «прикосновенность» к делу служит определенной отрицательной характеристикой на будущее. Еще хуже положение следственных заключенных. Все они — будущие «срочники», ибо считается, что «жена Цезаря не имеет пороков» и органы внутренних дел не ошибаются. Никого зря не арестуют. За арестом логически следует приговор; малый или большой срок наказания получает тот или иной следственный арестант — зависит или от удачи заключенного, от «счастья», или от целого комплекса причин, куда входят и клопы, кусавшие следователя в ночь перед докладом, и голосование в американском конгрессе.

Выход из дверей следственной тюрьмы, по сути дела, один — в «черный ворон», тюремный автобус, везущий

приговоренных на вокзал. На вокзале — погрузка в теплушки, медленное движение бесчисленных арестантских вагонов по железнодорожным путям и, наконец, один из тысяч «трудовых» лагерей.

Эта обреченность накладывает свой отпечаток на поведение следственных арестантов. Беззаботность, молодечество сменяется мрачным пессимизмом, упадком духовных сил. Следственный арестант на допросах борется с призраком, призраком исполинской силы. Арестант привык иметь дело с реальностями, сейчас с ним сражается Призрак. Однако это «пламя — жжет, а эта пика больно колет». Все жутко реально, кроме самого «дела». Взвинченный, подавленный своей борьбой с фантастическими видениями, пораженный их величиной, арестант теряет волю. Он «подписывает» все, что придумал следователь, и с этой минуты сам становится фигурой того нереального мира, с которым он боролся, становится пешкой в страшной и темной кровавой игре, разыгрываемой в следовательских кабинетах.

— Куда его повезли?

— В Лефортово. Подписывать.

Следственные знают о своей обреченности. Знают это и те люди тюрьмы, которые находятся по ту сторону решетки — тюремная администрация. Коменданты, дежурные, часовые, конвоиры привыкли смотреть на следственных не как на будущих, а как на сущих арестантов.

Подследственный арестант спросил в 1937 году на поверке сменного дежурного караульного коменданта что-то о вводимой тогда новой Конституции. Комендант резко ответил:

— Это вас не касается. Ваша Конституция — это Уголовный кодекс.

Следственных заключенных в лагере также ждали «перемены». В лагере всегда полно следственных — ибо получить срок вовсе не значило избавить себя от перманентного действия всех статей Уголовного кодекса. Они действовали так же, как и на воле, только все — доносы, наказания, допросы, было еще более обнажено, еще более грубо-фантастично.

Когда в столице были запрещены продовольственные и вещевые передачи, на тюремной периферии — в лагерях — был введен особый «следственный паек» — кружка воды и триста граммов хлеба на день. Карцерное положе-

ние, на которое были переведены следственные, быстро приблизило их к могиле.

Этим «следственным пайком» пытались добиться «лучшей из улик» — собственного признания подследственного, подозреваемого, обвиняемого.

В Бутырской тюрьме 1937 года разрешались денежные передачи — не более 50 рублей в месяц. На эту сумму каждый, имеющий деньги, зачисленные на его лицевой счет, мог приобрести продукты в тюремной «лавочке», мог истратить четыре раза в месяц по тринадцать рублей — «лавочки» бывали раз в неделю. Если при аресте у следственного было денег больше — деньги зачислялись на его лицевой счет, но истратить он не мог более 50 рублей.

Наличных денег, конечно, не было, выдавались квитанции, и расчет велся на обороте этих квитанций — рукой продавца магазина и обязательно красными чернилами.

Для общения с начальством и поддержания товарищеской дисциплины в камере с незапамятных времен существует институт камерных старост.

Администрация тюрьмы каждую неделю за день до «лавочки» вручает старосте на поверке грифельную доску и кусок мела. На этой доске староста должен сделать заранее расчет заказов всех покупок, которые хотят сделать арестанты камеры. Обычно лицевая сторона грифельной доски — это продукты в их общем количестве, а на обороте записано, из чьих именно заказов составились эти количества.

На этот расчет уходит обычно целый день — ведь тюремная жизнь переплетена событиями всякого рода — масштаб этих событий для всех арестантов значителен. Утром следующего дня староста и с ним один-два человека уходят в магазин за покупками. Остаток дня уходит на дележ принесенных продуктов — развешанных по «индивидуальным заказам».

В тюремном магазине был большой выбор продуктов — масло, колбаса, сыры, белые булки, папиросы, махорка...

Недельный рацион тюремного питания разработан раз навсегда. Если б арестанты забыли день недели, они могли бы узнать его по запаху обеденного супа, по вкусу единственного блюда ужина. По понедельникам был всегда в обед гороховый суп, а в ужин каша овсяная, по втор-

никам — пшенный суп и перловая каша. За шесть месяцев следственного жития каждое тюремное блюдо появлялось ровно двадцать пять раз — пища Бутырской тюрьмы всегда славилась своим разнообразием.

Тот, кто имел деньги, хотя бы эти четыре раза по тринадцать рублей, мог прикупить сверх тюремной баланды и «шрапнели» кое-что повкуснее, питательнее, полезнее.

Тот, кто денег не имел — никаких закупок, конечно, не мог делать. В камере всегда были люди без копейки денег — не один и не два человека. Это мог быть привезенный иногородний, арестованный где-либо на улице и «наисекретнейше». Его жена металась по всем тюрьмам, и комендатурам. и отделениям милиции города, тщетно пытаясь узнать «адрес» мужа. Правилом было уклонение от ответа, полное молчание всех учреждений. Жена носила посылку из тюрьмы в тюрьму — может быть, примут, значит, ее муж жив, а не примут — тревожные ночи ждали ее.

Или это был арестованный отец семейства; сразу же после ареста от него заставили отшатнуться его жену, детей, родственников. Мучая его непрерывными допросами с момента ареста, следователь пытался вынудить у него «признание» в том, чего он никогда не делал. В качестве меры воздействия, кроме угроз и избиений — арестанта лишали денег.

Родные и знакомые с полным основанием боялись ходить в тюрьму и носить передачи. Настойчивость в передачах, в поисках, в справках влекла зачастую за собой подозрение, нежелательные и серьезные неприятности по службе и даже арест — бывали и такие случаи.

Были и другого рода безденежные арестанты. В шестьдесят восьмой камере был Ленька — подросток лет семнадцати, родом из Тумского района Московской области — из места глухого для тридцатых годов.

Ленька — толстый, белолицый, с нездоровой кожей, давно не видевшей свежего воздуха, чувствовал себя в тюрьме великолепно. Кормили его так, как в жизни не кормили. Лакомствами из лавки его угощали чуть не каждый. Курить он приучился папиросы, а не махорку. Он умилялся всему — как тут интересно, какие хорошие люди,— целый мир открылся перед неграмотным парнем из Тумского района. Следственное дело свое он считал какой-то игрой, наваждением — дело его ничуть не бес-

покоило. Ему хотелось только, чтобы эта его тюремная следственная жизнь, где так сытно, чисто и тепло, длилась бесконечно.

Дело у него было удивительное. Это было точное повторение ситуации чеховского «злоумышленника». Ленька отвинчивал гайки от рельсов полотна железной дороги на грузила и был пойман на месте преступления и привлечен к суду как вредитель, по седьмому пункту пятьдесят восьмой статьи. Чеховского рассказа Ленька никогда не слышал, а «доказывал» следователю, как классический чеховский герой, что он не отвинчивает двух гаек сряду, что он «понимает»...

На показаниях тумского парня следователь строил какие-то необыкновенные «концепции» — самая невинная из которых грозила Леньке расстрелом. Но «связать» с кем-либо Леньку следствию не удавалось — и вот Ленька сидел в тюрьме второй год в ожидании, пока следствие найдет эти «связи».

Люди, у которых нет денег на «лицевом счету» тюрьмы, должны питаться казенным пайком без всякой добавки. Тюремный паек — скучная штука. Даже небольшое разнообразие в пище скрашивает арестантскую жизнь, делает ее как-то веселее.

Вероятно, тюремный паек (в отличие от лагерного) в калориях своих, в белках, жирах и углеводах выведен из каких-то теоретических расчетов, опытных норм. Расчеты эти опираются, вероятно, на какие-нибудь «научные» работы — трудами такого рода ученые любят заниматься. Столь же вероятно, что в Московской следственной тюрьме контроль за изготовлением пищи и доведением калорий до живого потребителя поставлен на достаточную высоту. И, вероятно, в Бутырской тюрьме «проба» отнюдь не издевательская формальность, как в лагере. Какой-нибудь старый тюремный врач, отыскивая в «акте» место, где ему нужно поставить свою подпись, утверждающую раздачу пищи, попросит, может быть, повара положить ему побольше чечевицы, наикалорийнейшего блюда. Врач пошутит, что вот арестанты жалуются на пищу зря — он, доктор, и то с удовольствием съел мисочку — впрочем, врачам пробу дают в тарелках — нынешней чечевицы.

На пищу в Бутырской тюрьме никогда не жаловались. Не потому, что пища эта была хороша. Следственному арестанту не до пищи, в конце концов. И даже

самое нелюбимое арестантское блюдо — вареная фасоль, которую приготовляли здесь как-то удивительно невкусно, фасоль, которая получила энергичное прозвище «блюдо с проглотом» — даже фасоль не вызывала жалоб.

Лавочная колбаса, масло, сахар, сыр, свежие булки — были лакомствами. Каждому, конечно, было приятно съесть их за чаем, не казенным кипятком с «малиновым» напитком, а настоящим чаем, заваренным в кружку из огромного ведерного чайника красной меди, чайника царских времен, чайника, из которого пили, может быть, народовольцы.

Конечно, «лавочка» была радостным событием в жизни камеры. Лишение «лавочки» было тяжелым наказанием, всегда приводящим к спорам, ссорам,— такие вещи переживаются арестантами очень тяжело. Случайный шум, услышанный коридорным, спор с дежурным комендантом — все это расценивалось как дерзость; наказанием за нее было лишение очередной «лавочки».

Мечты восьмидесяти человек, размещенных на двадцати местах — шли прахом. Это было тяжелое наказание.

Для тех следственных, кто не имел денег, лишение «лавочки» должно было быть безразличным. Однако это было не так.

Продукты принесены, начинается вечернее чаепитие. Каждый купил, что хотел. Те же, у кого денег нет, чувствуют себя лишними на этом общем празднике. Только они не разделяют того нервного подъема, который наступает в день «лавочки».

Конечно, их все угощают. Но можно выпить кружку чаю с чужим сахаром и чужим белым хлебом, выкурить чужую папиросу — одну и другую — все это вовсе не так, как «дома», как если бы он купил все это на свои собственные деньги. Безденежный настолько деликатен, что боится съесть лишний кусок.

Изобретательный коллективный мозг тюрьмы нашел выход, устраняющий ложность положения безденежных товарищей, щадящий их самолюбие и дающий почти официальное право каждому безденежному пользоваться «лавочкой». Он может вполне самостоятельно тратить свои собственные деньги, покупать то, что хочется.

Откуда же берутся эти деньги?

Здесь-то и рождается вновь знаменитое слово времен военного коммунизма, времен первых лет революции. Слово это — «комбеды», комитеты бедноты. Кто-то безвестный бросил это название в тюремной камере, и слово удивительным образом привилось, укрепилось, поползло из камеры в камеру — перестуком, запиской, спрятанной где-нибудь под скамейку в бане, а еще проще — при переводе из тюрьмы в тюрьму.

Бутырская тюрьма славится своим образцовым порядком. Огромная тюрьма на двенадцать тысяч мест при беспрерывном круглосуточном движении текучего ее населения: каждый день возят в рейсовых тюремных автобусах на Лубянку и с Лубянки на допросы, на очные ставки, на суд, перевозят в другие тюрьмы...

Внутри тюремная администрация за «камерные» проступки сажает следственных заключенных в Полицейскую, Пугачевскую и Северную и Южную башни — в них особые «штрафные» камеры. Есть и карцерный корпус, где в камерах лечь нельзя и спать можно только сидя.

Пятую часть населения камеры ежедневно куда-либо водят — либо в «фотографию», где снимают по всем правилам — анфас и в профиль, и номер прикреплен к занавеске, около которой садится арестант; либо «играть на рояле» — процедура дактилоскопии обязательна и почему-то никогда не считалась оскорбительной процедурой, или на допрос, в допросный корпус, по бесконечным коридорам исполинской тюрьмы, где при каждом повороте провожающий гремит ключом о медную пряжку собственного пояса, предупреждая о движении «секретного арестанта». И пока не ударят где-то в ладоши (на Лубянке в ладоши хлопают, отвечая на прищелкиванье пальцами вместо звяканья ключами), провожающий не пускает арестанта вперед.

Движение беспрерывно, бесконечно — входные ворота никогда не закрываются надолго — и не было случая, чтобы «однодельцы» попали в одну и ту же камеру.

Арестант, перешагнувший порог тюрьмы, вышедший из нее хоть на секунду, если вдруг его поездка отменена,— не может вернуться обратно без дезинфекции всех вещей. Таков порядок, санитарный закон. У тех, кого часто возили на допросы на Лубянку,— одежда быстро пришла в ветхость. В тюрьме и без того верхняя одежда изнашивается много быстрее, чем на воле,— в одежде

спят, ворочаются на досках «щитков», которыми застланы нары. Вот эти доски вкупе с частыми энергичными «вошебойками» — «жарниками» быстро разрушают одежду каждого следственного.

Как ни строг учет, но «тюремщик думает о своих ключах меньше, чем арестант о побеге» — так говорит автор «Пармской обители».

«Комбеды» возникли стихийно, как арестантская самозащита, как товарищеская взаимопомощь. Кому-то вспомнились в этом случае именно «комитеты бедноты». И как знать,— автор, вложивший новое содержание в старый термин,— быть может, сам участвовал в настоящих комитетах бедноты русской деревни первых революционных лет. Комитеты взаимопомощи — вот чем были тюремные «комбеды».

Организация комбедского дела сводилась к самому простому виду товарищеской помощи. При выписке «лавочки» каждый, кто выписывал себе продукты, должен был отчислить десять процентов в «комбед». Общая денежная сумма делилась на всех безденежных камеры — каждый из них получал право самостоятельной выписки продуктов из «лавочки».

В камере с населением 70—80 человек постоянно бывало 7—8 человек безденежных. Чаще всего бывало, что деньги приходили, должник пытался вернуть данное ему товарищами, но это не было обязательно. Просто он, в свою очередь, отчислял те же десять процентов, когда мог.

Каждый «комбедчик» получал 10—12 рублей в «лавочку» — тратил сумму, почти одинаковую с денежными людьми. За «комбед» не благодарили. Это выглядело как право арестанта, как непреложный тюремный обычай.

Долгое время, годы, быть может, тюремная администрация не догадывалась об этой организации — или не обращала внимания на верноподданническую информацию камерных стукачей и тюремных сексотов. Трудно думать, что о «комбедах» не доносили. Просто администрация Бутырок не хотела повторить печального опыта безуспешной борьбы с пресловутой игрой в «спички».

В тюрьме всякие игры воспрещены. Шахматы, вылепленные из хлеба, разжеванного «всей камерой», немедленно конфисковывались и уничтожались при обна-

ружении их бдительным оком наблюдающего через «волчок» часового. Самое выражение «бдительное око» приобретало в тюрьме свой подлинный, отнюдь не фигуральный смысл. Это был обрисованный «волчком» внимательный глаз часового.

Домино, шашки — все это строжайше запрещено в следственной тюрьме. Книги не запрещены, и тюремная библиотека богата, но следственный арестант читает, не извлекая из чтения никакой другой пользы, кроме отвлечения от собственных важных и острых дум. Сосредоточиться над книгой в общей камере невозможно. Книги служат развлечением, отвлечением, заменяют домино и шашки.

В камерах, где содержатся уголовники, в ходу карты — в Бутырской тюрьме карт нет. И нет там никаких игр, кроме «спичек».

Это — игра для двоих.

В спичечной коробке пятьдесят спичек. Для игры оставляют тридцать и закладывают их в крышку, ставя ее вертикально, на попа. Крышку встряхивают, приподнимают, спички высыпаются на стол.

Играющий первым берет спичку двумя пальцами и, действуя ею как рычагом, отбрасывает или отодвигает в сторону все спички, какие можно выбрать из груды, не потревожив других. При сотрясении двух спичек вместе он теряет право играть. Дальше играет другой — до первой своей ошибки.

«Спички» — это самая обыкновенная детская игра в бирюльки — только приспособленная изобретательным арестантским умом к тюремной камере.

В «спички» играла вся тюрьма, с завтрака до обеда и с обеда до ужина, с увлечением и азартом.

Появились свои спичечные чемпионы, завелись наборы спичек особого качества — залоснившихся от постоянного употребления. Таких спичек не зажигали, прикуривая папиросы.

Игра эта сберегла много нервной энергии арестантам, внесла кое-какой покой в их смятенные души.

Администрация была бессильна уничтожить эту игру, запретить ее. Спички-то ведь были разрешены. Они и выдавались (поштучно) и продавались в магазине.

Корпусные коменданты пробовали ломать коробки, но ведь и без коробка можно было обойтись в игре.

Администрация в этой борьбе с игрой в бирюльки

была посрамлена — все ее демарши ни к чему дельному не привели. Вся тюрьма продолжала играть в «спички».

По этой же самой причине, боясь посрамления, администрация смотрела сквозь пальцы и на «комбеды», не желая ввязываться в бесславную борьбу.

Но, увы, слух о «комбедах» полз все выше, все дальше и достиг Учреждения, откуда и последовал грозный приказ — ликвидировать «комбеды» — в самом названии которых чудился вызов, некая апелляция к революционной совести.

Сколько нравоучений было прочтено на поверках. Сколько криминальных бумажек с зашифрованным подсчетом расходов и заказов при покупке было захвачено в камерах при внезапном обыске! Сколько старост побывало в Полицейской и Пугачевской башнях, где были карцеры и штрафные палаты.

Все было напрасно: «комбеды» существовали, несмотря на все предупреждения и санкции.

Проверить действительно было очень трудно. Притом корпусной комендант, надзиратель, долго работая в тюрьме, несколько иначе смотрит на арестантов, чем его высокий начальник, и подчас в душе становится на сторону арестанта против начальника. Не то чтобы он помогал арестанту. Нет, он просто смотрит на проступки сквозь пальцы, когда можно посмотреть сквозь пальцы, он не видит, когда можно не видеть, он просто менее придирчив. Особенно если надзиратель немолод. Для арестанта лучше всего тот начальник, который немолод и в небольших чинах. Сочетание этих двух условий почти обещает относительно приличного человека. Если он к тому же еще и выпивает — тем лучше. Карьеры такой человек не ищет, а карьера надзирателя тюремного и особенно лагерного — на крови заключенных.

Но Учреждение требовало ликвидации «комбедов», и тюремное начальство безуспешно пыталось добиться этого.

Была сделана попытка взорвать «комбеды» изнутри — это было, конечно, самое хитрое из решений. «Комбеды» были организацией нелегальной, любой арестант мог воспротивиться отчислениям, которые делались насильно. Тот, кто не желал платить такие «налоги», не хотел содержать «комбеды», мог протестовать и в случае своего отказа, протеста, нашел бы тотчас же полную поддержку

тюремной администрации. Еще бы — ведь тюремный коллектив не государство, чтобы взимать налоги,— значит, «комбеды» — это вымогательство, «рэкет», грабеж.

Бесспорно, любой арестант мог отказаться от отчислений. Не хочу — и баста! Деньги мои, и никто не имеет права посягать и т. д. При таком заявлении никаких вычетов не производилось и все заказанное доставлялось полностью.

Однако кто рискнет на такое заявление? Кто рискнет противопоставить себя тюремному коллективу — людям, которые с тобой двадцать четыре часа в сутки, и только сон спасает тебя от недружелюбных, враждебных взглядов товарищей? В тюрьме невольно каждый ищет душевную поддержку в соседе, и ставить себя под бойкот — слишком страшно. Это — пострашней угроз следователя, хотя никаких физических мер воздействия тут не принимается.

Тюремный бойкот — это орудие войны нервов. И не дай бог никому испытать на себе подчеркнутое презрение товарищей.

Но если антиобщественный гражданин слишком толстокож и упрям — у старосты есть еще более оскорбительное, еще более действенное оружие.

Лишить арестанта пайки в тюрьме никто не вправе (кроме следователей, которым это бывает нужно для «ведения дела»), и упрямец получит свою миску супа, свою порцию каши, свой хлеб.

Пищу раздает раздатчик по указанию старосты (это одна из функций камерного старосты). Нары — по стенам камеры разделены проходом от двери до окна.

У камеры четыре угла, и пищу раздают с каждого из них по очереди, день — с одного, день — с другого. Смена эта нужна для того, чтобы повышенная нервная возбудимость арестантов не была растревожена каким-нибудь пустяком, вроде «вершков» и «корешков» бутырской баланды, чтобы уравнять шансы всех на густоту, на температуру супа... мелочей в тюрьме нет.

Староста подает перед раздачей разрешительную команду и добавляет: а последнему дайте такому-то (имярек) — тому, кто не хочет считаться с «комбедами».

Это унизительное, непереносимое оскорбление может быть сделано четырежды за бутырский день — там утром

и вечером дают чай, в обед — суп, в ужин — кашу.

Во время раздачи хлеба «воздействие» может быть оказано пятый раз.

Звать корпусного коменданта для разбора подобных дел — рискованно, ведь вся камера будет показывать против нашего упрямца. В таких случаях положено коллективно лгать, корпусной не найдет правды.

Но эгоист, жадюга — человек твердого характера. Притом он только себя считает невинно арестованным, а всех своих тюремных сожителей — преступниками. Он вдоволь толстокож, вдоволь упрям. Бойкот товарищей он переносит легко — эти интеллигентские штучки не заставят его потерять терпение и выдержку. На него могла бы подействовать «темная» — старинный метод внушений. Но никаких «темных» в Бутырках не бывает. Эгоист уже готов торжествовать победу — бойкот не оказывает надлежащего действия.

Но в распоряжении старосты, в распоряжении людей тюремной камеры есть еще одно решительное средство. Ежедневно, на вечерней поверке, при сдаче дежурства, очередной, вступающий на смену корпусной комендант задает, по уставу, вопрос, обращенный к арестантам: «Заявления есть?»

Староста делает шаг вперед и требует перевести бойкотированного упрямца в другую камеру. Никаких причин перевода объяснять не нужно, достаточно потребовать. Не позже чем через сутки, а то и раньше, перевод будет сделан обязательно — публичное предупреждение снимает со старост ответственность за поддержание дисциплины в камере.

Не переведут — упрямца могут избить или убить, чего доброго,— душа арестанта темна, а подобные происшествия ведут за собой неприятные многократные объяснения дежурного корпусного коменданта по начальству.

Если будет следствие по этому тюремному убийству, сейчас же выяснится, что корпусной был предупрежден. Лучше уж перевести в другую камеру по-хорошему, уступить такому требованию.

Прийти в другую камеру переведенным, а не с «воли» — не очень приятно. Это всегда вызывает подозрение, настороженность новых товарищей — не доносчик ли это? «Хорошо, если он только за отказ от «комбеда» переведен к нам,— думает староста новой камеры.— А если

что-нибудь похуже?» Староста будет пытаться узнать причину перевода — запиской, засунутой на дно мусорного ящика в уборной, перестуком, либо по системе декабриста Бестужева, либо по азбуке морзе.

Пока не будет получен ответ, «новичку» нечего рассчитывать на сочувствие и доверие новых товарищей. Проходит много дней, причина перевода выяснена, страсти улеглись, но — и в новой камере есть свой «комбед», свои «отчисления».

Все начинается сначала — если начнется, ибо в новой камере наученный горьким опытом упрямец поведет себя иначе. Его упрямство сломлено.

В следственных камерах Бутырской тюрьмы не было никаких «комбедов» — пока разрешались вещевые и продуктовые передачи, а пользование тюремным магазином было практически не ограничено.

«Комбеды» возникли во второй половине тридцатых годов, как любопытная форма «собственной жизни» следственных арестантов, форма самоутверждения бесправного человека: тот крошечный участок, где человеческий коллектив, сплоченный, как это всегда бывает в тюрьме, в отличие от «воли» и лагеря, при полном бесправии своем, находит точку приложения своих духовных сил для настойчивого утверждения извечного человеческого права жить по-своему. Эти духовные силы противопоставлены всем и всяческим тюремным и следственным регламентам и одерживают над ними победу.

МАГИЯ

В стекло стучала палка, и я узнал ее. Это был стек начальника отделения.

— Сейчас иду,— заорал я в окно, надел брюки и застегнул ворот гимнастерки. В ту же самую минуту на пороге комнаты возник курьер начальника Мишка и громким голосом произнес обычную формулу, которой начинался каждый мой рабочий день:

— К начальнику!

— В кабинет?

— На вахту!

Но я уже выходил.

Легко мне работалось с этим начальником. Он не был жесток с заключенными, умен, и хотя все высокие материи неизменно переводил на свой грубый язык, но понимал, что к чему.

Правда, тогда была в моде «перековка», и начальник просто хотел в незнакомом русле держаться верного фарватера. Может быть. Может быть. Тогда я не думал об этом.

Я знал, что у начальника — Стуков была его фамилия — было много столкновений с высшим начальством, много ему «шили» дел в лагере, но ни подробности, ни сути этих не кончившихся ничем дел, не начатых, а прекращенных следствий я не знаю.

Меня Стуков любил за то, что я не брал взяток, не любил пьяных. Почему-то Стуков ненавидел пьяных... Еще любил за смелость, наверное.

Стуков был человек пожилой, одинокий. Очень любил всякие новости техники, науки, и рассказы о Бруклинском мосте приводили его в восторг. Но я не умел рассказывать ничего, что было бы похоже на Бруклинский мост.

Зато это Стукову рассказывал Миллер, Павел Петрович Миллер, инженер-шахтинец.

Миллер был любимцем Стукова, жадного слушателя всяких научных новостей.

Я догнал Стукова у вахты.

— Спишь все.

— Я не сплю.

— А что этап пришел из Москвы — знаешь? Через Пермь. Я и говорю — спишь. Бери своих, и будем отбирать людей.

Наше отделение стояло на самом краю вольного мира, на конце железнодорожного пути — дальше следовали многодневные пешие этапы тайгой — и Стукову было дано право оставлять требуемых людей самому.

Это была магия изумительная, фокусы из области прикладной психологии, что ли, фокусы, которые показывал Стуков, начальник, состарившийся на работе в местах заключения. Стукову нужны были зрители, и только я, наверное, мог оценить его удивительный талант, способности, которые долгое время казались мне сверхъестественными, до той минуты, пока я почувствовал, что и сам обладаю этой же магической силой.

Высшее начальство разрешило оставить в отделении пятьдесят плотников. Перед начальником выстраивался этап, но не по одному в ряд, а по три и по четыре.

Стуков медленно шел вдоль этапа, похлопывая стеком по своим неначищенным сапогам. Рука Стукова время от времени поднималась.

— Выходи ты, ты. И ты. Нет, не ты. Вон — ты...

— Сколько вышло?

— Сорок два.

— Ну вот, еще восемь.

— Ты... Ты... Ты.

Все мы переписывали фамилии и отбирали личные дела.

Все пятьдесят умели обращаться с топором и пилой.

— Тридцать слесарей!

Стуков шел вдоль этапа, чуть хмурясь.

— Выходи ты... Ты... Ты... А ты — назад. Из блатных, что ли?

— Из блатных, гражданин начальник.

Без единой ошибки выбирались тридцать слесарей. Надо было десять канцеляристов.

— Можешь отобрать на глаз?

— Нет.

— Тогда пойдем.

— Выходи ты... Ты... Ты...

Вышло шесть человек.

— Больше на этом этапе счетоводов нет,— сказал Стуков.

Проверил по делам, и верно: больше нет. Подобрали канцеляристов из следующих этапов.

Это была любимая игра Стукова, ошеломлявшая меня. Сам Стуков радовался как ребенок своей магической способности и мучился, если терял уверенность. Он не ошибался, просто терял уверенность, и мы прекращали прием людей.

Я всякий раз с удовольствием смотрел на эту игру, ничего общего не имеющую ни с жестокостью, ни с чужой кровью.

Поражался знанию людей. Поражался той извечной связи между душой и телом.

Столько раз я видел эти фокусы, эти демонстрации таинственной силы начальника. За ними не стояло ничего, кроме многолетнего опыта работы с заключенными.

Одежда арестанта сглаживает различия, и это только облегчает задачу — прочесть профессию человека по его лицу, рукам.

— Сегодня кого будем отбирать, гражданин начальник?

— Двадцать плотников. Да вот получил телефонограмму из управления — отобрать всех, кто раньше работал в органах,— Стуков усмехнулся,— и имеет бытовые или служебные статьи. Снова, значит, сядут за следовательский стол. Ну, что ты об этом думаешь?

— Ничего я не думаю. Приказ и приказ.

— А ты понял, как я плотников отбирал?

— Пожалуй...

— Я просто крестьян отбираю, крестьян. Всякий крестьянин плотник. И добросовестных работников тоже ищу из крестьян. И не ошибаюсь. А уж как мне по глазам работников органов узнать — не скажу. Бегают, что ли, у них глаза? Говори.

— Я не знаю.

— И я не знаю. Ну, может быть, под старость научусь. Еще до пенсии.

Этап был выстроен, как всегда, вдоль вагонов. Стуков произнес свою обыкновенную речь о работе, зачетах, протянул руку и прошел раза два вдоль вагонов.

— Мне нужны плотники. Двадцать человек. Но отбирать буду я сам, не шевелиться.

— Выходи ты... ты... ты. Вот и все. Отбирайте дела.

Пальцы начальника нащупали какую-то бумажку в кармане френча.

— Не расходись. Есть еще дело.

Стуков поднял руку с бумажкой:

— Есть среди вас работники органов?

Две тысячи арестантов молчали.

— Есть, спрашиваю, среди вас те, кто раньше работал в органах? В органах!

Из задних рядов, расталкивая пальцами соседей, энергично продирался худощавый человек, действительно с бегающими глазами.

— Я работал осведомителем, гражданин начальник.

— Пошел прочь! — с презрением и удовольствием сказал Стуков.

ЛИДА

Лагерный срок, последний лагерный срок Криста таял. Мертвый зимний лед подтачивался весенними ручейками времени. Крист выучил себя не обращать внимания на зачеты рабочих дней — средство, разрушающее волю человека, предательский призрак надежды, вносящий растление в арестантские души. Но ход времени был все быстрее — к концу срока всегда бывает так,— блаженны освободившиеся внезапно, досрочно.

Крист гнал от себя мысли о возможной свободе, о том, что называется в мире Криста свободой.

Это очень трудно — освобождаться. Крист знал это по собственному опыту. Знал, как приходится переучиваться жизни, как трудно входить в мир других масштабов, других нравственных мерок, как трудно воскрешать те понятия, которые жили в душе человека до ареста. Не иллюзиями были эти понятия, а законами другого, раннего мира.

Освобождаться было трудно — и радостно, ибо всегда находились, вставали со дна души силы, которые давали Кристу уверенность в поведении, смелость в поступках и твердый взгляд в рассвет завтрашнего своего дня.

Крист не боялся жизни, но знал, что шутить с ней нельзя, что жизнь — штука серьезная.

Крист знал и другое — что, выходя на свободу, он становился навеки «меченым», навеки «клейменым» — навеки предметом охоты для гончих собак, которых в любой момент хозяева жизни могут спустить с поводка.

Но Крист не боялся погони. Сил было еще много — душевных даже побольше, чем раньше, физических — поменьше.

Охота тридцать седьмого года привела Криста в тюрьму, к новому увеличенному сроку, а когда и этот срок был отбыт, получен новый — еще больше. Но до расстрела было еще несколько ступеней, несколько ступеней этой страшной движущейся живой лестницы, сое[illegible]няющей человека и государство.

Освобождаться было опасно. За лю[illegible]ным, у которого кончался срок, на [illegible]ду начиналась правильная охота — не пр[illegible]ом ли Москвы предписанная и разработанная,— а ведь «волос не упадет» и так далее. Охота из провокаций, доносов, допро-

сов. Звуки страшного лагерного оркестра-джаза, октета — «семь дуют, один стучит» — раздавались в ушах ждущих освобождения все громче, все явственней. Тон становился все более зловещим, и мало кто мог благополучно — и случайно! — проскочить эту вершу, эту «морду», этот невод, сеть и выплыть в открытое море, где для освобождающегося не было ориентиров, не было безопасных путей, безопасных дней и ночей.

Все это Крист знал, очень хорошо понял и знал, давно знал, берегся как мог. Но уберечься было нельзя.

Сейчас кончался третий, десятилетний срок — а число арестов, начатых «дел», попыток дать срок, которые кончались для Криста ничем — то есть были его победой, его удачей — и сосчитать было трудно. Крист и не считал. Это плохая примета в лагере.

Когда-то Крист, девятнадцатилетним мальчишкой, получил свой первый срок. Самоотверженность, жертвенность даже, желание не командовать, а делать все своими руками жило в душе Криста всегда, жило вместе со страстным чувством неподчинения чужой команде, чужому мнению, чужой воле. На дне души Криста хранилось всегда желание помериться силами с человеком, сидящим за следовательским столом,— воспитанное детством, чтением, людьми, которых Крист видел в юности и о которых он слышал. Таких людей было много в России, в книжной России по крайней мере, в опасном мире книг.

Крист был приобщен к «движению» во всех картотеках Союза, и когда был дан сигнал к очередной травле, уехал на Колыму со смертным клеймом «КРТД». «Литерник», «литёрка», обладатель самой опасной буквы «Т». Листочек тонкой папиросной бумаги, вклеенный в «личное дело» Криста, листочек тонкой прозрачной бумаги — «спецуказание Москвы» — текст был отпечатан на стеклографе очень слепо, очень неудачно — или это был десятый какой-нибудь экземпляр с пишущей машинки,— у Криста был случай подержать в руках этот смертный листочек, а фамилия была вписана твердой рукой, безмятежно ясным почерком канцеляриста — будто и текста не надо — тот, кто пишет вслепую, не глядя вставит фамилию, закрепит чернила в нужной строке. «На время заключения лишить телеграфной и почтовой связи, использовать только на тяжелых физических работах, доносить о поведении раз в квартал».

«Спецуказания» были приказом убить, не выпустить живым, и Крист это понимал. Только думать об этом было некогда. И — не хотелось думать.

Все «спецуказанцы» знали, что этот листок папиросной бумаги обязывает всякое будущее начальство — от конвоира до начальника управления лагерями — следить, доносить, принимать меры, что если любой маленький начальник не будет активен в уничтожении тех, кто обладает «спецуказаниями»,— то на этого начальника донесут свои же товарищи, свои сослуживцы. И что он встретит неодобрение от начальства высшего. Что лагерная карьера его — безнадежна, если он не участвует активно в выполнении московских приказов.

На угольной разведке заключенных было мало. Бухгалтер разведки — по совместительству секретарь начальника, «бытовичок» Иван Богданов разговаривал с Кристом несколько раз. Была хорошая работа — сторожем. Сторож, эстонец старик, умер от сердечной слабости. Крист мечтал об этой работе. И не был на нее поставлен... И ругался. Иван Богданов слушал его.

— У тебя — спецуказание,— сказал Богданов.

— Я знаю.

— Знаешь, как это устроено?

— Нет.

— Личное дело — в двух экземплярах. Один — с человеком, как его паспорт, а другой — хранится в управлении лагерей. Тот, другой, конечно, недоступен, но никто никогда там не сверялся. Суть в здешнем листочке, в том, что идет с тобой.

Вскоре Богданова куда-то переводили, и он пришел прощаться к Кристу прямо на работу, к разведочному шурфу. Маленький костерчик-дымарь отгонял комаров от шурфа. Иван Богданов сел на край шурфа и вынул из-за пазухи бумажку, тончайшую выцветшую бумажку.

— Я уезжаю завтра. Вот твои спецуказания.

Крист прочел. Запомнил навечно. Иван Богданов взял листочек и сжег на костре, не выпуская из рук листка, пока не сгорела последняя буква.

— Желаю тебе...

— Будь здоров.

Сменился начальник — у Криста было много-много начальников в жизни — сменился секретарь начальника.

Крист стал сильно уставать на шахте и знал, что это значит. Освободилась должность лебедчика. Но

Крист никогда не имел дела с механизмами и даже на радиолу смотрел с сомнением и неуверенностью. Но Семенов, блатарь, уходивший с работы лебедчика на лучшую работу — успокоил Криста:

— Ты — фрайер, такой лох, нет спасения. Вы все такие — фрайера.Все Чего ты боишься? Заключенный не должен бояться никаких механизмов. Тут-то и учиться. Ответственности никакой. Нужна только смелость, и все. Берись за рычаги, не держи меня здесь, а то и мой шанс пропадет...

Хотя Крист знал, что блатари — это одно, а фрайер — особенно фрайер с литером «КРТД» — это совсем, совсем другое, когда речь идет об ответственности — уверенность Семенова передалась ему.

Нарядчик был прежний и спал тут же, в углу барака. Крист пошел к нарядчику.

— У тебя же спецуказания.

— А я откуда знаю?

— Ты-то не знаешь. Да и я, положим, дела твоего не видал. Попробуем.

Так Крист стал лебедчиком, включал и выключал рычаги электрической лебедки, разматывал стальной трос, опуская вагонетки в шахту. Отдохнул немного. Месяц отдохнул. А потом приехал какой-то «бытовик»-механик, и Крист опять был послан в шахту, катал вагонетки, насыпал уголь и размышлял, что механик-«бытовик» не останется и сам на такой ничтожной, без «навара», работе, как шахтный лебедчик — что только для «литёрок» вроде Криста — шахтная лебедка — рай, а когда механик-«бытовик» уйдет — Крист снова будет двигать эти благословенные рычаги и включать рубильник лебедки.

Ни один день из лагерного времени не был забыт Кристом. Оттуда, с шахты, его увезли в спецзону, судили, дали вот этот самый срок, которому близок конец.

Крист сумел кончить фельдшерские курсы; остался в живых и — что еще важнее — приобрел независимость — важное свойство медицинской профессии на Дальнем Севере, в лагере. Сейчас Крист заведовал приемным покоем огромной лагерной больницы.

. . . .

Но уберечься было нельзя. Буква «Т» в литере Криста была меткой, тавром, клеймом, приметой, по которой

травили Криста много лет, не выпуская из ледяных золотых забоев на шестидесятиградусном колымском морозе. Убивая тяжелой работой, непосильным лагерным трудом, прославляемым как дело чести, дело славы, дело доблести и геройства, убивая побоями начальников, прикладами конвоиров, кулаками бригадиров, тычками парикмахеров, локтями товарищей... Убивая голодом — «юшкой» лагерного «супчика».

Крист знал, видел и наблюдал бессчетное количество раз — что никакая другая статья Уголовного кодекса так не опасна для государства, как его, Криста, литер с буквой «Т». Ни измена Родине, ни террор, ни весь этот страшный букет пунктов пятьдесят восьмой статьи. Четырехбуквенный литер Криста был приметой зверя, которого надо убить, которого приказано убить.

За этим литером охотился весь конвой всех лагерей страны прошлого, настоящего и будущего — ни один начальник на свете не захотел бы проявить слабость в уничтожении такого «врага народа».

Сейчас Крист — фельдшер большой больницы, ведет большую борьбу с блатарями — с тем миром уголовщины, который государство призвало себе на помощь в тридцать седьмом году, чтобы уничтожить Криста и его товарищей.

В больнице Крист работал очень много, не жалея ни времени, ни сил. Высшее начальство, по постоянному повелению Москвы, не раз давало приказ о снятии таких, как Крист, на общие работы, отправке. Но начальник больницы был старым колымчанином и знал цену энергии таких людей. Начальник хорошо понимал, что Крист вложит и вкладывает в свою работу очень много. А Крист — знал, что начальник это понимает.

И вот срок заключения таял медленно, как зимний лед в стране, где нет преображающих жизнь весенних теплых дождей — а есть только медленная разрушительная работа то холодного, то жгучего солнца. Срок таял, как лед, уменьшался. Конец срока был близок.

Страшное приближалось к Кристу. Все будущее будет отравлено этой важной справкой о судимости, о статье, о литере «КРТД». Этот литер закроет дорогу в любом будущем Криста, закроет на всю жизнь в любом месте страны, на любой работе. Эта буква не только лишит паспорта, но на вечные времена не даст устроиться на работу, не даст выехать с Колымы. Крист внимательно

следил за освобождениями тех немногих, кто, подобно Кристу, дожил до освобождения, имея в прошлом тавро с буквой «Т» в своем московском приговоре, в своем лагерном паспорте — формуляре, в своем «личном деле».

Крист пытался представить себе меру этой косной силы, управляющей людьми, оценить ее трезво.

В лучшем случае его оставят после срока на той же работе, на старом месте. Не выпустят с Колымы. Оставят до первого сигнала, до первого рога на травлю...

Что делать? Может быть, проще всего — веревка... Так многие решали этот же самый вопрос. Нет! Крист будет биться до конца. Биться как зверь, биться, как его учили в этой многолетней травле человека государством.

Много ночей не спал Крист, думая о своем скором, неотвратимом освобождении. Он не проклинал, не боялся. Крист искал.

Озарение пришло, как всегда, внезапно. Внезапно — но после страшного напряжения — напряжения не умственного, не сил сердца, а всего существа Криста. Пришло, как приходят лучшие стихи, лучшие строки рассказа. Над ними думают день и ночь безответно, и приходит озарение, как радость точного слова, как радость решения. Не радость надежды — слишком много разочарований, ошибок, ударов в спину было на пути Криста.

Но озарение пришло. Лида...

Крист давно работал в этой больнице. Его неизменная преданность интересам больницы, его энергия, постоянное вмешательство в любые больничные дела — всегда на пользу больнице! — создали заключенному Кристу особое положение. Фельдшер Крист был не заведующим приемным покоем, то была вольнонаемная должность. Заведующим был неизвестно кто — штатная ведомость была всегда ребусом, который ежемесячно решали два человека — начальник больницы и главный бухгалтер.

Всю свою сознательную жизнь Крист любил фактическую власть, а не показной почет. И в писательском деле Криста когда-то — в молодые годы — манила не слава, не известность, а сознание собственной силы и умения написать, сделать что-то новое, свое, чего никто другой сделать не может.

Юридическими хозяевами приемного покоя были дежурные врачи, но их дежурило тридцать — и преем-

ственность: приказов, текущей лагерной «политики» и прочих законов мира заключенных и их хозяев — хранилась только в памяти Криста. Вопросы эти тонки, не всякому доступны. Но они требуют внимания и выполнения, и дежурные врачи хорошо это понимали. Практически решение вопроса о госпитализации любого больного принадлежало Кристу. Врачи это знали, даже имели, словесные, конечно, прямые указания начальника.

Года два назад дежурный врач из заключенных отвел Криста в сторону...

— Тут девушка одна.

— Никаких девушек.

— Подожди. Я сам ее не знаю. Тут вот в чем дело.

Врач зашептал Кристу на ухо грубые и безобразные слова. Суть дела была в том, что начальник лагерного учреждения, лагерного отделения преследует свою секретаршу — «бытовичку», конечно. Лагерного мужа этой «бытовички» давно сгноили на штрафном прииске по приказу начальника. Но жить с начальником девушка не стала. И вот теперь проездом — этап везут мимо — делает попытку лечь в больницу, чтобы ускользнуть от преследования. Из центральной больницы больных не возвращают после выздоровления назад: пошлют в другое место. Может быть, туда, куда руки начальника этого не дотянутся.

— Вот что,— сказал Крист.— Ну-ка, давай эту девушку.

— Она здесь. Войди, Лида!

Невысокая белокурая девушка встала перед Кристом и смело встретила его взгляд.

Ах, сколько людей прошло в жизни перед глазами Криста. Сколько тысяч глаз понято и разгадано. Крист ошибался редко, очень редко.

— Хорошо,— сказал Крист.— Кладите ее в больницу.

Начальничек, который привез Лиду, бросился в больницу — протестовать. Но для больничных надзирателей — младший лейтенант небольшой чин. В больницу его не пустили. До полковника — начальника больницы — лейтенант так и не добрался, попал только к майору — главврачу. С трудом дождался приема, доложил свое дело. Главный врач попросил лейтенанта не учить больничных врачей, кто больной, а кто не больной. А потом —

почему лейтенанта интересует судьба его секре. Пусть попросит другую в местном лагере. И ему шлют. Словом, у главного врача нет больше вре Следующий!..

Лейтенант уехал, ругаясь, и исчез из Лидиной жи. навсегда.

Случилось так, что Лида осталась в больнице, работала кем-то в конторе, участвовала в художественной самодеятельности. Статьи ее Крист так и не узнал — никогда не интересовался статьями людей, с которыми встречался в лагере.

Больница была большая. Огромное здание в три этажа. Дважды в сутки конвой приводил «смену» обслуги из лагерной зоны — врачей, сестер, фельдшеров, санитаров, и обслуга бесшумно раздевалась в гардеробной и бесшумно растекалась по отделениям больницы, и только дойдя до места работы, превращалась в Василия Федоровича, Анну Николаевну, Катю или Петю, Ваську или Женьку, «длинного» или «рябую» — в зависимости от должности — врача, сестры, санитара больничного и лица «внешней» обслуги.

Крист не ходил в лагерь при круглосуточной его работе. Иногда он и Лида видели друг друга, улыбались друг другу. Все это было два года назад. В больнице уже дважды сменились начальники всех «частей». Никто и не помнил, как положили Лиду в больницу. Помнил — только Крист. Нужно было узнать, помнит ли это и Лида.

Решение было принято, и Крист во время сбора обслуги подошел к Лиде.

Лагерь не любит сентиментальности, не любит долгих и ненужных предисловий и разъяснений, не любит всяких «подходов».

И Лида и Крист были старыми колымчанами.

— Слушай, Лида,— ты работаешь в учетной части?

— Да.

— Документы на освобождение ты печатаешь?

— Да,— сказала Лида.— Начальник печатает и сам. Но он печатает плохо, портит бланки. Все эти документы всегда печатаю я.

— Скоро ты будешь печатать мои документы.

— Поздравляю...— Лида смахнула невидимую пылинку с халата Криста.

будешь печатать старые судимости, там ведь есть графа?..

Да, есть.

– В слове «КРТД» пропусти букву «Т».

— Я поняла,— сказала Лида.

— Если начальник заметит, когда будет подписывать,— улыбнешься, скажешь, что ошиблась. Испортила бланк...

— Я знаю, что сказать...

Обслуга уже строилась на выход.

Прошло две недели, и Криста вызвали и вручили справку об освобождении без буквы «Т».

Два знакомых инженера и врач поехали вместе с Кристом в паспортный отдел, чтобы видеть, какой паспорт получит Крист. Или ему откажут, как... Документы сдавались в окошечко, ответ через четыре часа. Крист пообедал у знакомого врача без волнения. Во всех таких случаях надо уметь заставить себя обедать, ужинать, завтракать.

Через четыре часа окошечко выбросило лиловую бумажку годичного паспорта.

— Годичный? — спросил Крист, недоумевая и вкладывая в вопрос особенный свой смысл.

Из окошечка показалась выбритая военная физиономия:

— Годичный. У нас нет сейчас бланков пятилетних паспортов. Как вам положено. Хотите побыть до завтрашнего дня — паспорта привезут, мы перепишем? Или этот годовой вы через год обменяете?

— Лучше я этот через год обменяю.

— Конечно.— Окошечко захлопнулось.

Знакомые Криста были поражены. Один инженер назвал это удачей Криста, другой видел давно ожидаемое смягчение режима, ту первую ласточку, которая обязательно, обязательно сделает весну. А врач видел в этом божью волю.

. . . .

Крист не сказал Лиде ни одного слова благодарности. Да она и не ждала. За такое — не благодарят. Благодарность — неподходящее слово.

АНЕВРИЗМА АОРТЫ

Дежурство Геннадий Петрович Зайцев принял в девять часов утра, а уже в половине одиннадцатого пришел «этап» больных — женщин. Среди них была та самая больная, о которой Геннадия Петровича предупреждал Подшивалов — Екатерина Гловацкая. Темноглазая, полная, она понравилась Геннадию Петровичу, очень понравилась.

— Хороша? — спросил фельдшер, когда больных увели мыться.

— Хороша...

— Это...— и фельдшер прошептал что-то на ухо доктору Зайцеву.

— Ну и что ж, что Сенькина? — громко сказал Геннадий Петрович.— Сенькина или Венькина, а попытка — не пытка.

— Ни пуха ни пера. От всей души!

К вечеру Геннадий Петрович отправился в обход больницы. Дежурные фельдшера, зная зайцевские привычки, наливали в мензурки необычайные смеси из «тинатура абсенти» и «тинатура валериани», а то и ликер «Голубая ночь», попросту денатурированный спирт. Лицо Геннадия Петровича краснело все больше, коротко остриженные седые волосы не скрывали багровой лысины дежурного врача. До женского отделения Зайцев добрался в одиннадцать часов вечера. Женское отделение уже было заложено на железные засовы, во избежание покушения насильников-блатарей из мужских отделений. В двери был тюремный глазок, или «волчок», и кнопка электрического звонка, ведущего на вахту, в помещение охраны.

Геннадий Петрович постучал, глазок «мигнул», и загремели засовы. Дежурная ночная сестра отперла дверь. Слабости Геннадия Петровича были ей достаточно известны, и она относилась к ним со всем снисхождением арестанта к арестанту.

Геннадий Петрович прошел в процедурку, и сестра подала ему мензурку с «Голубой ночью». Геннадий Петрович выпил.

— Позови мне из сегодняшних эту... Гловацкую.

— Да ведь...— сестра укоризненно покачала головой.

— Не твое дело. Зови ее сюда...

. . . .

Катя постучала в дверь и вошла.

Дежурный врач запер дверь на задвижку.

Катя присела на край кушетки. Геннадий Петрович расстегнул ее халат, сдвинул воротник халата и зашептал:

— Я должен тебя выслушать... твое сердце... Твоя заведующая просила... Я по-французски... без стетоскопа...

Геннадий Петрович прижался волосатым ухом к теплой груди Кати. Все происходило так, как и десятки раз раньше, с другими. Лицо Геннадия Петровича побагровело, и он слышал только глухие удары собственного сердца. Он обнял Катю. Внезапно он услышал какой-то странный и очень знакомый звук. Казалось, где-то рядом мурлыкает кошка или журчит горный ручей. Геннадий Петрович был слишком врачом — ведь как-никак он был когда-то ассистентом Плетнева.

Собственное сердце билось все тише, все ровней. Геннадий Петрович вытер вспотевший лоб вафельным полотенцем и начал слушать Катю сначала. Он попросил ее раздеться, и она разделась, встревоженная его изменившимся тоном, тревогой, которая была в его голосе и глазах.

Геннадий Петрович слушал еще и еще раз — кошачье мурлыканье не умолкало.

Он походил по комнате, щелкая пальцами, и отпер задвижку. Ночная дежурная сестра, доверительно улыбаясь, вошла в комнату.

— Дайте мне историю болезни этой больной,— сказал Геннадий Петрович.— Уведите ее. Простите меня, Катя.

Геннадий Петрович взял папку с историей болезни Гловацкой и сел к столу.

— Вот видите, Василий Калиныч,— говорил начальник больницы новому парторгу на другое утро,— вы колымчанин молодой, вы всех подлостей господ каторжан не знаете. Вот почитайте, что нынче дежурный врач отхватил. Вот рапорт Зайцева.

Парторг отошел к окну и, отогнув занавеску, поймал свет, рассеянный толстым заоконным льдом, на бумагу рапорта.

— Ну?

— Это, кажется, очень опасно...

Начальник захохотал.

— Меня,— сказал он важно,— меня господин Подшивалов не проведет.

Подшивалов был заключенный, руководитель кружка художественной самодеятельности, «крепостного театра», как шутил начальник.

— При чем же?..

— А вот при чем, мой дорогой Василий Калиныч. Эта девка — Гловацкая — была в культбригаде. Артисты, ведь знаете, пользуются кое-какой свободой. Она — баба Подшивалова.

— Вот что...

— Само собой разумеется, как только это было обнаружено — ее из бригады мы турнули на штрафной женский прииск. В таких делах, Василий Калиныч, мы разлучаем любовников. Кто из них полезней и важней — оставляем у себя, а другого — на штрафной прииск...

— Это не очень справедливо. Надо бы обоих...

— Отнюдь. Ведь цель-то — разлука. Полезный человек остается в больнице. И волки сыты и овцы целы.

— Так, так...

— Слушайте дальше. Гловацкая уехала на штрафной, а через месяц ее привозят бледную, больную — они ведь там знают, какую глотнуть белену, и кладут в больницу. Я утром узнаю — велю выписать к черту. Ее увозят. Через три дня привозят снова. Тут мне сказали, что она великая мастерица вышиванья — они ведь в Западной Украине все мастерицы — моя жена попросила на недельку положить Гловацкую — жена готовит мне какой-то сюрприз ко дню рождения — вышивку, что ли, я не знаю что...

Словом, я вызываю Подшивалова и говорю ему: если ты даешь мне слово не пытаться видеться с Гловацкой — положу ее на неделю. Подшивалов клянется и благодарит.

— И что же? Виделись они?

— Нет, не виделись. Но он сейчас действует через подставных лиц. Вот Зайцев — слов нет, врач неплохой. Даже знаменитый в прошлом. Сейчас настаивает, рапорт написан: «У Гловацкой аневризма аорты». А все

находили невроз сердца, стенокардию. Присылали со штрафного с пороком сердца, с фальшивкой — наши врачи разоблачили сразу. Зайцев, изволишь видеть, пишет, что «каждое неосторожное движение Гловацкой может вызвать смертельный исход». Видал, как заряжают!

— Да-а,— сказал парторг,— только ведь еще терапевты есть, дали бы другим.

Другим терапевтам начальник показывал Гловацкую и раньше, до зайцевского рапорта. Все они послушно признали ее здоровой — начальник приказал выписать ее.

В кабинет постучали. Вошел Зайцев.

— Вы бы хоть волосы пригладили перед тем, как войти к начальнику.

— Хорошо,— ответил Зайцев, поправляя свои волосы.— Я к вам, гражданин начальник, по важному делу. Отправляют Гловацкую. У ней аневризма аорты, тяжелая. Любое движение...

— Вон отсюда! — заорал начальник.— До чего дошли, подлецы! В кабинет являются...

Катя собрала вещи после традиционного неторопливого обыска, сложила их в мешок, встала в ряды «этапа». Конвойный выкликнул ее фамилию, она сделала несколько шагов, и огромная больничная дверь вытолкнула ее наружу. Грузовик, накрытый брезентом, стоял у больничного крыльца. Задняя крышка была откинута. Стоявшая в кузове машины медицинская сестра протянула Кате руку. Из густого морозного тумана выступил Подшивалов. Он помахал Кате рукавицей, Катя улыбнулась ему спокойно и весело, протянула медсестре руку и прыгнула в машину.

Тотчас же в груди Кати стало горячо до жжения, и, теряя сознание, она увидела в последний раз перекошенное страхом лицо Подшивалова и обледенелые больничные окна.

— Несите ее в приемный покой,— распорядился дежурный врач.

— Правильней ее нести в морг,— сказал Зайцев.

КУСОК МЯСА

Да, Голубев принес эту кровавую жертву. Кусок мяса вырезан из его тела и брошен к ногам всемогущего бога лагерей. Чтобы умилостивить бога. Умилостивить или обмануть? Жизнь повторяет шекспировские сюжеты чаще, чем мы думаем. Разве леди Макбет, Ричард III, король Клавдий — только средневековая даль? Разве Шейлок, который хотел вырезать из тела венецианского купца фунт живого человеческого мяса — разве Шейлок сказка? Конечно, червеобразный отросток слепой кишки, рудиментарный орган, весит меньше фунта. Конечно, кровавая жертва приносилась с соблюдением полной стерильности. И все же... Рудиментарный орган оказался вовсе не рудиментарным, а нужным, действующим, спасающим жизнь...

Конец года наполняет жизнь заключенных тревогой. Все, кто держится за свои места нетвердо (а кто из арестантов уверен, что держится твердо?) — разумеется, из пятьдесят восьмой статьи, завоевавшие после многолетней работы в забое, в голоде и холоде, призрачное, неуверенное счастье нескольких месяцев, нескольких недель на работе по специальности или любым «придурком» — бухгалтером, фельдшером, врачом, лаборантом — все, кто пробился на должности, кои положено занимать вольнонаемным (а вольнонаемных нет) или «бытовикам» — а «бытовики» мало ценят эти «привилегированные» работы, ибо могут устроиться на такую работу всегда, а потому пьянствуют и кое-что похуже.

На штатных должностях работает пятьдесят восьмая, и работает хорошо. Отлично. И безнадежно. Ибо приедет комиссия, найдет и снимет с работы, да и начальнику выговор даст. И начальник не хочет портить отношений с этой высокой комиссией и заранее убирает всех, кому не положено быть на этих «привилегированных» должностях.

Хороший начальник ждет приезда комиссии. Пусть комиссия поработает сама — кого ей удастся снять, снимет и увезет. Недолго увезти, а кого не снимет, тот останется, останется надолго — на год, до следующего декабря. Или самое малое на полгода. Начальник похуже, поглупей, самолично снимает, не ожидая приезда комиссии, чтобы рапортовать, что все в порядке.

Начальник самый плохой и менее всех опытный выполняет честно приказы высшего начальства и не допускает пятьдесят восьмую статью ни к каким работам, кроме кайла и тачки, пилы и топора.

У этого начальника дело идет всего хуже. Таких начальников быстро снимают.

Вот эти наезды-налеты комиссий бывают всегда к концу года — у высшего начальства свои недоделки по части контроля, и к концу года эти недоделки старается высшее начальство устранить. И посылает комиссии. А кто и едет сам. Сам. И командировочные идут, и «точки» не остались без личного надзора — есть где галочку об исполнении поставить, да просто промяться, прокатиться, а то и показать свой нрав, свою силу, свою величину.

Все это известно и заключенным, и начальникам — от маленьких до самых высших, с крупными звездами на погонах. Игра эта не новая, обряд хорошо знакомый. И все же волнующий, опасный и неотвратимый.

Приезд этот декабрьский может «переломить» судьбу многим и быстро свести в могилу вчерашних счастливцев.

Никаких перемен к лучшему ни для кого в лагере после таких приездов не бывает. Заключенные, особенно пятьдесят восьмая статья, ничего от таких приездов хорошего не ждут. Ждут только плохого.

Еще со вчерашнего вечера поползли слухи, лагерные «параши», те самые «параши», которые всегда сбываются. Приехало, говорят, какое-то начальство, с целой машиной «бойцов» и тюремным автобусом, «черным вороном», чтобы везти свою добычу в каторжные лагеря. Засуетилось местное начальство, большие стали казаться малыми рядом с хозяевами жизни и смерти — какими-то незнакомыми капитанами, майорами и подполковниками. Подполковники прятались где-то в глубине кабинетов. Капитаны и майоры бегали по двору с какими-то списками, и в этих списках наверняка была фамилия Голубева. Голубев это чувствовал, знал. Но еще ничего не объявляли, никого не вызывали. Еще никого в зоне не «списывали».

С полгода назад, во время очередного приезда в поселок «черного ворона» и очередной охоты на людей, Голубев, которого тогда не было в списках, стоял около вахты рядом с заключенным-хирургом. Хирург работал

в больничке не только хирургом, а лечил от всех болезней.

Очередную партию пойманных, изловленных, разоблаченных арестантов заталкивали в «черный ворон». Хирург прощался со своим другом — того увозили.

А Голубев стоял рядом с хирургом. И когда машина уползла, поднимая облака пыли, и скрылась в горном ущелье, хирург сказал, глядя в глаза Голубева, сказал про своего друга, уехавшего на смерть: «Сам виноват. Приступ острого аппендицита — и остался бы здесь».

Голубев хорошо запомнил эти слова. Запомнил не мысль, не суждение. Это было зрительное воспоминание: твердые глаза хирурга, мощные облака пыли...

— Тебя ищет нарядчик,— подбежал кто-то, и Голубев увидел нарядчика.

— Собирайся! — В руках нарядчика была бумажка-список. Список был небольшой.

— Сейчас,— сказал Голубев.

— На вахту придешь.

Но Голубев не пошел на вахту. Держась обеими руками за правую половину живота, он застонал, заковылял в сторону санчасти.

На крыльцо вышел хирург, тот самый хирург, и что-то отразилось в его глазах, какое-то воспоминание. Может быть, пыльное облако, скрывающее автомашину, увозившую навсегда друга-хирурга.

Осмотр был недолог.

— В больницу. И вызывайте операционную сестру. Ассистировать вызывайте врача с вольного поселка. Срочная операция.

В больнице, километрах в двух от зоны, Голубева раздели, вымыли, записали.

Два санитара ввели и посадили Голубева на операционный стол. Привязали его к столу холщовыми лентами.

— Сейчас будет укол,— услышал он голос хирурга.— Но ты, кажется, парень храбрый.

Голубев молчал.

— Отвечай! Сестра, поговорите с больным.

— Больно?

— Больно.

— Так всегда с местной анестезией,— слышал Голубев голос хирурга, объясняющий что-то ассистенту.— Одни слова, что обезболивание. Вот он...

— Еще потерпи!

Голубев дернулся всем телом от острой боли, но боль почти мгновенно перестала быть острой. Хирурги что-то заговорили наперебой, весело, громко. Операция шла к концу.

— Ну, удалили твой аппендикс. Сестра, покажите больному его мясо. Видишь? — Сестра поднесла к лицу Голубева змееобразный кусочек кишки размером с полкарандаша.

— Инструкция требует показать больному, что разрез сделан недаром, что отросток действительно удален,— объяснял хирург вольнонаемному своему ассистенту.— Вот для вас и практика небольшая.

— Я вам очень благодарен,— сказал вольнонаемный врач,— за урок.

— За урок гуманности, за урок человеколюбия,— туманно выразился хирург, снимая перчатки.

— Если что-нибудь такое — вы меня обязательно вызывайте,— сказал вольнонаемный врач.

— Если что-нибудь такое — обязательно вызову,— сказал хирург.

Санитары, выздоравливающие больные в чиненых белых халатах, внесли Голубева в больничную палату. Палата была маленькая, послеоперационная, но операций в больничке было немного, и сейчас там лежали вовсе не хирургические больные. Голубев лежал на спине, бережно касаясь бинта, замотанного наподобие набедренной повязки индийских факиров, каких-то йогов. Такие рисунки Голубев видел в журналах своего детства, а после чуть не целую жизнь не знал — есть такие факиры или йоги в действительности или их нет. Но мысль об йогах скользнула в мозгу и исчезла. Волевое напряжение, нервное напряжение спадало, и приятное чувство исполненного долга переполняло тело Голубева. Каждая клетка его тела пела, мурлыкала что-то хорошее. Это была передышка в несколько дней. От отправки в каторжную неизвестность Голубев пока избавлен. Это — отсрочка. Сколько дней заживает рана? Семь-восемь. Значит, через две недели снова опасность. Две недели — срок очень далекий, тысячелетний, достаточный для того, чтобы приготовиться к новым испытаниям. Да ведь срок заживления раны — семь-восемь дней по учебнику и первичным протяжениям, как сказали врачи. А если рана загноится? Если наклейка, закрывающая

рану, отстанет от кожи раньше времени? Голубев бережно прощупал наклейку, твердую, уже подсыхающую, пропитанную гуммиарабиком марлю. Прощупал сквозь бинт. Да... Это — запасной выход, резерв, еще несколько дней, а то и месяцев. Если понадобится. Голубев вспомнил большую приисковую палату, где он лежал с год назад. Там чуть не все больные ночью отматывали свои повязки, подсыпали спасительную грязь, настоящую грязь с пола, расцарапывали, растравляли раны. Тогда эти ночные перевязки у Голубева — новичка — вызывали удивление, чуть не презрение. Но год прошел, и поступки больных стали Голубеву понятны, вызывая чуть не зависть. Теперь он может воспользоваться тогдашним опытом. Голубев заснул и проснулся оттого, что чья-то рука отогнула одеяло с лица Голубева. Голубев всегда спал по-лагерному, укрываясь с головой, стараясь прежде всего согреть, защитить голову. Над Голубевым склонилось чье-то очень красивое лицо — с усиками и прической под польку или под бокс. Словом, голова была вовсе не арестантская, и Голубев, открыв глаза, подумал, что это — воспоминание вроде йогов или сон — может быть, страшный сон, а может быть, и не страшный..

— Фраерюга,— прохрипел разочарованно человек, закрывая лицо Голубева одеялом.— Фраерюга. Нет людей.

Но Голубев, отогнув одеяло бессильными своими пальцами, поглядел на человека. Этот человек знал Голубева, и Голубев знал его. Бесспорно. Но не торопиться, не торопиться узнавать. Нужно хорошо вспомнить. Вспомнить все. И Голубев вспомнил. Человек с прической под бокс был... Вот человек снимет у окна рубашку сейчас, и Голубев увидит на его груди клубок переплетающихся змей. Человек повернулся, и клубок переплетающихся змей явился перед глазами Голубева. Это был Кононенко, блатарь, с которым Голубев был вместе на пересылке несколько месяцев назад, многосрочник-убийца, видный блатарь, который несколько лет уже «тормозился» в больницах и следственных тюрьмах. Как только приходил срок выписки, Кононенко убивал на пересылке кого-нибудь, все равно кого, любого «фрайера» — душил полотенцем. Полотенце, казенное полотенце было любимым орудием убийства у Кононенко, его авторским почерком. Его арестовывали, заводили новое дело, снова судили, добавляли новый двадцатипятилетний срок ко

многим сотням лет, уже числящимся за Кононенко. После суда Кононенко старался попасть в больницу «отдохнуть», потом снова убивал, и все начиналось сначала. Расстрелы блатарей были тогда отменены. Расстреливать можно было только «врагов народа», по пятьдесят восьмой.

Сейчас Кононенко в больнице — размышлял Голубев спокойно,— а каждая клетка тела радостно пела и ничего не боялась, веря в удачу. Сейчас Кононенко в больнице. Проходит больничный «цикл» зловещих своих превращений. Завтра, а может быть, послезавтра по известной программе Кононенко — очередное убийство. Не напрасны ли все стремления Голубева — операция, страшное напряжение воли. Вот его, Голубева, и придушит Кононенко как очередную свою жертву. Может быть, не нужно было и уклоняться от отправки в каторжные лагеря, где прикрепляют «бубновый туз» — прикрепляют пятизначный номер на спине и дают полосатую одежду. Но зато там не бьют, не растаскивают «жиры». Зато там нет многочисленных Кононенок.

Койка Голубева была у окна. Напротив него лежал Кононенко. А у двери, ногами в ноги Кононенко, лежал третий. И лицо этого третьего Голубев видел хорошо, ему не надо было поворачиваться, чтобы увидеть это лицо. И этого больного Голубев знал. Это был Подосенов, вечный больничный житель.

Открылась дверь, вошел фельдшер с лекарствами.

— Казаков! — крикнул он.

— Здесь! — крикнул Кононенко, вставая.

— Тебе ксива,— и передал сложенную в несколько раз бумажку.

— Казаков? — билось в мозгу Голубева неостановимо. Но ведь это не Казаков, а Кононенко. И внезапно Голубев понял, и на теле его выступил холодный пот.

Все оказалось гораздо хуже. Никто из трех не ошибался. Это был Кононенко — «сухарь», как говорят блатные, принявший не себя чужое имя и под чужим именем, именем Казакова, со статьями Казакова, «сменщиком» положен в больницу. Это еще хуже, еще опасней. Если Кононенко только Кононенко, его жертвой может быть Голубев, а может и не Голубев. Тут есть еще выбор, случайность, возможность спасения. Но если Кононенко — Казаков,— тогда для Голубева нет спасения. Если только Кононенко заподозрит — Голубев умрет.

— Ты что, встречал меня раньше? Что ты на меня смотришь, как удав на кролика? Или кролик на удава? Как это правильно говорится по-вашему, по-ученому?

Кононенко сидел на табуретке перед койкой Голубева и крошил бумажку-ксиву своими жесткими крупными пальцами, рассыпая бумажные крошки по одеялу Голубева.

— Нет, не встречал,— прохрипел Голубев, бледнея.

— Ну, вот и хорошо, что не встречал,— сказал Кононенко, снимая полотенце с гвоздя, вбитого в стену над койкой и встряхивая полотенцем перед лицом Голубева.— Я еще вчера собрался удавить вон этого «доктора»,— он кивнул на Подосенова, и на лице того изобразился безмерный ужас.— Ведь что, подлец, делает,— весело говорил Кононенко, указывая полотенцем в сторону Подосенова.— В мочу — вон баночка стоит под койкой — подбалтывает собственную кровь... Оцарапает палец и каплю крови добавляет в мочу. Грамотный. Не хуже докторов. Заключительный лабораторный анализ — в моче кровь. Наш «доктор» остается. Ну, скажи, достоин такой человек жить на свете или нет?

— Не знаю,— сказал Голубев.

— Не знаешь? Знаешь. А вчера — тебя принесли. Ты со мной на пересылке был, не так ли? До моего тогдашнего суда. Тогда я шел как Кононенко...

— В глаза я тебя не видел,— сказал Голубев.

— Нет, видел. Вот я и решил. Чем «доктора» — тебя сделаю начисто. Чем он виноват? — Кононенко показал на бледное лицо Подосенова, к которому медленно-медленно приливала, возвращаясь обратно, кровь.— Чем он виноват, он свою жизнь спасает. Как ты. Или, например, я...

Кононенко ходил по палате, пересыпая с ладони на ладонь бумажные крошки полученной записки.

— И сделал бы тебя, отправил бы на луну, и рука бы не дрогнула. Да вот фельдшер ксиву принес, понимаешь... Мне надо отсюда быстро выбираться. Суки наших режут на прииске. Всех воров, что в больнице, вызвали на помощь. Ты жизни нашей не знаешь... Ты, фраерюга!

Голубев молчал. Он знал эту жизнь. Как фрайер, конечно, со стороны.

После обеда Кононенко выписали, и он ушел из жизни Голубева навсегда.

Пока третья койка пустовала, Подосенов успел пере-

браться на край койки Голубева, уселся ему в ноги — и зашептал:

— Казаков обязательно нас удавит, обоих удавит. Надо сказать начальству...

— Пошел ты к такой-то матери,— сказал Голубев.

МОЙ ПРОЦЕСС

Нашу бригаду посетил сам ФЕДОРОВ. Как всегда при подходе начальства, колеса тачек закрутились быстрее, удары кайл стали чаще, громче. Впрочем, немного быстрее, немного громче — тут работали старые лагерные волки — им было плевать на всякое начальство, да и сил не было. Убыстрение темпа работы было лишь трусливой данью традиции, а возможно, и уважением к своему бригадиру — того обвинили бы в заговоре, сняли бы с работы, судили, если бы бригада остановила работу. Бессильное желание найти повод для отдыха было бы понято как демонстрация, как протест. Колеса тачек вертелись быстрее, но больше из вежливости, чем из страха.

ФЕДОРОВ, чье имя повторялось десятками опаленных, потрескавшихся от ветра и голода губ — был уполномоченным райотдела на прииске. Он приближался к забою, где работала наша бригада.

. . . .

Мало есть зрелищ, столь же выразительных, как поставленные рядом краснорожие от спирта, раскормленные, грузные, отяжелевшие от жира фигуры лагерного начальства в блестящих, как солнце, новеньких, вонючих овчинных полушубках, в меховых расписных якутских малахаях и рукавицах-«крагах» с ярким узором — и фигуры «доходяг», оборванных «фитилей» с «дымящимися» клочками ваты изношенных телогреек, «доходяг» с одинаковыми грязными костистыми лицами и голодным блеском ввалившихся глаз. Композиции такого именно рода были ежедневны, ежечасны — и в «этапных» вагонах «Москва — Владивосток», и в рваных лагерных палатках из простого брезента, где зимовали на полюсе холода заключенные, не раздеваясь,

не моясь, где волосы примерзали к стенам палатки и где согреться было нельзя. Крыши палаток были прорваны — камни во время близких взрывов в забоях попадали в палатку, а один большой камень так и остался в палатке навсегда — на нем сидели, ели, делили хлеб...

ФЕДОРОВ двигался не спеша по забою. С ним шли и еще люди в полушубках — кем они были, мне не было дано знать.

Время было весеннее, неприятное время, когда ледяная вода выступала везде, а летних резиновых чуней еще не выдавали. На ногах у всех была зимняя обувь — матерчатые «бурки» из старых стеганых ватных брюк с подошвой из того же материала — промокавшие в первые десять минут работы. Пальцы ног, отмороженные, кровоточащие, стыли нестерпимо. В чунях первые недели было не лучше — резина легко передавала холод вечной мерзлоты, и от ноющей боли некуда было деться.

ФЕДОРОВ прошелся по забою, что-то спросил, и наш бригадир, почтительно изогнувшись, доложил что-то. ФЕДОРОВ зевнул, и его золотые, хорошо починенные зубы отразили солнечные лучи. Солнце было уже высоко — надо думать, что ФЕДОРОВ предпринял прогулку после *ночной работы*. Он снова спросил что-то.

Бригадир кликнул меня — я только что прикатил пустую тачку — с полным фасоном бывалого тачечника — ручки тачки поставлены вверх, чтоб отдыхали руки, перевернутая тачка колесом вперед — и подошел к начальству.

— Ты и есть Шаламов? — спросил ФЕДОРОВ.

Вечером меня арестовали.

Выдавали летнее обмундирование — гимнастерку, бумажные брюки, портянки, чуни — был один из важных дней года в жизни заключенного. В другой, еще более важный осенний день выдавали зимнюю одежду. Выдавали какую придется — подгонка по «номерам» и «ростам» шла уже в бараке, позже.

Подошла моя очередь, и завхоз сказал:

— Тебя Федоров вызывает. Придешь от него — получишь...

Тогда я не понял настоящего смысла завхозовых слов.

Какой-то неведомый штатский отвел меня на окраину

поселка, где стоял крошечный домик уполномоченного райотдела.

Я сидел в сумерках перед темными окнами избы Федорова, жевал прошлогоднюю соломинку и ни о чем не думал. У завалинки избы была добротная скамейка, но заключенным не полагалось садиться на скамейки начальства. Я поглаживал и почесывал под телогрейкой свою сухую, как пергамент, потрескавшуюся, грязную кожу и улыбался. Что-то обязательно хорошее ждало меня впереди. Удивительное чувство облегчения, почти счастья, охватило меня. Не надо было завтра и послезавтра идти на работу, не надо было махать кайлом, бить этот проклятый камень, когда от каждого удара вздрагивают тонкие, как бечева, мускулы.

Я знал, что всегда рискую получить новый срок. Лагерные традиции на сей счет мне были хорошо известны. В 1938 году, в грозном колымском году, «пришивали дела» в первую очередь тем, кто имел маленький срок, кто кончал срок. Так делали всегда. А сюда, в штрафную зону на Джелгалу, я приехал «пересидчиком». Мой срок кончился в январе сорок второго года, но я освобожден не был, а «оставлен в лагерях до окончания войны», как тысячи, десятки тысяч других. До конца войны! День было прожить трудно, не то что год. Все «пересидчики» становились объектом особенно пристального внимания следственных властей. «Дело» мне усиленно «клеили» и на Аркагале, откуда я приехал на Джелгалу. Однако не склеили. Добились только перевода в штрафную зону, что, конечно, само по себе было зловещим признаком. Но зачем мучить себя мыслями о том, чего я не могу исправить?

Я знал, конечно, что нужно быть сугубо осторожным в разговорах, в поведении: ведь я не фаталист. И все же — что меняется оттого, что я все знаю, все предвижу? Всю жизнь свою я не могу заставить себя называть подлеца честным человеком. И думаю, что лучше совсем не жить, если нельзя говорить с людьми вовсе или говорить противоположное тому, что думаешь.

Что толку в *человеческом опыте?* — говорил я себе, сидя на земле под темным окном Федорова. Что толку знать, чувствовать, догадываться, что этот человек — доносчик, стукач, а тот — подлец, а вот тот — мстительный трус? Что мне выгоднее, полезнее, спасительнее вести с ними дружбу, а не вражду. Или, по крайней мере,— помалкивать. Надо только лгать — и им, и самому себе, и

это — невыносимо трудно, гораздо труднее, чем говорить правду. Что толку, если своего характера, своего поведения я изменить не могу? Зачем же мне этот проклятый «опыт»?

Свет в комнате зажегся, занавеска задернулась, дверь избы распахнулась, и дневальный с порога помахал мне рукой, приглашая войти.

Всю малюсенькую, низенькую комнату — служебный кабинет уполномоченного райотдела занимал огромный письменный стол со множеством ящиков, заваленный папками, карандашами, тетрадями. Кроме стола, в эту комнату с трудом вмещалось два самодельных стула. На одном, крашеном, сидел Федоров. Второй, некрашеный, залоснившийся от сотен арестантских задов, предназначался для меня.

Федоров указал мне на стул, зашелестел бумагами, и «дело» началось...

Судьбу заключенного в лагере «ломают», то есть могут изменить три причины: тяжелая болезнь, новый срок или какая-нибудь необычайность. Необычайности, случайности не так уж мало в нашей жизни.

Слабея с каждым днем в забоях Джелгалы, я надеялся, что попаду в больницу и там я умру, или поправлюсь, или меня отправят куда-нибудь. Я падал от усталости, от слабости и передвигался, шаркая ногами по земле,— незначительная неровность, камешек, тонкое бревнышко на пути были непреодолимы. Но каждый раз на амбулаторных приемах врач наливал мне в жестяной черпачок порцию раствора марганцовки и хрипел, не глядя мне в глаза: «Следующий!» Марганцовку давали внутрь от дизентерии, смазывали ею отморожения, раны, ожоги. Марганцовка была универсальным и уникальным лечебным средством в лагере. Освобождения от работы мне не давали ни разу — простодушный санитар объяснял, что «лимит исчерпан». Контрольные цифры по группе «В» — «временно освобожденных от работы» действительно имелись для каждого лагпункта, для каждой амбулатории. «Завысить» лимит никому не хотелось — слишком мягкосердечным врачам и фельдшерам из заключенных грозили общие работы. План был Молохом, который требовал человеческих жертв.

Зимой Джелгалу посетило большое начальство. Приехал Драбкин, начальник колымских лагерей.

— Вы знаете, кто я? Я — тот, который главнее всех,— Драбкин был молодой, недавно назначенный.

Окруженный толпой телохранителей и местных начальников, он обошел бараки. В нашем бараке еще были люди, не утратившие интереса к беседам с высоким начальством. Драбкина спросили:

— Почему здесь держат десятки людей без приговора — тех, чей срок давно кончился?

Драбкин был вполне готов к этому вопросу:

— Разве у вас нет приговора? Разве вам не читали бумажку, что вы задержаны до конца войны? Это и есть приговор. Это значит, что вы должны находиться в лагере.

— Бессрочно?

— Не перебивайте, когда с вами говорит начальник. Освобождать вас будут по ходатайствам местного начальства. Знаете, такие характеристики? — и Драбкин сделал неопределенный жест рукой.

. . . .

А сколько было тревожной тишины за моей спиной, оборванных разговоров при приближении ОБРЕЧЕННОГО человека, сочувственных взглядов — не улыбок, конечно, не усмешек — люди нашей бригады давно отучились улыбаться. Многие в бригаде знали, что Кривицкий с Заславским «подали» на меня что-то. Многие сочувствовали мне, но боялись показать это — как бы я их не «взял по делу», если сочувствие будет слишком явным. Позже я узнал, что бывший учитель Фертюк, приглашенный Заславским в свидетели, отказался наотрез, и Заславскому пришлось выступать со своим постоянным партнером Кривицким. Два свидетельских показания — требуемый законом минимум.

. . . .

Когда потерял силы, когда ослабел — хочется драться неудержимо. Это чувство — задор ослабевшего человека — знакомо каждому заключенному, кто когда-нибудь голодал. Голодные дерутся не по-людски. Они делают разбег для удара, стараются бить плечом, укусить, дать подножку, сдавить горло... Причин, чтобы ссора возникла — бесконечное множество. Заключенного все раздражает: и начальство, и предстоящая работа, и холод, и тяжелый инструмент, и стоящий рядом товарищ. Арестант спорит с небом, с лопатой, с камнем и с тем живым, что находится рядом с ним. Малейший спор готов перерасти в кровавое сражение. Но доносов заключенные не пишут.

Доносы пишут Кривицкие и Заславские. Это тоже дух тридцать седьмого года.

«Он меня назвал дураком, а я написал, что он хотел отравить правительство. Мы сочлись! Он мне — цитату, а я ему — ссылку». Да не ссылку, а тюрьму или «высшую меру».

Мастера сих дел, Кривицкие и Заславские, частенько и сами попадают в тюрьму. Это значит, что кто-то воспользовался их собственным оружием.

В прошлом Кривицкий был заместителем министра оборонной промышленности, а Заславский — очеркистом «Известий». Заславского я бил неоднократно. За что? За то, что схитрил, что взял бревно «с вершинки» вместо «комелька», за то, что все разговоры в звене передает бригадиру или заместителю бригадира — Кривицкому. Кривицкого бить мне не приходилось — мы работали в разных звеньях, но я ненавидел его — за какую-то особую роль, которую он играл при бригадире, за постоянное безделье на работе, за вечную «японскую» улыбку на лице.

. . . .

— Как к вам относится бригадир?

— Хорошо.

— С кем у вас в бригаде плохие отношения?

— С Кривицким и Заславским.

— Почему?

Я объяснил, как мог.

— Ну, это чепуха. Так и запишем: плохо относятся Кривицкий и Заславский потому, что с ними были ссоры во время работы.

Я подписал...

Поздно ночью мы шли с конвоиром в лагерь, но не в барак, а в низенькое здание в стороне от зоны, в лагерный изолятор.

— Вещи у тебя в бараке есть?

— Нет. Все на себе.

— Тем лучше.

. . . .

Говорят, допрос — борьба двух воль: следователя и обвиняемого. Вероятно, так. Только как говорить о воле человека, который измучен постоянным голодом, холодом и тяжелой работой в течение многих лет — когда клетки

мозга иссушены, потеряли свои свойства. Влияние длительного, многолетнего голода на волю человека, на его душу — совсем другое, чем какая-либо тюремная голодовка или пытка голодом, доведенная до необходимости искусственного питания. Тут мозг человека еще не разрушен и дух его еще силен. Дух еще может командовать над телом. Если бы Димитрова готовили к суду колымские следователи, мир не знал бы Лейпцигского процесса.

. . . .

— Ну, так как же?

. . . .

— Самое главное — собери остатки разума, догадайся, пойми, узнай — заявление на тебя могли написать только Заславский с Кривицким. (По чьему требованию? По чьему плану, по какой контрольной цифре?) Взгляни, как насторожился, как заскрипел стулом следователь, едва ты назвал эти имена. Стой твердо — заяви отвод! Отвод Кривицкому и Заславскому! Победи — и ты на «свободе». Ты опять в бараке, на «свободе». Сразу кончится эта сказка, эта радость одиночества, темный уютный карцер, куда свет и воздух проникают только через дверную щель — и начнется: барак, развод на работу, кайло, тачка, серый камень, ледяная вода. Где правильная дорога? Где спасение? Где удача?

. . . .

— Ну, так как же? Хотите, я по вашему выбору вызову сюда десять свидетелей из вашей бригады. Назовите любые фамилии. Я пропущу их через свой кабинет, и все они покажут против вас. Разве не так? Ручаюсь, что так. Ведь мы с вами люди взрослые.

. . . .

Штрафные зоны отличаются музыкальностью названия: Джелгала, Золотистый... Места для штрафных зон выбираются с умом. Лагерь Джелгалы расположен на высокой горе — приисковые забои внизу, в ущелье. Это значит, что после многочасовой изнурительной работы люди будут ползти по обледенелым, вырубленным в снегу ступеням, хватаясь за обрывки обмороженного тальника, ползти вверх, выбиваясь из последних сил, таща на себе дрова — ежедневную порцию дров для отопления барака.

Это, конечно, понимал начальничек, выбравший место для штрафной зоны. Понимал он и другое: что сверху по лагерной горе можно будет скатывать, скидывать тех, кто упирается, кто не хочет или не может идти на работу, так и делали на утренних «разводах» Джелгалы. Тех, кто не шел, рослые надзиратели хватали за руки и за ноги, раскачивали и бросали вниз. Внизу ждала лошадь, запряженная в волокушу. К волокуше за ноги привязывали отказчиков и везли на место работы.

Человек оттого, может быть, и стал человеком, что был физически крепче, выносливее любого животного. Таким он и остался. Люди не умирали оттого, что их голова простучит по джелгалинским дорогам два километра. Вскачь ведь не ездят на волокуше.

Благодаря такой топографической особенности на Джелгале легко удавались так называемые «разводы без последнего» — когда арестанты стремятся сами юркнуть, скатиться вниз, не дожидаясь, когда их скинут в пропасть надзиратели. «Разводы без последнего» в других местах обычно проводились с помощью собак. Джелгалинские собаки в разводах не участвовали.

. . . .

Была весна, и сидеть в карцере было не так уж плохо. Я знал к этому времени и вырубленный в скале, в вечной мерзлоте, карцер Кадыкчана, и изолятор «Партизана», где надзиратели нарочно выдергали весь мох, служивший прокладкой между бревнами. Я знал срубленный из зимней лиственницы, обледенелый, дымящийся паром карцер прииска «Спокойный» и карцер Черного озера, где вместо пола была ледяная вода, а вместо нар — узкая скамейка. Мой арестантский опыт был велик — я мог спать и на узкой скамейке, видел сны и не падал в ледяную воду.

Лагерная этика позволяет обманывать начальство, «заряжать туфту», на работе — в замерках, в подсчетах, в качестве выполнения. В любой плотничьей работе можно словчить, обмануть. Одно только дело положено делать добросовестно — строить лагерный изолятор. Барак для начальства может быть срублен небрежно, но тюрьма для заключенных должна быть тепла, добротна. «Сами ведь сидеть будем». И хотя традиция эта культивируется блатными по преимуществу — все же рациональное зерно в таком совете есть. Но это — теория. На практике клин

и мох царствуют всюду, и лагерный изолятор — не исключение.

Карцер на Джелгале был особенного устройства — без окна, живо напоминая известные «сундуки» Бутырской тюрьмы. Щель в двери, выходящей в коридор, заменяла окно. Здесь я просидел месяц на карцерном пайке — триста граммов хлеба и кружка воды. Дважды за этот месяц дневальный изолятора совал мне миску супу.

. . . .

Закрывая лицо надушенным платком, следователь Федоров изволил беседовать со мной:

— Не хотите ли газетку — вот видите, Коминтерн распущен. Вам это будет интересно.

Нет, мне не было это интересно. Вот закурить бы.

— Уж извините. Я некурящий. Вот видите — вас обвиняют в восхвалении гитлеровского оружия.

— Что это значит?

— Ну, то, что вы одобрительно отзывались о наступлении немцев.

— Я об этом почти ничего не знаю. Я не видел газет много лет. Шесть лет.

— Ну, это не самое главное. Вот вы сказали как-то, что стахановское движение в лагере — фальшь и ложь.

В лагере было три вида пайков — «котлового довольствия» заключенных — стахановский, ударный и производственный — кроме штрафных, следственных, этапных. Пайки отличались друг от друга количеством хлеба, качеством блюд. В соседнем забое горный смотритель отмерил каждому рабочему расстояние — урок и прикрепил там папиросу из махорки. Вывезешь грунт до отметки — твоя папироса, стахановец.

— Вот как было дело,— сказал я.— Это — уродство, по-моему.

— Потом вы говорили, что Бунин — великий русский писатель.

— Он действительно великий русский писатель. За то, что я это сказал, можно дать срок?

— Можно. Это — эмигрант. Злобный эмигрант.

«Дело» шло на лад. Федоров был весел, подвижен.

— Вот видите, как мы с вами обращаемся. Ни одного грубого слова. Обратите внимание — никто вас не бьет, как в тридцать восьмом году. Никакого давления.

— А триста граммов хлеба в сутки?

— Приказ, дорогой мой, приказ. Я ничего не могу поделать. Приказ. Следственный паек.

— А камера без окна? Я ведь слепну, да и дышать нечем.

— Так уж и без окна? Не может этого быть. Откуда-нибудь свет попадает.

— Из дверной щели снизу.

— Ну вот, вот.

— Зимой бы застилало паром.

— Но сейчас ведь не зима.

— И то верно. Сейчас уж не зима.

. . . .

— Послушайте,— сказал я.— Я болен. Обессилел. Я много раз обращался в медпункт, но меня никогда не освобождали от работы.

— Напишите заявление. Это будет иметь значение для суда и следствия.

Я потянулся за ближайшей авторучкой — их множество — всяких размеров и фабричных марок — лежало на столе.

— Нет, нет, простой ручкой, пожалуйста.

— Хорошо.

Я написал: многократно обращался в амбулаторные зоны — чуть не каждый день. Писать было очень трудно — практики в этом деле у меня маловато.

Федоров разгладил бумажку.

— Не беспокойтесь. Все будет сделано по закону.

В тот же вечер замки моей камеры загремели, и дверь открылась. В углу на столике дежурного горела «колымка» — четырехлучевая бензиновая лампочка из консервной банки. Кто-то сидел у стола в полушубке, в шапке-ушанке.

— Подойди.

Я подошел. Сидевший встал. Это был доктор Мохнач, старый колымчанин, жертва тридцать седьмого года. На Колыме работал на общих работах, потом был допущен к врачебным обязанностям. Был воспитан в страхе перед начальством. У него на приемах в амбулатории зоны я бывал много раз.

— Здравствуйте, доктор.

— Здравствуй. Разденься. Дыши. Не дыши. Повернись. Нагнись. Можно одеваться.

Доктор Мохнач сел к столу, при качающемся свете «колымки» написал:

«Заключенный Шаламов В. Т. практически здоров. За время нахождения в «зоне» в амбулаторию не обращался.

Зав. амбулаторией врач Мохнач».

Этот текст мне прочли через месяц на суде.

. . . .

Следствие шло к концу, а я никак не мог уразуметь, в чем меня обвиняют. Голодное тело ныло и радовалось, что не надо работать. А вдруг меня выпустят снова в забой? Я гнал эти тревожные мысли.

. . . .

На Колыме лето наступает быстро, торопливо. В один из допросов я увидел горячее солнце, синее небо, услышал тонкий запах лиственницы. Грязный лед еще лежал в оврагах, но лето не ждало, пока растает грязный лед.

Допрос затянулся, мы что-то «уточняли», и конвойный еще не увел меня — а к избушке Федорова подводили другого человека. Этим другим человеком был мой бригадир Нестеренко. Он шагнул в мою сторону и глухо выговорил: «Был вынужден, пойми, был вынужден» — и исчез в двери федоровской избушки.

Нестеренко писал на меня заявление. Свидетелями были Заславский и Кривицкий. Но Нестеренко вряд ли когда-нибудь слышал о Бунине. И если Заславский и Кривицкий были подлецами, то Нестеренко спас меня от голодной смерти, взяв в свою бригаду. Я был там не хуже и не лучше любого другого рабочего. И не было у меня злобы против Нестеренко. Я слышал, что он в лагере третий срок, что он старый соловчанин. Он был очень опытным бригадиром — понимал не только работу, но и голодных людей — не сочувствовал, а именно понимал. Это дается далеко не каждому бригадиру. Во всех бригадах давали после ужина добавки — черпачок жидкого супа из остатков. Обычно бригадиры давали эти черпаки тем, кто лучше других поработал сегодня — такой способ рекомендовался официально лагерным начальством. Раздаче добавок придавалась публичность, чуть ли не торжественность. Добавки использовались и в производственных и в воспитательных целях. Не всегда тот, кто работал больше всех, работал лучше всех. И не всегда лучший хотел есть юшку.

В бригаде Нестеренко добавки давали с
ным — по соображению и по команде брига,
меется.

. . . .

Однажды в шурфе я выдолбил огромный камень. Мн
было явно не под силу вытащить огромный валун из шурфа. Нестеренко увидел это, молча спрыгнул в шурф, выкайлил камень и вытолкнул его наверх...

Я не хотел верить, что он написал на меня заявление. Впрочем...

. . . .

Говорили, что в прошлом году из этой же бригады ушли в трибунал два человека — Ежиков и через три месяца Исаев — бывший секретарь одного из сибирских обкомов партии. А свидетели были все те же — Кривицкий и Заславский. Я не обратил внимания на эти разговоры.

. . . .

— Вот тут подпишите. И вот тут.

Ждать пришлось недолго. Двадцатого июня двери распахнулись, и меня вывели на горячую коричневую землю, на слепящее, обжигающее солнце.

— Получай вещи — ботинки, фуражку. В Ягодное пойдешь.

— Пойдешь?

Два солдата разглядывали меня внимательно.

— Не дойдет,— сказал один.— Не возьмем.

— То есть как это вы не возьмете,— сказал Федоров.— Я позвоню в опергруппу.

Солдаты эти не были настоящим конвоем, заказанным заранее, занаряженным. Два оперативника возвращались в Ягодное — восемнадцать верст тайгой — и попутно должны были доставить меня в Ягодинскую тюрьму.

— Ну, ты сам-то как? — говорил оперативник.— Дойдешь?

— Не знаю.— Я был совершенно спокоен. И торопиться мне некуда. Солнце было слишком горячим — обожгло щеки, отвыкшие от яркого света, от свежего воздуха. Я сел к дереву. Приятно было посидеть на улице, вдохнуть упругий замечательный воздух, запах зацветающего шиповника. Голова моя закружилась.

— Ну, пойдем.

ли в ярко-зеленый лес.
можешь идти быстрее?
ет.
шли бесконечное количество шагов. Ветки тальни-
лестали по моему лицу. Спотыкаясь о корни деревьев,
кое-как выбрался на поляну.

— Слушай, ты,— сказал оперативник постарше.— Нам надо в кино в Ягодное. Начало в восемь часов. В клубе. Сейчас два часа дня. У нас за лето первый выходной день. За полгода кино в первый раз.

Я молчал.

Оперативники посовещались.

— Ты отдохни,— сказал молодой. Он расстегнул сумку.— Вот тебе хлеб белый. Килограмм. Ешь, отдохни — и пойдем. Если бы не кино — черт с ним. А то кино.

Я съел хлеб, вылизал крошки с ладони, лег к ручью и осторожно напился холодной и вкусной ручьевой воды. И потерял окончательно силы. Было жарко, хотелось только спать.

— Ну? Пойдешь.

Я молчал.

Тогда они стали меня бить. Топтали меня, я кричал и прятал лицо в ладони. Впрочем, в лицо они не били — это были люди опытные.

Били меня долго, старательно. И чем больше они меня били, тем было яснее, что ускорить наше общее движение к тюрьме — нельзя.

Много часов брели мы по лесу и в сумерках вышли на трассу — шоссе, которое тянулось через всю Колыму — шоссе среди скал и болот, двухтысячекилометровая дорога, вся построенная «от тачки и кайла», без всяких механизмов.

. . . .

Я почти потерял сознание и едва двигался, когда был доставлен в ягодинский изолятор. Дверь камеры откинулась, открылась, и опытные руки дежурного дверью ВДАВИЛИ меня внутрь. Было слышно только частое дыхание людей. Минут через десять я попытался опуститься на пол и лег к столбу под нары. Еще через некоторое время ко мне подползли сидевшие в камере воры — обыскать, отнять что-нибудь, но их надежда на поживу была тщетной. Кроме вшей, у меня ничего не было. И под раздраженный рев разочарованных блатарей я заснул.

. . . .

На следующий день в три часа вызвали меня на суд.

Было очень душно. Нечем было дышать. Шесть лет я круглые сутки был на чистом воздухе, и мне было нестерпимо жарко в крошечной комнате военного трибунала. Бóльшая половина комнатушки в двенадцать квадратных метров была отдана трибуналу, сидевшему за деревянным барьером. Меньшая — подсудимым, конвою, свидетелям. Я увидел Заславского, Кривицкого и Нестеренку. Грубые некрашеные скамейки стояли вдоль стен. Два окна с частыми переплетами, по колымской моде, с мелкой ячеей, будто в березовской избе Меншикова на картине Сурикова. В такой раме использовалось битое стекло — в этом-то и была конструкторская идея, учитывающая трудную перевозку, хрупкость и многое другое — например, стеклянные консервные банки, распиленные пополам в продольном направлении. Все это, конечно, заботы об окнах квартир начальства и учреждений. В бараках заключенных никаких стекол не было.

Свет в такие окна проникал рассеянный, мутный, и на столе у председателя трибунала горела электрическая лампа без абажура.

Суд был очень коротким. Председатель зачитал краткое обвинение — по пунктам. Опросил свидетелей — подтверждают ли они свои показания на предварительном следствии. Неожиданно для меня свидетелей оказалось не трое, а четверо — изъявил желание принять участие в моем процессе некто Шайлевич. С этим свидетелем я не встречался и не говорил ни разу в своей жизни — он был из другой бригады. Это не помешало Шайлевичу быстро отбарабанить положение: Гитлер, Бунин... Я понял, что Федоров взял Шайлевича на всякий случай — если я неожиданно заявлю отвод Заславскому и Кривицкому. Но Федоров беспокоился напрасно.

— Вопросы к трибуналу есть?

— Есть. Почему с прииска Джелгала приезжает в трибунал уже третий обвиняемый по пятьдесят восьмой статье — а свидетели все одни и те же?

— Ваш вопрос не относится к делу.

Я был уверен в суровости приговора — убивать было традицией тех лет. Да еще суд в годовщину войны, 22 июня. Посовещавшись минуты три, члены трибунала — их было трое — вынесли «десять лет и пять лет поражения в правах»...

— Следующий!

В коридоре задвигались, застучали сапогами. На другой день меня перевели на пересылку. Началась не однажды испытанная мной процедура оформления нового личного дела — бесконечные отпечатки пальцев, анкеты, фотографирование. Теперь я уже назывался имярек, статья пятьдесят восемь, пункт десять, срок десять и пять поражения. Я уже не был литерником со страшной буквой «Т». Это имело значительные последствия и, может быть, спасло мне жизнь.

. . . .

Я не знал, что стало с Нестеренко, с Кривицким. Ходили разговоры, что Кривицкий умер. А Заславский вернулся в Москву, стал членом Союза писателей, хоть и не писал в жизни ничего, кроме доносов. Я видел его издали. Дело все-таки не в Заславских, не в Кривицких. Сразу после приговора я мог убить доносчиков и лжесвидетелей. Убил бы их наверняка, если б вернулся после суда на Джелгалу. Но лагерный порядок предусматривает, чтоб вновь приговоренные никогда не возвращались в тот лагерь, откуда их привезли на суд.

ЭСПЕРАНТО

Бродячий актер, актер-арестант, напомнил мне эту историю. После концерта лагерной культбригады главный актер, он же режиссер и театральный плотник, назвал фамилию Скоросеева.

Мозг мой обожгло, и я вспомнил пересылку тридцать девятого года, тифозный карантин и нас, пятерых, выдержавших, выстоявших все-все отправки, все этапы, все «выстойки» на морозе и все же пойманных лагерной сетью и выкинутых в безбрежность тайги.

Мы — пятеро — не узнали, не знали и не хотели знать друг о друге ничего, пока этап наш не дошел до того места, где нам нужно было работать и жить. Мы встретили новость этапа по-разному: один из нас сошел с ума, думая, что его ведут расстреливать, а его вели к жизни. Другой хитрил и почти перехитрил судьбу. Третий — я!— был человеком с болота, равнодушным скелетом. Четвертый —

мастер на все руки, семидесяти с лишком лет. Пятый был — «Скоросеев,— говорил он, привставая на цыпочки, чтобы заглянуть каждому в глаза.— Скоро сею... понимаете?»

Мне было все равно, а от каламбуров я был отучен навеки. Но мастер на все руки поддержал разговор:

— Кем ты работал?

— Агрономом в Наркомземе.

Начальник угольной разведки, принимавший этап, полистал «дело» Скоросеева.

— Гражданин начальник, я еще могу...

— Сторожем поставлю...

В разведке Скоросеев работал сторожем ревностно. Не отходил ни на минуту с поста — боялся, что любой оплошностью воспользуется товарищ — донесет, продаст, обратит внимание начальника. Лучше не рисковать.

Однажды целую ночь шла густая метель. Сменщик Скоросеева был галичанин Нарынский — русый военнопленный первой мировой войны, получивший срок за подготовку заговора для восстановления Австро-Венгрии и чуть-чуть гордившийся таким небывалым, редким «делом» среди туч «троцкистов» и «вредителей». Нарынский, принимая от Скоросеева дежурство, смеясь, показал, что Скоросеев даже в снег, в метель не сдвинулся со своего поста. Преданность была замечена. Скоросеев укреплялся.

В лагере пала лошадь. Это было не очень большой потерей — на Дальнем Севере лошади работают плохо. Но мясо! Мясо! Шкуру надо было снять, труп замерз в снегу. Мастеров и желающих не нашлось. Вызвался Скоросеев. Начальник удивился и обрадовался — шкура и мясо! Шкура к отчету, мясо — в котел. О Скоросееве говорил весь барак, весь поселок. Мясо, Мясо! Труп лошади затащили в баню, и Скоросеев оттаял труп, снял с него шкуру, выпотрошил. Шкура застыла на морозе и была вынесена на склад. Мяса нам есть не пришлось — в последнюю минуту начальник передумал — ведь не было ветеринара, подписи на акте не было! Труп лошади порубили на куски, составили акт и сожгли на костре в присутствии начальника и прораба.

Угля, который искала наша разведка, не находилось. Понемногу — по пять, по десять человек — стали уходить из лагеря в этапы. Вверх по горе, по таежной тропе уходили эти люди из моей жизни навсегда.

Там, где мы жили, была все-таки разведка, не прииск,

и каждый это понимал. Каждый стремился удержаться тут подольше. Каждый «тормозился» как мог. Один стал работать необычайно старательно. Другой — молиться дольше обычного. Тревога вошла в нашу жизнь.

Прибыл конвой. Из-за гор прибыл конвой. За людьми? Нет, конвой не увел, не увел никого!

Ночью в бараке был устроен обыск. У нас не было книг, не было ножей, не было химических карандашей, газет, бумаги,— что же искать?

Отбирали вольную одежду, вольную одежду — у многих вольная одежда была,— ведь в этой разведке работали и вольнонаемные, и была разведка бесконвойной. Предупреждение побегов? Выполнение приказа? Перемена режима?

Все отбиралось без всяких протоколов, без записей. Отбиралось — и все! Возмущению не было конца. Я вспомнил, как два года назад в Магадане отбирали вольную одежду у сотен этапов, у сотен тысяч людей. Десятки тысяч меховых шуб, взятых на Север, на Дальний Север, несчастными заключенными, теплых пальто, свитеров, дорогих костюмов — дорогих, чтобы дать взятку когда-нибудь — спасти свою жизнь в решительный час. Но путь спасения был отрезан в магаданской бане. Горы вольной одежды были сложены на дворе магаданской бани. Горы были выше водонапорной башни, выше банной крыши. Горы теплой одежды, горы трагедий, горы человеческих судеб, которые обрывались внезапно и резко — всех выходящих из бани обрекая на смерть. Ах, как боролись все эти люди, чтобы уберечь свое добро от блатарей, от открытого разбоя, в бараках, вагонах, транзитках. Все, что было спасено, утаено от блатарей — было отобрано государством в бане. Как просто! Это было два года назад. И вот — снова.

Вольная одежда, что просочилась на прииски, настигалась позднее. Я вспомнил, как меня разбудили ночью, в бараке обыски шли ежедневно — ежедневно уводили людей. Я сидел на нарах и курил. Новый обыск — за вольной одеждой. У меня не было вольной одежды — все оставлено было в магаданской бане. Но у товарищей моих вольная одежда была. Это были драгоценные вещи — символ иной жизни,— истлевшие, рваные, не чиненные — на починку не хватало ни времени, ни сил,— но все же родные.

Все стояли у своих мест и ждали. Следователь сидел

около лампы и писал акт, акт обыска, изъятия — как это называется на лагерном языке.

Я сидел на нарах и курил, не волнуясь, не возмущаясь. С единственным желанием, чтобы обыск кончился скорее и можно было спать. Но я увидел, как наш дневальный, по фамилии Прага, рубил топором свой собственный костюм, рвал на куски простыни, кромсал ботинки.

— Только на портянки. Только портянками отдам.

— Возьмите у него топор,— закричал следователь.

Прага бросил топор на пол. Обыск остановился. Вещи, которые рвал, резал и уничтожал Прага, были его вещами, еще собственными. Эти вещи не успели еще записать в акт. Прага, видя, что его не хватают за руки, превратил в тряпки всю свою вольную одежду на моих глазах. И на глазах следователя.

Это было год назад. И вот — снова.

Все были взволнованы, возбуждены, долго не засыпали.

— Никакой разницы между блатарями, которые нас грабят, и государством для нас нет,— сказал я. И все согласились со мной.

Сторож Скоросеев уходил на дежурство на свою смену часа на два раньше нас. Строем по два — как дозволяла таежная тропа — мы добрались до конторы злые, обиженные — наивное чувство справедливости живет в человеке очень глубоко и, может быть, неискоренимо. Казалось бы, что обижаться? Злиться? Возмущаться? Ведь это тысячный пример — этот проклятый обыск. На дне души что-то клокотало, сильнее воли, сильнее жизненного опыта. Лица арестантов были темными от гнева.

На крыльце конторы стоял сам начальник Виктор Николаевич Плуталов. У начальника было тоже темное от гнева лицо. Наша крошечная колонна остановилась перед конторой, и сейчас же меня вызвали в кабинет Плуталова.

— Так ты говоришь,— покусывая губы, посмотрел на меня Плуталов исподлобья, с трудом, неудобно усаживаясь на табуретку за письменным столом,— что государство хуже блатарей?

Я молчал. Скоросеев! Нетерпеливый человек, господин Плуталов, не замаскировал своего стукача, не подождал часа два! Или тут дело в чем-то другом?

— Мне нет дела до ваших разговоров. Но если мне доносят, или как это по-вашему? дуют?

— Дуют, гражданин начальник.

— А может быть, стучат?

— Стучат, гражданин начальник.

— Иди на работу. Ведь сами вы готовы съесть друг друга. Политики! Всемирный язык. Все понимают друг друга. Ведь я начальник — мне надо что-то делать, когда мне дуют...

Плуталов плюнул в ярости.

Прошла неделя, и с очередным этапом я уехал из разведки, из благословенной разведки, на большую шахту, где в первый же день встал вместо лошади на египетский ворот лебедки, упираясь грудью в бревно.

Скоросеев остался в разведке.

Шел концерт лагерной самодеятельности, и бродячий актер — конферансье объявлял номер, выбегал в артистическую — одну из больничных палат — поднимать дух неопытных концертантов. Концерт идет хорошо! Хорошо идет концерт,— шептал он на ухо каждому участнику. Хорошо идет концерт,— объявлял он громогласно и прохаживался по артистической, вытирал грязной какой-то тряпкой пот с горячего своего лба.

Все было как у больших, да и сам бродячий актер был на воле большим актером. Кто-то очень знакомым голосом читал на эстраде рассказ Зощенко «Лимонад». Конферансье склонился ко мне:

— Дай закурить.

— Закури.

— Вот не поверишь,— внезапно сказал конферансье,— если б не знал, кто читает, думал бы, что эта сука Скоросеев.

— Скоросеев? — Я понял, чьи интонации напомнил мне голос со сцены.

— Да. Я ведь эсперантист. Понял? Всемирный язык. Не какой-нибудь «бейзик инглиш». И срок за эсперанто. Я член московского общества эсперантистов.

— По пятьдесят восьмой — шесть? За шпионаж?

— Ясное дело.

— Десять?

— Пятнадцать.

— А Скоросеев?

— Скоросеев — заместитель председателя правления общества. Он-то всех и запродал, всем дал дела...

— Маленький такой?

— Ну да.

— А где он сейчас?

— Не знаю. Удавил бы его своей рукой. Я прошу тебя как друга,— мы были знакомы с актером часа два, не больше,— если увидишь, если встретишь, прямо бей по морде. По морде, и половина грехов тебе простится.

— Так-таки половина?

— Простится, простится.

Но чтец рассказа Зощенко «Лимонад» уже вылезал со сцены. Это был не Скоросеев, а тонкий, длинный, как великий князь из романовского рода,— барон, барон Мандель — потомок Пушкина. Я разочаровался, разглядывая потомка Пушкина, а конферансье уже выводил на сцену следующую жертву. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает...»

— Слушайте,— зашептал барон, склоняясь ко мне — разве это стихотворение? «Ветер воет, гром грохочет»? Стихи бывают не такие. Страшно подумать, что это в то самое время, в тот же самый год, день и час Блок написал «Заклятие огнем и мраком», а Белый «Золото в лазури»...

Я позавидовал счастью барона — отвлечься, убежать, спрятаться, скрыться в стихи. Я этого делать не умел.

Ничего не было забыто. И много лет прошло. Я приехал в Магадан после освобождения, пытаясь по-настоящему освободиться, переплыть это страшное море, по которому двадцать лет назад привезли меня на Колыму. И хотя я знал, как трудно будет жить в бесконечных моих скитаниях — я не хотел и часу оставаться по своей воле на проклятой колымской земле.

Денег у меня было в обрез. Попутная машина — рубль за километр — привезла меня вечером в Магадан. Белая тьма окутывала город. У меня тут есть знакомые. Должны быть. Но знакомых на Колыме ищут днем, а не ночью. Ночью никто не откроет даже на знакомый голос. Нужна крыша, нары, сон.

Я стоял на автобусном вокзале и глядел на пол, сплошь покрытый телами, вещами, мешками, ящиками. В крайнем случае... Холод только тут был как на улице, градусов пятьдесят. Железная печка не топилась, а дверь беспрестанно хлопала.

— Кажется, знакомый?

Я обрадовался даже Скоросееву в этот лютый мороз. Мы пожали друг другу руки сквозь рукавицы.

— Идем ночевать ко мне, тут у меня свой дом. Я ведь давно освободился. Выстроил в кредит. Женился даже.— Скоросеев захохотал.— Чаю попьем...

И было так холодно, что я согласился. Долго мы ползли по горам и рытвинам ночного Магадана, затянутого холодной мутно-белой мглой.

— Да, построил дом,— говорил Скоросеев, пока я курил, отдыхая,— кредит. Государственный кредит. Решил вить гнездо. Северное гнездо.

Я напился чаю. Лег и заснул. Но спал плохо, несмотря на дальний свой путь. Чем-то плохо был прожит вчерашний день.

Когда я проснулся, умылся и закурил, я понял — почему я прожил вчерашний день плохо.

— Ну, я пойду. У меня тут знакомый живет.

— Да вы оставьте чемодан. Найдете знакомых — вернетесь.

— Нет, не стоит второй раз на гору лезть.

— Жили бы у меня. Как-никак старые друзья.

— Да,— сказал я.— Прощайте.— Я застегнул полушубок, взял чемодан и уже схватился за ручку двери.— Прощайте.

— А деньги? — сказал Скоросеев.

— Какие деньги?

— А за койку, за ночевку. Ведь это же не бесплатно.

— Простите меня,— сказал я.— Я не сообразил.— Я поставил чемодан, расстегнул полушубок, нашарил в карманах деньги, заплатил и вышел в бело-желтую дневную мглу.

СПЕЦЗАКАЗ

После 1938 года Павлов получил орден и новое назначение — наркомом внутренних дел Татреспублики. Путь был показан — целые бригады стояли на рытье могил. Пеллагра и блатные, конвой и алиментарная дистрофия старались как могли. Запоздалое вмешательство медицины спасало кого могло или, вернее, что могло — спасенные люди навсегда перестали быть людьми. На

Джелгале этого времени из трех тысяч «списочного состава» на работу выходило 98 — остальные были освобождены от работы или числились в бесконечных «ОП», «ОК» или временно освобожденными.

В больших больницах было введено улучшенное питание и слова Траута «для успеха лечения больных надо кормить и мыть» пользовались большой популярностью. В больших больницах было введено диетическое питание — несколько различных «столов». Правда, в продуктах было мало разнообразия и часто «стол» от «стола» почти ничем не отличался, но все же...

Больничной администрации было разрешено для особо тяжелых больных готовить «спецзаказ» — вне больничного меню. Лимит этих «спецзаказов» был небольшим — один-два на триста больничных коек.

Горе было одно: больной, которому выписывался «спецзаказ» — блинчики, мясные котлеты или что-нибудь еще столь же сказочное — уже был в таком состоянии, что есть ничего не мог и, лизнув с ложки то или другое «блюдо», отворачивал голову в сторону в предсмертном своем изнеможении.

По традиции, доедать эти царские объедки полагалось соседу по койке или тому больному из добровольцев, который ухаживает за тяжелобольным, помогает санитару.

Это было парадоксом, антитезисом диалектической триады. Спецзаказ давался тогда, когда больной был уже не в силах есть что-либо. Принцип, единственно возможный, положенный основанием практики «спецзаказов», был таков: наиболее истощенному, самому тяжелому.

Поэтому выписка «спецзаказа» стала грозной приметой, символом приближающейся смерти. «Спецзаказов» больные боялись бы, но сознание получателей в это время было уже помрачено, и ужасались не они, а сохранившие еще рассудок и чувства обладатели «первого» стола диетической шкалы.

Каждый день перед заведующим отделением больницы стоял этот неприятный вопрос, все ответы на который выглядели нечестными,— кому сегодня выписать «спецзаказ».

Рядом со мной лежал молодой, двадцатилетний парень, умиравший от алиментарной дистрофии, которая в те годы называлась «полиавитаминозом».

«Спецзаказ» превращался в то самое блюдо, которое

может заказать себе приговоренный к смерти в день казни, последнее желание, которое администрация тюрьмы обязана исполнить.

Паренек отказывался от еды — от овсяного супа, от перлового супа, от овсяной каши, от перловой каши. Когда он отказался от манной, его перевели на «спецзаказ».

— Любое, понимаешь, Миша, любое, что хочешь, то тебе и сварят. Понял? — Врач сидел на койке больного.

Миша улыбался слабо и счастливо.

— Ну что ты хочешь? Мясной суп?

— Не-е...— помотал головой Миша.

— Котлеты мясные? Пирожки с мясом? Оладьи с вареньем?

Миша мотал головой.

— Ну, скажи сам, скажи...

Миша прохрипел что-то.

— Что? Что ты сказал?

— Галушки́.

— Галу́шки?

Миша утвердительно закивал головой и, улыбаясь, откинулся на подушку. Из подушки сыпалась сенная труха.

На следующий день сварили «галушки́».

Миша оживился, взял ложку, выловил галушку из дымящейся миски, облизал ее.

— Нет, не хочу, невкусная.

К вечеру он умер.

Второй больной со «спецзаказом» был Викторов, с подозрением на рак желудка. Ему целый месяц выписывали «спецзаказ», и больные сердились, что он не умирает — дали бы драгоценный паек кому-нибудь другому. Викторов ничего не ел и в конце концов умер. Рака у него не оказалось — было самое обыкновенное истощение — алиментарная дистрофия.

Когда инженеру Демидову — больному после операции мастоидита — выписали «спецзаказ» — он отказался:

— Я не самый тяжелый в палате.— Отказался категорически, и не потому, что «спецзаказ» был штукой страшной. Нет, Демидов считал себя не вправе брать такой паек, который мог пойти на пользу другим больным. Врачи хотели сделать добро Демидову официальным путем.

Вот что такое был «спецзаказ».

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА

От начала и конца этих событий прошло, должно быть, много времени — ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами — так велик опыт, человеческий опыт, приобретенный там. В этом признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера. В этой стране надежд, а стало быть, стране слухов, догадок, предположений, гипотез любое событие обрастает легендой раньше, чем доклад-рапорт местного начальника об этом событии успевает доставить на высоких скоростях фельдъегерь в какие-нибудь «высшие сферы».

Стали говорить: когда заезжий высокий начальник посетовал, что культработа в лагере хромает на обе ноги, культорг майор Пугачев сказал гостю:

— Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Колыма о нем заговорит.

Можно начать рассказ прямо с донесения врача-хирурга Браудэ, командированного из центральной больницы в район военных действий.

Можно начать также с письма Яшки Кученя, санитара из заключенных, лежавшего в больнице. Письмо его было написано левой рукой — правое плечо Кученя было прострелено винтовочной пулей навылет.

Или с рассказа доктора Потаниной, которая ничего не видала и ничего не слыхала и была в отъезде, когда произошли неожиданные события. Именно этот отъезд следователь определил как «ложное алиби», как преступное бездействие, или как это еще называется на юридическом языке.

Аресты тридцатых годов были арестами людей случайных. Это были жертвы ложной и страшной теории о разгорающейся классовой борьбе по мере укрепления социализма. У профессоров, партработников, военных, инженеров, крестьян, рабочих, наполнивших тюрьмы того времени до предела, не было за душой ничего положительного, кроме, может быть, личной порядочности, наивности, что ли,— словом, таких качеств, которые скорее облегчали, чем затрудняли карающую работу тогдашнего «правосудия». Отсутствие единой объединяющей идеи ослабляло моральную стойкость арестантов чрезвычайно. Они не были ни врагами власти, ни государственными преступниками, и, умирая, они так и не поняли, почему им надо

было умирать. Их самолюбию, их злобе не на что было опереться. И, разобщенные, они умирали в белой колымской пустыне — от голода, холода, многочасовой работы, побоев и болезней. Они сразу выучились не заступаться друг за друга, не поддерживать друг друга. К этому и стремилось начальство. Души оставшихся в живых подверглись полному растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами.

На смену им после войны пароход за пароходом шли репатриированные — из Италии, Франции, Германии — прямой дорогой на крайний северо-восток.

Здесь было много людей с иными навыками, с привычками, приобретенными во время войны — со смелостью, уменьем рисковать, веривших только в оружие. Командиры и солдаты, летчики и разведчики...

Администрация лагерная, привыкшая к ангельскому терпению и рабской покорности «троцкистов», нимало не беспокоилась и не ждала ничего нового.

Новички спрашивали у уцелевших «аборигенов»:

— Почему вы в столовой едите суп и кашу, а хлеб уносите в барак? Почему не есть суп с хлебом, как ест весь мир?

Улыбаясь трещинами голубого рта, показывая вырванные цингой зубы, местные жители отвечали наивным новичкам:

— Через две недели каждый из вас поймет и будет делать так же.

Как рассказать им, что они никогда еще в жизни не знали настоящего голода, голода многолетнего, ломающего волю — и нельзя бороться со страстным, охватывающим тебя желанием продлить возможно дольше процесс еды,— в бараке с кружкой горячей, безвкусной снеговой «топленой» воды доесть, дососать свою пайку хлеба в величайшем блаженстве.

Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону.

Майор Пугачев понимал кое-что и другое. Ему было ясно, что их привезли на смерть — сменить вот этих живых мертвецов. Привезли их осенью — глядя на зиму, никуда не побежишь, но летом — если и не убежать вовсе, то умереть — свободными.

И всю зиму плелась сеть этого, чуть не единственного за двадцать лет, заговора.

Пугачев понял, что пережить зиму и после этого

бежать могут только те, кто не будет работать на общих работах, в забое. После нескольких недель бригадных трудов никто не побежит никуда.

Участники заговора медленно, один за другим, продвигались в обслугу. Солдатов — стал поваром, сам Пугачев — культоргом, фельдшер, два бригадира, а былой механик Иващенко — чинил оружие в отряде охраны.

Но без конвоя их не выпускали никого «за проволоку».

Началась ослепительная колымская весна, без единого дождя, без ледохода, без пения птиц. Исчез помаленьку снег, сожженный солнцем. Там, куда лучи солнца не доставали, снег в ущельях, оврагах — так и лежал, как слитки серебряной руды — до будущего года.

И намеченный день настал.

В дверь крошечного помещения вахты — у лагерных ворот, вахты с выходом и внутрь и наружу лагеря, где, по уставу, всегда дежурят два надзирателя, постучали. Дежурный зевнул и посмотрел на часы-ходики. Было пять часов утра. «Только пять»,— подумал дежурный.

Дежурный откинул крючок и впустил стучавшего. Это был лагерный повар-заключенный Солдатов, пришедший за ключами от кладовой с продуктами. Ключи хранились на вахте, и трижды в день повар Солдатов ходил за этими ключами. Потом приносил обратно.

Надо было дежурному самому отпирать этот шкаф на кухне, но дежурный знал, что контролировать повара — безнадежное дело, никакие замки не помогут, если повар захочет украсть — и доверял ключи повару. Тем более в 5 часов утра.

Дежурный проработал на Колыме больше десятка лет, давно получал двойное жалованье и тысячи раз давал в руки поварам ключи.

— Возьми,— и дежурный взял линейку и склонился графить утреннюю рапортичку.

Солдатов зашел за спину дежурного, снял с гвоздя ключ, положил его в карман и схватил дежурного сзади за горло. В ту же минуту дверь отворилась, и на вахту в дверь со стороны лагеря вошел Иващенко, механик. Иващенко помог Солдатову задушить надзирателя и затащить его труп за шкаф. Наган надзирателя Иващенко сунул себе в карман. В то окно, что наружу, было видно, как по тропе возвращается второй дежурный. Иващенко поспешно надел шинель убитого, фуражку, застегнул ремень и сел к столу, как надзиратель. Второй дежурный открыл

дверь и шагнул в темную конуру вахты. В ту же минуту он был схвачен, задушен и брошен за шкаф.

Солдатов надел его одежду. Оружие и военная форма были уже у двоих заговорщиков. Все шло по росписи, по плану майора Пугачева. Внезапно на вахту явилась жена второго надзирателя — тоже за ключами, которые случайно унес муж.

— Бабу не будем душить,— сказал Солдатов. И ее связали, затолкали полотенце в рот и положили в угол.

Вернулась с работы одна из бригад. Такой случай был предвиден. Конвоир, вошедший на вахту, был сразу обезоружен и связан двумя «надзирателями». Винтовка попала в руки беглецов. С этой минуты командование принял майор Пугачев.

Площадка перед воротами простреливалась с двух угловых караульных вышек, где стояли часовые. Ничего особенного часовые не увидели.

Чуть раньше времени построилась на работу бригада, но кто на Севере может сказать, что рано и что поздно. Кажется, чуть раньше. А может быть, чуть позже.

Бригада — десять человек — строем по два двинулась по дороге в забои. Впереди и сзади в шести метрах от строя заключенных, как положено по уставу, шагали конвойные в шинелях, один из них с винтовкой в руках.

Часовой с караульной вышки увидел, что бригада свернула с дороги на тропу, которая проходила мимо помещения отряда охраны. Там жили бойцы конвойной службы — весь отряд в шестьдесят человек.

Спальня конвойных была в глубине, а сразу перед дверями было помещение дежурного по отряду и пирамиды с оружием. Дежурный дремал за столом и в полусне увидел, что какой-то конвоир ведет бригаду заключенных по тропе мимо окна охраны.

«Это, наверное, Черненко,— не узнавая конвоира, подумал дежурный.— Обязательно напишу на него рапорт». Дежурный был мастером склочных дел и не упустил бы возможности сделать кому-нибудь пакость на законном основании.

Это было его последней мыслью. Дверь распахнулась, в казарму вбежали три солдата. Двое бросились к дверям спальни, а третий застрелил дежурного в упор. За солдатами вбежали арестанты — все бросились к пирамиде — винтовки и автоматы были в их руках. Майор Пугачев с

силой распахнул дверь в спальню казармы. Бойцы, еще в белье, босые, кинулись было к двери, но две автоматные очереди в потолок остановили их.

— Ложись,— скомандовал Пугачев, и солдаты заползли под койки. Автоматчик остался караулить у порога.

«Бригада» не спеша стала переодеваться в военную форму, складывать продукты, запасаться оружием и патронами.

Пугачев не велел брать никаких продуктов, кроме галет и шоколада. Зато оружия и патронов было взято сколько можно.

Фельдшер повесил через плечо сумку с аптечкой первой помощи.

Беглецы почувствовали себя снова солдатами.

Перед ними была тайга — но страшнее ли она болот Стохода?

Они вышли на трассу, на шоссе Пугачев поднял руку и остановил грузовик.

— Вылезай! — он открыл дверцу кабины грузовика.

— Да я...

— Вылезай, тебе говорят.

Шофер вылез. За руль сел лейтенант танковых войск Георгадзе, рядом с ним Пугачев. Беглецы-солдаты влезли в машину, и грузовик помчался.

— Как будто здесь поворот.

Машина завернула на один из...

— Бензин весь!..

Пугачев выругался.

Они вошли в тайгу, как ныряют в воду — исчезли сразу в огромном молчаливом лесу. Справляясь с картой, они не теряли заветного пути к свободе, шагая прямиком. Через удивительный здешний бурелом.

Деревья на Севере умирали лежа, как люди. Могучие корни их были похожи на исполинские когти хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей вниз, к вечной мерзлоте, отходили тысячи мелких щупальцев-отростков. Каждое лето мерзлота чуть отступала, и в каждый вершок оттаявшей земли немедленно вползал и укреплялся там коричневый корень-щупалец.

Деревья здесь достигали зрелости в триста лет, медленно поднимая свое тяжелое, могучее тело на этих слабых корнях.

Поваленные бурей, деревья падали навзничь, головами

все в одну сторону и умирали, лежа на мягком толстом слое мха, яркого розового или зеленого цвета.

Стали устраиваться на ночь, быстро, привычно.

И только Ашот с Малининым никак не могли успокоиться.

— Что вы там? — спросил Пугачев.

— Да вот Ашот мне все доказывает, что Адама из рая на Цейлон выслали.

— Как на Цейлон?

— Так у них, магометан, говорят,— сказал Ашот.

— А ты что — татарин, что ли?

— Я не татарин, жена татарка.

— Никогда не слыхал,— сказал Пугачев, улыбаясь.

— Вот, вот, и я никогда не слыхал,— подхватил Малинин.

— Ну — спать!..

Было холодно, и майор Пугачев проснулся. Солдатов сидел, положив автомат на колени, весь — внимание. Пугачев лег на спину, отыскал глазами Полярную звезду — любимую звезду пешеходов. Созвездия здесь располагались не так, как в Европе, в России — карта звездного неба была чуть скошенной, и Большая Медведица отползала к линии горизонта. В тайге было молчаливо, строго; огромные узловатые лиственницы стояли далеко друг от друга. Лес был полон той тревожной тишины, которую знает каждый охотник. На этот раз Пугачев был не охотником, а зверем, которого выслеживают — лесная тишина для него была трижды тревожна.

Это была первая его ночь на свободе, первая вольная ночь после долгих месяцев и лет страшного крестного пути майора Пугачева. Он лежал и вспоминал — как началось то, что сейчас раскручивается перед его глазами, как остросюжетный фильм. Будто киноленту всех двенадцати жизней Пугачев собственной рукой закрутил так, что вместо медленного ежедневного вращения события замелькали со скоростью невероятной. И вот надпись — конец фильма — они на свободе. И начало борьбы, игры, жизни...

Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 1944 году. Фронт приближался к городу. Он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря, на уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую однорядную проволоку, вырывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда

по городу, в разных направлениях, брошенная машина, дорога ночами к линии фронта и встреча — допрос в особом отделе. Обвинение в шпионаже, приговор — двадцать пять лет тюрьмы.

Майор Пугачев вспомнил приезды эмиссаров Власова с его «манифестом», приезды к голодным, измученным, истерзанным русским солдатам.

— От вас ваша власть давно отказалась. Всякий пленный — изменник в глазах вашей власти,— говорили власовцы. И показывали московские газеты с приказами, речами. Пленные знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылок. Французы, американцы, англичане — пленные всех национальностей получали посылки, письма, у них были землячества, дружба; у русских — не было ничего, кроме голода и злобы на все на свете. Немудрено, что в «Русскую освободительную армию» вступало много заключенных из немецких лагерей военнопленных.

Майор Пугачев не верил власовским офицерам — до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Все, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен власти. Власть его боялась.

Потом были вагоны-теплушки с решетками и конвоем — многодневный путь на Дальний Восток, море, трюм парохода — и золотые прииски Крайнего Севера. И голодная зима.

Пугачев приподнялся и сел. Солдатов помахал ему рукой. Именно Солдатову принадлежала честь начать это дело, хоть он и был одним из последних, вовлеченных в заговор. Солдатов не струсил, не растерялся, не продал. Молодец Солдатов!

У ног его лежит летчик капитан Хрусталев, судьба которого сходна с пугачевской. Подбитый немцами самолет, плен, голод, побег — трибунал и лагерь. Вот Хрусталев повернулся боком — одна щека краснее, чем другая — належал щеку. С Хрусталевым с первым несколько месяцев назад заговорил о побеге майор Пугачев. О том, что лучше смерть, чем арестантская жизнь, что лучше умереть с оружием в руках, чем уставшим от голода и работы под прикладами, под сапогами конвойных.

И Хрусталев, и майор были людьми дела, и тот ничтожный шанс, ради которого жизнь двенадцати людей сейчас была поставлена на карту, был обсужден самым подробным образом. План был в захвате аэродрома, самолета.

Аэродромов было здесь несколько, и вот сейчас они идут к ближайшему аэродрому тайгой.

Хрусталев и был тот бригадир, за которым беглецы послали после нападения на отряд — Пугачев не хотел уходить без ближайшего друга. Вон он спит, Хрусталев, спокойно и крепко.

А рядом с ним Иващенко, оружейный мастер, чинивший револьверы и винтовки охраны. Иващенко узнал все нужное для успеха: где лежит оружие, кто и когда дежурит по отряду, где склады боепитания. Иващенко — бывший разведчик.

Крепко спят, прижавшись друг к другу, Левицкий и Игнатович — оба летчики, товарищи капитана Хрусталева.

Раскинул обе руки танкист Поляков на спины соседей — гиганта Георгадзе и лысого весельчака Ашота, фамилию которого майор сейчас вспомнить не может. Положив санитарную сумку под голову, спит Саша Малинин, лагерный, раньше военный, фельдшер, собственный фельдшер особой пугачевской группы.

Пугачев улыбнулся. Каждый, наверное, по-своему представлял себе этот побег. Но в том, что все шло ладно, в том, что все понимали друг друга с полуслова, Пугачев видел не только свою правоту. Каждый знал, что события развиваются так, как должно. Есть командир, есть цель. Уверенный командир и трудная цель. Есть оружие. Есть свобода. Можно спать спокойным солдатским сном даже в эту пустую бледно-сиреневую полярную ночь со странным бессолнечным светом, когда у деревьев нет теней.

Он обещал им свободу, они получили свободу. Он вел их на смерть — они не боялись смерти.

И никто ведь не выдал — думал Пугачев — до последнего дня. О предполагавшемся побеге знали, конечно, многие в лагере. Люди подбирались несколько месяцев. Многие, с кем Пугачев говорил откровенно — отказывались, но никто не побежал на вахту с доносом. Это обстоятельство мирило Пугачева с жизнью. Вот молодцы, вот молодцы,— шептал он и улыбался.

Поели галет, шоколаду, молча пошли. Чуть заметная тропка вела их.

— Медвежья,— сказал Селиванов, сибирский охотник.

Пугачев с Хрусталевым поднялись на перевал, к карто-

графической треноге, и стали смотреть в бинокль вниз — на две серые полосы — реку и шоссе. Река была как река, а шоссе на большом пространстве в несколько десятков километров было полно грузовиков с людьми.

— Заключенные, наверно,— предположил Хрусталев.

Пугачев вгляделся.

— Нет, это солдаты. Это за нами. Придется разделиться,— сказал Пугачев.— Восемь человек пусть ночует в стогах, а мы вчетвером пройдем по тому ущелью. К утру вернемся, если все будет хорошо.

Они, минуя подлесок, вошли в русло ручья. Пора назад.

— Смотри-ка,— слишком много, давай по ручью наверх.

Тяжело дыша, они быстро поднимались по руслу ручья, и камни летели вниз, прямо в ноги атакующим, шурша и грохоча.

Левицкий обернулся, выругался и упал. Пуля попала ему прямо в глаз.

Георгадзе остановился у большого камня, повернулся и очередью из автомата остановил поднимающихся по ущелью солдат, ненадолго — автомат его умолк, и стреляла только винтовка.

Хрусталев и майор Пугачев успели подняться много выше, на самый перевал.

— Иди один,— сказал Хрусталеву майор,— постреляю.

Он бил не спеша — каждого, кто показывался. Хрусталев вернулся, крича:

— Идут!— и упал. Из-за большого камня выбегали люди.

Пугачев рванулся, выстрелил в бегущих и кинулся с перевала плоскогорья в узкое русло ручья. На лету он уцепился за ивовую ветку, удержался и отполз в сторону. Камни, задетые им в паденье, грохотали, не долетев еще донизу.

Он шел тайгой, без дороги, пока не обессилел.

А над лесной поляной поднялось солнце, и тем, кто прятался в стогах, были хорошо видны фигуры людей в военной форме — со всех сторон поляны.

— Конец, что ли? — сказал Иващенко и толкнул Хачатуряна локтем.

— Зачем конец? — сказал Ашот, прицеливаясь. Щелкнул винтовочный выстрел, упал солдат на тропе.

Тотчас же со всех сторон открылась стрельба по стогам.

Солдаты по команде бросились по болоту к стогам, затрещали выстрелы, раздались стоны.

Атака была отбита. Несколько раненых лежали в болотных кочках.

— Санитар, ползи,— распорядился какой-то начальник.

Из больницы предусмотрительно был взят санитар из заключенных Яшка Кучень, житель Западной Белоруссии. Ни слова не говоря, арестант Кучень пополз к раненому, размахивая санитарной сумкой. Пуля, попавшая в плечо, остановила Кученя на полдороге.

Выскочил, не боясь, начальник отряда охраны — того самого отряда, который разоружили беглецы. Он кричал:

— Эй, Иващенко, Солдатов, Пугачев, сдавайтесь, вы окружены. Вам некуда деться.

— Иди, принимай оружие,— закричал Иващенко из стога.

И Бобылев, начальник охраны, побежал, хлюпая по болоту, к стогам.

Когда он пробежал половину тропы — щелкнул выстрел Иващенко — пуля попала Бобылеву прямо в лоб.

— Молодчик,— похвалил товарища Солдатов.— Начальник ведь оттого такой храбрый, что ему все равно: его за наш побег или расстреляют, или срок дадут. Ну, держись!

Отовсюду стреляли. Зататакали привезенные пулеметы.

Солдатов почувствовал, как обожгло ему обе ноги, как ткнулась в его плечо голова убитого Иващенко.

Другой стог молчал. С десяток трупов лежало в болоте.

Солдатов стрелял, пока что-то не ударило его по голове, и он потерял сознание.

Николай Сергеевич Браудэ, старший хирург большой больницы, телефонным распоряжением генерал-майора Артемьева, одного из четырех колымских генералов, начальника охраны всего Колымского лагеря, был внезапно вызван в поселок Личан вместе с «двумя фельдшерами, перевязочным материалом и инструментом» — как говорилось в телефонограмме.

Браудэ, не гадая понапрасну, быстро собрался, и полуторатонный, видавший виды больничный грузовичок двинулся в указанном направлении. На шоссе больничную

машину беспрерывно обгоняли мощные «студебеккеры», груженные вооруженными солдатами. Надо было сделать всего сорок километров, но из-за частых остановок, из-за скопления машин где-то впереди, из-за беспрерывных проверок документов Браудэ добрался до цели только через три часа.

Генерал-майор Артемьев ждал хирурга в квартире местного начальника лагеря. И Браудэ, и Артемьев были старые колымчане, и судьба их сводила вместе уже не в первый раз.

— Что тут, война, что ли? — спросил Браудэ у генерала, когда они поздоровались.

— Война не война, а в первом сражении двадцать восемь убитых. А раненых посмотрите сами.

И пока Браудэ умывался из рукомойника, привешенного у двери, генерал рассказал ему о побеге.

— А вы,— сказал Браудэ, закуривая,— вызвали бы самолеты, что ли? Две-три эскадрильи, и бомбили, бомбили... Или прямо атомной бомбой.

— Вам все смешки,— сказал генерал-майор.— А я без всяких шуток жду приказа. Да еще хорошо — уволят из охраны, а то ведь с преданием суду. Всякое бывало.

Да, Браудэ знал, что всякое бывало. Несколько лет назад три тысячи человек были посланы зимой пешком в один из портов, где склады на берегу были уничтожены бурей. Пока «этап» шел, из трех тысяч человек в живых осталось человек триста. И заместитель начальника управления, подписавший распоряжение о выходе «этапа», был принесен в жертву и отдан под суд.

Браудэ с фельдшерами до вечера извлекал пули, ампутировал, перевязывал. Раненые были только солдаты охраны — ни одного беглеца среди них не было.

На другой день к вечеру привезли опять раненых. Окруженные офицерами охраны, два солдата принесли носилки с первым и единственным беглецом, которого увидел Браудэ. Беглец был в военной форме и отличался от солдат только небритостью. У него были огнестрельные переломы обеих голеней, огнестрельный перелом левого плеча, рана головы с повреждением теменной кости. Беглец был без сознания.

Браудэ оказал ему первую помощь и, по приказу Артемьева, вместе с конвоирами повез раненого к себе в большую больницу, где были надлежащие условия для серьезной операции.

Все было кончено. Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом — там были сложены тела убитых беглецов. И рядом — вторая машина с телами убитых солдат.

Можно было распустить армию по домам после этой победы, но еще много дней грузовики с солдатами разъезжали взад и вперед по всем участкам двухтысячекилометрового шоссе.

Двенадцатого — майора Пугачева — не было.

Солдатова долго лечили и вылечили — чтобы расстрелять. Впрочем, это был единственный смертный приговор из шестидесяти — такое количество друзей и знакомых беглецов угодило «под трибунал». Начальник местного лагеря получил десять лет. Начальница санитарной части доктор Потанина по суду была оправдана; и едва закончился процесс, она переменила место работы. Генерал-майор Артемьев как в воду глядел — он был снят с работы, уволен со службы в охране.

. . . .

Пугачев с трудом сполз в узкую горловину пещеры — это была медвежья берлога, зимняя квартира зверя, который давно уже вышел и бродит по тайге. На стенах пещеры и на камнях ее дна попадались медвежьи волоски.

«Вот как скоро все кончилось,— думал Пугачев.— Приведут собак и найдут. И возьмут».

И, лежа в пещере, он вспомнил свою жизнь — трудную мужскую жизнь, жизнь, которая кончается сейчас на медвежьей таежной тропе. Вспомнил людей — всех, кого он уважал и любил, начиная с собственной матери. Вспомнил школьную учительницу Марию Ивановну, которая ходила в какой-то ватной кофте, покрытой порыжевшим вытертым черным бархатом. И много, много людей еще, с кем сводила его судьба, припомнил он.

Но лучше всех, достойнее всех были его одиннадцать умерших товарищей. Никто из тех, других людей его жизни — не перенес так много разочарований, обмана, лжи. И в этом северном аду они нашли в себе силы поверить в него, Пугачева, и протянуть руки к свободе. И в бою умереть. Да, это были лучшие люди его жизни.

Пугачев сорвал бруснику, которая кустилась на камне у самого входа в пещеру. Сизая, морщинистая, прошлогодняя ягода лопнула в пальцах у него, и он облизал пальцы.

Перезревшая ягода была безвкусна, как снеговая вода. Ягодная кожица пристала к иссохшему языку.

Да, это были лучшие люди. И Ашота фамилию он знал теперь — Хачатурян.

Майор Пугачев припомнил их всех — одного за другим — и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил.

НАЧАЛЬНИК БОЛЬНИЦЫ

— Подожди, ты еще подзайдешь, подзасекнешься,— по-блатному грозил мне начальник больницы, доктор Доктор — одна из самых зловещих фигур Колымы...— Встань как полагается.

Я стоял «как полагается», но был спокоен. Обученного фельдшера с дипломом не бросят на растерзание любому зверю, не выдадут доктору Доктору — шел сорок седьмой, а не тридцать седьмой, и я, видевший кое-что такое, что доктор Доктор и придумать не может, был спокоен и ждал одного — пока начальник удалится. Я был старшим фельдшером хирургического отделения.

Травля началась недавно, после того, как доктор Доктор обнаружил в моем личном деле судимость по литеру «КРТД», а доктор Доктор был чекистом, политотдельщиком, пославшим на смерть немало «КРТД», и вот в его руках, в его больнице, окончивший его курсы — появился фельдшер, подлежащий ликвидации.

Доктор Доктор пробовал обратиться к помощи уполномоченного НКВД. Но уполномоченный был фронтовик Бакланов, молодой, с войны. Нечистые делишки самого доктора Доктора — для него специальные рыболовы возили рыбу, охотники били дичь, самоснабжение начальства шло на полный ход, и сочувствия у Бакланова доктор Доктор не нашел.

— Ведь с ваших же курсов, только окончил. Сами же принимали.

— Это в кадрах прохлопали. Концов не найдешь.

— Ну,— сказал уполномоченный.— Если будет нарушать — совершать, словом, мы уберем. Поможем вам.

Доктор Доктор пожаловался на плохие времена и стал

терпеливо ждать. Начальники тоже могут ждать терпеливо промаха подчиненных.

Центральная лагерная больница была большою, на тысячу коек. Врачи из заключенных были всех специальностей. Вольнонаемное начальство просило и добилось разрешения открыть при хирургическом отделении две палаты — для вольных — одну мужскую, другую женскую для срочных послеоперационных. В моей палате лежала одна девушка, которую привезли с аппендицитом, а аппендицит не оперировали, а повели консервативно. Девушка была бойкая, секретарь комсомольской организации горного управления, кажется. Когда ее привезли, галантный хирург Браудэ показывал новой пациентке отделение, болтая что-то о... переломах и спондилитах, показывая все отделения подряд. На улице был шестидесятиградусный мороз, а в станции переливания крови печей не было — мороз закуржавил все окно, и за металл нельзя было хвататься голой рукой, но галантный хирург распахнул станцию переливания крови, и все отшатнулись назад, в коридор.

— Вот здесь мы обычно принимаем женщин.

— Без особенного успеха, вероятно,— сказала гостья, согревая дыханием руки.

Хирург смутился.

Вот эта-то бойкая девушка повадилась ко мне в дежурку. Там стояла мороженая брусника, миска брусники, и мы говорили допоздна. Но однажды, часов в двенадцать, двери дежурки распахнулись — и вошел доктор Доктор. Без халата, в кожаной куртке.

— В отделении все в порядке.

— Вижу. А вы — кто? — обратился доктор Доктор к девушке.

— Я больная. Лежу здесь в женской палате. Пришла за градусником.

— Завтра вас здесь не будет. Я ликвидирую этот бардак.

— Бардак? Кто это такой? — сказала девушка.

— Это начальник больницы.

— Ах, вот это и есть доктор Доктор. Слышала, слышала. Тебе будет что-нибудь за меня? За бруснику?

— Ничего не будет.

— Ну, на всякий случай завтра я к нему схожу. Я ему такого начитаю, что он поймет свое место. А если тебя тронут, даю тебе честное слово...

— Ничего мне не будет.

Девушку не выписали, свидание ее с начальником больницы состоялось, и все затихло до первого общего собрания, на котором доктор Доктор выступал с докладом о падении дисциплины.

— Вот в хирургическом отделении фельдшер сидит в операционной с женщиной,— доктор Доктор спутал дежурку с операционной,— и ест бруснику.

— С кем это? — зашептали в рядах.

— С кем?— крикнул кто-то из больнонаемных.

Но доктор Доктор не назвал фамилии.

Молния ударила, а я ничего не понял. Старший фельдшер отвечает за питание — начальник больницы решил нанести самый простой удар.

Перемерили кисель, и десять граммов киселя не хватило. С великим трудом мне удалось доказать, что выдают маленьким черпачком, а вытряхивают на большую тарелку — неизбежно пропадет десять граммов из-за того, что «липнет ко дну».

Молния предупредила меня, хотя она была и без грома.

На другой день гром ударил без молнии.

Один из палатных врачей попросил оставить его больному — умирающему — ложку чего-нибудь повкуснее, и я, обещав, велел раздатчику оставить полмиски, четверть миски какого-нибудь супа из диетического стола. Это не было законно, но практиковалось всегда и везде, в любом отделении. В обед толпа большого начальства во главе с Доктором влетела в отделение.

— А это кому?— На печке грелось полмиски диетического супа.

— Это доктор Гусегов для своего больного просил.

— У больного, которого ведет доктор Гусегов, нет диетического питания.

— Подать сюда доктора Гусегова.

Доктор Гусегов, заключенный, да еще по «58—1а», измена родине, побелел от страха, явившись перед светлые очи начальства. Он недавно был взят в больницу, после многих лет заявлений, просьб. И вот, неудачное распоряжение.

— Я не давал такого указания, гражданин начальник.

— Значит, вы, господин старший фельдшер, врете. Вводите нас в заблуждение,— бушевал доктор Доктор.— Подзашел, сознайся. Подзасекнулся.

Жаль мне было доктора Гусегова, но я его понимал. Я молчал. Молчали и все остальные члены комиссии — главврач, начальник лагеря. Бесновался один доктор Доктор.

— Снимай халат и в лагерь. На общие! В изоляторе сгною!

— Слушаюсь, гражданин начальник.

Я снял халат и сразу превратился в обыкновенного арестанта, которого толкали в спину, на которого кричали — давненько я не жил в лагере...

— А где барак обслуги?

— Тебе не в барак обслуги. А в изолятор!

— Ордера еще нет.

— Сажай его пока без ордера.

— Нет, не приму без ордера. Начальник лагеря не велел.

— Начальник больницы небось выше, чем начальник лагеря.

— Верно, выше, но для меня только начальник лагеря начальство.

В бараке обслуги сидеть мне пришлось недолго — ордер выписали быстро, и я вошел в лагерный изолятор, в вонючий карцер, такой же вонючий, как и десятки карцеров, в которых я сидел раньше.

Я лег на нары и пролежал до завтрашнего утра. Утром пришел нарядчик. Мы знали друг друга и раньше.

— Трое суток тебе дали с выводом на общие работы. Выходи, получишь рукавицы, и песок возить на тачке в котловане под новое здание охраны. Комедия была. Начальник ОЛПа рассказывал. Доктор Доктор требует на штрафной прииск навечно... В номерной лагерь перевести.

— Да что за пустяки,— все остальные.— Если за такие проступки на штрафной или в номерной лагерь, то ведь каждого надо. А мы фельдшера обученного лишились.

Вся комиссия знала о трусости Гусегова, знал и доктор Доктор, но — бесился еще больше.

— Ну, тогда две недели общих работ.

— И это не годится. Слишком тяжелое наказание. Неделю с выводом на свою работу в больницу,— предложил уполномоченный Бакланов.

— Да вы что? Если не будет общих работ, тачки, то никакого наказания не будет. Если только ходить ночевать в изолятор, то это одна проформа.

— Ну ладно,— сутки с выводом на общие работы.

— Трое суток.

— Ну, хорошо.

И вот я через много лет снова берусь за ручки тачки, за машину ОСО — две ручки, одно колесо.

Я — старый тачечник Колымы. Я обучен в тридцать восьмом году на золотом прииске всем тонкостям тачечного дела. Я знаю, как нажимать на ручки, чтоб упор был в плечо, знаю, как катить пустую тачку назад — колесом вперед, ручки держа вверх, чтобы отливала кровь. Я знаю, как перевернуть тачку одним движением, как вывернуть и поставить на трап.

Я — профессор тачечного дела. Я охотно катал тачки, показывал класс. Охотно развернул и выровнял камушком трап. Уроки тут не давались. Просто — тачка, наказание, и все. Никакому учету работа эта — карцерная — не подлежала. Несколько месяцев я не выходил из трехэтажного огромного здания центральной больницы, обходился без свежего воздуха — шутил, что наглотался чистого воздуха на прииске на двадцать лет вперед и на улицу не хожу. И вот теперь дышу чистым воздухом, вспоминаю тачечное ремесло. Две ночи и три дня пробыл я на этой работе. Вечером третьего дня навестил меня начальник лагеря. За всю свою лагерную практику на Колыме ему еще не приходилось встречать такой меры наказания за проступок, которую требовал доктор Доктор, и начальник лагеря пытался что-то понять.

Он остановился у трапа.

— Здравствуйте, гражданин начальник.

— Сегодня твоя каторга кончается, можешь больше в изолятор не ходить.

— Спасибо, гражданин начальник.

— Но сегодня доработай до конца.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

Перед самым отбоем — перед ударом в рельс — явился доктор Доктор. С ним были два его адъютанта, комендант больницы Постель и Гриша Кобеко, больничный зубной протезист.

Постель, бывший работник НКВД, сифилитик, заразивший сифилисом двух или трех медсестер, которых пришлось отправить в вензону, в женскую венерическую зону на лесную командировку, где живут только сифилитички. Красавец Гриша Кобеко был больничный стукач, осведомитель и делодаватель — достойная доктора Доктора компания.

Начальник больницы подошел к котловану, и трое тачечников, оставив работу, поднялись и встали по стойке «смирно».

Доктор Доктор разглядывал меня с величайшим удовлетворением.

— Вот ты где... Вот это для тебя самая работа и есть. Понял? Вот это и есть самая твоя работа.

Свидетелей, что ли, привел доктор Доктор, чтобы спровоцировать что-либо, хоть маленькое нарушение. Изменилось время, изменилось. Это понимает и доктор Доктор, понимаю это и я. Начальник и фельдшер — это не то что начальник и простой работяга. Далеко не то.

— Я, гражданин начальник, могу быть на всякой работе. Я могу быть даже начальником больницы.

Доктор Доктор выругался матом и удалился по направлению к вольному поселку. Ударили в рельс, и я пошел не в лагерь, не в зону, как два последних дня, а в больницу.

— Гришка, воды! — закричал я.— И пожрать чего-нибудь после ванны.

Но я плохо знал доктора Доктора. Комиссии, проверки сыпались на отделение чуть не каждый день.

А в ожидании приезда высшего начальства доктор Доктор сходил с ума.

Доктор Доктор добрался бы до меня, да другие вольные начальники сгубили его карьеру, подставили ножку, выперли с хорошей должности.

Внезапно доктор Доктор был отпущен в отпуск на «материк», хотя никогда в отпуск не просился. Приехал вместо него другой начальник.

Прощальный обход. Новый начальник грузен, ленив, тяжело дышит. Хирургическое отделение на втором этаже — быстро шли, запыхались. Увидев меня, доктор Доктор не мог отказать себе в развлечении.

— Вот это та самая контрреволюция, о котором я тебе внизу говорил,— показывая на меня пальцем, громко говорил доктор Доктор.— Все собирался снять, не успел. Советую тебе сделать это немедленно, сразу же. Больничный воздух будет чище.

— Постараюсь,— равнодушно сказал толстый начальник, и я понял, что он ненавидит доктора Доктора не меньше, чем я.

БУКИНИСТ

Из ночи я был переведен в день — явное повышение, утверждение, удача на опасном, но спасительном пути санитара «из больных». Я не заметил, кто занял мое место — сил для любопытства у меня не оставалось в те времена, я берег каждое свое движение, физическое или душевное — как-никак мне уже приходилось воскресать, и я знал, как дорого обходится ненужное любопытство.

Но краем глаза в ночном полусне я увидел бледное грязное лицо, заросшее густой рыжей щетиной, провалы глаз, глаз неизвестного цвета, скрюченные отмороженные пальцы, вцепившиеся в дужку закопченного котелка. Барачная больничная ночь была так темна и густа, что огонь бензинки, колеблемый, сотрясаемый будто бы ветром, не мог осветить коридор, потолок, стену, дверь, пол и вырывал из темноты только кусочек всей ночи: угол тумбочки и склонившееся над тумбочкой бледное лицо. Новый дежурный был одет в тот же халат, в котором дежурил я, грязный рваный халат, расхожий халат для больных. Днем этот халат висел в больничной палате, а ночью напяливался на телогрейку дежурного санитара «из больных». Фланель была необычайно тонкой, просвечивала — и все же не лопалась; больные боялись или не могли сделать резкое движение, чтобы халат не распался на части.

Полукруг света раскачивался, колебался, менялся. Казалось, холод, а не ветер, не движение воздуха, а сам холод качает этот свет над тумбочкой дежурного санитара. В световом пятне качалось лицо, искаженное голодом, грязные скрюченные пальцы нашаривали на дне котелка — то, чего нельзя было поймать ложкой. Пальцы, даже отмороженные, нечувствительные пальцы, были надежнее ложки — я понял суть движения, язык жеста.

Все это мне было не надо знать — я ведь был дневной санитар.

Но через несколько дней — поспешный отъезд, неожиданное ускорение судьбы внезапным решением — и кузов грузовика, сотрясающегося от каждого рывка автомашины, ползущей по вымерзшему руслу безымянной речки, по таежному «зимнику» ползущей к Магадану, к югу. В кузове грузовика взлетают и ударяются о дно с деревянным стуком, перекатываются, как деревянные поленья, два человека. Конвоир сидит в кабине, а я не знаю — ударяет

меня дерево или человек. На одной из кормежек жадное чавканье соседа показалось мне знакомым, и я узнал скрюченные пальцы, бледное грязное лицо.

Мы не говорили друг с другом — каждый боялся спугнуть свое счастье, арестантское счастье. Машина спешила — дорога кончилась в одни сутки.

Мы оба ехали на фельдшерские курсы, по лагерному наряду. Магадан, больница, курсы — все это было как в тумане, в белой колымской мгле. Есть ли вехи, дорожные вехи? Принимают ли пятьдесят восьмую? Только десятый пункт. А у моего соседа по кузову машины? Тоже десятый — «аса». Литер: «антисоветская агитация». Приравнивается к десятому пункту.

Экзамен по русскому языку. Диктант. Отметки выставляют в тот же день. Пятерка. Письменная работа по математике — пятерка. Устное испытание по математике — пятерка. От тонкости «Конституции СССР» будущие курсанты избавлены — это все знали заранее... Я лежал на нарах, грязный, все еще подозрительно вшивый — работа санитаром не уничтожала вшей,— а может быть, мне это только казалось, вшивость — это один из лагерных психозов. Давно уж нет вшей, а никак не заставишь себя привыкнуть не к мысли (что мысль?), к чувству, что вшей больше нет; так было в моей жизни и дважды и трижды. А Конституция, или история, или политэкономия — все это не для нас. В Бутырской тюрьме, еще во время следствия, дежурный корпусной кричал: «Что вы спрашиваете о Конституции? Ваша Конституция — это Уголовный кодекс». И корпусной был прав. Да, Уголовный кодекс был нашей конституцией. Давно это было. Тысячу лет назад. Четвертый предмет — химия. Отметка — тройка.

Ах, как рванулись заключенные-курсанты к знаниям, где ставкой была жизнь. Как бывшие профессора медицинских институтов рванулись вдалбливать спасительную науку в неучей, в болванов, никогда не интересовавшихся медициной — от кладовщика Силайкина до татарского писателя Мин Шабая...

Хирург, кривя тонкие губы, спрашивает:

— Кто изобрел пенициллин?

— Флеминг! — Это отвечаю не я, а мой сосед по районной больнице. Рыжая щетина сбрита. Нездоровая бледная пухлость щек осталась (навалился на суп — мельком соображаю я).

Я был поражен знаниями рыжего курсанта. Хирург

разглядывал торжествующего «Флеминга». Кто же ты, ночной санитар? Кто?

. . . .

— Кем же ты был на воле?

— Я капитан. Капитан инженерных войск. В начале войны был начальником укрепленного района. Строили мы укрепления спешно. Осенью сорок первого года, когда рассеялась утренняя мгла, мы увидели в бухте рейдер немецкий «Граф фон Шпее». Рейдер расстрелял наши укрепления в упор. И ушел. А мне дали десять лет.

«Не веришь, прими за сказку». Верю. Знаю обычай.

. . . .

Все курсанты занимались ночи напролет, впитывая, вбирая знания со всей страстью приговоренных к смерти, которым вдруг дают надежду жить.

Но Флеминг, после какого-то делового свидания с начальством повеселел, приволок на занятия в барак роман и, поедая вареную рыбу — остатки чьего-то чужого пира, небрежно листал книгу.

Поймав мою ироническую улыбку, Флеминг сказал:

— Все равно — мы учимся уже три месяца,— всех, кто удержался на курсах, всех выпустят, всем дадут дипломы. Зачем я буду сходить с ума? Согласись!..

— Нет,— сказал я.— Я хочу научиться лечить людей. Научиться настоящему делу.

— Настоящее дело — жить.

В этот час выяснилось, что капитанство Флеминга — только маска, еще одна маска, на этом бледном тюремном лице. Капитанство-то не было маской — маской были инженерные войска. Флеминг был следователем НКВД в капитанском чине. Сведения отцеживались, копились по капле — несколько лет. Капли эти мерили время, подобно водяным часам. Или эти капли падали на голое темя подследственного — водяные часы застенков Ленинграда тридцатых годов. Песочные часы отмеряли время арестантских прогулок, водяные часы — время признания, время следствия. Торопливость песочных часов, мучительность водяных. Водяные часы считали не минуты, отмеряли не минуты, а человеческую душу, человеческую волю, сокрушая ее по капле, подтачивая, как скалу — по посло-

вице. Этот следовательский фольклор был в большом ходу в тридцатые, а то и в двадцатые годы.

По капле были собраны слова капитана Флеминга, и клад оказался бесценным. Бесценным его считал и сам Флеминг — еще бы!

. . . .

— Ты знаешь, какая самая большая тайна нашего времени?

— Какая?

— Процессы тридцатых годов. Как их готовили. Я ведь был в Ленинграде тогда. У Заковского. Подготовка процессов — это химия, медицина, фармакология. Подавление воли химическими средствами. Таких средств — сколько хочешь. И неужели ты думаешь, если средства подавления воли есть — их не будут применять. Женевская конвенция, что ли?

Обладать химическими средствами подавления воли и не применять их на следствии, на «внутреннем фронте» — это уж чересчур человечно. Поверить в сей гуманизм в двадцатом веке невозможно. Здесь и только здесь тайна процессов тридцатых годов, открытых процессов, открытых и иностранным корреспондентам и любому Фейхтвангеру. На этих процессах не было никаких «двойников». Тайна процессов была тайной фармакологии.

. . . .

Я лежал на коротких неудобных нарах двухспальной системы в опустевшем курсантском бараке, простреливавшемся лучами солнца насквозь, и слушал эти признания.

. . . .

Опыты были и раньше — во вредительских процессах, например. Рамзинская же комедия только краем касается фармакологии.

. . . .

Капля по капле сочился рассказ Флеминга — собственная ли его кровь капала на обнаженную мою память? Что это были за капли — крови, слез или чернил? Не чернил и не слез.

— Были, конечно, случаи, когда медицина бессильна. Или в приготовлении растворов неверный расчет. Или вре-

дительство. Тогда — двойной страховкой. По правилам.

— Где же теперь эти врачи?

— Кто знает? На луне, вероятно...

. . . .

Следственный арсенал — это последнее слово науки, последнее слово фармакологии.

. . . .

Это был не шкаф «А» — Venena — яды, и не шкаф «В» — Heroica — «сильно действующие»... Оказывается, латинское слово «герой» на русский язык переводится как «сильно действующий». А где хранились медикаменты капитана Флеминга? В шкафу «П» — в шкафу преступлений — или в шкафу «Ч» — чудес.

Человек, который распоряжался шкафом «П» и шкафом «Ч» высших достижений науки, только на фельдшерских лагерных курсах узнал, что у человека печень — одна, что печень — не парный орган. Узнал про кровообращение — через триста лет после Гарвея.

. . . .

Тайна пряталась в лабораториях, подземных кабинетах, вонючих вивариях, где звери пахли точно так же, как арестанты грязной магаданской транзитки в тридцать восьмом году. Бутырская тюрьма по сравнению с этой транзиткой блистала чистотой хирургической, пахла операционной, а не виварием.

Все открытия науки и техники проверяются в первую очередь в их военном значении — военном — даже в будущем, в возможности догадки. И только то, что отсеяно генералами, что не нужно войне, отдается на общее пользование.

Медицина и химия, фармакология давно на военном учете. В институтах мозга во всем мире всегда копился опыт эксперимента, наблюдения. Яды Борджиа всегда были оружием практической политики. Двадцатый век принес необычайный расцвет фармакологических, химических средств, управляющих психикой.

Но если можно уничтожить лекарством страх, то тысячу раз возможно сделать обратное — подавить человеческую волю уколами, чистой фармакологией, химией без всякой «физики» вроде сокрушения ребер и топтания

каблуками, зубодробительства и тушения папирос о тело подследственного.

. . . .

Химики и физики — так назывались эти две школы следствия. Физики — это те, что во главу угла полагали чисто физическое действие — видя в побоях средство обнажения нравственного начала мира. Обнаженная глубина человеческой сути — и какой же подлой и ничтожной оказывалась эта человеческая суть. Битьем можно было не только добиться любых показаний. Под палкой изобретали, открывали новое в науке, писали стихи, романы. Страх побоев, желудочная шкала пайки творили большие дела.

Битье достаточно веское психологическое орудие, достаточно эффектное.

Много пользы давал и знаменитый повсеместный «конвейер», когда следователи менялись, а арестанту не давали спать. Семнадцать суток без сна — и человек сходит с ума — не из следственных ли кабинетов почерпнуто это научное наблюдение.

Но и химическая школа не сдавалась.

Физики могли обеспечить материалом «особые совещания», всяческие «тройки», но для открытых процессов школа физического действия не годилась. Школа физического действия (так, кажется, у Станиславского) не смогла бы поставить открытый кровавый театральный спектакль, не могла бы подготовить «открытые процессы», которые привели в трепет все человечество. Химикам подготовка таких зрелищ была по силам.

. . . .

Через двадцать лет после того разговора я вписываю в рассказ строки газетной статьи:

«Применяя некоторые психофармакологические агенты, можно на определенное время полностью устранить, например, чувство страха у человека. При этом, что особенно важно, нисколько не нарушается ясность его сознания...

Затем вскрылись еще более неожиданные факты. У людей, у которых «Б-фазы» сна подавлялись длительно, в данном случае на протяжении до семнадцати ночей подряд, начинали возникать различные расстройства психического состояния и поведения».

Что это? Обрывки показаний какого-нибудь бывшего

начальника управления НКВД на процессе суда над судьями?.. Предсмертное письмо Вышинского или Рюмина? Нет, это абзацы научной статьи действительного члена Академии наук СССР. Но ведь все это — и в сто раз больше!— известно, испытано и применено в тридцатых годах при подготовке «открытых процессов».

Фармакология была не единственным оружием следственного арсенала этих лет. Флеминг назвал фамилию, которая была мне хорошо известна.

Орнальдо!

Еще бы: Орнальдо был известный гипнотизер, много выступавший в двадцатые годы в московских цирках, да и не только московских. Массовый гипноз — специальность Орнальдо. Есть фотографии его знаменитых гастролей. Иллюстрации в книжках по гипнозу. Орнальдо — это псевдоним, конечно. Настоящее имя его Смирнов Н. А. Это — московский врач. Афиши вокруг всей вертушки — тогда афиши расклеивались на круглых тумбах, фотографии. У Свищева-Паоло фотография была тогда в Столешниковом переулке. В витрине висела огромная фотография человеческих глаз и подпись «Глаза Орнальдо». Я помню эти глаза до сих пор, помню то душевное смятение, в которое приходил я, когда слышал или видел цирковые выступления Орнальдо. Гипнотизер выступал до конца двадцатых годов. Есть бакинские фотографии выступлений Орнальдо 1929 года. Потом он перестал выступать.

— С начала тридцатых годов Орнальдо — на секретной работе в НКВД.

Холодок разгаданной тайны пробежал у меня по спине.

Часто без всякого повода Флеминг хвалил Ленинград. Верней, признал, что он — не коренной ленинградец. Действительно, Флеминг был вызван из провинции эстетами НКВД двадцатых годов, как достойная смена эстетам. Ему были привиты вкусы — шире обычного школьного образования. Не только Тургенев и Некрасов, но и Бальмонт и Сологуб, не только Пушкин, но и Гумилев.

— «А вы, королевские псы, флибустьеры, хранившие золото в темном порту?» Я не путаю?

— Нет, все правильно!

— Дальше не помню. Я — королевский пес? Государственный пес?

И улыбаясь — себе и своему прошлому — рассказал с благоговением, как рассказывает пушкинист о том, что

держал в руках гусиное перо, которым написана «Полтава»,— он прикасался к папкам «дела Гумилева», назвав его заговором лицеистов. Можно было подумать, что он коснулся камня Каабы — такое блаженство, такое очищение было в каждой черте его лица, что я невольно подумал — это тоже путь приобщения к поэзии. Удивительная, редчайшая тропка постижения литературных ценностей в следственном кабинете. Нравственные ценности поэзии таким путем, конечно, не постигаются.

— В книгах я прежде всего читаю примечания, комментарии. Я человек примечаний, человек комментариев.

— А текст?

— Не всегда. Когда есть время.

Для Флеминга и его сослуживцев приобщение к культуре могло быть — как ни кощунственно это звучит — только в следственной работе. Знакомство с людьми литературной и общественной жизни, искаженное и все-таки чем-то настоящее, подлинное, не скрытое тысячей масок.

Так главным осведомителем по художественной интеллигенции тех лет, постоянным, вдумчивым, квалифицированным автором всевозможных «меморандумов» и обзоров писательской жизни был — и имя это было неожиданно только на первый взгляд — генерал-майор Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. Сорок лет в советской разведке.

— Я эту книгу «Пятьдесят лет в строю» прочитал уже тогда, когда познакомился с обзорами и был представлен самому автору. Или он мне был представлен,— задумчиво говорил Флеминг.— Неплохая книга «Пятьдесят лет в строю».

Флеминг не очень любил газеты, газетные известия, радиопередачи. Международные события мало его занимали. Другое дело — события внутренней жизни. Главное чувство Флеминга — темная обида на мрачную силу, которая обещала гимназисту объять необъятное, вознесла высоко и вот бросила в бездну без стыда или без следа,— я никак не мог запомнить правильное окончание знаменитой песни моего детства «Шумел, горел пожар московский».

Приобщение к культуре — было своеобразным. Курсы какие-то краткосрочные, экскурсия в Эрмитаж. Человек рос, и вырос следователь-эстет, шокированный грубой силой, хлынувшей в «органы» в тридцатые годы, сметенный, уничтоженный «новой волной», исповедующей грубую физическую силу, презирающей не только психологические

тонкости, но даже «конвейеры» или «выстойки». У новой волны просто терпения не хватало на какие-то научные расчеты, на высокую психологию. Результаты, оказывается, проще получить обыкновенным битьем. Медлительные эстеты сами пошли на луну. Флеминг случайно остался в живых. Новой волне было некогда ждать.

Голодный блеск затухал в глазах Флеминга, и профессиональная наблюдательность вновь подавала свой голос...

— Слышь, я смотрел на тебя во время конференции. Ты думал о своем.

— Я хочу только все запомнить, запомнить и описать.

Какие-то картины качались в мозгу Флеминга, уже отдохнувшем, уже успокоенном.

. . . .

В нервном отделении, где работал Флеминг, был гигант латыш, получавший вполне официально тройной паек. Всякий раз, когда гигант принимался за еду, Флеминг садился напротив, не умея сдержать восхищения перед могучей жратвой.

Флеминг не расставался с котелком, тем самым котелком, с которым приехал с Севера... Это — талисман. Колымский талисман.

В нервном отделении блатари поймали кошку, убили и сварили, угостив Флеминга, как дежурного фельдшера — традиционная «лапа» — взятка колымская, колымский калым. Флеминг съел мясо и ничего не сказал о кошке. Это была кошка из хирургического отделения.

Курсанты боялись Флеминга. Но кого не боялись курсанты? В больнице Флеминг работал уже фельдшером, штатным лепилой. Все были к нему враждебны, опасались Флеминга, чувствуя в нем не просто работника органов, но хозяина какой-то необычайно важной, страшной тайны.

Враждебность увеличилась, тайна сгустилась после внезапной поездки Флеминга на свидание с молодой испанкой. Испанка была самая настоящая, дочь кого-то из членов правительства Испанской республики. Разведчица, запутанная в сеть провокаций, получившая «срок» и выброшенная на Колыму умирать. Но Флеминг, оказывается, не был забыт своими старыми и далекими друзьями, своими прежними сослуживцами. Что-то он должен был узнать от испанки, что-то подтвердить. А больная не ждет. Испанка поправилась и была этапирована на жен-

ский прииск. Флеминг внезапно, прервав работу в больнице, едет на свидание с испанкой, двое суток скитается на автомобильной трассе тысячеверстной, по которой потоком идут машины и стоят заставы оперативников через каждый километр. Флемингу везет, он возвращается после свидания вполне благополучно. Поступок казался бы романтическим, свершенным во имя лагерной любви. Увы, Флеминг не путешествует ради любви, не совершает героических поступков ради любви. Тут действует сила гораздо большая, чем любовь, высшая страсть, и эта сила пронесет Флеминга невредимым через все лагерные заставы.

Много раз вспоминал Флеминг тридцать пятый год — внезапный поток убийств. Смерть семьи Савинкова. Сын был расстрелян, а семья — жена, двое детей, мать жены не захотели уехать из Ленинграда. Все оставили письма — предсмертные письма друг другу. Все покончили с собой, и память Флеминга сохранила строки из детской записки: «Бабушка, мы скоро умрем».

. . . .

В пятидесятом году Флеминг кончил срок по «делу НКВД», но в Ленинград не вернулся. Не получил разрешения. Жена, хранившая много лет «площадь», приехала в Магадан из Ленинграда, но не устроилась и уехала обратно. Перед двадцатым съездом Флеминг вернулся в Ленинград, в ту самую комнату, в которой жил до катастрофы...

Бешеные хлопоты. Тысяча четыреста пенсия по выслуге лет. Вернуться к работе «по специальности» знатоку фармакологии, обогащенной ныне фельдшерским образованием, не пришлось. Оказалось, все старые «работники», все ветераны сих дел, все оставшиеся в живых эстеты уволены на пенсию. До последнего курьера.

Флеминг поступил на службу — отборщиком книг в букинистическом магазине на Литейном. Флеминг считал себя плотью от плоти русской интеллигенции, хотя и состоящей с интеллигенцией в столь своеобразном родстве и общении. Флеминг до конца не хотел отделять свою судьбу от судьбы русской интеллигенции, чувствуя, может быть, что только общение с книгой сохранит нужную квалификацию, если удастся дожить до лучших времен.

Во времена Константина Леонтьева капитан «инженерных» войск ушел бы в монастырь. Но и мир книг, опас-

ный и возвышенный мир — служение книге окрашено в фанатизм,— но, как всякое книжное любительство, содержит в себе нравственный элемент очищения. Не в вахтеры же идти бывшему поклоннику Гумилева и знатоку Комментариев к стихам и судьбе Гумилева. Фельдшером — по новой специальности? Нет, лучше букинистом.

— Я хлопочу, все время хлопочу. Рому!

— Я не пью.

— Ах, как это неудачно, неудобно, что ты не пьешь. Катя, он не пьет! Понимаешь? Я хлопочу. Я еще вернусь на свою работу.

— Если ты вернешься на свою работу,— синими губами выговорила Катя, жена,— я повешусь, утоплюсь завтра же.

— Я шучу. Я все время шучу. Я хлопочу. Я все время хлопочу. Подаю какие-то заявления, сутяжничаю, езжу в Москву. Ведь меня в партии восстановили. Но как?

Из-за пазухи Флеминга извлечены груды измятых листков.

— Читай. Это — свидетельство Драбкиной. Она у меня на Игарке была.

— Я пробежал глазами пространное свидетельство автора «Черных сухарей».

«Будучи начальником лагпункта, относился к заключенным хорошо, за что и был вскоре арестован и осужден...»

Я перебирал грязные, липкие, многократно листанные невнимательными пальцами начальства «показания» Драбкиной...

И Флеминг, склоняясь к моему уху и дыша перегаром рома, хрипло объяснил, что он-то в лагере был «человеком» — вот даже Драбкина подтверждает.

— Тебе все это надо?

— Надо. Я этим заполняю жизнь. А может быть, чем черт не шутит. Пьем?

— Я не пью.

— Эх! По выслуге лет. Тысячу четыреста. Но мне надо не это...

— Замолчи, или я повешусь,— закричала Катя, жена.

— Она у меня сердечница,— объяснил Флеминг.

— Возьми себя в руки. Пиши. Ты владеешь словом. По письмам. А рассказ, роман — это ведь и есть доверительное письмо.

— Нет, я не писатель. Я хлопочу...

И, обрызгав слюной мое ухо, зашептал что-то совсем несуразное, как будто и не было никакой Колымы, а в тридцать седьмом году Флеминг сам простоял семнадцать суток на «конвейере» следствия и психика его дала заметные трещины.

— Сейчас издают много мемуаров. Воспоминаний. Например, «В мире отверженных» Якубовича. Пусть издадут.

— Ты написал воспоминания?

— Нет. Я хочу рекомендовать к изданию одну книгу — знаешь какую. Я ходил в Лениздат — говорят, не твое дело...

— Какую же книгу?

— Записки Сансона, парижского палача. Вот это был бы мемуар!

— Парижского палача?

— Да. Я помню — Сансон отрубил голову Шарлотте Кордэ и бил ее по щекам, и щеки на отрубленной голове краснели. И еще: тогда были «балы жертв». У нас бывают «балы жертв»?

— «Бал жертв» — это относится к термидору, а не просто к послетеррорному времени. Записки же Сансона — фальшивка.

— Так разве в этом дело — фальшивка или нет. Была такая книга. Выпьем рому. Много я перебирал напитков, и лучше всего ром. Ром. Ямайский ром.

Жена «собрала» обедать — горы какой-то жирной снеди, которая поглощалась почти мгновенно прожорливым Флемингом. Неукротимая жадность к еде осталась навек во Флеминге, как психическая травма — осталась, как и у тысяч других бывших заключенных — на всю жизнь.

Разговор как-то прервался, в наступающих сумерках городских услышал я рядом с собой знакомое колымское чавканье.

Я подумал о силе жизни — скрытой в здоровом желудке и кишечнике, способности поглощать — это и было на Колыме защитным рефлексом жизни у Флеминга. Неразборчивость и жадность. Неразборчивость души, приобретенная за следовательским столом, тоже была подготовкой, своеобразным амортизатором в этом колымском падении, где никакой бездны Флемингу не было открыто — все он знал и раньше, и это дало ему спасение — ослабило нравственные мучения — если эти мучения были! Никаких дополнительных душевных травм Флеминг не испы-

тал — он видел худшее и равнодушно смотрел на гибель всех рядом, и готов был бороться только за свою собственную жизнь. Жизнь была спасена, но на душе Флеминга остался какой-то тяжелый след, который нужно было стереть, очистить покаянием. Покаянием — обмолвкой, полунамеком, беседой с самим собой вслух, без сожаления, без осуждения. «Мне попросту не повезло». И все же рассказ Флеминга был покаянием.

. . . .

— Видишь книжечку?

— Партбилет?

— Угу. Новенький. Но непросто все было, непросто. Полгода назад разбирал обком мою партийную реабилитацию. Сидят, читают материалы. Секретарь обкома, чуваш этот, говорит, мертво так, грубо:

«Ну, все ясно. Пишите решение: восстановить с перерывом стажа».

Меня как обожгло: «с перерывом стажа». Я подумал — если я сейчас не заявлю о своем несогласии с решением, мне в дальнейшем всегда будут говорить — «а чего же вы молчали, когда разбиралось ваше дело? Ведь вас для того и вызывают лично на разбор, чтобы вы могли вовремя заявить, сказать...» Я поднимаю руку.

«Ну, что у тебя?» Мертво так, грубо.

Я говорю:

«Я не согласен с решением. Ведь у меня будут всюду, на всякой работе требовать объяснения этого перерыва».

«Вот какой ты быстрый,— говорит первый секретарь обкома. — Это ты потому бойкий, что у тебя материальная база — сколько по выслуге лет получаешь?»

Он прав, но я перебиваю секретаря и говорю: прошу полной реабилитации без перерыва стажа.

Секретарь обкома вдруг говорит:

«Что ты так жмешь? Что горячишься? Ведь у тебя руки по локоть в крови!»

У меня в голове зашумело.

«А у вас,— говорю,— у вас не в крови?»

Секретарь обкома говорит:

«Нас не было здесь».

«А там,— говорю,— где вы были в тридцать седьмом году — там у вас не в крови?»

Первый секретарь говорит:

«Хватит болтать. Мы можем переголосовать. Иди отсюда».

Я вышел в коридор, и вынесли мне решение: «В партийной реабилитации отказать».

Я в Москве хлопотал полгода. Отменили. Но приняли только эту, самую первую формулировку: «Восстановить с перерывом стажа».

Тот, который докладывал мое дело в КПК, сказал — не надо было лаяться в обкоме.

Я все хлопочу, сутяжничаю, езжу в Москву и добиваюсь. Пей!

— Я не пью.

— Это не ром, коньяк. Пять звездочек коньяка. Для тебя.

— Убери бутылку.

— Да и верно, уберу, унесу, возьму с собой. Не обижайся.

— Не обижусь.

Прошел год, и я получил от букиниста последнее письмо: «Во время моего отъезда из Ленинграда скоропостижно умерла моя жена. Я приехал через полгода, увидел могильный холм, крест и любительское фото — ее в гробу. Не осуждай меня за слабость, я здравый человек, но не могу ничего сделать — живу как во сне, утратив интерес к жизни.

Я знаю, это пройдет — но нужно время. Что видела она в жизни? Хождение по тюрьмам за справками и передачами? Общественное презрение, поездка ко мне в Магадан,— жизнь в нужде, а вот сейчас — финал. Прости, потом я напишу тебе больше. Да, я здоров, но здорово ли общество, в котором я живу.

Привет».

ПО ЛЕНДЛИЗУ

Свежие тракторные следы на болоте были следами какого-то доисторического зверя — меньше всего это была поставка по лендлизу американской техники.

Мы, заключенные, слышали об этих заморских дарах, внесших смятение в чувства лагерного начальства.

Поношенные вязаные костюмы, подержанные пуловеры и джемперы, собранные за океаном для колымских заключенных — расхватали чуть не в драку магаданские генеральские жены. В списках эти шерстяные сокровища обозначались словом «подержанные», что, разумеется, много выразительнее прилагательного «поношенные» или всяких и всяческих б/у — «бывших в употреблении», знакомых только лагерному уху. В слове «подержанные» есть какая-то таинственная неопределенность — будто подержали в руках или дома в шкафу — и вот костюм стал «подержанным», не утратив ни одного из своих многочисленных качеств, о которых и думать было нельзя, если бы в документ вводили слово «поношенный».

Колбаса по лендлизу была вовсе не подержанной, но мы видели эти сказочные банки только издали. Свиная тушенка по лендлизу, пузатые баночки — вот это блюдо мы хорошо знали. Отсчитанная, отмеренная по очень сложной таблице замены, свиная тушенка, раскраденная жадными руками начальников и еще раз пересчитанная, еще раз отмеренная перед запуском в котел — разваренная там, превратившаяся в таинственные волосинки, пахнущие чем угодно, только не мясом — свиная тушёнка по лендлизу будоражила только наше зрение, но не вкус. Свиная тушёнка по лендлизу, запущенная в лагерный котел, никакого вкуса не имела. Желудки лагерников предпочитали что-нибудь отечественное — вроде гнилой старой оленины, которую и в семи лагерных котлах не разварить. Оленина не исчезает, не становится эфемерной, как тушенка.

Овсяная крупа по лендлизу — ее мы одобряли, ели. Все равно больше двух столовых ложек каши на порцию не выходило.

Но и техника шла по лендлизу — техника, которую нельзя съесть: неудобные топорики-томагавки, удобнейшие лопаты с нерусскими, экономящими силу грузчика, короткими черенками. Лопаты вмиг переодевались на длинные черенки по отечественному образцу — сама же лопата расплющивалась, чтобы захватить, подцепить побольше грунта.

Глицерин в бочках! Глицерин! Сторож в первую же ночь отчерпал котелком ведро жидкого глицерина, распродал в ту же ночь лагерникам, как «американский медок», и обогатился.

А еще по лендлизу были огромные черные пятидеся-

титонные «даймонды» с прицепами и железными бортами; пятитонные, берущие легко любую гору «студебеккеры» — лучше этих машин и не было на Колыме. На этих «студебеккерах» и «даймондах» развозили по всей тысячеверстной трассе день и ночь полученную по лендлизу американскую пшеницу в белых красивых полотняных мешках с американским орлом. Пухлые, безвкуснейшие «пайки» выпекались из этой муки. Этот хлеб по лендлизу обладал удивительным качеством. Все, кто ел этот хлеб по лендлизу, перестали ходить в уборную — раз в пять суток желудок извергал что-то, что и извержением называться не может. Желудок и кишечник лагерника впитывали этот великолепный белый хлеб с примесью кукурузы, костяной муки и чего-то еще — кажется, простой человеческой надежды — весь без остатка — и не пришло еще время подсчитывать спасенных именно этой заморской пшеницей.

«Студебеккеры» и «даймонды» сжирали много бензина. Но и бензин шел по лендлизу — светлый авиационный бензин. Отечественные машины — «газики» были переоборудованы под дровяное отопление — две печки-колонки, поставленные близ мотора, топились чурками. Возникло слово «чурка» и несколько чурочных комбинатов, во главе которых были поставлены партийцы-договорники. Техническое руководство на этих чурочных комбинатах обеспечивалось главным инженером, инженером просто, нормировщиком, плановиком, бухгалтерами. Сколько работяг — два или три в смене на каждом таком чурочном комбинате пилило на циркульной пиле чурки — я не помню. Может быть, даже и три. Техника шла по лендлизу — и к нам пришел трактор и принес в наш язык новое слово «бульдозер».

Доисторический зверь был спущен с цепи — пущен на своих гусеничных цепях, американский бульдозер со сверкающим как зеркало широким ножом, навесным металлическим щитом — отвалом. Зеркалом, отражающим небо, деревья и звезды, отражающим грязные арестантские лица. И даже конвоир подошел к заморскому чуду и сказал, что можно бриться перед этим железным зеркалом. Но нам бриться было не надо — такая мысль не могла прийти в наши головы.

На морозном воздухе долго были слышны вздохи, кряхтенье нового американского зверя. Бульдозер кашлял на морозе, сердился. Вот он запыхтел, заворчал и смело

двинулся вперед, приминая кочки, легко перебираясь через пни — заморская помощь.

Теперь нам не надо будет трелевать свинцовые бревна даурской лиственницы — строевой лес и дрова рассыпаны были по лесу на склоне горы. Ручная подтаска к штабелям — это и называется веселым словом «трелевка» — на Колыме непосильна, невыносима. По кочкам, по узким извилистым тропкам, на склоне горы ручная трелевка непосильна. Посылали во время оно — до тридцать восьмого года — лошадей, но лошади переносят Север хуже людей, они оказались слабее людей, умерли, не выдержав этой трелевки. Теперь на помощь нам (нам ли?) пришел отвальный нож заморского бульдозера.

Никто из нас не хотел и думать, что вместо тяжелой непосильной трелевки, которую ненавидели все, нам дадут какую-то легкую работу. Нам просто увеличат норму на лесоповале — все равно придется делать что-то другое — столь же унизительное, столь же презренное, как всякий лагерный труд. Отмороженные пальцы наши не вылечит американский бульдозер. Но, может быть — американский солидол! Ах, солидол, солидол. Бочка, в которой был привезен солидол, была атакована сразу же толпой доходяг — дно бочки было выбито тут же камнем.

Голодным сказали, что это — сливочное масло по лендлизу, и осталось меньше полбочки, когда был поставлен часовой, и начальство выстрелами отогнало толпу доходяг от бочки с солидолом. Счастливцы глотали это сливочное масло по лендлизу — не веря, что это просто солидол — ведь целебный американский хлеб тоже был безвкусен, тоже имел этот странный железный привкус. И все, кому удалось коснуться солидола, несколько часов облизывали пальцы, глотали мельчайшие кусочки этого заморского счастья, по вкусу похожего на молодой камень. Ведь камень тоже родится не камнем, а мягким маслообразным существом. Существом, а не веществом. Веществом камень бывает в старости. Молодые жидкие туфы известковых пород в горах зачаровывали глаза беглецов и рабочих геологических разведок. Нужно было усилие воли, чтобы оторваться от этих кисельных берегов, этих молочных рек текучего молодого камня. Но там была гора, скала, распадок, а здесь — поставка по лендлизу, изделие человеческих рук...

С теми, кто запустил руки в бочку, не случилось ничего недоброго. Желудок и кишечник, тренированный на Колы-

ме, справился с солидолом. А к остаткам поставили часового, ибо солидол — пища машин, существ бесконечно более важных для государства, чем люди.

И вот одно из этих существ прибыло к нам из-за океана — символ победы, дружбы и чего-то еще.

Триста человек бесконечно завидовали арестанту, сидевшему за рулем американского трактора — Гриньке Лебедеву. Среди заключенных были трактористы и получше Лебедева — но все это были пятьдесят восьмая, литерники, литёрки — Гринька Лебедев был «бытовик», отцеубийца, если поточнее. Каждому из трехсот виделось его земное счастье: стрекоча, сидя за рулем хорошо смазанного трактора, прогрохотать на лесоповал.

Лесоповал отходил все дальше и дальше. Заготовка строевого леса на Колыме ведется в руслах ручьев, где в глубоких ущельях, вытягиваясь за солнцем, деревья в темноте, укрытые от ветра, набирают высоту. На ветру, на свету, на болотистом склоне горы стоят карлики, изломанные, исковерканные, измученные вечным кружением за солнцем, вечной борьбой за кусочек оттаявшей почвы. Деревья на склонах гор похожи не на деревья, а на уродов, достойных кунсткамеры. И только в темных ущельях по руслам горных речек деревья набирают рост и силу. Заготовка леса подобна заготовке золота и ведется на тех же самых золотых ручьях — так же стремительно, торопливо — ручей, лоток, промывочный прибор, временный барак, стремительный хищнический рывок, оставляющий речку и край — без леса на триста лет, без золота — навечно.

Где-то существует лесничество, но о каком лесоводстве при зрелости лиственницы в триста лет можно говорить на Колыме во время войны, когда в ответ на лендлиз делается стремительный рывок золотой лихорадки, обузданной, впрочем, караульными вышками зон.

Много строевого леса, да и заготовленных, раскряжеванных дров было брошено по лесосекам. Много утонуло в снегу «комельков», которые упали на землю, едва взгромоздясь на хрупкие, острые арестантские плечи. Слабые арестантские руки, десятки рук не могут поднять на чье-то плечо (и плеча такого нет) двухметровое бревно, оттащить за несколько десятков метров по кочкам, колдобинам и ямам чугунное это бревно. Много леса было брошено из-за непосильности «трелевки», и бульдозер должен был помочь нам.

Но для первого своего рейса на колымской земле, на русской земле, бульдозеру была дана совсем другая работа.

Мы увидели, как стрекочущий бульдозер повернул налево и стал подниматься на террасу, на уступ скалы, где была старая дорога мимо лагерного кладбища, по которой нас сотни раз гоняли на работу.

Я не задумывался, почему последние недели нас водят на работу другой дорогой, а не гонят по знакомой, выбитой каблуками сапог конвоя и резиновыми чунями заключенных — тропе. Новая дорога была вдвое длиннее старой. На каждом шагу были подъемы и спуски. Мы уставали, пока добирались до места работы. Но никто не спрашивал — почему нас водят другой дорогой.

Так надо, таков приказ, и мы ползли на четвереньках, цепляясь за камни, разбивая пальцы о камень в кровь.

Только сейчас я увидел и понял, в чем дело. И поблагодарил бога, что он дал мне время и силу видеть все это.

Лесоповал прошел вперед. Склон горы был оголен, снег, еще неглубокий, выдут ветром. Пеньки выдернуты до последнего — под большие подкладывался заряд аммонала, и пенек взлетал вверх. Пеньки поменьше выворачивались вагами. Еще поменьше — просто руками, как стланиковые кусты...

Гора оголена и превращена в гигантскую сцену спектакля, лагерной мистерии.

Могила, арестантская общая могила, каменная яма, доверху набитая нетленными мертвецами еще в тридцать восьмом году, осыпалась. Мертвецы ползли по склону горы, открывая колымскую тайну.

На Колыме тела предают не земле, а камню. Камень хранит и открывает тайны. Камень надежней земли. Вечная мерзлота хранит и открывает тайны. Каждый из наших близких, погибших на Колыме — каждый из расстрелянных, забитых, обескровленных голодом — может быть еще опознан — хоть через десятки лет. На Колыме не было газовых печей. Трупы ждут в камне, в вечной мерзлоте.

В тридцать восьмом году на золотых приисках на рытье таких могил стояли целые бригады, беспрерывно буря, взрывая, углубляя огромные, серые, жесткие, холодные каменные ямы. Копать могилы в тридцать восьмом году

было легкой работой — там не было «урока», нормы, рассчитанной на смерть человека, рассчитанной на четырнадцатичасовой рабочий день. Копать могилы было легче, чем стоять в резиновых чунях на босу ногу в ледяной воде золотого забоя — «основного производства» «первого металла».

Эти могилы, огромные каменные ямы, доверху были заполнены мертвецами. Нетленные мертвецы, голые скелеты, обтянутые кожей, грязной, расчесанной, искусанной вшами кожей.

Камень, Север сопротивлялись всеми силами этой работе человека, не пуская мертвецов в свои недра. Камень, уступавший, побежденный, униженный, обещал ничего не забывать, обещал ждать и беречь тайну. Суровые зимы, горячие лета, ветры, дожди — за шесть лет отняли мертвецов у камня. Раскрылась земля, показывая свои подземные кладовые, ибо в подземных кладовых Колымы не только золото, не только олово, не только вольфрам, не только уран, но и нетленные человеческие тела.

Эти человеческие тела ползли по склону, может быть собираясь воскреснуть. Я и раньше видел издали — с другой стороны ручья — эти движущиеся, зацепившиеся за сучья, за камни предметы — видел сквозь редкий вырубленный лес и думал, что это бревна, не трелеванные еще бревна.

Сейчас гора была оголена и тайна горы открыта. Могила «разверзлась», и мертвецы ползли по каменному склону. Около тракторной дороги была выбита, выбурена — кем?— из барака на эту работу не брали — огромная новая братская могила. Очень большая. И я и мои товарищи — если замерзнем, умрем, для нас найдется место в этой новой могиле, новоселье для мертвецов.

Бульдозер сгребал эти окоченевшие трупы, тысячи трупов, тысячи скелетоподобных мертвецов. Все было нетленно: скрюченные пальцы рук, гноящиеся пальцы ног — культи после обморожений, расчесанная в кровь сухая кожа и горящие голодным блеском глаза.

Уставшим, измученным своим мозгом я пытался понять — откуда в этих краях такая огромная могила. Ведь здесь не было, кажется, золотого прииска — я старый колымчанин. Но потом я подумал, что знаю только кусочек

этого мира, огороженный проволочной зоной с караульными вышками, напоминающими шатровые страницы градостроительства Москвы. Высотные здания Москвы — это караульные вышки, охраняющие московских арестантов — вот как выглядят эти здания. И у кого был приоритет — у Кремлевских ли башен-караулок или у лагерных вышек, послуживших образцом для московской архитектуры. Вышка лагерной зоны — вот была главная идея времени, блестяще выраженная архитектурной символикой.

Я подумал, что знаю только кусочек этого мира, ничтожную, маленькую часть, что в двадцати километрах может стоять избушка геологоразведчиков, следящих уран, или золотой прииск на тридцать тысяч заключенных. В складках гор можно спрятать очень много.

А потом я вспомнил жадный огонь кипрея, яростное цветение летней тайги, пытающейся скрыть в траве, в листве любое человеческое дело — хорошее и дурное. Что трава еще более забывчива, чем человек. И если забуду я — трава забудет. Но камень и вечная мерзлота не забудут.

Гриня Лебедев, отцеубийца, был хорошим трактористом и уверенно управлял хорошо смазанным заморским трактором. Гриня Лебедев тщательно делал свое дело: блестя бульдозерным ножом — щитом, подгребая трупы к могиле, сталкивал в яму, снова возвращался трелевать.

Начальство решило, что первым рейсом, первой работой бульдозера, полученного по лендлизу, будет не работа в лесу, а гораздо более важное дело.

Работа была кончена. Бульдозер нагреб на новую могилу кучу камней, щебня, и мертвецы скрылись под камнем. Но не исчезли.

Бульдозер приближался к нам. Гриня Лебедев, «бытовик», отцеубийца, не смотрел на нас — литерников, пятьдесят восьмую. Грине Лебедеву было поручено государственное задание, и он это задание выполнил. На каменном лице Грини Лебедева была высечена гордость, сознание исполненного долга.

Бульдозер прогрохотал мимо нас — на зеркале-ноже не было ни одной царапины, ни одного пятна.

СЕНТЕНЦИЯ

Надежде Яковлевне Мандельштам

Люди возникали из небытия — один за другим. Незнакомый человек ложился по соседству со мной на нары, приваливался ночью к моему костлявому плечу, отдавая свое тепло — капли тепла, и получая взамен мое. Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, телогрейки, и поутру я глядел на соседа, как на мертвеца, и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду. У меня было мало тепла. Не много мяса осталось на моих костях. Этого мяса достаточно было только для злости — последнего из человеческих чувств. Не равнодушие, а злость была последним человеческим чувством — тем, которое ближе к костям. Человек, возникший из небытия, исчезал днем — на угольной разведке было много участков — и исчезал навсегда. Я не знаю людей, которые спали рядом со мной. Я никогда не задавал им вопросов, и не потому, что следовал арабской пословице: «Не спрашивай, и тебе не будут лгать». Мне было все равно — будут мне лгать или не будут, я был вне правды, вне лжи. У блатных на сей предмет есть жесткая, яркая, грубая поговорка, пронизанная глубоким презрением к задающему вопрос: «Не веришь — прими за сказку». Я не расспрашивал и не выслушивал сказок.

Что оставалось со мной до конца? Злоба. И храня эту злобу, я рассчитывал умереть. Но смерть, такая близкая совсем недавно, стала понемногу отодвигаться. Не жизнью была смерть замещена, а полусознанием, существованием, которому нет формул и которое не может называться жизнью. Каждый день, каждый восход солнца приносил опасность нового, смертельного толчка. Но толчка не было. Я работал кипятильщиком — легчайшая из всех работ, легче, чем быть сторожем, но я не успевал нарубить дров для титана, кипятильника системы «Титан». Меня могли выгнать — но куда? Тайга далеко, поселок наш, «командировка» по-колымскому,— это как остров в таежном мире. Я еле таскал ноги, расстояние в двести метров от палатки до работы казалось мне бесконечным, и я не один раз садился отдыхать. Я и сейчас помню

все выбоины, все ямы, все рытвины на этой смертной тропе; ручей, перед которым я ложился на живот и лакал холодную вкусную целебную воду. Двуручная пила, которую я таскал то на плече, то волоком, держа за одну ручку, казалась мне грузом невероятной тяжести.

Я никогда не мог вовремя вскипятить воду, добиться, чтобы титан закипал к обеду.

Но никто из рабочих — из вольняшек,— все они были вчерашними заключенными — не обращал внимания, кипела ли вода или нет. Колыма научила всех нас различать питьевую воду только по температуре. Горячая, холодная, а не кипяченая и сырая.

Нам не было дела до диалектического скачка перехода количества в качество. Мы не были философами. Мы были работягами, и наша горячая питьевая вода этих важных качеств скачка не имела.

Я ел, равнодушно стараясь съесть все, что попадалось на глаза,— обрезки, обломки съестного, прошлогодние ягоды на болоте. Вчерашний или позавчерашний суп из «вольного» котла. Нет, вчерашнего супа у наших вольняшек не оставалось.

В палатке нашей было два ружья, два дробовика. Куропатки не боялись людей, и первое время птицу били прямо с порога палатки. Добыча запекалась целиком в золе костра или варилась, когда ощипывалась бережно. Пух-перо — на подушку,— тоже коммерция, верные деньги — приработок вольных хозяев ружей и таежных птиц. Выпотрошенные, ощипанные куропатки варились в консервных банках — трехлитровых, подвешенных к кострам. От этих таинственных птиц я никогда не находил никаких остатков. Голодные вольные желудки измельчили, смололи, иссосали все птичьи кости без остатка. Это тоже было одно из чудес тайги.

Я никогда не попробовал ни кусочка от этих куропаток. Мое — были ягоды, корни травы, пайка. И я — не умирал. Я стал все более равнодушно, без злобы, смотреть на холодное красное солнце, на горы, гольцы, где все: скалы, повороты ручья, лиственницы, тополя — было угловатым и недружелюбным. По вечерам с реки поднимался холодный туман — и не было часа в таежных сутках, когда мне было бы тепло.

Отмороженные пальцы рук и ног ныли, гудели от боли. Ярко-розовая кожа пальцев так и оставалась розовой, легко ранимой. Пальцы были вечно замотаны в какие-

то грязные тряпки, оберегая руку от новой раны, от боли, но не от инфекции. Из больших пальцев на обеих ногах сочился гной, и не было гною конца.

Меня будили ударом в рельс. Ударом в рельс снимали с работы. После еды я сразу ложился на нары, не раздеваясь, конечно, и засыпал. Палатка, в которой я спал и жил, виделась мне как сквозь туман — где-то двигались люди, возникала громкая матерная брань, возникали драки, наступало мгновенно безмолвие перед опасным ударом. Драки быстро угасали — сами по себе,— никто не удерживал, не разнимал, просто глохли моторы драки — и наступала ночная холодная тишина с бледным высоким небом сквозь дырки брезентового потолка, с храпом, хрипом, стонами, кашлем и беспамятной руганью спящих.

Однажды ночью я ощутил, что слышу эти стоны и хрипы. Ощущение было внезапным, как озарение, и не обрадовало меня. Позднее, вспоминая эту минуту удивления, я понял, что потребность сна, забытья, беспамятства стала меньше — я «выспался» — как говорил Моисей Моисеевич Кузнецов, наш кузнец, умница из умниц.

Появилась настойчивая боль в мышцах. Какие уж у меня были тогда мышцы — не знаю, но боль в них была, злила меня, не давала отвлечься от тела. Потом появилось у меня нечто иное, чем злость или злоба, существующие вместе со злостью. Появилось равнодушие — бесстрашие. Я понял, что мне все равно — будут меня бить или нет, будут давать обед и пайку — или нет. И хотя в разведке, на бесконвойной командировке, меня не били — бьют только на приисках,— я, вспоминая прииск, мерил свое мужество мерой прииска. Этим равнодушием, этим бесстрашием был переброшен мостик какой-то от смерти. Сознание, что бить здесь не будут, не бьют и не будут бить, рождало новые силы, новые чувства.

За равнодушием пришел страх — не очень сильный страх — боязнь лишиться этой спасительной жизни, этой спасительной работы кипятильщика, высокого холодного неба и ноющей боли в изношенных мускулах. Я понял, что боюсь уехать отсюда на прииск. Боюсь, и все. Я никогда не искал лучшего от хорошего в течение всей своей жизни. Мясо на моих костях день ото дня росло. Зависть — вот как называлось следующее чувство, которое вернулось ко мне. Я позавидовал мертвым своим товарищам — людям, которые погибли в тридцать восьмом году. Я

позавидовал и живым соседям, которые что-то жуют, соседям, которые что-то закуривают. Я не завидовал начальнику, прорабу, бригадиру — это был другой мир.

Любовь не вернулась ко мне. Ах, как далека любовь от зависти, от страха, от злости. Как мало нужна людям любовь. Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись. Любовь приходит последней, возвращается последней, да и возвращается ли она? Но не только равнодушие, зависть и страх были свидетелями моего возвращения к жизни. Жалость к животным вернулась раньше, чем жалость к людям.

Как самый слабый в этом мире шурфов и разведочных канав, я работал с топографом — таскал за топографом рейку и теодолит. Бывало, что для скорости передвижения топограф прилаживал ремни теодолита за свою спину, а мне доставалась только легчайшая, раскрашенная цифрами рейка. Топограф был из заключенных. С собой для смелости — тем летом было много беглецов в тайге — топограф таскал мелкокалиберную винтовку, выпросив оружие у начальства. Но винтовка нам только мешала. И не только потому, что была лишней вещью в нашем трудном путешествии. Мы сели отдохнуть на поляне, и топограф, играя мелкокалиберной винтовкой, прицелился в красногрудого снегиря, подлетевшего рассмотреть поближе опасность, увести в сторону. Если надо — пожертвовать жизнью. Самочка снегиря сидела где-то на яйцах — только этим объяснялась безумная смелость птички. Топограф вскинул винтовку, и я отвел ствол в сторону.

— Убери ружье!

— Да ты что? С ума сошел?

— Оставь птицу, и все.

— Я начальнику доложу.

— Черт с тобой и с твоим начальником.

Но топограф не захотел ссориться и ничего начальнику не сказал. Я понял: что-то важное вернулось ко мне.

Не один год я не видел газет и книг и давно выучил себя не сожалеть об этой потере. Все пятьдесят моих соседей по палатке, по брезентовой рваной палатке, чувствовали так же — в нашем бараке не появилось ни одной газеты, ни одной книги. Высшее начальство — прораб, начальник разведки, десятник — спускалось в наш мир без книг.

Язык мой, приисковый грубый язык, был беден — как бедны были чувства, еще живущие около костей.

Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, гражданин начальник, разрешите обратиться, лопата, шурф, слушаюсь, бур, кайло, на улице холодно, дождь, суп холодный, суп горячий, хлеб, пайка, оставь покурить — двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами. Существовал в юности, в детстве анекдот, как русский обходился в рассказе о путешествии за границу всего одним словом в разных интонационных комбинациях. Богатство русской ругани, ее неисчерпаемая оскорбительность раскрылась передо мной не в детстве и не в юности. Анекдот с ругательством выглядел здесь как язык какой-нибудь институтки. Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал. Не умел ответить на этот вопрос.

Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут — я это ясно помню — под правой теменной костью — родилось слово, вовсе непригодное для тайги, слово, которого и сам я не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:

— Сентенция! Сентенция!

И захохотал.

— Сентенция!— орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, орал, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось, обретено вновь — тем лучше, тем лучше! Великая радость переполняла все мое существо.

— Сентенция!

— Вот псих!

— Псих и есть! Ты — иностранец, что ли?— язвительно спрашивал горный инженер Вронский, тот самый Вронский. «Три табачинки».

— Вронский, дай закурить.

— Нет, у меня нету.

— Ну, хоть три табачинки.

— Три табачинки? Пожалуйста.

Из кисета, полного махорки, извлекались грязным ногтем три табачинки.

— Иностранец?— Вопрос переводил нашу судьбу в мир провокаций и доносов, следствий и добавок срока.

Но мне не было дела до провокационного вопроса Вронского. Находка была чересчур огромной.

— Сентенция!

— Псих и есть.

Чувство злости — последнее чувство, с которым человек уходил в небытие, в мертвый мир. Мертвый ли? Даже камень не казался мне мертвым, не говоря уже о траве, деревьях, реке. Река была не только воплощением жизни, не только символом жизни, но и самой жизнью. Ее вечное движение, рокот неумолчный, свой какой-то разговор, свое дело, которое заставляет воду бежать вниз по течению сквозь встречный ветер, пробиваясь сквозь скалы, пересекая степи, луга. Река, которая меняла высушенное солнцем, обнаженное русло и чуть-чуть видной ниточкой водной пробиралась где-то в камнях, повинуясь извечному своему долгу, ручейком, потерявшим надежду на помощь неба — на спасительный дождь. Первая гроза, первый ливень — и вода меняла берега, ломала скалы, кидала вверх деревья и бешено мчалась вниз той же самой вечной своей дорогой...

Сентенция! Я сам не верил себе, боялся, засыпая, что за ночь это вернувшееся ко мне слово исчезнет. Но слово не исчезало.

Сентенция. Пусть так переименуют речку, на которой стоял наш поселок, наша командировка «Рио-рита». Чем это лучше «Сентенции»? Дурной вкус хозяина земли — картографа ввел на мировые карты «Рио-риту». И исправить нельзя.

Сентенция — что-то римское, твердое, латинское было в этом слове. Древний Рим для моего детства был историей политической борьбы, борьбы людей, а Древняя Греция была царством искусства. Хотя и в Древней Греции были политики и убийцы — а в Древнем Риме было немало людей искусства. Но детство мое обострило, упростило, сузило и разделило два этих очень разных мира. Сентенция — римское слово. Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я шептал это слово, выкрикивал, пугал и смешил этим словом соседей. Я требовал у мира, у неба разгадки, объяснения, перевода... А через неделю понял — и содрогнулся от страха и радости. Страха — потому что пугался возвращения в тот мир, куда мне не было возврата. Радости — потому что видел, что жизнь возвращается ко мне помимо моей собственной воли.

Прошло много дней, пока я научился вызывать из глубины мозга все новые и новые слова, одно за другим.

Каждое приходило с трудом, каждое возникало внезапно и отдельно. Мысли и слова не возвращались потоком. Каждое возвращалось поодиночке, без конвоя других знакомых слов, и возникало раньше на языке, а потом — в мозгу.

А потом настал день, когда все, все пятьдесят рабочих бросили работу и побежали в поселок, к реке, выбираясь из своих шурфов, канав, бросая недопиленные деревья, недоваренный суп в котле. Все бежали быстрее меня, но и я доковылял вовремя, помогая себе в этом беге с горы руками.

Из Магадана приехал начальник. День был ясный, горячий, сухой. На огромном лиственничном пне, что у входа в палатку, стоял патефон. Патефон играл, преодолевая шипенье иглы, играл какую-то симфоническую музыку.

И все стояли вокруг — убийцы и конокрады, блатные и фрайера, десятники и работяги. А начальник стоял рядом. И выражение лица у него было такое, как будто он сам написал эту музыку для нас, для нашей глухой таежной командировки. Шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученный на целых триста лет...


ОЧЕРКИ
ПРЕСТУП-
НОГО
МИРА

ОБ ОДНОЙ ОШИБКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Художественная литература всегда изображала мир преступников сочувственно, подчас с подобострастием. Художественная литература окружила мир воров романтическим ореолом, соблазнившись дешевой мишурой. Художники не сумели разглядеть подлинного отвратительного лица этого мира. Это — педагогический грех, ошибка, за которую так дорого платит наша юность. Мальчику 14—15 лет простительно увлечься «героическими» фигурами этого мира; художнику это непростительно. Но даже среди больших писателей мы не найдем таких, кто, разглядев подлинное лицо вора, отвернулся бы от него или заклеймил его так, как должен был заклеймить все нравственно негодное всякий большой художник. По прихоти истории наиболее экспансивные проповедники совести и чести, вроде, например, Виктора Гюго, отдали немало сил для восхваления уголовного мира. Гюго казалось, что преступный мир — это такая часть общества, которая твердо, решительно и явно протестует против фальши господствующего мира. Но Гюго не дал себе труда посмотреть — с каких же позиций борется с любой государственной властью это воровское сообщество. Немало мальчиков искало знакомства с живыми «мизераблями» после чтения романов Гюго. Кличка «Жан Вальжан» до сих пор существует среди блатарей.

Достоевский в своих «Записках из Мертвого дома» уклоняется от прямого и резкого ответа на этот вопрос. Все эти Петровы, Лучки, Сушиловы, Газины — все это, с точки зрения подлинного преступного мира — «настоящих блатарей» — «асмодеи», «фрайера», «черти», «мужики», то есть такие люди, которые презираются, грабятся, топчутся настоящим «преступным миром». С точки зрения блатных — убийцы и воры Петров и Сушилов гораздо ближе к автору «Записок из Мертвого дома», чем к ним самим. «Воры» Достоевского такой же объект нападения и грабежа, как и Александр Петрович Горянчиков и равные ему, какая бы пропасть ни разделяла дворян-преступников от простого народа. Трудно сказать,

почему Достоевский не пошел на правдивое изображение воров. Вор ведь — это не тот человек, который украл. Можно украсть и даже систематически воровать, но не быть блатным, то есть не принадлежать к этому подземному гнусному ордену. По-видимому, в каторге Достоевского не было этого «разряда». «Разряд» этот не карается обычно такими большими сроками наказания, ибо бо́льшую массу его не составляют убийцы. Вернее, во времена Достоевского не составляли. Блатных, ходивших «по мокрому», тех, у кого рука «дерзкая», было не так много в преступном мире. «Домушники», «скокари», «фармазоны», «карманники» — вот основные «категории» общества «у́рок» или «уркаганов», как называет себя преступный мир. Слово «преступный мир» — это термин, выражение определенного значения. Жулик, урка, уркаган, человек, блатарь — это все синонимы. Достоевский на своей каторге их не встречал, а если бы встретил, мы лишились бы, может быть, лучших страниц этой книги — утверждения веры в человека, утверждения доброго начала, заложенного в людской природе. Но с блатными Достоевский не встречался. Каторжные герои «Записок из Мертвого дома» такие же случайные в преступлении люди, как и сам Александр Петрович Горянчиков. Разве, например, воровство друг у друга — на котором несколько раз останавливается, особо его подчеркивая, Достоевский,— разве это возможная вещь в блатном мире? Там — грабеж «фрайеров», дележ добычи, карточная игра и последующее скитание вещей по разным хозяевам-блатарям в зависимости от победы в «стос» или «буру». В «Мертвом доме» Газин продает спирт, делают это и другие «целовальники». Но спирт блатные отняли бы у Газина мгновенно, карьера его не успела бы развернуться.

По старому «закону», блатарь не должен работать в местах заключения, за него должны работать «фрайера». Мясниковы и Варламовы получили бы в блатном мире презрительную кличку «волжский грузчик». Все эти «мослы» (солдаты), «баклушины», «акулькины мужья», все это вовсе не мир профессиональных преступников, не мир блатных. Это просто люди, столкнувшиеся с негативной силой закона, столкнувшиеся случайно, в потемках переступившие какую-то грань, вроде Акима Акимовича — типичного «фраерюги». Блатной же мир — это мир особого закона, ведущий вечную войну с тем миром, представителями которого являются и Аким Акимович, и Пет-

ров, вкупе с восьмиглазым плац-майором. Плац-майор блатарям даже ближе. Он богом данное начальство, с ним отношения просты, как с представителем власти, и такому плац-майору любой блатной немало наговорит о справедливости, о чести и о прочих высоких материях. И наговаривает уже не первое столетие. Угреватый, наивный плац-майор — это их открытый враг, а Акимы Акимовичи и Петровы — их жертвы.

Ни в одном из романов Достоевского нет изображений блатных. Достоевский их не знал, а если видел и знал, то отвернулся от них как художник.

У Толстого нет никаких впечатляющих портретов этого сорта людей, даже в «Воскресении», где внешние и иллюстрирующие штрихи наложены так, что художнику за них отвечать не приходится.

Сталкивался с этим миром Чехов. Что-то было в его сахалинской поездке такое, что изменило почерк писателя. В нескольких послесахалинских письмах Чехов прямо указывает, что после этой поездки все написанное им раньше кажется пустяками, недостойными русского писателя. Как и в «Записках из Мертвого дома», на острове Сахалин оглупляющая и растлевающая мерзость мест заключения губит и не может не губить чистое, хорошее, человеческое. Блатной мир ужасает писателя. Чехов угадывает в нем главный аккумулятор этой мерзости, некий атомный реактор, сам восстанавливающий топливо для себя. Но Чехов мог только всплеснуть руками, грустно улыбнуться, указать мягким, но настойчивым жестом на этот мир. Он тоже знал его по Гюго. На Сахалине Чехов был слишком мало, и для своих художественных произведений до самой смерти он не имел смелости взять этот материал.

Казалось бы, биографическая сторона творчества Горького должна бы дать ему повод для правдивого, критического показа блатных. Челкаш — несомненный блатарь. Но этот вор-рецидивист изображен в рассказе с той же принудительной и лживой верностью, как и герои «Отверженных». Гаврилу, конечно, можно толковать не только как символ крестьянской души. Он ученик уркагана Челкаша. Пусть случайный, но обязательный. Ученик, который, быть может, завтра будет «порченым штыпом», поднимется на одну ступень лестницы, ведущей в преступный мир. Ибо, как говорил один блатной философ, «никто не рождается блатным, блатными делают-

ся». В Челкаше Горький, сталкивавшийся с блатным миром в юности, лишь отдал дань тому малограмотному восхищению перед кажущейся свободой суждения и смелостью поведения этой социальной группы.

Васька Пепел («На дне») — весьма сомнительный блатной. Так же, как и Челкаш, он романтизирован, возвеличен, а не развенчан. Несколько внешних, верных черт этой фигуры, явная симпатия автора приводят к тому, что и Пепел служит недоброму делу.

Таковы попытки изображения Горьким преступного мира. Он также не знал этого мира, не сталкивался, по-видимому, с блатными по-настоящему, ибо это, вообще говоря, затруднительно для писателя. Блатной мир — это закрытый, хотя и не очень законспирированный «орден», и посторонних для обучения и наблюдения туда не пускают. Ни с Горьким-бродягой, ни с Горьким-писателем никакой блатной по душам не разговорится, ибо Горький для него прежде всего — «фрайер».

В двадцатые годы литературу нашу охватила мода на налетчиков. «Беня Крик» Бабеля, леоновский «Вор», «Мотькэ Малхамовес» Сельвинского, «Васька Свист в переплете» В. Инбер, каверинский «Конец хазы», наконец, фармазон Остап Бендер Ильфа и Петрова — кажется, все писатели отдали легкомысленную дань внезапному спросу на уголовную романтику. Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за «свежую струю» в литературе и соблазнила много опытных литературных перьев. Несмотря на чрезвычайно слабое понимание существа дела, обнаруженное всеми упомянутыми, а также и всеми не упомянутыми авторами произведений на подобную тему, они имели успех у читателя, а следовательно, приносили значительный вред.

Дальше пошло еще хуже. Наступила длительная полоса увлечения пресловутой «перековкой», той самой перековкой, над которой блатные смеялись и не устают смеяться по сей день. Открывались Болшевские и Люберецкие коммуны, 120 писателей написали «коллективную» книгу о Беломорско-Балтийском канале, книга издана в макете, чрезвычайно похожем на иллюстрированное Евангелие. Литературным венцом этого периода явились погодинские «Аристократы», где драматург в тысячный раз повторил старую ошибку, не дав себе труда сколько-нибудь серьезно подумать над теми живыми людьми, которые сами в жизни

разыграли несложный спектакль перед глазами наивного писателя.

Много выпущено книг, кинофильмов, поставлено пьес на темы перевоспитания людей уголовного мира. Увы!

Преступный мир с гуттенберговских времен и по сей день остается книгой за семью печатями для литераторов и для читателей. Бравшиеся за эту тему писатели разрешали эту серьезнейшую тему легкомысленно, увлекаясь и обманываясь фосфорическим блеском уголовщины, наряжая ее в романтическую маску и тем самым укрепляя у читателя вовсе ложное представление об этом коварном, отвратительном мире, не имеющем в себе ничего человеческого.

Возня с различными «перековками» создала передышку для многих тысяч воров-профессионалов, спасла блатарей.

Что же такое «преступный мир»?

ЖУЛЬНИЧЕСКАЯ КРОВЬ

Как человек перестает быть человеком?

Как делаются блатарями?

В преступный мир приходят и со стороны: колхозник, отбывший за мелкую кражу наказание в тюрьме и связавший отныне свою судьбу с уголовниками; бывшие стиляги, уголовные деяния которых приблизили их к тому, о чем они знали лишь понаслышке; заводской слесарь, которому «не хватает денег на удалые гулянки с товарищами; люди, которые не имеют профессии, а хотят жить в свое удовольствие, а также люди, которые стыдятся просить работу или милостыню — на улице или в государственном учреждении — это все равно, и предпочитают отнимать, а не просить. Это дело характера, а зачастую примера. Просить работу — это тоже очень мучительно для больного, уязвленного самолюбия оступившегося человека. Особенно подростка. Просить работу — унижение не меньшее, чем просить милостыню. Не лучше ли...

Дикий, застенчивый характер человека подсказывает ему решение, всю серьезность и опасность которого подросток просто не в силах, не может еще оценить. У каждого человека в разное время его жизни бывает необхо-

димость решить что-то важное, «переломить» большинству это важное приходится делать в мо... ды, когда опыт мал, а вероятность ошибок вели... Но в это время также мала и рутина поступков, а велика смелость, решительность.

Поставленный перед трудным выбором, обманутый художественной литературой и тысячей обывательских легенд о таинственном преступном мире, подросток делает страшный шаг, после которого подчас нет возврата.

Потом он привыкает, озлобляется окончательно сам и сам начинает вербовать молодежь в ряды этого проклятого ордена.

В практике этого ордена есть одна важная тонкость, вовсе не замечаемая даже специальной литературой.

Дело в том, что этим подземным миром правят потомственные воры — те, у которых старшие родственники — отцы, деды или хотя бы дяди, старшие братья были урканами; те, которые выросли с раннего детства в блатных традициях, в блатном ожесточении ко всему миру; те, которые не могут променять своего положения на другое по понятным причинам, те, чья «жульническая кровь» не вызывает сомнения в своей чистоте.

Потомственные воры и составляют правящее ядро уголовного мира, именно им принадлежит решающий голос во всех суждениях «правилок», этих «судов чести» блатарей, составляющих необходимое, крайне важное условие этой подземной жизни.

Во время так называемого раскулачивания блатной мир расширился сильно. Его ряды умножились — за счет сыновей тех людей, которые были объявлены «кулаками». Расправа с «раскулаченными» умножила ряды блатного мира. Однако никогда и нигде никто из бывших «раскулаченных» не играл видной роли в преступном мире.

Они грабили лучше всех, участвовали в кутежах и гулянках громче всех, пели блатные песни крикливей всех, ругались матерно, превосходя всех блатарей в этой тонкой и важной науке сквернословия, в точности имитировали блатарей и все же были только имитаторами, только подражателями.

В сердцевину блатного мира эти люди допущены не были. Редкие одиночки, особенно отличившиеся — не своими «героическими подвигами» во время ограблений, но усвоением правил блатного поведения, участвовали иногда

...ках» высших воровских кругов. Увы — они не ...что сказать на этих правилках. При малейшем ...олкновении, а каждый блатарь — весьма истеричная особа — чужакам напоминали их «чуждое» происхождение.

— Ты — порчак! А открываешь хавало! Какой ты вор? Ты волжский грузчик, а не вор! Ты — олень самый настоящий!

«Порчак», то есть «порченый фрайер» — фрайер, который уже перестал быть фрайером, но еще не стал блатарем («Это еще не птица, но уже не четвероногое» — как говорил Жак Паганель у Жюля Верна). И «порчак» терпеливо сносит оскорбления. «Порчаки» не бывают, конечно, хранителями традиций воровского мира.

Для того чтобы быть «хорошим», настоящим вором, нужно вором родиться; только тем, кто с самых юных лет связан с ворами, и притом с «хорошими, известными ворами», кто прошел полностью многолетнюю науку тюрьмы, кражи и блатного воспитания, достается решать важные вопросы блатной жизни.

Каким ты видным грабителем ни будь, какая тебя ни сопровождает удача, ты всегда останешься чужаком-одиночкой, человеком второго сорта среди потомственных воров. Мало воровать, надо принадлежать к этому ордену, а это дается не только кражей, не только убийством. Вовсе не всякий «тяжеловес», вовсе не всякий убийца — только потому, что он — грабитель и убийца — занимает почетное место среди блатарей. Там есть свои блюстители чистоты нравов, и особо важные воровские секреты, касаемые выработки общих законов этого мира (которые, как и жизнь, меняются), выработки языка воров, «блатной фени» — дело только блатарской верхушки, состоящей из потомственных воров, хотя бы там были только карманники.

И даже к мнению мальчика-подростка (сына, брата какого-нибудь видного вора) блатной мир будет прислушиваться больше, чем к суждениям «порчаков» — пусть они будут хоть Ильями Муромцами в грабительском деле.

И «марьян» — женщин блатного мира — будут делить в зависимости от знатности хозяина... Их получат сначала обладатели «голубой крови», а в последнюю очередь — «порчаки».

Блатари немало заботятся о подготовке своей «смены»,

о выращивании «достойных» продолжателей их дела.

Страшный мишурный плащ уголовной романтики ярким маскарадным блеском привлекает юношу, мальчика, чтобы его отравить своим ядом навсегда.

Этот фальшивый блеск стекляруса, выдающего себя за алмаз, повторен тысячей зеркал художественной литературы.

Можно сказать, что художественная литература вместо того, чтобы заклеймить уголовщину, сделала обратное: подготовила почву для расцвета ядовитых ростков в неопытной, неискушенной душе молодежи.

Юноша не в силах сразу разобраться, разглядеть истинное лицо уркаганов,— а потом бывает уже поздно, он оказывает содействие ворам, сблизившийся с ними любой, даже самой малой, близостью — уже заклеймен и обществом, а со своими новыми товарищами связан на жизнь и смерть.

Существенно и то, что в нем самом уже копится личная озлобленность, появляются личные счеты с государством и его представителями. Ему кажется, что его страсти, его личные интересы приходят в неразрешимый конфликт с обществом, с государством. Ему кажется, что он платит слишком дорого за свои «проступки», которые государство называет не проступками, а преступлениями.

Его манит и извечная тяга юности к «плащу и шпаге», к таинственной игре, а здесь «игра» не шуточная, а живая кровавая игра, по своей психологической напряженности не идущая ни в какое сравнение с постными «Учениками Иисуса» или «Тимуром и его командой». Творить зло гораздо увлекательней, чем творить добро. С застучавшим сердцем входя в это воровское подполье, мальчик рядом с собой видит тех людей, которых боятся его папа и мама. Он видит их кажущуюся независимость, ложную свободу. Хвастливое их вранье мальчик принимает за чистую монету. В блатарях он видит людей, которые бросают вызов обществу. Вместо нелегкого добывания трудовой копейки юноша видит «щедрость» вора, «шикарно» разбрасывающего ассигнации после удачного грабежа. Он видит, как пьет и гуляет вор, и эти картины разгула далеко не всегда отпугивают юношу. Он сравнивает скучную, повседневную, скромную работу отца и матери с «трудом» воровского мира, где надо быть, кажется, только смелым... Мальчик не думает о том, сколько чужого труда и чужой человеческой крови награбил и тратит, не считая, этот его

герой. Там есть всегда водка, «план», кокаин, и мальчику дают выпить, и восторг подражания охватывает его.

Среди своих сверстников, бывших товарищей, он замечает некоторое отчуждение, смешанное с боязнью, и по наивности своей детской принимает это отношение за уважение к себе.

А главное — он видит, что все боятся воров, боятся, что любой может зарезать, выколоть глаза...

В «шалман» является какой-нибудь Иван Корзубый из тюрьмы и тысячи рассказов приносит с собой — кого он видел, кто за что и на сколько осужден — все это опасно и пленительно.

Юноша видит, что люди живут, обходясь без того, что бывает постоянной заботой в семье.

Вот юноша пьян по-настоящему, вот он уже бьет проститутку — бабу он должен уметь бить!— это одна из традиций новой жизни.

Юноша мечтает об окончательной шлифовке, окончательном приобщении к «ордену». Это — тюрьма, которой он приучен не бояться.

Старшие его берут «на дело» — на первых порах стоять где-нибудь «на вассере» (на страже). Вот уже и взрослые воры ему доверяют, а вот он ворует и сам, и сам «распоряжается».

Он быстро усваивает манеры, непередаваемой наглости усмешку, походку, выпускает брюки на сапоги особым напуском, надевает крест на шею, покупает шапку-кубанку на зиму, «капитанку»— летом.

В первую же свою тюремную отсидку он татуируется новыми друзьями — мастерами этого дела. Опознавательный знак его принадлежности к ордену блатарей, как каиново клеймо, навечно нанесен синей тушью на его тело. Много раз после будет он жалеть о наколках, много крови испортят они блатарю. Но все это будет после, много после.

Он давно уже овладел «блатной феней», воровским языком. Он бойко услуживает старшим. В поведении своем мальчик боится скорее недосолить, чем пересолить.

И дверь за дверью открывает блатной мир перед ним свои последние глубины.

Вот он уже принимает участие в кровавых «правилках», «судах чести», и его, как и всех остальных, заставляют «расписаться» на трупе удавленного по приговору блатного суда. Кто-то сует ему в руки нож, и он тычет

ножом в еще теплый труп, доказывая свою полную солидарность с действиями своих учителей.

Вот он и сам убивает по приговору старших указанного ему «предателя», «суку».

Среди блатных вряд ли есть хоть один человек, который не был бы когда-либо убийцей.

Такова схема воспитания молодого блатаря из юноши чужого мира.

Проще воспитываются представители «голубой крови», потомственные блатари или те, что никакой жизни, кроме воровской, не знали и не собирались ее знать.

Не нужно думать, что эти люди, из которых и выходят идеологи и вожди блатного мира, эти принцы жульнической крови воспитываются каким-то особенным, тепличным способом. Отнюдь нет. Их никто не оберегает от опасностей. Просто на их пути к вершинам или, вернее, к наиболее глубоким ямам блатного дна стоит меньше препятствий. Их путь проще, скорее, безоговорочней. Им раньше верят, раньше дают воровские поручения.

Но много лет юный блатарь, хотя бы его предками были самые влиятельные вельможи воровской среды, трется около взрослых бандитов, им боготворимых, бегает им за папиросами, подносит «огонька» прикурить, таскает «ксивёнки» — записки, всячески услуживает. Много лет проходит, пока его возьмут на кражу.

. . . .

Вор — ворует, пьет, гуляет, развратничает, играет в карты, обманывает фрайеров, не работает ни на воле, ни в заключении, кровавой расправой уничтожает ренегатов и участвует в «правилках», вырабатывающих важные вопросы подземной жизни.

Он хранит блатные тайны (их немало), помогает товарищам по «ордену», вовлекает и воспитывает юношество и следит за сохранением в суровой чистоте воровского закона.

Кодекс несложен. Но за столетия он оброс тысячами традиций, святых обычаев, мелочное выполнение которых тщательно блюдется хранителями воровских заветов. Блатари — большие талмудисты. Для того чтобы обеспечить наилучшее выполнение воровских законов, время от времени устраивают великие, повсеместные подпольные собрания, где и выносятся решения, диктующие правила поведения применительно к новым условиям жизни, про-

изводятся (вернее, утверждаются) замены слов в вечно меняющемся воровском лексиконе, «блатной фене».

Все люди мира, по философии блатарей, делятся на две части. Одна часть — это «люди», «жулье», «преступный мир», «урки», «уркаганы», «блатари», «жуки-куки» и т. п.

Другая — «фрайера», то есть «вольные». Старинное слово «фрайер» — одесского происхождения. В «блатной музыке» прошлого столетия много жаргонных еврейско-немецких слов.

Другие названия фрайеров — «штымпы», «мужики», «олени», «асмодеи», «черти». Есть «порченые штымпы», близкие к блатарям, и «битые фрайера» — знакомые с делами блатного мира, разгадавшие их хотя бы частично, опытные; «битый фрайер» — это, значит, опытный, произносится это с уважением. Это — разные миры, и не только тюремная решетка разделяет их.

«Мне говорят, что я подлец. Хорошо, я — подлец. Я подлец, и мерзавец, и убийца. Но что из этого? Я не живу вашей жизнью, у меня жизнь своя, у нее другие законы, другие интересы, другая честность!» — так говорит блатарь.

Ложь, обман, провокация по отношению к фрайеру, хотя бы к человеку, который спас блатаря от смерти — все это не только в порядке вещей, но и особая доблесть блатного мира, его закон.

Хуже чем наивны призывы Шейнина к «доверию» преступному миру, «доверию», за которое уже заплачено слишком большой кровью.

Лживость блатарей не имеет границ, ибо в отношении фрайеров (а «фрайера» — это весь мир, кроме блатарей) нет другого закона, кроме закона обмана — любым способом: лестью, клеветой, обещанием...

Фрайер и создан для того, чтобы его обманывали; тот, который настороже, который имел уже печальный опыт общения с блатарями, называется «битым фрайером» — особая группа «чертей».

Нет границ, нет пределов этим клятвам и обещаниям. Баснословное количество всяких и всяческих начальников, штатных и нештатных воспитателей, милиционеров, следователей ловилось на немудреную удочку «честного слова вора». Наверное, каждый из тех работников, в обязанности которых входит ежедневное общение с жульем, много раз попадался на эту приманку.

Попадался и дважды, и трижды, потому что никак не мог понять, что мораль блатного мира — другая мораль, что так называемая готтентотская мораль с ее критерием непосредственной пользы — невиннейшая по сравнению с мрачной блатарской практикой.

Начальники («начальнички», как их зовут блатари) неизменно оказывались обманутыми, одураченными...

А тем временем в городах с непонятным упорством возобновляли насквозь фальшивую и вредную пьесу Погодина, и новые поколения «начальничков» проникались понятиями о «чести» Кости-капитана.

Вся воспитательная работа с ворами, на которую ухлопали миллионы государственных денег, все эти фантастические «перековки» и легенды Беломорканала, давно ставшие притчей во языцех и предметом досужих острот блатарей, вся воспитательная работа держалась на такой эфемерной штуке, как «честное слово вора».

— Подумайте,— говорит какой-нибудь специалист по блатному миру, «начитанник» Бабеля и Погодина,— ведь Костя-капитан не то что дал «честное слово» исправиться. Меня, старого воробья, на этой мякине не проведешь. Я не такой уж фрайер, чтобы не понимать, что дать честное слово им ничего не стоит. Но ведь Костя-капитан дал «честное слово вора». Вора! Вот ведь в чем штука. Уж этого своего слова он не сдержать не может. Его «аристократическое» самолюбие этого не допустит. Он умрет от презрения к самому себе, нарушившему «честное слово вора».

Бедный, наивный начальник! Дать честное слово вора фрайеру, обмануть его, а затем растоптать клятву и нарушить ее — это воровская доблесть, предмет хвастливых россказней где-нибудь на тюремных нарах.

Много побегов было облегчено, подготовлено благодаря вовремя данному «честному слову вора». Если бы каждый начальник знал (а знают это только начальники, умудренные многолетним опытом общения с «капитанами»), что такое клятва вора, и по достоинству ее оценил — крови, жестокостей было бы гораздо меньше.

Но, может быть, мы ошибаемся, когда пытаемся связать два этих разных мира — «фрайеров» и «уркаганов»?

Может быть, законы чести, морали действуют в мире «жулья» по-своему, и мы просто не вправе адресоваться в мир блатарей с нашими моральными мерками?

Может быть, «честное слово вора», данное не фрайе-

ру, а «вору в законе» — есть настоящее честное слово?

Это и есть тот романтический элемент, который волнует юношеское сердце, который как бы оправдывает, вносит дух некоей, хотя и своеобразной, «моральной чистоплотности» в воровской быт, в отношения людей внутри этого мира. Быть может, подлость есть понятие разное для мира фрайеров и для блатного общества? Душевными движениями уркаганов управляет, дескать, свой закон. И только встав на их точку зрения, мы и поймем, и даже признаем де-факто специфичность воровской морали.

Так не прочь думать и некоторые блатари поумнее. Не прочь и в этом вопросе «запудрить мозги» простаков.

Любая кровавая подлость в отношении фрайера оправдана и освящена законами блатного мира. Но в отношении к своим товарищам вор, казалось бы, должен быть честен. К этому зовут его блатные скрижали, и жестокая расплата ждет нарушителей «товарищества».

Здесь та же театральная рисовка и хвастливая ложь с первого до последнего слова. Достаточно посмотреть поведение законодателей блатных мод в трудных условиях, когда под руками мало фрайерского материала, когда приходится вариться в собственном соку.

Вор покрупнее, «авторитетнее» (слово «авторитет» в большом ходу среди воров — «заимел авторитет» и т. п.), физически сильнее держится угнетением воров поменьше, которые таскают ему пищу, ухаживают за ним. И если приходится кому-то идти работать, то на работу посылаются свои же товарищи послабее, и теперь от них, этих своих товарищей, блатная верхушка требует того же, что требовала раньше от фрайеров.

Грозная поговорка «умри ты сегодня, а я завтра» начинает повторяться все чаще и чаще во всей своей кровавой реальности. Увы, в блатарской поговорке нет никакого переносного смысла, никакой условности.

Голод заставляет блатаря отнимать и поедать порции своих менее «авторитетных» друзей, посылать их в экспедиции, имеющие очень мало общего с правильным выполнением воровских законов.

Везде рассылают грозные записки — «ксивы» с просьбами о помощи, и, если есть возможность заработать кусок хлеба, а украсть нельзя — те, что помельче, идут работать, «пахать». Их посылают на работу так, как на убийство. За убийство расплачиваются вовсе не главари, главари только приговаривают к смерти. Убивают мелкие

воры, под страхом собственной смерти. Убивают или выкалывают глаза (весьма распространенная «санкция» в отношении фрайеров).

В трудном положении воры также доносят лагерным начальникам друг на друга. О доносах же на «фрайеров», на «Иван Иванычей», на «политиков» и говорить нечего. Эти доносы — путь к облегчению жизни блатаря, предмет его особой гордости.

Рыцарские плащи слетают, и остается подлость как таковая, которой проникнута философия блатаря. Логическим образом, эта подлость в трудных условиях обращается на своих товарищей по «ордену». В этом нет ничего удивительного. Подземное уголовное царство — мир, где целью жизни ставится жадное удовлетворение низменнейших страстей, где интересы — скотские, хуже скотских, ибо любой зверь испугался б тех поступков, на которые с легкостью идут блатари.

(«Самый страшный зверь — человек» — распространенная блатная присказка опять-таки в буквальности, в реальности.)

Представитель такого мира не может выказать духовной твердости в положении, угрожающем смертью или длительными физическими мучениями, он и не проявляет этой твердости.

Было бы большой ошибкой думать, что понятия «пить», «гулять», «развратничать» одинаковы с соответственными понятиями «фрайерского» мира. Увы! Все «фрайерское» выглядит крайне целомудренно в сравнении с дикими сценами блатарского быта.

В больничную палату к блатарям — больным (симулянтам и аггравантам, конечно) добирается (то ли по вызову, то ли по собственному почину) какая-либо зататуированная проститутка или «городушница», и ночью (пригрозив дежурному санитару ножом) возле этой новоявленной святой Терезы собирается компания блатарей. Все, кто имеет «жульническую кровь», могут принять участие в этом «удовольствии». Задержанная, не смущаясь и не краснея, объясняет, что «пришла выручить ребят — ребята попросили».

Блатари все — педерасты. Возле каждого видного блатаря вьются в лагере молодые люди с набухшими мутными глазами: «Зойки», «Маньки», «Верки» — которых блатарь подкармливает и с которыми он спит.

В одном из лагерных отделений (где не было голодно)

блатари приручили и развратили собаку-суку. Ее прикармливали, ласкали, потом спали с ней, как с женщиной, открыто, на глазах всего барака.

В возможность обыденности подобных случаев не хотят верить из-за их чудовищности. Но это — быт.

Был женский прииск, многолюдный, с тяжелой «каменной» работой, с голодом. Блатарю Любову удалось попасть туда на «работу».

«Эх, славно пожил зиму,— вспоминал блатарь.— Там, ясное дело, все за хлеб, за паечку. И обычай, уговор такой был: отдаешь пайку ей в руки — ешь! пока я с ней, должна она эту паечку съесть, а что не успеет — отбираю обратно. Вот я утром паечку получаю — и в снег ее! Заморожу пайку — много ли баба угрызет замороженного-то хлеба...»

Трудно, конечно, представить, что человеку может прийти в голову такое.

Но в блатаре и нет ничего человеческого.

В лагере дают на руки заключенным кое-какие деньги, какой-то остаток после оплаты «коммунальных услуг» в виде конвоя, брезентовых палаток на шестидесятиградусном морозе, тюрем, пересылок, обмундирования, питания. Остаток мизерен, но все же он — призрак денег. Масштабы смещены, и даже ничтожная «зарплата» —20—30 рублей в месяц — вызывает интерес у заключенных. На 20—30 рублей можно купить хлеба, много хлеба — разве это не важная мечта, сильнейший «стимул» во время тяжелой многочасовой работы в забое, работы на морозе и в голоде и холоде. Интересы людей сужены, но интересы не стали менее сильными, когда люди стали полулюдьми.

Заработную плату, получку, платят раз в месяц, и в этот день блатари обходят все фрайерские бараки, заставляя отдавать деньги — в зависимости от совести «рэкетиров», или половину, или все. Если не отдают добровольно, то все отнимается насильно, с побоями — ломом, кайлом, лопатой.

На эти заработки охотников и без блатарей много. Часто бригады с хорошей продовольственной карточкой, бригады, которые лучше питаются, предупреждены бригадиром, что денег получать рабочие не будут, что деньги пойдут десятнику или нормировщику. А если не согласны, то и карточки будут плохие, тем самым арестанты обрекаются на голодную смерть.

Поборы «начальничков» — нормировщиков, бригадиров, смотрителей — повсеместное явление.

Грабежи, совершаемые блатарями, встречаются всюду. Рэкет узаконен и никого не удивляет.

В 1938 году, когда между начальством и блатарями существовал почти официальный «конкордат», когда воры были объявлены «друзьями народа», высокое начальство искало в блатарях орудие борьбы с «троцкистами», с «врагами народа». Проводились даже «политзанятия» с блатарями в КВЧ, где работники культуры разъясняли блатарям симпатии и надежды властей и просили у них помощи в деле уничтожения «троцкистов».

— Эти люди присланы сюда для уничтожения, а ваша задача — помочь нам в этом деле,— вот подлинные слова инспектора КВЧ прииска «Партизан» Шарова, сказанные им на таких «занятиях» зимой в начале 1938 года.

Блатари ответили полным согласием. Еще бы! Это спасало им жизнь, делало их «полезными» членами общества.

В лице «троцкистов» они встретили глубоко ненавидимую ими «интеллигенцию». Кроме того, в глазах блатарей это были «начальнички», попавшие в беду, начальники, которых ждала кровавая расплата.

Блатари при полном одобрении начальства приступили к избиениям «фашистов» — другой клички не было для пятьдесят восьмой статьи в 1938 году.

Люди покрупнее, вроде Эшбы, бывшего секретаря Северо-Кавказского крайкома партии, были арестованы и расстреляны на знаменитой «Серпантинке», а остальных добивали блатари, конвой, голод и холод. Велико участие блатарей в ликвидации «троцкистов» в 1938 году.

«Бывают же случаи,— скажут мне,— когда вор, если ему оказать поблажку, держит свое слово и — незримо — обеспечивает «порядок» в лагере».

— Мне выгоднее,— говорит начальник,— чтоб пять-шесть воров не работало вовсе или работало где хотело,— зато остальное лагерное население, не обижаемое ворами, будет работать хорошо. Тем более что конвоя — не хватает. Воры обещают не красть и следить за тем, чтобы все остальные заключенные работали. Правда, в части выполнения норм этими остальными гарантий воры не дают, но это уж дело десятое.

Случаи такой договоренности между ворами и местным начальством не так уж редки.

Начальник не стремится к точному выполнению правил лагерного режима, он облегчает свою задачу, и облегчает значительно. Такой начальник не понимает, что он уже пойман ворами «на крючок», что он уже «на крючке» у воров. Он уже отступил от закона, делая поблажку ворам из расчета ложного и преступного — потому что «фрайерское» население лагеря обрекается начальником во власть воров. Из этого «фрайерского» населения у начальника найдут защиту только «бытовики», осужденные по служебным и бытовым преступлениям, то есть казнокрады, убийцы и взяточники. Осужденные же по пятьдесят восьмой статье защиты не найдут.

Эта первая поблажка ворам легко приводит начальников в более тесное общение с «преступным миром». Начальник берет взятку — «борзыми щенками» или деньгами — тут дело решается опытностью дающего, жадностью получающего. Воры — мастера давать взятку. Тем легче, щедрее это делается, что вручаемое — приобретено кражей, грабежом.

Дается тысячный костюм (блатари и носят, и хранят очень хорошие «вольные» вещи именно для взятки в нужных случаях), обувь какая-нибудь замечательная, золотые часы, значительная сумма денег...

Не берет начальник, «смажут» его жену, приложат всю энергию для того, чтобы «начальничек» только взял раз и два. Это — подарки. У «начальничка» ничего не попросят взамен. Ему будут давать и благодарить. Попросят позже — когда «начальничек» будет опутан воровскими сетями покрепче и будет бояться разоблачения перед высшим начальством. Такое разоблачение — угроза веская и легко осуществимая.

Честное же слово вора в том, что никто ничего не узнает,— это ведь клятва вора «фрайеру».

Кроме всего прочего, обещание не воровать — это обещание не воровать заметно, не грабить — и только. Не будет же начальник отпускать воров в воровские экспедиции (хотя и такие случаи бывали). Воровать воры будут все равно, ибо это их жизнь, их закон. Они могут пообещать начальнику не воровать у себя на прииске, не обкрадывать лагерную обслугу, не обкрадывать

лагерные ларьки, охрану — но все это — лживо. Найдутся старшие, которые охотно разрешат своих товарищей от такого рода «присяги».

Если дано обещание не воровать — это значит, что рэкет будет сопровождаться более грозным запугиванием, вплоть до угроз убийством.

В тех лагерных отделениях заключенные живут хуже всего, бесправней всего, голоднее всего, меньше зарабатывают и хуже едят, где воры командуют нарядчиками, поварами, надзирателями и самими начальниками.

Примеру начальников следовал и лагерный конвой.

Не один год конвой, сопровождающий заключенных на работу, «отвечал» за выполнение плана. Эта ответственность была не вполне настоящей и деловой, а вроде ответственности профсоюзников. Однако, подчиняясь воинскому приказу, конвоиры требовали от заключенных работы. «Давай, давай» — стало привычным возгласом не только в устах бригадиров, смотрителей и десятников, но и конвоиров. Конвоиры, для которых это было лишней нагрузкой, кроме чисто охранных дел, не очень одобрительно встретили новые неоплачиваемые свои обязанности. Но приказ есть приказ, и в ход чаще пошел приклад, выбивая «проценты» из заключенных.

Вскоре — хочу думать, что эмпирически — конвой нашел выход из положения, несколько затрудненного настойчивыми производственными приказами конвойного начальства.

Конвоиры выводили партию (в которой всегда были смешаны «политики» с ворами) на работу и сдавали эту работу на откуп ворам. Воры охотно разыгрывали роль добровольных бригадиров. Они избивали заключенных (с благословения и при поддержке конвоя), заставляя полуживых от голода стариков выполнять тяжелую работу в золотых забоях, палками выбивая из них «план», в который включалась и та часть задания, которая падала на самих воров.

Десятники в такие детали никогда не вмешивались, добиваясь лишь увеличения общей выработки любым путем.

Десятники почти всегда были подкуплены ворами. Это делалось в форме прямой взятки, вещевой или денежной, без всякой предварительной обработки. Десятник сам ждал взятки. Это был его постоянный и значительный дополнительный доход.

Иногда обработка десятника велась с помощью «игры на кубики», то есть игры в карты на кубометры выполненной работы.

Бригадир-вор садился играть с десятником и против выставленных «тряпок» — костюмов, свитеров, рубашек, брюк — требовал оплаты «кубиками» — кубометрами земли...

При выигрыше, а выигрыш был почти всегда — за исключением тех случаев, когда требовалась «изящная» взятка, сделавшая бы честь какому-нибудь французскому маркизу за карточным столом Людовика XIV, проигранные кубометры грунта, породы оплачивались настоящими нарядами, и бригада блатерей, не работая, получала высокие заработки. Десятник пограмотней пытался свести баланс, обсчитывая бригады «троцкистов».

Приписка — «продажа кубометров» была бедствием на прииске. Маркшейдерские замеры устанавливали истину и обнаруживали виновных... Таких десятников-жуликов только понижали в должности или переводили в другое место. И вслед за ними оставались трупы голодных людей, из которых пытались «выбить» проигранные десятником «кубики».

Растленный дух блатарей пронизывал всю колымскую жизнь.

Без отчетливого понимания сущности преступного мира нельзя понять лагеря. Блатари дают лицо местам заключения, тон всей жизни в них — начиная от самых высоких начальников и кончая полуголодными работягами золотого забоя.

Идеальный блатарь, «настоящий вор», блатной Каскарилья не грабит «частных лиц». Такова одна из «творимых легенд» блатного мира... Вор грабит только казенное — каптерку, кассу, магазин, в худшем случае «вольные» квартиры, а забирать последнее у арестанта, у заключенного — «хороший вор» не станет. Дескать, кража белья, насильственные «сменки» хорошей одежды и обуви на плохую, кражи рукавиц, полушубков, шарфов (из казенного) и свитеров, пиджаков, брюк (из вольного) совершается «шпаной», «сявками», «кусочниками», крохоборами...

— Если бы у нас тут были настоящие воры,— вздыхает обыватель,— они не допустили бы грабежей, чинимых уголовной мелкотою.

Бедный «фрайер» верит в Каскарилью. Он не хочет понять, что мелкоту посылают на кражи белья люди покрупнее, что добытые «лепеха» и «шкары» появляются у «авторитетных» воров не потому, что эти воры посильнее воруют брюки и пиджаки.

«Фрайер» не знает, что чаще всего «лазят» те воришки, которым положено набить руку в своей специальности, что делить награбленное будут вовсе не они. При операции посложнее и взрослые примут участие в грабеже — путем ли уговора: отдай, дескать, зачем тебе надо?— или пресловутой «сменки», когда на фрайера насильно напяливается ветошь, вещь, давно уже ставшая символом вещи, то есть годящаяся на «сдачу» при отчете. Оттого-то через день-два после выдачи нового обмундирования в лагере лучшим бригадам оказывается, что новые полушубки, бушлаты, шапки — у воров, хотя и не выдавались им. Иногда при «сменке» дают закурить или кусок хлеба — это если блатарь «порядочный» и не злой по натуре или боится, что его жертва «забазлает», то есть поднимет крик.

Отказ от «сменки» или «подарка» влечет за собой побои, а при упрямстве фрайера и удар ножом. Но в большинстве случаев до ножа дело не доходит.

Эти «сменки» совсем не шутка в условиях многочасовой работы на пятидесятиградусном морозе, недосыпа, голода и цинги. Отдать валенки, полученные из дому — значит поморозить ноги. В дырявых матерчатых бурках, которые предлагают в «сменку», долго не поработаешь на морозе.

В 1938 году поздней осенью получил я посылку из дома — мои старые авиационные бурки на пробковой подошве. Я побоялся вынести их с почты — здание окружала толпа блатарей, прыгавшая в белой полутьме вечера, ожидая жертв. Я продал бурки тут же десятнику Бойко за сто рублей — по колымским ценам бурки стоили тысячи две. Я бы мог добраться в бурках до барака — их украли бы в первую же ночь, стащили бы с ног. Воров привели бы в барак мои же соседи за папиросу, за корку хлеба, они «навели» бы грабителей немедля. Такими «наводчиками» был полон весь лагерь. А сто рублей, вырученные за бурки — это сто килограммов хлеба — деньги сохранить гораздо легче, привязав их к телу и при покупках не выдавая себя.

Вот и ходят блатари в валенках, подвернутых по блатной моде, «чтоб не забивался снег», «достают» полушуб-

ки, и шарфы, и шапки-ушанки, да не просто ушанки, а стильные, блатарские, «форменные» кубаночки.

У крестьянского парня, у рабочего парня, у интеллигента голова идет кругом от неожиданностей. Парень видит, что воры и убийцы живут в лагере лучше всех, пользуются и относительной материальной обеспеченностью, и отличаются определенной твердостью взглядов и завидным разудалым, бесстрашным поведением.

С ворами считается начальство. Блатари — хозяева жизни и смерти в лагере. Они всегда сыты, умеют «достать», когда все остальные — голодны. Вор не работает, пьянствует, даже в лагере, а крестьянский парень вынужден «пахать». Воры его и заставляют «пахать» — так они ловко приспособились. У воров всегда табачок, лагерный парикмахер приходит стричь их «под бокс» на «дом», в барак, захватив лучший свой инструмент. Повар приносит им ежедневно из кухни украденные консервы и сладости. Для воров помельче с кухни отпускаются лучшие и вдесятеро увеличенные порции. Хлеборез им никогда не откажет в хлебе. Вся вольная одежда на плечах блатарей. На лучшем месте нар — у света, у печки — располагаются блатари. У них есть и ватные подстилки и ватные одеяла, а он — молодой колхозник — спит на разрубленных вдоль бревнах. Крестьянский парень начинает думать, что блатари и есть носители лагерной правды, что они единственная сила, и материальная и моральная, в лагере, кроме начальства, которое предпочитает в огромном большинстве случаев не ссориться с блатарями.

Молодой крестьянский парень начинает услуживать блатарям, подражать им в ругательствах, в поведении, мечтает оказать им помощь, озариться их огнем.

Недалек час, когда он, по указанию блатарей, сделает первую кражу в общий «котел» — и новый «порчак» готов.

Яд блатного мира невероятно страшен. Отравленность этим ядом — растление всего человеческого в человеке. Этим зловонным дыханием дышат все, кто соприкасается с этим миром. Какие тут нужны противогазы?

Я знал кандидата наук, вольнонаемного врача, рекомендовавшего своему коллеге особую внимательность по

отношению к «больному»: «Ведь это — крупный вор!» Можно было подумать, что пациент, по крайней мере, отправил ракету на Луну — таков был тон этой рекомендации. Он, этот врач, даже не ощущал всей оскорбительности для себя, для собственной личности подобного суждения.

Воры быстро нащупали «слабину» у Ивана Александровича (так звали кандидата наук). В отделении, которым он заведовал, всегда лежали на отдыхе совершенно здоровые люди. («Профессор — отец родной»,— смеялись воры.)

Иван Александрович вел фальшивые истории болезни, не жалея ночного отдыха и труда, сочинял ежедневные записи, заказывал анализы и обследования...

Как-то мне довелось прочесть письмо, адресованное ему группой воров — с пересылки, где они просили положить в больницу своих соратников, нуждающихся, по их мнению, в отдыхе. И перечисленные в списке блатари постепенно были положены в больницу.

Иван Александрович не боялся блатарей. Он был старым колымчанином, видал виды, угрозами бы блатари ничего не добились. Но дружеское похлопывание по плечу, блатарские комплименты, которые Иван Александрович принимал за чистую монету, его слава среди блатного мира, слава — в сущности которой он не разбирался и не хотел разбираться — вот что приобщило его к блатному миру. Иван Александрович, как и многие другие, был загипнотизирован всевластием блатарей, и его воля стала их волей.

Неизмерим, необозрим тот вред, который принесло обществу многолетнее цацканье с ворами, вреднейшим элементом общества, не перестающим отравлять своим зловонным дыханием нашу молодежь.

Возникшая из чисто умозрительных посылок теория «перековки» привела к десяткам и сотням тысяч лишних смертей в местах заключения, к многолетнему кошмару, который создали в лагерях люди, недостойные названия человека.

Блатной язык меняется время от времени. Смена словаря-шифра — не процесс совершенствования, а средство самосохранения. Блатному миру известно, что уголов-

ный розыск изучает их язык. Человек, вошедший в «кодло» и вздумавший изъясняться «блатной музыкой» двадцатых годов, когда говорили «на стрёме», «на цинку», вызовет подозрение у блатарей в тридцатых годах, привыкших к выражениям «на вассере» и т. д.

Мы плохо и неверно разбираемся в разнице между ворами и хулиганами. Слов нет, обе эти социальные группы — антиобщественны, обе враждебны обществу. Но взвесить истинную опасность каждой группы, оценить ее по достоинству мы способны крайне редко. Бесспорно, что мы больше боимся хулигана, чем вора. В быту мы общаемся с ворами очень редко, всякий раз эти встречи происходят либо в отделении милиции, либо в уголовном розыске, где мы выступаем в роли потерпевших или свидетелей. Гораздо грознее хулиган — пьяное страшилище, «чубаровец», возникающий на бульваре, или в клубе, или в коридоре коммунальной квартиры. Традиционность русского молодечества — пьянки в «храмовые» праздники, пьяные драки, приставания к женщинам, грязная ругань — все это хорошо нам известно и кажется нам гораздо страшнее того таинственного воровского мира, о котором мы имеем — по вине художественной литературы — крайне смутное понятие. Подлинную цену хулиганов и воров знают только работники уголовного розыска; но из примера творчества Льва Шейнина можно видеть, что знание не всегда используется правильным образом.

Мы не знаем, что такое вор, что такое уркаган, что такое блатарь, вор-рецидивист. Укравшего белье с веревки на даче и напившегося тут же в станционном буфете мы считаем видным «скокарем».

Мы не догадываемся, что человек может воровать, не будучи вором, членом «преступного мира». Мы не понимаем, что человек может убивать и воровать и не быть блатарем. Конечно, блатарь ворует. Он этим живет. Но не всякий вор — блатарь, и понять эту разницу категорически необходимо. «Преступный мир» существует рядом с чужими кражами, рядом с хулиганством.

Правда, для «потерпевшего» все равно, кто украл у него из квартиры серебряные ложки или костюм наваринского пламени с дымом — вор-блатарь, вор-профессионал, но не блатарь, или квартирный сосед, никогда кражами

не занимавшийся. Пусть, дескать, в этом разбирается уголовный розыск.

Хулиганов мы боимся больше, чем воров. Ясно, что никакие «народные дружины» не справятся с ворами, о которых мы, к сожалению, имеем вовсе превратное понятие. Подчас думают, что где-то в глубоком подполье под чужими именами скрываются и живут таинственные блатари. Они грабят только магазины и кассы. Белья с веревки эти каскарильи не унесут, этим «благородным жуликам» обыватель рад даже помочь — он иногда прячет их от милиции — то ли из романтических побуждений, то ли «за боюсь» — из страха, что чаще.

Хулиган страшнее. Хулиган ежедневен, общедоступен, близок. Он страшен. Спасения от него и ищем мы в милиции и в народных дружинах.

Между тем хулиган, всякий хулиган стоит еще на грани человеческого. Вор-блатарь стоит вне человеческой морали.

Любой убийца, любой хулиган — ничто по сравнению с вором. Вор тоже убийца и хулиган плюс еще нечто такое, чему почти нет имени на человеческом языке.

Работники мест заключения или уголовного розыска не очень любят делиться своими важными воспоминаниями. У нас есть тысячи дешевых детективов, романов. У нас нет ни одной серьезной и добросовестной книги о преступном мире, написанной работником, чьей обязанностью была борьба с этим миром.

Это ведь постоянная социальная группа, которую правильней было бы назвать антисоциальной. Она вносит отраву в жизнь наших детей, она борется с нашим обществом и одерживает подчас успехи потому, что к ней относятся с доверием и наивностью, а она борется с обществом совсем другим оружием — оружием подлости, лжи, коварства, обмана — и живет, обманывая одного начальника за другим. Чем выше по чину начальник, тем легче его обмануть.

Сами блатари относятся к хулиганам резко отрицательно. «Да это не вор, это — просто хулиган», «это хулиганский поступок, недостойный вора» — такие фразы непередаваемой фонетики в ходу среди «преступного мира». Эти примеры воровского ханжества встречаются на каждом шагу. Блатарь хочет отделить себя от хулиганов, поставить себя гораздо выше и настойчиво требует, чтобы обыватели различали воров и хулиганов.

В этом направлении ведется и воспитание молодого блатаря. Вор не должен быть хулиганом, образ «вора-джентльмена» — это и свидетельство прослушанных «ро́манов», и официальный символ веры блатарей. Есть в этом образе «вора-джентльмена» и некая тоска души блатаря по недостижимому идеалу. Поэтому-то «изящество», «светскость» манер в большой цене среди воровского подполья. Именно оттуда в блатарский лексикон попали и закрепились там слова: «преступный мир», «вращался», «он с ним кушает» — все это звучит и не высокопарно, не иронически. Это — термины определенного значения, ходовые выражения языка.

В воровских «сурах» говорится, что вор не должен быть хулиганом.

Скромно одетый, с букетом в петлице,
В сером английском пальто,
Ровно в семь тридцать покинул столицу,
Даже не глянул в окно.

Это — классический идеал, классический портрет медвежатника-блатаря, «вора-джентльмена», Каскарильи из кинофильма «Процесс о трех миллионах».

Хулиганство — это слишком невинное, слишком целомудренное дело для вора. Вор развлекается по-другому. Убить кого-нибудь, распороть ему брюхо, выпустить кишки и кишками этими удавить другую жертву — вот это — по-воровски, и такие случаи были. Бригадиров в лагерях убивали немало, но перепилить шею живого человека поперечной двуручной пилой — на такую мрачную изобретательность мог быть способен только блатарский, не человеческий мозг.

Самое мерзкое хулиганство выглядит по сравнению с рядовым развлечением блатаря — невинной детской шуткой.

Блатари могут гулять, и пить, и хулиганить где-нибудь в своем «кодле», в «шалмане» — гулять без дебоша, показывая пределы своей удали только своим же товарищам и благоговеющим неофитам, чье приобщение к воровскому ордену — вопрос дней.

Хулиганство, случайное воровство — это периферия блатного мира, это та пограничная область, где общество встречается со своим антиподом.

Вербовка молодых или новых воров редко идет из хулиганской среды. Разве что хулиган бросает свои дебоши и, запятнанный тюрьмой, переходит в ряды блат-

ного мира, где он большой роли в идеологии, в формировании законов этого мира никогда играть не будет.

Кадровые воры — это потомственные воры или те, кто с мальчиков прошел весь курс уголовной науки, бегал за водкой, за папиросами для старших, стоял на «страже», или на «вассере», лазал в форточку, чтоб отпереть дверь грабителям, укрепляя свой дух в тюрьме, потом уже пошел на «дело» самостоятельно.

Блатной мир враждебен власти, и притом всякой власти. Это блатари, «мыслящие» блатари, понимают хорошо. Героическое время «староротских» и «каторжанчиков» отнюдь не представляется им овеянным славой. «Староротский» — это кличка арестанта из царских арестантских рот. «Каторжанчик» — это тот, кто был на царской каторге — на Сахалине, на Колесухе. На Колыме принято называть центральные губернии «материком», хотя Чукотка ведь не остров, а полуостров. Этот «материк» вошел и в литературу, и в газетный язык, и в деловую официальную переписку. Это слово-образ рождено тоже в блатном мире — морское сообщение, пароходная линия Владивосток — Магадан, высадка на пустынных скалах — была очень похожей на сахалинские картины прошлого. Так укрепилось название «материка» за Владивостоком, хотя островом Колыму никто никогда не называл.

Блатной мир — мир настоящего, реального настоящего. «Ворье» превосходно понимает, что какой-нибудь легендарный Горбачевский, попавший в песню: «Гром прогремел, что Горбачевский погорел», не больший герой, чем Ванька Чибис с соседнего прииска.

Никакая «заграница» не прельщает умудренных опытом блатарей, те воры, которые побывали там в войну, не хвалят «заграницу», особенно Германию — из-за чрезвычайных строгостей наказания за кражи и убийства. Немного легче дышать ворью во Франции, но и там «перековочные теории» не имеют успеха, и ворам приходится туго. Относительно благоприятными блатарям кажутся наши условия, где так много далеко идущего доверия и неистребимых многократных «перековок».

К числу «творимых легенд» блатного мира относится и похвальба блатарей — утверждение, что «хороший урка» избегает тюрьмы, проклинает ее. Что тюрьма

лишь печальная неизбежность профессии вора. Это — тоже кокетство, рисовка. Это — лживо, как все, что исходит из уст блатного.

Скокарь Юзик (то есть поляк) Загорский, жеманясь и ломаясь, хвастливо говорил, что провел в тюрьме лишь восемь лет из двадцати воровского стажа. Юзик уверял, что не пил и не гулял после удачной добычи. Он, видите ли, посещал оперу, куда имел абонемент, и только тогда, когда деньги кончались, вновь брался за кражи. Все как в песне:

Там, на концерте, в саду познакомился
С чудом земной красоты.
Деньги, как снег, очень быстро растаяли,
Надо вернуться назад,
Надо опять с головой окунуться
В хмурый и злой Ленинград.

Но любитель оперного пения не мог припомнить ни одного названия оперы из тех, что он с таким увлечением слушал.

Юзик взял ноту явно не из той оперы — разговор этот не продолжался. Свои оперные «вкусы» Юзик почерпнул, конечно, из «ро́манов», слышанных им многократно в тюремные вечера.

Да и насчет тюрьмы Юзик прихвастнул — повторил чью-то чужую фразу, какого-нибудь блатаря покрупнее.

Блатари говорят, что испытывают в момент кражи волнение особого рода, ту вибрацию нервов, которая роднит акт кражи с творческим актом, с вдохновением, испытывают своеобразное психологическое состояние нервного волнения и подъема, которое ни с чем нельзя сравнить по своей заманчивости, полноте, глубине и силе.

Говорят, что ворующий «живет» в этот момент неизмеримо более полной жизнью, чем картежник за зеленым столом, или, вернее, подушкой — традиционным «ломберным столиком» блатного мира.

«Лезешь в лепёху,— рассказывает один карманник,— а сердце стучит, стучит... тысячу раз умрешь и воскреснешь, пока вытащишь этот проклятый бумажник, в котором и денег-то, может быть, два рубля».

Бывают кражи вовсе безопасные, но «творческое» волнение, воровское «вдохновенье» все равно налицо. Ощущение риска, азарта, жизни.

Вору вовсе нет дела до того человека, которого вор обкрадывает. В лагере вор ворует подчас вовсе ненужные тряпки только для того, чтоб украсть, чтоб лишний раз испытать «высокую болезнь» кражи. «Зараженный» — говорят про таких блатари. Но деятелей «чистого искусства» кражи в лагере немного. Большинство предпочитает грабеж, а не кражу, наглый и откровенный грабеж, вырывая у жертвы на глазах всех пиджак, шарф, сахар, масло, табак — все, что можно съесть, и все, что может служить валютой в карточной игре.

Железнодорожный вор рассказывал о том особом волнении, с каким он вскрывает украденный «угол» (чемодан). «Замков мы не открываем,— говорил он,— крышкой о камень — и «угол» вскрыт».

Это воровское «вдохновение» очень далеко от человеческой смелости. Смелость — не то слово. Наглость самой чистой воды, наглость беспредельная, которую могут остановить только выставленные жесткие барьеры.

Никакой психологической нагрузки в виде душевных переживаний деятельность вора не имеет.

Карты занимают очень большое место в жизни блатаря.

Не все блатные играют в карты запоем, как «больные», проигрывая в сражении последние брюки. Проиграться так — не считается позором.

Однако умеют играть в карты все блатари. Еще бы. Уменье играть в карты входит в «рыцарский кодекс» «человека» блатного мира. Немного азартных карточных игр, коими обязан владеть каждый блатарь и которым он учится с детства. Воровская молодежь тренируется постоянно — и в изготовлении карт, и в уменье поставить «транспорт» с кушем.

Между прочим, это карточное выражение, обозначающее увеличение ставки (с «кушем»), Чехов в своем «Острове Сахалине» записал как «транспорт скушан» (!) и выдал это за термин карточной игры среди уголовников. Так по всем изданиям «Острова Сахалина», включая и академические — кочует эта ошибка. Писатель недослышал весьма обыкновенную формулу карточной игры.

Блатной мир — косный мир. Сила традиций в нем очень сильна. Поэтому в этом мире удержались игры, которые давно исчезли из обыкновенной жизни. Статский советник Штосс из гоголевского «Портрета» в блатном мире до сих пор — реальность. Игра столетней давности «штосс» получила другое, лексически более подвижное

название «стос». У Каверина в одном из рассказов беспризорники поют известный романс, меняя его по своему понятию и вкусу: «Черную розу, блему печали...»

В «стос» должен уметь играть каждый блатарь, загибать углы, как Герман или Чекалинский.

Второй игрой — первой по распространенности — является «бура» — так называется блатарями «тридцать одно». Схожая с «очком», бура осталась игрой блатного мира. В «очко» воры не играют между собой.

Третья, самая сложная, игра с записью — это «терц» — вариация игры «пятьсот одно». В эту игру играют мастера, вообще «старшие», аристократия блатного мира, те, что пограмотней.

Все карточные игры блатарей отличаются необыкновенно большим количеством правил. Эти правила нужно хорошо помнить, и тот, который лучше помнит их — выигрывает.

Карточная игра — всегда поединок. Блатари не играют компанией, они играют всегда один на один, разделенные традиционной подушкой.

Проигрался один — садится другой против победителя, и, пока есть чем «отвечать» — карточное сражение продолжается.

По правилам, неписаным правилам, выигравший не имеет права прекратить игру, пока есть «ответ» — штаны, свитер, пиджак. Обычно определяется по согласию сторон цена «играемой» вещи — и вещь разыгрывается, как денежная ставка. Все расчеты надо держать в памяти и уметь себя защитить — не дать обсчитать, обмануть.

Обман в картах — доблесть. Противник должен заметить обман, разоблачить и тем самым выиграть «роббер».

Все блатные игроки — шулера, но это так и должно быть — умей разоблачить, поймать, доказать... С тем и садятся за игру, обманывая один другого, «исполняя» шулерские приемы, под взаимным контролем.

Карточное сражение — если оно идет в безопасном месте — это нескончаемый поток взаимных оскорблений, матерных ругательств; под эту взаимную ругань идет игра. Старики блатари говорят, что в дни их молодости, в двадцатые годы, воры не ругали друг друга так грязно и похабно, как сейчас за карточной игрой. Седые «паханы» качают головами и шепчут: «О времена! О нравы!» Повадки блатарей портятся год от году.

Карты изготовляются в тюрьме, в лагере с быстротой сказочной — опыт многих поколений воров отработал механизм изготовления; самым рациональным и доступным способом изготовляются карты в тюрьме. Для этого нужен клейстер — то есть хлеб, пайка, которая всегда есть под рукой и которую можно изжевать для получения клейстера очень быстро. Нужна бумага — для этого годится и газета, и оберточная бумага, и брошюра, и книга. Нужен нож,— но в какой тюремной камере, в каком лагерном «этапе» не найдется ножа?

Самое главное — нужен химический карандаш для краски — и вот почему блатные так бережно хранят грифель химического карандаша, уберегая его от всяких обысков. Этот обломок химического карандаша служит двойную службу. Осколки карандаша можно, очутясь в критическом положении, затолкать себе в глаза — и это заставляет фельдшера или врача направить заболевшего в больницу. Бывает, что больница — единственный выход из трудного, угрожающего положения, в котором оказался блатарь. Беда, если медицинская помощь запоздает. Немало блатарей ослепло от этой смелой операции. Но немало блатарей избежало опасности и спаслось в больнице. Это — запасная роль химического карандаша.

Молодые «начальнички» думают, что химический карандаш нужен для изготовления печатей, штампов, документов. Применение такого рода чрезвычайно редко, и уж, конечно, если будут изготовлять документы, то им понадобится не только химический карандаш.

Главное же, для чего приобретаются и хранятся химические карандаши блатными, за что ценятся гораздо выше простых карандашей — это использование их для окраски карт, для «печатания карт».

Сначала изготовляется «трафаретка». Это — не блатное слово, но на тюремном языке в большом ходу. На «трафаретке» вырезается узор масти — блатные карты не знают красного и черного, «руж» и «нуар». Все масти одного цвета. У валета — двойной узор — ведь в валете два очка по международной конвенции. У дамы — три соединенных вместе узора. У короля — четыре. Туз — соединение нескольких узоров в центре карты. Семерки, восьмерки, девятки, десятки изготовляются в обычной их конфигурации — как и на выпусках государственной карточной монополии.

Нажеванный хлеб протирается через тряпку, и превосходным клейстером склеиваются вдвое листы тонкой бумаги, потом просушиваются и разрезаются острым ножом на нужное количество карт. Химический карандаш закладывается в тряпочку, размачивается — и печатная машина готова. «Трафаретка» накладывается на карту и смазывается фиолетовой краской, оставляя нужный узор на лицевой стороне карты.

Если бумага толста, как в изданиях «Академии», то просто режут ее на части и «печатают» карты.

На изготовление колоды карт (вместе с просушкой) нужно часа два.

Таков наиболее рациональный способ изготовления игральных карт, способ, подсказанный вековым опытом. Рецепт пригоден при всех условиях и общедоступен.

При всех обысках, а также из посылок химические карандаши отбираются охраной самым заботливым образом. На сей счет есть строгий приказ.

Говорят, что воры проигрывают друг другу вольнонаемных девушек в карты — нечто похожее было в «Аристократах» Погодина. Думается, что это одна из «творимых легенд». Мне никогда не доводилось видеть сцен из лермонтовской «Казначейши».

Говорят, проигрывают пальто, когда оно еще на плечах фрайера. И такого характера проигрышей мне встречать не приходилось, хотя ничего невероятного в этом нет. Думается все же, что тут был проигрыш «на представку» и нужно было отнять, украсть пальто или что-либо равноценное к сроку.

Бывает в игре такой момент, когда при переменном счастье фортуна склоняется на одну сторону к концу вторых или третьих суток игры. Проиграно все, и игра кончается. Горы свитеров, брюк, шарфов, подушек высятся за спиной выигравшего. А проигравший умоляет: «Дай отыграться, дай еще карту, дай в долг, я завтра «представлю». И если сердце победителя великодушно, он соглашается, и игра продолжается, где партнер победителя отвечает «представкой». Он может выиграть, счастье может измениться, он может отыграть вещь за вещью все и воскреснуть, и сам оказаться победителем... Но может и проиграть.

«На представку» играют один раз, и условленная сумма не меняется, и срок представления долга не откладывается.

Если вещь или деньги не будут представлены в срок — побежденный будет объявлен «заигранным», и ему одна дорога — или самоубийство, или побег из камеры, из лагеря, побег к черту на рога — он должен в срок заплатить карточный долг, долг чести!

Вот тут-то и являются чужие пальто, еще теплые теплом фрайерского тела. Что делать! Воровская честь, а вернее, воровская жизнь — дороже, чем какое-то пальто «фрайера».

О низменнейших же потребностях, их качестве и размахе мы уже говорили. Эти потребности своеобразны и очень далеки от всего человеческого.

Существует еще одна точка зрения на поведение блатарей. Дескать, это — психически больные люди и, тем самым, вроде как невменяемы. Слов нет — блатари сплошь и рядом истерики и неврастеники. Пресловутый «дух» блатаря, способность «психануть» — говорит за расшатанность нервной системы. Блатари-сангвиники, флегматики чрезвычайно редки, хотя и встречаются. Знаменитый карманник Карлов по кличке «Подрядчик» (в тридцатых годах о нем писала «Правда», когда его изловили на Казанском вокзале) был полный, розовощекий, пузатый, жизнерадостный мужчина. Но это — исключение.

Есть ученые-медики, считающие всякое убийство — психозом.

Если блатари — психические больные, то их надо держать вечно в сумасшедшем доме.

Нам же кажется, что уголовный мир — это особый мир людей, переставших быть людьми.

Мир этот существовал всегда, существует он и сейчас, растлевая и отравляя своим дыханием нашу молодежь.

Вся воровская психология построена на том давнишнем, вековом наблюдении блатарей, что их жертва никогда не сделает, не может подумать, сделать так, как с легким сердцем и спокойной душой ежедневно, ежечасно рад сделать вор. В этом его сила — в беспредельной наглости, в отсутствии всякой морали. Для блатаря нет ничего «слишком». Если вор по своему «закону» и не считает за честь и доблесть писать доносы на «фрайера»,

то он отнюдь не прочь в целях своей выгоды составить и дать начальству политическую характеристику на любого своего соседа-«фрайера». В 1938 году и позднее — до 1953 года известны буквально тысячи визитов воров к лагерному начальству с заявлениями, что они, истинные друзья народа, должны донести на «фашистов» и «контрреволюционеров». Такая деятельность носила массовый характер — предметом постоянной особой ненависти воров в лагере всегда была интеллигенция из заключенных — «Иваны Ивановичи».

Карманники составляли когда-то наиболее квалифицированную часть воровского мира. Мастера «чердачных» краж проходили даже нечто вроде обучения, овладевали техникой своего ремесла, гордились своей узкой специальностью. Они предпринимали длительные «поездки», где с начала до конца «гастролей» они оставались верными своему уменью, не сбиваясь на всякие «скоки» или фармазонство. Небольшое наказание за карманную кражу, удобная добыча — чистые деньги — вот два обстоятельства, привлекавшие воров к карманным кражам. Уменье держаться в любом «обществе», чтобы не выдать себя, тоже было одним из важных достоинств мастера карманных краж.

Увы, валютная политика свела «заработки» карманников к доходу мизерному по сравнению с риском, с ответственностью. «Доходней и прелестней» оказался вульгарный «скок» за бельем, развешанным на веревке,— это было подороже, чем содержимое любого бумажника, изловленного в автобусе или трамвае. Тысяч в кармане не найдешь, а любая «лепёха» при скидке на краденое окажется подороже денег, которые можно отыскать в большинстве бумажников.

Карманники переменили специальность и влились в ряды «домушников».

И все же «жульническая кровь» не синоним «голубой крови». «Жульническая кровь», «капля жульнической крови» может быть и у «фрайера», если он разделяет кое-какие блатные убеждения, помогает «людям», относится с сочувствием к воровскому закону.

«Капля жульнической крови» может быть даже у сле-

дователя, понимающего душу блатного мира и втайне сочувствующего этому миру. Даже (и не так редко) у лагерного начальника, делающего важные послабления блатным не за взятки и не под угрозой. «Капля жульнической крови» есть и у всех «сук» на свете — недаром же они были когда-то ворами. Кое в чем люди с каплей жульнической крови могут помочь вору, а это вор должен иметь в виду. «Жульническую кровь» имеют все «завязавшие», то есть покончившие с блатным миром, переставшие воровать, вернувшиеся к честному труду. Есть и такие, это не «суки», и ненависти к себе «завязавшие» вовсе не вызывают. При случае в трудную минуту они могут даже оказать помощь — скажется «жульническая кровь».

Наводчики, продавцы краденого, хозяева воровских притонов — наверняка люди с «жульнической кровью».

Все «фрайера», так или иначе оказавшие помощь вору, имеют, как говорят блатари, эту «каплю жульнической крови».

Это — блатная подлая, снисходительная похвала всем сочувствующим воровскому закону, всем, кого вор обманывает и с которыми расплачивается этой дешевой лестью.

ЖЕНЩИНА БЛАТНОГО МИРА

Аглаю Демидову привезли в больницу с фальшивыми документами. Не то что было подделано ее «личное дело», ее арестантский паспорт. Нет, с этой стороны было все в порядке — только у «личного дела» была новая желтая обложка — свидетельство того, что срок наказания Аглаи Демидовой был начат снова и недавно. Она приехала, называясь тем самым именем, под каким и два года назад ее привозили в больницу. Ничего не изменилось из ее «установочных данных», кроме срока. Двадцать пять лет, а два года назад папка ее личного дела была синего цвета и срок был — десять лет.

К нескольким двузначным цифрам, выставленным чернилами в графе «статья», добавилась еще одна цифра — трехзначная. Но все это было самое настоящее, неподдельное. Подделаны были ее медицинские документы — копия истории болезни, эпикриз, лабораторные

анализы. Подделаны людьми, занимавшими вполне официальное положение и имевшими в своих руках и штампы, и печати, и свое доброе или недоброе — это все равно — имя. Много часов понадобилось начальнику санчасти прииска, чтобы выклеить фальшивую историю болезни, чтобы сочинить липовый медицинский документ с подлинным артистическим вдохновением.

Диагноз туберкулеза легких являлся как бы логическим следствием хитроумных ежедневных записей. Толстая пачка температурных листов с диаграммами типичных туберкулезных кривых, заполненные бланки всевозможных лабораторных анализов с угрожающими показателями. Такая работа для врача — подобна письменному экзамену, где по билету требуется описать туберкулезный процесс, развившийся в организме — до степени, когда срочная госпитализация больного — единственный выход.

Такую работу можно проделать и из спортивного чувства — суметь доказать центральной больнице, что и на прииске — не лыком шиты. Просто приятно вспомнить все по порядку, что ты учил когда-то в институте. Ты, конечно, никогда не думал, что свои знания тебе придется применить столь необычайным, «художественным» образом.

Самое главное — Демидова должна быть положена в больницу во что бы то ни стало. И больница не может, не вправе отказать в приеме такой больной, пусть у врачей явится хоть тысяча подозрений.

Подозрения возникли сразу же, и, пока вопрос о приеме Демидовой решался в местных «высших сферах», сама она сидела одна в огромной комнате приемного покоя больницы. Впрочем, «одна» она была лишь в «честертоновском» значении этого слова. Фельдшер и санитары приемного покоя шли, очевидно, не в счет. И также не в счет шли два конвоира Демидовой, не отходившие от нее ни на шаг. Третий конвоир с бумагами скитался где-то в канцелярских дебрях больницы.

Демидова не сняла даже шапки и только расстегнула ворот овчинного полушубка. Она неторопливо курила папиросу за папиросой, бросая окурки в деревянную плевательницу с опилками.

Она металась по приемному покою от венецианских зарешеченных окон к дверям, и, повторяя ее движения, за ней кидались ее конвоиры.

Когда вернулся дежурный врач вместе с третьим конвоиром, уже стемнело по-северному быстро, и пришлось зажечь свет.

— Не кладут?— спросила Демидова конвоира.

— Нет, не кладут,— хмуро сказал тот.

— Я знала, что не положат. Это все Крошка виновата. Запорола врачиху, а мне мстят.

— Никто тебе не мстит,— сказал врач.

— Я лучше знаю.

Демидова вышла впереди конвоиров, хлопнула выходная дверь, затрещал мотор грузовика.

Сейчас же отворилась неслышно внутренняя дверь, и в приемный покой вошел начальник больницы с целой свитой из офицеров спецчасти.

— А где она? Эта Демидова?

— Уже увезли, гражданин начальник.

— Жаль, жаль, что я ее не посмотрел. А все вы, Петр Иванович, с вашими анекдотами...— И начальник со своими спутниками вышел из приемного покоя.

Начальнику хотелось взглянуть хоть одним глазком на знаменитую воровку Демидову — история ее и в самом деле не совсем обыкновенная.

Полгода назад воровку Аглаю Демидову, осужденную за убийство нарядчицы на 10 лет — Демидова полотенцем удушила слишком бойкую нарядчицу — везли с суда на прииск. Конвоир был один,— ибо в дороге ночевок не было — всего несколько часов езды на автомашине от поселка управления, где судили Демидову, до того прииска, где она работала. Пространство и время на Крайнем Севере — величины схожие. Часто пространство меряют временем — так делают кочевые якуты — от сопки до сопки шесть переходов. Все, живущие около главной артерии шоссейной дороги — измеряют расстояние перегонами автомашины.

Конвоир Демидовой был из сверхсрочных молодых «стариков», давно привыкший к вольностям конвойной жизни, к ее особенностям, где конвоир — полный господин арестантских судеб. Не в первый раз сопровождал он «бабу» — всегда такая поездка сулила известные развлечения, какие не слишком часто выпадают на долю рядового «стрелка» на Севере.

В дорожной столовой все трое — конвоир, шофер и Демидова — пообедали. Конвоир для храбрости выпил спирту (на Севере водку пьет только очень высокое

начальство) и повел Демидову в кусты. Тальник, лозняк или молодая осина были в изобилии вокруг любого таежного поселка.

В кустах конвоир положил автомат на землю и подступил к Демидовой. Демидова вырвалась, схватила автомат и двумя перекрестными очередями набила девять пуль в тело сластолюбивого конвоира. Забросив автомат в кусты, она вернулась к столовой и уехала на одной из проходящих мимо машин. Шофер поднял тревогу, труп конвоира и его автомат были найдены очень скоро, а сама Демидова задержана через двое суток в нескольких сотнях километров от места ее романа с конвоиром. Демидову снова судили, дали ей двадцать пять лет. Работать она не хотела и раньше, грабила своих соседей по бараку, и приисковое начальство решило любой ценой отделаться от блатарки. Была надежда, что после больницы ее не возвратят на прииск, а пошлют куда-либо в другое место.

Демидова была магазинной и квартирной воровкой, «городушницей», по терминологии «уркачей».

Блатной мир знает два разряда женщин — собственно воровки, чьей профессией являются кражи, как и у мужчин-блатарей, и проститутки, подруги блатарей.

Первая группа значительно меньше численностью, чем вторая, и в кругу «уркачей», считающих женщину существом низшего порядка, пользуется некоторым уважением — вынужденным признанием ее заслуг и деловых качеств. Обычно сожительница какого-либо вора (слово «вор», «воровка» все время употребляется в смысле принадлежности к подземному ордену уркачей), воровка участвует нередко в разработках планов краж, в самих кражах. Но в мужских «судах чести» она участия не принимает. Такие правила продиктовала сама жизнь — в местах заключения мужчины и женщины разобщены, и это обстоятельство внесло некоторое различие в быт, привычки и правила того и другого пола. Женщины все же мягче, их «суды» не так кровавы, не так жестоки приговоры. Убийства, совершенные женщинами-блатарками, более редкие, чем на «мужской половине» блатного дома.

Вовсе исключено, что «воровка» может «жить» с каким-либо «фрайером».

Проститутки — вторая, бóльшая группа женщин, связанная с блатным миром. Это — известная подруга

вора, добывающая для него средства к жизни. Само собой, проститутки участвуют, когда надо, и в кражах, и в «наводках», и в «стрёме», и в укрывательстве и сбыте краденого, но полноправными членами «преступного мира» они вовсе не являются. Они — непременные участницы кутежей, но и мечтать не могут о «правилках».

Потомственный «урка» с детских лет учится презрению к женщине. «Теоретические», «педагогические» занятия чередуются с наглядными примерами старших. Существо низшее, женщина создана лишь затем, чтобы насытить животную страсть вора, быть мишенью его грубых шуток и предметом публичных побоев, когда блатарь «гуляет». Живая вещь, которую блатарь берет во временное пользование.

Послать свою подругу-проститутку в постель начальника, если это нужно для пользы дела — обычный, всеми одобряемый «подход». Она и сама разделяет это мнение. Разговоры на эти темы всегда крайне циничны, предельно лаконичны и выразительны. Время дорого.

Воровская этика сводит на нет и ревность, и «черемуху». По освященному стариной обычаю, вору-вожаку, наиболее «авторитетному» в данной воровской компании, принадлежит выбор своей временной жены — лучшей проститутки.

И если вчера, до появления этого нового вожака, эта проститутка спала с другим вором, считалась его собственной вещью, которую он мог одолжить товарищам, то сегодня все эти права переходят к новому хозяину. Если завтра он будет арестован, проститутка снова вернется к прежнему своему дружку. А если и тот будет арестован — ей укажут, кто будет новым ее владельцем. Владельцем ее жизни и смерти, ее судьбы, ее денег, ее поступков, ее тела.

Где же тут жить такому чувству, как ревность?.. Ему просто нет места в этике блатарей.

Вор, говорят, человек и ничто человеческое ему не чуждо. Возможно, что бывает жаль уступить свою подругу, но закон есть закон, и блюстители «идейной» чистоты, блюстители чистоты блатных нравов (без всяких кавычек) укажут немедленно на ошибку возревновавшего вора. И он подчинится закону.

Бывают случаи, когда дикий нрав и истеричность, свойственная почти всем уркачам, толкает блатаря на защиту «своей бабы». Тогда этот вопрос уже становится

суждением «правилок», и блатные «прокуроры» требуют наказания виновного, взывая к авторитету тысячелетних установлений.

Обычно же до ссоры дело не доходит, и проститутка покорно спит с новым ее хозяином.

Никакого дележа женщин, никакой любви «втроем» в блатном мире не существует.

В лагере мужчины и женщины разобщены. Однако в местах заключения есть больницы, пересылки, амбулатории, клубы, где мужчины и женщины все же видят и слышат друг друга.

Изобретательности же заключенных, их энергии в достижении поставленной цели можно поражаться. Удивительно — какое колоссальное количество энергии тратится в тюрьме, чтобы добыть кусочек мятой жести и превратить ее в нож — орудие убийства или самоубийства. Внимание надзирателей всегда слабее внимания заключенного — это мы знаем от Стендаля, который в «Пармской обители» говорит: «Тюремщик меньше думает о своих ключах, чем арестант о побеге».

В лагере огромна энергия блатаря, направленная на свидание с какой-нибудь проституткой.

Важно найти место, куда эта проститутка должна прийти,— а в том, что она придет, блатарь никогда не сомневается. Карающая рука настигнет виновную. И вот она переодевается в мужское платье, спит вне программы с надзирателем или нарядчиком, чтобы в назначенный час проскользнуть туда, где ее ждет вовсе ей незнакомый любовник. Любовь разыгрывается торопливо, как летнее цветение трав на Крайнем Севере. Проститутка уйдет назад в женскую зону, попадается на глаза надзирателям, ее сажают в карцер, приговаривают к месячному заключению в изоляторе, отправляют на штрафной прииск — все это она переносит безропотно и даже гордо,— она выполнила свой проституточий долг.

В большой северной больнице для заключенных был случай, когда к видному блатарю — больному хирургического отделения — сумели привести проститутку на целую ночь — на больничную койку, и там она спала по очереди со всеми восемью ворами, находившимися в то время в палате. Дежурному санитару из заключенных пригрозили ножом, дежурному вольнонаемному фельдшеру подарили костюм, сдернутый с кого-то в

лагере — хозяин его опознал, подал заявление — усилий скрыть это дело было приложено очень много.

Девушка эта была отнюдь не расстроена, не смущена, когда ее обнаружили утром в палате мужской больницы.

— Ребята просили выручить их, я и пришла,— спокойно объясняла она.

Нетрудно догадаться, что блатари и их подруги почти сплошь сифилитики, а о хронической гонорее даже в наш пенициллиновый век и говорить не приходится.

Известно классическое выражение «сифилис не позор, а несчастье». Здесь сифилис не только не позор, но считается счастьем, а не несчастьем заключенного — это еще один пример пресловутого «смещения масштабов».

Прежде всего принудительное лечение венериков обязательно, и это знает каждый блатарь. Он знает, что «притормозится», что в глухое место со своим сифилисом он не попадет, а будет жить и лечиться в сравнительно благоустроенных поселках — там, где есть врачи-венерологи, специалисты. Все это настолько хорошо рассчитано и угадано, что венериками себя заявляют даже те блатари, которых бог миловал от четырех и трех крестов реакции Вассермана. И нетвердость отрицательного лабораторного ответа в этой реакции блатарям тоже отлично известна. Поддельные язвы, лживые жалобы — дело обычное наряду с истинными язвами и вескими жалобами.

Венерических больных, подлежащих лечению, собирают в особые зоны. Когда-то в таких зонах вовсе не работали, и это было самым подходящим «убежищем Монрепо» для блатарей. Позднее эти зоны устраивались на особых приисках или лесных командировках, где, кроме сальварсана и пайка питания, арестанты должны были работать по обычным нормам.

Но фактически никогда в таких зонах настоящего «спроса» работы не было, и жилось в этих зонах много легче, чем на обычном прииске.

Венерические мужские зоны были всегда местом, откуда в больницу поступали молодые жертвы блатарей — зараженные сифилисом через задний проход. Блатари почти сплошь педерасты — в отсутствие женщин они развращали и заражали мужчин — под угрозой ножа чаще всего, реже за «тряпки» (одежду) или за хлеб.

Говоря о женщине в блатном мире, нельзя пройти мимо целой армии этих «Зоек», «Манек», «Дашек» и

прочих существ мужского пола, окрещенных женскими именами. Поразительно то, что на эти женские имена носители их откликались самым нормальным образом, не видя в этом ничего позорного или оскорбительного для себя.

Кормиться за счет проститутки не считается зазорным для вора. Напротив, личное общение с вором проститутка должна ценить очень высоко.

Напротив, сутенерство — одна из «заманчивых» деталей профессии, весьма нравящаяся воровской молодежи.

Скоро, скоро нас осудят,
На Первомайский поведут,
Девки штатные увидят,
Передачу принесут —

поется в тюремной песне «Штатные девки». Это и есть проститутки.

Но бывают случаи, когда чувство, заменяющее любовь, а также чувство самолюбия, чувство жалости к самой себе толкает женщину блатного мира на «незаконные» поступки.

Конечно, с воровки тут спроса больше, чем с проститутки. Воровка, живущая с надзирателем, совершает измену, по мнению блатных начетчиков. Ее могут избить, указывая на ее ошибку, а то и просто прирезать, как «суку».

Проститутке такой поступок не будет вменен в грех.

В этих конфликтах женщины с законом ее мира вопрос решается не всегда одинаково и зависит от личных качеств человека.

Тамара Цулукидзе, двадцатилетняя красавица воровка, бывшая подруга видного тбилисского уркача сошлась в лагере с начальником культурно-воспитательной части Грачевым — бравым тридцатилетним лейтенантом, красавцем холостяком.

У Грачева была и еще любовница в лагере, полька Лещевская — одна из знаменитых «артисток» лагерного театра. Когда он сошелся с Тамарой, она не требовала бросить Лещевскую. Лещевская же ничего не имела против Тамары. Бравый Грачев жил сразу с двумя «женами», склоняясь к мусульманскому обычаю. Будучи человеком опытным, он старался распределять свое внимание поровну между обеими, и это ему удавалось. Делилась не только любовь, но и ее материальные прояв-

ления — каждый съестной подарок готовился Грачевым в двух экземплярах. С помадой, лентами и духами он поступал точно таким же образом — и Лещевская, и Цулукидзе получали в один и тот же день совершенно одинаковые ленты, одинаковые склянки с духами, одинаковые платочки.

Это выглядело весьма трогательно. Притом Грачев был парень видный, чистоплотный. И Лещевская, и Цулукидзе (они жили в одном бараке) были в восторге от тактичности своего общего возлюбленного. Однако подругами они не стали, и когда внезапно Тамара была приглашена держать ответ перед больничными ворами — Лещевская втайне злорадствовала.

Однажды Тамара заболела — лежала в больнице, в женской палате. Ночью двери палаты отворились, и на порог шагнул, гремя костылями, посол уркачей. Блатной мир протягивал к Тамаре свою длинную руку.

Посол напомнил ей законы блатной собственности на женщину и предложил ей явиться в хирургическое отделение и выполнить «волю пославшего».

Здесь были, по словам посла, люди, знавшие того тбилисского блатаря, чьей подругой считалась Тамара Цулукидзе. Сейчас его здесь заменяет Сенька Гундосый. В его объятия и должна незамедлительно проследовать Тамара.

Тамара схватила кухонный нож и бросилась на хромого блатаря. Его едва отбили санитары. Угрожая и матерно понося Тамару, посол удалился. Тамара на следующее же утро выписалась из больницы.

Попыток возвратить заблудшую дочь под блатные знамена было сделано немало, и всякий раз безуспешно. Тамару ударили ножом, но рана была пустяковой. Пришел конец срока наказания, и она вышла замуж за какого-то надзирателя — за человека с револьвером, а блатному миру она так и не досталась.

Синеглазая Настя Архарова, курганская машинистка, не была ни воровкой, ни проституткой и не по своей воле навеки связала свою судьбу с воровским миром.

Всю жизнь с юных лет Настю окружало подозрительное уважение, зловещее почтение таких людей, о которых Настя читала в детективных романах. Это уважение, замеченное Настей еще «на воле», существовало и в тюрьме, и в лагере — везде, где появлялись блатари.

Тут не было ничего таинственного — старший брат

Насти был видным уральским «скокарем», и Настя с юных лет купалась в лучах его уголовной славы, его удачливой воровской судьбы. Незаметным образом Настя оказалась в кругу блатарей, их интересов и дел и не отказала помочь спрятать украденное. Первый трехмесячный срок укрепил и ожесточил ее, накрепко связал с блатным миром. Пока она была в своем городе, воры, боясь гнева брата, не решались пользоваться Настей как блатной собственностью. По «социальному» положению своему она стояла ближе к воровкам, проституткой же вовсе не была — и в качестве воровки отправилась в обычные дальние путешествия на казенный счет. Здесь уже не было брата, и в первом же городе, куда она попала после первого освобождения, ее сделал своей женой местный вожак-блатарь, попутно заразив ее гонореей. Его вскоре арестовали, и он спел Насте на прощанье воровскую песенку: «Тобой завладеет кореш мой». С «корешем» (то есть товарищем) Настя жила также недолго — того посадили в тюрьму, и на Настю предъявил права очередной владелец. Насте он был отвратителен физически — какой-то вечно слюнявый, больной каким-то лишаем. Она пробовала защититься именем брата — ей было указано, что и брат ее не вправе нарушать великие законы блатного мира. Ей пригрозили ножом, и она прекратила сопротивление.

В больнице Настя покорно являлась на любовные «вызовы», часто сидела в карцере и много плакала — не то слезы у нее были слишком близко, не то слишком страшила ее своя судьба, судьба двадцатидвухлетней девушки.

Востоков, пожилой врач больницы, растроганный Настиной судьбой, похожей, впрочем, на тысячи других таких же судеб, обещал ей помочь устроиться машинисткой в контору, если она изменит свою жизнь. «Это не в моей воле»,— писала красивым почерком Настя, отвечая врачу. «Меня не спасти. А если вам хочется сделать мне что-нибудь хорошее, то купите мне чулки капроновые самого маленького размера. Готовая для вас на все Настя Архарова».

Воровка Сима Сосновская была татуирована с ног до головы. Удивительные, переплетающиеся между собой сексуальные сцены самого мудреного содержания весьма затейливыми линиями покрывали все ее тело. Только лицо, шея и руки до локтя были без наколок.

Сима эта была известна в больнице своей дерзкой кражей — она сняла золотые часы с руки конвоира, который по дороге решил воспользоваться благосклонностью смазливой Симы. Характер у Симы был гораздо более мирный, чем у Аглаи Демидовой, а то лежать бы конвоиру в кустах до второго пришествия. Она смотрела на это как на забавное приключение и считала, что золотые часы — не слишком дорогая цена за ее любовь. Конвоир же чуть не сошел с ума и до последней минуты требовал вернуть часы и обыскивал Симу дважды без всякого успеха. Больница была недалеко, «этап» был многочисленный — на скандал в больнице конвоир не решался. Золотые часы остались у Симы. Вскоре часы были пропиты, и след их затерялся.

В моральном кодексе блатаря, как в Коране, декларировано презрение к женщине. Женщина — существо презренное, низшее, достойное побоев, недостойное жалости. Это относится в равной степени ко всем женщинам — любая представительница другого, не блатного мира презирается блатарем. Изнасилование «хором» — не такая редкая вещь на приисках Крайнего Севера. Начальники перевозят своих жен в сопровождении охраны; женщина одна не ходит и не ездит вовсе никуда. Маленькие дети охраняются подобным же образом — растление малолетних девочек — всегдашняя мечта любого блатаря. Эта мечта не всегда остается только мечтой.

В презрении к женщине блатарь воспитывается с самых юных лет. Проститутку-подругу он бьет настолько часто, что та перестает, говорят, чувствовать любовь во всей ее полноте, если почему-либо она не получит очередных побоев. Садистские наклонности воспитываются самой этикой блатного мира.

Никакого товарищеского, дружеского чувства к «бабе» блатарь не должен иметь. Не должен он иметь и жалости к предмету своих подземных увеселений. Никакой справедливости в отношении к женщине своего же мира быть не может — женский вопрос вынесен за ворота этической «зоны» блатарей.

Но есть одно-единственное исключение из этого мрачного правила. Есть одна-единственная женщина, которая не только ограждена от покушений на ее честь, но которая поставлена высоко на пьедестал. Женщина, которая поэтизирована блатным миром, женщина, которая стала

предметом лирики блатарей, героиней уголовного фольклора многих поколений.

Эта женщина — мать вора.

Воображению блатаря рисуется злой и враждебный мир, окружающий его со всех сторон. И в этом мире, населенном его врагами, есть только одна светлая фигура, достойная чистой любви, и уважения, и поклонения. Это — мать.

Культ матери при злобном презрении к женщине вообще — вот этическая формула уголовщины в женском вопросе, высказанная с особой тюремной сентиментальностью. О тюремной сентиментальности написано много пустого. В действительности — это сентиментальность убийцы, поливающего грядку с розами кровью своих жертв. Сентиментальность человека, перевязывающего рану какой-нибудь птичке и способного через час эту птичку живую разорвать собственными руками, ибо зрелище смерти живого существа — лучшее зрелище для блатаря.

Надо знать истинное лицо авторов культа матери, культа, овеянного поэтической дымкой.

С той же самой безудержностью и театральностью, которая заставляет блатаря «расписываться» ножом на трупе убитого ренегата, или насиловать женщину публично среди бела дня, на глазах у всех, или растлевать трехлетнюю девочку, или заражать сифилисом мужчину «Зойку» — с той же самой экспрессией блатарь поэтизирует образ матери, обоготворяет ее, делает ее предметом тончайшей тюремной лирики — и обязывает всех выказывать ей всяческое заочное уважение.

На первый взгляд, чувство вора к матери — как бы единственное человеческое, что сохранилось в его уродливых, искаженных чувствах. Блатарь — всегда якобы почтительный сын, всякие грубые разговоры о любой чужой матери пресекаются в блатном мире. Мать — некий высокий идеал — в то же время нечто совершенно реальное, что есть у каждого. Мать, которая все простит, которая всегда пожалеет.

«Чтобы жить могли, работала мамаша. А я тихонько начал воровать. Ты будешь вор, такой, как твой папаша,— твердила мне, роняя слезы, мать».

Так поется в одной из классических песен уголовщины «Судьба».

Понимая, что во всей бурной и короткой жизни вора

только мать останется с ним до конца, вор щадит ее в своем цинизме.

Но и это единственное якобы светлое чувство лживо, как все движения души блатаря.

Прославление матери — камуфляж, восхваление ее — средство обмана и лишь в лучшем случае более или менее яркое выражение тюремной сентиментальности.

И в этом возвышенном, казалось бы, чувстве вор лжет с начала и до конца, как в каждом своем суждении. Никто из воров никогда не послал своей матери ни копейки денег, даже по-своему не помог ей, пропивая, прогуливая украденные тысячи рублей.

В этом чувстве к матери нет ничего, кроме притворства и театральной лживости.

Культ матери — это своеобразная дымовая завеса, прикрывающая неприглядный воровской мир.

Культ матери, не перенесенный на жену и на женщину вообще — фальшь и ложь.

Отношение к женщине — лакмусовая бумажка всякой этики.

Заметим здесь же, что именно культ матери, сосуществующий с циничным презрением к женщине, сделал Есенина еще три десятилетия назад столь популярным автором в уголовном мире. Но об этом — в своем месте.

Воровке или подруге вора, женщине, прямым или косвенным образом вошедшей в «преступный мир», запрещаются какие бы то ни было «романы» с фрайерами». Изменницу, впрочем, в таких случаях не убивают, не «заделывают начисто». Нож — слишком благородное оружие, чтобы применять его к женщине — для нее достаточно палки или кочерги.

Совсем другое дело, если речь идет о связи мужчины-вора с «вольной женщиной». Это — честь и доблесть, предмет хвастливых рассказов одного и тайной зависти многих. Такие случаи не так уж редки. Однако вокруг них обычно воздвигаются такие горы сказок, что уловить истину очень трудно. Машинистка превращается в прокуроршу, курьерша — в директора предприятия, продавщица — в министра. Небывальщина оттесняет истину куда-то в глубь сцены, в темноту, и разобраться в спектакле немыслимо.

Не подлежит сомнению, что какая-то часть блатарей

имеет семьи в своих родных городах, семьи, давно уже покинутые блатными мужьями. Жены их с малыми детьми сражаются с жизнью каждая на свой лад. Бывает, что мужья возвращаются из мест заключения к своим семьям, возвращаются обычно ненадолго. «Дух бродяжий» влечет их к новым странствиям, да и местный уголовный розыск способствует быстрейшему отъезду блатаря. А в семьях остаются дети, для которых отцовская профессия не кажется чем-то ужасным, а вызывает жалость и, более того,— желание пойти по отцовскому пути, как в песне «Судьба»:

В ком сила есть с судьбою побороться,
Веди борьбу до самого конца.
Я очень слаб, но мне еще придется
Продолжить путь умершего отца.

Потомственные воры — это и есть кадровое ядро преступного мира, его «вожди» и «идеологи».

От вопросов отцовства, воспитания детей блатарь неизбежно далек — эти вопросы вовсе исключены из блатного талмуда. Будущее дочерей (если они где-нибудь есть) представляется вору совершенно нормальным в карьере проститутки, подруги какого-либо знатного вора. Вообще никакого морального груза (даже в блатарской специфичности) на совести блатаря тут не лежит. То, что сыновья станут ворами — тоже представляется вору совершенно естественным.

ТЮРЕМНАЯ ПАЙКА

Одна из самых популярных и самых жестоких легенд блатного мира — это легенда о «тюремной пайке».

Наравне со сказкой о «воре-джентльмене», это — рекламная легенда, фасад блатной морали.

Содержание ее в том, что официальный тюремный паек — тюремная пайка в условиях заключения — «священна и неприкосновенна», и ни один вор не имеет права покушаться на этот казенный источник существования. Тот, кто это сделает — проклят отныне и во веки веков.

Безразлично — кто бы он ни был — заслуженный блатарь или последний «штылет батайский», юный фрайер.

Тюремную пайку в виде, скажем, хлеба можно без опаски и заботы хранить в тумбочке, если в камере есть тумбочки, и под головой, если тумбочек и полок нет.

Воровать этот хлеб считается постыдным, немыслимым.

Изъятию у «фрайеров» подлежат только передачи — вещевые или продуктовые — все равно — это в запрещение не входит.

И хотя каждому ясно, что охрана тюремной пайки обеспечивается для заключенного самим режимом тюрьмы, а вовсе не милостью блатарей, все же мало кто сомневается в воровском благородстве.

Ведь администрация, рассуждают эти люди, не может спасти наши передачи от воровских рук. Значит, если бы не блатари...

Действительно, передачи администрация не спасает. Камерная этика требует, чтобы заключенный делился с товарищами своей посылкой. В качестве открытых и грозных претендентов на посылку и выступают блатари, как «товарищи» заключенного. Дальновидные и опытные фрайера сразу жертвуют половиной передачи. Никто из воров не интересуется материальным положением арестованного фрайера. Для них фрайер в тюрьме или на воле — все равно — законная добыча, а его «передачи», его «вещи» — боевой трофей блатных.

Иногда передачи или носильные вещи выпрашиваются, дескать, отдай, мы тебе пригодимся. И фрайер, живущий на воле, вдвое беднее вора в остроге, отдает последние крохи, которые собрала ему жена.

Как же! Закон тюремный! Зато его доброе имя сохранено, и сам Сенька Пуп обещал ему свое покровительство и даже дал закурить из той самой пачки папирос, что прислала в посылке жена.

Раздеть, ограбить фрайера в тюрьме — первое и веселое дело блатарей. Это делают щенки, резвящаяся молодежь... Те, что постарше, лежат в лучшем углу камеры, у окна, и присматривают за операцией, готовые в любую минуту вмешаться при упорстве фрайера.

Конечно, можно поднять крик, вызвать часовых, коменданта, но — что это даст? Чтобы тебя избили ночью? А впереди, в дороге, могут и зарезать. Бог уж с ней, с передачей.

— Зато,— похлопывая по плечу какого-нибудь «чер-

та», говорит ему блатарь, икая от сытости,— зато твоя тюремная пайка цела. Ее, брат, ни-ни... никогда.

Молодому вору иногда непонятно, почему нельзя трогать тюремного хлеба, если владелец его наелся белых домашних булочек от передачи. Владелец булочек тоже этого не понимает. Тому и другому взрослые воры объясняют, что таков закон тюремной жизни.

И боже мой, если какой-нибудь наивный голодный крестьянин, которому в первые дни заключения в тюрьме не хватает еды, попросит у соседа-блатаря отломить кусочек от сохнущей на полке тюремной пайки. Какую пышную лекцию ему прочтет блатарь о святости тюремного пайка...

В тех тюрьмах, где передач мало и мало новых фрайеров — понятие «тюремной пайки» ограничивается пайком хлеба, а приварок — супы, каши, винегреты,— как бы он ни был беден по ассортименту — исключается из неприкосновенности. Раздачей пищи всегда стараются руководить блатари. Это мудрое правило дорого стоит остальным обитателям камеры. Кроме пайка хлеба, им наливают юшку от супа, и порции второго блюда становятся почему-то маленькими. Несколько месяцев совместного проживания с хранителем тюремной пайки сказываются самым отрицательным образом на «упитанности» заключенного, выражаясь официальным термином.

Все это еще до лагеря, пока дело идет о режиме следственной тюрьмы.

В исправительно-трудовом лагере, на общих тяжелых работах, вопрос тюремной пайки становится вопросом жизни и смерти.

Здесь нет лишнего куска хлеба, здесь все голодны и на тяжелой работе.

Грабеж тюремного пайка приобретает здесь характер преступления, медленного убийства.

Неработающие воры, наложив свою лапу на кухонных поваров, забирают оттуда большую часть жиров, сахара, чая, мяса, когда оно бывает (вот почему все «простые люди» лагеря предпочитают рыбу мясу; весовая норма здесь одна, а мясо все равно украдут). Кроме воров, повару надо кормить лагерную обслугу, бригадиров, врачей, а то и дежурных на вахте надзирателей. И повар кормит — воры просто угрожают ему убийством, а лагерное начальство из заключенных (на блатном языке они называются «придурки») может в любую минуту придрать-

ся и снять повара с работы, и тот отправится «в забой», что страшно для любого повара, да и не только для повара.

Изъятия из тюремного пайка делаются за счет многочисленной армии рядовых «работяг». Эти «работяги» из «научно обоснованных норм питания» получают лишь малую часть, бедную и жирами, и витаминами. Взрослые люди плачут, получив жидкий суп — вся гуща давно уже отнесена разным Сенечкам да Колечкам.

Для того чтобы навести хоть минимальный порядок, начальство должно обладать не только личной порядочностью, но и нечеловеческой, неусыпной энергией в борьбе с расхитителями питания — в первую очередь с ворами.

Так выглядит тюремная пайка в лагере. Здесь никто уже не думает о рекламных блатных декларациях. Хлеб становится хлебом без всяких условностей и символики. Становится главным средством сохранить жизнь. Беда тому, кто, пересилив себя, оставил кусочек своей пайки на ночь, чтобы среди ночи проснуться и до хруста в ушах ощутить вкус хлеба в своем иссушенном цингой рту.

Этот хлеб у него украдут, попросту вырвут, отнимут — молодые голодные блатари, совершающие еженощные обыски... Выданный хлеб должен быть съеден немедленно — такова практика многих приисков, где много «ворья», где эти благородные рыцари голодны и хотя и не работают, но хотят есть.

Невозможно мгновенно проглотить пятьсот — шестьсот граммов хлеба. К сожалению, устройство человеческого пищеварительного тракта отлично от такого же аппарата у удава или чайки. Пищевод человека слишком узок, кусок хлеба в полукилограммовом весе туда сразу не втолкнешь, тем более с корочкой. Приходится разламывать хлеб, жевать — на это уходит драгоценное время. Из рук такого «работяги» блатари вырывают остатки хлеба, разгибая пальцы, бьют...

На магаданской пересылке был некогда такой порядок выдачи хлеба, когда вся суточная пайка вручалась «работяге» под охраной четырех автоматчиков, державших на приличном расстоянии от места раздачи хлеба толпу голодных блатарей. «Работяга», получив хлеб, тут же его жевал, жевал и в конце концов благополучно проглатывал — случаев, чтобы блатные распарывали «работяге» живот, чтобы достать этот хлеб, все же не было.

Но было — повсеместно — другое.

За свою работу заключенные получают деньги — не много, несколько десятков рублей (для тех, кто превышает норму), но все же получают. Не выполняющий нормы не получает ничего. На эти десятки рублей «работяга» может купить в лагерной лавочке — «ларьке» хлеб, иногда масло — словом, как-то улучшить свое питание. Получают деньги не все бригады, но некоторые получают. На тех приисках, где работают блатари, получка эта бывает лишь фиктивной — блатари отнимают деньги, облагают «работяг» «налогом». За неуплату в срок — нож в бок. Годами вносятся эти немыслимые «отчисления». Все знают про этот откровенный «рэкет». Впрочем, если этого не делают блатари, отчисления собираются в пользу бригадиров, нормировщиков, нарядчиков...

Вот каково подлинное жизненное содержание понятия «тюремной пайки».

«КРАСНЫЙ КРЕСТ»

Лагерная жизнь так устроена, что действительную реальную помощь заключенному может оказать только медицинский работник. Охрана труда — это охрана здоровья, а охрана здоровья — это охрана жизни. Начальник лагеря и подчиненные ему надзиратели, начальник охраны с отрядом бойцов конвойной службы, начальник райотдела МВД со своим следовательским аппаратом, деятель на ниве лагерного просвещения — начальник культурно-воспитательной части со своей инспектурой — лагерное начальство так многочисленно. Воле этих людей — доброй или злой — доверяют применение «режима». В глазах заключенного все эти люди — символ угнетения, принуждения. Эти люди заставляют заключенного работать, стерегут его и ночью и днем от побегов, следят, чтобы заключенный не ел и не пил лишнего. Все эти люди ежедневно, ежечасно твердят заключенному только одно: работай! Давай!

И только один человек в лагере не говорит заключенному этих страшных, надоевших, ненавидимых в лагере слов. Это — врач. Врач говорит другие слова: отдохни, ты устал, завтра не работай, ты болен. Только врач не

посылает заключенного в белую зимнюю тьму, в заледенелый каменный забой на много часов повседневно. Врач — защитник заключенного по должности, оберегающий арестанта от произвола начальства, от чрезмерной ретивости ветеранов лагерной службы.

В лагерных бараках в иные годы висели на стене большие печатные объявления: «Права и обязанности заключенного». Здесь было много обязанностей и мало прав. «Право» подавать заявления начальнику — только не коллективные... «Право» писать письма родным через лагерных цензоров... «Право» на медицинскую помощь.

Это последнее право было крайне важным, хотя дизентерию лечили во многих приисковых амбулаториях раствором марганцовокислого калия и тем же раствором, только погуще, смазывали гнойные раны или отморожения.

Врач может освободить человека от работы, официально, записав в книгу; может положить в больницу, определить в «оздоровительный пункт», увеличить паек. И самое главное в «трудовом» лагере — врач определяет «трудовую категорию», степень способности к труду, по которой рассчитывается норма работы. Врач может представить даже к освобождению — по инвалидности, по знаменитой статье 458. Освобожденного от работы по болезни никто не может заставить работать — врач бесконтролен в этих своих действиях. Лишь врачебные более высокие чины могут его проконтролировать. В своем медицинском деле врач никому не подчинен.

Надо еще помнить, что контроль за закладкой продуктов в «котел» — обязанность врача, равно как и наблюдение за качеством приготовленной пищи.

Единственный защитник заключенного, реальный его защитник — лагерный врач. Власть у него очень большая, ибо никто из лагерного начальства не мог контролировать действия специалиста. Если врач давал неверное, недобросовестное заключение, определить это мог только медицинский работник высшего или равного ранга — опять же специалист. Почти всегда лагерные начальники были во вражде со своими медиками — сама работа разводила их в разные стороны. Начальник хотел, чтобы группа «В» (временно освобожденные от работы по болезни) была поменьше, чтобы лагерь побольше людей выставил на работу. Врач же видел, что границы «добра и зла» тут давно перейдены, что люди, выходящие на работу — больны, устали, истощены

и имеют право на освобождение от работы — в гораздо большем количестве, чем это думалось начальству.

Врач мог при достаточно твердом характере настоять на освобождении от работы людей. Без санкции врача ни один начальник лагеря не послал бы людей на работу.

Врач мог спасти арестанта от тяжелой работы — все заключенные поделены, как лошади, на «категории труда». Трудовые группы эти — их бывало четыре, три, пять — назывались «трудовыми категориями» — хотя, казалось бы, это выражение — из философского словаря. Это — одна из острот, вернее, из гримас жизни.

Дать «легкую» категорию труда часто значило спасти человека от смерти. Всего грустнее было то, что люди, стремясь получить категорию легкого труда и стараясь обмануть врача — на самом деле были больны гораздо серьезней, чем они сами считали.

Врач мог дать отдых от работы, мог направить в больницу и даже «сактировать», то есть составить акт об инвалидности, и тогда заключенный подлежал вывозу на «материк». Правда, больничная койка и актировка в медицинской комиссии не зависели от врача, выдающего путевку, но важно ведь было начать этот путь.

Все это — и еще многое другое, попутное, ежедневное, было прекрасно учтено, понято блатарями. Особое отношение к врачу было введено в кодекс воровской морали. Наряду с «тюремной пайкой» и «вором-джентльменом» в лагерном и тюремном мире укрепилась легенда о «Красном Кресте».

«Красный Крест» — блатной термин, и я каждый раз настораживаюсь, когда слышу это выражение.

Блатные демонстративно выражали свое уважение к работникам медицины, обещали им всяческую свою поддержку, выделяя врачей из необъятного мира «фрайеров» и «штымпов».

Была сочинена легенда — она и по сей день бытует в лагерях — как обокрали врача мелкие воришки, «сявки», и как крупные воры разыскали и с извинениями воротили краденое. Ни дать ни взять «Брегет Эррио».

Более того — у врачей действительно не воровали, старались не воровать. Врачам делали подарки — вещами, деньгами,— если это были вольнонаемные врачи. Упрашивали и грозили убийством, если это были врачи-заключенные. Подхваливали врачей, оказывавших помощь блатарям.

Иметь врача «на крючке» — мечта всякой блатной компании. Блатарь может быть груб и дерзок с любым начальником (этот «шик», этот «дух» он даже обязан в некоторых обстоятельствах показать во всей яркости) — перед врачом блатарь лебезит, подчас пресмыкается и не позволит грубого слова в отношении врача — пока блатарь не увидит, что ему не верят, что его наглые требования никто выполнять не собирается.

Ни один медицинский работник, дескать, не должен в лагере заботиться о своей судьбе — блатари ему помогут материально и морально — материальная помощь — это краденые «лепёхи» и «шкеры», моральная — блатарь удостоит врача своими беседами, своим посещением и расположением.

Дело за немногим — вместо больного фрайера, истощенного непосильной работой, бессонницей и побоями, положить на больничную койку здоровенного педераста — убийцу и вымогателя. Положить и держать его на больничной кровати, пока тот сам не соизволит выписаться.

Дело за немногим: регулярно освобождать от работы блатных, чтоб они могли «подержать короля за бороду».

Послать блатарей по медицинским путевкам в другие больницы, если им это понадобится в каких-то своих блатных «высших» целях.

Покрывать симулянтов-блатарей, а блатари все — симулянты и агграванты, с вечными «мостырками» трофических язв на голенях и бедрах, с легкими, но впечатляющими резаными ранами живота и т. п.

Угощать блатарей «порошочками», «кодеинчиком» и «кофеинчиком», отведя весь аптечный запас наркотических средств и спиртовых настоек в пользование «благодетелей».

Много лет подряд принимал я этапы в большой лагерной больнице — сто процентов симулянтов, прибывших по врачебным путевкам, были воры. Воры или подкупали местного врача, или запугивали — и врач сочинял фальшивый медицинский документ.

Бывало часто и так, что местный врач или местный начальник лагеря, желая избавиться от надоевшего и опасного элемента в своем «хозяйстве», отправлял блатных в больницу в надежде, что если они и не исчезнут совсем, то некоторую передышку его «хозяйство» получит.

Если врач был подкуплен — это плохо, очень плохо. Но если он был запуган — это можно извинить, ибо

угрозы блатарей вовсе не пустые слова. На медпункт прииска «Спокойный», где было много блатарей, откомандировали из больницы молодого врача и, главное, молодого арестанта Сурового, недавно кончившего Московский медицинский институт. Друзья отговаривали Сурового — можно было отказаться, пойти на общие работы, но не ехать на явно опасную работу. Суровой попал в больницу с общих работ — он боялся туда вернуться и согласился поехать на прииск работать по специальности. Начальство дало Суровому инструкции, но не дало советов, как себя держать. Ему было запрещено категорически направлять с прииска здоровых воров. Через месяц он был убит прямо на приеме — пятьдесят две ножевых раны было сосчитано на его теле.

В «женской зоне» другого прииска пожилая женщина-врач Шицель была зарублена топором собственной санитаркой — блатаркой Крошкой, выполнявшей «приговор» блатных.

Так выглядел на практике «Красный Крест» в тех случаях, когда врачи не были покладисты и не брали взяток.

Наивные врачи искали объяснения противоречий у идеологов блатного мира. Один из таких философов-главарей лежал в это время в хирургическом отделении больницы. Два месяца назад, находясь в «изоляторе», он, желая оттуда выйти, применил обычный безошибочный, но небезопасный способ: он засыпал себе оба — для верности — глаза порошком химического карандаша. Случилось так, что медпомощь запоздала, и блатарь ослеп — в больнице он лежал инвалидом, готовясь к выезду на «материк». Но, подобно знаменитому сэру Виллиамсу из «Рокамболя», он и слепой принимал участие в разработке планов преступлений, а уж в «судах чести» считался прямо непререкаемым авторитетом. На вопрос врача о «Красном Кресте» и об убийствах медиков на приисках, совершенных ворами, «сэр Виллиамс» ответил, смягчая гласные после шипящих, как выговаривают все блатари:

— В жизни разные положения могут быть, когда закон не должен применяться.— Он был диалектик, этот «сэр Виллиамс».

Достоевский в «Записках из Мертвого дома» с умилением подмечает поступки «несчастных», которые ведут себя как «большие дети», увлекаются театром, по-ребя-

чески безгневно ссорятся между собой. Достоевский не встречал и не знал людей из настоящего блатного мира. Этому миру Достоевский не позволил бы высказать никакого сочувствия.

Неисчислимы злодеяния воров в лагере. Несчастные люди — «работяги», у которых вор забирает последнюю тряпку, отнимает последние деньги, и работяга боится пожаловаться, ибо видит, что вор — сильнее начальства. Работягу бьет вор и заставляет его работать — десятки тысяч людей забиты ворами насмерть. Сотни тысяч людей, побывавших в заключении, растлены воровской «идеологией» и перестали быть людьми. Нечто блатное навсегда поселилось в их души,— воры, их мораль навсегда оставили в душе любого неизгладимый след.

Груб и жесток начальник, лжив воспитатель, бессовестен врач, но все это — пустяки по сравнению с растлевающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет да и проглянет в них человеческое. Блатные же — не люди.

Влияние их морали на лагерную жизнь — безгранично, всесторонне. Лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели — инженеры, геологи, врачи,— ни начальники, ни подчиненные.

Каждая минута лагерной жизни — отравленная минута.

Там много такого, чего человек не должен знать, не должен видеть, а если видел — лучше ему умереть.

Заключенный приучается там ненавидеть труд — ничему другому и не может он там научиться.

Он обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям, становится эгоистом.

Возвращаясь на «волю», он видит, что он не только не вырос за время лагеря, но что интересы его сузились, стали бедными и грубыми. Моральные барьеры отодвинулись куда-то в сторону.

Оказывается, можно делать подлости и все же жить.

Можно лгать — и жить.

Можно обещать — и не исполнять обещаний и все-таки жить.

Можно пропить деньги товарища.

Можно выпрашивать милостыню и жить! Попрошайничать и жить! Оказывается, человек, совершивший подлость, не умирает.

Он приучается к лодырничеству, к обману, к злобе на всех и вся. Он винит весь мир, «оплакивая свою судьбу».

Он чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть свое горе. К чужому горю он разучился относиться сочувственно — он просто его не понимает, не хочет понимать.

Скептицизм — это еще хорошо, это еще лучшее из лагерного «наследства».

Он приучается ненавидеть людей.

Он боится — он трус. Он боится повторений своей судьбы — боится доносов, боится соседей, боится всего, чего не должен бояться человек.

Он раздавлен морально. Его представления о нравственности изменились, и он сам не замечает этого.

Начальник приучается в лагере к почти бесконтрольной власти над арестантами, приучается смотреть на себя как на бога, как на единственного полномочного представителя власти, как на человека «высшей расы».

Конвойный, в руках у которого была многократно жизнь людей и который часто убивал вышедших из «запретной зоны», что он расскажет своей невесте о своей работе на Дальнем Севере? О том, как бил прикладом винтовки голодных стариков, которые не могли идти?

Молодой крестьянин, попавший в заключение, видит, что в этом аду только «урки» живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга.

Крестьянин задумывается. Ему начинает казаться, что правда лагерной жизни — у блатарей, что, только подражая им в своем поведении, он встанет на путь реального спасения своей жизни. Есть, оказывается, «люди», которые «могут жить» и на самом «дне». И крестьянин начинает подражать блатарям в своем поведении, в своих поступках. Он поддакивает каждому слову блатарей, готов выполнить все их поручения, говорит о них со страхом и благоговением. Он спешит украсить свою речь блатными словечками — без этих блатных словечек не остался ни один человек мужского или женского пола, заключенный или вольный — побывавший на Колыме.

Слова эти — отрава, яд, влезающий в душу человека, и именно с овладения блатным диалектом и начинается сближение фрайера с блатным миром.

Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим — растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями.

Аргумент спора — кулак, палка. Средство понуждения — приклад, зуботычина.

Интеллигент превращается в труса, и собственный мозг подсказывает ему «оправдание» своих поступков. Он может уговорить сам себя на что угодно, присоединиться к любой из сторон в споре. В блатном мире интеллигент видит «учителей жизни», борцов «за народные права».

«Плюха», удар превращают интеллигента в покорного слугу какого-нибудь «Сенечки» или «Костечки».

Физическое воздействие становится воздействием моральным.

Интеллигент напуган навечно. Дух его сломлен. Эту напуганность и сломленный дух он приносит и в вольную жизнь.

Инженеры, геологи, врачи, прибывшие на Колыму по договорам с Дальстроем — развращаются быстро: «длинный рубль», «закон — тайга», рабский труд, которым так легко и выгодно пользоваться, сужение интересов культурных — все это развращает, растлевает, человек, долго поработавший в лагере, не едет на «материк» — там ему грош цена, а он привык к «богатой», обеспеченной жизни. Вот эта развращенность и называется в литературе «зовом Севера».

В этом растлении человеческой души в значительной мере повинен блатной мир, уголовники-рецидивисты, чьи вкусы и привычки сказываются на всей жизни Колымы.

«СУЧЬЯ» ВОЙНА

Дежурного врача вызвали в приемный покой. На свежевымытых, чуть синеватых, выскобленных ножом досках пола корчилось загорелое татуированное тело — раздетый санитарами догола раненый человек. Кровь пачкала пол, и дежурный врач злорадно усмехнулся — отчистить будет трудно; врач радовался всему плохому, что приходилось встретить и видеть. Над раненым склони-

лись два человека в белых халатах: фельдшер приемного покоя, держащий лоток с перевязочным материалом, и лейтенант из спецчасти с бумагой в руке.

Врач сразу понял, что у раненого нет документов и лейтенант спецчасти хочет получить хоть какие-либо сведения о раненом.

Раны были еще свежи, некоторые кровоточили. Ран было много — больше десятка крошечных ран. Человека недавно били маленьким ножом, или гвоздем, или чем-нибудь еще.

Врач вспомнил, как в прошлое его дежурство две недели назад была убита продавщица магазина, убита в своей комнате, задавлена подушкой. Убийца не успел уйти незаметно, поднялся шум, и убийца, обнажив кинжал, выскочил в морозный туман улицы. Пробегая мимо магазина, мимо очереди,— убийца воткнул кинжал последнему в очереди — в ягодицу — из хулиганства, из черт знает чего...

Но сейчас было что-то другое. Движения раненого становились менее порывистыми, щеки бледнели. Врач понимал, что тут дело в каком-то внутреннем кровотечении — ведь на животе тоже были маленькие, тревожные, не кровоточащие раны. Раны могли быть внутри, в кишечнике, в печени...

Но врач не решался вмешаться в священнодействие службы учета. Нужно было добыть во что бы то ни стало «установочные данные» — фамилию, имя, отчество, статью, срок — получить ответ на вопросы, которые задаются каждому заключенному десять раз на день — на поверках, разводах...

Раненый что-то отвечал, и лейтенант торопливо записывал сообщенное на клочке бумаги. Уже известны были и фамилия, и статья — пятьдесят восемь, пункт четырнадцать... Оставался самый главный вопрос, ответа на который и ждали все — и лейтенант, и фельдшер приемного покоя, и дежурный врач...

— Ты кто? Кто?— встав на колени около раненого, взволнованно взывал лейтенант.

— Кто?

И раненый понял вопрос. Веки его дрогнули, раздвинулись искусанные, запекшиеся губы, и раненый выдохнул протяжно:

— Су-у-ка...

И потерял сознание.

— Сука!— восхищенно крикнул лейтенант, вставая и отряхивая рукой колени.

— Сука! Сука!— радостно повторял фельдшер.

— В седьмую его, в седьмую хирургическую!— засуетился врач. Можно было приступать к перевязке. Седьмая палата была «сучья».

Много лет после того, как кончилась война, в уголовном мире — на дне человеческого моря еще не отшумели подводные кровавые волны. Волны эти были следствием войны — удивительным, непредвиденным следствием. Никто — ни седовласые уголовные юристы, ни ветераны тюремной администрации, ни многоопытные лагерные начальники не могли предвидеть, что война разделит уголовный мир на две враждебных друг другу группы.

Во время войны сидевшие в тюрьмах преступники — в том числе и многочисленные воры — рецидивисты, «урки» — были взяты в армию, направлены на фронт, в маршевые роты. Армия Рокоссовского приобрела известность и популярность именно наличием в ней уголовного элемента. Из уркаганов выходили лихие разведчики, смелые партизаны. Природная склонность к риску, решительность и наглость делали из них ценных солдат. На мародерство, на стремление пограбить смотрели сквозь пальцы. Правда, окончательный штурм Берлина не был доверен этим частям. Армия Рокоссовского была нацелена в другое место, а в Тиргартен двинулись кадровые части маршала Конева — полки наиболее чистой пролетарской крови.

Писатель Вершигора в «Людях с чистой совестью» уверяет нас, что знает Воронько — уркача, из коего вышел добрый партизан (как в книжках Макаренко).

Словом, уголовники из тюрем уходили на фронт, воевали там — кто хорошо, кто худо... Настал день победы, герои-уркачи демобилизовались и вернулись к мирным занятиям.

Вскоре советские суды послевоенного времени встретились на своих заседаниях со старыми знакомыми. Оказалось — и это-то предвидеть было нетрудно, что рецидивисты, «уркаганы», «воры», «люди», «преступный мир», и не думают прекращать дела, которое до войны давало им средства к существованию, творческое волнение, минуты подлинного вдохновения, а также положение в «обществе».

Бандиты вернулись к убийствам, «медвежатники» — к взломам несгораемых шкафов, карманники — к исследованиям чердаков на «лепёхах», «скокари» — к квартирным кражам.

Война скорее укрепила в них наглость, бесчеловечность, чем научила чему-либо доброму. На убийство они стали смотреть еще легче, еще проще, чем до войны.

Государство пыталось организовать борьбу с возрастающей преступностью. Явились Указы 1947 года «Об охране социалистической собственности» и «Об охране личного имущества граждан». По этим Указам незначительная кража, за которую вор расплачивался несколькими месяцами заключения, теперь каралась 20 годами.

Воров, бывших участников Отечественной войны, стали десятками тысяч грузить на пароходы и поезда и под строжайшим конвоем отправлять в многочисленные трудовые лагеря, деятельность которых ни на минуту не замирала во время войны. Лагерей к тому времени было очень много. Севлаг, Севвостлаг, Севзаплаг, в каждой области, на каждой большой или маленькой стройке были лагерные отделения. Наряду с карликовыми управлениями, едва превышавшими тысячу человек, были и лагеря-гиганты с населением в годы их расцвета по нескольку сот тысяч человек: Бамлаг, Тайшетлаг, Дмитлаг, Темники, Караганда...

Лагеря стали быстро наполняться уголовщиной. С особым вниманием комплектовались два больших отдаленных лагеря — Колыма и Воркута. Суровая природа Крайнего Севера, вечная мерзлота, восьми-, девятимесячная зима в сочетании с целеустремленным режимом создавали удобные условия для ликвидации уголовщины. Опыт, произведенный Сталиным над «троцкистами» в 1938 году, увенчался полным успехом и был всем хорошо памятен.

На Колыму и Воркуту стали приходить эшелон за эшелоном осужденных по Указам 1947 года. Хотя в трудовом отношении «блатные» были малоценным материалом и вряд ли были особенно пригодны для колонизации края, зато бежать с Крайнего Севера было почти невозможно. Стало быть, задача изоляции разрешалась надежно. Кстати, эти географические особенности Крайнего Севера были на Колыме причиной появления особой категории беглецов (красочный блатной термин — «ушед-

шие во льды»), которые никуда, по сути дела, не «бежали», а прятались около трассы автомобильной дороги в две тысячи километров длиной, грабя проезжающие машины. В главную вину этим беглецам ставились не побег сам по себе и не разбой на большой дороге. Юристы видели в побеге уклонение от работы и трактовали эти побеги как контрреволюционный саботаж, как отказ от работы — главное лагерное преступление. Соединенными усилиями юристов и мыслителей из лагерной администрации уголовный рецидив наконец был кое-как втиснут в рамки самой страшной пятьдесят восьмой статьи.

Каков катехизис вора? Вор, член «преступного мира» — это определение — «преступный мир» принадлежит самим ворам,— должен воровать, обманывать «фрайеров», пить, гулять, играть в карты, не работать, участвовать в «правилках», то есть в «судах чести». Тюрьма для вора хоть и не родной дом, не какие-нибудь «хаза», или «малина», или «шалман», но место, где вор вынужден проводить большую часть своей жизни. Из этого следует важный вывод, что в тюрьме блатные должны обеспечить себе — силой, хитростью, наглостью, обманом — неофициальные, но важные права, вроде права на дележ чужих передач или чужих вещей, вроде права на лучшее место, на лучшую пищу и т. д. Практически это достигается всегда, если в камере есть несколько воров. Именно они-то и приобретают все, что можно приобрести в тюрьме. Эти «традиции» позволяют вору жить лучше других в тюрьме и лагере.

Небольшой срок заключения, частые амнистии давали ворам возможность без особенных забот провести время заключения, не работая. Работали, и то время от времени, только специалисты — слесари, механики. Ни один вор не работал на «черной» работе. Лучше он просидит в карцере, в лагерном изоляторе...

Указ 1947 года с его двадцатилетним сроком за незначительные преступления по-новому поставил перед ворами проблему «занятости». Если вор мог надеяться, не работая, пробиться правдами и неправдами несколько месяцев или год-два, как раньше, то теперь надо было фактически всю жизнь проводить в заключении или полжизни, по крайней мере. А жизнь вора — короткая. «Паханов» — стариков среди «урок» мало. Воры долго не живут. Смертность среди воров значительно выше средней смертности в стране.

Указ 1947 года поставил перед «преступным миром» серьезные проблемы, и лучшие блатные умы напряженно искали надежного решения вопроса.

По воровскому закону, вор не должен в заключении занимать какие-либо административные лагерные должности, выполнение которых вверяется заключенным. Ни нарядчиком, ни старостой, ни десятником вор не имеет права быть. Этим он как бы вступает в ряды тех, с кем вор всю жизнь находится во вражде. Вор, занявший такую административную должность, перестает быть вором и объявляется «сукой», «ссучившимся», объявляется вне закона, и любой блатной сочтет честью для себя зарезать при удобном случае такого ренегата.

Щепетильность преступного мира в этом вопросе очень велика, правоверные толкования некоторых сложных дел напоминают тонкую и извитую логику Талмуда.

Пример: вор идет мимо вахты. Дежурный надзиратель кричит ему: эй, ударь, пожалуйста, в рельс, позвони, мимо идешь... Если вор ударит в рельс — сигнал побудок и поверок — он уже нарушил закон, «подсучился».

«Правилки» или «суды чести», где «качают права» и заняты, главным образом, рассмотрением дел и провинностей, связанных именно с изменой своему знамени и «юридическим» толкованием того или иного подозрительного поступка. Виновен или невиновен? Утвердительный ответ «судов чести» влечет обычно и почти немедленно — кровавую расправу. Убивают, конечно, не судьи, убивает воровская молодежь. Главари всегда считали, что такие «акты» полезны для молодого вора: он приобретает опыт, закаляется...

На пароходах и поездах в Магадан и в Усть-Цильму стали прибывать осужденные после войны воры. «Военщина» — такое они получили название впоследствии. Все они участвовали в войне и не были бы осуждены, если б не совершили новых преступлений. Увы, таких, как Воронько, было очень и очень мало. Огромное же, подавляющее большинство воров вернулось к своей профессии. Строго говоря, они и не отдалялись от нее — мародерство на фронте стоит довольно близко к основному занятию нашей социальной группы. Среди блатарей-«вояк» были и награжденные орденами. Блатные — инвалиды войны нашли себе новый и очень большой доход — нищенство в пригородных поездах.

Среди «военщины» было много крупных «урок», выдающихся деятелей этого подземного мира. Сейчас они возвращались после нескольких лет войны-свободы в привычные места, в дома с решетчатыми окнами, в лагерные зоны, опутанные десятью рядами колючей проволоки, возвращались в привычные места с непривычными мыслями и явной тревогой. Кое-что было уже обсуждено долгими пересыльными ночами, и все были согласны на том, что дальше жить по-старому нельзя, что в воровском мире назрели вопросы, требующие немедленного обсуждения в самых «высших сферах». Главари «военщины» хотели встретиться со старыми товарищами, которых только случай, как они считали, уберег от участия в войне, с товарищами, которые все это военное время просидели в тюрьмах и лагерях. Главари «военщины» рисовали себе картины радостных встреч со старыми товарищами, сцен безудержного бахвальства «гостей» и «хозяев» и, наконец, помощи в решении тех серьезнейших вопросов, которые жизнь поставила перед уголовщиной.

Их надеждам не суждено было сбыться. Старый «преступный мир» не принял их в свои ряды, и на «правилки» «военщина» не была допущена. Оказалось, что вопросы, тревожившие приезжих, давно уже обдуманы и обсуждены в старом «преступном мире». Решение же было вынесено совсем не такое, как думали «вояки».

— Ты был на войне? Ты взял в руки винтовку? Значит, ты — сука, самая настоящая сука и подлежишь наказанию по «закону». К тому же ты — трус! У тебя не хватило силы воли отказаться от маршевой роты — «взять срок» или даже умереть, но не брать винтовку!

Вот как отвечали приезжим «философы» и «идеологи» блатного мира. Чистота блатных убеждений, говорили они, дороже всего. И ничего менять не надо. Вор, если он «человек», а не «сявка», должен уметь прожить при любом Указе — на то он и вор.

Напрасно «вояки» ссылались на прошлые заслуги и требовали допустить их к «судам чести», как равноправных и авторитетных судей. Старые уркаганы, перенесшие и восьмушку хлеба во время войны в тюремной камере, и кое-что другое, были непреклонны.

Но ведь среди вернувшихся было много важных персон уголовного мира. Там было достаточно и «филосо-

фов», и «идеологов», и «вождей». Вытесненные из родной среды столь бесцеремонно и решительно, они не могли примириться с тем положением париев, на которое обрекали их правоверные «урки». Напрасно указывали предводители «военщины», что случайность, особенность их положения в тот момент, когда им было сделано предложение пойти на фронт, исключала отрицательный ответ. Конечно, никаких патриотических настроений у уголовщины никогда не существовало. Армия, фронт — были предлогом выйти на волю, а там что бог даст. На какой-то момент интересы государства и личные интересы слились — и именно за это они и держали сейчас ответ перед своими бывшими товарищами. К тому же война отвечала как-то таким чувствам блатаря, как любовь к опасности, к риску. О «перековке», об отколе от «преступного мира» они и не думали — ни раньше, ни теперь. Ущемленные самолюбия авторитетов, переставших быть авторитетами, сознание напрасности своего шага, который объявлен изменой товарищам, память о трудных дорогах войны — все это обостряло отношения, накаляло «подземную» атмосферу до крайности. Были среди воров и такие, которые пошли на войну из слабости духовной — им угрожали расстрелом, да и расстреляли бы в то время. Более слабые последовали за главарями, за авторитетами — жизнь всегда жизнь, люди.

Крупные блатари, «вожди» «военщины», были озадачены, но не смущены. Что ж, если старый «закон» их не принимает, они объявят новый. И новый воровской закон был объявлен — в 1948 году на пересылке в бухте Ванино. Поселок и порт Ванино были отстроены во время войны, когда взорвался порт бухты Находка.

Первые шаги этого нового закона связаны с полулегендарным именем блатаря по кличке «Король», человека, о котором много лет спустя знавшие его и ненавидевшие воры «в законе» говорили с уважением: «Ну, как-никак душок у него был...»

Дух, душок — это своеобразное воровское понятие. Это и смелость, и напористость, и крикливость, и своеобразная удаль, и стойкость наряду с некоторой истеричностью, театральностью...

Новый Моисей обладал этими качествами в полной мере.

По новому закону, блатным разрешалось работать в лагере и тюрьме старостами, нарядчиками, десятниками,

бригадирами, занимать еще целый ряд многочисленных лагерных должностей.

Король договорился с начальником пересылки о страшном: он обещал навести полный порядок на пересылке, обещав «своими силами» справиться с «законными» ворами. Если в крайнем случае прольется кровь — он просит не обращать большого внимания.

Король напомнил о своих военных заслугах (он был награжден орденом на войне) и дал понять, что начальство стоит перед минутой, когда правильное решение может привести к исчезновению уголовного мира, преступности в нашем обществе. Он, Король, берет на себя выполнение этой трудной задачи и просит ему не мешать.

Думается, что начальник ванинской пересылки немедленно поставил в известность самое высокое начальство и получил одобрение операции Короля. В лагерях ничего не случается по произволу местного начальства. К тому же, по правилам, все шпионят друг за другом.

Король обещает исправиться! Новый воровской закон! Чего же лучше? Это — то, о чем мечтал Макаренко, исполнение самых заветных желаний теоретиков. Наконец-то блатные «перековались»! Наконец-то пришло долгожданное практическое подтверждение многолетним теоретическим упражнениям на сей счет, начиная с крыленковской «резинки» и кончая теорией возмездия Вышинского.

Приученная видеть в «уркачах», «тридцатипятниках» — «друзей народа», администрация лагерей мало следила за подспудными процессами, проходившими в «преступном мире». Никакой тревожной информации оттуда не поступало — лагерное начальство имело сеть доносчиков и осведомителей совсем в других местах. До настроений, до вопросов, волновавших «преступный мир» — никому не было дела.

Мир этот давно уже должен был исправляться — и наконец этот час наступил. Доказательство сему — говорило начальство — новый воровской закон Короля. Это — результат благотворного действия войны, пробудившей даже в уголовниках чувство патриотизма. Мы же читали Вершигору, мы слыхали о победах армии Рокоссовского.

Начальники-ветераны, поседевшие на лагерной службе, хоть и не верили, что «может быть доброе из Назарета», но считали про себя, что от раскола, от вражды двух

воровских групп между собой может быть только добро и выгода для остальных, обыкновенных людей. Минус, помноженный на минус, дает плюс — напоминали они. Попробуем.

Король получил согласие на свой «опыт». В один из коротких северных дней все население пересылки Ванино было выстроено на линейке строем по два.

Начальник пересылки рекомендовал заключенным нового старосту. Этим старостой был Король. Командирами рот были назначены его ближайшие подручные.

Новая лагерная обслуга не стала терять даром времени. Король ходил вдоль рядов заключенных, пристально вглядываясь в каждого, и бросал:

— Выходи! Ты! Ты! И ты!— Палец Короля двигался, часто останавливаясь, и всегда безошибочно. Воровская жизнь приучила его к наблюдательности. Если Король сомневался — проверить было очень легко, и все — и блатари, и сам Король — отлично это знали.

— Раздевайся! Снимай рубаху!

Татуировка — наколка — опознавательный знак «ордена» — сыграла свою губительную роль. Татуировка — ошибка молодости уркаганов. Вечные рисунки облегчают работу уголовному розыску. Но их смертное значение открылось только сейчас.

Началась расправа. Ногами, дубинками, кастетами, камнями банда Короля «на законном основании» крошила адептов старого воровского закона.

— Примете нашу веру?— кричал торжествующе Король. Вот он проверит теперь крепость духа самых упорных «ортодоксов», обвинявших его самого в слабости.— Примете нашу веру?

Для перехода в новый воровской закон был изобретен обряд, театральное действо. Блатной мир любит театральность в жизни, и знай Н. Н. Евреинов или Пиранделло это обстоятельство — они не преминули бы обогатить аргументами свои сценические теории.

Новый обряд ничуть не уступал известному посвящению в рыцари. Не исключено, что романы Вальтера Скотта подсказали эту торжественную и мрачную процедуру.

— Целуй нож!

К губам избиваемого блатаря подносилось лезвие ножа.

— Целуй нож!

Если «законный» вор соглашался и прикладывал

губы к железу — он считался принятым в новую веру и навсегда терял всякие права в воровском мире, становясь «сукой» навеки.

Эта мысль Короля была поистине королевской мыслью. Не только потому, что посвящение в блатные рыцари обещало многочисленные резервы армии «сук» — вряд ли, вводя этот ножевой обряд, Король думал о завтрашнем и послезавтрашнем дне. Но о другом он подумал наверняка! Он поставит всех своих старых довоенных друзей в те же самые условия — жизнь или смерть!— в которых он, Король, струсил, по мнению воровских «ортодоксов». Пусть теперь они сами покажут себя! Условия — те же.

Всех, кто отказывался целовать нож — убивали. Каждую ночь к запертым снаружи дверям пересыльных бараков подтаскивали новые трупы. Эти люди не были просто убиты. Этого было слишком мало Королю. На всех трупах «расписывались» ножами все их бывшие товарищи, поцеловавшие нож. Блатарей не убивали просто. Перед смертью их «трюмили», то есть топтали ногами, били, всячески уродовали... И только потом — убивали. Когда через год или два пришел этап с Воркуты и несколько видных воркутинских «сук» (там разыгралась та же история) сошли с парохода — выяснилось, что воркутинцы не одобряют излишней жестокости колымчан. «У нас просто убивают, а «трюмить»? Зачем это?» Стало быть, воркутинские дела несколько отличались от дел королевской банды.

Вести о королевской расправе в бухте Ванино полетели через море, и на колымской земле воры старого закона приступили к самозащите. Была объявлена тотальная мобилизация, весь блатной мир вооружался. Над изготовлением ножей и коротких пик-штыков тайком трудились все кузницы и слесарные мастерские Колымы. Ковали, конечно, не блатные, а настоящие штатные мастера под угрозой «за-ради страха» — как говорили блатные. Они знали гораздо раньше Гитлера, что напугать человека гораздо надежней, чем подкупить. И, само собой, дешевле. Любой слесарь, любой кузнец согласился бы, чтоб у него упал процент выполнения плана, но была сохранена жизнь.

Тем временем энергичный Король убедил начальство в необходимости «гастрольной» поездки по пересылкам Дальнего Востока. Вместе с семью своими подручными

он объехал пересылки до Иркутска — оставляя в тюрьмах десятки трупов и сотни новообращенных «сук».

«Суки» вечно не могли жить в бухте Ванино. Ванино — транзитка, пересылка. «Суки» двинулись за море — на золотые прииски. Война была перенесена в большое пространство. Воры убивали «сук», «суки» — воров. Цифра «архива № 3» (умершие) подскочила вверх, чуть не достигая рекордных высот пресловутого 1938 года, когда «троцкистов» расстреливали целыми бригадами.

Начальство бросилось к телефонам, вызывая Москву.

Выяснилось, что в заманчивой формуле «новый воровской закон» главное значение имеет слово «воровской», и ни о каких «перековках» не идет и речи. Начальство было еще раз одурачено — жестоким и умным Королем.

С начала тридцатых годов, ловко пользуясь распространением идей «трудового перевоспитания», блатные спасают свои кадры, легко давая миллионы честных слов, пользуясь спектаклем «Аристократы» и твердым указанием начальства о необходимости оказывать «доверие» уголовному рецидиву. Идеи Макаренко и пресловутая «перековка» и дали возможность блатарям под прикрытием этих идей спасти свои кадры и их укрепить. Утверждалось, что в отношении бедняжек уголовников должны применяться только исправительные, а не карательные санкции. На деле это выглядело странной заботливостью о сохранении уголовщины. Любой практик — лагерный работник знал — и знал всегда,— что ни о какой «перековке» и перевоспитании уголовного рецидива не может быть и речи, что это — вредный миф. Что обмануть фрайера, начальство — это доблесть вора; что можно давать тысячу клятв фрайеру, миллион честных слов, лишь бы он поддался на удочку. Недальновидные драматурги типа Шейнина или Погодина продолжали, к вящей пользе блатного мира, проповедовать необходимость «доверия» к блатарям. Если один Костя-капитан перевоспитался, то десять тысяч блатных вышли из тюрем раньше времени и совершили двадцать тысяч убийств и сорок тысяч ограблений. Вот цена, которую заплатили за «Аристократов» и «Дневник следователя». Шейнин и Погодин были слишком несведущими людьми в столь важном вопросе. Вместо того чтобы развенчать уголовщину, они романтизировали ее.

В 1938 году блатные были открыто призваны в лагерях для физической расправы с «троцкистами»; блатные

убивали и избивали беспомощных стариков, голодных «доходяг»... Смертной казнью каралась даже «контрреволюционная агитация», но преступления блатных были под защитой начальства.

Никаких признаков «перековки» ни в блатном, ни в «сучьем» мире не обнаруживалось. Только сотни трупов ежедневно собирались в лагерные морги. Выходило так, что начальство, помещая вместе блатных и «сук», сознательно подвергает тех или других смертельной опасности.

Распоряжения о «невмешательстве» были вскоре отменены и повсюду созданы отдельные, особые зоны — для «сук» и для воров «в законе». Поспешно и все же поздно Король и его единомышленники были сняты со всех лагерных административных должностей и превратились в простых смертных. Выражение «простой смертный» неожиданно приобрело особый, зловещий смысл. «Суки» не были бессмертными. Оказалось, что создание особых зон на территории одного лагеря не приносит никакой пользы. Кровь лилась по-прежнему. Пришлось закрепить за ворами и «суками» отдельные прииски (где, конечно, наряду с уголовщиной работали и представители других статей кодекса). Создавались экспедиции — налеты вооруженных «сук» или воров на «вражеские» зоны. Пришлось сделать еще один организационный шаг — целые приисковые управления, объединяющие несколько приисков, закрепить за ворами и «суками». Так, все Западное управление с его больницами, тюрьмами, лагерями осталось «сукам», а в Северном управлении сосредоточивали воров.

На пересылках каждый блатной должен был сообщить начальству, кто он — вор или «сука», и в зависимости от ответа он подключался в этап, направляемый туда, где блатарю не грозила смерть.

Название «суки», хоть и неточно отражающее существо дела и терминологически неверное, привилось сразу. Как ни пытались вожди нового закона протестовать против обидной клички, удачного, подходящего слова не нашлось, и под этим названием они вошли в официальную переписку, и очень скоро и сами они стали себя называть «суками». Для ясности. Для простоты. Лингвистический спор мог немедленно привести к трагедии.

Время шло, а кровавая война на уничтожение не утихала. Чем может это кончиться? Чем?— гадали лагер-

ные мудрецы. И отвечали: убийством главарей с той и другой стороны. Уже сам Король был взорван на каком-то отдаленном прииске (его сон в углу барака охранялся вооруженными друзьями. Блатари подвели под угол барака заряд аммонала, достаточный, чтобы угловые нары взлетели в небо). Уже большинство «вояк» лежало в братских лагерных могилах с деревянной биркой на левой ноге, нетленными в вечной мерзлоте. Уже самые видные воры — Полтора Ивана Бабаланов и Полтора Ивана Грек умерли, не поцеловав сучьего ножа. Но другие, не менее видные — Чибис, Мишка-одессит — поцеловали и убивали теперь блатных во славу «сучью».

На втором году этой «братоубийственной» войны обозначилось некое новое важное обстоятельство.

Как? Разве обряд целования ножа меняет блатную душу? Или пресловутая «жульническая кровь» изменила свой химический состав в жилах уркагана оттого, что губы его прикоснулись к железному лезвию?

Вовсе не все целовавшие нож одобряли новые «сучьи» скрижали. Многие, очень многие в душе оставались приверженцами старых законов — ведь они сами осуждали «сук». Часть этих слабых духом блатарей попробовала при удобном случае вернуться в «закон». Но — королевская мысль Короля еще раз показала свою глубину и силу. Воры «законные» грозили новообращенным «сукам» смертью и не хотели отличать их от кадровых «сук». Тогда несколько старых воров, поцеловавших «сучье» железо, воров, которым стыд не давал покоя и кормил их злобу, сделали еще один удивительный ход.

Объявлен был третий воровской закон. На этот раз для разработки «идейной» платформы у блатных третьего закона не хватило теоретических сил. Они не руководились ничем, кроме злобы, и не выдвигали никаких лозунгов, кроме лозунга мести и кровавой вражды к «сукам» и к ворам — в равной мере. Они приступили к физическому уничтожению тех и других. В эту группу поначалу вошло так неожиданно много уркаганов, что начальству пришлось и для них выделить отдельный прииск. Ряд новых убийств, вовсе непредвиденных начальством, привел в большое смущение умы лагерных работников.

Блатари третьей группы получили выразительное название «беспредельщины». «Беспредельщину» зовут также «махновцами» — афоризм Нестора Махно времен гражданской войны о своем отношении к красным и

белым хорошо известен в блатном мире. Стали рождаться новые и новые группы, принимавшие самые различные названия, например, «Красные шапочки». Лагерное начальство сбилось с ног, обеспечивая всем этим группам отдельные помещения.

В дальнейшем выяснилось, что «беспредельщины» не так много. Воры действуют всегда в компании — одинокий блатарь невозможен. Публичность кутежей, «правилок» в воровском подполье нужна и большим, и малым ворам. Нужно принадлежать к какому-то миру, искать и находить там помощь, дружбу, совместное дело.

«Беспредельщина», по существу, трагична. В «сучьей» войне она имела не много сторонников и была ярким явлением психологического порядка, вызывая к себе интерес именно с этой стороны. «Беспредельщине» пришлось испытать и много особых унижений.

Дело в том, что по приказу охраняемые конвоем камеры пересылок были двух видов: для воров «в законе» и воров-«сук». «Беспредельщикам» же приходилось выпрашивать у начальства место, долго объяснять, ютиться где-нибудь в уголках, среди фрайеров, которые относились к ним без всякой симпатии. Почти всегда «беспредельщики» были одиночными «путешественниками». Вору-«беспредельщику» приходилось обращаться с просьбой к начальству — воры и «суки» требовали «своего». Так, один из таких «беспредельщиков» после выписки из больницы трое суток (до отправки) провел под караульной вышкой — там было всего безопасней — в лагере же его могли убить, и он отказался войти в зону.

Первый год казалось, что перевес будет за «суками». Энергичные действия их главарей, воровские трупы на всех пересылках, разрешение направлять «сук» на те прииски, куда раньше направлять их не рисковали — все это были признаки «сучьего» преимущества в «войне». Вербовка «сук» путем обряда целования ножа приобрела широкую известность. Магаданская пересылка была прочно занята «суками». Кончалась зима, и блатные «в законе» жадно ждали начала навигации. Первый пароход должен был решить их судьбу. Что он привезет — жизнь или смерть?

С пароходом прибыли первые сотни правоверных блатарей с «материка». Среди них не было «сук»!

«Суки» магаданской пересылки быстро этапировались в «свое» Западное управление. Получив подкрепление,

воры снова ожили, и кровавая борьба вспыхнула с новой силой. В дальнейшем из года в год воровские кадры пополнялись приезжими, завезенными с «материка» ворами. «Сучьи» же кадры — размножались известным способом целования ножа.

Будущее по-прежнему было неопределенным. В 1951 году Иван Чайка — один из самых «авторитетных» представителей воровского закона того времени и тех мест — назначен был в этап после месячного лечения в центральной больнице для заключенных. Чайка был вовсе не болен. Начальнику санчасти прииска, где Чайка был «прописан», пригрозили расправой, если он не отправит Чайку в больницу на отдых, и обещали дать два костюма, если он Чайку отправит. Начальник санчасти отправил Чайку. Больничные анализы не содержали ничего угрожающего здоровью Чайки, но с заведующим терапевтическим отделением уже успели поговорить. Чайка лежал в больнице целый месяц и согласился выписаться. Но при отправке с больничной пересылки вызванный по списку нарядчиком Чайка спросил — куда идет этап? Нарядчик захотел подшутить над Чайкой и назвал один из приисков Западного управления, куда «законных» воров не отправляли. Через десять минут Чайка сказался больным и попросил вызвать начальника пересылки. Пришел начальник и врач. Чайка положил ладонь левой руки на стол, растопырив пальцы, и ножом, который был у него в другой руке, несколько раз ударил по собственной кисти. Всякий раз нож проходил до дерева, и Чайка резким рывком выдергивал его обратно. Все это было делом минуты-двух. Чайка объяснил испуганному начальству, что он — вор и знает свои права. Он должен ехать в воровское, Северное управление. На запад же, на смерть он не поедет, лучше потеряет руку. Начальник, изрядно перетрусивший, едва разобрался в этой истории,— ведь Чайку отправляли именно туда, куда он хотел. Так, по милости нарядчика, месячный отдых Чайки в больнице был немного испорчен. Если бы он не спросил нарядчика о месте назначения этапа — все обошлось бы благополучно.

Центральная больница для заключенных на тысячу с лишним коек, гордость колымской медицины, была расположена на территории Северного управления. Естественно, что воры считали ее своей районной больницей, а отнюдь не центральной. Руководство больницы долгое время пыталось встать «над схваткой» и делало вид, что

лечит больных из всех управлений. Это было не вполне так, ибо воры считали Северное управление своей цитаделью и настаивали на своих особых правах на всей его территории. Воры добивались, чтобы «сук» не лечили в этой больнице, где были условия лечения много лучше, чем где-либо, а главное — центральная больница имела право «актировки» инвалидов для вывоза на «материк». «Добивались» они этого не заявлениями, не жалобами, не просьбами, а ножами. Несколько убийств на глазах у начальника больницы, и тот присмирел и понял, где его настоящее место в столь тонких вопросах. Недолго пыталась больница удержаться на чисто врачебных позициях. Когда больному его сосед втыкает ночью нож в живот — это действует весьма убедительно, как бы ни заявляло начальство о том, что ему нет дела до «гражданской войны» среди уголовного мира. Упорство руководства больницы вначале и заверения в безопасности обманули некоторых «сук». Они соглашались на леченье, предлагавшееся им на местах (на местах любой врач соглашался «оформить» медицинские документы, лишь бы прииск избавился хоть на время от уголовщины); конвой привозил их в больницу, но не дальше приемного покоя. Здесь, разузнав обстановку, они требовали немедленной отправки обратно. В большинстве случаев их увозил тот же конвой. Был случай, когда начальник конвоя, получив отказ в приеме, подбросил в канаву около больницы связку «личных дел» и, оставив больных, пытался на своей машине вместе с конвоирами скрыться. Машина с конвоем уже успела сделать километров сорок, когда ее нагнали на другой машине бойцы и офицеры охраны больницы с винтовками и револьверами со взведенными курками. «Беглецов» под конвоем вернули к больнице, вручили им людей и «дела» и распрощались с ними.

Единственный раз четыре «суки» — крупных уркагана — отважились на ночевку в стенах больницы. Они забаррикадировали дверь отведенной им отдельной больничной палаты и дежурили у дверей по очереди с обнаженными ножами. Наутро они отправлены были обратно. Это был единственный случай, когда оружие было открыто внесено в больницу — начальство старалось не видеть ножей в руках у «сук».

Обычно же оружие отбиралось в приемном покое — это делалось очень просто — больных раздевали догола и выводили в следующее помещение для врачебного

осмотра. После каждого этапа на полу и за спинками скамеек оставались брошенные пики и ножи. Разматывались даже бинты повязок, снимался гипс с переломов, ибо ножи прибинтовывались к телу, скрывались под повязками.

Чем дальше, тем реже приезжали «суки» в центральную больницу — практически воры уже выиграли спор с начальством. Наивный начальник, начитавшийся Шейнина и Макаренко, втайне, а то и открыто восхищенный «романтическим» миром уголовщины («Вы знаете, это крупный вор» — это говорилось таким тоном, что можно было подумать, что речь идет о каком-нибудь академике, открывшем тайну атомного ядра), возомнил себя знатоком блатных обычаев. Он слыхал о «Красном Кресте», о воровском отношении к врачам, и сознание своего личного общения с ворами приятно щекотало его тщеславие.

Ему говорили, что «Красный Крест», то есть медицина, ее работники, и в первую очередь врачи, находятся на особом положении в глазах блатного мира. Они — неприкосновенны, «экстерриториальны» для воровских операций. Больше того, врачей в лагере уголовники охраняют от всех несчастий. На эту нехитрую, грубую лесть попалось и попадается много людей. И каждый вор и каждый врач в лагере умеют рассказывать старую-престарую сказку о том, как обокраденному врачу воры вернули часы (чемодан, костюм, брегет), лишь только узнали, что обокраденный — врач. Это — вариация «Брегета Эррио». В ходу и история о голодном враче, которого сытые воры кормили в тюрьме (из передач, отобранных ворами у других жителей тюремной камеры). Существует несколько подобных классических сюжетов, которые, как шахматные дебюты, рассказываются по определенным правилам...

В чем тут правда, в чем тут дело? Дело тут в холодном, строгом и подлом расчете блатарей. А правда в том, что единственным защитником заключенного в лагере (и вора в том числе) является врач. Не начальник, не штатный КВЧ — культработник, а только врач оказывает повседневную и реальную помощь арестанту. Врач может положить в больницу. Врач может дать отдохнуть день-другой — это очень важное дело. Врач может отправить куда-либо в другое место или не отправить — при всяком таком передвижении требуется санкция врача.

Врач может направить на легкую работу, снизить «трудовую категорию» — в этой важнейшей жизненной области врач почти вовсе бесконтролен, и уж во всяком случае не местный начальник ему судья. Врач следит за питанием заключенных и если не принимает сам участия в разбазаривании этого питания, то очень хорошо. Он может выписать паек получше. Велики права и обязанности врача. И как бы ни был плох врач — все равно именно он — моральная сила в лагере. Иметь влияние на врача — это гораздо важнее, чем держать «на крючке» начальника или подкупать работника КВЧ. Врачей подкупают очень умело, запугивают осторожно, им, вероятно, возвращают и краденые вещи. Впрочем, живых примеров этому нет. Скорее на лагерных врачах — не исключая и вольнонаемных — можно видеть даренные ворами костюмы или хорошие «шкары». Блатной мир в хороших отношениях с врачом до тех пор, пока врач (или другой медработник) выполняет все требования этой наглой банды, требования, растущие по мере того, как врач все глубже запутывается в своих, казалось бы, невинных связях с блатарями. А ведь больные люди, измученные старики должны умирать на нарах, потому что их места в больнице занимают здоровые отдыхающие блатари. И если врач отказывается выполнять требования уголовщины, с ним поступают вовсе не как с представителем «Красного Креста». Молодой москвич, приисковый врач Суровой отказался категорически выполнить требования блатных об отправке в центральную больницу на отдых трех блатарей. На следующий вечер он был убит во время приема — пятьдесят две ножевых раны насчитал на его трупе патологоанатом. Пожилой врач — женщина Шицель на женском прииске отказалась дать освобождение от работы какой-то блатарке. На следующий день врачиха была зарублена топором. Собственная санитарка санчасти привела приговор в исполнение. Суровой был молод, честен и горяч. Когда его убили, на его должность был назначен доктор Крапивницкий — опытный начальник санчастей штрафных приисков, вольнонаемный врач, видавший виды.

Доктор Крапивницкий просто объявил, что лечить не будет, не будет и осматривать. Необходимые медикаменты будут выдаваться ежедневно через бойцов охраны. Зона наглухо запирается, и выпускать из нее будут только мертвых. Еще два с лишним года после назначения на этот

прииск доктор Крапивницкий продолжал там находиться в полном здравии.

Закрытая зона, окруженная пулеметами, отрезанная от всего остального мира, жила своей собственной страшной жизнью. Мрачная фантазия уголовников соорудила здесь среди бела дня форменные суды, с заседаниями, с обвинительными речами и свидетельскими показаниями. Посреди лагеря воры, сломав нары, воздвигли виселицу и на этой виселице повесили двоих «разоблаченных» «сук». Все это делалось не ночью, а белым днем, на глазах начальства.

Другая зона этого прииска считалась рабочей. Оттуда воры пониже чином ходили на работу. Прииск этот после размещения там уголовщины потерял, конечно, свое производственное значение. Влияние соседней, нерабочей зоны чувствовалось там всегда. Именно из «рабочих» бараков в больницу был привезен старик — «бытовичок», не уголовник. Он, как рассказывали приехавшие с ним блатари, «непочтительно разговаривал с Васечкой!»

«Васечка» был молодой блатарь из потомственных воров; стало быть, из вожаков. Старик был вдвое старше этого «Васечки».

Обиженный тоном старика («еще огрызается»), Васечка велел достать кусок бикфордова шнура с капсюлем. Капсюль вложили в ладони старика, связали обе его кисти друг с другом — протестовать он не посмел — и подожгли шнур. У старика были оторваны обе кисти. Так дорого обошелся ему непочтительный разговор с «Васечкой».

«Сучья» война продолжалась. Само собой случилось то, чего некоторые умные и опытные начальники боялись больше всего. Поднаторев в кровавых расправах — а смертной казни не было в те времена для лагерных убийц — и «суки», и блатные стали применять ножи по любому поводу, вовсе не имеющему отношения к «сучьей» войне.

Показалось, что повар налил супу мало или жидко — повару в бок запускается кинжал, и повар отдает богу душу.

Врач не освободил от работы — и врачу на шею заматывают полотенце и душат его...

Заведующий хирургическим отделением центральной больницы укорил видного блатаря в том, что воры

убивают врачей и забыли о «Красном Кресте». Как, дескать, земля не расступится под их ногами? Блатарям чрезвычайно импонирует обращение к ним начальства по таким... «теоретическим вопросам». Блатарь ответил, ломаясь и выворачивая слова с непередаваемым блатарским акцентом:

«Закон зизни, доктор. Разные бывают полозения. В одном слуцае — так, а в другом — соверсенно инаце. Зизнь меняется».

Наш блатарь был неплохим диалектиком. Это был обозленный блатарь. Случилось так, что, находясь в изоляторе и желая попасть в больницу, он засыпал себе глаза истертым в порошок чернильным карандашом. Выпустить-то его из изолятора выпустили, но квалифицированную врачебную помощь он получил слишком поздно — он ослеп навеки.

Но слепота не мешала ему участвовать в обсуждении всех вопросов блатной жизни, давать советы, выносить авторитетные и обязательные суждения. Как сэр Виллиамс из «Рокамболя», слепой блатарь по-прежнему жил полной преступной жизнью. В расследованиях по «сучьим» делам достаточно было его обвинительного вердикта.

Спокон веку в блатном мире «сукой» назывался изменник воровскому делу, вор, передавшийся на сторону уголовного розыска. В «сучьей» войне дело шло о другом — о новом воровском законе. Все же за рыцарями нового ордена укрепилось оскорбительное название «сук».

У лагерного начальства (кроме первых месяцев этой «сучьей» войны) «суки» не пользовались любовью. Начальство предпочитало иметь дело с блатарями старого покроя, которые были понятней, проще.

«Сучья» война отвечала темной и сильной воровской потребности — сладострастного убийства, утолению жажды крови. «Сучья» война была слепком с событий, свидетелями которых блатари были ряд лет. Эпизоды настоящей войны отразились, как в кривом зеркале, в событиях уголовной жизни. Захватывающая дух реальность кровавых событий чрезвычайно увлекала вожаков. Даже простая карманная кража ценой в три месяца тюрьмы или квартирный «скок» совершаются при некоем «творческом подъеме». Им сопутствует ни с чем не сравнимое, как говорят блатари, духовное напря-

жение высшего порядка, благодетельная вибрация нервов, когда вор чувствует, что он — живет.

Во сколько же раз острее, садистически острее ощущение убийства, пролитой крови, то, что противник — такой же вор — еще усиливает остроту переживаний. Присущее блатному миру чувство театральности находит выход в этом огромном многолетнем кровавом спектакле. Здесь все — настоящее и все — игра, страшная, смертельная игра. Как у Гейне: «Мясом будет точно мясо, Кровью будет кровь людская».

Блатари играют, подражая политике и войне. Блатные вожаки оккупировали города, высылали отряды разведки, перерезали коммуникации противника, осуждали и вешали изменников. Все было и реальностью, и игрой, кровавой игрой.

История уголовщины, насчитывающая много тысячелетий, знает много примеров кровавой борьбы бандитских шаек между собой — за зоны грабежа, за господство в «преступном мире». Однако многие особенности «сучьей» войны делают ее событием, единственным в своем роде.

. . . .

АПОЛЛОН СРЕДИ БЛАТНЫХ

Блатари не любят стихов. Стихам нечего делать в этом чересчур реальном мире. Каким сокровенным потребностям, эстетическим запросам воровской души должна отвечать поэзия? Какие требования блатарей должна поэзия удовлетворять? Кое-что об этом знал Есенин, многое угадал. Однако даже самые грамотные блатари чуждаются стихов — чтение рифмованных строк кажется им стыдной забавой, дурачеством, которое обидно своей непонятностью. Пушкин и Лермонтов — излишне сложные поэты для любого человека, впервые в жизни встречающегося со стихами. Пушкин и Лермонтов требуют определенной подготовки, определенного эстетического уровня. Приобщать к поэзии Пушкиным нельзя, как нельзя и Лермонтовым, Тютчевым, Баратынским. Однако в русской классической поэзии есть два автора, чьи стихи эстетически действуют на неподготовленного слушателя, и воспитание любви к поэзии, понимание поэзии надо начинать именно с этих авторов. Это, конечно, Некрасов и

особенно Алексей Толстой. «Василий Шибанов» и «Железная дорога» — самые «надежные» стихотворения в этом смысле. Проверено это мной многократно. Но ни «Железная дорога», ни «Василий Шибанов» не производили на блатарей никакого впечатления. Было видно, что они следят лишь за фабулой вещи, предпочли бы прозаический ее пересказ или хоть «Князя Серебряного» А. К. Толстого. Точно так же беллетристическое описание пейзажа в любом читанном вслух романе ничего не говорило душе слушателей-блатарей, и было видно желание дождаться поскорей описания действия, движения, на худой конец, диалога.

Конечно, блатарь, как ни мало в нем человеческого, не лишен эстетической потребности. Она удовлетворяется тюремной песней — песен очень много. Есть песни эпические — вроде уже отмирающего «Гоп со смыком», или стансов в честь знаменитого Горбачевского и других подобных звезд преступного мира, или песни «Остров Соловки». Есть песни лирические, в которых находит выход чувство блатаря, окрашенные весьма определенным образом и сразу отличающиеся от обычной песни — и по своей интонации, и по своей тематике, и по своему мироощущению.

Тюремная песня лирическая обычно весьма сентиментальна, жалобна и трогательна. Тюремная песня, несмотря на множество погрешностей в орфоэпии, всегда носит задушевный характер. Этому способствует и мелодия, часто весьма своеобразная. При всей ее примитивности исполнение сильнейшим образом усиливает впечатление — ведь исполнитель — не актер, а действующее лицо самой жизни. Автору лирического монолога нет надобности переодеваться в театральный костюм.

Композиторы наши не добрались еще до уголовного музыкального фольклора — попытки Леонида Утесова («С одесского кичмана») — не в счет.

Весьма распространена и примечательна по своей мелодии песня «Судьба». Жалобная мелодия может подчас довести впечатлительного слушателя до слез. Блатаря песня до слез довести не может, но и блатарь будет слушать «Судьбу» проникновенно и торжественно.

Вот ее начало:

Судьба во всем большую роль играет,
И от судьбы далёко не уйдешь.

Она повсюду нами управляет,
Куда велит, покорно ты идешь.

Имя «придворного» поэта, сочинившего текст песни — неизвестно. Далее в «Судьбе» рассказывается весьма натурально об отцовском «наследстве» вора, о слезах матери, о нажитой в тюрьме чахотке и выражается твердое намерение продолжать выбранный путь жизни до самой смерти.

В ком сила есть с судьбою побороться,
Веди борьбу до самого конца.

Потребность блатарей в театре, в скульптуре, в живописи равна нулю. Интереса к этим музам, к этим родам искусства блатарь не испытывает никакого — он слишком реален; его эмоции «эстетического» порядка слишком кровавы, слишком жизненны. Тут уж дело не в натурализме — границы искусства и жизни неопределимы, и те слишком реалистические «спектакли», которые ставят блатари в жизни, пугают и искусство, и жизнь.

На одном из колымских приисков блатари украли двадцатиграммовый шприц из амбулатории. Зачем блатарям шприц? Колоться морфием? Может быть, лагерный фельдшер украл у своего начальства несколько ампул с морфием и с подобострастием преподнес наркотик блатарям?

Или медицинский инструмент — великая ценность в лагере и, шантажируя врача, можно потребовать выкуп в виде «отдыха» в бараке блатарским заправилам?

Ни то и ни другое. Блатари услыхали, что, если в вену человека ввести воздух, пузыри воздуха закупорят сосуд мозга, образуют «эмбол». И человек — умрет. Было решено немедленно проверить справедливость интересных сообщений неизвестного медика. Воображение блатарей рисовало картины таинственных убийств, которые не разоблачит никакой комиссар уголовного розыска, никакой Видок, Лекок и Ванька Каин.

Блатари схватили ночью в изоляторе какого-то голодного фрайера, связали его и при свете коптящего факела сделали жертве «укол». Человек вскоре умер — словоохотливый фельдшер оказался прав.

Блатарь ничего не понимает в балете, однако танцевальное искусство, пляска, «цыганочка» входит с давних пор в блатарское «юности честное зерцало».

Мастера сплясать не переводятся в блатарском мире.

Любителей и устроителей таковой пляски также достаточно среди уголовников.

Эта пляска, эта чечетка-«цыганочка» вовсе не так примитивна, как может показаться на первый взгляд.

Среди блатарских «балетмейстеров» встречались необыкновенно одаренные мастера, способные станцевать речь Ахун Бабаева или передовую статью из вчерашней газеты.

Я очень слаб, но мне еще придется
Продолжить путь умершего отца —

распространенный старинный лирический романс преступного мира с «классическим» запевом:

Луной озарились зеркальные воды,—

где герой жалуется на разлуку и просит любимую:

Люби меня, детка, пока я на воле,
Пока я на воле — я твой.
Тюрьма нас разлучит, я буду жить в неволе,
Тобой завладеет кореш мой.

Вместо «кореш мой» напрашивается слово «другой». Но блатарь — исполнитель романса идет на разрушение размера, на перебой ритма, лишь бы сохранить определенный, единственно нужный смысл фразы. «Другой» — это обыкновенно, это — из фрайерского мира. А «кореш мой» — это в соответствии с законами блатной морали. По-видимому, автором этого романса был не блатарь (в отличие от песни «Судьба», где авторство уголовника-рецидивиста несомненно).

Романс продолжается в философских тонах:

Я жулик Одессы, сын преступного мира,
Я вор, меня трудно любить.
Не лучше ль нам, детка, с тобою расстаться,
Навеки друг друга забыть.

Еще далее:

Я срок получу, меня вышлют далеко,
Далеко в сибирские края.
Ты будешь счастливой и, может быть, богатой,
А я — никогда, никогда.

Эпических блатарских песен очень много.

Золотые точки эти, огоньки
Нам напоминают лагерь Соловки.

«Остров Соловки» — древнейший «Гоп со смыком» — своеобразный гимн блатного мира, широко известный и не в уголовных кругах.

Классическим произведением этого рода является несня «Помню я ночку осеннюю, темную». Песня имеет много вариантов, позднейших переделок. Все позднейшие вставки, замены хуже, грубее первого варианта, рисующего классический образ идеального блатаря-медвежатника, его дело, его настоящее и будущее.

В песне описывается подготовка и проведение грабежа банка, взлом несгораемого шкафа в Ленинграде.

Помню, как сверла, стальные и крепкие,
Точно два шмеля жужжат.

И вот уже открылись железные дверцы, где

Ровными пачками деньги заветные
С полок смотрели на нас.

Участник ограбления, получив свою долю, немедленно уезжает из города — в облике Каскарильи.

Скромно одетый, с букетом в петлице —
В сером английском пальто,
Ровно в семь тридцать покинул столицу,
Даже не глянул в окно.

Под «столицей» разумеется Ленинград, вернее, Петроград, что дает возможность отнести время появления этой песни к 1914—1924 году.

Герой уезжает на юг, где знакомится с «чудом земной красоты». Ясно, что:

Деньги, как снег, очень быстро растаяли,
Надо вернуться назад,
Надо опять с головой окунуться
В хмурый и злой Ленинград.

Следует «дело», арест и заключительная строфа:

По пыльной дороге, под строгим конвоем
Я в уголовный иду,
Десять со строгой теперь получаю
Или иду на луну.

Все это — произведения специфической тематики. Одновременно с ними в блатарском мире пользуются популярностью и находят и исполнителей и слушателей

такие отличные песни, как «Отворите окно, отворите — мне недолго осталося жить». Или «Не плачь, подруженька», особенно в ее ростовском, коренном варианте.

Романсы «Как хороша была ты, ночка голубая» или «Я помню садик и ту аллею» — не имеют специфически блатарского текста, хотя и популярны у воров.

Всякий блатной романс, не исключая и знаменитого «Не для нас заиграют баяны» или «Осенняя ночка», имеет десятки вариантов, будто романс испытал судьбу «ро́мана», сделавшись лишь схемой, каркасом для собственных излияний исполнителя.

Подчас фрайерские романсы подвергаются значительному изменению, насыщаясь блатным духом.

Так, романс «Не говорите мне о нем» превратился у блатарей в длиннейшую (тюремное время — длинное время) «Мурочку Боброву». Никакой Мурочки Бобровой в романсе нет. Но блатарь любит определенность. Блатарь любит также и подробности в описаниях.

Подъехала карета в суд.
Раздался голос — выходите,
Сюда, по лестнице кругом,
По сторонам вы не глядите.

Приметы места даны экономно.

Блондинка, жгучие глаза,
Покорно голову склонила,
И побледнела вся она,
И шарфом все лицо закрыла.

Ей председатель говорит:
Скажите, Мурочка Боброва,
Виновны ль в этом или нет,
Вам предстоит сказать два слова.

Только после этой подробной «экспозиции» следует обычный текст романса:

Не говорите мне о нем,
Еще былое не забыто —

и т. д.

Все говорят, что я грустна,
Что людям верить перестала,
Все говорят, что я больна,
А может, просто жить устала.

И, наконец, последняя строфа:

Лишь только кончила она,
Ужасный крик в груди раздался,
И приговор их на суде
Так недочитанным остался.

То, что приговор остался недочитанным, всегда очень умиляет блатарей.

Весьма характерна нелюбовь блатных к хоровому пению. Даже всемирно известный «Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была» не сумел расшевелить сердца блатарей. «Шумел камыш» не пользуется там популярностью.

Хоровых песен у блатных нет, хором они никогда не поют, и если фрайера запевают какую-нибудь бессмертную песню, вроде «Бывали дни веселые» или «Хаз-Булата», вор не только никогда не подтянет, но и слушать не станет — уйдет.

Пение блатных — исключительно сольное пение, сидя где-нибудь у зарешеченного окна или лежа на нарах, заложив руки за голову. Петь блатарь никогда не начнет по приглашению, по просьбе, а всякий раз как бы неожиданно, по собственной потребности. Если это певец хороший, то голоса в камере стихают, все прислушиваются к певцу. А певец негромко, тщательно выговаривая слова, поет одну песню за другой — без всякого, конечно, аккомпанемента. Отсутствие аккомпанемента как бы усиливает выразительность песни, а вовсе не является недостатком. В лагере есть оркестры, духовые и струнные, но все это «от лукавого» — блатари крайне редко выступают в качестве оркестрантов, хотя блатной закон и не воспрещает прямо подобной деятельности.

Что тюремный «вокал» мог развиваться исключительно в виде сольного пения — это вполне понятно. Это — исторически сложившаяся, вынужденная необходимость. Никакое хоровое пение не могло бы быть допущено в стенах тюрьмы.

Однако и в «шалманах», на воле хоровых песен блатари не поют. Их гулянки и кутежи обходятся без хорового пения. В этом факте можно видеть и лишнее свидетельство волчьей природы вора, его антиколлегиальности, а может быть, причина в тюремных навыках.

Среди блатарей не много встречается любителей чтения. Из десятков тысяч блатарских лиц вспоминаются лишь двое, для которых книга не была чем-то враждебным, чужим и чуждым. Первым был карманник Ребров, потомственный вор,— его отец и старший брат делали ту же карьеру. Ребров был парень философского склада, человек, который мог выдать себя за кого угодно, мог поддержать любой разговор на общие темы с «понятием».

В юности Реброву удалось получить и кое-какое образование — он учился в кинематографическом техникуме. В семье любимая им мать вела бешеную борьбу за младшего сына, стремясь ценой чего угодно спасти его от страшной участи отца и брата. Однако «жульническая кровь» оказалась сильнее любви к матери, и Ребров, оставив техникум, никогда ничем, кроме краж, не занимался. Мать не прекращала борьбы за сына. Она женила его на подруге своей дочери, на сельской учительнице. Ее Ребров когда-то изнасиловал, но потом, по настоянию матери, женился на ней и жил, в общем, счастливо, всегда возвращаясь к ней после многочисленных своих «отсидок». Жена родила Реброву двух дочурок, фотографии которых он постоянно носил с собой. Жена ему часто писала, утешала его, как могла, и он никогда не «хлестался», то есть не хвастался ее любовью и писем ее никому не показывал, хотя женские письма всегда делались достоянием всех «корешков» блатаря. Было ему за тридцать лет. Впоследствии он перешел в «сучий» воровской закон и был зарезан в одном из бесчисленных кровавых боев.

Воры относились к нему с уважением, но с нелюбовью и подозрительностью. Любовь к чтению, вообще грамотность претила им. Натура Реброва для товарищей была сложной, а потому непонятной и тревожной. Его привычка коротко, ясно и логично излагать свои мысли раздражала их, заставляла подозревать в нем нечто чужое.

У воров принято поддерживать свою молодежь, подкармливать ее, и возле каждого «большого» блатаря кормится множество подростков-воров.

Ребров выдвинул иной принцип поведения:

— Если ты вор,— говорил он подростку,— умей достать, а кормить я тебя не буду, лучше голодному фраеру отдам.

И хотя на очередной «правилке», где обсуждалась новая «ересь», Реброву удалось доказать свою правоту

и решение «суда чести» было в его пользу — симпатии его поведение, отступавшее от воровских традиций, не встретило.

Вторым был Генка Черкасов, парикмахер одного из лагерных отделений. Генка был истинным любителем книги, готовый читать все, что попадет под руку, читать днем и ночью. «Всю дорогу так» (то есть всю жизнь) — объяснял он. Генка был домушник, скокарь — то есть специалист по квартирным кражам.

— Все воруют,— рассказывал он шумно и гордо,— «тряпки» (то есть одежду) там всякие. А я — книги. Все товарищи смеялись надо мной. Я однажды библиотеку обокрал. На грузовике вывозил, ей-богу, правда.

Больше, чем о воровской удаче, Генка мечтал о карьере тюремного «романиста», рассказчика, любил для любого слушателя рассказывать всяких «Князей Вяземских» и «Червонных валетов» — классику устной тюремной литературы. Всякий раз Генка просил указывать недостатки его исполнения, мечтал о рассказе «на разные голоса».

Вот два человека из блатного мира, для которых книга была чем-то важным и нужным.

Остальная же масса воров признавала только «ро́маны», удовлетворяясь этим вполне.

Замечалось только, что не всем нравятся детективы, хотя, казалось бы, это и есть любимое чтение вора. Однако хороший исторический «ро́ман» или любовная драма выслушивались с гораздо большим вниманием. «Ведь мы все это знаем,— говаривал Сережа Ушаков, железнодорожный вор,— все это — наша жизнь. Сыщики да воры — надоело. Как будто нам ничего другое не интересно».

Кроме «ро́манов» и тюремных романсов есть еще кинофильмы. Все блатные — беззаветные любители кино — это единственный род искусства, с которым они имеют дело «лицом к лицу» — и притом видят кинокартин не меньше, а больше, чем «средний» городской житель.

Здесь отдается явное предпочтение детективам, и притом заграничным. Кинокомедия прельщает блатарей лишь в грубой форме, где смешно действие. Остроумный диалог — не для блатарей.

Кроме кинофильмов, есть пляска, чечеточка.

Есть и еще нечто, чем питается эстетическое чувство

блатаря. Это тюремный «обмен опытом» — рассказы друг другу о своих «делах» — рассказы на тюремных нарах, в ожидании следствия или высылки.

Эти рассказы, «обмен опытом», занимают огромное место в жизни вора. Это вовсе не пустое препровождение времени. Это — подведение итогов, обучение и воспитание. Каждый вор делится с товарищами подробностями своей жизни, своими похождениями и приключениями. На эти рассказы (только отчасти носящие характер проверки, обследования незнакомого вора) тратится большая часть времени блатаря в тюрьме, да и в лагере тоже.

Это — рекомендация себя, «с кем бегал» (те, «с кем бегал по огонькам», с кем воровал из известных всему блатному миру хотя бы понаслышке воров).

«Какие «люди» тебя знают?» На этот вопрос следует обычно подробное изложение своих подвигов. Это «юридически» обязательно — по рассказу блатари могут судить о незнакомом довольно верно и знают, где нужно сделать скидку, а что принять за безусловную правду.

Изложение воровских подвигов, делаемое всегда приукрашенно, в прославление воровских законов и воровского поведения, и составляет чрезвычайно опасную для молодежи романтическую приманку.

Каждый факт расписывается такими соблазнительными, такими привлекательными красками (на краски блатные не скупы), что слушатель-мальчик, попавший в среду блатарей (скажем, за первую кражу), увлекается, восхищается героическим поведением блатаря. Этот рассказ сплошь и рядом представляет собой чистую фантастику, выдумку («Не веришь — прими за сказку!»).

Все эти «ровные пачки заветных денег», брильянты, кутежи, особенно женщины — все это является актом самоутверждения, и ложь не считается тут грехом.

И хотя вместо грандиозного кутежа в «шалмане» была только скромная кружка пива в Летнем саду, выпрошенная в долг — вранье это — неудержимо.

Рассказчик уже «проверен» и может врать сколько влезет.

Чужие, слышанные на одной из тюремных пересылок, подвиги присваиваются вдохновенным вралем себе, и слушатели, в свою очередь, удесятерив краски, выдают чужое приключение за свое собственное.

Так делается уголовная романтика.

У юноши, подчас мальчика, кружится голова. Он вос-

хищается, он хочет подражать своим живым героям. Он служит у них на посылках, глядит им в рот, подстерегает их улыбку, ловит каждое их слово. Собственно говоря, в тюрьме этому мальчику и приткнуться-то больше некуда, кроме как к ворам, ибо казнокрады и нарушители сельских законов отшатываются от таких молодых ворят, метящих в рецидивисты.

В этом хвастливом возвеличении собственной личности скрыт, несомненно, некий эстетический смысл, одномерный с художественной литературой. Если художественная проза блатаря — это «ро́ман», изустное произведение, то подобные беседы есть вид устного мемуара. Здесь обсуждаются не технические вопросы воровских операций, а вдохновенно повествуется, как «Колька Смех заделал начисто мосла», как «Катька Городушница замарьяжила самого прокурора» — словом, это — воспоминания на отдыхе.

Растлевающее значение их — огромно.

КАК «ТИСКАЮТ РО́МАНЫ»

Тюремное время — длинное время. Тюремные часы бесконечны, потому что они однообразны, бессюжетны. Жизнь, смещенная в промежуток времени от подъема до отбоя, регламентирована строгим регламентом, в этом регламенте скрыто некое музыкальное начало, некий ровный ритм тюремной жизни, вносящий организующую струю в тот поток индивидуальных душевных потрясений, личных драм, внесенных извне, из шумного и разнообразного мира за стенами тюрьмы. В эту симфонию острога входят и расчерченное на квадраты звездное небо, и солнечный зайчик на стволе винтовки часового, стоящего на караульной вышке, похожей по своей архитектуре на высотные здания. В эту симфонию входит и незабываемый звук тюремного замка, его музыкальный звон, похожий на звон старинных купеческих сундуков. И многое, многое другое.

В тюремном времени мало внешних впечатлений — поэтому после время заключения кажется черным провалом, пустотой, бездонной ямой, откуда память с усилием и неохотой достает какое-нибудь событие. Еще бы — ведь

человек не любит вспоминать плохое, и память, послушно выполняя тайную волю своего хозяина, задвигает в самые темные углы неприятные события. Да и события ли это? Масштабы понятий смещены, и причины кровавой тюремной ссоры кажутся вовсе непонятными «постороннему» человеку. Потом это время будет казаться бессюжетным, пустым; будет казаться, что время пролетело скоро, тем скорее пролетело, чем медленнее оно тянулось.

Но часовой механизм все же вовсе не условен. Именно он вносит порядок в хаос. Он — та географическая сетка меридианов и параллелей, на которой расчерчены острова и континенты наших жизней.

Это правило и для обычной жизни, в тюрьме же его сущность более обнажена, более беспрекословна.

Вот в эти самые долгие тюремные часы воры коротают время не только за «воспоминаниями», не только за взаимной похвальбой, чудовищным хвастовством, расписывая свои грабежи и прочие похождения. Эти рассказы — вымысел, художественная симуляция событий. В медицине есть термин «аггравация» — преувеличение, когда ничтожная болезнь выдается за тяжкое страдание. Рассказы воров подобны такой аггравации. Медная копейка истины превращается в публично размениваемый серебряный рубль.

Блатарь рассказывает, с кем он «бегал», где он воровал раньше, рекомендует себя своим незнакомым товарищам, рассказывает о взломах неподступных миллеровских несгораемых шкафов, тогда как в действительности его «скок» ограничился бельем, сорванным с веревок около пригородной дачи.

Женщины, с которыми он жил — необыкновенные красавицы, обладательницы чуть не миллионных состояний.

Во всем этом вранье, «мемуарном» вранье, кроме определенного эстетического наслаждения рассказом — удовольствия и для рассказчика и для слушателей — есть нечто более важное и существенно опасное.

Дело в том, что эти тюремные гиперболы являются пропагандистским и агитационным материалом блатного мира, материалом немалого значения. Эти рассказы — блатной университет, кафедра их страшной науки. Молодые воры слушают «стариков», укрепляются в своей вере. Юнцы проникаются благоговением к героям небывалых подвигов и сами мечтают сотворить подобное. Про-

исходит приобщение неофита. Эти наставления молодой блатарь запоминает на всю жизнь.

Может быть, рассказчику-блатарю и самому хочется верить, как Хлестакову, в свое вдохновенное вранье? Он сам себе кажется сильнее и лучше.

И вот, когда знакомство блатарей с новыми своими друзьями закончено, когда заполнены устные анкеты прибывших, когда улеглись волны хвастовства и некоторые эпизоды воспоминаний, наиболее пикантные, повторены дважды и запомнились так, что любой из слушателей в другой обстановке выдает чужие похождения за свои собственные, а тюремный день все еще кажется бесконечным — кому-то приходит в голову счастливая мысль...

— А если «тиснуть ро́ман»?

И какая-нибудь татуированная фигура выползает на желтый свет электрической лампочки, свет в такое количество свечей, чтобы читать было затруднительно, устраивается поудобнее и начинает «дебютной» скороговоркой, похожей на привычные первые ходы шахматной партии:

«В городе Одессе, еще до революции, жил знаменитый князь со своей красавицей женой».

«Тиснуть» на блатном языке значит «рассказать», и происхождение этого красочного арготизма угадать нетрудно. Рассказываемый «ро́ман» — как бы устный «оттиск» повествования.

«Ро́ман» же как некая литературная форма вовсе не обязательно рома́н, повесть или рассказ. Это может быть и любой мемуар, кинофильм, историческая работа. «Ро́ман» — всегда чужое безымянное творчество, изложенное устно. Автора здесь никогда никто не называет и не знает.

Требуется, чтобы рассказ был длинным — ведь одно из его назначений — скоротать время.

«Ро́ман» всегда наполовину импровизация, ибо, слышанный где-то раньше, он частью забывается, а частью расцвечивается новыми подробностями — красочность их зависит от способностей рассказчика.

Существуют несколько наиболее распространенных, излюбленных «ро́манов», несколько сценарных схем, которым позавидовал бы театр импровизации «Семперантэ».

Это, конечно, детективы.

Весьма любопытно, что современный советский детектив вовсе отвергается ворами. Не потому, что он

мало замысловат или попросту бездарен: вещи, которые они слушают с громадным удовольствием — еще грубее и еще бездарнее. Притом в воле рассказчика было бы исправить недочеты адамовских или шейнинских повестей.

Нет, воров просто не интересует современность. «Про нашу жизнь мы сами лучше знаем»,— говорят они с полным основанием.

Наиболее же популярные «ро́маны» — это «Князь Вяземский», «Шайка червонных валетов», бессмертный «Рокамболь» — остатки того удивительного — отечественного и переводного — чтива жителей России прошлого столетия, где классиком был не только Понсон дю Террайль, но и Ксавье де Монтепан с его многотомными романами: «Сыщик-убийца» или «Невинно казненный» и т. п.

Из сюжетов, взятых из добротных литературных произведений, твердое место занял «Граф Монте-Кристо»; «Три мушкетера», напротив, не имеют никакого успеха и расцениваются как комический роман. Стало быть, идея французского режиссера, снявшего «Трех мушкетеров» как веселую оперетту — имела здравые основания.

Никакой мистики, никакой фантастики, никакой «психологии». Сюжетность и натурализм с сексуальным уклоном — вот лозунг устной литературы блатарей.

В одном из таких «ро́манов» можно было с великим трудом узнать «Милого друга» Мопассана. Конечно, и название, и имена героев были вовсе другими, да и сама фабула подверглась значительному изменению. Но основной костяк вещи — карьера сутенера — остался.

«Анна Каренина» переделана блатными романистами, точь-в-точь как это сделал в своей инсценировке Художественный театр. Вся линия Левина — Китти была отметена в сторону. Оставшись без декораций и с измененными фамилиями героев — производила странное впечатление. Страстная любовь, возникающая мгновенно. Граф, тискающий (в обычном значении этого слова) героиню на площадке вагона. Посещение ребенка гулящей матерью. Загул графа и его любовницы за границей. Ревность графа и самоубийство героини. Только по поездным колесам — толстовской рифме к вагону из «Анны Карениной» — можно было понять, что это такое.

«Жан Вальжан» рассказывается и слушается охотно. Ошибки и наивности автора в изображении французских

блатарей снисходительно исправляются русскими блатарями.

Даже из биографии Некрасова (по-видимому, по одной из книг К. Чуковского) был состряпан какой-то сногсшибательный детектив с главным героем Пановым (!).

Рассказываются эти «ро́маны» любителями-ворами большей частью монотонно и скучно, редко встречаются среди рассказчиков-блатарей такие артисты — природные поэты и актеры, которые любой сюжет могут расцветить тысячей неожиданностей, слушать рассказы таких мастеров собираются все блатари, кому случится быть в то время в тюремной камере. Никто не заснет и до утра — и подземная слава об этом мастере идет очень далеко. Слава такого «романиста» не уступит, а превзойдет известность какого-нибудь Каминки или Андроникова.

Да, так и называется такой рассказчик — «романист». Это совершенно определенное понятие, термин блатного словаря.

«Ро́ман» и «романист».

«Романист», то есть рассказчик, конечно, не обязательно должен быть из блатных. Наоборот, «романист-фрайер» ценится не меньше, а больше, ибо то, что рассказывают, могут рассказать блатари, ограничено — несколько популярных сюжетов — и все. Всегда может случиться, что у новичка-чужака есть в памяти какая-нибудь интересная история. Сумеет он рассказать эту историю — будет награжден снисходительным вниманием уркачей — ибо вещи, посылку, передачу Искусство спасти в таких случаях не может. Легенда об Орфее все-таки только легенда. Но если такого жизненного конфликта нет, то «романист» получит место на нарах рядом с блатарями и лишнюю миску супа на обед.

Впрочем, не следует думать, что «ро́маны» существуют только для того, чтобы скоротать тюремное время. Нет, их значение больше, глубже, серьезнее, важнее.

«Ро́ман» есть чуть ли не единственная форма приобщения блатарей к искусству. «Ро́ман» отвечает уродливой, но мощной эстетической потребности блатаря, не читающего книг, журналов и газет, «ха́вающего культуру» (специальное выражение) в этой ее устной разновидности.

Слушание «ро́манов» представляет собой как бы культурную традицию, которую весьма чтут блатари. «Ро́маны» рассказывались испокон веков и освящены всей историей уголовного мира. Поэтому считается хорошим тоном

слушать «рóманы», любить и покровительствовать искусству подобного рода. Блатные — традиционные меценаты «романистов» — они воспитаны в этих вкусах, и никто не откажется послушать «романиста», хотя бы зевалось до хруста ушей. Ясно, конечно, что грабительские дела, воровские дискуссии и также обязательный страстный интерес к карточной игре во всей ее удали и разгуле — все это поважнее «рóманов».

До «рóманов» доходит дело в минуту досуга. Игра в карты в тюрьме воспрещается, и хотя изготовляется колода карт с помощью куска газетной бумаги, обломка чернильного карандаша, куска изжеванного хлеба с быстротою необыкновенной — за которой виден тысячелетний опыт воровских поколений — все же играть в тюрьме можно далеко не всегда.

Ни один блатарь не сознается, что он не любит «рóманов». «Рóманы» как бы освящены воровским исповеданием веры, включенным в кодекс его поведения, его духовных запросов.

Блатари не любят книги, не любят чтения. Редко, редко встречаются среди них люди, приученные с детства любить книгу. Такие «монстры» читают почти украдкой, чуть не прячась от товарищей,— они боятся язвительных и грубых насмешек, как будто они делают что-то недостойное блатаря, что-то от лукавого. Завидуя интеллигенции, блатари ненавидят ее и во всякой лишней «грамотности» чувствуют нечто чуждое, чужое. И в то же время тот же «Милый друг» или «Граф Монте-Кристо», представшие в ипостаси «рóмана» — вызывают всеобщий интерес.

Конечно, блатарь-читатель мог бы объяснить блатарю-слушателю, в чем тут дело, но... велика власть традиций.

Ни один исследователь литературы, ни один мемуарист даже краем не касается этого вида устной словесности, бытующего с незапамятных времен до наших дней.

«Рóман», по терминологии уркачей, это не только ромáн, и дело тут не в перестановке ударения. Ударение переставляли и горничные из грамотных, увлекавшиеся Антоном Кречетом, и горьковская Настя, мусолившая «Роковую любовь».

«Тисканье рóманов» есть древнейший воровской обычай со всей его религиозной обязательностью, включенной в кредо блатаря наряду с игрой в карты, пьянством,

развратом, грабежом, побегами и «судами чести». Это — необходимый элемент воровского быта, их художественная литература.

Понятие «рóмана» достаточно широко. Оно включает в себя различные прозаические жанры. Это и роман, и повесть, и любой рассказ, подлинный и этнографический очерк, и историческая работа, и театральная пьеса, и радиопостановка, и пересказанный виденный кинофильм, возвратившийся с языка экрана к либретто. Фабульный каркас переплетен собственной импровизацией рассказчика, и в строгом смысле «рóман» есть творение минуты, как театральный спектакль. Он возникает один-единственный раз, делаясь еще более эфемерным и непрочным, чем искусство актера на сценических подмостках, ибо актер все же придерживается твердого текста, данного ему драматургом. В известном «театре импровизации» импровизировали гораздо меньше, чем это делает любой тюремный или лагерный «романист».

Старинные «рóманы» типа «Шайки червонных валетов» или «Князя Вяземского» — уже более пятидесяти лет как исчезли с русского читательского рынка. Историки литературы снисходят только до «Рокамболя» или Шерлока Холмса.

Русское бульварное чтиво прошлого столетия сохранилось доныне в блатарском подполье. Блатари-«романисты» и рассказывают, «тискают» именно эти старинные «рóманы». Это как бы блатная классика.

Рассказчик-«фрайер» в огромном большинстве случаев может пересказать то произведение, которое он читал «на воле». О «Князе Вяземском» он сам, к великому своему удивлению, узнает только в тюрьме, послушав блатного «романиста».

«Дело было в Москве, на Разгуляе, туда в один великосветский «шалман» часто приезжал граф Потоцкий. Это был молодой, здоровый парень».

«Не части, не части»,— просят слушатели.

«Романист» замедляет темп рассказа. Рассказывает он обычно до полного изнеможения, ибо пока не заснул хоть один из слушателей, считается неприличным оборвать рассказ. Отрубленные головы, пачки долларов, драгоценные камни, найденные в желудке или кишках какой-нибудь великосветской «марьяны» — сменяют друг друга в этом рассказе.

Наконец «рóман» окончен, обессилевший «романист»

ползет на свое место, удовлетворенные слушатели раскладывают свои разноцветные ватные одеяла — необходимую бытовую принадлежность всякого уважающего себя блатаря...

Таков «ро́ман» в тюрьме. Не таков он в лагере.

Тюрьма и трудовой лагерь — вещи разные, далекие друг от друга по своему психологическому содержанию, несмотря на свою кажущуюся общность. Тюрьма стоит гораздо ближе к обыкновенной жизни, чем лагерь.

Тот почти всегда невинный любительский литературный оттенок, который имеет для «фрайера» занятие «романиста» в тюрьме, приобретает внезапно трагический и зловещий отблеск.

Все, казалось бы, остается прежним. Те же заказчики-блатари, те же вечерние часы для рассказа, та же тематика «ро́манов», Но «ро́маны» здесь рассказываются за корку хлеба, за «супчик», слитый в котелок из консервной банки.

«Романистов» здесь хоть отбавляй. На эту корку хлеба, на суп претендуют десятки голодных людей, и бывали случаи, когда полумертвый «романист» валился в голодный обморок во время рассказа. В предвидении таких случаев вошло в обычай давать очередному «романисту» хлебнуть супчику до «тисканья». Этот здравый обычай укоренился.

В многолюдных лагерных «изоляторах» — подобии тюрьмы в тюрьме, раздачей пищи обычно распоряжаются блатные. Бороться с этим порядком администрация не в силах. После того как они насытятся сами, приступает к еде остальное население барака.

Огромный барак с земляным полом освещен «бензинкой» — коптилкой.

Все, кроме воров, работали целый день, провели много часов на ледяном холоде. «Романисту» хочется согреться, хочется спать, лечь, сесть, но еще больше, чем сна, тепла и покоя, ему хочется еды, какой-нибудь еды. И невероятным, сказочным усилием воли он мобилизует свой мозг на двухчасовой «ро́ман», услаждающий блатарей. И, едва закончив детектив, «романист» хлебает уже остывший, подернутый ледяной корочкой «супчик» и лакает, вылизывает досуха жестяной самодельный котелок. Ложка ему не нужна — пальцы и язык помогут ему лучше всякой ложки.

В изнеможении, в постоянных тщетных попытках

заполнить хоть на минуту истонченный и пожирающий сам себя желудок, бывший доцент предлагает себя в «романисты». Доцент знает, что в случае удачи, одобрения заказчиков — он будет покормлен, избавлен от побоев. Блатари верят в его способности рассказчика, как бы он ни был изможден и измучен. В лагере не встречают людей по платью, и любой «огонь» (красочное название для оборванца с его рваными лохмотьями, торчащей ватой, вырванной во многих местах бушлата) может оказаться великим «романистом».

Заслужив суп, а при удаче и корку хлеба, «романист» робко чавкает в темном углу барака, вызывая зависть своих товарищей, которые не умеют «тискать ро́маны».

При еще большем успехе «романиста» угостят и махоркой. Это уж верх блаженства! Десятки глаз будут следить за его дрожащими пальцами, уминающими табак, завертывающими цигарку. И если «романист» неловким движением просыплет несколько драгоценных махорочных крупинок на землю, он может заплакать настоящими слезами. Сколько рук протянутся к нему из темноты, чтобы прикурить для него папиросу из печки и, прикуривая, хоть раз вдохнуть табачный дым. И не один заискивающий голос скажет за его спиной заветную формулу «покурим» или воспользуется загадочным синонимом этой формулы «сорок...»

Вот что такое «ро́ман» и «романист» в лагере.

Со дня успеха «романиста» не дадут оскорблять, не дадут бить, его будут даже подкармливать. Он уже смело просит покурить у блатарей, и блатари оставляют ему окурки — он получил придворное звание, надел камер-юнкерский мундир...

Каждый день он должен быть наготове с новым «ро́маном» — конкуренция велика! — и облегчением для него бывает тот вечер, когда его хозяева не в настроении принимать культурную пищу, «ха́вать культуру», и он может заснуть мертвым сном. Но и сон может быть грубо прерван, если блатарям вдруг взбредет в голову отменить какое-нибудь карточное сражение (что, конечно, бывает очень редко, ибо какой-нибудь «терц» или «стос» дороже всяких «ро́манов»).

Среди этих голодных «романистов» встречаются и «идейные», особенно после нескольких относительно сытых дней. Они пытаются рассказать своим слушателям что-либо и посерьезнее «Шайки червонных валетов». Такой

«романист» чувствует себя культурным работником при воровском троне. Среди них есть бывшие литераторы, гордящиеся верностью своей основной профессии, проявляемой в столь удивительных обстоятельствах. Есть и такие, которые чувствуют себя заклинателями змей, флейтистами, поющими перед крутящимся клубком ядовитых гадов...

* * *

Карфаген должен быть разрушен!
Блатной мир должен быть уничтожен!

О ПРОЗЕ

Лучшая художественная проза современная — это Фолкнер. Но Фолкнер — это взломанный, взорванный роман, и только писательская ярость помогает довести дело до конца, достроить мир из обломков.

Роман умер. И никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму.

Людям, прошедшим революции, войны и концентрационные лагеря, нет дела до романа.

Авторская воля, направленная на описание придуманной жизни, искусственные коллизии и конфликты (малый личный опыт писателя, который в искусстве нельзя скрыть) раздражают читателя, и он откладывает в сторону пухлый роман.

Потребность в искусстве писателя сохранилась, но доверие к беллетристике подорвано.

Какая литературная форма имеет право на существование? К какой литературной форме сохраняется читательский интерес? <...>

Огромный интерес во всем мире к мемуарной литературе — это голос времени, знамение времени. Сегодняшний человек проверяет себя, свои поступки не по поступкам Жюльена Сореля, или Растиньяка, или Андрея Болконского, но по событиям и людям живой жизни — той, свидетелем и участником которой читатель был сам.

И здесь же: автор, которому верят, должен быть «не только свидетелем, но и участником великой драмы жизни», пользуясь выражением Нильса Бора. Нильс Бор сказал эту фразу в отношении ученых, но она принята справедливо в отношении художников.

Доверие к мемуарной литературе безгранично. Литературе этого рода свойственен тот самый «эффект присутствия», который составляет суть телевидения. Я не могу смотреть футбольный матч по видеографу тогда, когда знаю его результат.

Сегодняшний читатель спорит только с документом и

убеждается только документом. У сегодняшнего читателя есть и силы, и знания, и личный опыт для этого спора. И доверие к литературной форме. Читатель не чувствует, что его обманули, как при чтении романа.

На наших глазах меняется вся шкала требований к литературному произведению, требований, которые такая художественная форма, как роман, выполнить не в силах.

Пухлая многословная описательность становится пороком, зачеркивающим произведение.

Описание внешности человека становится тормозом понимания авторской мысли.

Пейзаж не принимается вовсе. Читателю некогда думать о психологическом значении пейзажных отступлений.

Если пейзаж и применяется, то край экономно. Любая пейзажная деталь становится символом, знаком и только при этом условии сохраняет свое значение, жизненность, необходимость.

«Доктор Живаго» — последний русский роман. «Доктор Живаго» — это крушение классического романа, крушение писательских заповедей Толстого. «Доктор Живаго» писался по писательским рецептам Толстого, а вышел роман-монолог, без «характеров» и прочих атрибутов романа XIX века. В «Доктор Живаго» нравственная философия Толстого одерживает победу и терпит поражение художественный [illegible] Толстого.

Те символистские плащи, которые Пастернак окутал своих героев, возвраща[illegible]м своей литературной юности — скорее у[illegible]ем увеличивают силу «Доктора Живаго» [illegible]омана-монолога.

Ставить вопрос о «характере в развитии» и т. д. не просто старомодно, это не нужно, а стало быть, вредно. Современный читатель с двух слов понимает, о чем идет речь, и не нуждается в подробном внешнем портрете, не нуждается в классическом развитии сюжета и т. д. Когда А. А. Ахматову спросили, чем кончается ее пьеса, она ответила: «Современные пьесы ничем не кончаются», и это не мода, не дань «модернизму». [illegible] просто читателю не нужны авторские усилия, направленные на «закругление» сюжетов по тем проторенным путям, которые читателю известны из средней школы.

Если писатель добивается литературного успеха, настоящего успеха, успеха по существу, а не газетной поддержки — то кому какое дело, есть в этом произведе-

нии «характеры» или их нет, есть «индивидуализация речи героев» или ее нет.

В искусстве единственный вид индивидуализации — это своеобразие авторского лица, своеобразие его художественного почерка.

Читатель ищет, как и искал раньше, ответа на «вечные» вопросы, но он потерял надежду найти на них ответ в беллетристике. Читатель не хочет читать пустяков. Он требует решения жизненно важных вопросов, ищет ответов о смысле жизни, о связях искусства и жизни.

Но задает этот вопрос не писателям-беллетристам, не Короленко и Толстому, как это было в XIX веке, а ищет ответа в мемуарной литературе.

Читатель перестает доверять художественной подробности. Подробность, не заключающая в себе символа, кажется лишней в художественной ткани новой прозы.

Дневники, путешествия, воспоминания, научные описания публиковались всегда и успех имели всегда, но сейчас интерес к ним необычаен. Это — главный отдел любого журнала.

Лучший пример: «Моя жизнь» Ч. Чаплина — вещь в литературном отношении посредственная — бестселлер № 1, обогнавшая все и всяческие романы.

Таково доверие к мемуарной литературе. Вопрос: должна ли быть новая проза документом? Или она может быть больше, чем документ.

Собственная кровь, собственная судьба — вот требование сегодняшней литературы.

Если писатель пишет своей кровью, то нет надобности собирать материалы, посещая Бутырскую тюрьму или тюремные «этапы», нет надобности в творческих командировках в какую-нибудь Тамбовскую область. Самый принцип подготовительной работы прошлого отрицается, ищут не только иные аспекты изображения, но иные пути знания и познания.

Весь «ад» и «рай» в душе писателя и огромный личный опыт, дающий не только нравственное превосходство, не только право писать, но и право судить. <...>

К очерку никакого отношения проза колымских рассказов не имеет. Очерковые куски там вкраплены для вящей славы документа, но только кое-где, всякий раз датированно, расчитанно. Живая жизнь заводится на бумагу совсем другими способами, чем в очерке. В «КР» («Колымские рассказы».— *Ред.)* отсутствуют описания,

отсутствует цифровой материал, выводы, публицистика. В «КР» дело в изображении новых психологических закономерностей, в художественном исследовании страшной темы, а не в «информации», не в сборе фактов. Хотя, разумеется, любой факт в «КР» неопровержим.

Существенно для «КР» и то, что в них показаны новые психологические закономерности, новое в поведении человека, низведенного до уровня животного — впрочем, животных делают из лучшего материала, и ни одно животное не переносит тех мук, какие перенес человек. Новое в поведении человека, новое — несмотря на огромную литературу о тюрьмах и заключении.

Эти изменения психики необратимы, как отморожения. Память ноет, как отмороженная рука при первом холодном ветре. Нет людей, вернувшихся из заключения, которые бы прожили хоть один день, не вспоминая о лагере, об унизительном и страшном лагерном труде.

Автор «КР» считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики.

В «КР» взяты люди без биографии, без прошлого и без будущего. Похоже ли их настоящее на звериное или это человеческое настоящее?

В «КР» нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра — если брать вопрос в большом плане, в плане искусства.

Если бы я имел иную цель, я бы нашел совсем другой тон, другие краски, при том же самом художественном принципе.

«КР» — это судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями.

Потребность в такого рода документах чрезвычайно велика. Ведь в каждой семье, и в деревне и в городе, среди интеллигенции, рабочих и крестьян, были люди, или родственники, или знакомые, которые погибли в заключении. Это и есть тот русский читатель — да и не только русский — который ждет от нас ответа.

Нужно и можно написать рассказ, который неотличим от документа. Только автор должен исследовать свой

материал собственной шкурой — не только умом, не только сердцем, а каждой порой кожи, каждым нервом своим.

В мозгу давно лежит вывод, какое-то суждение о той или другой стороне человеческой жизни, человеческой психики. Этот вывод достался ценой большой крови и сбережен, как самое важное в жизни.

Наступает момент, когда человеком овладевает непреодолимое чувство поднять этот вывод наверх, дать ему живую жизнь. Это неотвязное желание приобретает характер волевого устремления. <...>

Тогда начинаешь искать сюжет. Это очень просто. В жизни столько встреч, столько их хранится в памяти, что найти необходимое легко.

Начинается запись — где очень важно сохранить первичность, не испортить правкой. Закон, действующий для поэзии — о том, что первый вариант всегда самый искренний, действует, сохраняется и здесь.

Сюжетная законченность. Жизнь — бесконечно сюжетна, как сюжетны история, мифология; любые сказки, любые мифы встречаются в живой жизни.

Для «КР» не важно, сюжетны они или нет. Там есть и сюжетные и бессюжетные рассказы, но никто не скажет, что вторые менее сюжетны и менее важны.

Нужно и можно написать рассказ, неотличимый от документа, от мемуара.

А в более высоком, в более важном смысле любой рассказ всегда документ — документ об авторе — и это-то свойство, вероятно, и заставляет видеть в «КР» победу добра, а не зла.

Переход от первого лица к третьему, ввод документа. Употребление то подлинных, то вымышленных имен, переходящий герой — все это средства, служащие одной цели.

Все рассказы имеют единый музыкальный строй, известный автору. Существительные-синонимы, глаголы-синонимы должны усилить желаемое впечатление. Композиция сборника продумывалась автором. Автор отказался от короткой фразы, как литературщины, отказался от физиологической меры Флобера — «фраза диктуется дыханием человека». Отказался от толстовских «что» и «который», от хемингуэевских находок — рваного диалога, сочетающегося с затянутой до нравоучения, до педагогического примера фразой.

Автор хотел получить только живую жизнь. <...>

Современная новая проза может быть создана только

людьми, знающими свой материал в совершенстве, для которых овладение материалом, его художественное преображение не являются чисто литературной задачей, а долгом, нравственным императивом.

Подобно тому, как Экзюпери открыл для людей воздух — из любого края жизни придут люди, которые сумеют рассказать о знаемом, о пережитом, а не только о виденном и слышанном.

Есть мысль, что писатель не должен слишком хорошо, чересчур хорошо и близко знать свой материал. Что писатель должен рассказывать читателю на языке тех самых читателей, от имени которых писатель пришел исследовать этот материал. Что понимание виденного не должно уходить слишком далеко от нравственного кодекса, от кругозора читателей.

Орфей, спустившийся в ад, а не Плутон, поднявшийся из ада.

По этой мысли, если писатель будет слишком хорошо знать материал, он перейдет на сторону материала. Изменятся оценки, сместятся масштабы. Писатель будет измерять жизнь новыми мерками, которые непонятны читателю, пугают, тревожат. Неизбежно будет утрачена связь между писателем и читателем.

По этой мысли — писатель всегда немножко турист, немножко иностранец, литератор и мастер чуть больше, чем нужно.

Образец такого писателя-туриста — Хемингуэй, сколько бы он ни воевал в Мадриде. Можно воевать и жить активной жизнью и в то же время быть «вовне», все равно — «над» или «в стороне».

Новая проза отрицает этот принцип туризма. Писатель — не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник не в писательском обличье, не в писательской роли.

Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад.

Выстраданное собственной кровью выходит на бумагу как документ души, преображенное и освещенное огнем таланта.

Писатель становится судьей времени, а не подручным чьим-то, и именно глубочайшее знание, победа в самых глубинах живой жизни дает право и силу писать. Даже метод подсказывает.

Как и мемуаристы, писатели новой прозы не должны

ставить себя выше всех, умнее всех, претендовать на роль судьи.

Напротив, писатель, автор, рассказчик должен быть ниже всех, меньше всех. Только здесь — успех и доверие. Это — и нравственное и художественное требование современной прозы.

Писатель должен помнить, что на свете — тысяча правд.

Чем достигается результат?

Прежде всего серьезностью жизненно важной темы. Такой темой может быть смерть, гибель, убийство, голгофа... Об этом должно быть рассказано ровно, без декламации.

Краткостью, простотой, отсечением всего, что может быть названо «литературой».

Проза должна быть простой и ясной. Огромная смысловая, а главное, огромная нагрузка чувства не дает развиться скороговорке, пустяку, погремушке. Важно воскресить чувство. Чувство должно вернуться, побеждая контроль времени, изменение оценок. Только при этом условии возможно воскресить жизнь.

Проза должна быть простым и ясным изложением жизненно важного. В рассказ должны быть введены, подсажены детали — необычные новые подробности, описания по-новому. Само собой новизна, верность, точность этих подробностей заставят поверить в рассказ, во все остальное не как в информацию, а как в открытую сердечную рану. Но роль их гораздо больше в новой прозе. Это — всегда деталь-символ, деталь-знак, переводящая весь рассказ в иной план, дающая «подтекст», служащий воле автора, важный элемент художественного решения, художественного метода.

Важная сторона дела в «КР» подсказана художниками. Гоген в «Ноа-Ноа» пишет: если дерево кажется вам зеленым — берите самую лучшую зеленую краску и рисуйте. Вы не ошибетесь. Вы нашли. Вы решили. Речь здесь идет о чистоте тонов. Применительно к прозе этот вопрос решается в устранении всего лишнего не только в описаниях (синий топор и т. д.), но и в отсечении всей шелухи «полутонов» — в изображении психологии. Не только в сухости и единственности прилагательных, но в самой композиции рассказа, где многое принесено в жертву ради этой чистоты тонов. Всякое другое решение уводит от жизненной правды.

Колымские рассказы — попытка поставить и решить какие-то важные нравственные вопросы времени, вопросы, которые просто не могут быть разрешены на другом материале.

Вопрос встречи человека и мира, борьба человека с государственной машиной, правда этой борьбы, борьба за себя, внутри себя — и вне себя. Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла. Иллюзорность и тяжесть надежды. Возможность опереться на другие силы, чем надежда.

Автор разрушает рубежи между формой и содержанием, вернее, не понимает разницы. Автору кажется, что важность темы сама диктует определенные художественные принципы. Тема «КР» не находит выхода в обыкновенных рассказах. Такие рассказы — опошление темы. Но вместо мемуара «КР» предлагают новую прозу, прозу живой жизни, которая в то же время — преображенная действительность, преображенный документ.

Так называемая лагерная тема — это очень большая тема, где разместится сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно.

Автор «КР» стремится доказать, что самое главное для писателя — это сохранить живую душу.

Композиционная цельность — немалое качество «КР». В этом сборнике можно заменить и переставить лишь некоторые рассказы, а главные, опорные, должны стоять на своих местах. Все, кто читал «КР» как целую книгу, а не отдельными рассказами — отметили большое, сильнейшее впечатление. Это говорят *все* читатели. Объясняется это неслучайностью отбора, тщательным вниманием к композиции. <...>

«КР» — это изображение новых психологических закономерностей в поведении человека, людей в новых условиях (остаются ли они людьми? Где граница между человеком и животным?).<...>

Эти закономерности — новы, новы, несмотря на огромную литературу о тюрьмах и заключенных. Этим еще раз доказывается сила новой прозы, ее необходимость. Преодоление документа есть дело таланта, конечно, но требования к таланту, и прежде всего с правильной стороной, в лагерной теме очень высоки.

Эти психологические закономерности необратимы, как

отморожение III и IV степени. Автор считает лагерь отрицательным опытом для человека — отрицательным с первого до последнего часа, и жалеет, что собственные силы вынужден направить на преодоление именно этого материала.

Автор тысячу раз, миллион раз спрашивал бывших заключенных — был ли в их жизни хоть один день, когда бы они не вспоминали лагерь. Ответ был одинаковым — нет, такого дня в их жизни не было.

Даже те люди высокой умственной культуры, побывавшие в лагере — если не были раздавлены и уцелели случайно — старались воздвигнуть барьер шутки, анекдота, барьер, оберегающий собственную душу и ум. Но лагерь обманул и их. Он сделал этих людей проповедниками принципиальной беспринципности, и их огромная культура знания послужила им предметом для домашних умственных развлечений, для гимнастики ума.

Анализ «КР» в самом отсутствии анализа. Здесь взяты люди без биографии, без прошлого и без будущего, взяты в момент их настоящего — звериного или человеческого? И на кого идет материал лучше — на зверей, на животных или на людей?

Колымские рассказы — это судьба мучеников, не бывших и не ставших героями.

В «КР» — как кажется автору — нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра.

Если бы я хотел другого — я нашел бы совсем другой тон, другие краски, применяя тот же художественный принцип.

Собственная кровь — вот что сцементировали фразы «КР».<...> Память сохранила тысячи сюжетных вариантов ответа, и мне остается только выбрать и тащить на бумагу подходящий. Не для того, чтобы описать что-то, а затем, чтобы ответить. У меня нет времени на описания.

Ни одной строки, ни одной фразы в «КР», которая была бы «литературной» — не существует. <...>

Все повторения, все обмолвки, в которых меня упрекали читатели — сделаны мной не случайно, не по небрежности, не по торопливости...

Говорят, объявление лучше запоминается, если в нем есть орфографическая ошибка. Но не только в этом вознаграждение за небрежность.

Сама подлинность, первичность требуют такого рода ошибок..

«Сентиментальное путешествие» Стерна обрывается на полуфразе и ни у кого не вызывает неодобрения.

Почему же в рассказе «Как это началось» все читатели дописывают, исправляют от руки не дописанную мною фразу «Мы еще рабо...»

И как бороться за стиль, запретить авторское право?

Применение синонимов, глаголов-синонимов и синонимов-существительных, служит той же двойной цели — подчеркиванию главного и созданию музыкальности, звуковой опоры, интонации.

Когда оратор говорит речь — новая фраза составляется в мозгу, пока выходят на язык синонимы.

Необычайна важность сохранения первого варианта. Правка недопустима. Лучше подождать другого подъема чувства и написать рассказ снова со всеми правами первого варианта.

Все, кто пишет стихи, знают, что первый вариант — самый искренний, самый непосредственный, подчиненный торопливости высказать самое главное. Последующая отделка — правка (в разных значениях) — это контроль, насилие мысли над чувством, вмешательство мысли. Я могу угадать у любого русского большого поэта в 12—16 строках стихотворения — какая строфа написана первой. <...>

Вот и для прозы этой, условно называемой «новой», необычайно важна **удача** первого варианта.<...>

Скажут — все это не нужно для вдохновения, для озарения.

Автор отвечает: озарение является только после непременного ожидания, напряженной работы, искания, зова.

Бог всегда на стороне больших батальонов. По Наполеону. Эти большие батальны поэзии строятся и маршируют, учатся стрелять в укрытии, в глубине.

Художник работает всегда, и переработка материала ведется всегда, постоянно. Озарение — результат этой постоянной работы.

Конечно, в искусстве есть тайны. Это — тайны таланта. Не больше и не меньше.

Правка, «отделка» любого моего рассказа необычайно трудна, ибо имеет особенные задачи, стилевые.

Чуть-чуть исправишь — и нарушается сила подлинности, первичности.<...>

Верно ли, что новая проза опирается на новый материал и этим материалом сильна?

Конечно, в «КР» нет пустяков. Автор думает, может быть заблуждаясь, что дело все же не только в материале и даже не столько в материале...

У автора есть рассказ «Крест» — это один из лучших рассказов по композиционной законченности, по сути, по выразительности. В «Кресте» никакого лагеря нет, но принципы новой прозы соблюдены, и рассказ — получился, мне кажется.

Почему лагерная тема. Лагерная тема в широком ее толковании, в ее принципиальном понимании — это основной, главный вопрос наших дней. Разве уничтожение человека с помощью государства — не главный вопрос нашего времени, нашей морали, вошедший в психологию каждой семьи? Этот вопрос много важнее темы войны. Война в каком-то смысле тут играет роль психологического камуфляжа (история говорит, что во время войны тиран сближается с народом). За статистикой войны, статистикой всякого рода хотят скрыть «лагерную тему».

Когда меня спрашивают, что я пишу, я отвечаю: я не пишу воспоминаний. Никаких воспоминаний в «КР» нет. Я не пишу и рассказов — вернее, стараюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой.

Не проза документа, а проза, выстраданная как документ.

ОБ АВТОРЕ

Варлам Тихонович Шаламов родился в 1907 году в Вологде, в семье священника. Отец его был человеком прогрессивных взглядов, поддерживал связи со ссыльными, жившими в Вологде. В своей автобиографической повести о детстве и юности «Четвертая Вологда» Шаламов рассказал, как формировались его убеждения, как укреплялась его жажда справедливости и решимость бороться за нее. Юношеским его идеалом становятся народовольцы — жертвенность их подвига, героизм сопротивления всей мощи самодержавного государства. Уже в детстве сказывается художественная одаренность мальчика — он страстно читает и «проигрывает» для себя все книги — от Дюма до Канта.

В 1924 году он уезжает из Вологды в Москву. Два года работает дубильщиком на кожевенном заводе в Сетуни, а в 1926 году поступает в МГУ на факультет советского права. Кажется неожиданным его выбор будущей профессии — при явно художественных его способностях. Но тогда буквально испепеляла его жажда действия — уже скоро 20 лет, а ничего еще не сделано для бессмертия. Он активно участвует в бурлящей жизни Москвы: митинги и литературные диспуты, демонстрации и чтение стихов...

19 февраля 1929 года Шаламов был арестован за распространение завещания В. И. Ленина — «Письма к съезду» — и приговорен к трем годам лагерного заключения, которое и отбывал на Северном Урале, на Вишере. В 1932 году Шаламов возвращается в Москву, работает в ведомственных журналах, печатает статьи, очерки, фельетоны.

В журнале «Октябрь», № 1 за 1936 год, печатается его рассказ «Три смерти доктора Аустино». Он пишет день и ночь — стихи и рассказы. Но... в ночь на 1 января 1937 года он был снова арестован: первый срок не прошел бесследно, «профилактика» требовала исключения из общества тех, кто слишком хорошо знал историю и имел о ней свое суждение. 5 лет колымских лагерей. Золотые прииски. Таежные «командировки», больничные койки. Бухта Нагаево, прииск «Партизан», Черное озеро, Аркагала, Джелгала...

В 1943 году — новый срок, 10 лет,— он назвал Бунина русским классиком — это было расценено как антисоветская агитация. Голод, холод, побои, унижения...

В 1946 году врач А. М. Пантюхов, рискуя собственной «карьерой» заключенного-врача, направил Шаламова на курсы фельдшеров, на левый берег, в центральную больницу. Это спасло ему жизнь.

В 1949 году на ключе Дусканья он впервые на Колыме стал записывать свои стихи. В 1951 году он был освобожден из лагеря, но уехать на «материк» не смог.

Лишь в ноябре 1953 года Шаламов возвращается в Москву — на два дня, встречается с Пастернаком, с женой и дочерью, но до реабилитации еще далеко, и жить ему в Москве нельзя. Он уезжает в Калининскую область, работает там на торфоразработках мастером, агентом по снабжению и — пишет, пишет одержимо — колымские рассказы.

В июле 1956 года Шаламов был реабилитирован, вернулся в Москву; работал в журнале «Москва» внештатным корреспондентом, печатал очерки, зарисовки.

В 1957 году в № 5 журнала «Знамя» печатаются его стихи. В 1961 году выходит первый сборник стихов «Огниво», в 1964-м — «Шелест листьев», в 1967-м — «Дорога и судьба»...

Но рассказы его возвращаются редакциями, они не устраивают их — в рассказах Шаламова нет «трудового энтузиазма», есть лишь «абстрактный гуманизм».

Шаламов переживает это тяжело. То, за что заплачено столь высокой ценой — ценой жизни и крови,— оказывается ненужным обществу, не служит целям его нравственного очищения, обновления...

Только поэзия, только творчество поддерживают его дух — и немногие друзья. Но он работает активно. В 1971 году дописана повесть «Четвертая Вологда», в 1973 году — повести «Вишера», «Федор Раскольников», сборник рассказов «Перчатка», стихи, статьи, эссе.

Работал Шаламов до последних дней, даже в интернате, куда поместил его Литфонд в 1979 году. Несмотря на тяжелейшее состояние здоровья, он диктовал стихи, воспоминания.

Зиму он не любил никогда. Зимой он простужался, болел. Зимой 1982 года, 17 января, Шаламов умер. Журналы брали его стихи, но печатать не торопились. О прозе и говорить не приходилось...

В 1987 появились первые публикации его прозы, публикации стихов из колымских тетрадей («Юность», «Сельская молодежь», «Аврора», «Литературная газета», «Дружба народов», «Литературная Россия»). «Новый мир» в шестом номере за 1988 год дал подборку из колымских рассказов.

Неподкупное суровое слово писателя оказалось нужно и важно обществу, преодолевающему многолетнюю ложь, умолчание.

Оказалось, нельзя счастливо и благополучно идти вперед и вперед, оставив позади забытыми безымянные братские могилы на Колыме, Воркуте, Вишере... Оказалось — ничто не забыто, и голоса свидетелей преступлений — даже умерших — звучат во всеуслышание, требуя покаяния и искупления.

Колымская эпопея В. Т. Шаламова включает сборники рассказов и очерков: «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты»,

ОЧЕРКИ ПРЕСТУПНОГО МИРА

ШАЛАМОВ Варлам Тихонович

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

Рассказы

Редактор **Г. Н. Калашников**
Художник **С. А. Астраханцев**
Художественный редактор **А. В. Дианов**
Технические редакторы **В. И. Тушева, В. С. Никифорова**
Корректор **В. Н. Дробышева**

ИБ № 5783

Сдано в набор 11.11.88. Подписано к печати 14.02.89. А04143. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 29,4. Усл. краск.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 30,83. Тираж 200 000 (1—100 000) экз. Заказ 1362. Цена 5 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Книжная фабрика № 1 Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25



